

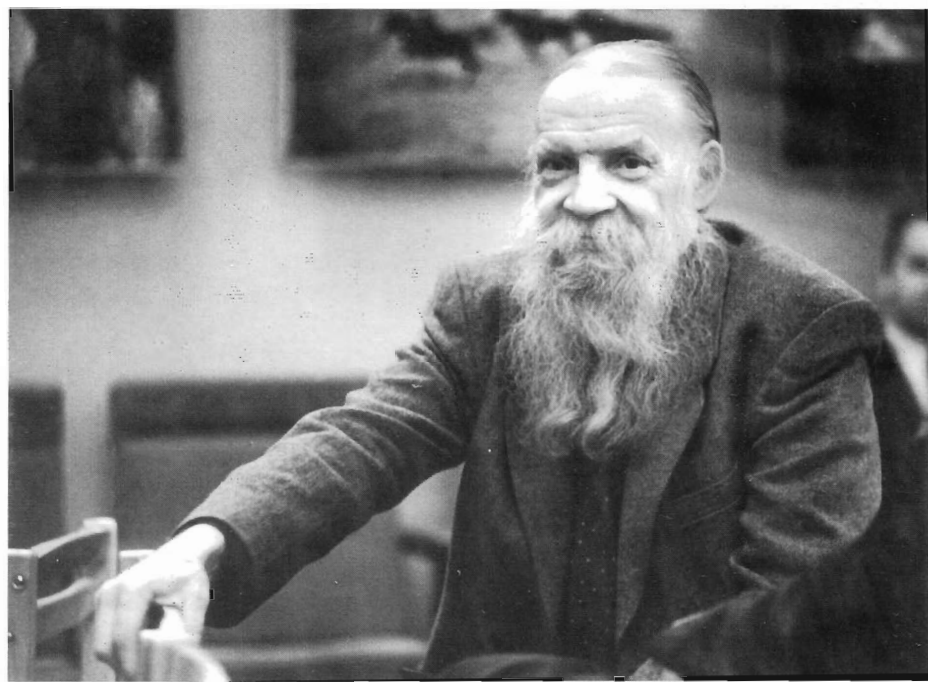
Памяти
Никиты Ильича
Толстого

СЛОВО

И

том I

культура



Российская академия наук
Институт славяноведения



**Памяти
Никиты Ильича
Толстого**

Российская академия наук
Институт славяноведения

СЛОВО
И **ТОМ I**
КУЛЬТУРА



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИНДРИК»

Москва 1998

*Издание осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда*

Редакционная коллегия
Т. А. Агапкина, А. Ф. Журавлев, С. М. Толстая

Редактор
Т. А. Агапкина

Содержание

I. Языкознание

<i>Н. Д. Арутюнова</i> Новое и старое в библейских контекстах	11
<i>V. Blanár</i> Presupozičná a referenčná identifikácia vlastného mena	29
<i>Ж. Ж. Варбот</i> К славянским обозначениям избылиия и тучности	34
<i>Т. И. Вендина</i> Этнолингвистика, аксиология и словообразование	39
<i>Г. К. Венедиктов</i> О языке первого издания Нового завета в новоболгарском переводе	49
<i>D. S. Worth</i> Grammatical Constraints on Orthography: ѡ, ѡ in a 12th-c. Russian Manuscript	63
<i>А. С. Герд</i> Славянская историческая диалектология и история регионального языка	78
<i>Т. В. Горячева</i> Остаться с пустыми овторниками	85
<i>А. Ф. Журавлев</i> Лексикографические фантомы. 2. СРНГ, И-К	93
<i>М. Ивић</i> Поводом изрза <i>ни на синь ноготок</i>	105
<i>П. Ивић</i> Импликациони односи у фонологији српских народних говора	112
<i>Ф. Д. Климчук</i> Диалектные типы Полесья	118
<i>Л. В. Куркина</i> К этимологии русск. диал. <i>спорьдаты</i>	136

<i>Н. А. Михайлов</i>	
О роли словенского языка в Венеции на рубеже XV–XVI вв. К 500-летию первой словенской записи Чернейской рукописи	143
<i>В. М. Мокиенко</i>	
Из славянских фразеологических реконструкций (вост.-зап. славянск. *[a]ni ūz zdъbъ)	161
<i>В. Москович</i>	
Заметки о современной русской политической терминологии	182
<i>L. Moszyński</i>	
Hebrajskie instrumenty muzyczne psalmu 150 w różnych przekładach słowiańskich	190
<i>А. Б. Пеньковский</i>	
Глагольное действие sub specie adverbiorum. 1. охотно, с удовольствием, с радостью	214
<i>И. П. Петлева</i>	
Еще раз к вопросу о <i>не</i> — не 'не'	246
<i>Н. Popowska-Taborska</i>	
О kaszubskim <i>kuka</i> i całej diabelskiej rodzinie	251
<i>О. А. Седакова</i>	
«Странствия владычня...» Из наблюдений над церковнославянским словом	255
<i>Л. Н. Смирнов</i>	
Заметки по словацкой исторической лексикологии	264
<i>А. Н. Соколов</i>	
О значениях македонского компаративного <i>по-</i>	272
<i>Я. Сятковский</i>	
Славянские названия страшилищ (демонов) в немецком языке и его говорах	280
<i>Z. Topolińska</i>	
(<i>Nie</i>) <i>widać</i> , (<i>nie</i>) <i>słuchać</i> (Z semantyki i składni czasowników percepcji zmysłowej)	288
<i>Ђ. Трифуновић</i>	
Слово Максима Грка у старом српском преводу	296
<i>О. Н. Трубачев</i>	
Из работы над ЭССЯ 26	306
<i>G. Hüttl-Folter</i>	
Zur Syntax von Fonvizins «Briefen aus Frankreich» (1777–1778)	316
<i>Г. Цыхун</i>	
З балгарска-беларускіх моўных паралеляў	326
<i>F. Czyżewski</i>	
Polsko-ukraińskie interferencje językowe na Podlasiu. Problemy metodologiczne	332
<i>R. Eckert</i>	
Lit. (hybrides) <i>siera žemė</i> und seine ostslawische Quelle	342

II. Из истории славистики

<i>V. Gašparíková</i> Izmail I. Sreznevskij's Attitude towards the Slovak Folk Prose.....	353
<i>П. А. Дмитриев, Г. А. Лилич, Г. И. Сафронов</i> Н. И. Толстой и славистика в Ленинградском-Петербуржском университете.....	364
<i>Д. Делл'Агата</i> Николай Трубецкой и проблема украинского языка	370
<i>Е. И. Демина</i> Страничка из истории отечественного славяноведения: С какой рукописью ознакомился П. И. Прейс в 1841 г. в Венской Придворной библиотеке?	385
<i>А. Д. Дуличенко</i> Н. И. Толстой и резьянщина (К открытию «Резьянского словаря» И. А. Бодуэна де Куртенэ).....	394
<i>О. А. Князевская</i> Об изучении рукописи Саввиной книги (РГАДА, фонд 381, № 14)..	406
<i>А. Младеновић</i> Неке мисли Н. И. Толстоја о српском књижевном језику новијег времена	415
<i>М. Stanonik</i> Slovanski raziskovalci in slovenska slovstvena folkloristika.....	423
<i>А. Е. Супрун</i> Этнолингвистические сведения в древяно-полабских материалах Йоганна Парум Шульце.....	437

15 апреля 1998 года Никите Ильичу Толстому исполнилось бы 75 лет.

Выдающийся ученый, один из виднейших славистов современности, дальновидный, умный и благородный организатор науки, тонкий и талантливый учитель, крупная и сложная личность, обаятельнейший собеседник, мудрец и жизнелюб — таким он останется в нашей памяти. Безграничные познания, пронизательность и исследовательский вкус, свойственные Никите Ильичу, снискали его работам заслуженную славу. Сделанного им с лихвой хватило бы не на одну жизнь: постоянные Полесские диалектологические и этнолингвистические экспедиции, особое направление в отечественной филологической науке — этнолингвистика, Отдел славянской этнолингвистики и фольклора в Институте славяноведения РАН, энциклопедический словарь «Славянские древности», обновленный журнал «Живая старина», обязательный университетский курс «Введение в славянскую филологию», кафедра общего и славянского языкознания в Российском православном университете св. Иоанна Богослова, Российский гуманитарный научный фонд, так нужный ученым в наше время, — трудно перечислить все научные структуры и направления, которые удалось создать Толстому.

Два тома под общим названием «Слово и культура», сложившиеся из статей коллег, друзей и учеников Никиты Ильича, должны стать свидетельством благодарности этому замечательному человеку и нашей доброй памяти о нем. Разделы двухтомника — «Языкознание», «Из истории славистики», «Этнолингвистика. Фольклор. Этнография», «История. Культура. Литература» — отражают основные интересы и научные пристрастия Никиты Ильича Толстого.

Редакторы и составители признательны всем, откликнувшимся на приглашение участвовать в сборнике.

Редакционная коллегия и издательство искренне благодарят М. М. Валенцову, Л. Н. Виноградову, А. В. Гуру, А. А. Плотникову, И. А. Седакову, В. В. Усачеву, которые оказали большую помощь в работе над книгами.

I

Языкознание

Н.Д.Арутюнова
(Москва)

Новое и старое в библейских контекстах

Понятие «нового» фундаментально для всех сфер жизни: стремление к новизне и обновлению является одним из мощных стимулов в личной, социальной, познавательной, творческой и любой иной деятельности человека.

Понятие «нового» начало складываться или, по крайней мере, обрело силу тогда, когда концепция временных циклов, вечного возвращения, отнесенная в равной степени к космическим и историческим процессам, стала уступать место идее линейного времени, отделившей историческое развитие от космического круговорота. Движение по кругу и вместе с ним постоянное повторение мифологических архетипов сменилось движением вперед, в будущее, обещающее новые, неведомые доселе формы жизни. Новое стало вырисовываться на фоне общих представлений об истории народов и развитии человека и человечества. Время вышло из-под власти метафоры круга, приобретшего ассоциацию с безвыходностью. Круг стал порочным.

Один из первых импульсов, положивших начало эволюции взглядов в указанном направлении, был дан библейским мифом о сотворении мира. «Если мир греческой философии и греческой поэзии — это „космос“, то есть законосообразная и симметричная пространственная структура, то мир Библии — это „олам“, то есть поток временного свершения, несущий в себе все вещи, или мир как история. Внутри „космоса“ даже время дано в модусе пространственности: в самом деле, учение о вечном возврате, явно или неявно присутствующее во всех греческих концепциях бытия, как мифологических, так и философских, отнимает у времени столь характерное для него свойство *необратимости* и придает ему мыслимос лишь в пространстве свойство *симметрии*. Внутри „олама“ даже пространство дано в модусе временной динамики — как

„вместилище“ необратимых событий. Греческий бог Зевс — это „Олимпиец“, то есть существо, характеризующееся своим местом в мировом пространстве. Библейский бог Яхве — это „Сотворивший небо и землю“, то есть господин неотменяемого мгновения, с которого началась история, и через это — господин истории, господин времени» (Аверинцев 1977, 88–89, см. также с. 263).

Естественно, что господство над временем означает власть над тем новым, что оно несет с собой. Господину времени известны судьбы мира, ибо Он творит будущее. Время чревато творчеством. Идея обновления жизни, заявленная в ветхозаветных текстах, была утверждена и упрочена Новым Заветом. Миф о сотворении мира позволял говорить о новых актах творчества, имеющих космический масштаб. Мир предстал как последовательное осуществление творческой программы, как воплощенный образ, как материализованная идея. Миф придавал мысли человека креационистскую и вместе с тем эсхатологическую направленность.

В наши задачи не может входить рассмотрение библейских взглядов на историю, мы хотим лишь обратить внимание на специфику употребления «слов новизны» в Ветхом и Новом Заветах и их переводах, на те ценностные коннотации, которые им сопутствовали, а также на те оппозиции, которые их характеризовали*.

Начнем с Ветхого Завета.

Для Господина времени нет нового, ибо Он творит будущее. Новое существует для человека, и Бог возвещает о нем народу и его вождям. В Книге пророка Исаи Господь устами пророка говорит народу Израиля: «Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое Я возвещу; прежде, нежели оно произойдет, Я возвещу вам» (Ис. 42. 9); То, что предстоит узнать народу, было от него прежде скрыто: «А ныне Я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого» (Ис. 48. 6). Речь идет о спасении народа Израиля, отступившего от обетований, о спасении, подобном его исходу из Египта. Оно представлено как коренное обновление мира: «Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится, неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят Меня, шакалы и страусы, потому что Я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ Мой» (Ис. 43. 19–20). В благодарность народ должен петь Господу *новую*

* Автор искренне благодарен за консультации по истории русского языка И. И. Макеевой и А. А. Калашникову. Автор приносит глубокую благодарность Евгению Михайловичу Верещагину за ценные указания, советы и дружескую помощь.

песнь: «Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли» (Ис. 42. 10). Книга пророка Исаяи кончается словами о сотворении *нового неба и новой земли* для народа Израиля и обетованием Господа заботиться о нем и хранить его: «Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше» (Ис. 66. 22).

Итак, в Книге пророка Исаяи «новое» отнесено в перспективу будущего. Оно явится результатом творческого акта, совершаемого демиургом, имеющего прецедент в прошлом и оцениваемого положительно. Творческий акт направлен на улучшение условий земного существования человека и зверя. Иными словами, заявлена идея своего рода «покорения природы», впоследствии прочно вошедшая в телеологическое поле человека. Покорение стало искоренением.

Еще более ясно мысль о новом обетовании, новом союзе народа с Господом выражена в Книге пророка Иеремии: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, — не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат — брата и говорить: „познайте Господа“, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомяну более» (Иер. 31. 31–34).

В приведенных словах речь идет не столько об обновлении природы мира, сколько об обновлении духовной природы человека: суть нового завета состоит в том, что, проникнув в мысли и сердца людей, он придаст им этическую чуткость и способность к богопознанию. Голос Бога будет теперь звучать в сердце человека. Новый завет, о котором говорится в Книге пророка Иеремии, выражает идею, предвосхищающую христианство, а способность сердца к нравственной отзывчивости предвещает возникновение в человеке специального «этического органа» — совести, отделение которой от сознания засвидетельствовано уже в Посланиях ап. Павла (Рим. 2. 15; 9. 1; 1 Кор. 10. 25–29 и др.).

Тот же мотив звучит и в Книге пророка Иезекииля, устами которого Господь говорит народу: «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и

новый дух» (Иез. 18. 31). Здесь призыв к обновлению обращен к человеку, но сознательное усилие человека лишь отклик на творческий акт, исходящий от Бога, который говорит: «И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять» (Иез. 36. 26–27). Иначе говоря, теперь человек будет следовать закону и обетованию «по природе», а не «по договору», произойдет своего рода интериоризация социального человека. В этом суть его обновления. Идея сотворения нового человека подсказана мифом о сотворении первого человека — Адама. Не случайно в Новом Завете Христос будет назван Новым Адамом (1 Кор. 15. 22). Обращает на себя внимание, что в результате новых творческих актов, которые совершит Господь, произойдет обновление физической природы мира (земли и неба), но только духовной природы человека. Замена каменного сердца плотным, разумеется, метафора.

Таким образом, «новое» Ветхого Завета относится к фундаментальным творческим актам, влекущим за собою коренное изменение в природе мира и в природе внутреннего человека. Акт обновления представлен не как эволюционный процесс, а как некое волевое революционное действие, ведущее к совершенствованию мира. Оно осуществляется милостью Господа, выказанной Им к избранному народу, Им искупленному, Им прощенному и Им спасаемому. В сознание человека вошла идея *пере*-устройства мира, возможности его *пере*-делки, *пере*-иначивания (ср. лат. *re-* в *re-volutio*, *re-novatio*, *re-formatio*, etc.). Тем самым ясно обозначился предмет творческих усилий. Им является уже существующий мир и человек, уже сотворенный Господом по Своему подобию. Обновление должно приблизить его к образу Божию.

Тема глубокого обновления мира и природы человека, заявленная в Ветхом Завете, была продолжена и завершена христианством. За Ветхим Заветом последовал Новый Завет. Его завещал своим последователям Иисус Христос, искупивший Своей смертью грехи людей. Сам Христос назвал Свой завет *новым*. На Тайной Вечере «Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» (Мф. 26. 26–29); см. также: (Лк. 22. 20; Мк. 14. 25; 1 Кор. 11, 25).

В греческом языке есть два слова, выражающие значение «нового» — *νέος* (от и.-е. **ne* 'здесь, вот', ср. русск. *ныне*) и *καινός*. Первое указывает на отношение к моменту речи: *νέος* значит 'недавно появившийся'. Это значение сугубо прагматично. Слово *νέος* имеет также производное от темпорального качественное значение: 'молодой, юный, незрелый, неопытный'. Качественное значение относится к состоянию и свойствам, регулярно характеризующим объекты, недавно введенные в существование. Иначе говоря, оно не выводит понятие новизны за рамки циклического представления о времени. Оно может, кроме того, иметь отрицательные коннотации, обращая внимание на незрелость, несформированность объекта. Второе слово — *καινός* — представляет новизну как нечто никогда прежде не бывшее, необычайное, странное, удивительное, дивное. Иначе говоря, оно привлекает внимание к существенным изменениям в мире и иногда сопровождается положительными коннотациями. Первое слово тяготело к употреблению с именами предметного значения, особенно часто природных родов; второе чаще определяло имена событий и отвлеченных понятий. Новое в рамках циклического времени предшествует старому; новое линейного времени следует за старым. Оно знаменует собой сдвиг, развитие, улучшение. В пределах цикла отношения между молодым и старым закономерны и ожидаемы. На линии наступление нового может быть внезапным. Оно предвещает глубокие перемены. Для обозначения Нового Завета было выбрано второе прилагательное: *Καὶνὴ Διαθήκη*. В приведенной выше цитате истину, приобщение к которой произойдет на эсхатологическом пиру, Христос иносказательно называет *новым вином* (*καινόν*), а не *молодым вином* (*νέον*), как в притче о вине молодом и мехах ветхих (Мф. 9. 17)¹.

Комментируя выбор определения Христова Завета, С. С. Аверинцев пишет: «Слово *новый*, вошедшее в обозначение самой чтимой книги христиан, как нельзя лучше передает эсхатологический историзм христианской религиозности: члены христианских общин чаяли космического обновления и сами ощущали себя *новыми людьми*, вступившими в *обновленную жизнь* (выражение из Рим. 6. 4)». И ниже: «Чувство сдвига, осуществления неожиданного и непредставяемого — вот что выражают слова „Новый Завет“» (Аверинцев 1983, 504–505). Здесь все же необходимо заметить, что приход Мессии был предсказан и ожидаем. *Перед* Иисусом шел *Иоанн Предтеча*.

Посмотрим, как представлено в Евангелиях и апостольских посланиях отношение Нового завета к Союзу — Завету, заключенному Богом с народом Израиля.

Предварительно, однако, следует сказать несколько слов о логике и диалектике отношений между «новым» и «старым» [Подробнее о понятии «нового» см. (Арутюнова 1997)]. Новое не первично. Оно осуществляет следующий за тем, что ему предшествовало, шаг. Новое всегда отсылает к прецеденту. Отношение к прецеденту неоднозначно и непостоянно. Адепты нового могут подчеркивать свою преемственность по отношению к предшественникам, предъявляя династические права, либо от них отмежевываться, противопоставляя им себя (и свою идеологию). Точно так же предшественники носителей нового могут принимать их в качестве своих последователей, либо категорически отвергать. Новое при этом необходимо сравнивается со старым. Сравнение осуществляется по разным основаниям — практическим и идеальным — и имеет аксиологическую направленность. Особенно существенно сравнение по степени новизны. Количество нового в новом — величина непостоянная и трудно измеримая. Она меняется в зависимости от точки зрения и от принятой тактики. Акцент может ставиться на сходстве (ситуация преемственности) или на различиях (ситуация противопоставления). Эти колебания в оценке влияют на выбор слов, характеризующих смену учений и форм жизни. Посмотрим, как они отразились в тексте Нового Завета и в его переводах на современные языки.

Отвечая на вопросы искушающих Его фарисеев, Иисус Христос подчеркивает, что Его заповеди не противоречат заповедям Моисеевым. Первой и наибольшей заповедью Он назвал завет любить Бога всем сердцем и всею душою (Второзак. 6. 5), а вторую — заповедь любви к ближнему (Левит 19. 18). «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22. 34–40). Завет Моисеев иногда называется в Новом Завете *первым*, а сам Новый Завет — *другим*: «И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших; оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови» (Евр. 9. 15–18). Но в апостольских посланиях акцент переносится на превосходство нового завета над первым: «Но сей Первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать места другому» (Евр. 8. 6–7). Далее, обосновывая превосходство нового завета над первым, апостол Павел ссылается на слова Господа Бога, сказанные устами

пророка Иеремии, о заключении с домом Израиля и домом Иуды нового завета (Иер. 31. 31–34; см. выше), и комментируя их, добавляет: «Говоря „новый“, показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к уничтожению» (Евр. 8. 13). Параллель с предполагавшимся вторым заветом Бога с народом Израиля позволила ап. Павлу перейти к определению Моисеева Завета как *ветхого* и *стареющего*, то есть к темпоральному различию добавить качественное и тем подчеркнуть необходимость замены одного завета другим.

В этом есть своя логика. Течение времени вредит новизне учения. Слова о «вечной новизне», как и о «вечной молодости», не более, чем метафора. Новизна не может быть постоянным признаком объекта в силу своей зависимости от времени его вхождения в бытие. Ход времени либо устраняет эпитет новизны, либо, если объект выдерживает испытание временем, оставляет его в составе постоянной номинации, в которой он выполняет уже не характеризующую, а идентифицирующую функцию, и его значение (сигнификат) уходит в тень. Так эпитет *новый* закрепился в названии второй части Библии, посвященной учению Христа.

Акцент теперь переносится с новизны нового на устарелость старого. Положительная оценка нового отступает перед отрицательной оценкой старого. В апостольских посланиях она усиливалась тем, что под понятие «старого», наряду с иудаизмом, подводилось и язычество.

Посмотрим, какими словами передавался концепт «старого» в греческом оригинале и в переводе на церковнославянский, русский и некоторые другие языки.

В греческом в качестве антонима *нового* (*καινός*) использовалось прилагательное *παλαιός*, а не *ἀρχαῖος* 'древний, изначальный' и не *γεραιός* 'старый' (о человеке и природных объектах). *Παλαιός*, имевшее первоначально значение 'далекое, прошедшее, давнее', употреблялось в обиходном греческом также в значении 'старый' и имело как положительные ('почитаемый'), так и отрицательные ('устаревший, обветшалый') коннотации. Оно, следовательно, могло характеризовать как конкретные (живые и неживые) объекты, так и отвлеченные понятия. Прилагательное *ἀρχαῖος*, напротив, употреблялось преимущественно в позитивном смысле и характеризовало события и феномены древности (Соепен 1993, 970). Таким образом, *παλαιός* было и семантически и аксиологически амбивалентно. Это позволяло употреблять его в разных контекстах. Этим может быть объяснено предпочтение, отданное ему перед его синонимом *ἀρχαῖος*. Об употреблении *παλαιός* в греческом переводе Ветхого завета см. (Concordance 1993, 1051).

Перевод Библии на церковнославянский и древнерусский языки не был, строго говоря, смысловым. В нем не всегда учитывалось семантическое и контекстуальное варьирование слова. В нем действовал принцип постоянных эквивалентов. В качестве эквивалента греч. *παλαιός* было выбрано прилагательное *ветхий*², и оно последовательно использовалось в разных контекстах; ср. *ветхое вино* (Лк. 5. 39), *ветхий квас* (закваска) (1 Кор. 5. 7) и даже *ветхая заповедь* (1 Ин. 2. 7) применительно к Христову учению, где определение отмечено сильной положительной коннотацией.

Выбор прилагательного *ветхий* был обусловлен его амбивалентностью — семантической и оценочной, а также, возможно, тем, что отрицательные коннотации были у него сильнее позитивных; см. примеры в (СлРЯ XI–XVII вв.; СлДРЯ XI–XIV вв.; SJS). Это обеспечивало устойчивую аксиологическую оппозицию двух заветов, перенесенную из текста в их наименование. Слово *ветхий* фигурирует в названии дохристианской части Библии уже в Супрасльской рукописи (X в.), в которой упоминается Ветхий завет, Ветхий закон и Ветхие книги, а также в Ефремовской Кормчей (XII в.), в которой указаны и сами книги, входившие тогда в Ветхий завет: бѣдъхновенныхъ рекоу кънигъ... ветъхааго завѣта ·а· рекоу пентатеоухъ. бытие. посемь исходъ.

Переводчики Библии на современный русский язык придерживаются контекстуально-смыслового принципа перевода, сохраняя вместе с тем некоторые архаизмы и закрепленные традицией формулы. Греч. *παλαιός* переводится в зависимости от контекста одним из трех прилагательных: *древний* (*древняя заповедь*), *старый* (*старое вино*) и *ветхий*. В современном русском языке это последнее утратило темпоральное значение ('прежде бывший') и имеет только качественное значение ('обветшалый, отслуживший свой срок'); ср. *старый, но не ветхий; ветхий, но не старый; новый, но уже ветхий*. Оно употребляется применительно к человеку (*ветхий старик*) и к артефактам (*ветхий дом, ветхая одежда*). Свойство ветхости не может характеризовать ни отвлеченные понятия, ни внутреннего человека. Тем не менее в переводах на русский язык в такого рода контекстах было сохранено слово *ветхий*, ср.: *ветхий человек* (Еф. 4. 22; Кол. 3. 9), *ветхий завет* (2 Кор. 3. 14), *ветхая буква* (Рим. 7. 6). Заметим попутно, что употребление слова *ветхий* применительно к непередметным понятиям, по-видимому, уже и в старину ощущалось как фигуральное. Об этом свидетельствует следующая версия слов ап. Павла (Еф. 4. 22–23), в которую введено сравнение *ветхого греха* (т. е. прошлых грехов) с *ветхой и худой одеждой*: *яко ризу злу и ветху,*

ветхѣй гре(х) ω(т)ложьше в новѣй члвкъ облещѣмъса (XIV в.) (СлДРЯ XI–XIV вв., 402).

В сочетании же с именами артефактов слово *ветхий*, напротив, иногда заменялось на *старый*: ...к старой (одежде) не подойдет заплата от новой (Лк. 5. 36); ср. также (Лк. 13. 52).

Сохранение слова *ветхий* в названии дохристианских книг Библии может объясняться как традицией, так и желанием подчеркнуть противопоставленность двух заветов, которая в тексте Нового Завета поддерживается ассоциацией первого завета со смертью (ср. *ветхая буква* и *мертвая буква*, *ветхий закон* и *мертвый закон*), а второго с жизнью (*идти путем новым и живым*). Противопоставление двух заветов и, соответственно, двух вер через оппозицию жизни и смерти проходит красной нитью через Новый Завет (см. особенно 1 Кор. 15), и оно поддерживает сохранение эпитета *ветхий* в названии дохристианской части Библии.

В ряде европейских языков в названии Ветхого Завета использовано темпоральное понятие, ср. итал. *Antico Testamento* (а не *vecchio*), исп. *Antiguo Testamento* (а не *viejo* или *vetusto*). Во французском языке перевод колеблется между *L'Ancien Testament* и *Le Vieux Testament*. В английском выбрано прилагательное *old* (*Old Testament*), но оно не имеет отрицательных коннотаций (ср. *добрая старая Англия*). В немецком первый завет также характеризуется как *alte* 'старый': *Altes Testament*, но это прилагательное лишено негативной окраски.

При переводе Библии на современные славянские языки (кроме русского) в названии ее дохристианской части слово *древний* (вполне уместное в этом случае) не использовалось, а из двух других синонимов — *старый* и *ветхий* — предпочтение отдавалось первому; ср. польск. *Stary Zakon*, сербохорв. *Стари завет*, чешск. и словац. *Starý Zákon*, словен. *Stara zaveza*. Даже в болгарском языке, переводческая традиция которого восходит к первым церковнославянским текстам Священного писания, возобладало название «Старият Завет». В белорусском языке первоначальное наименование «Ветхий Закон» (оно было использовано в первопечатной Библии Скорины) было заменено «Старым Законом». Хотя в украинском языке употребляется название «Вітхий Завіт», первый полный перевод Библии на украинский язык, опубликованный Пантелеймоном Кулишом в 1903 г., назывался «Библія — святе письмо старого та нового завіту».

Таким образом, с течением времени оппозиция двух сменяющих одно другое учений может смягчаться или обостряться. В рас-

смаатриваемом случае прослеживаются оба варианта. Об этом свидетельствует использование разных эпитетов в наименовании дохристианских книг Библии. Название *Antiquus Testamentum* (и его рефлексy в современных языках) ставило акцент на временной последовательности заветов, подчеркивая отношения преемственности; *Vetus Testamentum* (и его современные аналоги) присоединяло к временному различию качественное, но без очевидного ценностного противопоставления, название «Ветхий завет» ставило акцент на качественной (содержательной) оппозиции дохристианских и христианских частей Библии. Это была оппозиция двух вероисповеданий.

Утрата новым учением новизны ведет не только к переоценке его отношения к предшествующей идеологии. Она ведет также к изменению самого принципа их противопоставления. Всякое учение, переставая быть новым, может сохранить свою актуальность, только если оно истинно.

Истинность учения подтверждается не новизной, а извечностью, существованием от начала времен. Иоанн Богослов говорит, обращаясь к новообращенным христианам: «Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала... Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в Нем и в вас: потому что тьма проходит и истинный свет уже светит» (1 Ин. 2. 7–8). И далее: «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце» (1 Ин. 2. 23–24). В словах Иоанна Богослова речь идет не столько об отношении Христова учения к прежнему Завету, сколько о его исконности, предвечности, связи с Творцом, т. е. о его истинности. Не случайно в переводе на современный русский язык слово *παλαιός* переведено здесь уже не как *ветхий*, а как *древний*. Новизна временна и потому сомнительна, изначальность абсолютна и потому несомненна. Становясь изначальным, учение становится из самого нового самым старым (ср. греч. *ἀρχαῖος* букв. 'изначальный'). Такова диалектика «нового» и старого». Апелляция к новизне учения сменяется апелляцией к его древности, а затем и к отсутствию в нем нового. Такие утверждения делались уже в ранневизантийскую эпоху. Историк и богослов Евсевий Кесарийский (263–339) говорил, что в христианстве «нет ничего нового (*νέος*) и ничего странного» (Аверинцев 1977, 99). «Акцент, — отмечает С. С. Аверинцев, — переместился с „нового“ на „предвечное“», динамика сменилась статикой (там же, 100).

Оппозиция по истинности гораздо более радикальна и категорична, чем оппозиция по новизне. Истинность одного учения наводит на мысль о ложности другого. Действительно, такое противопоставление делалось особенно тогда, когда христианство приходило на смену язычеству; например, *Нам от Господа процвела новая благодать, а ветхая их лжа вся попралася* (XVI в.) (СлРЯ XI–XVII вв., 126).

Истина, кроме того, неизменна. Всякое новшество, приносимое временем, ее извращает. Апостолы предостерегают от этого верующих, но они никогда не говорят о попытках изменить или дополнить учение Христа в терминах новизны. Ап. Павел предупреждает: «Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них» (Рим. 16. 17); и в Послании к Галатам: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово» (Гал. 1. 6–7); ср. также в Первом Послании к Тимофею: «О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания, которому предавшись, некоторые уклонились от веры» (1 Тим. 6. 20–21); ср. также (2 Тим. 4. 3–5; 2 Петр. 3. 17; 1 Ин. 2. 24; 2 Ин. 7; Иуд. 18–20). Ни в одном контексте не употреблены слова «новизны». Истинное учение перестало быть новым. Оно стало вечным, исключив тем самым возможность существования другого нового. Новое на фоне учения, принимаемого за истинное, квалифицируется как ересь, т. е. отступничество, заблуждение. Таков парадокс истинной веры и истинной идеологии. Они не допускают обновления.

Истинная вера не допускает также смешения ни с каким другим вероисповеданием. Разделение вер оборачивается разделением верующих. Эта идея содержится уже в притчах, которые Христос рассказывает ученикам в объяснение своей трапезы в доме мытаря Левия: «При сем сказал им притчу: никто не представляет заплатки к ветхой одежде, отодрав от новой одежды; а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплатка от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого; ибо говорит: старое лучше» (Лк. 5, 36–39). Новое учение требует для своего начертания *tabula rasa*.

Встав на новый путь, человек должен отринуть от себя все старое («мертвое»). Обращенным в новую веру Иисус запрещает оборачиваться назад. Тому, кто захотел прежде, чем следовать за ним, похоронить отца своего, Иисус говорит: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Лк. 9. 60), а тому, кто попросил разрешение прежде, чем следовать за Иисусом, проститься с домашними своими, Он сказал: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9. 62). Новый завет зовет вперед.

Иисус, таким образом, не только подчеркивает несовместимость двух Заветов — старого и нового, но Он сознательно обращает Свой Завет, прежде всего, к людям молодым и не косным, способным расстаться с прошлым, принять новую веру и нести ее людям. Его апостолы, в отличие от ветхозаветных пророков, молоды. Молод и сам Учитель.

Обновление человека радикально. Принявший новый завет становится *новым человеком*: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5. 17). Познавший Христову истину должен «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4. 22–24). Понятие «нового человека» глобально и независимо от национальности. В нем «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3. 11). Быть во Христе Иисусе значит только одно — быть новой тварью (Гал. 6. 15). Во всех этих контекстах использовано слово *καὶνός*.

Таким образом, акцент переносится с новизны учения на то изменение, которое оно вызывает в природе человека, и оно признается кардинальным: на смену *ветхому* пришел *новый человек*. Мир увидел *Нового Адама*. Перед *новым человеком* открывается *новый путь*, ведущий к устройению жизни на *новых началах* — началах любви и свободы, предвещающих *новое бытие* (Мф. 19. 28). Новый человек противопоставляется именно *ветхому*, а не *древнему* человеку, и эта оппозиция более решительна и значима, чем оппозиция ветхого и нового заветов, ибо она преследует не теоретическую, а дидактическую цель: «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего Его» (Кол. 3. 8–10).

В самом этом обновлении решающую роль играет не только формула нового завета (она не противоречит заповедям Моисеевым), сколько ее воплощение в образе Христовом. Отсюда постоянные призывы апостолов поступать так, как поступал Иисус, быть такими, каким был Он, всегда иметь перед собой как бы живой образ Богочеловека: «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Ин. 2. 6). Образ воздействует на сознание людей сильнее, чем идея. Примером для человека может быть только человек, такой же, как он, и в то же время другой, *новый*. Иисус воздействует на людей не только Своей мудростью, но и Своей жизнью. Наконец, очень важно то, что, приняв образ человека, Бог-Сын вызывает к себе любовь, подобную той любви, которою человек любит человека, но вместе с тем другой. Виды любви многообразны, но язык их не различает.

Новый человек, таким образом, предстал не только в идее, но и во плоти, став тем самым примером для следования и источником веры в человека. Не случайно подражание Христу было одной из тем христианского богословия, соединившей в себе дидактические цели с лирическими мотивами, ср. сочинение Фомы Кемпийского «Подражание Христу». О силе воздействия образа Христа на сознание верующего христианина свидетельствуют следующие слова Ф. М. Достоевского из письма Н. Д. Фонвизиной, написанного им в 1854 г. из Омска сразу после выхода из острога. Разъясняя свой символ веры, Достоевский писал: «Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (Достоевский 1985, 176). Так, новая вера воплотилась в новом человеке — единственном и больше не повторившемся.

* * *

В «Откровении Святого Иоанна», заключительной части «Нового Завета», мотив новизны возникает вновь. Он и здесь отнесен в перспективу будущего, но он не ассоциируется с грядущим Судом над человечеством, хотя именно ему посвящена основная часть Апокалипсиса. Новизна, так же как в Ветхом Завете, мыс-

лится как результат творческого акта Бога, который создаст совершенно новый мир — Царство Божие. Прозревая его, Иоанн говорит: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны» (Откр. 21. 1–5). Сидящий на престоле Творец — Иисус Христос — в этом новом Своем явлении будет называться *новым именем*. Он говорит, адресуясь Сардийской церкви: «Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое» (Откр. 3. 11–12). Апокалипсис возвращает к идее сотворения нового мира, заявленной в Ветхом завете.

Подведем некоторые итоги.

В библейских текстах в терминах новизны (*καινός*) характеризуются прежде всего идеологические объекты, не обновляемые в результате смены природных циклов: *новый завет, новая заповедь, новое учение, новая песнь, новое имя*, метафора *новое вино*. «Новая идеология» дается человеку свыше. Она исходит от Бога и, следовательно, истинна. К ней нельзя ничего прибавить. В Ветхом Завете Бог оповещает о ней людей устами своих пророков. В Новом Завете ее несет людям Иисус Христос — воплощенное Слово Божие — и Его апостолы. Идеологически новое (*новое учение, новый завет, новая вера*) не просто отлично от уже существующего, оно знаменует собой эпоху, новую эру и новую веру, новый этап в развитии народа (в Ветхом Завете) и человечества (в Новом Завете).

Идеологически новое имеет своей целью кардинальное изменение духовной природы человека. Признак новизны в Новом Завете переносится на человека и его духовный мир: *новый человек, новая тварь, новое тесто, новое сердце, новый дух, обновление духа, обновление ума*. Новым делает человека исповедание *новой*

веры: принятие нового обетования в Ветхом Завете и завета Христова в Новом Завете. Вместе с верой новый человек должен принять новые формы жизни. Этим определяются сочетания *новая (обновленная) жизнь, новый путь*.

Признак новизны относится также к внешнему миру: *новый мир, новое небо, новая земля, новый град, новый Иерусалим*. Новый мир возникнет в результате творческого акта, совершаемого Богом. В Ветхом Завете творение нового мира сопутствует заключению Богом нового Союза-Завета с Его народом. Новый мир предстает как улучшенный вариант старого. В нем будет жить избранный Богом народ. В Новом Завете о новом мире речь идет в Апокалипсисе. Бог сотворит новое небо, новую землю и новый град во время своего второго пришествия. Его творение будет отвечать некому идеальному прообразу. В этом новом и идеальном мире — Царстве Божиим — Бог поселит сто сорок четыре тысячи спасенных им праведников.

Во всех случаях «новое» связано с будущим — близким (вот-вот наступающим) или далеким, является результатом творчества, привносится в мир Богом, истинно и неизменно, кардинально меняет все сущее, но вместе с тем имеет прецедент, не является следствием эволюционного процесса и несет в себе положительные коннотации. Напротив, деградация жизни и падение нравов представляется в Священном Писании как длительный процесс отживания старого. Новое в библейских контекстах нерукотворно. Признак новизны не приписывается артефактам и не ассоциируется ни с какими формами технического творчества человека. Человек не изобретает нового; он его принимает, соучаствуя в воплощении замыслов Творца.

Ценностные коннотации «нового» и «старого» нестабильны. Они обусловлены культурным и социальным контекстом, соотношением сил в обществе, настроением умов, прочностью устоев и силой власти, харизматическими свойствами вождей, учителей и Учителя. Напомним, что в эпоху раскола приверженцы уже существующей веры и традиционных обрядов называли себя *староверами (старобрядцами)*. Охранительная тенденция была для них знаком верности учению, принятым ритуалам и жизненным устоям. Несмотря на необычайную духовную мощь и харизму своего главы — протопопа Аввакума, они остались в меньшинстве, но до сих пор хранят верность старой вере. Интересно отметить, что никонианцы называли их раскольниками, тогда как логично называть раскольниками не блюстителей традиции, а сторонников нововведений.

Нам остается сказать несколько слов об отношении *нового* к *первому*. Первое всегда ценится выше нового, ибо оно есть абсолютное начало, т. е. не имеет прецедента. Новый Завет, однако, не может быть квалифицирован как *первый*, поскольку ему предшествует Синайский Завет и именно он поначалу назывался *первым*. Он не может быть назван также *вторым*, поскольку любое порядковое числительное указывает лишь на место в бесконечном числовом ряду и имплицитно подразумевает продолжение, т. е. неокончателность. Такая же импликация, хотя и не столь очевидная, есть и у прилагательного *новый*. Но оно было выбрано самим Иисусом и отвечало требованиям времени. Оно, кроме того, допускало темпоральное противопоставление, отодвигающее учение, предшествующее Новому Завету, в прошлое. Тем самым оно позволяло отказаться от обозначения Синайского Завета как первого и называть его по признаку устарелости. Несколько иначе обстоит дело с отношением первенства к Иисусу. Иисусу тоже предшествует первый человек — Адам, и он называется, поэтому, *Новым Адамом* и даже *последним Адамом* (1 Кор. 15. 45). Он называется также *вторым человеком*: «Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба» (1 Кор. 15. 47). Однако в тексте Нового Завета акцент постепенно переносится на первенство, прасуществование Иисуса: «...который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое... И Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство: ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота» (Кол. 1. 15–19). В этом случае *первое* берет верх над *новым*.

В заключение подчеркнем, что понятие «нового» столь органично вошло в Новый Завет, поскольку в мире Нового Завета воспроизводятся реалии, прогнозы и ситуации Ветхого Завета. Само понятие *нового завета* есть отклик на Моисеев завет, нагорная проповедь — на получение заповеди на Синае. В Новом Завете речь идет о *новом храме, новом Давиде, новом Мессии, новой Святой земле, новом Адаме, новом Иерусалиме*. В нем повторяется идея сотворения *новой земли и нового неба*. Глубоки различия между иудаизмом и христианством. Они особенно заметны в сфере ритуала. Но столь же глубока и существующая между ними связь. Не случайно Библия объединяет оба Завета. Мудрость первого дополняется в ней откровением второго, Закон (буква) — духом, ибо «буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3. 6). Связь двух Заветов подчеркивалась уже средневековыми богословами.

Так, Сугерий — аббат монастыря Сен-Дени (1081–1151) — говорил, опираясь на слова ап. Павла (2 Кор. 3. 14): «Новый Завет в Ветхом скрывается, Ветхий в Новом — открывается» (*Quod Moises velat, Christi revelat*); Ветхий и Новый Заветы проникают друг друга. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к приложению к Новому Завету, публикуемому издательством «Жизнь с Богом» и озаглавленному «Единство Библии» (Новый завет 1989, 555–579). В нем указаны все ссылки на Ветхий Завет в Новом и все те места в Ветхом Завете, которые предвещают идеи и события, описанные в Новом Завете. Их многочисленность поражает.

В настоящих очень кратких заметках мы хотели обратить внимание на те коннотации, которые сопутствуют лексическому значению слова в контексте разных культур, эпох и умонастроений. нас вдохновляла идея «культурной семантики», поставленная и подробно рассмотренная Н. И. Толстым в рамках более общей задачи целостного описания значения слова. Она «состоит в том, чтобы выявить внутренние связи между всеми уровнями значения, раскрыть логику того „образа“, который закреплен за словом в сознании носителей языка» (Толстой 1995, 290). Н. И. Толстой писал: «Языковая семантика самым непосредственным образом связана с „языковой картиной мира“, а она различна у ученого-биолога и крестьянина-земледельца, у современного „среднего, наивного“ носителя языка и представителя традиционной культуры архаического типа. Более того, один и тот же субъект может быть манифестантом разных культурных моделей — обыденной и научной, обыденной и религиозной; обыденной, мифологической и религиозной и т. п.» (там же, 291). Особое внимание Н. И. Толстой уделял взаимодействию обыденного и религиозного сознания, повседневной жизни и ритуала, практической и символической функции предмета, в результате которого «слова обыденного языка получают в языке культуры особые символические значения (культурную семантику)... Культурная семантика, хотя и носит преимущественно символический характер, как правило, не является абсолютно конвенциональной (подобно, скажем, запретительной семантике красного цвета светофора), а обнаруживает определенные, закономерные связи с прочими компонентами значения слова» (там же, 291–292).

¹ Точнее, Христос говорит, что будет пить от нового плода виноградного.

² Здесь и далее мы пользуемся современными эквивалентами церковнославянских и древнерусских слов.

Литература

- Аверинцев 1977 — *С. С. Аверинцев*. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
- Аверинцев 1983 — *С. С. Аверинцев*. Истоки и развитие раннехристианской литературы // История всемирной литературы. М., 1983, т. 1.
- Арутюнова 1997 — *Н. Д. Арутюнова*. О новом, первом и последнем // Логический анализ языка. Язык и время. М., 1998.
- Достоевский 1985 — *Ф. М. Достоевский*. Полное собрание сочинений в 30 томах. М., 1985, т. 28.
- Новый завет 1989 — Новый завет. Bruxelles, 1989.
- СлДРЯ XI–XIV вв. — Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. М., 1988, т. 1.
- СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975, вып. 2.
- Толстой 1995 — *Н. И. Толстой*. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.
- Concordance 1993 — A Concordance to the Septuagint and the other Greek versions of the Old Testament. Athens, 1993, vol. 2 (1st ed. — Oxford, 1897).
- Coenen 1993 — *L. Coenen, E. Beyreuther, H. Bietenhard* (Hrsg.). Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament. Budapest, 1993.
- SJS — Slovník jazyka staroslověnského. Praha, 1961, sv. 4.

Presupozičná a referenčná identifikácia vlastného mena

Akademikovi N. I. Tolstému neboli v jeho širokých bádateľských záujmoch cudzie ani otázky onomastiky. Jeho svetlej pamiatke venujeme príspevok z okruhu teórie vlastných mien.

1. Spomedzi funkcií jazykového znaku má osobitné postavenie identifikačná funkcia, charakteristická pre kategóriu vlastných mien. Chápeme ju ako komplexnú funkciu, v ktorej sa spája pomenovanie druhového jedinca ako osobitného individua s jeho diferenciáciou od iných druhových jedincov (pri osobných menách ide o odlišenie rodinného príslušníka od iných rodinných príslušníkov rodným menom); identifikácia a diferenciacia druhových jednotlivín sa realizujú len v takých pomenovacích situáciách, keď si to vyžadujú isté spoločenské potreby. V takomto chápaní je identifikačná funkcia («spoločensky podmienená identifikácia») základným a spoločným príznakom kategórie vlastných mien.

V spoločenskej komunikácii poznáme pri identifikácii druhových jedincov dve typové situácie, ktoré závisia od spôsobu poznania pomenovaného onymického objektu; ide vlastne o rozličný stupeň vedenia o onymickom objekte. Otázka sa dá formulovať aj takto: Čo rozumieme «znalosťou» vlastného mena? Ako je známe, jazyková kompetencia nezahrnuje znalosť onymických znakov. S domácou a cudzou onymiou sa komunikanti oboznamujú individuálne. Pri dorozumíevacom akte sa aktivizujú činitele, ktoré spolupôbia pri onymickej nominácii; sú to zvukový nosič informácie (designátor), jedinečný onymický objekt (denotát), vedenie o denotáte (myšlienkový obsah) a onymická sémantika (designácia). Pri používaní vlastného mena hovoriaci a počúvajúci interpretujú obsah onymického znaku. Ich dorozumíevanie predpokladá v zásade obdobnú znalosť obsahu mena, hoci sa vyskytujú situácie, keď takéto podmienku nemusia byť splnené.

2.1. Treba podrobnejšie ukázať, čo sa rozumie obsahom vlastného mena. Obsah vlastného mena sa opiera o vedenie o onymickom objekte (o jeho jedinečný pojem). Všimnime si nasledujúci kontext:

A. *Práve som sa vrátil z príjemnej jarnej prechádzky. Bol som pri Jánošíkovej jaskyni, obišiel som Farárku a dostal som sa až k Baračke.*

B. *Ja ešte nepoznám okolie Trenčianskych Teplíc. Nevieť, kde ležia tieto objekty.*

A. *Zajtra ťa ta zavediem.*

V danom prípade je vedenie komunikanta **B** o daných objektoch len povrchové. Dostačí mu však na to, aby zaradil názvy *Jánošíkova jaskyňa, Farárka, Baračka* medzi krajové zemepisné názvy, presnejšie do súboru geoným patriacich do katastra Trenčianskych Teplíc. Tento druh onymickej nominácie označujeme termínom *presupozíčná identifikácia*. V bežnej komunikácii netreba vždy «poznať» onymickú jednotlivinu, nemusí sa teda realizovať príslušná referencia, stačí «vedieť», že napr. názvy *Farárka* a *Jánošíkova jaskyňa* pomenúvajú nejaké neobývané zemepisné objekty v súbore slovenských anojkoným.

2.2. Iná je pomenovacia situácia, keď sa v komunikácii zameriava pozornosť na onymický objekt. Napr. keď vyslovím myšlienku: *Zemepisné objekty Farárka, Jánošíkova jaskyňa a Baračka sa nachádzajú v katastri obce Trenčianske Teplice* podávam komunikantovi potrebné informácie o príslušných onymických objektoch, ktoré mu nemuseli byť známe. Na základe tejto informácie je už možná jednoznačná referenčná identifikácia uvedených názvov. V bežnej komunikácii sa obyčajne kladie dôraz na referenčnú identifikáciu, pri ktorej sa využívajú informačné a encyklopedické poznatky (v konkrétnych prípadoch nerovnako hlboké vedenie) o onymickom objekte, ktoré bývajú individuálne, spoločensky nefixované. Znalosť vedenia o obsahu vlastného mena má individuálne menlivý obsah, aj keď ide o rovnaký a pomerne známy objekt.

Vychádzajúc z lingvistickej pragmatiky, O. Leys (1979) rozlišuje tri druhy používania vlastného mena v kontexte. O (obvyklý) referenčný vzťah ide, keď sa meno vzťahuje na druhovú jednotlivinu, na onymický objekt (napr.: *10 rokov bývam v Modre*). Od tohto prípadu odlišuje metareferenčné použitie (*Môj syn sa volá Martin*) a metajazykové (metagramatické) použitie (*Priezvisko Zatroch je substantívum*). O presupozíčnej identifikácii v pomere k referenčnej identifikácii možno hovoriť pri základnom prvom type.

2.3. K najvyššiemu stupňu poznania obsahu vlastného mena vedie onomastická rekonštrukcia platnosti vlastného mena v onymickej sústave (t. j. na rovine systému). Onomastickou analýzou rekonštruujeme designáciu daného vlastného mena a určíme aj jeho paradigmatické a pragmatické mikroštruktúrne vzt'ahy. Žiada sa pripomenúť, že znalosť referenčného vzt'ahu nie je pri tejto operácii obligátna. Pri onomastickej analýze rekonštruujeme vzt'ahy vlastného mena v tzv. propriálnom kontexte (P: P: P). (Keď sa v komunikácii zameriava pozornosť na referenčnú identifikáciu, východiskový je apelatívny kontext, t. j. A: P: A.) Vypracovaným metodickým postupom sme osvetlili špecifické stránky onymickej nominácie. Abstrakčnými postupmi od konkrétnych onymických znakov sme sa dostali k modelovým hodnotám vlastných mien, ktoré majú vzhľadom na dynamickú povahu onymických príznakov prototypový ráz. Systémotvornými prvkami v sústavách vlastných mien sú pomenovacie modely a ich zložky. Pomenovací model pozostáva z obsahového modelu (tu hovoríme o designácii) a z motivačného modelu, ktorý tvorí prechodný most medzi obsahovým a slovtvorným modelom; formálnymi prostriedkami daného jazyka sa realizuje slovtvorný model v slovtvornom type.

Pri onymickej nominácii je akákoľvek jazyková forma jazykovo stvárnená ako pomenovanie samostatne existujúcej veci, t. j. ako substantívum (porov. napr. priezviská slov. *Vyskoč*, *Skovajsa*, č. *Tenkrát*, *Nevímsám*), ale súčasne ako propriálne substantívum. To znamená, že napr. v západoslovenských menných sústavách sa pri priezviskách vyjadrujú morfológické kategórie: konkrétnosť, počítateľnosť, životnosť, spoločensky podmienená identifikácia // diferenciácia; osobitne sa využíva kategória rodu, čísla, pádu. K tomu pristupujú špecificky onomastické príznaky: spôsob štandardizácie mena (úradné meno — neúradne (živé) meno), rodinný stav (ženatý muž, vydatá žena, (slobodné) dieťa a + konnotatívnosť). Tieto príznaky hodnotíme ako generické príznaky obsahového modelu. Medzi diferenčné príznaky patria: ustálenosť administratívno-právnym // užším spoločenským úzom, príbuzenský vzt'ah k rodine ako celku, dedičnosť. Obsahový model, pozostávajúci z uvedených generických a diferenčných príznakov, tvorí onomastické špecifikum osobných mien (designáciu). Motivačný model poukazuje na motiváciu menom otca, matky, v živých menách sú motivačné podnety omnoho pestrejšie. Pre slovtvorný model je určujúca slovtvorná štruktúra onymického znaku. Pre onymický znak je charakteristické najmä začlenenie do príslušnej slovtvornej paradigmy.

Uvedme ešte modelové hodnoty spomenutého anojkonyma *Farárka* (kataster obce: Trenčianska Teplá)

obsahový model:

generické príznaky — spôsob štandardizácie mena: úradné meno
(s užšou komunikačnou platnosťou)
+ lokalizačný vzt'ah
+ nesídlnosť
konotatívnosť: neutrálne pragmatické
hodnotenie

diferenčné príznaky — privlastňovanie al. iná príslušnosť

motivačný model: poukaz na bývalého vlastníka

slovtvorný model: báza + slovtvorný formant

slovtvorný typ: substantívna báza *farár* + odvodzovacia morféma *-k/a*.

3. Osvetlenie identifikácie druhových jednotlivín pri onymickej nominácii (spojením komunikačného a systémového aspektu) nás priviedlo k nasledujúcu vymedzeniu onymického obsahu vlastného mena. Onymický obsah vytvára 1. designácia vlastného mena (súbor nadindividuálnych, v spoločenskej komunikácii fixovaných, t. j. onymicky relevantných príznakov, ktoré v istom hierarchickom usporiadaní konštituujú propriálnu (onymickú) sémantiku vlastného mena). Zistením onymicky relevantných príznakov daného podsystému môžeme rekonštruovať (na najvyššej abstrakčnej úrovni) pomenovací model danej triedy onymických znakov); 2. individuálne, spoločensky nefixované informačno-encyklopedické príznaky onymického objektu, ktoré neboli integrované do designácie, ale tvoria dôležitú zložku vedenia o onymickom objekte, umožňujúcu v spoločenskej komunikácii referenčnú identifikáciu mena. (Bližšie p. Blanár, 1996; tam aj ďalšia literatúra). Prvá zložka obsahu mena zodpovedá systémovému, druhá komunikačnému aspektu.

Literatúra

- V. Blanár. Téria vlastného mena. (Status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii). Bratislava, 1996.
- O. Leys. Was ist ein Eigennamen? Ein pragmatisch orientierter Standpunkt. Leuvense Bijdragen, 1979, 68, S. 61–86.

В. Бланар

Пресуппозиционная и референтная характеристика собственного имени

В процессе коммуникации мы различаем две характерные ситуации называния онимических объектов: пресуппозиционную идентификацию (удовлетворяет определенным требованиям коммуникации, хотя и исходит из поверхностного знания об онимическом объекте) и референтную идентификацию (когда коммуникация непосредственно направлена на онимический объект). Более глубокому изучению имени собственного и его предназначения способствует ономастическая реконструкция функционирования имени собственного в онимической системе. Мы рассмотрели содержание имени собственного в процессе использования коммуникативного и системного подхода. Содержание имени собственного составляют: 1) его функциональная характеристика (комплекс онимически релевантных признаков) и 2) комплекс не зафиксированных в общественном сознании информационно-энциклопедических признаков (которые способствуют проявлению в коммуникации референтной идентификации).

К славянским обозначениям изобилия и тучности

Широко распространенной семантической основой обозначений большого количества, множества, изобилия в славянских языках является представление о наливании/натекании/обливании/обтекании и насыпании/осыпании.

К модели наливания, натекания принадлежат польск. *obfity* 'обильный', с.-хорв. *plavčati* 'жить в богатстве' (ср. и греч. $\pi\lambda\omicron\upsilon\tau\omicron\varsigma$ 'богатство', нем. *Überfluss*, англ. *flow* 'изобилие', все от и.-е. **pleu-* > слав. **pluti* 'течь'); польск. *stoczny* 'обильный' (к праслав. **tekti*); рус. диал. (обск.) *улівно* 'обильно, потоком' (к *лить*)¹. На базе этой модели мною было предложено истолкование происхождения праслав. **obilъ(jь)* < **obvilъ(jь)* как производного из гнезда слав. **vylati*/**valiti* 'двигаться (особенно течь) во множестве'. Из семантически близких к **obilъ(jь)* образований того же гнезда **vylati* были при этом упомянуты рус. *валить* 'двигаться во множестве', *навалом* 'много', словц. диал. *val'iti se* 'о большой воде', *navalni dišč* 'сильный дождь', словен. *navel* 'множество', кашуб.-словин. *valni* 'большой, обильный' (*zńiw^o valnē*)². Последнее особенно существенно конкретизацией значения прилагательного в контексте, характеризующем урожай хлебов: ср. др.-рус. *обилуе* 'хлеб в зерне'. Этот семантический аспект лексики, относящейся к гнезду **vylati* / **valiti*, может быть дополнен чешским *obalit se něčím* 'окутаться, осыпаться': *strom obalený květy* 'дерево все в цвету', а также рус. диал. (дон.) *обвалом* 'очень много': фруктов там *обвалом*, как волна с-под угла бьет³. Из лексики других гнезд с исходной семантикой 'течь, лить' ср. чеш. *oplyvati* 'изобиловать': *oplyvati plody, u rodou*; рус. диал. (смол.) *оплыться* 'получить что-либо сверх меры': Медведевцы *оплылись хлебом*⁴; рус. диал. (омск.) *обливной* 'урожайный'⁵.

Развитие семантики множества, обилия на базе 'сыпать, осыпать' известно в гнезде праслав. **supti*, **szpǫ*: укр. *супий* 'обильный', рус. *осыпать* чем-л. 'снабдить в большом количестве', рус. диал. (ряз.) *осыпной* 'обильный (о большом урожае грибов, ягод и т. п., изобилии рыбы и т. п.)'⁶, (ряз., чкал.) *насыпной* 'о большом количестве, урожае чего-либо'⁷.

Представления о тучности человека достаточно близки к понятиям множества, изобилия (ср. рус. *тучность*, *полнота*), и соответствующая лексика также обнаруживает связи с глаголами, обозначающими 'течь, лить': см. рус. *налиться*, *оплыть*, *расплыться*, *отечь*, диал. (ряз.) *наливной* 'упитанный, жирный'⁸, (курск.) *облый* 'толстый'⁹, (ряз.) *обловый* 'упитанный'¹⁰ (к **vylati*). Глаголы с той же семантикой нередко служат производящими основами и для лексики с антонимичными (по отношению к тучности, полноте) значениями: см. рус. диал. (тул.) *обточиться* 'сильно похудеть (о человеке)'¹¹. Возможна даже антонимия генетически тождественных образований: ср. блр. *абрыняць* 'опухнуть' (к **rinǫti*¹²) и рус. диал. (влад., пск.) *обринуться* 'сильно похудеть'¹³ (то же гнездо); антонимия отражает разные направления развития семантики префикса **ob-* 'вокруг, около' (направление действия на предмет или в сторону от него).

Уже в последнем случае — *обринуться* 'похудеть' — значение похудения непосредственно связано в семантике диалектизма с 'упасть'; то же сочетание присутствует и в варианте *обринуться* 'похудеть, осунуться' (влад., костр., ряз., тул., ульян.) и 'обрушиться, обвалиться' (влад.)¹⁴. Модель 'падать' → 'худеть' представлена в рус. просторечн. *спасть с лица* и диал. (моск., арх., бурят.) *опась*¹⁵; близка к ней модель 'обрывать, бросать' → 'худеть': рус. диал. (ряз.) *сбры́сать* 'похудеть'¹⁶ (к **brъsati*/**brysati*¹⁷), просторечн. *сбросить*, *скинуть* (вес).

В славянском этимологическом гнезде **supti*, **szpǫ*, наиболее ярком выразителе семантики 'сыпать', нет, кажется, прозрачных образований со значениями круга 'толстеть'/'худеть'. Но можно предполагать участие этого гнезда в возникновении значения рус. *осунуться*, известного литературному языку и диалектам, — 'худеть'. В диалектах зафиксированы также и другие значения этого глагола и некоторые родственные лексемы: *осунуться* 'обвалиться, обрушиться' (смол., пск., литов.), 'осесть, опуститься, спрессоваться' (литов.), 'постареть, одряхлеть' (смол.), *осовываться* 'оседать, опускаться, спрессовываться' (смол.), 'худеть, стареть, дряхлеть' (смол.), *осоваться* 'обвалиться, обрушиваться; худеть' (смол.)¹⁸. Судя по приведенному родственному окружению, глагол

осунуться восходит к гнезду праслав. **sovati*, **sujq*, **sunqti*. Однако в глагольной *-q-* основе **sunqti* должны были совпасть, вследствие упрощения группы согласных *pn*, производные из гнезд слав. **sovati* и **supti*, **sъpъq*. Как следы семантики 'сыпать' в основе **sunqti* можно толковать значения с.-хорв. *сунути*, *сунѣм* 'немного налить, насыпать' (при *на̀сунути*, *на̀спѣм* 'насыпать, налить', *с̀асунути*, *с̀аспѣм* 'высыпать, всыпать, вылить, влить')¹⁹, польск. стар. *osunąć* 'осыпать, покрыть'²⁰. Представляется, что и семантика рус. *осунуться* является результатом взаимодействия, слияния семантики двух гнезд, причем участие значения 'сыпать' прослеживается в 'осесть, спрессоваться'²¹.

Развитие на базе исходной семантики 'падать, рушиться' значения 'сыпаться' создает условия для образования от соответствующего глагола обозначений с семантикой тучности. Таким образом можно истолковать происхождение рус. диал. *обрюта* м. и ж. р. 'толстяк, толстячка' (костр.), 'человек с толстым лицом' (пск., твер.), 'неуклюжий, неряшливый человек' (костр.), 'простофиля' (перм.), *обрюток* 'толстяк' (моск., яросл., курск.), 'человек с толстым лицом' (пск., твер.), 'о толстом животном' (курск.)²². Наличие варианта *обреутка* м. и ж. (ряз., моск.) 'толстяк', *обреуток*, *-тка* 'толстяк' (моск., ряз., казан.), 'невысокий крепыш; толстяк, ленивец' (влад.), 'толстый ребенок' (сарат.), мн. 'толстые ломти чего-либо' (пенз.)²³ послужило обоснованием гипотезы об образовании этих лексем от глагола *реветь*, с развитием значения 'реветь' → 'толстый, обрюзглый' (ср. *брюзжать* — *обрюзглый*)²⁴. Однако *обрюзглый* образовано непосредственно не от *брюзжать*, а от *обрюзгнуть* 'отець, потолстеть', а для *реветь* подобное семантическое развитие неизвестно. В то же время, для группы *обрюта*, *обрюток*, *обреутка*, *обреуток* не зафиксированы значения типа 'плакса, капризный ребенок'.

Альтернативным объяснением происхождения *обрюта* может быть предположение о его образовании от праслав. **obr'utiti*, продолжения которого представлены в славянских языках не только со значением 'обруши(ва)ться, обвали(ва)ться, осыпаться', но также и 'засыпать, забросать, покрыть чем-либо' (см. ст.-чеш. *obr'útiti*, чеш. *obr'ítiti*, ст.-польск., польск. *obrzuć*, словин. *vobřáčěs*). Отмечено также производное от последнего значение 'наестся сверх меры' — у ст.-чеш. *obr'útiti se*²⁵, ср. и ст.-польск. *obrzutność* 'обжорство'²⁶. К семантике рус. *обрюта* достаточно близко словенское прилагательное *obruten* 'неуклюжий, неловкий'²⁷ — ср. выше костр. *обрюта* 'неуклюжий, неряшливый человек'. Учитывая словенско-русское соответствие, этимологи, однако, продолжали определять обе

лексемы как генетически неясные²⁸. Но если рус. *обрюта* может быть производным от праслав. **obr'utiti*, то для словен. *obruten* вероятна связь со словен. *rutiti* 'повреждать', а этот глагол восходит к праслав. **rutiti* — варианту праславянского **r'utiti*²⁹.

Принятие гипотезы о происхождении рус. *обрюта* из гнезда праслав. **r'utiti* означает генетическое отождествление русской лексемы с польск. *obrzut* стар. 'нападение; негодование, гнев', редк. 'покрыв, прикрыти'³⁰, но нельзя исключить и возможность параллельного образования. Адъективная основа словен. *obruten* в принципе тождественна вероятной производящей -*ьл*-основе в ст.-польск. *obrzutność* 'обжорство' (см. выше), при вариантности корневого сонанта. Следовательно, и для прилагательного возможна как праславянская древность, так и поздний параллелизм словообразовательных актов. Во всяком случае, семантическая и структурная близость словенского прилагательного к рус. *обрюта* и приемлемость для него этимологического истолкования на базе того же этимологического гнезда, которое предполагается в качестве исходного для *обрюта*, увеличивает вероятность предлагаемого решения.

Истоки варианта *обреуток* следует искать, очевидно, учитывая почти полное исчезновение глагола *рютити* в русском языке и, следовательно, деэтимологизацию слова *обрюта*, *обреуток*. Вероятно народноэтимологическое преобразование первичной формы слова (ср. ст.-рус. *реут* 'колокол?'). Ср. структурно однотипное преобразование в рус. диал. (новгор.) *обраўшиться*, *обреўшиться* 'упасть куда-л., обрушиться'³¹.

¹ Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. Дополнение, ч. II / Под ред. О. И. Блиновой, В. В. Палагиной. Томск, 1975, с. 239.

² Ж. Ж. Варбот. Праславянская морфонология, словообразование и этимология. М., 1984, с. 47–49.

³ Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин. Л., 1986, вып. 21, с. 355. (Далее — СРНГ.)

⁴ СРНГ, вып. 23, с. 268.

⁵ СРНГ, вып. 22, с. 99.

⁶ СРНГ, вып. 24, с. 100.

⁷ СРНГ, вып. 20, с. 211.

⁸ Там же, с. 15.

⁹ Опыт областного великорусского словаря / Изд. Вторым отделением имп. Академии наук. СПб., 1852, с. 133.

- 10 Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области) / Под ред. И. А. Оссовецкого. М., 1969, с. 354. (Далее — Оссовецкий.)
- 11 СРНГ, вып. 22, с. 245.
- 12 В. А. Меркулова. Рец. на: Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1978, т. 1 // Этимология 1979. М., 1981, с. 175.
- 13 СРНГ, вып. 22, с. 206.
- 14 Там же, с. 219.
- 15 СРНГ, вып. 23, с. 229.
- 16 Оссовецкий, с. 502.
- 17 Ж. Ж. Варбот. Заметки по этимологии русской диалектной лексики (на материале словаря д. Деулино) // Диалектологические исследования по русскому языку. М., 1977, с. 258–260.
- 18 СРНГ, вып. 24, с. 40–41.
- 19 Миклошич отнес с.-хорв. *сўнутити* к гнезду **sovati*, см.: F. Miklosich. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886, S. 328.
- 20 J. Kartowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki. Słownik języka polskiego. Warszawa, 1904, т. III, с. 878. (Далее — Warsz.). В статье *osunąć, osuwać* при значении 'осыпать' отмечена синонимия с *osypać*.
- 21 Гипотезу о другом слиянии в истории гнезда праслав. **supti*, **szpq*, а именно **suti* < **supti* и **suti* 'идти' (и.-е. **skeu-*, откуда гот. *skewjan* 'идти'), служащую для объяснения семантики чеш. *sunouti, sypati* 'быстро идти, бежать', см.: V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého. Druhé vyd. Praha, 1968, s. 593, 599.
- 22 СРНГ, вып. 22, с. 220.
- 23 Там же, с. 204–205.
- 24 Дополнение О. Н. Трубачева к статье *обрюток* в: М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка / Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. М., 1971, т. III, с. 108.
- 25 Staročeský slovník. 9 / Hl. red. V. Havránek. Praha, 1977, s. 179.
- 26 Warsz., т. III, с. 516.
- 27 М. Pleteršnik. Slovensko-nemški slovar. D. I. Ljubljana, 1894, s. 747.
- 28 Л. В. Куркина. Заметки по словенской этимологии // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1980. М., 1982, с. 275–276; F. Bezlaj. Etimološki slovar slovenskega jezika. Knj. II, s. 238. (Далее — Bezlaj.)
- 29 Bezlaj, knj. III, s. 210–211.
- 30 Warsz., т. III, с. 516.
- 31 Новгородский областной словарь / Отв. ред. В. П. Строгова. Новгород, 1994, вып. 6, с. 106.

Этнолингвистика, аксиология и словообразование

В статье, посвященной Д. К. Зеленину¹, Н. И. Толстой приводил слова А. А. Шахматова, который, говоря о достоинствах работы Дмитрия Константиновича «Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненебных согласных в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации», отмечал, что «ценность ее особенно значительна потому, что автор сумел проложить ряд путей, которыми неминуемо воспользуются будущие исследователи». Думается, что эти слова А. А. Шахматова с полным основанием можно отнести и к самому Никите Ильичу, с именем которого связано становление и развитие этнолингвистики.

Определяя эту науку, очерчивая круг ее проблем и задач, Никита Ильич указывал на интердисциплинарный характер этнолингвистики. «Позволительно напомнить, — пишет он в статье «Язык и культура», — что новые, перспективные проблемы и ситуации возникают на стыке наук, на стыке разнородных компонентов и материалов... и ни одна дисциплина не может существовать только в себе и исключительно для себя» (Толстой 1995, 25).

В этой связи хотелось бы обратить внимание на отношение этнолингвистики с психологической антропологией (или, в терминологии М. Лацаруса и Х. Штейнталя, «психологии народов») и через нее с лингвистической аксиологией.

Предметом психологической антропологии является вопрос о том, как человек мыслит, чувствует, эмоционально реагирует и действует в условиях различных культур. В связи с чем в центре ее внимания — исследование проявлений «человеческого духа» в языке, обычаях, обрядах, мифах, т. е., иными словами, анализ процессов восприятия, познания, мышления и эмоционального отношения человека к миру. Язык в соответствии с направленностью психологической антропологии служит одновременно и инструмен-

том ментального упорядочивания мира, и зеркалом этнического мировидения.

Такой подход к языку сближает психологическую антропологию с этнолингвистикой, с характерной для нее оценкой языка (берущей свое начало от В. Гумбольдта) «как деятельности народного духа».

Актуализация в последнее десятилетие идей антропологической лингвистики, обратившейся к изучению «души языка», т. е. опредмеченному в нем мировидению, системы ценностей этноса, дала мощный толчок развитию нового научного направления — лингвистической аксиологии. Находясь на стыках нескольких наук — этнолингвистики, психологической антропологии (этнопсихологии), социологии — лингвистическая аксиология обращена к изучению системы ценностей этноса и способов их репрезентации в языке и духовной культуре.

Имея своей целью реконструкцию системы ценностей как одной из составляющих этнических и культурных традиций, лингвистическая аксиология вписывается, как представляется, в круг проблем, решаемых этнолингвистикой — проблем языка и этноса, языка и культуры, языка и народного менталитета (сошлюсь в связи с этим на интересную работу С. М. Толстой «Аксиология времени в славянской народной культуре», в которой вскрывается система магических оценок времени и их мотивационных критериев). Изучение системы ценностей этноса (как глубинных, личностных, так и идеологизированных, общественных) дает возможность выявить своеобразие в его мировидении, мирочувствовании и мирозерцании.

В связи с этим чрезвычайно важное значение приобретает изучение психологии восприятия среды, поскольку «восприятие и осознание человеком мира оказывается производным от культурно-исторического бытия человека» (Петренко 1988, 14). Описание и анализ языковой модели, репрезентирующей это восприятие, дает возможность «погрузиться» в мир ценностей того или иного народа.

Существующая тесная эмоционально-когнитивная связь этноса с природной средой его обитания открывает широкие перспективы в изучении этнического мировидения через взаимодействие языковых, этнокультурных и этнопсихологических факторов. Как показали исследования социальных географов, одними из первых обративших внимание на связь психологии восприятия среды с культурной принадлежностью этноса, «поверхность земли видится каждой личностью исключительно через призму своей культуры» (Lowenthal 1961, 260). Поэтому в каждом языке предстает своя

«субъективная реальность» как результат процесса объективации идей, образов, реалий в их этнокультурном своеобразии.

При этом «сознание не просто дублирует с помощью знаковых средств отражаемую реальность, а выделяет в ней значимые для субъекта признаки и свойства, конструирует их в идеальные обобщенные модели действительности» (Петренко 1988, 12). И здесь чрезвычайно важная роль в понимании ценностных ориентаций того или иного этноса принадлежит словообразованию, поскольку оно раскрывает особенности видения и «прочтения» мира тем или иным народом и является своеобразным ориентиром в его освоении. А так как не все семантические сферы языка открыты для актов словообразования, то наличие словообразовательно маркированных элементов языка подсказывает исследователю, что в языковом сознании народа является жизненно и социально важным, ибо уже сам выбор того или иного явления действительности в качестве объекта словообразовательной детерминации свидетельствует о его значимости для носителей языка. Яркой иллюстрацией этого положения является статья А. Ф. Журавлева «Древнеславянская фундаментальная аксиология в зеркале праславянской лексики»: анализируя, на первый взгляд, бессистемные образования с префиксом **bez-*, автор приходит к выводу, что с помощью негативирующей префиксации маркировались не любые величины, а лишь те, которые относились к фундаментальным ценностям славян (Журавлев 1998).

Словообразование, таким образом, открывает возможности для концептуальной интерпретации действительности. Оно позволяет понять, как и где элементы внеязыковой действительности и как словообразовательно маркируются, а также задуматься над вопросом, почему они удерживаются сознанием. Несомненно, что цветовые, звуковые, вкусовые, функциональные качества и свойства предметов и явлений внешнего мира актуализируются лишь в тех объектах, которые вовлекаются в сферу познавательной и практической деятельности человека и которые представляют для него жизненную или социальную ценность. Мы согласны с Т. М. Николаевой, которая, говоря о роли качественных прилагательных в формировании картины мира, замечает: «Приписывая предметам и явлениям окружающего мира те или иные объективно присущие им свойства, человек демонстрирует свое безразличие к этим свойствам» (Николаева 1983, 235–236). Сам процесс их «означивания» с помощью словообразовательных средств предполагает измерение их значимости для носителя языка. Поэтому именно в словообразовании ярче всего реализуется идея связи аксиологии со структурой языка.

На эту аксиологическую ориентированность русского словообразования давно уже обратили внимание философы. «У русских, как и у всех славян, — писал в свое время Н. О. Лосский, — высоко развито ценностное отношение не только к людям, но и ко всем предметам вообще. Это выражается в обилии уменьшительных, увеличительных и уничижительных имен» (Лосский 1957, 7). Признавая справедливость этих слов, хотелось бы уточнить, однако, что не только эмоционально-экспрессивная лексика является выразителем ценностных отношений, но и стилистически нейтральная, если при определении понятия ценности исходить как из положительной и отрицательной значимости, так и нулевой.

Какие же ценности становятся объектом словообразовательного детерминирования?

Следует сразу сказать, что в каждой семантической сфере языка, открытой для актов словообразования, использование деривационных средств подчиняется логике своей системы ценностей, хотя входящие в нее типы оценок могут быть общими для разных номинативных участков. В этом отношении чрезвычайно богатый материал дает русское диалектное словообразование.

Если обратиться, например, к макрокосму, и в частности, к семантической сфере «Природа», то здесь отчетливо выделяются ценности, которые условно можно обозначить как «Человек и природа». Представление человека об окружающем его мире, и в частности о природе, формирует глубинную основу его системы ценностей и прежде всего — ценностей биологического выживания. О ценностном отношении к природе как к источнику жизни или смерти и шире — добра или зла говорит существование значительного пласта производных имен, обозначающих различные состояния природы. В основе большинства имен, входящих в семантическую сферу «Небо и небесные тела», лежит аффективная (сенсорная) оценка, связанная с чувственным (в том числе физическим) способом познания мира. Небезынтересно в связи с этим отметить, что в указанной семантической сфере наиболее яркое словообразовательное выражение получили имена, входящие в номинативный участок «Атмосферные и климатические явления» и относящиеся к миру антиценностей (плохая погода и сопровождающие ее дождь, снег, мороз, ветер и т. д.), сошлюсь, например, на активное использование диалектоносителями словообразовательных средств для обозначения *плохой, ненастной* погоды, ср. *беспогодица* Барнаул., СРНГ, вып. 2, 272; *негода, негодица* Курск., Брян., Волгогр., Дон., Кубан., Приамур., СРНГ, вып. 20, 372; *неведрие, неведро* Арх., *неведря* Тамб., там же, 329; *наносица* Пск., Твер., там же, 51; *невзгода, невзгодье* Ряз., Орл., Твер., Пск.,

Костром., Симб., Влад., СРНГ, вып. 20, 339–340; *непора* Пск., Твер., СРНГ, вып. 21, 119; *зябель, зябло* Пск., Север, Олон., Твер., Смол., СРНГ, вып. 12, 44, 47; *исхолодь* Твер., там же, 269; *ледина* Арх., Беломор., СРНГ, вып. 16, 321; *холодель, холодень, холодуха* Даль без указ. места IV, 558). При этом если семантическое пространство 'хорошая погода' практически не членится языковым сознанием русского народа, то семантическое пространство 'плохая погода' имеет высокую степень расчлененности (ср. *засиверка* 'ненастная холодная погода летом' Арх., Сев.-Двин., Моск., СРНГ, вып. 11, 30; *заверняй* 'стужа' Пск., Твер., СРНГ, вып. 9, 303; *мозглятина* 'сырая промозглая погода' СРНГ без указ. места, 18, 202; *мокроступица* 'осеннее ненастье' Перм., СРНГ, вып. 18, 211; *ледоколица* 'ненастная осенняя погода перед началом зимы с мокрым снегом, дождем и гололедом' Яросл., СРНГ, вып. 16, 323; *осенница* 'дождливая, похожая на осеннюю погоду' Пск., Твер., СРНГ, вып. 23, 367; *дрябня* 'слякоть, сырая погода' Влад., СРНГ, вып. 8, 223; *дряпуха* 'слякоть' Ряз., там же, 231), причем в диалектах имеется не только общее название плохой погоды, но и множество видовых, позволяющих его детализировать (ср. обозначение *дождливой, сырой* погоды: *дрябня* Влад., там же, 225; *замочь* Арх., СРНГ, вып. 10, 259; *капель* Ряз., СРНГ, вып. 13, 51; *мокорь* Влад., *мокреда* Ряз., *мокрень* Брян., Тул., *мокресть* Арх., *мокрись* Арх., *мокрет* Tobol., *мокреца* Амур., *мокроподоица* Твер., *мокрота* Горно-Алт., *мокроть* Арх., *мокрохвостица* Пск., Твер., *мокрянница* Калуж., СРНГ, вып. 18, 207–213), что становится понятным, если рассматривать их с точки зрения ценностей биологического выживания: маркируется, как правило, то, что является не только аномальным, но и несет в себе угрозу для жизни (в том числе и для сельского хозяйства). Именно этим, по-видимому, объясняется тот факт, что все иные ценности в этой семантической сфере словообразовательно практически не детерминируются.

Если исходить из того, что любое явление, оцениваемое как хорошее или плохое (полезное или вредное), является ценностью, то выбор этих природных явлений в качестве объекта словообразовательного маркирования свидетельствует о том, что внимание русского человека обращено не столько к небу и небесным телам (этот семантический участок практически закрыт для словообразования), сколько к тем атмосферным явлениям, которые определяют среду его обитания и связаны с его биологическим выживанием².

Если же подойти к этим явлениям с позиций категорий *добра* и *зла*, то следует признать, что в русском языковом сознании они предстают как источник зла (т. е. угрозы существования), а в

языковой (а точнее словообразовательной) реакции проявляется одна из ценностных ориентаций русского народа, точкой отсчета которого в духовном освоении мира выступали прежде всего ценностные противоположности — добра и зла, небесного и земного. Попутно отметим, что здесь, возможно, отразилась бинарная система мировосприятия русского народа, на которую указывал Никита Ильич, — христианская и языческая. «Одна из них обращена к небу, божественному началу, другая — к земле, к плодам земным, к их изобилию, зависящему, по древним представлениям, не только от человека и Бога, но и от сил сверхъестественных» (Толстой 1996, 157).

Совсем иные ценностные ориентации представлены в семантической сфере микрокосма. Здесь на первый план выходят личностные ценности, в частности этические, эстетические, поведенческие, витальные, с которыми оказываются тесно связаны ценности утилитарные (в русских диалектах, например, при словообразовательном детерминировании этических ценностей, маркируется прежде всего негативная оценка человека, ср. *врагун* Тамб., СРНГ, вып. 5, 183, *злыдарь* Вят., Пенз., Ряз., Тамб., Тул., Твер., СРНГ, вып. 11, 293, *озлобок* Влад., СРНГ, вып. 23, 95, *лютнич* Ряз., СРНГ, вып. 17, 248, *невзгодник* Пск., СРНГ, вып. 20, 339, *ненавидчик* Пск., Твер., СРНГ, вып. 21, 91, *нелюдь* Влад., там же, 76 'злой, недоброжелательный человек' или *грубец* Тамб., СРНГ, вып. 7, 156, *грубитель* Север, там же, 156, *зубач* Арх., СРНГ, вып. 11, 358, *огрызень* Тамб., СРНГ, вып. 22, 358, *непочетник* Пск., Ряз., Калуж, Пенз., СРНГ, вып. 21, 123 'грубый человек' при практически отсутствующих производных с противоположным признаком; а при актуализации психологических (эмоциональных) оценок маркируется в основном положительная оценка, особенно ярко проявляющаяся в названиях любимого человека, ср. *любаш* Дон, Новг., СРНГ, вып. 17, 234, *облюбенец* Смол., СРНГ, вып. 22, 115, *милаш* Ряз., Волог., Арх., Тюмен., Тобол., СРНГ, вып. 18, 160, *милень*, Волог., там же, 160, *ненаглядник* Вят., СРНГ, вып. 21, 92, *дружень* Пск., Новг., СРНГ, вып. 8, 212, *желанчик* Яросл., СРНГ, вып. 9, 101, *заглядимчик* Волог., СРНГ, вып. 10, 8 и т. д., при том что производные с противоположной оценкой практически отсутствуют). Такое обилие имен с этической и эмоциональной оценкой (причем не только в диалектах, но и в литературном языке) позволило А. Вежбицкой говорить о гиперболизации моральных оценок в русском языке и оценить этот факт как «отголосок моральной и эмоциональной ориентации русской души» (Вежбицкая 1996, 84). А если исходить из того, что словообразовательно маркируется то,

что не соответствует этическим взглядам личности (т. е. явления аномальные в человеческих отношениях), то следует признать, что прирожденным типом русской природы является тип доброго и отзывчивого человека (нельзя исключить, однако, что мы имеем дело с проявлением одной из языковых универсалий, о чем свидетельствует сходная ситуация в чешском языке, причем не только в современном, но и в древнечешском (подробнее см.: Стемковская 1997, 43). Детальное изучение этого вопроса в сопоставительном аспекте позволит многое прояснить здесь).

Своеобразие этнического мировосприятия русского народа проявляется и в экспликации эстетических оценок. Здесь как будто бы наблюдается сходная ситуация, а именно маркируется чаще всего отрицательная оценка (ср. *некраса* СРНГ без указ. места, 21, 64, *невзора* Горьк., СРНГ, вып. 20, 341, *отеребок* Яросл., СРНГ, вып. 24, 176, *ошлепок* Перм., СРНГ, вып. 25, 91, *изродок* Пск., Твер., СРНГ, вып. 12, 168 в значении 'некрасивый человек'), однако картина меняется, когда речь идет о женщине: в этом случае словообразовательные средства используются прежде всего для образования имен, обозначающих красивую женщину (ср. *красавка* Ворон., СРНГ, вып. 15, 172, *красовитка* Смол., СРНГ, вып. 15, 198, *красуля* Твер., Влад., Костром., Калуж., там же, 202, *лобаста* Тул., СРНГ, вып. 17, 233, *мазена* Яросл., там же, 295, *мазеха* Олон., Влад., СРНГ, вып. 15, 296 и т. д.), тогда как признак 'некрасивая' практически не маркируется (ср. единичные *кособитка* Твер., там же, 61, *некрасища* Арх., СРНГ, вып. 21, 64)³.

Даже эти небольшие эмпирические наблюдения свидетельствуют о том, что словообразовательно маркированная лексика — это не бессистемные образования, а сознательное и целенаправленное словотворчество. В языке как в духовной «памяти народа» семантически и словообразовательно маркируется то, что имеет практическую ценность в его повседневной жизни. Познавательное и ценностное как бы сливаются в акте номинации. Словообразовательная система языка предстает в виде своеобразной классификации человеческого опыта, поэтому оценка фактов словообразования с позиций аксиологии позволяет выявить ценности как некую систему значимостей, обладающих этнокультурной спецификой.

Используя системный подход к изучению производной лексики, можно постепенно эксплицировать те знания о мире, тот совокупный общественный опыт, который имплицитно присутствует в каждом производном слове. Особенно благодатным является материал диалектного словообразования, который дает возможность увидеть предмет или явление действительности с разных

точек зрения, ср., например, актуализацию вкусовых, визуальных и др. признаков в названиях яблони и ее плодов, где представлены такие виды оценок, как аффективная (*кислуха* Моск., СРНГ, вып. 13, 233 — вкус; *краснушка* Ворон., СРНГ, вып. 15, 188 — зрение; *мякыш* Пск., Твер., СРНГ, вып. 19, 23 — осязание), когнитивная (рационалистическая оценка, обнаруживающаяся в объективации таких мотивационных признаков, как темпоральный с актуализацией семы 'время созревания плодов', ср. *житовка* 'сорт яблони, плоды которой созревают в период поспевания ржи' Брян., СРНГ, вып. 7, 193; акциональный, ср. *лежня* 'сорт яблок' Ворон., СРНГ, вып. 16, 337; локативный с актуализацией семы 'место, где был выведен сорт яблони или где она преимущественно растет', ср. *белкино* 'сорт больших и сладких яблок' Твер., СРНГ, вып. 2, 215; антропонимический с актуализацией семы 'имя сада-вода, выведшего сорт яблони', ср. *антоновка* и т. д.) и даже эстетическая (*красавка* Омск., СРНГ, вып. 15, 172). Мотивировочные признаки производного слова выявляют не только основание оценки, но что, пожалуй, более ценно — различия в мироощущении, мирочувствовании, миросозерцании и мирооценке того или иного народа. Эти различия в своей совокупности и формируют целостную картину его мировидения.

Аксиологический подход к словообразованию позволяет рассмотреть изнутри систему номинаций как систему представлений человека об окружающей его действительности, в которой отражены результаты его познавательной и классифицирующей деятельности. В словообразовательно маркированных единицах языка прочитывается богатейшая информация о системе ценностей русского народа, раскрываются особенности его мировидения, мирочувствования и мировосприятия. Эта информация является своеобразным ориентиром в сложном и многоликом мире природы.

Любой язык стремится не только к объективации миропонимания народа, но и консервации его духовно-практической деятельности, и словообразовательно детерминированная лексика дает возможность проникнуть в механизм сложного процесса познания и интерпретации мира человеком. А поскольку лексический уровень языка более всего подвержен «давлению действительности», постольку он ярче всего передает своеобразие семантического облика модели мира, позволяя увидеть реальную классификацию человеческого опыта, так сказать, «субъективную реальность» того или иного народа.

Интеграция словообразования, аксиологии и этнолингвистики открывает широкие перспективы в разработке проблемы реконст-

рукции языковой картины мира того или иного этноса. Такой подход к словообразованию позволяет ответить на вопрос, какие ценности и почему удерживаются сознанием и словообразовательно маркируются, какие мотивационные признаки кладутся в основу наименования, играет ли в этом роль этнический фактор, и если играет, то как это выражается в языке.

-
- ¹ *Н. И. Толстой, С. М. Толстая.* Д. К. Зеленин-диалектолог // Проблемы славянской этнографии. М., 1979.
 - ² Косвенным подтверждением этого положения могут служить и наблюдения над астронимами в русских говорах. Прежде всего обращает на себя внимание довольно ограниченный круг этих имен, а также то, что в большинстве своем они представлены описательными конструкциями, что объясняется, конечно, не равнодушием наших предков к виду ночного неба (можно с уверенностью предположить, что «и в ночном, когда стерегли стреноженных лошадей, и на покосах, когда косари вставали рано, дожидаясь утренней росы, небо оставалось единственной естественной картиной, которую можно было рассматривать бесконечно), а земледельческим характером их деятельности, которая не зависела в такой степени от расположения звезд на небе, в какой это было для путешественников и мореплавателей, которым небо всегда верно служило и надежными часами, и выверенными географическими картами» (Ковалев 1996, 58).
 - ³ Приведу в связи с этим интересные наблюдения Т. В. Бахваловой. Исследуя вопрос выражения в языке внешнего облика человека (на материале орловских говоров), она приходит к заключению, что при оценке внешнего облика человека по признаку *красивый/некрасивый* «негативная оценка преобладает над положительной характеристикой человека по общему внешнему виду», при этом «если в общенародном языке число слов, характеризующих красивого мужчину и красивую женщину, примерно одинаково, то в говорах явно преобладают слова, относящиеся к красивой женщине» (Бахвалова 1996, 33).

Литература

- Бахвалова 1996 — *Т. В. Бахвалова.* Выражение в языке внешнего облика человека средствами категории агентивности. Орел, 1996.
- Вежбицкая 1996 — *А. Вежбицкая.* Язык, культура, познание. М., 1996.
- Журавлев 1998 — *А. Ф. Журавлев.* Древнеславянская фундаментальная аксиология в зеркале праславянской лексики // Славянское и балканское языкознание. М., 1998.
- Ковалев 1996 — *Г. Ф. Ковалев.* Астронимы в говорах Воронежской области // Актуальные проблемы изучения русских народных говоров. Материалы межвузовской научной конференции. Арзамас, 1996.

- Лосский 1957 — *Н. О. Лосский*. Характер русского народа. Frankfurt a/M., 1957, кн. 2.
- Николаева 1983 — *Т. М. Николаева*. Качественные прилагательные и отражение картины мира // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии. М., 1983.
- Петренко 1988 — *В. Ф. Петренко*. Психосемантика сознания. М., 1988.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. М.; Л, 1965–1996, вып. 1–30.
- Стемковская 1997 — *Ю. Е. Стемковская*. Человек в зеркале родного языка (на материале чешских словарей XIV–XX вв.) // Славяноведение, 1997, № 1.
- Толстой 1995 — *Н. И. Толстой*. Язык и культура // *Н. И. Толстой*. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.
- Толстой 1996 — *Н. И. Толстой*. Язычество древних славян // Очерки истории культуры славян. М., 1996.
- Lowenthal 1961 — *D. Lowenthal*. Geography experience and imagination: toward a geographical epistemology // *Annals, Association of Americ in Geography*, 1961.

О языке первого издания Нового завета в новоболгарском переводе

Первый опыт издания Нового завета в новоболгарском переводе был осуществлен в 1823 г. Российским Библейским обществом в Петербурге (далее — РБО), когда была отпечатана лишь первая часть этого важнейшего канонического памятника христианства — Евангелие от Матфея. Текст Евангелия занимает 96 страниц, разделенных вертикальной чертой, слева от которой отпечатан церковнославянский текст, справа — его перевод на новоболгарский язык. Сверху над ними на 1-й странице дано его заглавие: *Њ Матѣѣѣ свѣтагѣѣ благовѣствованіе*. Издание это в настоящее время представляет исключительно большую библиографическую ценность. До наших дней сохранилось всего несколько его экземпляров. Один из них хранится в Библиотеке Академии наук в Петербурге (шифр: XXVI. б. 292). Фотокопия этого экземпляра давно имеется на руках автора этих строк. Из нее и почерпнут рассматриваемый ниже материал о языке данного перевода. В Болгарии подлинного экземпляра интересующего нас издания нет. М. Стоянов в своем капитальном труде «Българска възрожденска книжнина» указывает его как «вероятно, не заверченный перевод Нового завета Теодосия Быстрицкого», поясняя, что его описание дается им «по фотокопии дефектного экземпляра, который хранится в Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде» (в настоящее время — Российская национальная библиотека) (Стоянов 1959, 784, № 20825). Ксерокопию названного выше экземпляра из Библиотеки Академии наук в настоящее время имеет доцент Пловдивского университета Диана Иванова (устная информация).

Издание Российским Библейским обществом Нового завета в новоболгарском переводе примечательно причудливостью своей предыстории и судьбы и заслуживает того, чтобы кратким замечкам о его языке предпослать здесь краткий же рассказ о том,

как возникла сама идея печатания новоболгарского перевода в РБО и как оно было осуществлено.

Первые попытки самих болгар издать Новый завет на понятном им родном языке относятся к концу второго — началу третьего десятилетий прошлого столетия. Известно, что уже в 1820 г. болгары Петр Сапунов и отец Серафим имели готовый перевод на болгарский язык полного текста Нового завета и что, вероятно, уже в том же году, если не ранее, они же опубликовали и какое-то объявление о намерении издать свой перевод (Кипиловски 1825, с. VI). Тогда же с этим переводом ознакомился Дмитрий Мустаков. П. И. Кеппен, побывавший летом 1822 г. в Германштадте в Трансильвании (ныне г. Сибиу, Румыния), встретился с жившим там Д. Мустаковым и в дневниковой записи от 16 (28) августа 1822 г. отметил: «Он (Д. Мустаков. — Г. В.) один из тех, которые лучше прочих знают болгарский язык. Даже новейшие переводы св. писания на б(олгарский) язык Сапунова сообщаемы были ему окончательно для рассмотрения и одобрения» (Венедиктов 1981, 218). Перевод этот П. Сапунову удалось напечатать только в 1828 г., уже после смерти своего помощника Серафима. Однако прежде чем он увидел свет, П. Сапунов в 1820–1822 гг. пытался предложить его для издания в России, и попытки эти были прямо связаны (а точнее сказать — вызваны или даже спровоцированы) с намерением РБО издать Новый завет в переводе архимандрита Феодосия (Теодосия).

Обстоятельства того, как РБО приняло решение о публикации Нового завета в переводе грека архимандрита Феодосия, сделанном с помощью одного неизвестного болгарина, достаточно ясно изложены в протокольной записи заседания Общества от 17 июня 1820 г. На этом заседании была рассмотрена записка «члена Общества», британского миссионера пастора Пинкертон, в которой тот «изъясняет, что во время пребывания своего в Константинополе старался он о произведении в действо предпринятого еще во время прежнего путешествия намерения изыскать средства к приобретению перевода книг Св. Писания, или по крайней мере одного Нового Завета на языке болгарском, на коем донныне, как известно, книг сих не имеется. Греческий константинопольский патриарх Григорий, с которым г. Пинкертон имел рассуждение по сему предмету, принял в том живейшее участие, и для произведения оного в действо назначил архимандрита Феодосия, Быстрицкого монастыря близ Бухареста. Архимандрит сей, по известиям, полученным от генерального консула в Бухаресте г. Пини, трудится уже весьма усердно и прилежно над изготовлением порученного ему перевода. Великобританское и Иностранное

Библейское общество назначило за перевод сей 200 ф. стерл. По сему г. Пинкертон представляет, не благоугодно ли будет Комитету Российского Библейского общества принять на свой счет печатание сего перевода, и буде Комитет Российского Библейского общества изъявит на то свое согласие, то г. Пинкертон полагает, что печатание сие несравненно успешнее произвести можно в Кишиневе, нежели в другом каком месте, как по близости города сего к Булгарии, так и потому, что преосвященный Гавриил, экзарх митрополит Кишиневский, весьма охотно примет на себя надзор за сим изданием» (Архив РБО, ед. хр. 155, 58–59).

Предложение Пинкертона, направленное в РБО в конце 1819 или в начале 1820 г., пришлось тому весьма кстати. Дело в том, что, как сказано в хранящемся в его архиве документе «О переводе Нового Завета на болгарском языке и об издании одного здесь в С.-Петербурге», «Комитет Российского Библейского общества давно уже помышлял о снабжении единоплеменной и единоверной нам народ болгарский книгою живота вечного на природном его языке, на коем книг Священного Писания еще никогда издаваемо не было. Комитет считал сие обязанностью своею тем паче, что многие из сего народа по жительству в Бессарабской облас[ти] суть соотечественники наши» (Архив РБО, ед. хр. 144, 1). Поскольку, как полагали в РБО, попытки кишиневского митрополита (если они вообще предпринимались всерьез) оказались безуспешными, а других каких-либо возможностей у РБО в то время, вероятно, не было и едва ли они могли быть, то ему ничего и не оставалось, как сразу же принять предложение британского миссионера. Приняв такое решение, Комитет РБО по дипломатическим каналам быстро связался с архимандритом Феодосием, который, будучи в Германштадте в Трансильвании, в 1821 г. через упомянутого выше российского консула в Бухаресте Пини направил свой, законченный еще в 1820 г., перевод Нового завета в Петербург и сообщил, что готов приехать в Россию для наблюдения за его печатанием. Получив в конце 1821 г. перевод Феодосия, Комитет РБО направил его в Кишинев для оценки и опробования его в болгарских церквах в Бессарабии, где в начале 20-х годов XIX в. уже проживало значительное количество болгар-переселенцев из-за Дуная. Кишиневский митрополит Гавриил нашел перевод Феодосия точным и удачным. Хорошо был встречен он и в болгарских церквах Бессарабии. Основываясь на таком заключении, Комитет РБО 12 мая 1822 г. принял решение начать печатание перевода Феодосия в том же году в количестве 5000 экземпляров. Тем временем вопрос о возможном печатании перевода Нового завета в

Кишиневе отпал. Архимандриту Феодосию было направлено приглашение РВО приехать в Петербург для наблюдения за печатанием собственного перевода. Решение Комитета РВО было тогда же доложено императору Александру I. Феодосий прибыл в Петербург осенью 1822 г., а в декабре того же года типография РВО приступила к набору его перевода.

Пока шла переписка РВО с архимандритом Феодосием, а тот готовился к поездке в Россию, жившие в Румынии болгары, узнав, что грек Феодосий переводит или уже перевел Новый завет на их язык, а РВО собирается его опубликовать, пришли в движение и старались воспрепятствовать осуществлению этого намерения. Большую активность в этом деле проявил уже упомянутый выше П. Сапунов, который, имея свой готовый перевод Нового завета на родной язык, пытался доказать его преимущества перед переводом Феодосия. Попытки его, однако, оказались безуспешными. Он не мог добиться сравнения своего перевода с переводом Феодосия и открыть дорогу возможному изданию в РВО своего труда.

Другая акция болгар, старавшихся с самого начала не допустить издания перевода Феодосия, была направлена против Феодосия как переводчика. Болгары считали, что, будучи греком, он не мог знать хорошо болгарский язык и потому не мог сделать качественный перевод Нового завета на этот язык. Уже сразу, как только им стало известно о намерении РВО издать перевод Феодосия, группа живших в Румынии болгар через одного чиновника российского почтового ведомства предупреждала кишиневского митрополита Гавриила, что перевод Феодосия не может быть хорошим, потому что Феодосий — грек, а не болгарин, и что из разговоров с ним они убедились в совершенно слабом знании им болгарского языка. Позднее, когда Феодосий уже находился в Петербурге и когда был начат набор его перевода, и само РВО получило письмо от группы недовольных болгар из Трансильвании, в котором те утверждали, что перевод этот некачественный, удовлетворить болгар не может, и в свою очередь рекомендовали РВО своих переводчиков для «сего немаловажного труда». Письмо это было зачитано на заседании Комитета РВО 28 декабря 1822 г. В протокольном изложении этого письма и ответа на него Феодосия сказано: «При печатании издания перевода Нового Завета на болгарском языке, каковой перевод, как известно, просматриваем был в Кишиневе и читан по болгарским церквам в Бессарабии, а по сличении с подлинным текстом, с оным во всем согласным, получено Комитетом от некоторых болгарских уроженцев из Трансильвании письмо, в котором они, во-первых, приносят благодарность

свою Российскому Библейскому обществу за христианское попечение его о наделении их книгами слова Божия на природнейшем языке, а потом изъясняют, что сколь ни общепольно сие благое предприятие Комитета, но оное, по мнению их, не может быть выполнено с надлежащим успехом вызванным сюда архимандритом Феодосием, и что перевод его не может быть для них удовлетворителен, поелику архимандрит сей, не будучи природным болгаром, не может знать основательно и грамматически языка болгарского, и не знает ни славянского, ни русского языков, и что перевод сей составил с помощью одного болгарина, который знал только язык своей деревни. А посему они, ревнуя благотворному предприятию Российского Библейского общества, осмеливаются рекомендовать для сего немаловажного труда известных им по любви к наукам и к нации своей трех из единоплеменников своих, знающих, как они удостоверяют, основательно грамматические правила языка болгарского, а также языки славянский и русский. Сии три рекомендуемые ими человека суть: Михайло Кифалов, бывший учитель в Московской коммерческой академии, другой Афанасий Некович, а третий Василий Ненович, купцы. Последним из них составлен и образец нового перевода, который подписавшие письмо, препровождая Комитету, просят об удостоении отзывом по сему предмету. — Обстоятельство сие доводимо было до сведения архимандрита Феодосия, коему на усмотрение сообщаем был и образец нового перевода с тем, чтобы он сообщил мнение свое по сему предмету. Он объяснил, что предположение означенных болгар есть плод известной ему интриги, основанной на худопросвещенном чувстве мнимого патриотизма; что болгары сии не могут судить об исправности ни его и никакого перевода, будучи сами безграмотны, что доказывает самая даже подпись письма их, учиненная некоторыми по-гречески, а за некоторых подписывалась одна и та же рука; что, по рассмотрении присланного образца перевода, оный оказывается совершенно неисправным, наполненным неправильностей и искажений в смысле текста, чему архимандрит и представил некоторые доказательства, и что, наконец, при переводе книг Священного Писания, как всякому известно, недостаточно одного знания того только языка, на который книга переводится, но необходимо нужно иметь познание и в оригинальном языке, на коем книга написана, и в некоторых других языках, для пособия в прямом и правильном изложении переводимого. На языке болгарском до сих пор еще не было книг, а потому оный и не имеет никаких правил, кроме употребления, которое без сомнения не может быть одинаково во всех местах,

в коих болгары обитают, а посему и правила сего языка, из употребления заимствуемые, не могут почесться определенными. Но как язык сей есть наречие коренного славянского языка, то архимандрит Феодосий и принял для своего перевода грамматические правила языка славянского, исключая тех только случаев, где принятое и укоренившееся употребление сего сделать не позволяет» (Архив РБО, ед. хр. 182, 83–84).

Рассмотрев письмо болгар и объяснение Феодосия, Комитет печатных дел РБО счел отзыв Феодосия «совершенно основательным», принял решение о продолжении печатания перевода, но признал полезным вместо намеченных ранее 5000 экземпляров издать его в количестве 2000 экземпляров.

Между тем в РБО поступило и письмо английского миссионера Патерсона, который также был озабочен неудовлетворительным качеством перевода Феодосия и рекомендовал РБО для пробы издать только Евангелие от Матфея тиражом в 3000 экземпляров. Возможным следствием представления Патерсона и было то, что Комитет РБО еще раз рассмотрел вопрос о печатании перевода Феодосия и принял окончательное решение об отпечатании только Евангелия от Матфея тиражом в 2000 экземпляров. А на заседании Комитета РБО 4 октября 1823 г. было сообщено, что это число экземпляров Евангелия от Матфея было уже готово.

Такова вкратце история подготовки и первого издания Нового завета на новоболгарском языке, подробнее об этом см.: (Радкова 1981; Венедиктов 1992, 70–78; Венедиктов 1994). Причудливость ее в том, что инициатива в данном случае исходила не от болгар, а от британского миссионера, она была поддержана константинопольским патриархом Григорием, который лично назначил и переводчика, а сам переводчик — архимандрит Феодосий — по национальности был не болгарин, а грек; перевод Феодосия был поддержан Британским Библейским обществом, которое в лице своего представителя миссионера Пинкертон предложил Российскому Библейскому обществу издать его в России, и предложение это было принято; наконец, опять же по предложению другого британского миссионера РБО приняло решение ограничиться только публикацией Евангелия от Матфея. Почему патриарх Григорий поручил перевод Нового завета на болгарский язык архимандриту Феодосию, а не кому-либо из болгар, сказать трудно. Возможно, он не знал никого из болгар, кто мог бы, по его мнению, исполнить столь ответственное дело и кому он мог бы его доверить. Феодосий же, как полагал патриарх, знал болгарский язык настолько хорошо, чтобы справиться с порученным ему переводом.

В одном из документов архива РБО по этому поводу сказано, что патриарх Григорий, дав «свое благословение» на перевод Нового завета на болгарский язык, «рекомендовал для произведения сего дела Быстрицкого в Валахии монастыря архимандрита Феодосия, как человека усердного и весьма сведущего в языке греческом, славянском и болгарском» (Архив РБО, ед. хр. 144, 1).

Отметим еще, что РБО не собиралось держать в неведении приславших ему письмо болгар относительно издания перевода Феодосия. В самом конце декабря 1822 г. Комитет РБО на своем заседании рассматривал вопрос об ответном письме болгарам, и тогда было решено, что «им можно будет изъяснить, что перевод архимандрита был просматриваем людьми, сведущими как в болгарском, так и в греческом языках, читан был самими болгарскими и найден, что во всем совершенно исправен и понятен, а потому Комитет Российского Библейского общества, основываясь на сем удостоверении, начал уже печатание сего перевода, и потому нет надобности в составлении другого перевода» (Архив РБО, ед. хр. 182, 84). Вероятно, такого содержания письмо и было направлено болгарам, которые были крайне обеспокоены начатым печатанием перевода Феодосия.

Обратимся теперь непосредственно к языку рассматриваемого здесь перевода Евангелия от Матфея в том виде, в каком он был отпечатан.

Сказанное выше показывает, что в отношении к переводу Феодосия сложилась явно конфронтационная ситуация. Одна сторона — сам переводчик, кишиневский митрополит Гавриил и, вероятно, некоторые из живших в Бессарабии болгар, РБО — считала этот перевод точным и удачным; другая сторона — некоторые из живших в Румынии и Трансильвании образованных болгар (и, надо думать, не только они) — считала недопустимым издание этого перевода, поскольку, по их мнению, не знающий болгарского языка Феодосий не может (даже с помощью какого-то болгарина) сделать удовлетворяющий болгар перевод Евангелия. Причина острого столкновения сторон лежала в различии в оценке языка перевода.

Феодосий, как видно из приведенного выше протокольного изложения его мнения относительно претензий болгар к его переводу, придерживался принципа следования в основном грамматическим правилам славянского, т. е. церковнославянского, языка. Он отступал от правил этого языка, по его словам, в тех только случаях, когда этому препятствовало («не позволяет») «принятое и укоренившееся употребление». Данное самим Феодосием объяснение

причины отступления от грамматических правил церковнославянского языка нельзя признать достаточно ясным. Из него можно, очевидно, заключить лишь то, что «принятое и укоренившееся употребление» — это живая речь болгар того времени, грамматические особенности которой воспрепятствовали Феодосию следовать при переводе церковнославянским правилам во всех случаях. Но какие именно особенности болгарской народной речи заставили его отступить от правил церковнославянского языка, заключить из приведенного выше документа архива РБО не представляется возможным.

В результате такого подхода к самому переводу вышедший из-под пера Феодосия текст Евангелия от Матфея в языковом отношении представляет собой довольно оригинальную смесь церковнославянского с новоболгарским, сам характер которой едва ли поддается непротиворечивому объяснению. Церковнославянско-новоболгарская смесь языка этого перевода заключается в сплетении характерных особенностей обоих языков, представляющем, как правило, не безразборное употребление формально различных, но функционально тождественных и как бы конкурирующих элементов, а в общем довольно последовательно организованную структуру, одни элементы которой перенесены переводчиком из церковнославянского, а другие — из новоболгарского (народной речи). В целом же, однако, облик языка рассматриваемого перевода воспринимается, на наш взгляд, скорее как церковнославянский с новоболгарскими элементами, нежели как новоболгарский с элементами церковнославянского, что объясняется разной «весомостью» их элементов в искусственно созданной Феодосием структуре языка перевода.

Посмотрим теперь, какие особенности того и другого языков «сплетает» Феодосий в структуру языка своего перевода.

Феодосий неукоснительно следует графике и орфографии церковнославянского языка. Текст его перевода напечатан церковной кириллицей тем же набором букв, каким отпечатан и параллельный текст на церковнославянском языке, и с теми же надстрочными знаками и другими особенностями церковнославянского письма (паерок, знаки ударения, отсутствие знаков придыхания и др.). Написание слов и их форм в переводе в общем не отличается (за редкими исключениями) от написания этих же слов и соответствующих форм в церковнославянской части Евангелия. Важно отметить, что в написании слов, содержащих характерный болгарский звук /ъ/ (ср. болг. литер. *зѣб*, *дѣжд*, *пѣрво*), выступающий на месте древнего юса большого, ера и еря, Феодосий не отступает от правила церковнославянской грамматики и пишет такие слова

в своем переводе соответственно с Ѹ, ѡ, ѣ — зѣбѣ, дождь, первѣ. Исключения в написании корневых морфем здесь единичны (например, далбѡки XIII 5, далбѡчѣнѣ XVIII 6, гранчѡра XXVII 7 — в подстрочных пояснениях к употребленным в тексте перевода словам глѡбини, глѡбинѣ, гончѡра; ср. и неоднократно употребленное кѡсно XIV 15, кѡсно XXVII 57 = совр. литер. *кѣсно*). Строгое следование церковнославянской орфографии в переводе соблюдается и в передаче безударных гласных. Характерная для новоболгарского языка (для его восточного наречия) так называемая их редукция здесь не отражена за редкими исключениями (например: Ѹгладнѣ XII 3, Ѹгладнѣха XII 1, вѣрчѣвы II 17, лѡкѡтъ VI 27, да собѣра XXII 37 и некоторые другие).

Важнейшая собственно грамматическая особенность языка перевода, в решающей степени определяющая его общий облик, — сохранение падежной системы. Феодосий употребляет последовательно в переводе те же падежные формы, какие представлены в церковнославянском тексте. Можно сказать, что весьма тщательное сохранение в переводе церковнославянской системы падежей главным образом и создает внешний эффект восприятия его языка скорее как более церковнославянский в своей основе, нежели новоболгарский, хотя в переводе есть немало фрагментов, написанных на довольно близком к народной речи языке.

Приняв церковнославянскую графику и орфографию, перенеся в перевод почти в полном объеме церковнославянскую падежную парадигму, Феодосий не последовал такому подходу в отношении других характерных особенностей церковнославянского языка. Так, он отказался от старого инфинитива на -ти и вместо него употребляет новоболгарскую конструкцию да + формы настоящего времени глагола, например, да стрѣва VII 18 при ц.-сл. творѣти, да спросѣтъ XXII 46 при ц.-сл. вопросѣти и мн. др. Случаи употребления инфинитива на -ти очень редки, например: Онѣ дѣто ѣмѡтъ ѣшы слышѡти, да слышитѣ XIII 43. Феодосий отказался ввести в перевод церковнославянские причастия и деепричастия, переводя их соответствующими конструкциями с новоболгарскими элементами; ср.: Всѡкомѣ слышѡщемѣ слово цѣрствѡм и не разѣмѣвѡющѣмѣ — в переводе: Всѡкѣй члѣвѣкъ дѣто слышѡетѣ слово цѣрствѡм и не разѣмѣетѣ XIII 19; И восходѣ Иѣсъ во Иерѣсалимѣ, поѡтъ окѡнадѣсѡте ѣченикѡ — в переводе: И кога възлѣзѡше Иѣсъ во Иерѣсалимѣ, поѡмѣ двѡнадѣсѡте ѣченикѡ XX 17. В переводе Феодосия нет и часто встречающихся в церковнославянском тексте известных оборотов с дательным самостоятельным, вместо которых Феодосий обычно употребляет народные болгарские конструкции с союзом

кога и др., например: И влѣзшимъ ѿмъ в' корабль преста вѣтръ — в переводе: И кога онѣ влѣзѡха в' корабль, преста вѣтръ XIV 32. В переводе нет также именных и глагольных форм двойственного числа, которые передаются здесь обычными формами множественного числа, например: онѣ не са два, но плоть едина XIX 6 при нѣста два, но плоть едина в церковнославянском тексте.

Чем руководствовался Феодосий, отказавшись перенести в перевод указанные только что и другие особенности церковнославянского языка, однозначно ответить затруднительно. Можно лишь предположить, что он не мог, наверное, не сообразовываться с тем обстоятельством, что их сохранение в переводе создавало бы затруднения болгарам в понимании текста Евангелия. Но, с другой стороны, Феодосий, надо полагать, не считал, что такого рода затруднения создаются и введенными им без каких-либо ограничений падежными формами.

В языке перевода Феодосия представлены многие характерные особенности новоболгарского языка. Выше уже отмечались конструкции да + формы настоящего времени глаголов, употребляемые им вместо старого инфинитива на -ти. Другая важная особенность, которую Феодосий последовательно отражает в переводе, — форма будущего времени, образуемая сочетанием частицы ще и личной формы глагола, например: ще приимете XXI 22 при ц.-сл. приимете, ще са изкорени XV 13 при ц.-сл. изкоренитса; так же и при отрицании: не ще погуби X 43 при ц.-сл. не погубитъ. Изредка встречаются в переводе Феодосия и характерные новоболгарские формы сравнительной степени прилагательных с по, например, погърка ѿ първыхъ XII 45 при ц.-сл. гърша първыхъ.

Эти и многие другие новоболгарские особенности, в том числе и интересные лексические, на которых здесь нет возможности остановиться отдельно, Феодосий, очевидно, относил к тому «принятому и укоренившемуся употреблению» (живой народной речи), которое он не сумел преодолеть и вынужден был оставить в переводе. Но он решительно отверг наиболее характерные особенности грамматики новоболгарского языка: одна из них — так называемое аналитическое склонение, другая — наличие членной морфемы. В переводе Феодосия нет случаев употребления конструкций предлог + общая форма имени для выражения падежных окончаний. Вместо них здесь регулярно выступают старые падежные формы. Нет в переводе Феодосия и ни одного случая употребления членной морфемы.

Сказанное здесь, как нам кажется, дает некоторое общее представление о характере языка первого печатного издания Нового

завета в новоболгарском переводе. Детальное описание его потребовало бы другого объема статьи. Совершенно очевидно, что в целом язык рассматриваемого перевода весьма далек от структуры новоболгарского языка, какой она была в начале минувшего столетия. Опасения болгар, что Феодосий как грек не может дать удовлетворяющий их и понятный им перевод Евангелия, как видим, не был безосновательным. Но заключается ли смешанный характер этого языка в незнании, как полагали болгары, Феодосием болгарского языка, пока сказать трудно. Вместе с тем бесспорно и то, что благодаря наличию в переводе Феодосия многих новоболгарских языковых элементов, перевод этот был, естественно, или, точнее сказать, был бы болгарам более понятен, чем собственно церковнославянский текст.

Подготовленный греком Феодосием (с помощью неизвестного болгарина) перевод Нового завета, решение РБО издать его в Петербурге, отпечатание первой его части, как и отношение к нему болгар-современников тех лет — своеобразная страница истории национально-культурного возрождения болгар в 20-е годы XIX в. Само создание и издание этого перевода — наглядное свидетельство того, сколь трудно было болгарам в тяжелейших условиях многовекового османского владычества решить такую неотложную для христиан задачу, как перевод и издание Евангелия на родном языке. В истории же нового болгарского литературного языка перевод Феодосия непосредственно не сыграл и не мог сыграть какой-либо роли по той простой причине, что текст его остался болгарам неизвестным. Во всяком случае бесспорных свидетельств того, что кто-то из них имел его на руках в отпечатанном виде, нет. Дело в том, что судьба тиража изданного перевода Феодосия, за исключением сохранившихся нескольких экземпляров, оказалась печальной. Почти весь тираж был утрачен. Высказываются разные версии его утраты, см. об этом: (Венедиктов 1994, 42–43). Поэтому единственное, что можно было бы сказать в этой связи увереннее, это то, что изложенная выше история с подготовкой и изданием перевода Феодосия укрепила уверенность болгар, которым она так или иначе была известна в начале 20-х годов, в том, что доброкачественный во всех отношениях перевод Нового завета на болгарский язык могут сделать только сами болгары.

В заключение в качестве иллюстрации к сказанному выше о языке Нового завета в переводе Феодосия приводим фрагмент Евангелия от Матфея (XVI 17–21) в этом переводе и параллельный текст на церковнославянском языке. Для более наглядного представления о характере языка в переводе Феодосия, о соотношении

с ним церковнославянских и новоболгарских элементов приводим тот же фрагмент в следующих по времени издания Нового завета новоболгарских переводах известных возрожденцев Петра Сапунова («Новий завет сиреч четирите евангелия на четиртях евангелиста, переведени от елинския на българския език», Букурещ, 1828) и Неофита Рильского («Новий завет господа нашего Исуса Христа. Сега ново преведени от словенскаго на болгарский язык от Неофита иеромонаха П. П. Рилца», Смирна, 1840). Эти переводы, как и перевод Феодосия, напечатаны церковной кириллицей, но без параллельных текстов на греческом и церковнославянском языках, с которых они были сделаны. Д. Иванова, исследовавшая язык перевода П. Сапунова, пришла к заключению, что он действительно сделан с греческого языка, но вместе с тем есть факты, свидетельствующие и «о его прямой зависимости от разных славянских текстов» Нового завета (Иванова 1993–1994, 313). Работая над цитируемой здесь статьей, автор ее еще не знала, что редчайшие экземпляры печатного издания Евангелия от Матфея в переводе Феодосия сохранились до наших дней, поэтому она тут еще считает перевод П. Сапунова первым новоболгарским переводом Евангелия; ср. и само заглавие ее статьи (Иванова 1993–1994, 311).

Фрагмент Евангелия от Матфея (XVI 17–21)
на церковнославянском языке
и в новоболгарских переводах

На церковнославянском языке

И ѿвѣща́въ Іисъ рече́ емѹ: блаженъ еси́ Сѣмоне́ варъ Іу́на, ꙗ́кѡ плоть и кровь не гави́ тебѣ́, но Оцъ мой ѿже на небѣ́хъ. И азъ же тебѣ́ глаго́лю, ꙗ́кѡ ты еси́ Петръ, и на семъ ка́мени сози́ждѹ цркъвь мою́, и врата́ адѡва не ѡдолѣ́ютъ ей. И дамъ ти ключи́ црства́ небсагѡ: и еже́ аще́ свѣ́жеш на землѣ́, бѣ́детъ свѣ́зано на небѣ́хъ: и еже́ аще́ разрѣ́шиши на землѣ́, бѣ́детъ разрѣ́шено на небѣ́хъ. Тогда́ запрети́ Іисъ ученикѡмъ своимъ, да никомѹ́же рекѹ́тъ, ꙗ́кѡ сей естъ Іисъ Хрѣ́стосъ. Ѵто́лѣ́ начатъ Іисъ сказа́вати ученикѡмъ своимъ, ꙗ́кѡ подобаетъ емѹ́ ити́ во Иерѹсали́мъ, и мно́гѡ пострада́ти ѿ ста́рець и архіере́й и книжникъ, и үби́енѹ́ быти, и в тре́тій день воста́ти.

В переводе Феодосия

И ѿвѣща́ Іисъ рече́ немѹ: блаженъ еси́ Сѣмоне́ сѣ́ Іу́на, почто́ плоть и кровь не гави́ [тѡ́ва] тебѣ́, но Оцъ мой ко́н є́ на небѣ́хъ. И азъ тебѣ́ ка́звамъ, какѡ́ ты еси́ Петръ, и на то́нжемъ ка́мени ще́ сози́ждамъ

црковъ мою, и врата двѣ не ще превозмогатъ ней. И ще дамъ тебѣ ключи црства нбснаго: и кое ако свържешъ на землѣ, ще бѣдетъ свързано на нбсѣхъ: и кое ако разрѣшишъ на землѣ, ще бѣдетъ разрѣшено на нбсѣхъ. Тогѣ запрети Иисъ ученикъмъ своимъ, ради да не рекѣтъ никомъ, каквѣ той е Иисъ Христосъ. И тогѣ нача Иисъ да казова ученикъмъ своимъ, каквѣ достѣнтъ немъ да иди во Иерусалимъ, и да пострададѣтъ И старецъ и архіерей и книжникъ, и увѣнъ да бѣва, и в третій день воскреснетъ.

В переводе Петра Сапунова

И катѣ ѿговори Иисъ рече мѣ: блаженъ си Слѣмне сыне Іѡновъ. чѣ снагѣта и кровьта ни ти гавѣ, но ващѣ ми, който е на небесаѣта. А и азъ ти дѣмамъ: чѣ ты си Петаръ, и на тѣсъ камакъ, ше созижда черковата моѣ, и вратѣта ѣдовы. ни ше и навѣлтъ. И ше ти дамъ ключевѣ на царството небесно, и коѣто ако свѣржишъ на землѣта, свѣрзано ше бѣде и на небесаѣта: и коѣто ако развѣржешъ на землѣта развѣрзано ше бѣде на небесаѣта. Тогѣсъ запрети Иисъ на оученицыѣте си, никомъ да не рекѣтъ, чѣ той е Иисъ Христосъ. И тогѣсъ начена Иисъ да казва на оученицыѣте свои, чѣ мѣ прилича да иде въ Иерусалимъ, и многѣ ше пострадае И старцыѣте, и архіерейѣте, и книжовныѣте и оубѣнтъ ше бѣде, и въ третѣмъ денѣ ше стане.

В переводе Неофита Рильского

И ѿговори Иисъсъ, и рече мѣ: блаженъ си Слѣмне сыне Іѡнинъ, защѣто плѣтъ и кровь не ти гавѣ това, но Оцъ мой който е на небесаѣта. И азъ ти дѣмамъ: защѣ си ты камень, и на тѣѣ камень ще да соградимъ цѣрква та моѣ и врата та ѣдови, но щѣтъ да и навѣлтъ. И ще да ти дамъ ключевѣ те на-царство то небесно: и щѣто вѣржешъ на землѣ та, ще да бѣде вѣрзано и на небесаѣта: а щѣто развѣржешъ на землѣ та, ще да бѣде развѣрзано и на небесаѣта. Тогѣва запрети Иисъсъ на оученицыѣте си, да не казѣватъ никомъ, защѣ той е Иисъсъ Христосъ. И тогѣва фанѣ да казѣва на оученицыѣте си, защѣ трѣвѣва да иде во Иерусалимъ, и да пострада многѣ И старцыѣте, и архіерейѣте, и И книжовницыѣте, и да го оубѣлтъ, и въ третѣтъ денѣ да воскресне.

Литература

- Архив РВО — Централен государственный исторический архив (С.-Петербург), ф. 808, оп. 1, ед. хр. 144, 155, 182.
- Венедиктов 1981 — Г. К. Венедиктов. Първа страница в историята на изучаването на българския език от руски учени // Българското Възраждане и Русия. София, 1981.
- Венедиктов 1992 — Г. Венедиктов. Судьба первых печатных изданий Нового завета в новоболгарских переводах // Международная ассоциация по изучению и распространению славянских культур. Информационный бюллетень. М., 1992, вып. 26.
- Венедиктов 1994 — Г. К. Венедиктов. О первом печатном новоболгарском переводе Нового завета // Переводы Библии и их значение в развитии духовной культуры славян. СПб., 1994.
- Иванова 1993–1994 — Д. Иванова. Първият новобългарски превод на Евангелието и старата писмена традиция // Български език, 1993–1994, № 4.
- Кипиловски 1825 — Священное цветообрание или сто и четире священи истории, избрани от ветхий и новий завет в полза на юношество. От г. Иоанна Гибнера... От российскийскит на славенболгарский наш език преведена от Анастаса Стоянович [Кипиловски], котлянина. Будино, 1825, ч. I.
- Радкова 1981 — Р. Радкова. Първият печатен превод на Евангелието на български език // Българското Възраждане и Русия. София, 1981.
- Стоянов 1959 — М. Стоянов. Българска възрожденска книжнина. София, 1959, т. II.

Grammatical Constraints on Orthography:

Ѡ, ѡ

in a 12th-c. Russian Manuscript

1.0 The Church Slavonic component of Old Russian, as of other older Slavic writing, was a prime interest of the late Academician Nikita Il'ič Tolstoj, notably in his much acclaimed study «К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян» (Tolstoj 1988) but also in one of his last, posthumously-published articles, «Slavia Orthodoxa и Slavia Latina — общее и различное в литературно-языковой ситуации» (Tolstoj 1997) in which he emphasized the role of transitional genres («жанры пограничного характера») in the mixing of different linguistic types: «Именно в такой пограничной сфере чаще всего наблюдалось смешение двух языков, что не считалось предосудительным и нежелательным» (20). This is certainly true and can be observed, as Tolstoj noted, precisely in such mixed genres as the Russian chronicles (ibid., 22; cf. also and more extensively, Hüttl-Folter 1983). However, mixtures of elements originating in Old Church Slavonic with those reflecting East Slavic developments are not restricted to transitional genres alone. This is most noticeable in the case of Old Russian orthography, which in several of its details was not stabilized until well into the thirteenth century, and then not entirely, and this is true not only in dialect texts, where non-standard forms (Варлааме, вхѣ, дѣжѣ et al.) are to be expected, but also in «standard» high-style, religiously-oriented texts, for example in the second part of the *Skazanie* of Boris and Gleb (the so-called Сказание... чудес), where the expected reflexes of *tŭrt- etc. groups, e. g. East Slavic Свѣтопѣакъ, страстотѣрпѣць etc. (Uspenskij 1987: 91) suddenly give way to graphically South Slavic forms like -пѣакъ, -тѣрпѣць (cf. Worth in press). «Foreign» graphemes like ѡ are even less subject to orthographical standardization, to the extent that the headings in the reading sections of the aprakos *Ostromir Gospel* seem to be the work of a different set of scribes than the readings themselves (Worth 1996: 71–72).

1.1 One of the graphemes inherited from Old Church Slavonic into Old Russian, but unsupported in its new home by any consistent phonetic function, was the back nasal letter «юс большой» **ѣ**, and its fronted or jotated counterpart **ѣ̆** (glagolitic **ѣ̆**, **ѣ̆̆**); the graphemes presumably represent /q/ and /q̆/, /j̆q̆/ in OCS and /u/ and /ü/, /jü/ in OR)¹. The extent to which **ѣ**, **ѣ̆** compete with their counterparts **оу**, **ю** and the conditions of this competition have been examined for Old Russian in Lunt 1949 and Živov 1984, and in important older sources referred to in both works, e. g. Durnovo 1933. However, there remains one aspect of the use of **ѣ**, **ѣ̆** that as far as I know has not been studied at all: the extent to which the use of these letters is conditioned not (or not only) by ante- or protographs, space limitations at line end, etc., but by the grammatical composition of the words in which they appear. Such grammatical constraints on the appearance of **ѣ**, **ѣ̆** in one early Old Russian manuscript will be the subject of the following remarks. Specifically, we shall see what the distribution of **ѣ**, **ѣ̆** among roots, stem formants, and endings can tell us about the functions of the back nasal letters in the 12th century, and whether their distribution can suggest anything about the mechanism that guided the transition from phonetically determined use of **ѣ**, **ѣ̆** in Old Church Slavonic to their orthographically constrained use in Old Russian.

1.2 The text which interests us here became available only recently, in the splendid Rothe-Vereščagin edition of 12–13cc. monthly lectures (Čet'i Minei) for December (Rothe-Vereščagin 1996). This text (RGADA F381, No. 131, parchment, 145ff.), readings from which are adduced in R–V 1996 only in the variants to the editors' reconstruction and, as complete readings, there where the main texts are missing, is a 12th-century holiday menaeum, in poor condition, containing readings for the fourth and sixth of December only, described in Žukovskaja et al. 1984 and abbreviated, by R–V and in this article, as P (= Prazdničnaja mineja). This text is obviously not at all a transitional genre, but one which was central to Old Russian Orthodox practice and known, more or less by heart, to every practising clergyman. P, according to the «Foreword» of R–V 1996, «is distinguished from other mss. used for the edition by its frequent and predominantly correct use of **ѣ** and **ѣ̆**»². In one sense this is true, but the concept of «correctness» in 12th c. Russian orthography requires a slightly more nuanced approach; we shall return to this point in the course of examining the distribution of **ѣ**, **ѣ̆** in P.

2.0 Let us begin with a few general remarks. First, it seems obvious that in the 12th-c. P itself there is no reason to attribute any phonetic value to ж, ѡж, since they occur, apparently by chance, in the same environments as оу, ю, e. g. сѡще 4.35 but соуща 6.3³, подаваѡци 4.9 but подаваоуци 4.14, a. s. f. твоѡж 4.4 but твою 4.14, въ истинѡж 4.63 but въ истиноу 6.7, etc. Second, use of the nasal vowels is inconsistent: as these same examples show, some forms with etymological *q are spelled with both ж and оу, while others may occur only with ж (мѡжа 6.8, 6.92, 6.96, бѡмѡжнѡ 4.61, бѡгомѡжеродительница 6.82) or only with оу (люб- in любѡвнѡж 4.21, любѡвьѡ 4.55, вѡжлюбѡльши 4.4, чловѡколюбѡвѡ 4.8). Some of these facts may be due to the paucity of examples of ж, ѡж in Old Russian generally or to the idiosyncracies of P compared to other OR manuscripts. Still, the possibility that the nasal letters may be distributed in a less haphazard manner than it first appears may justify a closer look.

2.1 The use of ж, ѡж can be most accurately described at the intersection of two kinds of data. The more obvious of the two involves the jus letters themselves and their absence: if the scribe uses ж, ѡж, he does so either (A) correctly, to represent etymological *q, e. g. a. s. f. стѡнѡж 4.34, or (B) incorrectly, representing etymological *u, e. g. d. s. m. гласѡж 4.17⁴. Further, he may choose (C) not to use ж, ѡж where etymological *q suggests he might have, e. g. a. s. f. силоу 4.29, which is also a form of incorrectness. Finally, the fourth logical possibility (D), in which the scribe chooses not to use ж, ѡж there where there is no etymological reason for him to do so, e. g. людик 6.106, is less vacuous than it might seem, and in fact deserves attention because of the fact that in other, etymologically equally unjustified instances, he *has* used ж, ѡж (гласѡж), and we should be interested why he does so in the one instance and not in the other. We shall refer to these four situations as «jus types».

The second kind of data concerns the constituent morphemes in which ж, ѡж occur or, in the case of (C) and (D), don't occur. A fairly gross functional classification is adequate for our purposes: (R) roots, e. g. рѡжама 4.7, сѡдници 4.42, моудрѡсть 4.42; (S) stem-formants, e. g. сѡще 4.35, ликѡуци 4.7, повинѡувѡ сѡ 4.32; and (E) endings, e. g. i. s. f. сладѡкоѡж 4.21, 1st s. pres. пролѡѡж 6.95, d. s. n. посѡщеннѡж 6.96⁵. Each of the jus types A, B, C, D can appear in each of the morpheme positions R, S, E for a total of twelve combinations: (AR) недѡгты 4.9, (AS) оутѡвьрьѡжѡщѡ 4.62, (AE) вѡрѡж 4.58; (BR) жмѡ 4.43, (BS) ликѡуци 4.7, (BE) аплѡѡжмоу 6.101; (CR) сѡднѡѡж 4.42, (CS) вѡспоуѡе 6.106, (CE) прѡславнѡуѡж 6.108; (DR) чюдѡса 4.63, (DS) именуѡжмѡ 6.94, (DE) сѡрдѡцю 4.14.

2.2 As we have seen, examples of all twelve combinations are found in P. Their distribution, however, is quite uneven from one group to another. We shall examine first (2.2.1) the distribution of \mathfrak{K} , \mathfrak{H} and \mathfrak{O} , \mathfrak{Y} , \mathfrak{U} in stem formants, the smallest and least interesting group, then (2.2.2) in endings, and finally (2.2.3) in roots.

2.2.1 **Stem formants.** There are two kinds of stem formants in our materials. A «deep» formant {uj} appears, in only six examples, as an alternant of {ova} in {-ovati} verbs. In 5/6 of the exx. the etymological *u is correctly rendered by \mathfrak{O} : \mathfrak{P} ДОУЮЦИ (\mathfrak{K} !) 4.7. ЛИКЪСТВОУКЪТЪ 4.17, ЛИКЪСТВОУКИШИ 6.84, ИМЕНОУКИМЪ 6.94, ПРАЗДНОУЮЩЕ 6.105. In a sixth instance, this stem {u} is spelled with \mathfrak{K} : ЛИКЖЮЦИ 4.7; the incorrect \mathfrak{K} may have been induced by the possible nasal vowel spelling of the following participial {-ju-}, i. e. *ЛИКОУЖЦИ, influenced perhaps by the «one is enough» spellings of the acc. sing. fem. long adj. ending {-uju} as -ОУЖ, -ЖЮ (alongside -ЖЖ and -ОУЮ; cf. section 2.221 below). A single example of the verbal formant {-u-} < *q appears in its «denasalized» spelling \mathfrak{O} : ПОВИНОУВЪ СМ 4.32; we omit this form from our statistics below. All in all, the deep formants do not in themselves give us enough evidence to say anything significant about the distribution of \mathfrak{K} , \mathfrak{H} and \mathfrak{O} , \mathfrak{Y} , \mathfrak{U} , but since they reflect the general pattern for *u forms that will become apparent below, we include them in the standard tabular form to be used for other, more numerous types:

Table 1
 \mathfrak{K} , \mathfrak{H} in deep stem formants

Jus type	A	B	C	D	Totals
No. of exx.	0	1	0	5	6
% of total	0	16.7	0	83.3	100.0

The more frequent present active participle {-ušč-} < OCS {qšt}, on the other hand, is worth examining in more detail. We adduce first the data on nasal vowel distribution in this suffix:

Table 2
 \mathfrak{K} , \mathfrak{H} in the present active participle suffix

Jus type	A	B	C	D	Total
No. of exx.	11	0	16	0	27
% of total	39.3	0	60.7	0	100.0

Comments to Tables 1 and 2:

(a) In Table 2, the non-etymological and non-lexical basis for assigning \mathfrak{K} , \mathfrak{H} or \mathfrak{O} , \mathfrak{Y} , \mathfrak{U} to the participial suffix {-ušč-} is evident from

the fact that one and the same participle can occur with either ж, ѝж or оу, ю, e. g. сѝжа 6.82 : соуѝа 6.3, подаваѝци 6.110 : подаваѝци 4.14 (cf. подаѝци 4.9, 4.41), вѝпниѝца 6.99 : вѝпниѝце 6.102, при-тѝкаѝцимѝ 6.6 : при-тѝкаѝцима 6.7).

(b) Both Tables 1 and 2 show the same type of distribution that we will see with larger numbers of examples further on, namely: (b1) in the etymological *u forms of Table 1, type B (ж, ѝж wrongly used for *u) is much less frequent than type D (with the correct spellings оу, ю) and, correspondingly, (b2) the forms of Table 2 show a similar but inverse proportion between types A and C, with the former (correct ж, ѝж for *q) substantially less frequent than type C (incorrect but usual OR оу, ю for *q). That is, ж → оу is much more widespread than оу → ж.

2.2.2 Endings. Endings present a more interesting panoply of ж, ѝж and оу, ю spellings than do stems. We divide them into (2.2.2.1) endings with etymological *q, for which jus types A and C are relevant, and (2.2.2.2) endings with etymological *u, for which the relevant jus types are B and D.

2.2.2.1 Endings in *q. Four endings have etymological *q in auslaut, one of them with a second *q in penult position (= on the stem-ending boundary): (.1) a. s. f. noun and short adj. (землю 4.48, стѝнѝж 4.34, вѝсѝмѝрътѝноу 6.6, свѝтъѝлѝж 4.56, in all 57 tokens); (.2) a. s. f. long adj. (вѝселѝнѝжѝж 6.89, вѝръноуѝж 4.15, вѝчѝнѝжю 6.106, славѝноуѝю 4.63 [on these variant spellings see below, «Comments» (d)], 13 tokens = 26 ж, ѝж / оу, ю choices); (.3) i. s. f. noun and adj. (седѝницею 6.103, съ марѝкѝж 6.106, женѝховѝж 4.21, in all 16 tokens); (.4) 1sg. verb (сѝтворѝю 6.8, пролѝѝж 6.95, 3 tokens in all). The distribution of ж, ѝж and оу, ю endings in these forms is shown in Table 3:

Table 3
ж, ѝж in q endings

.1 a. s. f. noun, short adj.

Jus type	A	B	C	D	Total
No. of exx.	12	0	45	0	57
% of total	21.1	0	78.9	0	100.0

.2 a. s. f. long adj.

No. of exx.	12	0	14	0	26
% of total	46.2	0	53.8	0	100.0

.3 i. s. f. noun, adj.

No. of exx.	8	0	8	0	16
% of total	50.0	0	50.0	0	100.0

.4 1st sing. pres. verb

No. of exx.	2	0	1	0	3
% of total	66.7	0	33.3	0	100.0

.5 total etymological *ϕ

No. of exx.	34	0	68	0	102
% of total	33.3	0	66.7	0	100.0

Comments on Table 3:

(a) **Distribution** of ж, ѣж is not lexically conditioned, as shown by duplicate spellings in six lexical items, namely водаж 6.102 : водоу 6.79, силаж 6.103 : силоу 4.29, твоиж 4.4 : твою 4.14, 6.81 (cf. свою 4.4, нашу 4.15, 6.86), въ истинѣж 4.63 : въ истиноу 4.9, 6.6, 6.7, 6.107, въ истинѣ 4.15, стѣнѣж 4.34 : стѣноу 6.86, мѣтѣж 6.8 : мѣтоу 6.95. Similarly, in the i. s. f. любѣвнѣж 4.21 : любѣвнѣю 4.55, вѣроиж 4.63, 6.104 : вѣрою 6.101, молитвоиж 6.93, молитвою 6.7, Мѣтѣю 6.95, i. e. three of the eleven words occurring in this form have both ж and оу, the other eight being evenly divided between -оиж (женнѣвоиж 4.21, сладѣкоиж 4.21, стрѣлоиж 4.21, съ марнѣж 6.106) and -ою (дѣбою 4.54, съ тобою 4.62, плѣтнѣю 6.94, седмицею 6.103).

(b) **Correctness.** Since this section deals only with endings in *ϕ, the question of incorrect ж, ѣж (i. e., ж, ѣж used for etymological *и) does not arise. However, insofar as correctness can be measured by the extent to which the scribe uses ж, ѣж, and not оу, ю for etymological *ϕ, then our figures show that the scribe is correct in only one third of the instances in which he had a choice (34 exx. = 33.3% : 68 exx. = 66.7%). Cf. section 2.222 below.

(c) **Frequency and reliability.** The more frequent, and thus the more reliable the examples of ж, ѣж / оу, ю choice are, the less correct are the scribe's decisions: for (Table 3, .4) verbs, 2/3 exx. = 66.7% are correct, for (.3) i. s. f. noun and adj., 8/16 exx. = 50.0% correct, for (.2) a. s. f. long adj., 12/26 exx. = 46.2% correct, and for a. s. f. noun and short adj., 12/57 exx. = 21.1% correct. In other words, the totalled figures in (.5), which show one-third of the choices to be correct, are if anything optimistic; were the total number of exx. larger, we might expect the proportion of correct choices to shrink still further.

(d) **The long adj.** results in (.2) of Table 3 suggest some additional comment. All four possible combinations of nasal and oral vowels are (almost) equally well attested: -ѣж 3x (трѣсѣланѣвнѣж 4.39, вѣоуѣнѣж 4.42, вѣселенѣж 6.89), -оуѣж 3x (прѣсловоуѣж 4.14, вѣрнѣоуѣж 4.15, прѣславнѣоуѣж 6.108), -жю 3x (непорочнѣжю 4.68,

прѣтънѣю 6.100, вѣунѣю 6.106), and -оую 4x (сѣмьртѣнѣю 4.29, земаьноую 4.32, славьноую 4.63, бл҃гоууханьноую 6.94). In the 26 ж, ѣ / оу, ю choices he faced, the scribe chose a nasal letter in 12 (46.2%) and an oral letter in 14 instances (53.8%), from which we may conclude that he was not trying very hard to place his juses correctly. On the other hand, he clearly thought it appropriate, though not obligatory, to use at least one ж or ѣ in this ending, since he did so in 9/13 (69.2%) of the examples. Using both ж and ѣ in a single ending, which he did in 3/13 (23.1%) of the examples, was clearly permissible, as was the complete omission of nasal letters in favor of оу, ю (4/13 = 17.4%), but neither of these two solutions was especially desirable (consistency being equated, perhaps, with stylistic overkill). The conclusion suggests itself: the scribe (or that of his antegrath) was concerned not with phonetics or with etymology, and not even with following the orthographic habits of South Slavic scribes (about which he may or may not have known anything, and one doubts that he knew much), but with orthographic *style*, — putting in a jus here and there, with due moderation, in the service not of etymology etc. but of scriptorial *dignitas*.

Speculating backwards in time from the situation in P, we can assume, as far as the back nasal vowels are concerned, three stages in the evolution of OCS orthography into the orthography of Old Russian: (Stage 1) In OCS itself, ж, ѣ were phonetically conditioned representatives of /q/, /q̄/, /jq̄/; (Stage 2) in early Old Russian, when the first East Slavic scribes were copying from (and then imitating) OCS originals, ж, ѣ were lexically (for roots) or grammatically (for stem formants and endings) conditioned substitutes for оу, ю⁶; (Stage 3) by the 12th c., when P was written, the formerly (first phonetically and then orthographically) obligatory (or at least intentional) use of ж, ѣ in certain morphemes had changed to an optional, stylistically conditioned choice of spellings. The mechanism by which Stage 1 became Stage 2 and the latter became Stage 3 is analogous to phonemic reanalysis as described in Andersen 1973⁷. See also Table 4, «Comments» (d) below.

2.2.2.2 Endings in *u. The endings in which etymological *u is sometimes spelled by ж, ѣ are (.1) d. s. m.-n. noun and short adj. (богѣ 4.7, прѣстолаж 6.101, бѣвъшю 6.96, бѣниж 6.84, in all 32 exx.), (.2) d. s. m.-n. long adj. (скоромоу 6.96, великоумж 6.8, 5 exx. in all), (.3) soft m. voc.⁸ (сѣителю 6.84, архирею 6.92, николаж 6.3, архиреж 6.6). Table 4 shows the distribution of ж, ѣ and оу, ю in these endings.

Table 4
 ꝥ, ꝥ in endings with *u

	A	B	C	D	Total
.1 d. s. m.-n. nouns					
Jus type					
No. of exx.	0	10	0	22	32
% of total	0	31.2	0	68.8	100.0
.2 d. s. m.-n. long adj.					
No. of exx.	0	3	0	2	5
% of total	0	60.0	0	40.0	100.0
.3 soft m. voc					
No. of exx.	0	4	0	5	9
% of total	0	44.4	0	55.5	100.0
.4 total etymological *u					
No. of exx.	0	17	0	29	46
% of total	0	37.0	0	63.0	100.0

Comments on Table 4:

(a) In the section on endings with etymological **q* above (Table 3) we examined the extent to which the nasal letters ꝥ, ꝥ were used where they would have been justified, in OCS by phonetics and in early OR by orthographic intent, establishing that such correct use obtained in exactly one third of the examples. Here, in studying endings in etymological **u*, we are dealing with a different situation, namely the etymologically unjustified extension of the nasal letters into endings where there was no prior phonetic or orthographic reason for such extension. We shall suggest the mechanisms by which this extension may have taken place in additional comments below.

(b) The most striking fact about Table 4 is that its figures are close to being a mirror image of those of Table 3. In Table 3, etymologically correct usage (ꝥ, ꝥ for **q*) comprises only a third of the examples; in Table 4, in contrast, correct usage (oꝥ for **u*) comprises two-thirds of the total. Put another way: Table 3 shows that etymologically incorrect oꝥ, io had conquered two-thirds of the original **q* territory, whereas Table 4 shows that ꝥ, ꝥ had occupied only one-third of the territory of etymological **u*⁹.

(c) Within the overall reversed proportions of correct and incorrect use of nasal and oral letters just noted, Table 4 shows almost the same direct relation as Table 3 between the number of examples in a given form and the percentage of correct and incorrect examples: the d. m.-n. long adj., with only 5 exx., is split 40-60 between cor-

rect (ou for *u) and incorrect use (ж for *u), the soft-stem voc., with 9 exx., is split 4 (44.4%) incorrect to 5 exx. (55.5%) correct; the d. s. m.-n. noun and short adj., with 32 exx., has 10 incorrect exx. (31.2%) and 22 exx. which are correct (68.8%). In Table 3, higher frequency (= greater reliability) correlates with lesser correctness; in Table 4, higher frequency (= greater reliability) correlates with greater correctness. The common denominator of these disparate results is — not surprisingly, given the overall histories of ж, ѣ and ou, ю — is that greater reliability correlates with greater use of ou, ю and lesser use of ж, ѣ.

(d) Table 4 shows that in the 12th-c. P the nasal letters ж, ѣ had occupied a third of «enemy territory», i. e. of forms with etymological *u. How this came about cannot be proven, especially with the small amount of data available here, but can nonetheless be guessed at. The usual explanation, namely «hypercorrectness», claims that the scribe, with no nasal vowels of his own and unsure of where the corresponding letters should be used, starts writing ж, ѣ where they don't belong, substituting, say, братж for d. s. m. братou. Correct as far as it goes, hypercorrectness is inadequate as an explanans because it fails to provide the obviously necessary positional constraints. If ж, ѣ were nothing more than optional decorative substitutes for ou, ю, we should expect to find them extended not only to endings, but also to prefixes and prepositions in *u, — but we don't, at least not in P¹⁰. It is reasonable to assume that the preservation of the nasal spellings ж, ѣ for endings in older /q ǫ jǫ/ was facilitated by the narrow positional restrictions on the occurrence of these nasals: primarily in auslaut, as in i. s. f. -ouж and a. s. f. -жж, but also on the stem-ending boundary as in -жж, and simultaneously in both positions, as in a. s. f. -ж. When OCS texts came to Rus' for copying, the OR scribe could reanalyse the OCS rules not as phonetic but as grammatical («write /u/ as ж in the a. s. f., i. s. f., etc., which happen to occur in auslaut and/or on the stem-ending boundary»). When additional reanalysis drops the morphological constraint and becomes a stylistic option («write /u/ as ж in auslaut and/or on the stem-ending boundary, but don't overdo it»), the nasal spellings can equally well appear in the d. s. m.-n. noun and short adj. (гласж 4.17, постѣиеннж 6.96, бжнж 6.84) and in the long. adj. (кжжжж 4.32, великоужж 6.8). The duality of the positional criteria (auslaut; stem-ending boundary), combined with the optional nature of the new stylistic rule, is responsible for the quadruple a. s. f. long adj. spellings already discussed (-жжж, -ouжж, -жю, -ouю) and also for rarer spellings in

-жмоу on the pattern of a. s. f. long adj. -жю (a single example in P: *Аплѣскжмоу* 6.101).

2.2.3 Roots. While the distribution of jus types in stem for-
mants and endings is conditioned primarily by grammar and position,
that in roots is determined primarily by lexicon, with the possibility,
to be examined below, of minor additional phonological constraints.
P has 31 roots which have, or could have had, spellings with ж, ѡж,
as shown in Table 5.

Table 5
roots in *q and *u

	*q roots	*u roots
No. of roots	13 ¹¹	18
No. of tokens	40	42
Tokens per root	3.1	2.3

Roots in *u are somewhat more numerous than those in *q but
show fewer tokens per root, so that the total number of tokens is
almost equal. (For additional differences, see «Comments» below.)

2.2.3.1 Roots with etymological *q and their tokens are dis-
tributed as shown in Table 6:

Table 6
roots in *q

Jus types	A	B	C	D	Totals
No. of exx.	35	0	5	0	40
% of total	87.5	0	12.5	0	100.0

The following *q roots and their tokens are attested in P: БѡД
(изѡдета 6.8), ДѡГ (недѡгы 4.9, 6.85, 6.109), ГЛѡВ (глѡвинѣ
4.14), ЛѡК/ЛѡЧ (разѡчвеник 4.58, неразѡчно 4.61), МѡДР
(мѡдре 4.46, 6.84, 6.95, мѡдрѡими 4.7, вѡмѡдре 4.39, 6.80, 6.89,
вѡмѡдромь 4.43, прѣмѡдре 6.83, Прѣмѡдраго 6.3, but моудрость
4.42), МѡЖ (мѡжа 6.8, 6.92, 6.96, бѡмѡжно 4.61, вѡмѡжжеро-
дительница 6.82 [sic Г]), МѡК/МѡЧ (мѡками 4.8, мѡвеницу 4.14,
мѡвитель 4.48, мѡвительа 4.28, мѡвенно 4.62), РѡК/РѡЧ (рѡкама
4.7, but обрѡчената 4.22), СТѡП (застѡпа 6.3¹², застѡпникъ 6.7),
СѡД (сѡдици 4.8, 4.42, осѡжденомъ 6.96, but сѡдынѣ 4.42), ТѡГ
(only в тѡжѣ 6.82), ѡХ (бѡгожѡниа 6.6, but бѡгоуѡханьноую 6.94),
perhaps ѡЗ (ms. озамн 6.95, editors' hypothesis for *оузамн).

2.2.3.2 Roots with etymological *u (from which we exclude
the borrowing июден 6.99) are similarly shown in Table 7:

Table 7
roots in *u

Jus types	A	B	C	D	Totals
No. of exx	0	12	0	30	42
% of total	0	28.6	0	71.4	100.0

They are somewhat more numerous than those in *q (18: 13), but show fewer tokens per root, so that the total number of tokens is almost equal (42: 40). The following roots occur: ЛЮБ (любѣвниж 4.21, любѣвью 4.55, вълюбельши 4.4, ѡловѣколюбьѹе 4.8), ЛЮД (людик 6.106, людѣмъ 6.7), ЛЮТ (лютами 6.97), ПОУСТ/ПОУЩ (поусты [for поустыни] 4.21, ѡпоустита 6.8, but also пщцага 6.6), РОУГ (only ржгажци сѧ 4.36), СЛОУГ (слоуго 6.7), СЛОУХ/СЛОУШ (only послжшакта 6.8), СТРОУИ (only остржити 4.52, стржтами 4.49), СТОУД (only стждьнага 4.36), ТРОУД (only нетрждьно 4.47), ОУДОЛ 'conquer' (оудолѣник 6.110, but also ждолѣниж 4.41), ОУХ (оухо 6.81), ОУК/ОУЧ (оуцени 4.52, оуценикмъ 4.52, оучителѧ 4.66, бѣоуценжж 4.42), ОУМ (оумъ 4.39, Оумъ 6.79, оума 4.68, оумомъ 4.29, павеоумьнъ 4.14, but also жмъ 4.43, без жма 4.48, безжмниж 4.58), ОУН/ЮН (юноты [= оуности] 4.22), ХОУД (only хждоу 4.48), ХОУЛ (only хжльнаго 4.52), ЧЮД (юдеса 4.63, 6.105, юдесемъ 6.85, 6.103, юдесы 6.88, юдѣксы 6.91, юдотворца 6.79).

2.2.3.3 Comments on Tables 6 and 7:

(a) As Table 6 shows, 7/8 of P's *q- root verbs are correctly spelled, with ж. This surprisingly etymological orthography is a tribute to the power of lexical (as opposed to grammatical or positional) constraints on the scribe's choices between ж, ѡж and оу, ю, particularly when compared to the low degree (1/3) of etymological accuracy in *q-endings, as shown in Table 3.

(b) The only *q root never written correctly, i. e. written only with оу, is the problematically misspelled озами (for оузами) 6.95. *u roots, on the other hand, have six such instances: РОУГ (ржгажци сѧ 4.36), СЛОУХ/СЛОУШ (послжшакта 6.8), СТРОУИ (остржити 4.52, стржтами 4.49), СТОУД (стждьнага 4.36), and ТРОУД (нетрждьно 4.47), ХОУЛ (хжльнаго 4.52).

(c) Connected with (b) is the fact that, unlike *q roots, those in *u (or their derivatives) are sometimes affected by otherwise homographic roots with nasal vowels: it is unlikely that the incorrect ж spelling of ждолѣниж 'conquest' 4.41 (cf. correct оудолѣник 6.110) not have been influenced at least in part by ждоль 'valley', and similarly with *xod 'art' in хждоу (for хюдоу) пѣтницю 4.48, and in пристанице нетрждьно (λιμὴν ἀχειμᾶντος 'a harbor free of winter

storms', surely better rendered by **trud* 'difficult' as in S не-тpоудьно than by **trqd* 'illness' as in P's нетpждьно 4.47.

(d) **Phonetic constraints?** While no **q* root has more than a single incorrect оу spelling, the root ОУМ, unique among **u* roots too in this respect, is incorrectly spelled with ж three times (жмъ 4.43, без жма 4.48, безжмик 4.58), to only 4x with correct оу (оумъ 4.39, Оумъ 6.79, оума 4.68, оумомъ 4.29). These examples are few in number, and the ж spellings may be due to nothing more structured than chance, but one is nonetheless tempted to wonder whether the accompanying consonant м may have influenced this relative frequency. Let us remember, first, that nasal vowels might still have existed in early literate Novgorod, particularly, and for the obvious phonetic reason, in the vicinity of nasal consonants (f. n. 1, 6)¹³. Second, let us note that the only **q* roots that occur at all frequently in P are those in initial м-: МѠДР with 11 tokens (ten spelled with correct ж), МѠЖ and МѠК/МѠЧ with 5 tokens each (all in ж); no other root appears more than three times. From this combination of supposition and fact there arises the possibility that in the first copies of the menaeum the association of nasal vowel remnants with contiguous nasal consonants was reinforced by the frequency of these three (and perhaps other) м- roots, and that this in turn increased the likelihood that a **u* root like ОУМ, with an oral vowel but an inherited nasal consonant, would be especially receptive to spellings in ж¹⁴. Such spellings, for the historian of Russian, can fairly be characterized as the faint structural echoes of a once real nasality; such echoes, too, are part of language history.

3.0 The philological details in this paper are offered as a contribution to the accumulating body of factual data without which generalizations remain empty. The historical speculation that accompanies these details is intended to suggest possible paths, the pursuit of which might add to our information about the early prehistory of literary Russian.

¹ V. M. Žiivov (1984: 285, f. n. 10) has correctly argued that one cannot absolutely exclude the possibility of a phonetic difference underlying the graphic opposition оу : ж «нельзя полностью исключить возможность того, что в русском книжном произношении первых двух третей XI века по-разному читались оу и ж». We will return to this interesting possibility below.

- ² To be more precise: the German version of the «Preface» reads, «Graphisch fällt der häufige und überwiegend korrekte Gebrauch von ж und ѣ auf» (xiv); the Russian version, with slightly greater restraint, says only that «обращает на себя внимание в целом правильное употребление ж и ѣ» (xlii). As we shall see, P is quite correct in roots, but not at all so in endings.
- ³ References are to the set of readings for one day in R-V 1996: 4.35 = December 4, 35th reading; 6.3 = December 6, 3d reading.
- ⁴ The 12th-c. Russian scribe of course knew little of etymology, and, speaking a language without nasals, could have had little idea why his Bulgarian predecessors used ж, ѣ in some places and ѡ, ю in others. What he did try to respond to was a set of orthographic habits inherited from his Old Russian predecessors, who had themselves managed to find their way between the fairly straightforward inherited OCS orthography and their own speech habits (no nasals, mostly «correct» use of jers, etc.). References to «etymologically correct» or «incorrect» use of ж, ѣ are shorthand for «conforming to an idealized OCS orthography»; this phrase is not to be taken as an evaluation of the scribe's «good» or «bad» orthographic habits, but merely as a convenient measure of the extent to which his still developing (or, in the case of P, his somewhat artificially retrograde) orthography had evolved away from this «ideal». Accordingly, we shall henceforth use no quotation marks with (*in*)correct.
- ⁵ The divisions into root/(stem)/ending are slightly obfuscated, as usual, by Cyrillic orthography, but this does not affect our study of ж, ѣ. The one form in our data in which the OR scribe was unlikely to have been able to recognize its root and ending, the one occurrence of a. s. f. pronoun ѣже (OCS [jō], OR [jū]), has been omitted from our counts.
- ⁶ In the case of endings, location in relation to boundaries (stem-ending, word-final) would presumably have played some role, to be expanded in Stage 3.
- ⁷ Stage 2 could only have developed after all traces of nasality had disappeared from OR. This would presumably have occurred later in Novgorod than in the South, and would have been delayed in forms (all of them roots) in which the original nasal vowels were immediately contiguous to nasal consonants (e. g. МѣЖ-, МѣК-, МѣДР-, — roots which, as it happens, are relatively frequent in the Четьи Миней; cf. section 2.23 below). Bearing in mind Novgorod's other connections with West Slavic, one may carry Živov's suggestion (see f. n. 1) a step further and admit the possibility of residual nasal vowels in 11th c. Novgorod (at least in the neighbourhood of nasal consonants), in which case all three stages would have existed on Russian soil.
- ⁸ With analogical extension to one hard-stem variant: (Николаю → Николаѣ → Николѣ).
- ⁹ The reason for this at first glance puzzling distribution is of course that there are nearly twice as many *q as *u endings, so that equal expansion ratios should result in twice the percentage of *q as *u victims.
- ¹⁰ A hasty glance through P turned up some eighteen verbs prefixed in ѡ- (-готови сж 4.25, -двнши сж 4.27, -мрѣ 4.52, -слъшхъ 6.87, -пзвени 6.97, -цедри 6.100 et al.), none of which were spelled with ж. Prefixal сж-

as in *сѡпротивити сѡ* was too infrequent to encourage *ж* spellings of *оу* prefixes. One would not be surprised to find such forms as **жходити*, **жврата* during the period (latter 11th c.?) when the orthographic rules of Stage 3 had not yet been worked out, but P has no evidence of this sort.

- 11 The anaphoric root **j-*, was excluded from our count; see f. n. 5.
- 12 There may be an error in Rothe-Vereščagin 1996 here: the variants give both «P -СТѢ-», implying *застѣпникъ*, and, after variants from mss. D and T, «P → var. *застѣпа*» (p. 304).
- 13 We note in passing that the letter *ж* itself was used in Novgorod until well into the 14th c. (Zaliznjak 1986: 100).
- 14 The only other **u* root in P with a nasal consonant, *оуи/юи*, was protected from incorrect *ж* spellings by its preferred Slavonic spelling in *ю-*.

References

- H. Andersen*. Abduction // *Language* 49: 567–595 (1973).
- Н. Дурново*. Славянское правописание X–XI вв. // *Slavia* 12: 45–82 (1933).
- G. Hüttl-Folter*. Die *trat* — *torot* Lexeme in den altrussischen Chroniken. Ein Beitrag zur Geschichte der russischen Literatursprache. Vienna, 1983.
- H. Rothe* and *E. M. Vereščagin*, eds., Gottesdienstmenäum für Dezember, nach den slavischen Handschriften der Rus' des 12. und 13. Jahrhunderts. Teil I: bis 8. Dezember (Patristica Slavica, herausgegeben von Hans Rothe, Band 2 = Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 98), 1996.
- Н. И. Толстой*. К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян // *Вопросы языкознания*, 1961, № 1, с. 52–66, reprinted in his: *История и структура славянских литературных языков*. М., 1988, с. 34–52.
- Н. И. Толстой*. *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Latina* — общее и различное в литературно-языковой ситуации // *Вопросы языкознания*, 1997, № 2, с. 16–23.
- Б. А. Успенский*. *История русского литературного языка (XI–XVII вв.)*. München, 1987.
- D. S. Worth*. Omega, especially in Novgorod // *Русистика, Славистика, Индоевропеистика*. Сборник к 60-летию Андрея Анатольевича Зализняка. М., 1996, с. 70–82.
- D. S. Worth* in press: *Probative Slavonisms in Textology and Language History*, to appear 1998.
- А. А. Зализняк*. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // *В. Л. Янин, А. А. Зализняк*. *Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.)*. М., 1986, с. 89–219.
- В. М. Живов*. Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI–XII века // *Russian Linguistics* 8: 251–293 (1988).
- Л. П. Жуковская, Н. Б. Тихомиров, Н. Б. Желаманова*. *Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв.* М., 1984.

Д. С. Ворп

Грамматический фактор в орфографии.

ж, ѡж

в древнерусской рукописи XII века

В статье рассматриваются виды лексической и грамматической обусловленности употребления «юса большого» в одной древнерусской рукописи XII века. Доказывается, что в морфемах на праслав. **q* употребление **ж** и **ѡж** достигает 87,5% «этимологической правильности» в корневых морфемах, тогда как такая «правильность» не превышает 33,3% в падежных окончаниях, в которых писец употребляет юсы скорее для торжественного колорита (см. такие примеры, как **вѣселени~~ж~~ѡж**, **вѣрно~~ж~~ѡж**, **вѣчн~~ж~~ѡ**, **славьно~~ж~~ѡ**). По мнению автора, переход от древнецерковнославянской (фонетической) системы распределения юсов к древнерусской (орфографическо-стилистической) системе осуществился путем так называемого переосмысления (reanalysis) данного графического материала.

Славянская историческая диалектология и история регионального языка

Согласно авторитетному определению, диалект — это «разновидность данного языка, употребляемая в качестве средства общения лицами, связанными тесной территориальной, социальной или профессиональной общностью»¹. Логически предметом современной синхронической диалектологии является описание не только традиционных крестьянских диалектов, но и региолектов, арго, профессиональных языков, жаргонов, языка городов и поселков городского типа в целом. Различные типы региолектов интенсивно развиваются сейчас не только в России, но и во всех европейских странах. Соответственно общая задача исторической диалектологии — это история различных диалектов данного языка.

В то же время ядром исторической диалектологии была и остаётся история традиционных крестьянских диалектов.

Каковы же основные направления и задачи исторической диалектологии в этой области.

Это: 1) история формирования границ диалекта, его ареала; 2) история форм и слов диалекта; 3) история функционирования форм, слов и конструкций в различные отдельно взятые периоды эволюции диалекта, описание отдельных синхронических его состояний.

В ряде предшествующих публикаций мы уже не раз отмечали, что история формирования границ ареала древнейших первичных диалектов не может быть вскрыта только по данным языкознания. Это комплексная задача, требующая сотрудничества с археологами, этнографами, музыковедами, антропологами, географами, геологами. Таким образом, эта первая и наиболее романтическая проблема как раз и не является проблемой собственно диалектологической, лингвистической².

Основные работы, так или иначе ориентированные на историческую диалектологию, относятся ко второму из вышеназванных типов. В них на материале современной диалектной лексики и грамматики выясняются пути формирования диалекта.

Основные методы, применяемые здесь, — это анализ географии и происхождения отдельных слов и форм, определение типов междиалектных взаимосвязей, уточнение диалекта-источника. Успехи этого направления очевидны. Именно благодаря работам этого типа мы знаем сегодня в основных чертах историю многих севернорусских и среднерусских говоров, говоров Полесья, Карпат, Словакии, Малопольши, Вармии и Мазур. Сюда же относятся и споры о темных звеньях в истории диалекта. История формирования диалекта тесно связана с проблемой субстрата. Большую роль здесь играет этимология, специальное выявление происхождения субстратных форм. Например, для севернорусских диалектов — это проблема балтийского, саамского, финно-угорского субстрата; для восточноболгарского — фракийского, болгарского.

Таким образом, это направление показывает, как сложился современный (в широком смысле) тип диалекта. Основные методы, применяемые при решении этой второй задачи, — ареальный, сравнительно-исторический, сопоставительно-типологический по отдельным локальным узлам и центрам; основные источники — монографические описания грамматики и лексики диалекта, областные словари и атласы.

В то же время историко-диалектологические исследования второго типа реконструируют не отдельные состояния, а общую картину эволюции диалекта. Именно поэтому так трудно сравнивать между собой, например, тип системы псковских, белозерских и полесских, карпатских, мазурских или шопских и родопских говоров. Самое большее, что, по-видимому, здесь можно сделать, — это по итогам разных работ выявить характер междиалектных связей и противопоставлений.

Каковы пути хронологической стратификации слов и форм по их происхождению? С одной стороны, исходные данные заключаются здесь уже в истории границ и ареалов (см. задачу № 1). Корреляция между словом и ареалом и знание истории этого ареала нередко содержат главную информацию и об истории данного слова или формы.

С другой стороны, многое здесь может дать, в частности, региональный этимологический словарь. Например, уже по данным предварительных «Материалов для этимологического словаря севернорусских говоров» очевидно, что весьма значительная часть

слов ладого-тихвинских и сопредельных псковских и новгородских говоров являются не праславянскими, а возникшими позднее в XI–XIV вв. в историческом ареале Верхней Руси, другая же основная часть восходит к диалектам среднего Поднепровья и Полесья. Все такие слова, по-видимому, устойчиво входили в словарь ладого-тихвинских говоров на протяжении всего времени начиная с XI в. Такой же тип сохраняют в большинстве славянских диалектов многие сильные модели именного склонения.

Напротив, по характеру своей собственно дифференциальной лексики ладого-тихвинские говоры резко противостоят дифференциальной лексике славянских балканских и прежде всего болгарских диалектов. Лексика севернорусских и славянских балканских диалектов в целом свидетельствует о кардинальной противопоставленности и противоположности говоров и культуры Русского Севера и Славянского Юга.

Несколько особняком стоит третье направление — анализ функционирования форм слов в различные периоды в истории диалекта, описание отдельных его синхронических состояний. Реальная жизнь и слов и форм вне текстов памятников письменности вскрыта быть не может. В то же время обращение к памятникам письменности выводит нас на более широкую проблему — проблему истории регионального языка.

Если мы обратимся к общим историческим грамматикам славянских языков и к историческим словарям, то довольно быстро заметим, что в них локальное, региональное теряется среди самых разных примеров, иллюстрирующих данную форму, слово, значение. Например, как известно, при подготовке картотеки Древнерусского словаря под руководством Б. А. Ларина в нее в свое время была включена богатая деловая письменность Тихвинского монастыря, однако восстановить хотя бы даже только сам лексикон деловых книг Тихвина XVI–XVII вв. по данным Словаря русского языка XI–XVII вв. невозможно.

Для истории регионального языка крайне важно сопоставление лексики и грамматики диалектов местной письменности по отдельным локальным славянским центрам и прежде всего по таким, как Псков, Новгород, Москва, Тверь, Острог, Львов, Тырново, Ресава и др.

История регионального языка не должна опасаться и избегать контактов с историей ближайшего доминирующего национального или литературного языка. Напротив, в её задачи как раз и входит выяснение степени близости данного местного языка к ближайшему стандартному литературному языку.

Например, в задачи истории регионального языка Пскова XIV–XVII вв. входит определение того, насколько он близок к общерусскому языку этой эпохи. Так с позиций истории регионального языка история языка таких центров, как Москва или Тырново, может быть рассмотрена именно в аспекте влияния их языка на другие славянские центры и школы.

История региональных языков различных славянских культурных центров во многом связана с судьбой самих этих центров.

Одни из них, возникнув, пережили в Раннем средневековье свой золотой век и постепенно угасли (Охрид, Преслав), другие, напротив, проявляются только начиная с XV–XVI вв. (Тырново, Ресава, Львов, Острог, Вильна), и лишь немногие продолжают сохранять свою роль и свои традиции на протяжении четырех–пяти столетий Средневековья (Москва, Киев, Псков, Новгород).

Разным является отношение таких центров и к ближайшим другим славянским типам языкового состояния. В одних случаях рядом функционируют близкие лингвистические типы (койне Пскова, диалект Пскова и церковнославянский язык в Пскове XIV–XVII вв.), в других, напротив, идет бурное развитие литературного языка центра вне опоры даже на близкий народно-разговорный язык (Тырново, Ресава); в третьих местный, региональный, народно-разговорный язык развивается рядом с другим, более престижным доминирующим чужим литературным языком (польский литературный язык в Кракове рядом с латинским, хорватский рядом с итальянским и латинским в Дубровнике).

История регионального языка вбирает в себя все итоги работ, выполненных в ключе исторической диалектологии, но она идет дальше и включает в поле своего рассмотрения не только историю всех собственно диалектных явлений, но также и явлений, потенциально общенародных, локально не ограниченных.

Предметом истории регионального языка является не только история диалекта как устной формы общения, но и язык памятников региональной письменности во всех её жанрах. При этом региональные церковнославянские тексты, представляющие тот или иной локальный вариант церковнославянского языка, также составляют неотъемлемую часть истории регионального языка того культурного центра, где были изданы таковые памятники.

Рассматривая историю письменного языка, история регионального языка не исключает те или иные типы текстов как нелитературные, а дает описание языка как системы по отдельным хронологическим срезам во всей совокупности таких текстов.

Обратимся в качестве примера вновь к языку древнего Пскова. В Пскове и Псковской земле XIV–XVI вв. существовали разные типы языковых состояний, как устные (крестьянские диалекты, язык фольклора, городская речь Пскова), так и письменные (язык деловых документов, язык летописей, язык церковной литературы).

Для истории регионального языка Пскова важны не только исследования о местной лексике в памятниках письменности, но и реконструкция полной системы языка таких памятников, как псковские летописи, грамоты, жития псковских святых, сочинения псковского священника Василия, монастырские уставы. Подобная реконструкция для системы именного склонения, словообразования была произведена нами ранее³.

Она показала, в частности, что Псков XIV–XVI вв. демонстрирует один из наиболее сильных и ярких наддиалектных типов церковнославянского языка Средневековья. Церковнославянский языковой тип в Пскове выступает как часть единого церковнославянского языка, распространенного как в Тырново, Ресаве, Валахии, так и в Остроге, Вильне, Москве, Твери и Новгороде.

Напротив, язык деловых документов во многом являет собой тип общий с языком деловых документов других русских центров местной письменности.

И здесь нельзя не заметить некоторых структурных параллелей между характером распределения древних рукописей и отношений между говорами и диалектами с точки зрения диалектологии и ареальной лингвистики.

Так, понятие рукописи может быть сопоставлено с понятием говор (говор индивида), группа, ряд близких рукописей — с понятием группа говоров, в ряде случаев такая группа близких рукописей образует свой диалект, но лучше всего коррелирует с понятием диалекта локальный культурный центр, литературная школа. Если удалось установить автора (писца) этих рукописей, то мы можем рассуждать о его идиолекте, представленном в тех или иных рукописях.

Таков, например, идиолект Евфимия Тырновского, отразившийся в его житиях и литургических службах. Различные близкие между собой по языку рукописи, созданные Евфимием Тырновским и его учениками, репрезентируют диалект Тырновской литературной школы.

Подобно наречиям и крупным диалектам в диалектологии и лингвистической географии типы славянских рукописей по особенностям их языка, письма образуют обширные зоны рукописей более близких и более далеких между собой. Между группами

рукописей так же, как между диалектами родственных языков нет резких границ, один тип плавно переходит в другой. В то же время между разными классами рукописей есть переходные зоны, группы. Таково, например, место летописей и повествовательных текстов между памятниками конфессиональными и деловыми.

Выявив методом классической диалектологии общее и частное между языком таких текстов (авторов), мы ещё более полно увидим тип языковой системы каждого из них.

История регионального языка не может быть построена без учета истории культурных центров славянского Средневековья. История регионального языка не может быть понята и без осознания всего того историко-культурного фона, который вырастает и просматривается за крепостными стенами и башнями того или иного отдельного средневекового города.

Широкое привлечение различных памятников средневековой региональной письменности, народных диалектов при обязательном учете аналогичных фактов других славянских языков позволяет воссоздать и основные этапы истории регионального языка.

Именно так в ключе анализа и сравнения данных по отдельным локальным центрам, таким, как Москва, Псков, Търново, Острог, Ресава, и был построен ряд работ петербургских филологов, начатых еще в 70-е гг. совместно с Н. И. Толстым и продолженных впоследствии по его инициативе⁴.

Для истории регионального языка традиционный сельский крестьянский диалект — лишь один из типов языковых состояний. История регионального языка не замыкается на истории формирования крестьянского диалекта, она идёт дальше, восстанавливая историю разных типов языковых состояний данного ареала, конкретного культурного центра.

На своем верхнем (современном) хронологическом уровне история регионального языка смыкается с современной диалектологией, с этнолингвистикой, с теорией региолектов.

Что такое история регионального языка Пскова? Это история псковского диалекта (западных среднерусских говоров по академической классификации 1964 г.), история регионального языка Пскова в единстве устной и письменной форм его реализации.

В перспективе история регионального языка не исключает современные диалекты. Напротив, её целью является показ эволюции старого диалекта вплоть до его трансформации в региолект, полудиалект⁵.

В этом отношении для истории регионального языка не менее важны местные письменные источники XVIII–XIX вв. Известно,

например, что местные списки житий XIX в. нередко резко отличаются от списков XVI–XVII вв.; неисчерпаемый источник по истории регионального языка — частные письма, деловые документы XVIII–XIX вв. Особенно велика была роль региональных языков в эпоху отсутствия в том или ином ареале единого стандартного литературного языка.

Конечно, русская историческая диалектология сегодня ещё не решила и первых двух задач, поставленных выше, но рано или поздно она неизбежно перерастет в историю региональных языков России во всем многообразии их языковых состояний. И здесь все труды, беседы и реплики незабвенного Никиты Ильича, касались ли они диалектологии или церковнославянского языка или судеб славян, есть и навсегда останутся яркими маяками в наших плаваньях по бескрайним морям *Slavia Orthodoxa et Slavia Latina*.

-
- ¹ Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990, с. 132.
 - ² Этногенез и историческая география // *Philologia slavica*. М., 1993; Русская историческая диалектология в кругу смежных дисциплин // ВЯ, 1995, № 2; Введение в этнолингвистику. СПб., 1995.
 - ³ О синхроническом описании языка древнеславянских центров письменности // Вестн. ЛГУ, 1986, сер. 2, вып. 1; К изучению языка древнеславянской письменности: Псков и Търново XIV–XVI вв. // Лексика и грамматика севернорусских говоров. Киров, 1986.
 - ⁴ Именное склонение в славянских языках XI–XIV вв. Лингво-статистический анализ. Л. 1974 (Соавт. Л. В. Капорулина, Е. В. Колесов, О. А. Черепанова, М. П. Рускова); Именное склонение в славянских языках XV–XVI вв. Лингво-статистический анализ. Л., 1977 (Соавт.: Н. И. Мещерский, Л. В. Капорулина, Е. В. Колесов, О. А. Черепанова, М. П. Рускова); Ареальная типология славянских текстов XIV–XVI вв. // Советское славяноведение, 1982, № 5; К морфологической типологии древнеславянских текстов // Советское славяноведение, 1986, № 2; О синхроническом описании языка древнеславянских центров письменности...; К изучению языка древнеславянской письменности...
 - ⁵ Введение в этнолингвистику. СПб., 1995.

Остаться с пустыми овторниками

Еще с детства я помню выражение, которое употребляла моя бабушка — уроженка б. Клинского уезда б. Московской губернии, *остаться с пустыми овторниками*: «Они и остались с пустыми овторниками» — ‘остались ни с чем’. Позже, уже в 70-х годах, мною было записано выражение *вернуться с пустыми овторниками* — ‘вернуться ни с чем’ в Подмоскowie (в Клинском районе Московской области).

Анализ русских фразеологизмов показывает, что выражение *остаться с пустыми овторниками* примыкает к ряду выражений с глаголом *остаться...* и сходной семантикой: *остаться на бобах*, *остаться с носом*, *остаться в дураках*, а также диал. *оста́ться на гугуля* (новосиб.), *оста́ться на ефесе* (ульян.), *остаться на лыла́х* (пенз.) (*лылы́* — ‘ложь, обман, надувательство’. — Т. Г.), *остаться (только) с бичом* — ‘потерять весь рабочий скот’ (сиб.) (СРНГ, вып. 24, 53). В сибирских говорах бытует также выражение *осталась кыска в своем калоше* ‘оказаться ни с чем’ (ПССГ, т. 2, 252). В Прибайкалье записано выражение *остаться с бороной* ‘остаться с детьми, без мужа’ (*боро́на* — ‘о большой многодетной семье’. — Т. Г.) (СПГ, вып. 3, 30). В красноярских говорах записано выражение *остаться пешком* — ‘остаться без лошади, пешком’: ‘Коней украли, *остался я пешком*’ (СРНГ, вып. 24, 53). Любопытно также зафиксированное в новосибирских говорах выражение с глаголом *оставить* — *оставить ни в ящике, ни за ящиком, ни с сусеком, ни в мешке* в значении ‘оставить ни с чем’: «Отец ушел на войну и оставил меня ни в ящике, ни за ящиком, ни с сусеком, ни в мешке, ничего не осталось, голод» (там же). Ср. болг. *оста́вам/оста́на със захáпан пръст*, *оста́вам/оста́на с пръст в уста* ‘остаться с носом (также на бобах, у разбитого корыта, при пиковом интересе, ни с чем), уходить, уйти несолоно хлебавши’

(БРФС, 474–475), а также *оставам на сѹхо* 'оставаться на бобах' (Болг.-р. сл., 414).

Выражение *вернуться с пустыми овторниками* также находится в кругу выражений *вернуться с...*, хотя и немногочисленных, с аналогичной семантикой: напр., *вернуться с пустыми руками*, ср. болг. разг. *отивам/отида си с прѳзна ко̀шница* 'возвращаться/вернуться ни с чем (также несолоно хлебавши, с пустыми руками)' (БРФС, 283). Есть также близкие семантически нашему выражению *вернуться с пустыми овторниками* выражения *прийти с...*, *приехать с...*, например, *прийти с одной сумочкой* — 'остаться без средств к существованию, разориться' (СРНГ, вып. 31, 235), а также *приехать на биче* 'возвратиться из ямщины с убытком': «Раньше мяса много оттуль везли, много мяса, масла. С морозу, с жару да со скуки пропьют, да вот и говорили: и приехал на биче» (Сл. Оби. Доп. II, 122). Интересно также записанное в псковских говорах выражение *с молодушкой приехал* (кто-либо) — 'о том, кто совсем не поймал рыбы', а также — *с дудой приехал* то же [*дудѳ* — 'деревянная палочка с петлей, при помощи которой сеть прикрепляют к походне (веревке, за которую тянут сети)'. — Т. Г.] (СРНГ, вып. 18, 229).

В русских говорах на территории Мордовии записано выражение *приехать с голыми кулаками* — 'приехать, ничего не имея при себе': «Приехѳли ко мне з голыми кулаками, хѳть бы каку канфетку привезли» (Морд., К–Л, 99). Ср. противоположное по смыслу выражение с глаголом *уехать*: *богато уехать* 'уехать с большим багажом, подарками': «Богато они уехѳли тогда, не знаю, кто их настолкал» (СРГК, вып. 1, 82).

Интересно также выражение, записанное в туровских говорах белорусского языка, *торбу жаб прывѳсци* — 'явиться без заработка, приехать ни с чем': «Торбу жаб прывѳз з Амерыки» (Тураѳскі слоѳн., т. 5, 149).

В Словаре говоров Подмосковья находим выражение *за пустой вторник (работать)* в значении 'даром, без какой-либо выгоды (что-либо делать)'; «за спасибо»: «Работѳть за пустой фторник, этѳ ранышы работѳишь, работѳишь, а не платють, ничаво не дають» (Подм., 429). Сравним это выражение с такими, как *работать за благодать* 'в дореволюционной деревне отработать за взятые в долг деньги, хлеб, корм и пр.' (ЯОС, вып. 8, 111), *работать за присѳвок* 'работать у хозяина только за пропитание': «За присѳвок работать: сколь хозяин скажет работать, столь и работали» (Приамур., 231), *работать, жить за гумѳжный мех* 'за ничтожную плату, без выгоды' (Богданов, 134), (*жить*) *за окомѳнок корѳвый*

‘не получая должного вознаграждения’: «Мы, детьщкы, пражылы жызнъ зъ акаменьк карявый» (*окомёнок* — ‘старый истершийся веник’. — Т. Г.) (СОГ, вып. 8, 116–117), *работать за пустые полосы* ‘даром’ (цитата из письма уроженки Костромской области — «Двадцать пять лет отработала за пустые полосы в колхозе» — Радио России, авторский канал от первого лица — 15 июня 1997 г.). Ср. *на чужую полосу работать* (устар.) — ‘работать по найму’ (Краснояр.², 316).

В белорусских говорах записано выражение *на дурны́ дзень рабіць* ‘(бесплатно) работать’: «Калісь жа рабілі, рабілі да на дурны́ дзень, цеперакі так добра палучаюць у колхозі» (Янкова, 110). Прилаг. *дурны́* в тех же говорах имеет значение ‘бесплатный, дармовой’ (там же). Интересно, что слово *день* в середине XIX века в России в орловских говорах имел значение ‘оплата пастухов’: «Один *день* за корову, лошадь или трех овец, двух свиной», «Пастуху платят по числу таких дней, и за это число скота отъедает он у каждого хозяина по одному дню» (СРНГ, вып. 7, 354). Позже возникло понятие *трудодень*; в архангельских говорах *маленький трудодень* называется *го́лый трудодень*: «Софсём го́лой трудодень был, ницего́ не полуцйли» (*го́лой* — ‘ограниченный в каком-то отношении, малый’. — Т. Г.) (АОС, вып. 9, 260).

Итак, можно работать за день, на дармовой день, но почему именно вторник?

Хорошо известно, что славяне разделяли дни на благополучные и неблагоприятные, опасные. В русских говорах записана даже такая поговорка: «Помни дни и полдни» — ‘помни долго’, ‘будь осторожным, остерегайся’ (СРНГ, вып. 29, 217). Безрадостное время в говорах Карелии, например, носит название *злы дни*, это название входит в состав поговорки: «Кто рано встает, тот на *злы дни* натягат, а кто долго спит, тот талан наспит» (СРГК, вып. 1, 450). Трудное время, ‘черный день’ в ярославских говорах называется *упалой денек (времецко)* (*упалой* — ‘плохой, хилый’. — Т. Г.) (ЯОС, вып. 10, 15). Выделялись не только добрые и злые дни, но и часы, минуты. Так, в говорах Карелии словосочетание *минута худая* — ‘по мифологическим представлениям: минута, опасная в каком-н. отношении’: «В каждом часу есть худые минуты, в двенадцать такая минута найдет — плохо» (СРГК, вып. 3, 241). В рязанских говорах *благая минута* — ‘по суеверным представлениям, неблагоприятное для чего-либо время, когда особенно активна нечистая сила’ (СРНГ, вып. 18, 169).

Традиционно вторник у западных и восточных славян имел положительную, а у южных славян — отрицательную оценку. «В за-

падно- и восточнославянской традиции вторник противопоставлен понедельнику как неблагоприятному, несчастливому дню и сближается с субботой, оцениваемой положительно. Во вторник и субботу было принято начинать пахоту, сев, жатву и другие хозяйственные работы. На Харьковщине (Купянский у.) для начала строительства дома выбирали вторник, причем такой, когда церковью отмечалась память преподобных, а не мучеников, чтобы работа шла успешно, без мучений. Нередко вторник избирался днем сватовства (белор. — Т. Г.) или свадьбы (кашуб.) (СД, т. 1, 455–456).

То же находим у Даля: «Вторники и субботы легки» (Даль³, т. I, 670); «По понедельникам люди разламываются, а по овторникам сила в них достиганье получает. Нам в овторник легко, зато бесам трудно» (СРНГ, вып. 22, 305). В. И. Даль также отмечает, что понедельник и пятница — тяжелые дни в противовес легким дням — вторнику и субботе (Даль², т. I, 427), а также приводит следующую пословицу: «В дорогу отъезжай во вторник либо в субботу» (Даль. Пословицы, т. 3, 582).

В новгородских говорах существует выражение *по пустым вторникам* в значении 'о чем-либо неважном, ненужном': «Вот о чём нады толковать, а они *по пустым вторникам*» (НОС, вып. 1, 144). Это выражение упоминает А. Ф. Журавлев в своей рецензии на «Новгородский областной словарь», подчеркивая, что эта фиксация позволяет внести коррективы в «тезис о положительной отмеченности вторника в восточнославянских представлениях в противовес южнославянским» (Журавлев, 188). У южных славян, по свидетельству энциклопедии «Славянские древности», вторник «считается самым неблагоприятным днем недели, то же у гуцулов и некоторых других этнических групп Карпат. Его называют слабым, несчастным, тяжелым, считают, как и субботу, днем мертвых (серб. *умрли дани*), поэтому во В. не начинают никаких дел. В Боснии и Македонии это объясняли тем, что в В. есть один очень опасный час, но никто не знает, какой именно» (СД, т. 1, 456). Интересно, однако, что, например, у сербов (в селах Косова) «встречается и противоположная оценка этого дня. В. считается благоприятным для начала сева и посадок» (там же). Видимо, у восточных славян вторник также оценивался как положительно, так и отрицательно. В пословицах, приводимых, в частности, Далем, вторник назван *повторником*, понедельник, в тех же пословицах, — *похмелье, день бездельник, черный*: «Воскресенье — свято, вторник — повторник, среда — постница, четверток — перечит, пятница корячится, суббота — делу почин», «Понедельник — похмелье; вторник — повторник; среда — пост; четверг — перевал;

пятница — не работница; суббота — уборка; воскресенье — гулянка» (Даль. Пословицы, т. 3, 581–582). И еще одна поговорка, записанная в уральских говорах: «Понедельник день бездельник, а вторник — повторник» (СРНГ, вып. 27, 266). Конечно, это шутовская рифмовка и обыгрывание слова *второй*, но, может быть, и намек на негативную оценку вторника? Здесь можно привести интересную запись, сделанную на Русском Севере: «Во вторник да в четверг в байну не ходили, то табельный день считался, гулять можно было». *Табельный день* трактуется авторами «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» как день, предусмотренный календарем, когда ничего нельзя делать (СРГК, вып. 1, 449).

Пустым восточные славяне называли день вообще, без конкретизации, какой именно день недели. В белорусских говорах *пусты́ дзень* — ‘время, неблагоприятное для урожая’ (Сцяшкoviч. Слоўн., 605), а также *пусты́ дзень* м., *пусты́я дні* мн. — ‘последняя фаза месяца’ (Сл. Пагр., т. 4, 192). В ряде случаев значение этого выражения неясно. Так, записанное С. М. Толстой в полесских говорах выражение *пустой день* дается с ремаркой «значение неясно» — «У пониділок ни сіють — на пусты́ день» (Толстая, 240). В древнерусском языке также есть это выражение, приводимое И. И. Срезневским s. v. *сатана*, значение его неясно: «И бѣ тамъ в поустьѣ днѣи мѣ іскѹшаеѣ ѿ сатаны». Мр. I. В. Нов. зав. XIV в. (Срезневский, т. III, 263).

Пустыми славяне называли не только дни, но и время дня — ночь, вечер, а также час. Например, в сербохорватском языке есть выражение *у пүстој ноћи* в значении ‘глухой ночью’ (Толстой, 488). В польском языке есть выражение *pusta noc* — ‘во время которой люди не спят, например, тогда, когда кто-нибудь умрет; во время свадьбы; ночь, проведенная при умершем’ (Warsz., t. V, 440). В кашубско-словинском языке есть также выражение *pustà noc*, оно значит — ‘стража, караул при умерших, имеющая место во время двух или даже трех ночей подряд, присутствующая обычно только в последнюю ночь перед погребением’. *Pustà noc* справляется только взрослым умершим, никогда детям. Нередко сам умерший просит о ней перед смертью. *Pustà noc* является как бы свадьбой умершего. Еще в начале XX в. существовал обычай приглашения целой деревни на «пустую ночь» (Sychna, t. III, 209–210). Прилагательное *pusti* только в этом выражении имеет значение ‘траурный, скорбный’ (Sychna, t. IV, 232). Выражения *pusta wieczera*, *pusty wieczór* ‘ночное бдение над умершим’ известно было уже в старопольском языке (1455, 1500 гг.) (Sl. stpol., t. VII, 398–400).

В русском языке есть слово *пусточасье* в значении 'досуг, свобода, простор времени' (Даль³, т. III, 1420).

Что же касается собственно семантики русск. прилаг. *пустой*, то Даль отмечает в своем Словаре такие значения: 'тщетный, бесполезный, дармовой, неудачный, напрасный' (Даль², т. III, 540), в рязанских говорах слово *пустой* имеет еще значение 'никуда не годный, плохой' (наряду со значениями 'пустой', 'ничем или никем не заполненный' (Деулин. сл., 471)). В русских говорах *пустая пора* — 'голодное время до сбора нового урожая' (СРНГ, вып. 30, 29), *вода пустая* — 'бедность' (АОС, вып. 4, 158), в «Словаре русских говоров Карелии и сопредельных областей» приводится выражение *пустая курица* в значении 'курица, несущая мало яиц' (СРГК, вып. 3, 66), в ярославских говорах *пустая* значит 'бесплодная, яловая (о корове, овце и т. д.)' (ЯОС, вып. 8, 107); в среднеобских говорах записано выражение *пустое перо* — 'о малоценном, нестоящем': «Придано. Корову дадут, а кур не дают. Это *пустое перо*, так называют» (Сл. Оби. Доп. II, 141). Интересно, что выражение (*работать*) *за пустой вторник* находит свою параллель в белор. говорах *на пусцяка́ (робіць)* — 'даром': «Я горка так праробіў усе лета і на пусцяка» (Янкова, 294). В белорусских говорах выражение *пусты канец* имеет значение 'смерть' (Сл. Пагр., т. 4, 192). Ср. древнерусск. *пѣстыи* в значении 'печальный' (Срезневский, т. II, 1732–1733).

В русском языке есть еще выражение *сухи вторники* (Русские пословицы, 393). Ср. в донских говорах выражение *сухой день* в значении 'постный день' (Дон., т. 3, 150). Возможно, в некоторых местах постились по вторникам. *Вторничать* в русских говорах значит 'поститься по вторникам' (СРНГ, вып. 5, 231). В русском языке *пустой* также имеет значение 'постный', *пустые щи* 'постные' (Даль³, т. III, 1418), *пустовар* 'постная размазня, овсянка, жиденькая похлебка, каша без привара' (Даль³, т. III, 1417). Возможно, здесь полное семантическое совпадение и замещение пустой - сухой. Ср. сербохорв. *насуво* нареч. 'насухо', 'напрасно, зря, бесполезно' (Толстой, 291).

Здесь следует также отметить, что в болгарском народном календаре есть вторник на Тодоровой неделе, первой неделе Великого поста, он называется *Черный, Куций, Кривой, Дурной*, а также *Сухой* вторник. Он считается первым и самым опасным из всех «дурных» вторников. «В некоторых районах Болгарии этот день называется *сух вторник* и празднуется во избежание засухи» (СД, т. 1, 457).

В заключение хотелось бы указать на интересную семантическую параллель: русск. *остаться с пустыми овторниками* и болг.

оставам/оста́на на (пес) понеделник в значении 'оставаться/остаться с носом (также ни с чем, на бобах, в дураках, при пиковом интересе, у разбитого корыта)' (БРФС, 446). В Болгарии, Македонии и Сербии специально отмечали «песий понеделник (первый, реже — второй понеделник Великого поста), чтобы обезвредить беса и предохранить собак от Б.» (бешенства. — Т. Г.) (СД, т. 1, 176).

Интересно также, что названия праздничных дней русского народного календаря фигурируют в пословицах, обозначающих крайнюю бедность: «В одном кармане сочельник, в другом чистый понеделник»; «В одном кармане Иван постный, а в другом здвиженье»; «В одном кармане Иван тощий, в другом Марья леготишна» (Даль. Пословицы, т. 1, 165).

Литература

- АОС — Архангельский областной словарь / Под ред. О. Г. Гецово́й. МГУ, 1980–1996–, вып. 1–9–.
- Богданов — В. Н. Богданов. Талицкий словарь. Барнаул, 1982, вып. 1. Болг.-р. сл. — С. Б. Бернштейн. Болгарско-русский словарь. М., 1975, изд. 2, стереотипное.
- БРФС — Болгарско-русский фразеологический словарь / Составили А. Кошелев и М. Леони́дова. М.; София, 1974.
- Даль² — В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.; М., 1880–1882 (1955), 2-е изд., т. I–IV.
- Даль³ — В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.; М., 1903–1909 (1955), 3-е изд., т. I–IV.
- Даль. Пословицы — Пословицы русского народа / Сборник В. Даля в трех томах. М., 1993, т. 1–3.
- Деулин. сл. — Словарь современного русского народного говора (Д. Деулино Рязанского района Рязанской области) / Под ред. И. А. Осовецкого. М., 1969.
- Дон. — Словарь русских донских говоров / Авт.-сост. З. В. Валюсинская, М. П. Выгонная и др. Ростов-на-Дону, 1975–1976, т. 1–3.
- Журавлев — А. Ф. Журавлев. [Рец. на:] Новгородский областной словарь. Вып. 1–12. Новгород, 1992–1995 // ВЯ, 1997, № 2.
- Краснояр.² — Словарь русских говоров южных районов Красноярского края. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. Красноярск, 1988.
- Морд. — Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР / Сост.: Э. С. Большакова, Н. П. Кудряшова, П. В. Михалева и др. Саранск, 1978 (А–Г), 1980 (Д–М), 1982 (К–Л), 1986 (М–Н)–.
- НОС — Новгородский областной словарь / Отв. ред. В. П. Строгова. Новгород, 1992–1995, вып. 1–12.
- Подм. — А. Ф. Иванова. Словарь говоров Подмосковья. М., 1969.

- Приамур. — Словарь русских говоров Приамурья / Сост. Ф. П. Иванова, Л. С. Кирпикова, Л. Ф. Путятина, Н. П. Шенкеев. М., 1983.
- ПССГ — Полный словарь сибирского говора / Гл. ред. О. И. Блинова. Томск, 1992–1995, т. 1–4.
- Русские пословицы — Русские пословицы и поговорки / Под ред. В. П. Аникина. М., 1988.
- СД — Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. М., 1995–, т. 1–.
- Сл. Оби. Доп. — Словарь русских старожильческих говоров Средней части бассейна р. Оби (дополнение). / Под ред. О. И. Блиновой, В. В. Палагиной. Томск, 1975.
- Сл. Пагр. — Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча: у 5 т. / Уклад.: Ю. Ф. Мацкевіч, А. І. Грынавецке, Я. М. Рамановіч, А. І. Чабырук, Ф. Д. Клімчук і інш. Мінск, 1978–1986, т. 1–5.
- СОГ — Словарь орловских говоров / Учебное пособие по русской диалектологии. Ярославль; Орел, 1989–1996–, вып. 1–8–.
- СПГ — Словарь русских говоров Прибайкалья / Отв. ред. Ю. И. Кашевская. Иркутск, 1986–1989, вып. 1–4.
- СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А. С. Герд. СПб., 1994–1996–, вып. 1–3–.
- Срезневский — *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893–1903 (репринт 1989 г.), т. I–III.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин (вып. 1–23); Ф. П. Сорокалетов (вып. 24–31). Л., 1966–1997–, вып. 1–31–.
- Сцяшковіч. Слоўн. — *Т. Ф. Сцяшковіч*. Слоўнік Гродзенскай вобласці. Мінск, 1983.
- Толстая — *С. М. Толстая*. Полесский народный календарь. Материалы к этнодиалектному словарю. К–П // Славянский и балканский фольклор 1986. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986.
- Толстой — Сербскохорватско-русский словарь / Сост. И. И. Толстой. М., 1970, изд. 3-е, исправленное и дополненное.
- Тураўскі слоўн. — *А. А. Крывіцкі, Г. А. Цыхун, І. Я. Яшкін*. Тураўскі слоўнік. Мінск, 1982–1987, т. 1–5.
- Янкова — *Т. С. Янкова*. Дыялектны слоўнік Лоеўшчыны. Мінск, 1982.
- ЯОС — Ярославский областной словарь / Ред. колл.: Г. Г. Мельниченко, Л. Е. Кругликова, Е. М. Секретова. Ярославль, 1981–1991, вып. 1–10.
- Sł. stpol. — Słownik staropolski. Warszawa, 1953–1985–, t. I–IX–.
- Sychta — *B. Sychta*. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław etc., 1967–1976, t. I–VII.
- Warsz. — *J. Kartowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki*. Słownik języka polskiego. Warszawa etc., 1900–1927 (1952–1953), t. I–IX.

Лексикографические фантомы. 2. СРНГ, И–К

Фантом — призрак, привидение. По современным представлениям — сгусток некробиотической информации. Фантомы вызывают суеверный ужас, хотя совершенно безобидны. В институте их используют для уточнения исторической правды, хотя юридически считаться очевидцами они не могут.

«Понедельник начинается в субботу»

Настоящая работа служит продолжением ранее опубликованной статьи «Лексикографические фантомы. 1. СРНГ, А–З» (*Dialectologia slavica*. Сборник к 85-летию Самуила Борисовича Бернштейна. [Исследования по славянской диалектологии. 4.] М., 1995, с. 183–193). С осторожностью оговорюсь лишь, как и в предыдущих заметках этой серии, что предлагаемые ниже прочтения недостоверных, с моей точки зрения, вокабул в анализируемом словаре носят в значительной своей части гипотетический характер. Наблюдения эти касаются только формальных отождествлений и не затрагивают семантики диалектных слов (неполных или ошибочных словарных толкований, недостаточных семантических оснований для объединения формально идентичных лексем в одну словарную статью и проч.).

Изур <...> [удар.?]. Дождевой червь. Волог., Кадн. Волог. (СРНГ, вып. 12, 173¹).

Неправильно прочитанное *щур*, ср. арх., волог., перм. *щур* 'земляной червь, дождевик, для наживки на уду' (Даль², т. IV, 659), праслав. **(a)ščurъ* 'хтоническое животное: крыса, уж, червь, рыба, скорпион и т. д.' (Фасмер, т. IV, 510–511, напрасно разделяет русск. *щур* на три омонима). Ср. также любопытную форму *ищур* 'червь' в пинежском говоре: *Я ищуров (червей) много насобирал, можно удить* [(вып. 20, 178), иллюстрация к статье *насобирать*; к сожалению, отдельной словарной статьей в СРНГ не представлено], которая заставляет с осмотрительностью расценить этимологизацию О. Н. Трубачевым слов *ящур*, *ящер* (ЭССЯ, вып. 1, 87–89: **ask-šcer-* 'роющий пещеры, норы'), если, конечно, *ищур* — не

результат ошибочного воспроизведения диалектной записи. Отсутствие ударения в фантомной заголовочной вокабуле может объясняться односложностью записанного собирателем слова.

Иони́ч [?]. Нынче. <...> Прейл. Латв. ССР (вып. 12, 206).

Небрежное рукописное начальное *n* прочитано как *и*, ср. *но́нча*, *но́нече*, *но́нечь*, *но́нишний* и под. (вып. 21, 275–277).

Испедвидный <...> [удар.?). Лживый, неискренний. Ветл. Костром. (вып. 12, 226).

Чтение обусловлено ошибочным отождествлением рукописного *o* с *e*, ср. ветл. костром. *исподвидный* 'хитрый; себе на уме' (вып. 12, 231), ср. далее север., уральск., сибир. *подвидный* 'лукавый, хитрый; неискренний, притворный' (вып. 27, 356–357), пермск. *подвидной* 'двуличный, неискренний' (Беляева 1973, 454). Исходным словосочетанием с объясняющим значением, вероятно, является *под вид* арханг. 'как, наподобие, похоже' (Архангельский словарь, вып. 4, 87), сибир. 'похожий, подобный' (ФСС 1983, 27), предлог пермск. и др. *подвид* 'наподобие, вроде, в виде кого-, чего-л.' (Беляева 1973, 454) или *под видом* 'в качестве, в роли кого-л.; приняв с какою-л. целью вид, образ кого-л.', а также *из виду* арханг. 'с виду, на вид, по внешнему виду' (Архангельский словарь, там же), ср. далее *делать вид* 'притворяться', *видимость* 'кажимость'.

Каки́ца <...>. Заячье логово, нора. Дон., 1929. — Ср. каби́ца (вып. 12, 329).

Содержащаяся в статье отсылка к *каби́ца* 'печь', 'летняя кухня под открытым небом, земляная печь на дворе', 'будка для собаки', 'логово зайца', 'балка, овраг' (там же, 285) имеет в виду слово, извлеченное со всеми его значениями из донского словаря Миртова. Это украинизм (*каби́ця* 'очаг'), который в свою очередь крайне ненадежно толкуется как заимствование либо из турецкого — тур. *kab(a) iğ* 'большой кол (ось, веретено)' > '*вертел, прут для жаренья мяса', либо из шведского языка — *kabyss* 'камбуз; логово', см.: (ЕСУМ, т. 2, 332); более перспективны соображения Ж. Ж. Варбот о возможной связи с гнездом **(s)kob-*, индоевроп. **(s)ke(m)b-* 'сгибать, искривлять' (Варбот 1981, 34–37; ЭССЯ, вып. 10, 91). Сомнения вызывают как могущая быть усмотренной для заголовочной формы графическая подмена б//к (у одного автора?!), так и, если графика не ошибочна, фонетическое соотношение [б] : [к]. Не следует ли привлечь слова с корнем *kop-* ('копать'), которые могли бы объяснить и консонантизм ([п] > [б] — озвончение, основанное на каких-то ложноэтимологических сближениях), в одних случаях, и графику (чтение рукописного *n* как *к*),

в другом? Правда, это не объясняет удовлетворительным образом корневого вокализма *-a-* в украинском слове.

Калча́н <...>. «Чаша для укладки хлебного теста перед сажанием в печь хлебов». Вышневол. Твер., Опыт, 1852 // Чашка, миска, выдолбленная из древесного корня. <...> Кокчет., 1961 (вып. 13, 5). **Колча́н** <...>. Высокая кринка с узким горлом и дужкою сверху. <...> Весьегон. Твер., Еремин, 1936. [Так? Не колган?] (вып. 14, 202). **Колыча́н** <...>. Плошка, в которой рубят мясо. Ярослав., 1820. — Ср. **Калча́н**, **Калыга́н** (там же, 210).

Несмотря на то, что формы *калчан*, *кол(ы)чан* со значениями 'миска, плошка, кринка' зарегистрированы в СРНГ неоднократно (четыре раза), предпочтительно видеть в них результаты неверного чтения записей *калган*, *кол(ы)ган*. Формы с *-г-* (*калган*, *колган*, *калыган*, *колыган*², *калганка*, *калканок*, *калганчик*, *калгашка*, *колгашка*; *калгунка*, *калгуша*, *калгушка*, *колгушка*, *калгушечка*; *карган*, *корган*) безоговорочно преобладают, см. (вып. 12, 341–344; вып. 13, 6, 83). Омоним по отношению к *калга́н* 'растение *Alpinia galanga*'.

Караю́д и **карою́д** <...>. Хоровод. *Айдате, девки, карюуд водить*. Вят., Васнецов, 1907 (вып. 13, 75).

Рукописное *го* читается как *ю*, ср. широко распространенное *корого́д* 'хоровод' и проч. (вып. 14, 358). Для вятских говоров не вполне понятно аканье.

Карлу́ол <...>. Прозвище жителей Каргопольского уезда. <...> Онеж. КАССР (вып. 13, 93).

Так прочитано составителями слово *каргупо́л* (наряду с *каргопо́л*) 'житель Каргополя или Каргополья' (*г* отождествлено с *л*).

Ка́рний <...>. Ка́рнее молоко. Скисшее без заквашивания молоко, слитое в кадку на корм скоту. Холмог. Арх. (вып. 13, 96).

Фонетически правильная, исходная форма — *кадний*, ср. арханг., волог. *ка́дний*: *ка́днее молоко* 'молоко, скисшее без заквашивания и слитое в кадку на корм скоту', 'творог; сыр' (вып. 12, 299), ст.-русск. *ка́днее молоко* 'кислое молоко, которое накапливают в кадках' в приходно-расходных книгах Антониево-Сийского монастыря, 1639 г. (СлРЯ XI–XVII вв., вып. 7, 13). Не исключено, что рукописное *д* прочитано как *р*. Впрочем, Л. Л. Касаткин (которому я признателен за любезную консультацию по этому поводу) считает допустимым видеть в форме *карний* результат севернорусской утраты у [д] смычки и артикуляционного и акустического сближения его с также теряющим смычку [р'] — подобно тому, как это имеет место в случаях вроде *сва́рьба* 'свадьба', яросл., костром. *уса́рьба* 'усадьба' (Кузнецова 1985, 46;

Касаткин, Касаткина 1993, 134–135; Мораховская 1996, 102), влад., костром. *кларбище* 'кладбище' (вып. 13, 265)³, и, следовательно, цитируемая запись может считаться вполне правомерной. Если это так, то, по-видимому, более корректной графической фиксацией нашего слова было бы **каръний*.

Каружки <...>. Кружева. Бельск. Смол. (вып. 13, 107).

Весьма велика вероятность чтения составителями *ж* на месте рукописного *н*. Ср. иркут. *карўнки*, *корўнки* 'кружева на кровати' (там же, 108), пск. *коронки* 'кружева' (вып. 14, 365), семантически дальше олон., новг. *корона* 'род кокошника, унизанного драгоценными камнями', олон., новг. *коронка* 'девичий головной убор' (там же, 364, 365), волог., арханг. *корўна*, уменьш.-ласк. *корўнка* 'старинный женский головной убор в виде разукрашенного и расшитого полукруглого щитка надо лбом' (вып. 15, 27, 28); за пределами русского языка — белорус. *карўнкі* 'кружева; узоры', укр. *карўнка* 'позумент', диал. 'карниз'. Их общим источником усматривается польск. *koronka*, диал. *korunka* 'кружево' (ЕСУМ, т. 2, 397).

Кириц <...> [удар.?]. Таракан. Опоч. Пск. (вып. 13, 221).

Несомненное *киргиз* с чтением последних трех букв в ручной записи как *иц*, ср. пск. *киргўз* 'род тараканов, несколько отличный от прусака'. «Впрочем многие киргизами называют всех вообще тараканов» (там же, 219), со ссылкой на «Опыт областного великорусского словаря» 1852 г. Ср. другие этнонимические названия тараканов *прусаки*, *шведы* (Даль², т. IV, 625) (а у шведов — 'русские').

Кичма́ <...>. Созвездие [какое?]. *Уж ты зоренька вечерняя, Ты кичма полуночная! Ты зачем рано в восход взошла?* (песня). Слобод. Вят. <...> В Словаре Акад. 1909 в этой песне вместо «кичма» — «кичига» [с примеч. «Пам. кн. Вят. г. 1893, 242, где ошибочно: кичма»] (вып. 13, 248).

Разумеется, *кичига*, с чтением рукописного *иг* как *м*, ср. севернорус., уральск., сибир. *Кичига*, *Кичиги*, *Кичиги*, *Кичеги* названия созвездий: Ориона (или его части — Пояса Ориона), Большой Медведицы, Плеяд (там же, 245, 246), ср. предметные значения слова *кичига* 'вид цепа', 'валек для выколачивания белья', 'клюка, кочерга', 'жердь по краю телеги для перевозки сена', 'телега для перевозки снопов', 'отвальная доска у сохи', 'соха' и др. (там же). Удивляет лишь нафлексивное ударение в заголовочной форме, проставленное составителем статьи, надо полагать, «по-вятски: наугад»⁴: ритмическая формула вятской песни, цитируемой в иллюстрации к вокабуле, явно навязывает на месте *кичма́* трехсложное слово с ударением на втором слоге.

Клянец <...> [?]. Капкан. Оят. Ленингр. (вып. 13, 330).

Знак вопроса к заголовочной форме, при единичной ее фиксации, оправдан: ср. многочисленные названия 'капкана' главным образом в севернорусских и зауральских говорах, но отмечаемые для части форм и в говорах южнорусского наречия, — *клеп*, *клепа*, *кляпи*, *кляпки*, *кляпéц*, *клепéц*, *клепца́*, *кля́пца́*, *кля́пса*, *кля́пся*, *кля́пцы́*, *кля́пцы́*, *кля́псы́* (там же, 278, 280, 282, 332, 333) — к праслав. **klep-/klep-*, в том числе **klerьсь/*klerьсь* (ЭССЯ, вып. 10, 11–12, 34–36). Рукописное *p* воспринято как *n*.

Кованкс <...>. [удар.?). Пучок вычесанной шерсти, приготовленной для пряжи. Нижегород. Бурнашев (вып. 14, 26).

В этой безобразно испорченной форме очень трудно угадать графический оригинал. Тем не менее его восстановление возможно. Единственно, на мой взгляд, допустимое правильное чтение неряшливой записи — *повесмо* или, даже вероятнее, *повесьмо*, ср. известные главным образом на территории севернорусского наречия и среднерусских говоров слова *повéс(ь)мо*, *повéс(ь)ма*, *пáвесьмо* 'мера волокна' (вып. 25, 108; вып. 27, 231). Начальное строчное рукописное *p* читается как *k*, за буквой *a*, вероятно, стоит сочетание *es*, сочетание букв *nk* отражает реальное *m* или *ьm*, а незамкнутое конечное *o* воспринято в качестве *s*. Это кажется неправдоподобным нагромождением конъектур, однако попытка воспроизвести беглую запись с возможностью указанных альтернативных прочтений дает вполне удовлетворительный результат: небрежное рукописное *повес(ь)мо* может быть прочитано как *кованкс*. Предлагаю читателю самому повторить мой опыт.

Ког [не коч?] <...>. Судно беломорских промышленников. Олон., Арх. (вып. 14, 40).

Разумеется, *коч*. Ср. *коч* турух. краснояр. 'палубное мореходное парусное судно', 'речное плоскодонное палубное судно с парусом и веслами', арханг. 'ладья, на которой в старину плавали по Печоре, в Обскую губу для торговли с Мангазеей', 'несколько вместе плывущих «кочующих» судов' [?] «Может быть... кочем означали поморцы вместе плывущих, кочующих судов...», север., сибир. *коча* 'старинное мореходное судно' (вып. 15, 122). Связь с тюркизмом *кочевать*, конечно же, носит характер народной этимологии; Фасмер источник поморского слова видит в ср.-н.-нем. *kogge*, ср.-в.-нем. *koske*, др.-в.-нем. *kosko*, нидерл. *kog*, *kogge* (через производное **кочка*) или в усечении слова *кочерма́* 'большая одномачтовая лодка', от *кочера́*, первоначально 'однодеревка' (Фасмер, т. II, 356, 358). Но, может быть, разумнее усматривать здесь исконное слово? Напрашивается сравнение с *кош* 'плетеная

корзина' (< праслав. **košь* < дослав. **kosio-*, родственное лат. *quailus* 'плетеная корзина' < **quas-lo-*), и наше слово тем самым должно служить еще одним подтверждением догадкам Й. Трира и О. Н. Трубочева о происхождении корабля, судна из плетеных сосудов [см.: (Trier 1947–1949, 348–349; Трубочев 1966, 230–235) — относительно нем. *Schiff* 'судно', лат. *corbita* 'грузовое судно', польск. *okręt* 'корабль' и др.]. Ср. также значения продолжений праслав. **košь* и его производных в поздних славянских языках ('плетеный) кузов повозки', 'ящик', 'ларь', 'короб', см.: (ЭССЯ, вып. 11, 187–188, 190–191, 195–197), на основе которых также могло быть сформировано значение 'судно, корабль'.

Койва́дже <...>. Вчера. *Койвадже снег выпал*. Ср. Урал (вып. 14, 83).

Правильно *койвадне*, ср. севернорус. *койва́дни*, *койво́дни*, *койваднись* (-ся) 'недавно, на днях; вчера' (там же), *коевадне*, *коегодня*, *куёвадни* и проч. (там же, 47–48; вып. 16, 18). С восприятием *н* как *ж* мы уже сталкивались (см. *Каружки*). См. ниже *Косвадись*, *Косвадни*.

Колгуха́ <...>. Лихорадка. Охан. Перм. (вып. 14, 114).

Читать следует: *комуха*. Ср. широко известные варианты названия лихорадки: севернорус., среднерус. *комóха*, *комúха*, *комúшка*, *кума́*, *кума́ха*, *кумо́ха*, *кумуха́*, *кумушка́*, рязан. *кама́ха*... (вып. 13, 15; вып. 14, 237, 239; вып. 16, 78, 80, 85, 87).

Колья́нка <...>. 1. Наконечник стрелы. Урал. <...> 2. Копье. *Копья́нки медные нашли, как пики, деревянных-то ручек нету*. Вост. Закамье (вып. 14, 308).

Опечатка: *копьянка*.

Коряну́ха <...>. Иней. Арх. (вып. 15, 43).

За сочетанием букв *ян* нужно видеть *ж*, ср. холмог. арх. *коржуха́* 'толстый слой инея на чем-либо' (вып. 14, 330), к гнезду *куржак* 'иней', *куржеветь* 'покрываться инеем', см. (вып. 16, 123–125).

Косва́дись <...> [?]. Когда-то. Енис., 1865; **Косва́дни** <...>. [?]. Прошлый раз. Енис., 1865 (вып. 15, 48).

Уже знакомые нам *коева́дни/койва́дне/койва́дни(сь)* (см. выше *Койвадже*), но с чтением *с* на месте правильного *е*.

Котомо́жа <...>. Большой узел; котомка. *Жених принесет котомо́жу невесте с гостинцам*. Сыктывд. <т. е. Сыктывк. — А. Ж.> Коми АССР (вып. 15, 110).

Забавное слово, которое правильно, по-видимому, читается как *котомочка* (*чк* воспринято как *ж*). В оригинальной записи ударение, вероятно, отсутствует.

Котьма́ <...>. Котомка. Онеж. КАССР (вып. 15, 118).

Рукописное *о* расценено как «мягкий знак». Ср. севернорус. *котомá* 'дорожная сума, носимая обычно за плечами; котомка', 'узел с вещами', 'корзина с вещами', моск. 'мешочек, сумочка для денег' (там же, 110).

Котьсáть <...>. Делать что-либо. Енис., 1865. Слов. Акад. 1914 [с вопросом к слову и значению] (вып. 15, 118).

Наверное, аналогичный случай: ср. *котóсать* сольвыч. волог., забайк. 'ломать, коверкать, крушить', сибир. 'бить кого-либо', сольвыч. волог. 'корчить от боли, сводить судорогой', сольвычег. волог. *котóсаться* 'капризничать, ломаться', 'важничать, чваниться, держаться высокомерно', 'упрямиться, не соглашаться', 'браниться, ссориться', *котóситься* то же (вып. 15, 113). Ударение над *а* (не над мягким знаком же!), возможно, проставлено составителем статьи.

Коукотíться <...>. Суетиться. Волог. (вып. 15, 119).

Слово, конечно, вполне реальное, но запись навязывает слоговое произношение [у], в то время как очевиден его неслогообразующий характер, ср. волог., костром., яросл., уральск. *колкотíться* 'суетиться, беспокоиться, возиться с чем-либо, проявлять излишнюю хлопотливость' (вып. 14, 138). Бибиальное произношение *л* ([w]) в ряде позиций характерно для северо-восточных говоров европейской части России, см. (Аванесов 1949, 169).

Б. Кóчень, кóчня и кóчен, кóчена, м. Петух. *Мой-от кочень Куриц топчет* (песня). Ярен. Вят., 1903 □ Кóчен. *Дайте свахе кочена, Чтобы песню начала!* (песня). Обоян. Курск., Слов. Акад. 1914 (вып. 15, 126).

Эта словарная статья воспроизведена целиком (благо невелика), но она того заслуживает, поскольку представляет собою редкое сочетание лексикографических оплошностей. В ней объединены два совершенно разных слова. Обе заголовочных формы фантомны, но с разной этимологией. В первой из них, вне всякого сомнения, присутствует результат ошибочного чтения *нь* на месте рукописного трехлинейного *т*: *кóчет*, *кóчета*. Уверенность в этом внушает не оцененное составителем статьи изящество песенной рифмы *кóчет* — *тóпчет* (текст — из собрания вятских частушек Д. К. Зеленина, который одним из первых обратил внимание на этот начавший свой расцвет фольклорный жанр, см., в частности, (Зеленин 1994а); заметим также, что Яранский уезд Вятской губернии спутан здесь с Яренским уездом, который числится за Вологодской губернией). Вторая форма должна выглядеть как *кочáн*, *кочaná* (*коченá*), с нафлексивным ударением в косвенных

падежах. Предлагаемая лемматизация тоже подтверждается рифмой, столь же изящной, но имеющей иную, ассонансную природу: *кочанá* — *началá*. Ударение на первом слоге в этой слове явно вызвано ориентацией на объединяемое с ним **кóчень*. Осмысление же формы *кочена* как 'петуха' отнюдь не диктуется приводимой иллюстрацией и чрезвычайно проблематично; в связи со скоромной, как то водится, свадебной песней-провокацией речь должна идти, скорее всего, о предмете, имеющем известное отношение к теме «вегетативный код основного мифа», см.: (Топоров 1977), ср. *хрен*.

Кóчешок <...>. Петух. Дал мне панушко Кочешков за это. Яран. Вят., Слов. Акад. 1914 (вып. 15, 132).

Вместо *ш* скорее нужно читать *т* (*кочетóк*). Ударение на первом слоге тоже подозрительно: ритмическая структура фольклорного текста-иллюстрации его допускает, но предпочтительным кажется ударение на третьем слоге, что, кроме того, лучше согласуется с морфологическим строением слова.

2. Кочешóк <...>. То же, что *кочет* (в 13-м знач.) <т. е. 'ручка у косовища, за которую берутся правой рукой при косьбе'. — А. Ж.>. Кто *кочешок* называет, кто *кочето*. Лысьв. Перм. (вып. 15, 132).

Случай, аналогичный предыдущему (за исключением ударения в слове). Иллюстрация достаточно наглядна.

Крáшевник <...>. Внебрачный ребенок. Перм. Слов. Акад. 1916 (вып. 15, 204).

Очевиднейшее *крапивник* (рукописное *пи* прочитано как *ше*), ср. широко распространенные *крапíвник*, *крапíвеница*, *крапíвеничек* 'внебрачный ребенок', *крапíвный* 'внебрачный (о детях)' (там же, 169), устарелое *крапивное семя* (бранно о чиновниках)⁵, а также, возможно, прозвище жителей Уржума *крапивники*⁶. К семантической модели таких экспрессивных номинаций ср. также чебокс. казан. *капúстничек* 'ребенок, рожденный вне брака' (вып. 13, 60). В заголовочной форме удивляет ударение на первом слоге. Может быть, по аналогии с яросл. *крóшевник* 'торговец съестными припасами в мелочной лавке' (вып. 15, 288; Мельниченко 1961, 97), ср. *крóшево*?

Кудсеть, сею, сеешь <...> [удар.?). Шутить. Ветл. Костром. (вып. 16, 16).

По-видимому, рукописная буква *и* воспринята в качестве сочетания *се*. Ср. ростов. яросл. *кúдить* 'принуждать; уговаривать' (там же, 11) и особенно префиксальные образования, например, *прокúдить* 'шалить, дурить, проказничать и творить пакости, шkodить; бедокурить или наносить кому вред из шалости; забав-

ляться дурачествами, вреда другим' (Даль₂, т. III, 491). Заслуживают выяснения применяемые составителями алгоритмы восстановления незасвидетельствованных парадигматических форм (*<куд>сею, *<куд>сеешь, см. их при статейном заголовке).

1. **Кудей** [удар.?). Женская коса. Ряз. 1898; 2. **Кудей** [удар.?). Длинная узкая отмель, идущая от берега; мыс. Ряз. 1898 (вып. 16, 18).

Переключки значений не оставляет сомнений в том, что мы имеем дело со словом *коса*. Интересно, какая особенность почерка эксплоратора (надо думать, одного в обоих случаях, ср. тождество места и времени регистрации слов) заставила составителя статьи на месте буквы *о* увидеть *у*? Сожаления об отсутствии ударения напрасны, поскольку черточка над мнимым *й* — это и есть знак ударения.

Куло́ха <...>. Лихорадка. Волог. (вып. 16, 70).

Скорее все-таки *кумоха*. Ср. выше *Колгуха*.

Куло́ха и **Кулоха́** <...>. Лихорадка; малярия. Параб. Том. <...> Хакас. Краснояр. <...> Бранное слово. Енис. (вып. 16, 76–77).

Та же *кумоха* (*м* читается как *лю*; ср. обратное чтение в случае, затронутом выше, — *Гамока* в первой статье серии).

Дополнения к статье 1 (СРНГ, А–З)

Алабы́рь <...>. Камень, упоминавшийся в знахарских наговорах <...>. Юж.-сибир., Гуляев, 1848. Сибир., Опыт, 1852 (вып. 1, 229).

Форма, вошедшая и в словарь Даля, приводимая у Фасмера и др. (Фасмером, кстати, Далеву лексикону приписывается форма *Алабор* 'алатырь-камень', действительно относящаяся к иному материалу: *алабор* 'порядок', ср. *безалаберный*). Однако единичная в сущности регистрация, неподтвержденность варианта с *б* позднейшими диалектологическими данными наталкивает на подозрение, что ее источником является чтение рукописного «одновертикального» *т*, напоминающего строчную неконечную греческую сигму, как *б*, а оригинал на деле «стандартен»: *алатырь*.

Аццпáк <...>. [?]. Толстая палка, дубина. Новооск. Курск. Кудрявцев, 1849 (вып. 1, 298).

Неверно прочитанное *оцыпок* или *оцупок*, **оцыпак*, **оципок*..., ср. новооскол. курск. (1852) *оцыпок* 'толстая палка, дубина', новг. *оцепок* 'шест колодезного журавля', донск. *оцупок* 'обрубок дерева' (вып. 25, 58), производное от *оцѣп* (с вариантами *оцáп*, *оцѣп*, *оцáп*) и др. (главным образом сев.-русс., но отмечаемое и

на юге) 'шест', 'рычаг', 'багор', 'ухват', 'бревно', 'рукоятка цепа', 'ремень', 'узда', 'веревка' и т. д. (вып. 25, 56–58), ср. также фамилию *Оцуп*. Исходное значение — по-видимому, 'рукоятка цепа': *о(б)- + цеп*. Ударение в комментируемой фантомной форме не обязательно неверно, ср. упомянутое новг. *оцепок*.

1. Вѣтер <...>. ⚡ Вѣтер из гнилого улья. Южный и юго-западный ветер как предвестник ненастья. Клыковский, 1855 [без указ. места] (вып. 4, 191).

По-видимому, *улья* — описка, вместо *угла*. Ср. (в статье *Гнилой*) фразеологизм, распространенный главным образом на севере и востоке европейской России и в Зауралье, *гнилой угол*, которым обозначается практически любое направление, но в каждой данной местности одно — то, откуда приходят влажные ветры и дожди — 'юго-запад', 'юг', 'север', 'северо-запад', 'северо-восток', 'восток', 'запад', ср.: «Если ветер при первом громе с юго-запада („с гнилого угла“), то год будет мокрый», *Из гнилого угла облака бегут*, *С гнилого угла потянул ветер*, *С гнилого углу дует* и т. п. (вып. 6, 246; Архангельский словарь, вып. 9, 157; Новосибирский словарь 1979, 95; Амурский словарь 1983, 307; ФСС 1983, 202).

Виринье <...> [удар.?). [Знач.?). *Возьму колосовать* <'молотить'. — А. Ж.>, *дак только и виринья полетят*. Петрозав. Олон. (вып. 4, 293).

В диалектологической записи не опознано слово *иверенье*, **ивиренье* 'мелкие клочья, ошметки, щепки и проч.', ср. новг., олон. *иверенье* (вып. 12, 58). О словах *ивер*, *иверень* см.: Трубачев 1972.

¹ Далее указание в скобках только выпуска и страниц(ы) является ссылкой именно на СРНГ.

² К этой форме не имеет отношения олон. *колыгáнка* 'корзинка, обматанная навозом и облитая водой, приспособленная для катания с гор' (вып. 14, 207), продолжающее **kəlgati*/**kəlzati* 'скользить'.

³ Условия для утери смычки у [д'] существуют, конечно, не только в диалектных фонетических системах. Моя дочь, языковое формирование которой не испытывало никакого диалектного влияния, в четырех-пятiletнем возрасте слово *кладбище* воспроизвела (на плане выдуманного города) написанием *клязбишя*. Ср. также ослабление и утрату смычки у [д'] в интервокальной позиции в небрежной литературной разговорной речи: *блю[j]ечко*, *ху[j]енькая* и под.

⁴ См.: (Даль Пословицы, т. I, 281).

⁵ Вряд ли полно суждение В. В. Виноградова, видевшего в этом выражении только намек «на зеленый цвет мундиров» (Виноградов 1947, 185).

- ⁶ Прозвище объясняют тем, что жители Уржума «продают для щей крапиву» (Зеленин 1994б, 78). Однако сам Д. К. Зеленин в точности этого толкования сомневается. Основания для сомнений дает и прозвище холмогорцев — *заугольники*, якобы за то, что в пребывание Петра в Холмогорах их жители прятались и смотрели на царя из-за углов; другое значение слова *заугольник* — как раз 'внебрачно рожденный' или 'подкидыш' (ср. еще *подзаборник*).

Литература

- Аванесов 1949 — *Р. И. Аванесов*. Очерки русской диалектологии. М., 1949, ч. 1.
- Амурский словарь 1983 — Словарь русских говоров Приамурья. М., 1983.
- Архангельский словарь — Архангельский областной словарь / Под ред. О. Г. Гецовой. М., 1980-, вып. 1-.
- Беляева 1973 — Словарь говоров Соликамского района Пермской области / Составитель О. П. Беляева. Пермь, 1973.
- Варбот 1981 — *Ж. Ж. Варбот*. Славянские этимологии (**opoka*; **nadovъsъ* и **nadovъsъnъ*; **žęželъ*; **kobica*, **zakobень* и др.; **xoroŕbъjъ* и **xorxoriti se*) // Этимология 1979. М., 1981.
- Виноградов 1947 — *В. В. Виноградов*. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947.
- Даль₂ — *В. И. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955, т. I-IV (перепечатка 2-го изд. СПб.; М., 1880-1882).
- Даль Пословицы — *В. И. Даль*. Пословицы, поговорки и прибаутки русского народа. СПб., 1997, т. I, II.
- ЕСУМ — Етимологічний словник української мови. Київ, 1982-, т. 1-.
- Зеленин 1994а — *Д. К. Зеленин*. Новые веяния в народной поэзии // *Д. К. Зеленин*. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1901-1913. М., 1994.
- Зеленин 1994б — *Д. К. Зеленин*. Народные присловья и анекдоты о русских жителях Вятской губернии. (Этнографический и историко-литературный очерк) // Там же.
- Касаткин, Касаткина 1993 — *Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина*. Противопоставление согласных по напряженности/ненапряженности в севернорусских говорах // Русистика сегодня. Функционирование языка — лексика и грамматика. М., 1993.
- Кузнецова 1985 — *О. Д. Кузнецова*. Актуальные процессы в говорах русского языка (лексикализация фонетических явлений). Л., 1985.
- Мельниченко 1961 — *Г. Г. Мельниченко*. Краткий ярославский областной словарь, объединяющий материалы ранее составленных словарей (1820-1956). Ярославль, 1961, т. I. Введение и словарь.
- Мораховская 1996 — *О. Н. Мораховская*. Крестьянский двор. История названий усадебных участков. М., 1996.

- Новосибирский словарь 1979 — Словарь русских говоров Новосибирской области. Новосибирск, 1979.
- СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975–, вып. 1–.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. М.; Л., 1965–1966, вып. 1, 2.; Л. (СПб.), 1968–, вып. 3–.
- Топоров 1977 — В. Н. Топоров. Заметки о растительном коде основного мифа (*перец, петрушка* и т. п.) // Балканский лингвистический сборник. М., 1977.
- Трубачев 1966 — О. Н. Трубачев. Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966.
- Трубачев 1972 — О. Н. Трубачев. Об одной редкой словообразовательной модели // Русское и славянское языкознание. К 70-летию члена-корреспондента АН СССР Р. И. Аванесова. М., 1972 (воспроизведено в составе работы — О. Н. Трубачев. Заметки по этимологии и сравнительной грамматике // *Этимология*. 1970. М., 1972, с. 17–20).
- Фасмер — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973, т. I–IV.
- ФСС 1983 — Фразеологический словарь русских говоров Сибири. Новосибирск, 1983.
- ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праoslavянский лексический фонд. М., 1974–, вып. 1–.
- Trier 1947–1949 — J. Trier. Topf // *Zeitschrift für deutsche Philologie*. Stuttgart, 1947–1949, Bd 70, H. 4.

Поводом израза *ни на синь ноготок*

Израз *ни на синь ноготок* Никита Ильич Толстој помиње у својој знаменитој студији «О реконструкции праславянской фразеологии» (први пут публикованој још 1973. године¹, а потом укљученој у књигу са насловом «Язык и народная культура»)². Утврђујући [ЯНК, с. 391] да се он јавља у псковској дијалекатској зони у истом оном значењу 'ничтожно мало' које има израз *на чорныј н'огот'* регистрован у западном Полесју [ЯНК, с. 390], што подразумева да је у оба случаја посреди исти фразеолошки обрт, али са варијантним избором придевске лексеме којом се исказује значење 'таман', аутор даје шири преглед стања ствари на словенским језичким просторима у погледу лексичке варијантно-сти тог фразеолошког обрта, па закључује [ЯНК, с. 398]: «По-видимому, еще к праславянской поре восходят варианты со словами **čьrno* и **sine*». Све што је наука досад успела да сазна о односу људи према боји, с једне стране³, и о судбини продужетака прасловенских лексичких ентитета **sine* и **čьrno* на словенском језичком тлу, с друге⁴, у потпуности потврђује исправност наведеног закључка. Мене је он подстакао на размишљања која следе.

Познато је да се, кад је о бојама реч, представници високо индустријализованог света данашњице упадљиво разликују од представника другачијих цивилизација (које још увек понегде постоје/које су некада једино и постојале на земљиној кугли) по овоме: док први од поменутих у сусрету с бојом главну пажњу обраћају на њен хроматски лик⁵, они други воде пре свега рачуна о њеној светлини/тамноћи⁶, као и о томе шта све она као таква, у датом случају, собом конотира⁷. Та суштинска различност првих и других људских средина у когнитивном приступу боји одлучујућа је за избор принципа по којима се, у тим срединама, устројава одговарајући одељак домаћег вокабулара: у микросистему назива боја

оних првих не могу се наћи лексичке јединице семантички немаркиране (у јакобсоновском смислу термина) у погледу хроматског аспекта боје, а у микросистему оних других могу. Словенски народи су и на почетку историјске, а поготову у доисторијској епоси, били на таквом културно-цивилизацијском ступњу развоја да им је могао бити својствен само тај други, архаични когнитивни модел реаговања на колористички утисак. Одговарајућу потврду тој претпоставци даје нам језик, између осталог и том чињеницом варијантности лексичких решења **sine* и **črno*.

**Črno* је од најстаријих времена био у погледу хроматске семантике маркиране израз — служио је, као што служи и данас, именовању најтамније од свих постојећих боја, док су одредбом **sine*, по сведочењу староруског⁸, првобитно детерминисане такве колористички, додуше, разнородне појаве као *море*, па *муња*, па *очи пијанца*, па *вино*, па *Етиопљанин*, па «*нечастиви*» којима је, међутим, заједничко једно: све су оне, на овај или онај начин, носиоци неке потенцијалне опасности, тако да је стога најбоље клонити их се, их безбедносних разлога⁹. **Sine* је, другим речима, првобитно била хроматски немаркирана колористичка одредба чијом се употребом стављало до знања само толико да оно неповољно, опасно што се детерминише има и у датом случају, као и иначе, ону себи својствену, упозоравајућу колористичку оствареност. Будући да црна боја као таква код многих народа конотира нешто непријатно, неко зло, несрећу¹⁰, извесно је да се и у најстаријим временима, баш као и данас, називом **črno*, бар спорадично, исказивала и (метафоризована) значењска нијанса 'злослутан', 'с несрећом повезан', па је отуда најлогичније претпоставити да се најпре на том специфичном семантичком подручју успоставио варијантни однос између лексичких решења **črno* и **sine*.

Судбина ове другопоменуте лексичке творевине у историјском раздобљу словенских језика није била свугде иста. Српски је њу, на пример, углавном¹¹ искључио из свог активног вокабулара — она опстоји још само у фолклорним клишетираним изразима типа *сиње море*, *сињи камен*, *сиња кукавица* и сл., илуструјући собом у тим фразеолошким реликтима примену описаног прастарог принципа семантичке устројености: хроматска немаркираност, а маркираност по својству 'носилац негативног предзнака'¹². За разлику од српског, руски је тај исти израз задржао у свом вокабулару, али га је подвргао темељитом семантичком преображају: прво му је ликвидирана маркираност по својству 'неповољан колористички предзнак' у корист маркираности по особини 'таман'¹³, а затим му

је, у следећем развојном кораку, то обавезно значење тамноће удружено с хроматском маркираношћу у смислу 'плав'. Да је био управо такав редослед семантичког престојавања сведочи, поред чињенице да се и дан данас у неким руским дијалектима за 'тамно' каже *сине*, и онај фразеологизам (*ни на синь ноготок*) од којег је кренуло ово излагање. Стандардни руски, са своје стране, фактом употребе придева *синий* у значењу 'тамно плав', илуструје крајњи исход оствареног значењског преображаја.

О томе да је руски језик прошао кроз једну фазу развоја у којој су у његов микросистем назива боја уврштаване и лексичке јединице немаркиране у погледу хроматске вредности боје, а маркиране у погледу њене светлине/тамноће, сигурно сведочанство пружа и она добро знана чињеница¹⁴ о називању светло плавих очију *белим* очима. Оно што је остало мање познато широј лингвистичкој јавности то је факат да је и на неким другим странама словенског језичког света назив за 'бело' био такође семантички довољно «широка» одредба да обухвати собом, осим саме белине као такве, и најблеђу могућу нијансу оне хроматске остварености која је, у неким случајевима, својствена људском оку. Тако су, на пример, хрватски лексикографи Фауст Вранчић (крај XVI века) и Иван Белостенец (друга половина XVII века) забележили постојање израза *бјелокаст* (Вранчић), односно *бјелоок* (Белостенец), са значењем 'плавоок' на терену хрватских народних говора¹⁵, док је недавно Роман Миз¹⁶, износећи своје опаске о употреби назива боја у језику русинских¹⁷ народних песама «што их је у Крстуру и Кудури 1897. године записао Володимир Хнатјук и које су затим, 1900. године, биле објављене у Љвову, у деветом тому „Етнографског зборника“, који је издавало научно друштво Тарас Шевченко» [с. 84], изнео и овај пажње вредан податак: «Занимљиво је да у русинским народним песмама ниједном није споменута модра, плава боја. Плаве очи су — беле очи» [с. 86].

Ако већ нисмо у могућности да тачно одредимо временску границу до које је синтагма *беле очи* опстојала у живој употреби/од које је сведена на статус клишетираног фолклорног израза у русинским говорним срединама, знамо сад, захваљујући Мизовом труду, бар оволико: оним Русинима о чијим је фолклорним текстовима реч сусрет с *белим очима* у стиху народне песме није био збуњујући, овим данашњим јесте (јер да није, не би Миз са толико емфазе скретао пажњу на постојање таквог израза у таквом тексту). Ово нам даје повода да проговоримо о једном великом пропусту у досадашњим истраживањима словенских назива боја — не само што се нисмо досада довољно трудили, прво, да проникнемо у то

како је морала бити обликована семантичка структура микросистема тих назива у прасловенској епоси и, друго, да покушамо што је могуће детаљније сагледати све промене извршене током времена у њему на свим пространствима словенског језичког света, него смо доследно заобилазили управо онај аспект целог проблема који је многоструко, и зато посебно, научно релевантан: какав је био темпо напуштања архаичног когнитивног модела приступања боји у сваком словенском језику понаособ и да ли се где још може наћи покоја говорна средина у којој то напуштање јом увек нема одлику дефинитивности. Карактеристично је, на пример, да на многим странама српског говорног простора сеоско становништво и дан данас лексичким ознакама тамно плавог, тј. речима *модар*, *модрити се*, квалификује биљку с погледом на њено јарко зеленоло на основу којег упућени разабарају да је она богато наливена животворним соковима, да је у процесу бујања, сазревања (уп. *Види како се лепо модри жито* и сл.). У једном локалном источносрбијанском говору остварује се и ово: иста реч *загасан* употребљава се и као одредба у смислу 'таман' (*загасно жуто*, *загасно плаво* и сл.), и као придев са значењем 'тамно црвен'¹⁸. Ако је оно прво (са *модар*, *модрити се*) и могуће сматрати заосталим реликтом једне иначе и тамо већ увелико превазиђене језичке ситуације, овом другом (са *загасан*) се не може тако олако пронаћи прихватљиво објашњење. На дијалектолозима остаје да испитају по којим семантичким принципима, у том локалном говору, функционише микросистем назива боја у чије се конститутивне чланове увршћује и *загасан*. Уопште, дијалектолозима словенских земаља требало би доследно стављати у задатак прикупљање што прецизнијих података о томе шта садрже и како су организовани локални вокабулари боја забитих сеоских средина. Из тих ће се података онда моћи коначно «ишчитати» по нешто заиста релевантно о оној великој теми којој је, са толико и елана и успеха, посветило свој радни век непрежаљени Никита Иљич Толстој: са каквим су духовним бићем Словени пристигли у свет данашњице.

¹ У зборнику са насловом: Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973, с. 272–293.

² *Н. И. Толстой*. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995 — у даљем излагању овде ЯНК. Искоришћавам ову прилику да истакнем: ова значајна књига је (у нешто скраћеној верзији) преведена на српски језик — *Н. И. Толстој*.

- Језик словенске културе. Ниш, 1995, «Просвета». Избор текстова и поговор др Љ. Раденковића, превод Љ. Јоксимовић.
- 3 Подробнији осврт на ту тему дат је у мојој књизи «О зеленом коњу» на с. 59–61: *М. Ивић*. О зеленом коњу. Нови лингвистички огледи (Библиотека XX век, 82). Београд, 1995, «Словограф».
 - 4 В. излагање у књизи: *М. Ивић*. О зеленом коњу..., с. 61–71.
 - 5 У складу са развојем хемијске индустрије, која убрзаним темпом производи све нове и нове колористичке нијансе, стоји и убрзано богаћење лексикона боја у језицима оних средина где се такав нагли производни раст догађа. Прикладан увид у то каквим је све називима боја располагао свет почетком осме деценије овог века даје рад *W. Müller, R. Pötsch*. Vom Königspurpur zum Jeansblau. Leipzig; Jena; Berlin, 1983.
 - 6 Такође, додуше, и о присуству/одсуству сјаја у боји; међутим, као што је тачно истакла *A. Wierzbicka*, највише је у језицима света раширено разликовање по критерију 'светло'/'тамно' («The distinction between „dark“ colours and „light“ colours appears to play an important role in most languages of the world» — *A. Wierzbicka*. Semantics. Primes and Universals. Oxford; New York, Oxford University Press, 1996, p. 288–289.
 - 7 Подсетићу на (у општој лингвистици одавно добро знану) чињеницу да, како је утврдио *Conklin (H. C. Conklin*. Nanunoo Color Categories // Language in Culture and Society. A Reader in Linguistics and Anthropology, ed. by D. Hymes. New York; Evanston; London, 1964, Harper and Row Publishers, p. 189–190, посебно на р. 191–192), говорни представници филипинског хануно језика из дате колористичке ситуације биљке «ишчитавају», пре свега, обавештење о томе у каквом је она физиолошком стању, тј. да ли је у процесу бујања, напредовања или у фази сушења, очигледно зато што је то сазнање од кључног значаја за опстанак заједнице, док њеној конкретной хроматској остварености не придају довољно значаја — она сама по себи нема никаквог утицаја на живот средине, па се отуда психолошки посебно и не региструје.
 - 8 О томе информишу нпр. следећи радови: *B. O. Unbegaun*. Les anciens russes vus par eux-mêmes // *Annali. Sezione slava VI*, Istituto Universitario Orientale. Napoli, 1963, p. 1–16, на с. 9; *Н. Б. Бахилина*. История цветообозначений в русском языке. М., 1975, с. 178–179; *О. А. Черепанова*. Мифологическая лексика Русского Севера. Л., 1983, с. 66.
 - 9 Као што сам већ имала прилике да напоменем (в.: *М. Ивић*. О зеленом коњу..., посебно на с. 64–65), постоје сигурна сведочанства о томе да су поједини називи боја, у појединим језицима — у грчком, на пример, били носиоци те «упозоравајуће» семантике.
 - 10 В. о томе: *A. Kikuchi, F. Lichtenberk*. Semantic extension in the color lexicon // *Studies in language*, v. 7, No 1, p. 25–64, на с. 31.
 - 11 Изузетак представљају неки сасвим периферни, крајње источно лоцирани народни говори у којима се рећу *синь* исказује значење 'плав'.
 - 12 В. о томе: *М. Ивић*. О зеленом коњу..., с. 67–68.
 - 13 Већ сам имала прилике да укажем на следеће (в.: *М. Ивић*. О зеленом коњу..., с. 66, нап. 22): на основу примера (преузетог из текста који је писан 1473. године у Пскову, а наведеног у књизи: *G. Herne*. Die slavischen Farbenbenennungen. Eine semasiologisch-etymologische Unter-

- suchung / Publication de l'Institut slave d'Upsal 9. Uppsala, 1954, p. 82) и *быше у ней люди черны, а иные сини* треба претпоставити да је некада било руских говорних подручја на којима се супротстављањем лексичких решења *черно/сине* сигнализирало разликовање значења 'изразито тамно'/'тамно, али умерено'.
- 14 О томе је доста писано — в. нпр. податке које дају: В. О. *Unbegaun*. *Les anciens russes...*, p. 11; Н. Б. *Бахилина*. *История цветообозначений...*, с. 9.
- 15 Подаци о овоме преузети су из «Рјечника Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti» — в. одреднице *бјелокаст* и *бјелоок*.
- 16 Р. *Миз*. Смисао и значење боја у русинским народним песмама // *Фолклор у Војводини*. Нови Сад, 1994, изд. Удружење фолклориста Војводине, св. 8, с. 84–86.
- 17 Русини, некадашњи житељи са подручја Карпата и источне Галиције, насељавани су, током прве и друге половине деветнаестог века, на географска пространства Војводине.
- 18 Више података о оба поменута феномена даје рад: М. *Ивић*. О изразима *ПЛАВ* и *МОДАР*: нова сазнања // *Јужнословенски филолог*, ЛП, 1996, 11–17, с. 14–15.

М. Ивич

По поводу фразеологизма *ни на синь ноготок*

Никита Ильич Толстой, рассмотревший фразеологизм *ни на синь ноготок* (псковская диалектная зона) и его варианты с лексемой **сьрно*, пришел к выводу о том, что, по-видимому, еще к праславянской поре восходят варианты со словами **сьрно* и **sine*. Цель настоящей работы — привести свидетельства в пользу этого заключения.

В праславянскую эпоху древние славяне понимали цвет в полной неотрывности от самого предмета, т. е. они больше интересовались интенсивностью, яркостью, чем оттенком красок. Представляется весьма разумным считать, что их микросистемы названий цвета содержали и лексемы, маркированные не по признаку хроматического аспекта, а по другим дифференциальным признакам. Лексические данные, характерные для русского языка раннего исторического периода, явно свидетельствуют в пользу такого заключения. Слово **sinь*, например, употреблялось сначала для выражения значения 'зловещий цвет', т. е. цвет, который свойствен какому-то угрожающему явлению. В ходе развития древнерусского языка была, судя по всему, и такая фаза, когда этим словом возможно было обозначать 'темный цвет', пренебрегая полностью его хро-

матическим либо «зловещим» аспектом. Оппозиция по признаку 'темный цвет' / 'светлый цвет' считалась носителями древнерусского языка, по-видимому, очень важной. Об этом свидетельствует, между прочим, и хорошо известный факт, что в этот период слово **belъ* использовалось также для названия светлого, голубого цвета глаз. Автор обращает внимание на примеры, которые подтверждают, что это явление имело параллели и в других странах славянского языкового ареала, а также и на следующий факт, который представляет большой научный интерес: в настоящее время в некоторых диалектных областях сербского языка цвет свежей, буйной, полной жизни растительности выражается словом *модар*, которым также обозначается и синий цвет. В одном локальном говоре даже лексема *загасан* употребляется для выражения не только значения 'темный', но также и значения 'красный цвет темного оттенка'. Эти диалектные примеры позволяют предполагать, что процесс семантической перестройки архаической микросистемы названий цвета в пользу их обязательной хроматической маркированности в некоторых диалектах еще полностью не завершен. Автор подчеркивает культурологический аспект освещения этой научной проблемы. Перед исследователями стоит задача зафиксировать нынешнее семантическое состояние микросистемы названий цвета в славянском языковом ареале в целом.

Импликациони односи у фонологији српских народних говора¹

Успомени великог научника и мог цењеног и драгог пријатеља Никите Иљича Толстоја, који је тако добро познавао лексику српских народних говора и визионарски откривао старинско духовно благо у њима, посвећујем овај мали прилог проучавању структуралне разноврсности тих говора.

Позабавићу се овде њиховом дијатопичном структуром, тј. структуром њихове варијације у простору. Поћи ћу од узајамне повезаности феномена подложних тој варијацији.

Импликацијом² се назива ситуација кад један феномен (Б) не може постојати без истовременог постојања одређеног другог (А). У таквим случајевима А се може јавити без Б, али не и обратно. Од четири замисливе ситуације, ту су, у разним дијалектима, заступљене три:

А+, Б+,
А+, Б-,
А-, Б-.

Не јавља се четврта ситуација, А-, Б+. Ово сведочи и о хијерархијском односу, некој врсти надмоћи феномена А над феноменом Б.

Прегледаћу овде, без претензија да исцрпем материју, неколико случајева импликације који се могу запазити у српским народним говорима. Илустрације ради, наводићу сваки пут по један говор са ситуацијом А+, Б+, један са ситуацијом А+, Б- и један са ситуацијом А-, Б-, уз подразумевање да нису познати говори са ситуацијом А-, Б+. Наравно, дати говори биће наведени у својству примера, што значи да по правилу постоји много других говора са датом особином. Презиме аутора додато у загради сваки пут иза помена о говору представља упућивање на релевантну литературу, чији је списак дат на крају чланка.

Прозодијски домен се одликује многобројношћу случајева импликације³.

1. Нема фолошког квантитета без фолошки дистинктивног акцента. Илустроваћу то следећим примерима:

— у највећем делу штокавских говора, нпр. у говору Црмнице у Црној Гори (Милетић), дистинктивни су и акценат и квантитет (А+, Б+),

— у главнини говора призренско-тимочке области (Белић) налазимо дистинктиван акценат, али не и квантитет (А+, Б-),

— у говору Срећке код Призрена (Павловић) акценат је аутоматски везан за антепенултиму, односно у двосложним речима за пенултиму, а квантитета нема (А-, Б-).

2. Нема тонске опозиције без акценатске и квантитетске:

— косовско-ресавски говор Доње Мутнице (Ракић-Милојковић) има дистинктиван акценат, квантитет и тон (А+, Б+),

— у говору Црмнице (Милетић) дистинктивни су акценат и квантитет (А+, Б-),

— у говору Срећке (Павловић) нема прозодијских феномена релевантних на нивоу фонологије речи (А-, Б-).

3. Нема дистинктивног квантитета у неакцентованим слоговима без таквог квантитета под акцентом:

— у говору Црмнице (Милетић) квантитет је дистинктиван под акцентом и у неакцентованим слоговима (А+, Б+),

— у говору Мрковића у Црној Гори (Милетић) квантитет је дистинктиван само у акцентованом слогу (А+, Б-),

— у већини говора призренско-тимочке области (Белић) нема дистинктивног квантитета (А-, Б-).

4. Нема дистинктивног тона под кратким акцентом ако га нема и под дугим акцентом:

— у новоштокавским говорима⁴, укључујући и књижевни језик, и кратки и дуги акцентовани слогови могу носити и узлазни и силазни тон (А+, Б+),

— у говору Доње Мутнице (Ракић-Милојковић) тонска опозиција је ограничена на дуге акцентоване слоге (А+, Б-),

— у говору Црмнице (Милетић) нема тонских опозиција ни у којем положају (А-, Б-).

5. Акценат с одређеним карактеристикама не може стајати на ултими ако таквог акцента нема и на пенултими:

— у говору Пипера у Црној Гори (Стевановић) кратки акценат може стајати и на отвореној и на затвореној ултими (А+, Б+),

— у говору Озринића у Црној Гори (Решетар) кратки акценат се јавља на затвореној ултими, али не и на отвореној (А+, Б-),

— у говорима Бјелопавлића (Ћупић) и Васојевића (СТИЈОВИЋ), такође у Црној Гори, кратки акценат у начелу не може стајати на ултими (А-, Б-).

6. Нема квантитетске опозиције у неакцентованој ултими ако је нема и у пенултими:

— у говору околине Сомбора (Поповић) квантитет је дистинктиван како у неакцентованој пенултими тако и у ултими (А+, Б+),

— у говору Галипољских Срба (Ивић) чувају се квантитетски контрасти у пенултими иза акцента, али не и у ултими (А+, Б-),

— у говору Мрковића (Вујовић) нема квантитета иза акцента (А-, Б-).

7. Нема квантитетске дистинкције под акцентом у ултими ако таква дистинкција не долази и у пенултими:

— у говору Пипера (Стевановић) и ултима и пенултима могу носити како дуги тако и кратки акценат (А+, Б+),

— у говору Галипољских Срба (Ивић) акценат на ултими може бити само кратак, а у говору Васојевића (СТИЈОВИЋ) само дуг, док на пенултими долазе и дуги и кратки акценти (А+, Б-),

— у говорима призренско-тимочке области (Белић) нема квантитета ни у којем положају (А-, Б-).

8. Нема квантитета у отвореној неакцентованој ултими ако га нема и у затвореној:

— у говору околине Сомбора (Поповић) и затворена и отворена ултима могу бити и кратке и дуге (А+, Б+),

— у говору Српског Крстура у северном Банату (Ивић, Бошњаковић, Драгин) неакцентована ултима, кад је отворена, обавезно је кратка, али кад је затворена, може бити и дуга (А+, Б-),

— у говору Семпетера у румунском делу Баната (Ивић, Бошњаковић, Драгин) неакцентована ултима уопште не може бити дуга (Б-, А-).

9. Нема дистинктивног квантитета у слогу иза силазног акцента ако га нема иза узлазног акцента у истом положају:

— у говору Српског Крстура (Ивић, Бошњаковић, Драгин) неакцентована ултима и неакцентовани медијални слог могу бити и дуги и кратки иза кратког акцента без обзира на његов тон (А+, Б+),

— у говору Ченеја у румунском делу Баната (н. д.) чувају се до некле квантитетске опозиције у слогу иза кратког узлазног акцента, али не и иза кратког силазног (А+, Б-),

— у говору Мрковића (Вујовић) нема квантитета ван акцентованог слога (А-, Б-).

Импликационе односе налазимо и у домену сегменталне фонологије.

10. Нема вокала задњег реда без одговарајућег вокала предњег реда (с тим да је вокал *a* у овом погледу неутралан):

— у говору Мрковића (Вујовић) у неакцентованом положају појављују се, уз познати петовокалски низ /и е а о у/, и фонеме /â/ и /ä/ (А+, Б+),

— у говору Васојевића (Стијовић) од тих двеју фонема долази само /ä/ (А+, Б-),

— у говору највећег дела Бјелопавлића (Ћупић), такође у Црној Гори, нема ни /ä/ ни /â/ (А-, Б-).

11. Слоговно *ɖ* не јавља се ако нема слоговног *p* :

— у говору око горњег тока Тимока (Белић) долазе оба та гласа (А+, Б+),

— у највећем делу штокавских говора, укључујући ту и књижевни језик, од тих двају гласова присутан је само *p* (А+, Б-),

— у говору Призрена (Реметић) изостају оба речена гласа (А-, Б-).

12. Нема следа неакцентованих вокала који не би био могућ под акцентом:

— у говору Доње Мутнице (Ракић-Милојковић) неакцентована група *-ao* чува се исто као и акцентована група *-äo* (А+, Б+),

— у бачким говорима (Поповић) група *-ao* је контрахована у *-o*, али се чува *-äo* (А+, Б-),

— у говору Срба на Кордуну (Петровић) *-ao* је контраховано у *-ā*, а *-äo* у *-â* (А-, Б-).

13. Нема консонаната *ć* и *č* без *h* и *h̃*:

— у говору Црмнице (Милетић) јављају се сва четири поменути консонанта (А+, Б+),

— у већини штокавских говора, укључујући и књижевни језик, долази *h* и *h̃*, али не и *ć* и *č* (А+, Б-),

— у говору Дињаша у румунском Банату (Ивић, Бошњаковић, Драгин) не долази ниједан од та четири консонанта (А-, Б-).

Ова импликација привлачи посебну пажњу зато што се иначе африкате јављају у језицима најчешће онда кад у систему постоји одговарајући фрикативни консонант.

Не могу се сматрати правим импликационим односима случајеви кад од двају средних феномена један долази у свим дијалектима,

а други само у неким (што значи да нема типа А-, Б-). Тако се акценат иза неакцентованог дугог слога јавља само у једном делу српских говора са дистинктивним квантитетом, а иза неакцентованог кратког слога у свим таквим говорима. Консонант *ц* присутан је свуда, а његов звучни парњак *s* (= африката δz) само у неким говорима. Безвучни консонанти свугде могу стајати на крају речи, док звучни у понеким дијалектима не могу. Ипак су и ови односи поучни, углавном у истом смислу као и праве импликације.

Импликациони односи осветљавају пре свега хијерархију самих феномена. Феномени под А у оваквој перспективи су немаркирани, док су они под Б у односу на њих маркирани. Овде се одмах намеће питање које су то особине које стварају асиметрију дате врсте међу феноменима, тј. шта је то што чини феномен А надмоћним над феноменом Б. Импликациони односи су значајни и за компаративну лингвистику. Компарација стања на подручју једног језика са стањем у сродним језицима указује на нове, досад неуочене сличности и разлике међу члановима исте језичке фамилије. И даље, шира типолошка истраживања, која превазилазе границе између језичких породица, откриће битне разлике у распрострањености појединих импликационих односа, а понекад и супротне импликационе односе (случајеве кад се феномен који на неком терену заузима позицију А, другде налази у позицији Б). Различито понашање разних феномена у овом погледу могло би дати понеки нов увид у природу тих феномена.

-
- ¹ Да бих избегао спорно питање о томе јесу ли српски и хрватски један језик, тј. постоји ли српскохрватски, ограничавам се на говоре српског етникама. Напомињем да је тезу о јединству српскохрватског језика много лакше бранити, бар са чисто лингвистичког гледишта (дакле не социолингвистичког или политичког), кад је реч о књижевном језику него кад је реч о дијалектима. Разлике које одвајају чакавско, а нарочито кајкавско наречје од штокавскога, толике су да дају повода за гледиште о најмање два језика.
 - ² Појам импликације одавно је познат у лингвистици. Њиме су руководили и великани језичке науке као што су Р. О. Јакобсон и Џ. Гринберг.
 - ³ О неким од тих случајева писао сам, у другом контексту, у свом раду: *Die Hierarchie der prosodischen Phänomene im serbokroatischen Sprachraum*, *Phonetica* (Basel; New York), Vol. 3, No. 1, 1959, S. 23–38.
 - ⁴ Новоштокавска акцентуација се може фонолошки анализирати и на други начин, тако да се не оперише узлазним акцентима. В. нпр. књигу: *Ise Lehiste and Pavle Ivić, Word and Sentence Prosody in Serbo-Croatian*, Cambridge; London, 1986 (српски превод: *Прозодија речи и реченице у српскохрватском језику*. Сремски Карловци; Нови Сад, 1996).

Литература

- А. Белић. Дијалекти источне и јужне Србије // СДЗб I, 1905.
Л. Вујовић. Мрковићки дијалекат // СДЗб XVIII, 1969.
П. Ивић. О говору Галипољских Срба // СДЗб XII, 1957.
П. Ивић, Ж. Бошњаковић, Г. Драгин. Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта // СДЗб XL, 1994.
Б. Милетић. Црмнички говор // СДЗб IX, 1940.
М. Павловић. Говор Сретечке жупе // СДЗб VIII, 1939.
Д. Петровић. Говор Баније и Кордуна. Нови Сад; Загреб, 1978.
И. Поповић. Говор Госпођинаца у светлости бачких говора као целине. Београд, 1968.
С. Ракић-Милојковић. Основе морфолошког система говора Доње Мутнице // СДЗб XXXVI, 1990.
С. Реметић. Српски призренски говор I (Гласови и облици) // СДЗб XLII, 1996.
М. Rešetar. Die serbokroatische Betonung südwestlicher Mundarten. Wien, 1900.
СДЗб — Српски дијалектолошки зборник. Београд.
М. Стевановић. Систем акцентуације у пиперском говору // СДЗб X, 1940.
Р. Стијовић. Из лексики Васојевића // СДЗб XXXVI, 1990.
Д. Ђунић. Говор Бјелопавлића // СДЗб XXIII, 1977.

П. Ивич

Отношения импликации
в фонологии сербских народных говоров

Статья посвящена отношениям импликации фонологических признаков, просодических и сегментных, в сербских народных говорах. Например, наличие оппозиции по тону в кратких слогах предполагает ее существование и в долгих слогах, а слоговое *д* возможно только при условии существования слогового *р*.

Диалектные типы Полесья

Говоры Полесья неоднородны. На его территории выделяются десятки диалектных единиц¹. Нашей задачей является попытка в этом множестве единиц — групп, подгрупп, типов, подтипов — выявить определенную систему, сгруппировать такие единицы. Для этого необходимо выделить релевантные диалектные признаки, на основании которых можно было бы произвести группировку говоров.

Замечено, что многие особенности, на основании которых выделяются диалектные единицы в разных регионах Полесья, повторяются. Такое повторение и является основным признаком релевантности диалектных черт при выделении диалектных типов в Полесье в целом. Чем чаще диалектная особенность бывает релевантной при группировке говоров отдельных регионов Полесья, тем она более релевантна при выделении общеполесских диалектных типов.

Наиболее релевантными признаками при выделении полесских диалектных типов являются следующие: 1. реализация согласных **ɔ*, **m*, **z*, **s*, **n* перед **e*, **u*; 2. сохранение **ɔ'*, **m'* или их переход в [дз'], [ц']; 3. различие или неразличие **ы* и **и*; 4. Наличие или отсутствие икавизма. На основании этих признаков в Полесье выделено 8 диалектных типов.

1. Городнянский тип

К нему относятся три группы говоров — городнянская, чижовская и ситновская.

Городнянская включает говоры Городнянского и частично Глинковского сельсоветов Столинского района Брестской области.

Наиболее характерные черты городнянского говора следующие. Согласные **ɔ*, **m*, **z*, **s*, **n* перед исконным **ы* (как и перед гласными /а/, /о/, /у/) твердые веларизованные: *дым*, *тѣкнув*, *ты*,

тры козы́, сы́пат'и, сын, б'ез войны́. Эти же согласные (а также губные) перед этимологическими *e, *u — твердые невелиаризованные, или «полумягкие», или, наконец, согласные с «неполной» твердостью: *ход'ít'и, з'имá, с'íла, гон'ít'и, накос'ív, д'éрево, д'ен', т'еп'ёр, н'éбо, з'емл'á, до с'еб'е.* Акустически в одних случаях они воспринимаются как «обычные» твердые согласные, а в других — как «полумягкие». Во втором случае они действительно «мягче», нежели в первом, но в то же время тверже, чем обычные мягкие согласные в иных позициях (*д'áкуйю, т'áжко, з'ат', с'áду, кón'*).

Городнянский тип — одна из наиболее древних полесских систем. Наличие тройного деления согласных по характеру твердости-мягкости — твердые велиаризованные, твердые невелиаризованные или «полумягкие» и мягкие — была характерна для праславянского языка²; характерна она для старославянского языка³ и древнерусского книжного языка раннего периода⁴.

Обратим внимание еще на некоторые архаические черты городнянского говора. Одна из черт — это /ê/ «закрытое» под ударением на месте «ятя» /ѣ/: *л'és, с'éно, сн'ég.* По мнению некоторых исследователей, /ê/ «закрытое» — это один из вариантов древнего произношения «ятя» /ѣ/. Таким образом, с большой долей вероятности мы можем говорить, что в городнянском говоре в ударной позиции сохранился древний «ять» /ѣ/. На месте *o в новых закрытых слогах под ударением в городнянском говоре произносится /ô/ «закрытое»: *вôз, кón', стôл.* Это тоже старая черта, хотя и менее древняя, чем «ять» (ѣ). Согласный /ц/ в городнянском говоре произносится «полумягко»: *кон'éc', хлôпц'и, в руц'é.* Это тоже, видимо, древняя черта, поскольку в абсолютном большинстве современных говоров мы находим согласный /ц/ или твердый, или мягкий.

К такому же типу можно отнести три группы говоров в Белостокском, Замостьевском и части Жешувского воеводства Польши, описанные В. Курашкевичем⁵. Две из них полесские.

Одна из групп — условно, чижовская. Относящиеся к ней говоры находятся преимущественно на территории Чижовской гмины (гмина расположена между Бельском и Гайновкой) Белостокского воеводства Польши. В этих говорах согласные /д/, /т/, /з/, /с/, /н/ перед этимологическими *e, *y произносятся твердо с велиаризацией, перед *u — твердо без велиаризации или «полумягко». В говоре с. Выгода перед *u произносятся твердо только /д/, /т/, /н/. В чижовской группе в позиции перед *u наблюдается процесс перехода твердых невелиаризованных или «полумягких» /д/, /т/,

/з/, /с/, /н/ в мягкие. Так, если В. Курашкевич зарегистрировал в этих говорах в рассматриваемой позиции твердые (невеляризованные) /д/, /т/, /з/, /с/, /н/, то более поздние источники фиксируют данные согласные уже мягкими⁶. Ситновская группа локализуется в окрестностях Замостья. В ряде говоров этой группы В. Курашкевич зарегистрировал разрушение старой городнянской системы и замену ее системой малечской.

За пределами Полесья обнаруживают близость к городнянскому типу украинские говоры района Карпат и бассейна верхнего Сана. В этих говорах сохранились различия между этимологическими *и и *ы после твердых /д/, /т/, /з/, /с/, /н/ и других согласных⁷.

Итак, в прошлом для праславянского языка было характерно тройное деление согласных *д, *т, *з, *с, *н и других по признаку твердости-мягкости. Различались согласные твердые (твердые веляризованные), «полумягкие» (очевидно, твердые неvěляризованные) и мягкие. После твердых согласных различались гласные *ы и *и. Перед *ы согласные были веляризованными, перед *и — неvēляризованными. Впоследствии эта система разрушилась. От нее сохранилось лишь несколько осколков. Это прежде всего говоры городнянского типа в Полесье.

Как показывают данные современных говоров, исчезновение «полумягких» (твердых неvēляризованных) согласных пошло двумя путями: в одних случаях они стали мягкими, в других — приобрели веляризацию и стали «обычными» твердыми. Одновременно происходили изменения в соотношении звуков *ы и *и. В одних говорах эти звуки сохранились, в других — слились в один звук. Переход «полумягких» *д, *т, *з, *с, *н перед *е, *и в мягкие при сохранении различий между *и и *ы мы условно называем северной тенденцией, поскольку она реализовалась в говорах северной зоны Славии⁸. Приобретение указанными согласными дополнительной веляризации и переход их в обычные твердые согласные при слиянии гласных *ы и *и в один звук называем южной тенденцией — она реализовалась в говорах южной зоны Славии.

Разрушение же городнянской («праславянской») системы происходило тремя основными путями. Они отразились в трех нынешних архаических диалектных типах Полесья: стригинском, малечском и бережновском.

2. Стригинский тип

Стригинский тип сочетает в себе реализацию северной и южной тенденций. В соответствии с северной тенденцией здесь согласные

/д/, /т/, /з/, /с/, /н/ перед *и стали мягкими, гласные *ы, *и после согласных сохранили различие (*дым, ход'йт'и*). В соответствии с южной тенденцией перед *е согласные /д/, /т/, /з/, /с/, /н/ приобрели дополнительную веляризацию и отвердели (*ден', тёплы, тепёр, земл'á, селó, нёбо*), гласные *ы, *и после губных во многих говорах слились в гласном *и (*б'ик, прыв'ик, в'ысыпав, м'иш, м'йшу, п'йшны, коп'йл, роб'йт'и, в'йшн'а, м'иска, п'исат'и*).

К стригинскому типу относятся:

западноподляшские говоры в Белостокском и Бяльско-Подляшском воеводствах Польши, а также на северо-востоке Люблинского воеводства и юго-западе Хелмского воеводства⁹;

стригинские говоры в центральной и северо-восточной части Березовского района Брестской области¹⁰ по с. Стригинь, расположенному на юго-восток от г. Березы вблизи левого берега р. Ясельды;

южнотелеханские говоры в нескольких селах на юге Ивацевичского и на севере Пинского районов Брестской области¹¹ (одна из особенностей этих говоров — гласный /e/ или /ê/ под ударением на месте *о в новых закрытых слогах);

среднепогорыньские говоры¹² (в Брестской области к ним относится традиционный говор г. Столина и соседних населенных пунктов); в Ровенской области основная часть говоров Дубровицкого района (без западной части и крайнего северо-востока), говоры северо-восточной части Сарненского и прилегающей части Рокитновского районов;

среднебуртские или северноолевские говоры в северной части Олевского района Житомирской области и на прилегающих территориях;

западноовручские (средненоринские) говоры¹³ образуют массив к западу от г. Овруча в Овручском и частично Лугинском районах Житомирской области; к нему примыкает ряд населенных пунктов в Лельчицком и Ельском районах Гомельской области Белоруссии;

западночернобыльские говоры¹⁴ (ряд населенных пунктов Чернобыльского и частично Полесского районов Киевской области, расположенных к западу от Чернобыля);

говоры отдельных населенных пунктов на юго-западе Наровлянского района Гомельской области Белоруссии¹⁵.

3. Бережновский тип

Бережновский тип сформировался в результате реализации северной тенденции при разрушении старой городнянской (пра-

славянской) системы: согласные /д/, /т/, /з/, /с/, /н/ перед *е, *и мягкие (*д'ен, д'ерево, т'епло, з'емл'а, с'ело, н'ебо, ход'ит'и, з'има, с'ила, н'изко*), гласные /ы/, /и/ различаются (*дым, д'иво, сын, нос'ит'и*). Мягкие *д', *т' преимущественно сохранились. В части говоров они произносятся как /дз'/, /тц'/, т. е. имеют призвуки /дз'/, /ц'/.

К говорам бережновского типа относятся:

несколько говоров на крайнем западе восточнославянского диалектного массива в Польше¹⁶;

традиционный говор городского поселка Телеханы Ивацевичского р-на Брестской обл.¹⁷;

говор с. Вулька Лавская Валищенского сельсовета Пинского р-на Брестской обл. (на севере района), акающий говор с. Бобрин (центр сельсовета) на северо-востоке Пинского района¹⁸.

Лунинские говоры¹⁹ (несколько населенных пунктов, расположенных на запад от г. Луинца Брестской обл.). В лунинских говорах на месте *о в новых закрытых слогах под ударением произносится /ы/ (*выз, кын', стыл*), на месте «ятя» /ѣ/ под ударением — /и/ (*л'ис, сн'из*);

бережновские говоры²⁰ (несколько населенных пунктов Столинского р-на, расположенных по р. Горынь к северо-востоку от г. Столина);

отдельные островные говоры в Дубровицком районе Ровенской области Украины²¹.

К этому же типу относятся:

массив среднестовицких и словечанских (верхнесловечанских) говоров²² (северо-восток Рокитновского р-на Ровенской обл., крайний север Олевского р-на, западная часть Овручского района, прилегающие части Олевского и Лугинского р-нов Житомирской обл., крайний юго-восток Столинского р-на Брестской обл. (Храпунь), южные окраины Лельчицкого р-на Гомельской обл.);

говор с. Выступовичи на северо-востоке Овручского р-на Житомирской обл.;

нижнеприпятский регион говоров бережновского типа²³ (северная часть Чернобыльского, северо-восток Полесского р-нов Киевской обл. Украины, юго-запад Брагинского, крайний юг Хойникского, некоторые южные сельсоветы Наровлянского р-нов Гомельской обл. Белоруссии). Во многих говорах региона мягкие /д'/, /т'/ произносятся с оттенками /дз'/, /ц'/; многим говорам региона свойственно аканье;

надсновские говоры²⁴ (северные р-ны Черниговской и северо-запад Сумской обл.). Во многих надсновских говорах мягкие /д'/,

/t'/ произносятся с оттенками /дз'/, /ц'/; для них характерно аканье, личные местоимения *ён, яна́, яно́, яны́* (*енá, енó, ены́*);

верхнезубские говоры (вост. часть Середино-Будского р-на Сумской обл. Украины²⁵).

По характеру реализации **ǫ*, **т*, **з*, **с*, **н* перед **е*, **и* и различению **ы* и **и* к бережновскому типу относятся говоры Брянского и Жиздринского Полесья.

4. Малечский тип

Малечский тип говоров сформировался в результате реализации южной тенденции при разрушении городнянской («праславянской») системы. В говорах, относящихся к малечскому типу, согласные /д/, /т/, /з/, /с/, /н/ перед **е*, **и* твердые, гласные **ы*, **и* слились в одном звуке, который по артикуляционным и акустическим признакам близок к /ы/ или /i^{hi}/. В говорах малечского типа, в отличие от более южных систем, отсутствует так называемый икавизм, т. е. переход **о* > *и*, *ы* в новых закрытых слогах и переход «ять» /ѣ/ > *и*.

К говорам малечского типа относятся:

восточноподляшские говоры (Белостокское, Бяльско-Подляшское и частично Хелмское воеводства Польши²⁶);

малечские говоры²⁷ (юго-западная часть Березовского р-на Брестской обл.);

валищанско-обровские говоры²⁸ (север Пинского и юг Ивацевичского р-нов Брестской обл.);

основная часть правобережнополесских²⁹ и левобережнополесских украинских говоров³⁰, а также говоры ряда населенных пунктов на юге Брагинского и юго-западе Наровлянского р-нов Гомельской обл.

Итак, мы рассмотрели четыре полесских диалектных типа: городнянский, стригинский, бережновский и малечский. Наиболее древний из них — городнянский. По характеру согласных **ǫ*, **т*, **з*, **с*, **н* и гласных **ы*, **и* он наиболее близок к праславянскому состоянию. Другие три типа — стригинский, бережновский и малечский — образовались непосредственно из городнянского типа. Видимо, ранее всего начали обособляться бережновский и малечский типы. Вероятно, они первоначально сформировались на окраинах бывшей Славии: бережновский тип — на северной окраине, малечский — на южной. В их обособлении определяющую роль играли разные тенденции, для бережновского типа — условно северные, для малечского — южные. Расширение ареалов обоих типов шло

за счет ареала городнянского типа. Ареал последнего все более и более сужался. В определенный период он ограничивался сравнительно небольшой территорией, расположенной где-то в центре или средней полосе Славии. Наступило время, когда на сохранившиеся говоры городнянского типа начали воздействовать одновременно как северные, так и южные тенденции. В результате «сочетания» этих тенденций сформировался стригинский тип. Возник он тоже из городнянского типа, но, очевидно, позже, нежели типы бережновский и малечский. Ареал (или ареалы) стригинского типа расширялся за счет городнянского типа. Это расширение зарегистрировано еще в XX в. (см. выше о чижовских говорах).

Типы севернополесский и южнополесский образовались уже не непосредственно из городнянского типа. Севернополесский тип образовался из бережновского типа, а южнополесский — из малечского.

5. Севернополесский тип

Севернополесский тип сформировался, видимо, где-то на северной или северо-западной периферии ареала бережновского типа. Его появление связано с возникновением цеканья-дзеканья, т. е. произношения /дз'/, /ц'/ на месте мягких *д', *т'. Ведь севернополесский тип и отличается от бережновского в первую очередь наличием в нем цеканья-дзеканья. Цеканье-дзеканье не могло возникнуть непосредственно из «полумягких» *д', *т'. При формировании цеканья-дзеканья должны быть пройдены следующие этапы:

*д', *т' > *д', *т' > *д'з', *т'ц' > /дз'/, /ц'/.

Ареал цекающе-дзеканящих (севернополесских) говоров в южном направлении расширялся за счет ареала говоров бережновского типа.

От более северных (центрально-севернобелорусских) говоров севернополесские говоры отделяются пучком изоглосс (в них преобладает оканье, для них характерны личные местоимения *вонá, вонó, воны́ (ванá, ванó, ваны́)* и др.)³¹.

В говорах севернополесского типа выделяется несколько подтипов:

- туровский³²,
- мозырский³³ (с аканьем, хотя и непоследовательным),
- автюковский³⁴,
- выгоновский³⁵ (наиболее яркая черта — произношение в ударной позиции /е/ или /ê/ на месте *о в новых закрытых слогах: *бел'ш, вен, вез, пéйдз'еш, стел, нес, кен'*),
- беловежский³⁶,

лоевский³⁷ (основная особенность — наличие цеканья, но отсутствие дзеканья: *ц'úха/о/, з'ац', ц'óтка, ха/о/д'úц'и, д'ен'*), заблудовский³⁸ (центральная и северо-западная части Белостокского воеводства Польши).

6. Южнополесский тип³⁹

В говорах южнополесского типа согласные /д/, /т/, /з/, /с/, /н/ перед *е, *и произносятся твердо, гласные *е и *и слились в один звук, который по артикуляционным и акустическим признакам в большинстве говоров близок к /ы/. На месте «ятя» (ѣ) в говорах южнополесского типа под ударением произносится /и/ (белорусско-украинское /i/ (*сн'иг, с'úно, з'úл'л'е*)), в некоторых говорах /ы/ (*сныг, с'úно, з'úл'л'е*). На месте *о в новых закрытых слогах под ударением в рассматриваемых говорах чаще всего выступают гласные /и/, /ы/, в некоторых говорах (преимущественно в Брестской области Белоруссии) — /у/ и *ÿ* (умлаут): *в'ин, в'из, б'ил'ш, стыл, сыл', в'ÿз, стÿл, вуз, бул'ш, сул'*. Если во многих говорах малечского типа согласные /д/, /т/, /з/, /с/, /н/ перед рефлексам **и* слабо веляризованные или невеляризованные, то в говорах южнополесского типа эти согласные в указанной позиции чаще всего веляризованные.

Таким образом, основное различие говоров малечского и южнополесского типов заключается в наличии икавизма (говоры южнополесского типа) или в его отсутствии (говоры малечского типа). По характеру икавизма устанавливается граница южнополесских говоров на юге. В южнополесских говорах переход *о > /и/, /ы/ в новых закрытых слогах ограничивается ударной позицией. В говорах, расположенных южнее, т. е. южноукраинских, такой переход распространяется и на безударные позиции.

Южнополесский тип вероятнее всего сформировался в результате воздействия типа праюжноукраинского на тип малечский.

Ареал говоров южнополесского типа включает юго-восточные окраины Белостокского, восточную полосу Бяльско-Подляского и Хелмское воеводство Польши, основную часть полесской зоны Брестской обл., Волинскую обл. (кроме южных окраин), часть Ровенской обл., северную часть Славутского р-на Хмельницкой обл., значительную часть Житомирской (севернее Житомира), Киевской, Черниговской и Сумской обл.

В южнополесских говорах выделяется несколько подтипов: загородский, волинский, тороканский, правобережноднепровский, левобережноднепровский, глуховский.

Наиболее яркая черта загородского подтипа — указательные местоимения *гэ́то, гэ́той (гэ́тый), гэ́та, гэ́тэ, гэ́ты*⁴⁰. В Малоритском и западной части Каменецкого р-на Брестской обл. им соответствуют местоимения *цѣ́то, цѣ́тый, цѣ́та, цѣ́тэ, цѣ́ты, сѣ́то, сѣ́тый, сѣ́та, сѣ́тэ, сѣ́ты* (это, этот, эта, это, эти). Говорам загородского подтипа свойствен переход *e > (o) в ударном слоге перед твердыми согласными, перед гласными /o/, /y/, /a/, где *e < *e: *зыл'о́ный, выс'о́лый, с'о́стры*. В структуре */tʲrʲ/tʲ/, где *e < *ь, гласный /e/ сохраняется: *твѣ́рды́й, бе́рдо, ме́рзлы́й, ме́ртвы́й*. Ареал говоров загородского подтипа включает говоры южнополесского типа в Брестской области Белоруссии (кроме говоров Радостовского и Повитского сельсоветов, которые относятся к волинскому подтипу), центральной и восточной части Любешовского района Волинской области, Заречнянского, Владимирецкого (без южной части), Дубровицкого (западной части) районов Ровенской области Украины, Белостокского, Бяльско-Подляского и частично Хелмского воеводств Польши.

Наиболее яркая черта говоров волинского подтипа — произношение под ударением /e/ или близкого по артикуляционным и акустическим признакам звука на месте этимологических *и, *ы. Говоры волинского подтипа бытуют в Волинской области Украины, на прилегающей территории Ровенской области, а также в соседних регионах Польши (Хелмское воеводство) и Белоруссии (окраины Дрогичинского и Кобринского районов Брестской области).

Наиболее яркая черта говоров тороканского подтипа⁴¹ — гласный /a/ на месте *e < (*e, *ь) под ударением: *дан', ба́руг, двáре, змарз, náбо, са́рце* (день, берег, двери, замёрз, небо, сердце). Говоры тороканского подтипа образуют несколько островов в южных районах Брестской области Белоруссии и северо-восточных районах Волинской области Украины. К тороканскому типу относятся также среднебужские говоры⁴². Ареал последних: Волинская область, районы — Владимиро-Волинский (центр и юг), Гороховский (западная часть), Иваничский, Локачинский (центр и запад), Львовская область — Сокальский район (центр и север).

Особенности говоров глуховского подтипа⁴³: аканье, переход *o > /y/ в новых закрытых слогах под ударением. Говоры глуховского подтипа распространены в центральной и южной частях Глуховского и ряде соседних сел Путивльского районов Сумской области Украины.

Отметим еще некоторые контактные типы.

7. Верхнеясельдский тип ⁴⁴.

В говорах верхнеясельдского типа **д*, **т*, **з*, **с*, **н* перед **е* твердые, перед **и* мягкие, **д'*, **т'* перешли в /дз'/, /ц'/: *ден'*, *теплó*, *земл'á*, *селó*, *не́бо*, *ходз'и́ц'и*, *з'има́*, *с'и́ла*, *н'и́зко*.

К этому типу относятся верхнеясельдские говоры, распространенные в центральной и восточной частях Пружанского, в северо-западной и частично центральной (южнее г. Березы) части Березовского районов Брестской области Белоруссии; традиционный говор г. Лунина Брестской области ⁴⁵, говоры нескольких сел, расположенных к востоку от г. Нарева Белостокского воеводства (Польша) ⁴⁶.

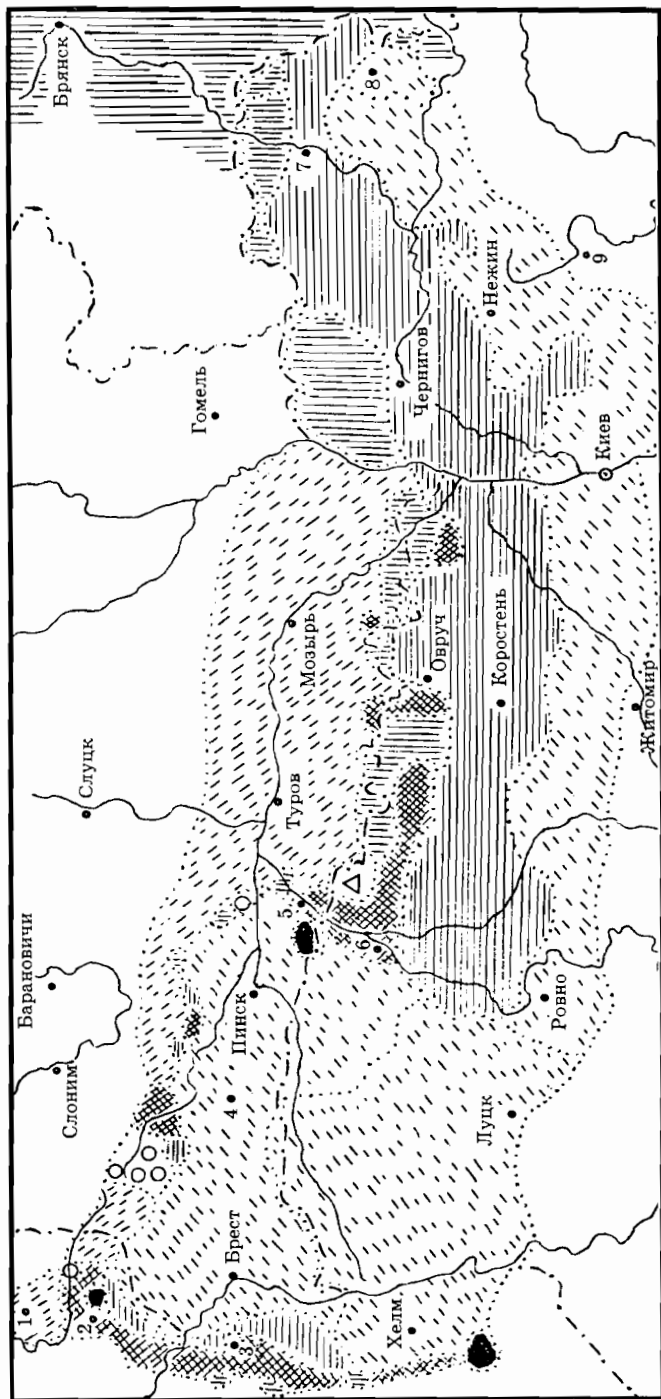
Верхнеясельдский тип, очевидно, сформировался в результате наслоения на стригинский тип севернополесского цеканья-дзе-канья.

8. Среднелъвянский тип ⁴⁷.





Среднелъвянский тип представлен говорами сел Переброды Дубровицкого, Дроздынь, Переходичи и Старое Село Рокитновского районов Ровенской области Украины. Расположены они по среднему течению р. Льва. В среднелъвянских говорах мягкий **т'* перешел в /ц'/, мягкий **д'* сохранил свое качество. Перед **е* согласные /д/, /ц/ < **т*, /з/, /с/, /н/ твердые, перед **и* — мягкие: *ден'*, *де́рево*, *це́пэр*, *це́плó*, *земл'á*, *селó*, *не́бо*, *ход'и́ц'и*, *з'има́*, *с'и́ла*, *зн'и́зу*. Среднелъвянский тип сформировался в результате взаимодействия стригинского типа и лоевского подтипа севернополесского типа.

Отдельный контактный тип представляет традиционный говор города Давид-Городка (Брестская область) ⁴⁸. Сформировался он в результате взаимодействия разных полесских и соседних с ними диалектных систем. Видимо, это является результатом того, что в этом городе с момента его основания в начале XII в. жило этнически смешанное население. Говору Давид-Городка присущи следующие особенности. Гласный **е* в предударной позиции нередко переходил в /а/: *машóк*, *салó*. Согласные **д*, **т* перешли в /дз'/, /ц'/. Согласные /дз/ < **д*, /ц/ < **т*, /з/, /с/ твердые перед **е*, мягкие перед **и*: *дзен'*, *дзэ́рево*, *дзежа́*, *цереб'и́ц*, *до цебе́*, *цабе́*, *це́пэр*, *уцакля́*, *земл'á*, *по замл'и́*, *селó*, *салó*, *сестра́*, *седз'и́це*, *одз'и́н*, *дз'и́ц'á*, *ц'и́хо*, *иц'и́*, *з'има́*, *с'и́ла*; согласный /н'/ мягкий перед **е*, **и*: *н'е́бо*, *гон'и́ц'*.

Выделенные по четырем признакам основные диалектные типы Полесья представлены на карте.



Типы говоров:

	городнянский
	стригинский
	бережновский
	малечский
	севернополесский
	южнополесский
○○○	верхнеясельдский
△	среднелвянский

Границы типов говоров и их вариантов. Цифрами обозначены:

- 1 — Белосток
- 2 — Бельск Подляски
- 3 — Бяла-Подляска
- 4 — Дорогичин
- 5 — Столин
- 6 — Дубровица
- 7 — Новгород Северский
- 8 — Глухов
- 9 — Прилуки

* * *

Н. И. Толстой в своих работах, докладах, выступлениях на научных конференциях, симпозиумах многократно говорил об архаическом славянском поясе. В его состав он включал Балканы, Карпаты, Полесье и Русский Север. В одной из бесед с ним я попытался выразить сомнение: правомерно ли считать перечисленные регионы поясом — ведь между ними существуют территориальные разрывы? На это Никита Ильич ответил: это еще не значит, что такие разрывы существовали и в прошлом. Общеизвестен факт, что в прошлом не было территориального разрыва между восточными и южными славянами. Между архаическими карпатскими и полесскими говорами фактически и теперь нет разрыва. Архаические полесские говоры тянутся по Западному Бугу почти до его верховьев, здесь они граничат с надсянскими говорами, а надсянские говоры — с карпатскими бойковскими и лемковскими. В прошлом граница «соприкосновения» архаических полесских и архаических карпатских говоров, очевидно, была шире. Что касается Полесья и Русского Севера, то даже теперь можно встретить архаику в верховьях Десны, в восточной Смоленщине. Вероятнее всего, что в прошлом, в отдаленном прошлом территориального разрыва между Полесьем и Русским Севером... не было. Говоря об архаических зонах, Никита Ильич выделял среди них более архаические и менее архаические. В Полесье он считал более архаической его часть к западу от Днепра и менее архаической — к востоку.

Никита Ильич обосновывал свои выводы в первую очередь на основе лексического материала, семантики, духовной культуры. Моя же теперешняя статья основана всего лишь на данных нескольких фонетических особенностей. Правда, эти особенности, с моей точки зрения, достаточно релевантны для выделения отдельных типов говоров в Полесье и соотносительности их с диалектными типами всей Славии.

Попробуем соотнести общую картину распространения выделенных диалектных типов с архаическим славянским поясом в понимании Н. И. Толстого.

Городнянский тип, наиболее архаический, включает три острова в западном Полесье и Подляшье. Близки к этому типу украинские говоры Карпат и бассейна верхнего Сана. Один из полесских островов указанного типа фактически примыкает к ареалу надсянских говоров. К городнянскому типу относятся некоторые русские говоры, чаще всего встречающиеся на Русском Севере. Имеются

говоры иных типов, для которых характерны те или иные признаки городнянского типа. К ним прежде всего следует отнести многие говоры малеческого типа к западу от Днепра, некоторые говоры этого же типа в России, прежде всего на Русском Севере. Большинство говоров южнославянских языков, хотя и относятся к малеческому типу, но, по существу, они переходные от малеческого типа к городнянскому. Стригинский тип — это довольно позднее, по нашему мнению, отпочкование от городнянского типа. Массивы и острова говоров стригинского типа концентрируются в Полесье от восточнославянско-польской этнической границы на западе до Днепра на востоке. Имеются острова этого типа в России, встречающиеся чаще всего на Русском Севере.

Таким образом, говоры наиболее архаического типа и близкие к ним концентрируются почти исключительно в пределах архаического славянского пояса, выделенного Н. И. Толстым.

В других типах различаются более архаические и менее архаические говоры.

К малеческому типу наиболее близки большинство говоров южнославянских языков и чешского языка, а также некоторые русские говоры.

Чешский язык, относясь к малеческому типу, характеризуется также чертами стригинского типа. Это прежде всего противопоставление по твердости-мягкости перед *e, *i согласных /d/, /t/, /n/: твердые перед /e/, мягкие перед /i/. В основных стригинских говорах такое противопоставление характерно для согласных /д/, /т/, /з/, /с/, /н/. Словацкому языку такая черта не свойственна. Присущи чешскому языку и некоторые особенности южнополесского типа. Создается впечатление, что в прошлом предок чешского языка локализовался где-то к северо-востоку от нынешней Словакии.

Некоторые признаки малеческого типа (неразличение *y, *i) характерны для основного массива словацких говоров и для говоров кашубско-мазовецкого ареала.

Говоры южнополесского типа образовались в значительной степени в результате взаимодействия типов малеческого и южноукраинского или праюжноукраинского.

Ряд ученых полагает, что предки южных славян ранее жили к северу от Карпат, при этом ареал их расселения на севере включал западное Полесье⁴⁹. Если принять такое положение, то можно допустить, что говоры южнополесского типа сформировались в западном Полесье, после отлива населения на Балканы и сокращения общей численности населения в западном Полесье, когда здесь обосновалось немало выходцев из юго-восточных и южных регионов.

Бережновский тип распространен островами и небольшими массивами от восточнославянско-польской этнической границы в Подляшье до северо-востока Черниговско-Сумского Полесья. На северо-востоке ареал этого типа расширяется, включая в себя большинство говоров русского языка. Близки к бережновскому типу говоры основного массива словацкого языка. Архаическими диалектами бережновского типа являются в Полесье говоры к западу от Днепра, а также северновеликорусские говоры.

К севернополесскому типу близки говоры центрально-северной зоны белорусской этнической территории, польские, кашубские, лужицкие говоры. Наиболее близки к указанному типу говоры основных массивов белорусского и польского языков. Их разделяет кашубско-мазовецкий ареал, говорам которого присуща такая малеческая черта, как неразличение *у, *і.

Выделяется своей спецификой тороканский подтип южнополесского типа. Основная его особенность — переход *ь, *е > /а/ или близкие звуки; часто наблюдается лишь переход *ь > /а/. Острова и массивы говоров с этой чертой образуют регион, который простирается от р. Ясельды на севере до Адриатического моря на юге⁶⁰. Отмечается эта черта в древянском диалекте полабского языка, в некоторых нижнелужицких, польских силезских и отдельных северновеликорусских говорах.

Севернополесский и южнополесский типы в Полесье — наиболее инновационные среди иных типов этого региона. Однако в общеславянском плане в сравнении с другими славянскими говорами они тоже архаические. Своей архаикой эти типы в значительной степени отличаются от более северных (средне-севернобелорусский ареал) и более южных (южноукраинский тип) диалектных единиц.

Таким образом, рассмотренный материал в своей основе подтверждает положение Н. И. Толстого об архаическом славянском поясе. Это подтверждение не всегда прямолинейно. Для установления большей или меньшей архаики той или иной диалектной системы целесообразно не ограничиваться релевантными фонетическими чертами и отдавать предпочтение пучкам изоглосс, изопрагм, изодокс.

¹ Ф. Д. Климчук. Гаворкі Заходняга Полесья. Фанетычны нарыс. Мінск, 1983; Н. В. Никончук. Правобережнополесские говоры с лингвогеографической и исторической точек зрения // Полесский этнолингвистический сборник. М., 1983, с. 153–173; Лінгвістычная геаграфія і групоўка беларускіх гаворак. Мінск, 1969, карты 1–9; Лексічныя ланд-

- шафты Беларусі. Жывёльны свет. Мінск, 1995, с. 113, 116, 121, 135, 152, 155, 159, 162, 168, 170, 174, 177, 186–192.
- ² С. Б. Бернштейн. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961, с. 238–241; Р. Бошкович. Основы сравнительной грамматики славянских языков. Фонетика и словообразование. М., 1984, с. 91–92.
- ³ А. М. Селищев. Старославянский язык. М., 1951, ч. 1, с. 110–112; Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). М., 1994, с. 59.
- ⁴ Ф. П. Филин. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972, с. 303–312; В. В. Иванов. Историческая грамматика русского языка. М., 1990, с. 125.
- ⁵ W. Kuraszkiwicz. Ruthenica. Warszawa, 1985, s. 27–28, 151–153, 263–264.
- ⁶ Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostoczczyzny. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1980, t. 1, mapa 1.
- ⁷ А. М. Залеський. Про конвергенцію давніх *ы, *і в південно-західних говорах української мови // Праці XIII Республіканської діалектологічної наради. Київ, 1970, с. 34–51; Атлас української мови. Київ, 1988, т. 2. Волинь, Наддніпрянина, Закарпаття і суміжні землі. Київ, 1988, карти 16, 17 (далее: АУМ).
- ⁸ Ф. Д. Клімчук. Рэфлексы *d, *t перад этымалагічнымі *e, *i ў славянскіх гаворках // Беларуска-руська-польскае супастаўляльнае мовазнаўства. Матэрыялы Другой міжнароднай навуковай канферэнцыі 5–6 лютага 1993 г. Віцебск, 1993, с. 81–83; Ф. Д. Клімчук. Старажытныя ляхі // Беларуска-руська-польскае супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства. Матэрыялы Трэцяй міжнароднай навуковай канферэнцыі 5–7 снежня 1994 г. Віцебск, 1994, I, с. 119–121.
- ⁹ W. Kuraszkiwicz. Ruthenica..., s. 8–48, 120–172, 211–227, 249–271 + mapy; Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostoczczyzny..., mapa 1; F. Czyżewski. Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich południowo-wschodniego Podlasia. Lublin, 1994, s. 40–43, 81–89, 109–120, 192, 199, 207, 208; М. Лесів. Українські говірки у Польщі. Варшава, 1997, с. 239–412.
- ¹⁰ Л. В. Леванцэвіч. Атлас гаворак Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Фанетыка. Брэст, 1993, ч. I, II.
- ¹¹ Ф. Д. Клімчук. Гаворкі Заходняга Палесься..., с. 10–11, 13–14; Я. Р. Самуйлік. Дыялектны мікраатлас Выганаўскага Палесься. Дыпломная работа (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт). Мінск, 1986.
- ¹² Ф. Д. Клімчук. Гаворкі Заходняга Палесься..., с. 12–14; АУМ, II, карта 87; М. В. Никончук. Лексичний атлас Правобережного Полісся. Київ; Житомир, 1994; L. Ossowski. Studia slawistyczne. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1992, s. 98–100.
- ¹³ Атлас української мови. Середня Наддніпрянина, Полісся і суміжні землі. Київ, 1984, т. I, карта 102; М. В. Никончук. Лексичний атлас...; Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963, карты 52, 53, 55–57 (далее: ДАБМ).
- ¹⁴ АУМ, I, карта 102; Т. В. Назарова. Лінгвістичний атлас Нижньої Прип'яті. Київ, 1985, карти 3–5, 16, 20, 29, 31; М. В. Никончук. Лексичний атлас...; Говірки Чорнобильської зони. Тексти. Київ, 1996.
- ¹⁵ ДАБМ, карти 52, 53, 55–57.

- 16 *W. Kuraszkiwicz. Ruthenica...*, s. 155.
- 17 *Я. Р. Самуїлік. Дыялектны мікраатлас...*
- 18 *Ф. Д. Клімчук. Гаворкі Заходняга Палесся...*, с. 11–12.
- 19 Там же, с. 12.
- 20 *L. Ossowski. Studia...*, s. 98–100; *Ф. Д. Клімчук. Гаворкі Заходняга Палесся...*, с. 12.
- 21 *L. Ossowski. Studia...*, s. 98–100.
- 22 АУМ, II, карта 87; *М. В. Никончук. Лексичний атлас...*; ДАБМ, карты 52, 53, 55–57; *L. Ossowski. Studia...*, s. 98–100.
- 23 АУМ, I, карта 102; *Т. В. Назарова. Лінгвістичний атлас...*, карти 3–5, 16, 20, 29, 31; *М. В. Никончук. Лексичний атлас...*; Говірки Чорнобильської зони...
- 24 АУМ, I, карти 62, 102; *А. С. Белая. Надснговские говоры на Черниговщине (фонетика). Автореф. канд. дис. Киев, 1972.*
- 25 АУМ, I, карти 62, 102 та ін., п. п. 14, 18, 190.
- 26 *Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostoczczyzny...*, mapa 1; *W. Kuraszkiwicz. Ruthenica...*, s. 8–48, 120–172, 211–227, 249–271 + mapy; *F. Czyżewski. Fonetyka i fonologia...*, s. 40–43, 81–89, 109–120, 192, 207, 208; *М. Лесів. Українські говірки...*, с. 239–412.
- 27 *Ф. Д. Клімчук. Гаворкі Заходняга Палесся...*, с. 10; *Л. В. Леванцэвіч. Атлас гаворак...*
- 28 *Ф. Д. Клімчук. Гаворкі Заходняга Палесся...* (ранее говоры назывались севернолужицкими, часть их была отнесена к южнотелеханским); *М. М. Аляхнович. Слоўнік неадназначных дзеясловаў (з лексікі вёскі Валішча Пінскага раёна Брэсцкай вобласці) // Жывое народнае слова. Мінск, 1992, с. 135–139.*
- 29 АУМ, I, карти 1–3, 7, 9–11, 15–17, 19–21, 29–36, 38–44, 47–49, 57–62, 64–69, 71, 85–87, 89, 90, 102, 112, 153, 194–197, 204, 220, 237, 243, 266, 272; АУМ, II, карти 1–3, 6, 8–10, 13, 17, 20–22, 24–26, 28–31, 40, 51–53, 61, 87, 88, 93, 98, 126, 156, 157, 177, 178, 207, 210, 211, 216, 218; *М. В. Никончук. Лексичний атлас...*; *Т. В. Назарова. Лінгвістичний атлас...*; Чорнобильскі говірки...
- 30 АУМ, I, карти 1–3, 7, 9–11, 15–17, 19–21, 29–36, 38–44, 47–49, 57–62, 64–69, 71, 85–87, 89, 90, 102, 112, 153, 194–197, 204, 220, 237, 243, 266, 272.
- 31 *Лінгвістычная геаграфія...*, карта 10; *Лексічныя ландшафты...*, с. 150, 186; *Ф. Д. Клімчук, А. А. Кривицкий, Н. В. Никончук. Полесские говоры в составе белорусского и украинского языков // Полесье. Материальная культура. Киев, 1988, с. 56–64.*
- 32 *Лексічныя ландшафты...*, с. 155, 187; *Тураўскі слоўнік. Мінск, 1982–1987, т. 1–5.*
- 33 *Гавораць чарнобильцы. Мінск, 1994, с. 4–88.*
- 34 *А. А. Кривицкий. Фанетычныя асаблівасці адной з гаворак поўдня Беларусі // Працы Інстытута мовазнаўства АН БССР. Мінск, 1959, вып. VI, с. 98–104.*
- 35 *Я. Р. Самуїлік. Дыялектны мікраатлас...*; *Ф. Д. Клімчук. Гаворкі Заходняга Палесся...*, с. 8; *L. Ossowski. Studia...*, s. 87; *A. Araszonkova. Uwagi*

- o reflexsach samogłoski o w południowo-zachodnich gwarach białoruskich // *Slavia Orientalis*, 1972, r. 21, nr. 1.
36. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostoczczyzny..., mapa I; *W. Kuraszkiewicz. Ruthenica...*, s. 23–24, 38–48, 154, 155, 157, 158; *Ф. Д. Клімчук. Гаворкі Заходняга Палесся...*, с. 8.
37. *Т. С. Янкова. Дыялектны слоўнік Лоеўшчыны. Мінск, 1982, L. Ossowski. Studia...*, s. 98–100.
38. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostoczczyzny..., mapa I; Заметки о западной части Гродненской губернии // *Этнографический сборник. СПб., 1858, вып. 3; Вестник Императорского Русского географического общества. СПб., 1856, ч. 16, с. 93–160.*
39. АУМ, I, карти 1–3, 7, 9–11, 15, 16, 29–36, 38–44, 47–49, 53, 57–62, 64–69, 85–87, 89, 102, 153, 194–197, 220, 237, 243; АУМ, II, карти 3, 6, 8–10, 13, 15–17, 28–31, 51–53, 61, 93, 126, 156, 177, 178, 207, 211, 216, 218; ДАБМ, карты 5, 6, 15, 25, 34, 35, 73, 85, 110, 111, 127, 129; *Ф. Д. Клімчук. Гаворкі Заходняга Палесся...*; *Ф. Д. Клімчук. Галосны (i) ў брэсцка-пінскіх гаворках // Полісся: мова, культура, історія. Київ, 1996, с. 57–63; W. Kuraszkiewicz. Ruthenica...*, s. 36, 37, 41, 61, 134–142, 163 + mapy; Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostoczczyzny. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1989, t. 2, mapy 43, 44, 48, 50, 52, 58, 71, 75; *F. Czyżewski. Fonetyka i fonologia...*, s. 40–43, 81–89, 109–120, 192, 199, 207, 208.
40. ДАБМ, карта 49; АУМ, II, карти 207, 210, 211; *Ф. Д. Клімчук. Галосны (i)...*, с. 57–63.
41. *Ф. Д. Клімчук. Гаворкі Заходняга Палесся...*, с. 25–27, 32, 38, 39, 81–88, 90, 91, 122, 123; *Он же. До питання про зони рефlekсації e, ь, з > a після твердих приголосних в слов'янських діалектах // Культура і побут населення українських Карпат (Матеріали республіканської наукової конференції). Ужгород, 1973, с. 276–281, карти; I. С. Бехцєр. Галосныя (a), (e) у тараканскай дыялектнай групе заходнепалескіх гаворак // Весті АН Беларусі. Серыя гуманітарных навук, 1996, № 4, с. 103–108.*
42. *Г. Ф. Шило. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра. Львів, 1957, с. 43–48, 170–172.*
43. АУМ, I, карти 3, 5, 7, 9, 10, 29–36, 38, 39, 57–62, 237.
44. *Ф. Д. Клімчук. Гаворкі Заходняга Палесся...*, с. 10, 124; *Л. В. Леванцєвіч. Атлас гаворак...*
45. *L. Ossowski. Studia...*, s. 87, 108.
46. *W. Kuraszkiewicz. Ruthenica...*, s. 23, 45.
47. *L. Ossowski. Studia...*, s. 98–100.
48. *L. Ossowski. Studia...*, s. 98–100, 113–119.
49. *Н. И. Толстой. Об одном раннем опыте картографирования праславянских диалектов. Карты Д. П. Джуровича 1913 г. // История русского литературного языка и стилистика. Калинин, 1985, с. 5–17.*
50. *Ф. Д. Клімчук. До питання про зони...*, с. 276–281 + 2 карти.

К этимологии русск. диал. спорыдать

Этот глагол, характеризующий отдельные севернорусские говоры, отмечен в словарях Подвысоцкого, Куликовского, в «Опыте областного великорусского словаря» в значении 'светить, озарять (о солнце)', 'появляться, показываться (о солнце)'. Из производных, связанных с глаголом *спорыдать*, известны только отмеченные Барсовым в Северно-русском словаре *спорыданье*, *спорыданьнице* 'пробуждение, рассвет зари'. В статье Т. В. Горячевой, посвященной изучению этого глагола, с исчерпывающей полнотой приведен материал из диалектных словарей, фольклорных текстов (Горячева 1971, 205–207). При этимологизации этого глагола Горячева следует гипотезе Барсова, высказавшего мысль о том, что *спорыдать* связано с глаголом *рдеть* 'краснеть'. Восходу солнца предшествует появление алого, золотистого света из-за горизонта. В пользу такого объяснения говорят и представленные в диалектах обозначения восхода солнца словами, близкими по значению: ср. *призардѣлася* зоря утренняя, пск., твер. *золочить* безл.: на востоке уж *золочит* 'заниматься, о заре' (Даль³ III, 1079; I, 1725; Горячева 1971, 206). В свете приведенных данных вполне убедительно выглядит включение глагола *с-по-рыдать* в гнездо слав. **rǫdĕti*, **rydĭjĭ* (русск. *рыжий*).

С иных позиций подходит к этимологизации русского глагола Ж. Ж. Варбот (Варбот 1972, 45–46). Она предприняла попытку понять русск. *спорыдать* с предполагаемым основным значением 'подниматься, вставать' в окружении слвц. *rydat' sa* : *pože sa už ryda!* 'ну же, убирайся!', *zridat' sa* 'отправиться, подняться', соотносимых в словаре Махека с гнездом и.-е. **reidh-* 'двигаться' (Maček¹ 430). Развивая эту идею, Варбот восстанавливает исходную форму **ridati* > **rydati* и включает в число её продолжений слвц. *ridat' sa* 'двигаться', польск. *redać* 'идти вброд, бродить, топтать' (Warsz. V, 493). Сравнивая глаголы **ristati* и **ridati*, Варбот отмечает, что в глаголе **ristati* исходная основа расширена суффиксом

-st, тогда как в глаголе *ridati славянские языки сохраняют исходную основу в нерасширенном виде, при этом более архаичной форме соответствует и более древнее значение: для *ridati наиболее вероятно исходное значение 'двигаться', тогда как для *ristati — 'ездить верхом'. Варбот признает, что эта версия имеет право на существование при условии первичности в славянском глаголе корневого *i*.

Предлагаемые решения базируются на анализе собственно языковых данных. Однако известно, что во многих случаях внутренняя форма слова определяется не только собственно языковыми отношениями, но и функционированием слова в фольклорных, мифологических контекстах. Славянский материал, при более широком охвате, допускает возможность иного подхода к истолкованию русского диалектизма. И исходим мы из того, что язык фиксирует конечный результат семантической эволюции слова. Не все элементы семантической структуры слова можно объяснить, исходя из действующей в языке системы семантических отношений, поскольку слово несет в себе наследие прошлой культуры, в нем находят отражение воззрения древних славян на природу, мифологические представления об окружающем мире. Восстановить ранние ступени в семантическом развитии слова помогает воссоздание культурного контекста, породившего такое употребление глагола. Лингвоэтнический подход, основы которого разработаны Н. И. Толстым, выносит на первый план исследование духовной культуры славян, анализ материала с учетом данных этнографии, мифологии помогает выявить связи и отношения на глубинном уровне.

Глагол *спорыдать* — это тот случай, когда для выявления исходной семантики особое значение приобретает восстановление мифологического контекста, в рамках которого прослеживается функционирование слова. Есть основания думать, что семантический признак, положенный в основу обозначения восхода солнца, предопределен космогоническими представлениями древних славян, согласно которым небесный свод представлял собой вселенское море. Отделению неба от земли предшествовало отождествление неба с мировым океаном (Мелетинский 1976, 207). Русск. диал. *спорыдать*, устойчиво выступающее в синтагматической связи с понятием *солнце*, является знаком древних космогонических представлений.

Характеризуя космогонические воззрения во времена язычества, Афанасьев пишет о том, что древние греки, римляне, скандинавы, литовцы и славяне полагали, что «заходящее солнце скрывается на ночь в морские воды и совершает в них ежедневное омовление» (Афанасьев П, 123). В своей книге «Поэтические воззрения

славян на природу» Афанасьев проанализировал под этим углом зрения большой фольклорный материал и привел примеры, свидетельствующие о сохранении у славян архаичных космогонических представлений. Отзвуки этих представлений в украинской поговорке *солнце в море купает*, в выражении из северо-западного края *у нядзельку раненько совненько купалося*, в одном из заговоров, который начинается словами *выкатило красное солнышко из-за моря Хвальинскаго* (Афанасьев II, 124). В одном из примеров, приведенных в Загребском словаре, говорится о том, что солнце заходит в синее море: *Pl na istok sunce sine, ili u sine more zade* (RJA d. XVII, 1: Gundulić³, 163). Согласно представлениям древних, не только солнце вечером на закате погружается в морские воды, но и ночные светила, исчезающие с рассветом, скрывались в безднах океана. В сербском фольклоре *солнце и месяц* каждые сутки купаются в море, чтобы не утратить своего блеска. Об этом же говорят загадки у славян *о гаснущих звездах на утренней заре*: «катилися каточки по липову мосточку (мост — небесный свод), *увидели зорю — пошли в воду*» или «бегали овцы по калинову мосту, *увидали зорю — покидались в воду*» (Афанасьев II, 131).

В космогонических мифах отчетливо проступают архаичные представления о связи воды и солнца. Согласно древним поверьям, «солнцевы девы умывают солнце и расчесывают его золотые кудри (лучи), т. е. разгоняя тучи и проливая дождь, они прочищают лик древнего светила, дают ему ясность» (Афанасьев I, 85). Об этом же говорится в одном из украинских поверий: «Прежде на „восходе солнца“ (востоке) жила необыкновенная красавица „панна“, и как только, бывало, солнце всходит, „панна“ его вымоет, хорошенько вытрет, — вот почему солнце прежде светило гораздо ярче, чем теперь. Заходящее солнце опускается в море, которое окружает землю, как яичный белок окружает желток» (Булашев 1909, 293). Афанасьев, со ссылкой на Костомарова, приводит фрагмент из старой южнорусской сказки на сходный сюжет, в которой также прослеживается связь восходящего солнца и воды: *Ивась* (герой сказки) получил приказание от пана узнать, зачем солнце переменяется три раза в день. *Ивась* поехал в терем Солнца, построенный над синим морем, и там получил следующий ответ Солнца на свой вопрос: «есть в море прекрасная Анастасия: когда я взойду, она на меня *брызнет водою*, — *я застыжусь и покраснею*; когда же я взойду на высоту и посмотрю на весь свет, мне станет весело; а когда захожу, — Анастасия опять *брызнет на меня морскою водою* — и *я опять покраснею*» (Костомаров 1847, 29; Афанасьев II, 129–130). Омывается водой и молодой месяц: «*Мылодикъ довжонъ обмыцца*»

(Никифоровский 1897, 217, № 1699). Одно из проявлений глубинной связи солнца и воды можно видеть в сербском примере из Загребского словаря: *Svijetlo sunce plaćući hodi od nebesa po vedrini*, т. е. солнце с плачем уходит с неба в ясную погоду (RJA, d. XVII, 1). Восходу солнца сопутствуют многие явления, но все они так или иначе связаны с водой. Роса, выпадающая на утренней заре, предвещает появление солнца, пролившийся дождь очищает небо, возвращает свет (Афанасьев I, 168). По поверьям, умываясь в ливнях весеннего дождя, солнце пробуждается от зимней спячки, весеннее солнце «*купается* в живой воде дождевых потоков, очищается в блеске молний, и просветленное несет миру дары плодородия» (там же, 188).

В древних поверьях близко стояли понятия *света* и *воды*. «Как стихии необыкновенно подвижные, всюду быстро проникающие, свет и вода производили одно общее впечатление стремительной *текучести*» (Афанасьев II, 286–287). Неслучайно в славянских языках понятия, имеющие отношение к огню, свету, воде и т. п., обозначаются однокоренными словами: ср. *топить печь*, *топленое молоко или масло* и *потоп* = вода снегов, растопленных лучами весеннего солнца, наводнение; глагол *раз-лить(ся)* употребляется в выражениях *пламя разлилось*, *луна (или солнце) льет свет*, ср. нем. *der mond über den berg sein licht ausgoss, die sonne ergiesst ihre strahlen*; *луна выплывает* из-за туч, *месяц плывет* по небу. В этот же ряд примеров Афанасьев включает и русск. диал. *спорыдать*, которым обозначается утренний рассвет: *солнышко спорыдает*, т. е. восходящее солнце *брызжет* своими лучами. Солнечные лучи, как брызги воды, разлетаются, разливаются по всему небу, и светом заполняется весь мир. Афанасьев отмечает употребление в сходной функции глагола *зарыдать*, не фиксируемого известными диалектными словарями: *берестечко так и зарыдало*, т. е. огонь заиграл, охватил всю бересту (там же, 287).

Днем солнце освещает мир, а вечером утомленное солнце снова погружается в море. Сербы говорят, что когда солнце заходит, жди, когда оно успокоится: *Kad sunce zapadne ... čekajše, kad će se sunce smiriti*. Солнце не заходит и не садится, оно успокаивается: *...kad mu reče zađe, onda ono (sunce) reče: zašao pa ne izišao, a kad mu se reče sjede, onda ono reče: sjeo pa ne ustaol a kad mu se reče smiri se, onda ono reče: smiri se i ti* (RJA, d. XVII, 1, 2). На Украине говорят: солнце *спочило*, солнце днем работает, а ночью *отдых берет* (Афанасьев I, 163). Солнце воспринималось как живое существо: омытое водой, оно появляется на горизонте, солнечный свет, льющийся с небес, заполняет все пространство, весь мир, и вечером оно возвращается в море и там успокаивается.

Прослеживаемая в фольклорных текстах устойчивая связь солнца с водой и составляет тот признак, который, как можно думать, определил внутреннюю форму глагола *спорыдать*. По смыслу и по форме этот глагол близок слав. **rydati*. В народных песнях плач сравнивается с текущей *рекой*, падающим *дождем* или *росой*. Над убитым добрым молодцем горюют мать, сестра и жена:

Его матушка плачет, что *река льется*,
А родная сестра плачет, как *ручьи текут*,
Молодая жена плачет, как *роса падет*.

В украинской народной песне глаза, полные слез, уподобляются затягивающим небо *тучам*, а слезы — *дождю*:

Горе-ж мене, горе, несчастная доле!
Заорала девчинонька мысленьками поле,
Чорными очима та-й заволочила,
Дрибненькими слезоньками все поле *зросила*

(Афанасьев I, 600).

В болгарской загадке *роса* называется «божа плюнчица» (= капля, слеза) (Афанасьев I, 600).

В пользу сближения глаголов *спорыдать* и *рыдать* говорят и архаичные образования, засвидетельствованные в разных частях славянского ареала. Одно из них отмеченный в «Архангельском словаре» с иным префиксом глагол *вы-рыдать* в значении 'вырасти (о растениях)', 'вымахать' (ср. Скаш, картофельня травá *вырыдала* — *выросла большá* — Арх. сл., 8, 165). Этот глагол, употребленный по отношению к картофелю, как будто бы не подтверждает предположения о связи основы *рыд-* с обозначением красного цвета. Речь идет о бурном росте, сопровождающемся расширением растительного покрова. Собственно тот же основной признак 'расширяться, растекаться, разливаться' определяет природу некоторых диалектизмов, обнаруженных на болгарской территории: софийск. *разрúдвам се* со значением 'расползаться (о ткани)' (БД II, 102), с другим вокализмом врачан. *рúда (са)*, *рúдна (са)*, *разрúдвам (са)*, *разрúда (са)* 'разлагаться, рассыпаться или размягчаться под действием воды' (БД IX, 313), ботевгр. *разрúдва са*, *разрúди са* 'распадаться под действием воды или влаги (о земле, сахаре, извести)' (БД I, 200). Этот ряд образований, семантика которых связана с действием воды, может быть дополнен с.-хорв. *rúđiti* '(объект *сыворотка, молоко*) переливать, сливать' (RJA, d. XIV, 232; Толстой² 836). Скок искал объяснения с.-хорв. слова на пути сближения с *rúđ* 'бурый, рыжий',

ruditi (Skok, t. III, 166), что едва ли оправдано, если принять во внимание болгарские диалектизмы.

Заметим, что южнославянские диалектизмы обозначают процесс разложения, распада и вообще какие-то изменения, в которых участвует вода. В момент зарождения света, солнечных лучей небо как бы находится в состоянии брожения. Сходное состояние характеризует небо, когда солнце затягивается тучами, дождевыми облаками. Небо хмурится, синеет, в народе говорят: *замолáживает*, солнышко *замолодéло*. Смысл этого глагола передают выражения, в которых глагол *замолáживать* обозначает процесс брожения (ср. квас *замолаживает*), загнивания, состояние сонливости и т. п. (СРНГ 10, 252, 253). Приведенные болгарские диалектизмы и русск. *спорыдать* имеют общий семантический признак: утрата первоначальной формы под действием воды, т. е. то, что расплывается, разливается, растекается, расплзается. С появлением христианства ослабевают связи этого глагола с древними космогоническими представлениями, в системе других культурных представлений видоизменяется семантика глагола, он становится нейтральным обозначением восходящего солнца.

Как будто бы есть все основания для сближения русск. диал. *спорыдать* и слав. **rydati*, связанного чередованием корневого вокализма с **ruditi*, (ст.-чеш. *ruditi* 'омрачать', в.-луж. *wurudzić, zrudzić* 'опечалить, огорчить', *zrudny* 'грустный, печальный, скорбный', н.-луж. *zružiš* 'омрачать'). Чередующиеся основы входят в индоевропейское гнездо, объединяющее лит. *raudà* 'плач', лтш. *raūda* 'стенание, плач', лит. *surūdau* 'я загрустил', лтш. *rūdināt* 'довести до слез', др.-инд. *rudāti* 'плачет, оплакивает', лат. *rudō, -ere* 'реветь (об осле)', др.-исл. *rauta* 'реветь' (Фасмер, т. III, 527).

Мифологические контексты, в которых употребляется глагол *спорыдать*, а также семантика болгарских диалектизмов позволяют внести уточнения в реконструкцию изначального смысла слав. **ruditi* / **rydati*. Можно думать, что в обозначениях славянскими и индоевропейскими языками состояния грусти, печали, состояния, при котором человек плачет, можно видеть результат преобразования исходного признака 'терять форму, четкие очертания, растекаться, расплзаться'. В процессе развития актуализировался сопутствующий, визуально воспринимаемый признак — слезы.

Как видим, исследование глагола в широком культурном контексте позволяет углубить семантическую реконструкцию, выявить важные семантические признаки, реконструкция которых крайне затруднена на основе собственно языкового анализа.

Литература

- Арх. сл., 8 — Архангельский областной словарь. М., 1993, вып. 8.
- Афанасьев — *А. Афанасьев*. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994, т. I, II.
- БД I — *Ст. Илчев*. Към ботевградската лексика // Българска диалектология. Проучвания и материали. София, 1962, кн. I.
- БД II — *Л. Гълъбов*. Говорът на с. Доброславци, Софийско // Българска диалектология. Проучвания и материали. София, 1965, кн. II.
- БД IX — *Хр. Хитов*. Речник на говора на с. Радовене, Врачанско // Българска диалектология. Проучвания и материали. София, 1979, кн. IX.
- Булашев 1909 — *Г. О. Булашев*. Украинский народ в своих легендах и религиозных воззрениях и верованиях. Вып. первый. Космогонические украинские народные воззрения и верования. Киев, 1909.
- Варбот 1972 — *Ж. Ж. Варбот*. К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. II // Этимология 1972. М., 1974.
- Горячева 1971 — *Т. В. Горячева*. К этимологии русского диалектного *спорядать* // Этимология 1971. М., 1973.
- Даль³ — *В. И. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. 3-е изд. СПб. 1903–1909, т. I–IV.
- Костомаров 1847 — *Н. Костомаров*. Славянские мифы. Киев, 1847.
- Мелетинский 1976 — *Е. М. Мелетинский*. Поэтика мифа. М., 1976.
- Никифоровский 1897 — *Н. Я. Никифоровский*. Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах. Витебск, 1897.
- СРНГ 10 — Словарь русских народных говоров. Л., 1974, вып. 10.
- Толстой² — Сербско-хорватско-русский словарь. Составил И. И. Толстой. Изд. 2-е. М., 1958.
- Фасмер — *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка / Перевод с нем. и доп. О. Н. Трубачева. М., 1964–1973, т. I–IV.
- Machek¹ — *V. Machek*. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957.
- RJA — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1880–1976, d. I–XXIII.
- Skok — *P. Skok*. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1971–1974, t. I–IV.
- Warsz. V — Słownik języka polskiego. Warszawa, 1912, t. V,

О роли словенского языка в Бенечии на рубеже XV–XVI вв.

К 500-летию первой словенской записи
Чернейской рукописи

Достаточно известно, что в развитии литературного словенского языка по сравнению с другими славянскими языками существует весьма продолжительная временная лакуна от Брижинских памятников (= Фрейзингские отрывки, конец X — начало XI в.) до первой печатной книги — «Катехизиса» Приможа Трубара (1550). На эту особенность истории словенского языка обратил внимание и Никита Ильич Толстой, анализируя культурные и исторические предпосылки образования национальных литературных языков на материале сербскохорватского, болгарского и словенского (Толстой 1988, 156). До этого — в 30-е гг. — на эту тему велась долгая полемика между двумя видными словенскими филологами — Франце Кидричем и Иваном Графенауером. Первый защищал тезис о полном отсутствии письменной традиции, не говоря уже о литературе, у словенцев до Трубара, в то время как второй пытался опровергнуть такие столь категоричные заявления, ср.: (Kidrič 1909/1910; Kidrič 1929/1932; Kidrič 1935; Grafenauer 1935 и др.). Еще раньше — во времена Австро-Венгерской империи ученый словенского происхождения Радич, видя крайне малое количество памятников словенского языка в период между Брижинскими памятниками и Трубаром, попытался найти свидетельства употребления словенского языка в административной сфере в Позднем средневековье (Radics 1879).

Надо признать, что количество словенских средневековых допечатных памятников, действительно, крайне ограничено. Напомним, что из этого более чем пятивекового периода до нас дошли только отдельные рукописи: 1) Рукопись из Клагенfurта или из Ратеч, 1362–1390; 2) Рукопись из Стичны, несколько фрагментов 1428–1440; 3) Рукопись из Краня, около 1440 или позже, оригинал которой утерян; 4) Рукопись из Удине, 1458; 5) Рукопись из Шкофье Локи, 1466; 6) Старогорская рукопись, 1492–1498; 7) Чернейская рукопись, первая словенская запись которой да-

тирована 1497 г.; 8) Рукопись Ауэрсперга, оригинал которой потерян, и 9) так называемый «Набросок проповеди» конца XV в. Кроме этого имеются различные глоссы, записи словенских имен собственных на полях Евангелий, словенские интерполяции в немецкоязычных текстах, т. е., данные, которые нельзя считать полноценными памятниками средневекового словенского языка.

Если к тому же учитывать, что из вышеприведенных девяти рукописей две (№ 3 и 8) утеряны, две представляют собой записи лишь немногих отдельных слов (№ 4 — нескольких числительных, № 5 — названий месяцев), а еще две (№ 1 и 6) являются переводом *Pater noster, Ave Maria, Credo*, то нельзя не признать, что материал, которым мы располагаем, действительно, весьма скуден.

Тем не менее, одна из рукописей, а именно — Чернейская (далее ЧР), несмотря на свое, как кажется, мало интересное и довольно однообразное содержание (записи пожертвований прихожан церкви Св. Марии в деревне Чернея — слов. *Černjeja*; ит. *Cergneu* в долине реки Торре, недалеко от итальянских Удине и Чивидале), позволяет сделать некоторые заключения, которые, быть может, заставят пересмотреть отдельные положения, связанные с ролью и употреблением словенского в Средневековье, по крайней мере, в так называемой Венецианской Словении — Бенечии (слов. *Venečija*), в областях к северу от Триеста и к востоку от Удине.

В данный момент ЧР хранится в Национальном археологическом музее Чивидале дель Фриули (провинция Удине, северо-восточная Италия). Его официальное, хотя и не очень корректное название — «Anniversario di Legati latino-italiano-slavo della confraternità di S. Maria di Cergneu. Codice n° CXLIV». ЧР представляет собой рукописную книжечку (16 исписанных с обеих сторон листов), содержащую записи о пожертвованиях жителей окрестных деревень братству и церкви Св. Марии в Чернее. Сначала все записи ведутся по-латыни, затем и на локальном варианте итальянского языка. В конце первой половины книжечки появляется латинская запись (№ 41, всего же их — 102), сообщающая, что в 1497 г. нотариус Йоханнес с Веглы (очевидно, остров Крк, ср. ит. *Veglia*) приступает к переводу на славянский (т. е., словенский язык, *lingua sclabonica*) предыдущих латинских фрагментов¹. По всей видимости, Йоханнес сделал 25 коротких записей, остальные сделаны позже другими двенадцатью или тринадцатью писцами. Каждая запись имеет длину 3–5 строк; содержание этих записей всегда достаточно стандартное: такой-то (или такая-то) из такой-то

деревни оставил братству Св. Марии в Чернее нечто (деньги, пшеницу, вино) с тем, чтобы за его душу и за души его умерших проводилось ежегодно определенное количество молебнов. Несмотря на стандартность этих записей, они предоставляют богатый топонимический и антропонимический материал и имеют немалую ценность как для изучения истории словенского языка, так и для интерпретации его функциональной роли в конце XV — начале XVI века в Венеции.

Первая частичная публикация и анализ языка ЧР были осуществлены в 1891–1892 гг. Ватрославом Облаком (Oblak 1891/1892). Облак публикует только словенские фрагменты рукописи, причем довольно неудачно дает наполовину расшифрованный вариант, не воспроизводя в точности оригинала. Свое издание Облак сопровождает несколько сумбурным по композиции, но достаточно подробным и точным комментарием орфографии, фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики рукописи.

В том же 1892 г. в журнале «Ljubljanski zvon» из-под пера видного слависта Карела Штрекеля выходит рецензия-комментарий публикации Облака (Štrekelj 1892). Штрекель высоко оценивает проведенную Облаком работу, что, впрочем, не мешает ему сделать несколько дополнений и уточнений. Особенно важны уточнения Штрекеля, касающиеся локализации приводимых в ЧР топонимов. Основной пафос лингвистического комментария Облака заключался в утверждении, что язык ЧР испытал сильное влияние чакавского диалекта хорватского (не следует забывать, что автор первых 25 фрагментов был родом из хорватскоязычной области). Штрекель приводит аргументы, которые должны опровергнуть тезис о чакавском влиянии. Предполагаемые чакавизмы вполне могут быть объяснены и как внутрисловенские диалектные явления. В то же время нельзя не отметить, что Штрекель имел перед собой только текст частичной публикации Облака без латинских и итальянских фрагментов, поэтому многие его замечания неточны, ибо они опровергаются именно латинским или итальянским текстом.

Образцовым во многом и по сегодняшним филологическим критериям можно считать издание ЧР Бодуэна де Куртенэ «Латинско-итальянско-славянский поминальник XIV и XV столетия, составленный в области терских славян» (Бодуэн де Куртенэ 1906)². Бодуэн публикует оригинал памятника и прилагает к нему свою транскрипционную расшифровку (гораздо более точную, чем публикация Облака) и в отдельной брошюрке — фотографии ЧМ. В планы ученого входило и написание комментария, составление

словарика и под., но, как сообщает позднее Корньялли, переписывавшийся с Бодуэном, все подготовительные материалы были потеряны в конце Первой мировой войны (Corgnalli 1954).

Бодуэн очень точно скопировал оригинал и, помимо этого, установил соответствия латинских и итальянских фрагментов словенским (лишь в двух случаях его определения соответствий оказываются неточными).

После публикации Бодуэна ЧР занимались очень мало. Обычно ее просто включали в списки других словенских рукописей допечатного периода или в энциклопедические статьи. В 1989 г. итальянская исследовательница Ф. Ферлуга-Петронио написала короткую статью о ЧР, частично повторив заключения, уже сделанные Облаком, и, помимо этого, найдя две неточности (одну — правильно, другую — нет) в определении латинско-словенских и итальянско-словенских соответствий у Бодуэна (Ferluga-Petronio 1989).

В 1972 г. Й. Погачник публикует отрывки ЧР в хрестоматии средневековой словенской литературы (Pogačnik 1972), в 1978 г. о развитии словенского языка в Венеции с упоминанием ЧР пишут П. Мерку (Merkù 1978) и Б. Погорелец (Pogorelec 1978).

В 1997 г. нами был вновь опубликован текст ЧР с некоторыми поправками по сравнению с изданием Бодуэна (Mikhailov 1997). В приложении к данной статье мы повторяем текст этой последней публикации ЧР с расшифровкой.

Не ставя перед собой в качестве цели лингвистический комментарий ЧР (это — тема другой, параллельно ведущейся работы), мы хотели бы подчеркнуть значение ЧР для истории словенского языка. Роль этой рукописи была явно недооценена. Стандартность ее содержания и его как бы «неинтересность» уже а priori отворачивали от нее исследователей. Название рукописи повторялось по инерции в списках средневековых словенских документов, однако без какого-либо более подробного ее описания. Такое поверхностное отношение к этому документу привело к тому, что в трудах весьма авторитетных ученых ЧР определяется как «краткая» запись и ставится в один ряд с рукописью из Удине, содержащей несколько слов, тогда как ЧР является самой длинной из всех известных нам рукописей между Брижинскими памятниками и «Катехизисом» Трубара.

После публикации и изучения текста ЧР и его сравнения с другими рукописями можно сделать следующие заключения, касающиеся положения словенского языка в Венеции в момент составления ЧР:

1) Возникновение и наличие ЧР доказывает существование в Венеции полуофициального двуязычия в быту и трехязычия в церковно-административной сфере. Перевод, пересказ или даже непосредственное составление определенных документов по-словенски было, очевидно, вполне обычным явлением, что и подтверждает латинский фрагмент 41 (см. примеч. 1). «Нормальность» употребления словенского языка для составления документов подтверждается и «преемственным характером» записей ЧР, сделанных на протяжении нескольких лет разными писцами. Следовательно, речь идет не об одном нотариусе Йоханнесе, энтузиасте-«словенофиле», а о целом ряде грамотных людей, бывших в состоянии вести записи по-словенски. Если при этом не исключать достаточно правомерной гипотезы, что для этих писцов или, по крайней мере, для некоторых из них словенский язык не был родным (родным же мог быть итальянский, фриульский или даже хорватский), то уже само то, что они должны были делать записи и по-словенски, говорит об особой роли этого языка в Венеции XIV–XV веков³.

2) Существование ЧР позволяет говорить о достаточно высоком уровне развития «административного словенского» с определенными стандартными формулами и бюрократически-канцелярскими выражениями.

3) Композиция фрагментов ЧР позволяет говорить о возрастающей роли словенского, начинавшего в определенный период вытеснять латинский и итальянский. Интересно отметить, что при сравнении всех частей ЧР выявляются только латинско-словенские или итальянско-словенские соответствия (латинско-итальянских переводов нет). Кроме того, есть целый ряд только словенских «непереведенных» = «непересказанных» записей. Весьма показательна и то, что словенский вытесняет из употребления официальный язык католической церкви — латинский. С одной стороны, понятно, что это вызвано естественной необходимостью — преобладанием словенскоязычного населения в этой части Венеции, с другой стороны, значимо, что замена латыни словенским была официально допущена, поскольку это позволяет предполагать существование особых распоряжений, закрепляющих официальный статус словенского языка в этих частях Венеции.

Если вспомнить, что примерно в этих же местах и примерно в это же время были созданы Старогорская рукопись и Рукопись из Удине и что во многих латинских и итальянских церковных записях того времени встречаются многочисленные словенские антропонимические и топонимические интерполяции,

ср.: (Zuanella 1996), то нельзя не признать, что словенский язык в Венеции на рубеже XV–XVI вв. обладал особым статусом и был в широком употреблении в разных сферах повседневной жизни.

Приложение

В качестве приложения публикуются словенские фрагменты ЧР с их расшифровкой. Публикация словенского текста ЧР с критическим аппаратом была осуществлена нами в Mikhaïlov 1997, 125–145; более подробное комментированное издание рукописи готовится к печати в рамках нашей работы по исследованию словенских рукописей при Лейденском университете (Нидерланды). Здесь нами исправлены досадные опечатки, вкравшиеся в издание 1997 г. Первая арабская цифра относится к нумерации только словенских фрагментов, вторая арабская цифра в скобках указывает порядковый номер фрагмента внутри всей ЧР.

- 1 (42). Fufcha fprofenicha jeft oftauila jfin fuoj michel
flatich iedanaiſt Bratine sfete marie ſzergneu
dafe ima ftuoriti ffacho leto ſa gnich duſ maf
duj

Fuska s Prosenika jest ostavila i sin svoj Mihel/Mikel
zlatih jedanaſt Bratine sfete Marie s Černjeu
da se una stvoriti fsako leto za njih duš maš
dvi

- 2 (43). lenard ibcatris fteipana fu oftauilj bratine ffete marie
ſzergneu fita iedan ſtai ffenize ij jedan cunz
vina ſa gnich dus dafe ima stuoriti fsacho leto
mas duj

Lenard i Beatris s Tejpna su ostavili bratine sfete Marie
s Černjev fita jedan star pšenice i jedan kunc
vina za njih duš da se ima stvoriti fsako leto
maš dvi

- 3 (44). Suuan pochoiniga lenarda ſzergneo jeft oftauil Ba
tine sfete marie ſzergneu ſaffoiu dufu fita
solad trideſat ino dua da fe ima ftuor^{ti} ffacho
leto jednu mašu

Žvan pokojniga Lenarda s Černjev jest ostavil Bratine
sfete Marie s Černjev za sfoju dušu fita
solad tridesat ino dva da se ima stvoriti fsako
leto jednu mašu

- 4 (45). Suuan pochoiniga řuogna řzergneu jest oftauil Ba
tine řfete marie řzergneu marach zeternaiřt
řchich marach jest cuplegno dua řtara pšefnize
řtim patom da ře jma řtuoriti řřacho leto duj maře řa řfoiu duřu.

Řvan pokojniga P[er]vonja s Černjev jest ostavil Bratine
řfete Marie s Černjev marak četernajřt
s kih marak jest kuplenjo dva řtara pšenice
s tim patom da ře ima řtvoriti řřako leto dvi maře za řfoju duřu

- 5 (46). Michela Rainicha marina řzergneu jest oftauilia iednu
semglu řa řfoiu duřu bratine řfete marie řzergneu
da ře jima řtuoriti řřacho leto jednu mařfu.

Mikela rajnika Marina s Černjev jest ostavila jednu
zemlju za řfoju duřu bratine řfete Marie s Černjev
da ře jima řtvoriti řřako leto jednu mařu

- 6 (47). Miclau Rainicha paula řzergneu jest oftauil bratine řfete
marie řzergneu. jedno dobro řacho dobro ře plazia
řitta bratine řolad. trideřet ino dua da ře jima řtuoriti
řřacho leto jednu mařfu řa řfoiu duřu.

Miklav Rainika Pavla s Černjev jest ostavil bratine řfete
Marie s Černjev jedno dobro za ko dobro ře plaća
řita bratine řolad trideset ino dva da ře (j)ima řtvoriti
řřako leto jednu mařu za řfoju duřu

- 7 (48). Maur iřtephana gne gořpodigna řu oftauilj bratine
řfete marie řlatich duaniřt řchih řlatich iest
cuplegno řita bratine řfete marie iedan řtar
pšefnize da ře jma řtuoriti iednu mařfu řřacho
leto řa řfoiu duřu.

Mavr i řtefana nje gořpodinja řu ostavili bratine
řfete Marie zlatih dvanist s kih zlatih jest
cuplegno řita bratine řfete Marie jedan řtar
pšen[i]lice da ře ima řtvoriti jednu mařu řřako
leto za řfoju duřu

- 8 (49). Simon chugnexa Rainicha daniela řnugarola
iest oftauil bratine řfete marie řzergneu
řa řfoiu duřu iednu gniuu řa gniuua plaga řitta
bratine řolad ofamnaiřt da ře jma řtuoriti
řacho leto iednu mařfu řa řfoiu duřu.

Simon Kunježa (?) rajnika Daniela z Nugarola
jest ostavil bratine řfete Marie s Černjev

za sfoju dušu jednu njivu ka njiva plača fita
bratine solad osamnaist da se ima stvoriti
sako leto jednu mašu za sfoju dušu.

- 9 (50). Petar Rainicha maura ifubita jeft oftauil Ba
tine sfete marie jeft treti del jednoga masa
vmeſti chiſe elize vpechol daſe jma ſtuoriti
ffacho letto ſa ſfoiu duſu jednu^{duj} maſſe.

Petar rajnika Mavra is Subita jest ostavil bratine
sfete Marie treti del jednoga masa
v mesti ki se kliče v Pekol da se ima stvoriti
fsako leto za sfoju dušu dvi maše.

- 10 (51). Daniel dorbiſin Rainicha domeniza jeft oftauil Ba
tine sfete marie flatich duanaiſt ſachich
flatich ieſt cupleſj bratine fita iedan star
pſenize da ſe ima ſtuoriti ſacho letto ſa
ffoiu duſu iednu maſſu.

Daniel Dorbišin rajnika Domeniža/Domeniga jest ostavil bratine
sfete Marie zlatih dvanaiſt za kih
zlatih jest kuplenj bratine fita jedan star
pšenice daſe ima stvoriti sako leto za
sfoju dušu jednu mašu.

- 11 (52). Simon Rainicha marina ſeras ieft oftauil bratine
ffete marie iednu ſemglu cu ſemglu plaga fitta
bratine pol cunza vina da ſe ima ſtuoriti iednu
maſſu ſa ſfoiu duſu

Simon rajnika Marina s Kras jest ostavil bratine
sfete Marie jednu zemlju ku zemlju plača fita
bratine pol kunca vina da se ima stvoriti jednu
mašu za sfoju dušu

- 12 (53). Juraij plaſigora ſproſenicha jeft oftauil Batine sfete marie
fitta iedan ſtar pſenize. iiedan cunz vina daſe ima
ſtuoriti ffacho letto duj maſſ ſa ſfoiu duſu.

Juraj Plazigora/Plaſigora/Plazigoja/Plaſigoja s Prosenika jest
ostavil bratine sfete Marie
fita jedan star pšenice jedan kunc vina daſe ima
stvoriti fsako leto dvi maš za sfoju dušu.

- 13 (54). Menia Rainicha michella candid ſcherniza
ieft oftauilla bratine sfete marie ſzergneu fitta
iedan cunz vina daſe ima ſtuoriti ffacho letto iednu
maſſu ſa ſfoiu duſu.

Menia rajnika Mihela/Mikela Kandit s Černica
jest ostavila bratine sfete marie s Černjev fita
jedan kunc vina da se ima stvoriti fsako leto jednu
mašu za sfoju dušu.

- 14 (55). Jure tufa Rainicha michella tufa fngarola iest oftauil
bratine sfete marie fzergneu flatich zeternaist fachich
flatich iest cupleŋ iedaŋ^o fit^o dobro bratine daffe ima
stvoriti duj maf ffacho letto fa ffoiu dufu.

Jure Tuša rajnika Mikela/Mihela Tuša s Nugarola iest ostavil
bratine sfete Marie s Černjev zlatih četernaist za kih
zlatih jest kuplenj jedno dobro bratine da se ima
stvoriti dvi maš fsako leto za sfoju dušu.

- 15 (56). Margareta Rainicha blafa fplatiŋgia iest oftauila bratine
sfete marie flatich trj. da se ima stvoriti iednu
maffu fa ffoiu dufu.

Margareta rajnika Blaža s Platišča jest ostavila bratine
sfete marie zlatih tri da se ima stvoriti jednu
mašu za sfoju dušu.

- 16 (57). Lourenz fin lenarda fuiŋfonta jest oftauil bratine
sfete marie flatich dua daffe ima stvoriti
jednu maffu fa ffoiu dufu.

- E. Lovrenc sin Lenarda z Vizonta jest ostavil bratine
sfete Marie zlatih dva da se ima stvoriti
jednu mašu za sfoju dušu.

- 17 (58). Brigida goŋpodigna thomina jest oftauilla bratine
sfete marie. fitta jedan star pŋenize daffe jma
stvoriti iednu maffu fa ffoiu dufu. ffacho letto

Brigida goŋpodinja Tomina jest ostavila bratine
sfete Marie fita jedan star pŋenice da se ima
stvoriti jednu mašu za sfoju dušu fsako leto

- 18 (59). Suuaŋ Bobera _____ iest oftauil bratine sfete
marie fzergneu fitta iedaŋ star pŋenize ipol cunz vina
verch jednu ŋemglu postauglena unim umeŋti chife
clige jn crep daffe jma stvoriti iednu maffu fa ffoiu
dufu.

Žvanj Bobera... jest ostavil bratine sfete
Marie s Černjev fita jedan star pŋenice i pol cunc vina
verh jednu zemlju postavljena v/v nim mesti ki se
kliče in Krep da se ima stvoriti jednu mašu za sfoiu
dušu

- 19 (60). Machor steipana jeft oftauil bratine ffete marie fitta pol cunz vina verch jedan baiar3 vnimj-vmesti chife clige fot zenta da se ima ftuoriti iednu maffu fa ffoiu dufu

Mahor s Tejpna jest ostavil bratine sfete marie fita pol kunc vina verch jedan baiarc v/v nimi mesti ki se cliče sot Čenta da se ima stvoriti jednu mašu za sfoju dušu

- 20 (61). Jacob. fin tonicha ženarola fzergneu ieft oftauil bratine ffete marie fitta iednu quartu pšenize dase ima ftuoriti iednu maffu fa ffoiu dufu.

Jakob sin Tonika Ženarola s Černjev jest ostavil bratine sfete Marie fita jednu kvartu pšenice da se ima stvoriti jednu mašu za sfoju dušu

- 21 (62). Caterina ufluseura jeft oftauilla bratine fffete marie marie flatich pet daffe jima ftuoriti iednu maffu fa ffoiu dufu.

Katerina iz Luzevra jest ostavila bratine ssfete Marie Marie zlatih pet da se ima stvoriti jednu mašu za sfoju dušu.

- 22 (63). Thomafina Rainicha petra iffubita ieft oftavilla bratine fitta. iednu quartu pšenize daffe ima ftuoriti iednu maffu fa ffoiu dufu

Tomazina/Tomažina rajnika Petra iz Subita jest ostavila bratine fita jednu kvartu pšenice da se ima stvoriti jednu mašu fa sfoju dušu

- 23 (64). Pašcula Rainicha coza fuifonta ieft oftauilla bratine fitta iednu quartu pšenize dase ima ftuoriti iednu maffu fsacho letto fa ffoiu dufu.

Paskula rajnika Koca z Vizonta jest ostavila bratine fita jednu kvartu pšenice da se ima stvoriti jednu mašu fsako leto za sfoju dušu.

- 24 (65). Gnexa stephana go splatišga gofpodizna. jeft oftauilla Batine ffete marie iedno telletto ___ se gima mašiti iedna mafa od choga teleta jeft plod chi ga kcuplimena.

Nješa Stefana s Platišča gospodinja jest ostavila bratine sfete Marie jedno teletto... se jima mašiti jedna maša od koga teleta jest plod ki ga kcuplimena.

- 25 (66). Menia gospodigna mora if luseura iest ostauilla Ba
tine ffete marie fitta solad offam fa sfoiu dufu

Menia gospodinja Mora iz Luzevra jest ostavila bratine
sfete Marije fita solad osam za sfoju dušu

1502 adi 21 de' zenaro

- 26 (67). Menia matj rainicha grigura blafuta jfcorfe
jest hostauilla bratignj fuete marie
ifcergna fgorigna. jedan star pfenice
fagne mirtuich dufu. fo uim patom da
fe jgma storitj duj mafe fagne dufu

Menia mati rajnika Grigura Blažuta iz Korse
jest ostavila bratini svete Marie
iz Černja z Gorinja jedan star pšenice
za nje mirtvih dušu z ovim patom da
se (j)ima storiti dvi maše za nje dušu

M dxj die 22 m̃f January

- 27 (68). Stp^oho de mont⁹ minorj iest ostauil bratie ffete marie
fzergneua fita iidan star pfenize fa suoio dufo
fem patom da bratjna sfacho leto imez storit
storit mafe (2) fa gnegouo dufo ignegouech
mertuech > *J

Stefa[no] de Monte minori jest ostavil bratie sfete Marie
s Černjeva fita jidan star pšenice za svojo dušo
s tem patom da bratjna sfako leto imej storit
storit maše 2 za njegovo dušo i njegovih
mertveh

- 28 (69). Menia cha bi subita i ift ostauilla ... ducat 5.
b s. m. iffuetega iacoua da chamarar
imij fuoriti mifu ednu

Menia ka bi [s] Subita jist ostavila dukat 5
b s. m. i fvetega Jakova da kamarar
imij s[t]voriti mišu ednu

- 29 (70). Matia jmenia gnega gospodigna jest ostauilla
pol cunza vina blafenomu fuetomu Jacomu
Scergneui chaieft fradai fuete marie
dase Jima delati dui mafi fuacho Leto

Matia i Menia njega gospodigna jest ostavila
pol kunca vina blaženomu svetomu Jakomu
s Černjevi ka jest fradai svete Marie
da se ima delati dvi maši svako leto.

- 30 (72). blas fpalatisch rainicha matie sbrgona oftaui **b. f. m. f.** iachoua
duchat defet uꝑlati dase imii ftuoriti edna mjsa **s 1** —

Blaž s Palatišč rajnika Matie z Brgona ostavi **b. s. m. s.** Jakova
dukat deset v zlati da se imij stvoriti edna miša **s. 1**

- 31 (73). maria čha **ftu muer** bi sena matia scarminis hostau **b f. m.**
S. ichoua dachamarar imii ftuorit ednu misu
safuoiu dusu imiite imit **q** ednu pfenice —

Maria ka bi žena Matia s Karminis ostavi **b. s. m.**
s. I[a]kova da kamarar imij stvorit ednu mišu
za svoju dušu imijte imit **q** ednu pšenice

- 32 (74). menia mati grgura blařuta soscorusua hořtaui **b f. m. f.**
iacoua řhrnela sridnega edan řtar pšenice řtī patō da
imite ftuoriti mise dui řa řuoi dusu.

Menia mati Grgura Blařuta s Oskoruřuja ostavi **b. s. m. s.**
Jakova s řrnela sridnega edan star pšenice s ti[m] pato[m] da
imite stvoriti miře dvi za svoi dušu.

- 33 (75). Sabina gořpodina Rainicha blařa řplatiřich hořtaui **b, s. m. s.**
ićoua
řtī patō dase imii řturit edna miřa adaimaju imit
pol stara pšenice ř chacose udrři řada uipjsmj

Sabina gořpodina rajnika Blařa s Platišč ostavi **b. s. m. s.**
J[a]kova
s tim patom da se imij sturit edna miša a da imaju imit
pol stara pšenice kako se udrži sada v pismi

- 34 (76). menia čha bi čhči **ř** mari hořtaui **b. s. m. s.** ichoua
ča ē ednu marchu řtī patō dase čhupi edā liuel
ča ē řařoldi 9 daise řtuori edna misa
řafuoiu dusu —

Menia ka bi hči [de] Mari[n] ostavi **b. s. m. s.** **J[a]kova**
ka e ednu marku s ti[m] pato[m] da se kupi eda[n] livel
ka e za soldi 9 da [j]i se stvori edna miša
za svoju dušu

- 35 (77). čhatarina rainica iuřta sena blařa subita hořtaui **b**
s. m. s. iacoua ednu **q** pšenice řa řuoi dusu
iřafuoich mrtuich ednu misu

Katarina rajnika Justa žena Blařa [s] Subita ostavi **b.**
s. m. s. Jakova ednu **q** pšenice za svoju dušu
i za svojih mrtvih ednu mišu

- 36 (78). Marin Scotar ^{ranich} est hoftauil B. f. m. scrnela
ednu ę. pšenice damu ftuore misu ..i

Marin Skotar ra[j]nik est ostavil B. s. m. s Črnela
ednu ę. pšenice da mu stvore mišu 1

- 37 (79). Gregor uafzco: et Cotiā gnega b^{fat}at iftaipana so oblubili
iena quarta pfenice bratine ffeti marie Cernieuo
na niega malin imαιο na Cornap. dafe ima mafiti facho
leto Jedno mafa: fa rainicha iuri gnega ocjia et fa
gnega mertui dufa : -

Gregor Vaško et Kotijan njega brat iz Tajpana so oblubili
jena kvarta pšenice bratine sfeti Marie Černjevo
na njega malin imajo na Kornap da se ima mašiti sako
leto jedno maša: za rajnika Juri njega oča et za
njega mertvi duša

- 38 (80). Luca rainicha gregor iftaipana ie oblubil bratine ffeti
marie Cernieuo iena quarta pfenice na niega Cifce
e praude ofse, dafe ima mafiti iena mafa sagnega
mertui dufa : —

Luka rajnika Gregor iz Tajpana je oblubil bratine sfeti
Marie Černjevo jena kvarta pšenice na njega hiše
e pravde vse da se ima mašiti jena maša za nega
mertvi duša

- 39 (81). Gregor iftomic, et Catarina gne gofpodigna iftaipana so
oblubili Bratine ffeti Marie Cernieuo iena quarta
pfenice na ofse gniega blaga: dafe ima mafiti
iena mafu fangiega mertuj dufu : —

Gregor iz Tomic et Katarina nje gospodinja iz Tajpana so
oblubili bratine ffeti Marie Černjevo jena kvarta
pšenice na vse njega blaga da se ima mašiti
iena mašu za njega mertvi dušu

- 40 (82). Criſtan ^{itomas} y iftaipana lunardoui/sini ie oblubil Bratine ffeti
marie Cernieuo na õffe gniega blago iena quarta
pfenice da se ima mafiti iena mafu na leto, fa
gniega mertuj dufu : — —

Kristan i Tomaš is Tajpana Lunardovi sini je oblubil bratine

sfeti

Marie Černjevo na vs(s)e njega blago jena kvarta
pšenice da se ima mašiti jena mašu na leto za
njega mertvi dušu

- 41 (83). Juā rainicha michilī: et iusto flocar so dali: et cōtadi flati
pet cotoui Bratine ffeti marie Cernieuo: da fe ima Cupiti
iedna quarta pſenice; ter fe ima mafiti iedna mafu
facho leto fagneigna mertui dufu:
Žvan (?) rajnika Mikilin et Justo Flokar so dali et kontadi zlati
pet gotovi bratine sfeti Marie Černjevo da se ima kupiti
jedna kvarta pšenice ter se ima mašiti jedna mašu
sako leto za nje(i)nja mertvi dušu
- 42 (84). Benedet ex Carniza rainicha blaſ: et no margareta gnega
goſpodina so oblubili Bratine ffeti marie Cernieuo ofe
gnega blago ſtabel, et no mobil sa iedna quarta pſenice
da fe ima frâchati ſpet flati: ter se ima mafiti fagne, et
no goſpodina iedna mafu facho leto
Benedet eks Karnica rajnika Blaž et no Margareta njega
gospodina so oblubili bratine sfeti Marie Černjevo vse
njega blago stabel, et no mobil za jedna kvarta pšenice
da se ima fra[n]kati s pet zlati: ter se ima mašiti za nje, et
no gospodina iedna mašu sako leto
- 43 (88). Marin de Luxeura jnegoua fena foscha ca bila
chgi criſtana od ſubita oſtauilaie ona jgne muſ
ducatou pet fa chi fe cupil jedan fit pol ſtara pſenice
ſtim patom da chamarar gima delati ffacholetou
jednu mafu
Marin de Lukseura i njegova žena Foska ka bila
hči Kristana od Subita ostavila je ona i nje muž
dukatov pet za ki se kupil jedan fit pol stara pšenice
s tim patom da kamarar jima delati ſsako leto
jednu mašu
- 44 (89). Joāna goſpodigna mathia d Val d mōtana oſtauila libar
dua deffet ioffā dinari cōtani ſtīpatō da fe ima
delati faco leto iednu mafu fa gne duffu.
Joa[n]na goſpodinja Matia d[e] Val d[e] Mo[n]tana oetavila libar
dva deset i osa[m] dinari ko[n]tani s ti[m] pato[m] da se ima
delati sako leto jednu mašu za nje dušu.
- 45 (90). ſufana q i paulin rainicka paulina goſpodina ſcernea
ie puſtila fradli Suede marie uczernei iedno quarto
pſchenitzē / da ufaco leto jmaſe reczhi iedna maſcha
za ne duſchu itaim p̄fto:
Suzana rajnika Pavlina goſpodina s Černea
je puſtila fradli Svete Marie v Černei jedno kvarto

pšenice da vsako leto ima se reči jedna maša
za nje dušu [s] taim patom:

- 46 (91). *ftiphā ticognā fplafstigha ki ie ftal uczernei puftilie bratij fetē*
uczrenei iedno quarto, pſcheniczge uetz nim zakonom za fuoiu
duſchu
. fuoich Mērtui, / daſi ima reczhi fuako leto. iedna maſcha
za nich

Stifan Tikonja s Platišča ki je stal v Černei pustil je bratii
s(v)ete Marie
v Čreneji jedno kvarto pšenice večnim zakonom za svoju dušu
svoih Mertvi da si ima reči svako leto jedna maša
za nih

- 47 (92). Dona Crifna žena rainika laurūtza iſ-proſenika ie puftila bratij
ali fratali Sute marie uczerneuli iednu quartu pſcheniczge
daimaiu delati fuako leto za ge duſchu. 2. maſchi
fuaku maſchu za Soldini. 7. a za viliia f i

- 48 (93). Mihel & gaſpar ſcernie Brati fu oſtauili gedan
ſtar pſenice bratgeni sute marie jedan
cunc vina ſa boga gime pred gnegoui
mertui duſu ſtim patom da gimagu
delati ſfaho leto maſe cetire

Mihel & Gašpar s Černie brati su ostavili jedan
star pšenice bratjeni svete Marie jedan
kunc vina za boga jime pred njegovi
mertvi dušu s tim patom da jimaju
delati ſsako leto maše četire

- 49 (94). Marina Rainiza goſpadina ſtiephana ticogna je oſtauila jednu
quartu pſenizu verchi
jenoga bena vergchoga plachia malagnina d nimif
Bratine ſfete marie ſcergnea p ſuoi duſſu ſtinpatō
da ſe jma delati jednu maſſu ſacho leto

Marina rajnica gospadina Stiefana Tikonja je ostavila jednu
kvartu pšenicu verhi
jenoga bena verh koga plača Malanjina de Nimis
Bratine sfete Marie s Černjea pro (?) svoi dušu s tin pato(m)
da se ima delati jednu mašu sako leto

- 50 (95). *ſtiephā ſdobia ſtagonichg d pecol je oſtauil jenu ga volighia*
chie pđan duarede id nie ^{lib} ~ ſtin patō daima camerar o _
fradaie

delati facho leto jetd^nu maffu fa gne ga duffu fegna
ge morti

Stiefan z Dobia Stažonik d Pekol je ostavil jenuga voliča
k[i] je p[re]dan dvarede id nje lib[re] s tin pato[m] da ima
kamerar o... fradaie

delati sako leto jednu mašu za njega dušu ze nja
ge morti

- 51 (96). Rainich michel zuffin fbreſia ie oſtauil fradaiu deuce
marie ſchiergneu fuercu meioramêti ch fu na carniz̄a
_____ iednu quartu pſenize... ie pol cōz vina ſtin
paton daima delati faco leto duie maffe cereſ
gnigouo duffu

Rajnik Mihel Čušin z Brezja je ostavil fradaju device
Marie s Černjev zverhu mejorame[n]ti k[i] su na Karnica
... jednu kvartu pšenice ... i pol ko[n]c vina s tin
paton da ima delati sako leto dvie maše čeres
njigovo dušu

- 52 (97). Matia degan jnegoua goſpodigna Menia
Su oſtauili pol ſtara pſenice jno pol
cunza vina Al fradagi Sute
marie cergneu ſtim patom daſe
gima delati fſaco leto dui maſe fa
gnega duſu

Matia degan i njegova goſpodinja Menia
su ostavili pol stara pšenice ino pol
kunca vina Al fradaji svete
Marie Černjev s tim patom da se
jima delati ſsako leto dvi maše za
njega dušu

- ¹ Ср.: «In Christi nomine amen. Anno nativitatis ejusdem millesimo quadrigentesimo nonagesimo septimo, indicione quintadecima, die vero vigesimo tertio januarii, ego, Johannes civis Vegle, quondam Nicolai de Vegle, publicus Imperiali auctoritate notarius, rogatus a provido viro Dominico quondam Bergosna (? Bregosna, ? Brgosna) de Zergneo, infrascripta anniversaria translatavi de latino in lingua sclabonica, ut infra videtur» (разрядка наша. — *Н. М.*).
- ² О Бодуэне — исследователе словенского, см., в частности: (Толстой 1960).
- ³ На основании латинской записи 85 нам удалось с достаточной степенью вероятности установить и предполагаемого автора словенских фрагментов 37 (79) — 42 (84). Это — нотариус Bartolomeus de Nimis, ср. № 85: «...Constat instrumentum emptionis dicti livelli dimidii starii frumenti et donationis, factae per dictum Michaellem ipsi fraternitati manu mei, Bartholomei Nimis, notarii, sub millesimo quingentesimo decimo nono indicione septima, die vero mensis decimo septimo mensis maji; quod livellum dictus Michael dixit dedisse et donasse ipsi fraternitati pro suprascriptis ducatis quinque, scriptis in lingua sclabonica, alias legatis per quondam praedictum Benedictum, ejus patrem (? parentem), ipsi fraternitati pro emendo unum livellum dimidii starii frumenti» (разрядка наша. — *Н. М.*).

Литература

- Бодуэн де Куртенэ 1906 — *И. А. Бодуэн де Куртенэ*. Латинско-итальянско-славянский поминальник XIV и XV столетия, составленный в области терских славян, 1 + Приложение. СПб., 1906.
- Толстой 1960 — *Н. И. Толстой*. О работе И. А. Бодуэна де Куртенэ по словенскому языку // *И. А. Бодуэн де Куртенэ: (К 30-летию со дня смерти)*, М., 1960, с. 67–81.
- Толстой 1988 — *Н. И. Толстой*. История и структура славянских литературных языков. М., 1988.
- Corgnalli 1954 — *G. B. Corgnalli*. Popravki k pominal'niku B. de Courtenayja // *Slavistična revija*, V–VII, 1954, s. 353–354, 439.
- Ferluga-Petronio 1989 — *F. Ferluga-Petronio*. Ob primerjanju latinskih, italijanskih in slovenskih besedil v černejem rokopisu // *Obdobja 10. Obdobje srednjega veka v slovenskem jeziku, knjizevnosti in kulturi*. Ljubljana, 1989, s. 245–250.
- Grafenauer 1935 — *I. Grafenauer*. Povzetek h Kidričevim glosam «Stoletja beležk brez literarne tradicije v slovenski literarni zgodovini» // *Dom in Svet*, 48, 1935, s. 359–560.
- Kidrič 1909/1910 — *F. Kidrič*. Pomote in potvore za razne potrebe // *Naši zapiski*, 1909/1910, s. 121–126.
- Kidrič 1929/1932 — *F. Kidrič*. Zgodovina slovenskega slovstva, 1. snopič. Ljubljana, 1929; 2. Auflage. Ljubljana, 1932.

- Kidrič 1935 — *F. Kidrič*. Stoletja beležk brez literarne tradicije v slovenski literarni zgodovini // Ljubljanski zvon, 55, 1935, s. 289–295.
- Merkù 1978 — *P. Merkù*. Slovenski rokopisi Beneške Slovenije v preteklih stoletjih // Govor, jezik in besedno ustvarjanje v Beneški Sloveniji. Špeter Slovenov; Trst, 1978, s. 81–92.
- Mikhailov 1997 — *N. Mikhailov*. I monumenti linguistici sloveni dell' «epoca dei manoscritti». Lingua e letteratura slovena dai Monumenti di Frisinga a P. Trubar con una nuova edizione del Manoscritto di Cergneu // Studi slavi. Pisa, 1997, № 6.
- Oblak 1891/1892 — *V. Oblak*. Das erste datierte slowenische Sprachdenkmal // Archiv für slavische Philologie, XIV, 1891/1892, S. 192–235.
- Pogačnik 1972 — *J. Pogačnik* (urednik). Srednjeveško slovstvo. Izbrano delo. Ljubljana, 1972.
- Pogorelec 1978 — *B. Pogorelec*. Slovenski knjižni jezik v Beneški Sloveniji // Govor, jezik in besedno ustvarjanje v Beneški Sloveniji. Špeter Slovenov; Trst, 1978, s. 93–118.
- Radics 1879 — *P. Radics*. Slovenščina v besedi in pismu // Letopis Matice slovenske, 1879, s. 1–33.
- Štrekelj 1892 — *K. Štrekelj*. Književna poročila // Ljubljanski zvon, XII, 1892, s. 319, 369–375, 434–440, 505–510, 635–639.
- Zuanella 1996 — *B. Zuanella*. Dal libro della «fraterna» di Castelmonte. Notizie sui pellegrini che visitarono il santuario mariano dal 1490 al 1690 // Dom, 8, 1996, p. 8.

Из славянских фразеологических реконструкций

(вост.-зап. славянск. *[a]ni vъ zqbъ)

В научном наследии Н. И. Толстого фразеология занимает не самое заметное место (ср.: Толстой 1983). Две общеметодологических штудии («Этнолингвистические аспекты славянской фразеологии» и «О реконструкции праславянской фразеологии») и три очерка об идиомах *здрав као риба*, *пьян, как земля* и *солёный болгарин* — вот всё «фразеологическое sub specie этнографии», что сам Никита Ильич счел нужным отобрать в сводный том своих трудов (Толстой 1995, 373–426). Фразеологи-слависты, однако, приняли его в свой «фразеологический цех» давно, с начала 70-х годов, когда он прочитал сначала в ЛГПИ им. А. И. Герцена, а потом — на Варшавском Международном съезде славистов свой доклад о методах реконструкции славянской фразеологии (Толстой 1973; 1995, 383–404). Эта работа сразу вызвала широкий резонанс и была воспринята как новое слово в исторической и ареально-сопоставительной фразеологии славянских языков. В докладе были сформулированы три основных условия реконструкции праславянской фразеологии и отмечена неравноценность такой реконструкции для лексемы и фразеологизма. Чрезвычайно важным было и подчёркиваемое предпочтение диалектного славянского материала материалу литературному, которое для исторической фразеологии более актуально, чем для лексики, в связи со спецификой её варьирования.

Время показало, что принципы историко-этимологического анализа, предложенные Н. И. Толстым, дали весьма надёжный исследовательский инструментарий всем фразеологам-славистам. Благодаря использованию этого инструментария (в разных модификациях и уточнениях) историческая фразеология, которая долгое время не могла оторваться от «средневековых схоластических этимологий» (по выражению Б. А. Ларина), стала дисциплиной с собственными методами диахронической диагностики (см. подробнее: Мокиенко 1993), накопила не только теоретиче-

ский опыт, но и богатый материал для историко-этимологических штудий и фразеологических словарей диахронического типа разных славянских языков. Стимулом для этого служили и продолжают служить труды Никиты Ильича.

Перечитывая их, можно найти немало и импульсов для экскурсов в историю конкретных славянских фразеологизмов. Для автора этих строк, например, таким импульсом ещё в 1972 году стала глосса в докладе Н. И. Толстого (прочитанного, как уже говорилось, первоначально в Ленинграде). Анализируя разговорный (белградский) вариант сербского и хорватского литературного оборота *ни колико црно испод нокта* 'ничтожно мало', докладчик сообщил, что в речи здесь возможно вообще употребление только одного слова *нокат* с тем же самым значением. Слово это имеет и эквивалент в кинетической речи — ногтем большого пальца, обращённого к собеседнику тыльной стороной, задевают за верхний передний зуб. «В связи с этим возникает вопрос, — замечает Н. И. Толстой, — нет ли связи между белорусск. *ні на зубок* 'нисколько, ничтожно мало' (Кареличский р-н, Гродненская обл., сообщ. А. С. Аксамитов) и приведенным сербским кинетическим знаком?» (Толстой 1995, 394). За вопросом следует подстрочное примечание: «Интересно выяснить, не относится ли сюда и русск. *знать назубок* (т. е. 'до самой малости, подробности')».

Эта глосса Н. И. Толстого невольно вызвала у автора этой статьи уже в 1972 году ассоциацию и с другим выражением — *ни в зуб [ногой]* 'абсолютно ничего не смыслить в чём-л.', 'совершенно не разбираться в чём-л.' Вызвала тем более, что тогда писалась статья, где в целом принималась ставшая в то время практически доказанной этимология этой идиомы, предложенная В. В. Виноградовым и Б. А. Лариным (Мокиенко 1973). Понадобились годы собирания конкретного материала (а для фразеологии оно особенно трудоёмко и во многом случайно, ибо сбор ориентирован во многом не на словоформы, а на идеографию, семантику, осмысление разных версий, дискуссии с коллегами), чтобы ассоциация стала той гипотетической интерпретацией, которая сейчас предлагается читателю. Глосса Н. И. Толстого (особенно его ссылка на белорусский материал), как увидим, будет играть в этой интерпретации немалую роль.

Какова же семантика и форма интересующего нас выражения?

Поскольку практически все его интерпретаторы исходили из русского материала или этимологии, предложенной на русской почве, обратимся в первую очередь к нему. В литературном языке

этот оборот появился, судя по известным фиксациям, не ранее XVIII в. В контекстном материале вообще доминируют авторы второй половины XIX–XX вв.:

Человек он темный, законов *ни в зуб...* Ф. М. Достоевский. Дневник 1876 г., февраль; Надзиратель придет, хозяин домовый что-нибудь спросит, так ведь *ни в зуб толкнуть* — все я! Ничего не смыслит... И. А. Гончаров. Обломов; Не понимают, что железные пути сами родят перевязочный материал! Я к Гинцбургу — не понимает! Наголо уже высчитываю: яйца, говорю, курятный двор, грибы, сушеная малина... не понимает! Я — к Розенталю — *в зуб толкнуть не смыслит!* М. Е. Салтыков-Щедрин. Современные идеалисты; [Кречинский:] Помилуйте, Петр Константинович! да что вы его спрашиваете? Ведь он только по полям с собаками ездит; ведь он по хозяйству *ни в зуб толкнуть*. А. В. Сухово-Кобылин. Свадьба Кречинского; Совета просить не будет, знает, что в торговле отец *ни в зуб ногой*. И. Калашников. Разрыв-трава.

Значение 'абсолютно не разбираться, совершенно ничего не знать, не понимать, не смыслить в чём-л.' и иронически-презрительная стилистическая окраска обусловили некую семантическую и функциональную специализацию этого выражения. Многие писатели относят его к ничего не смыслящим ученикам или студентам:

Опять вы не выучили! — говорит Зиберов, вставая. — В шестой раз задаю вам четвертое склонение, и вы *ни в зуб толкнуть!* Когда же, наконец, вы начнете учить уроки! А. П. Чехов. Репетитор; Потому родной сын на латынь да на греческий [налегает], а что нужно по торговому делу — *ни в зуб*. А. Н. Эртель. Гарденины; Таковы все мудрецы от Фалеса до Транделенбурга, которых ты теперь изучаешь и, конечно, *ни в зуб не понимаешь*. Н. Г. Гарин-Михайловский. Студенты; Приходил учитель, вызывал ученика — тот *ни в зуб толкнуть*. Н. Н. Златовратский. Золотые сердца; Жаль только, что я по-немецки *ни в зуб ногой*, — подумал он. Н. А. Островский. Как закалялась сталь; Стал он дня через два спрашивать про содержание книги, а я — *ни в зуб ногой*. М. А. Шолохов. Поднятая целина.

Как кажется, именно такая «профессиональная ориентация» и побудила В. В. Виноградова увидеть истоки этого выражения в школьном аргю (Виноградов 1934; Виноградов 1949, 432). Возможно, на эту мысль его навело употребление оборота в «Очерках бурсы» Н. Г. Помяловского: «Ученики, как говорится в бурсе, *ни в зуб толкнуть*». Объясняя выражение как арготическое, В. В. Виноградов также предположил, что оно представляет собой усечение

более пространного сочетания *ни в зуб толкнуть не смыслит*, которое употреблялось еще в прошлом веке (см. цитату из М. Е. Салтыкова-Щедрина). По этой гипотезе, современное *ни в зуб* — результат «сжатия» первоначального выражения.

Б. А. Ларин принял как убедительную лингвистическую часть интерпретации В. В. Виноградова, но усомнился в том, что источником оборота было школьное арго. Он исходит из иной профессиональной «приуроченности»: по его мнению, оборот относится ко времени крепостничества. При этом им весьма решительно раскрывается семантическая перспектива структурных изменений оборота. «Если принять во внимание ещё и вариант: *ни в зуб ногой*, — подчеркивает один из основателей отечественной исторической фразеологии, — то едва ли можно сомневаться, что этот оборот речи крепостной эпохи означал первоначально: 'При надобности даже дать зуботычину для поощрения не умеет!' Затем: 'Ни к чему не годен', 'не умеет'. В конце концов 'ни в зуб ногой' стало синонимичным выражению *ни аза*» (Ларин 1956, 210–211; 1977, 136–137). 'Не умеющий рукоприкладствовать крепостник-помещик' → 'не умеющий чего-л. и не разбирающийся в деле человек' — таково, по Б. А. Ларину, развитие значений этого оборота.

Лапидарно четкая и ясная логика такого историко-этимологического объяснения и научный авторитет В. В. Виноградова и Б. А. Ларина стали причиной того, что на долгие годы оно принимается многими фразеологами как аксиома (Федоров 1964, 33; ФСРЯ 1968, 176; Мокиенко 1975, 29–30; Вакуров 1979, 92; Байрамова 1991, 112 и др. — см. подробную библиографическую паспортизацию в кн.: Бирих, Мокиенко, Степанова 1994, 125). Причем, — чаще всего в его ларинском варианте, что дало справедливые основания для мягких сетований И. Г. Добродомова на то, что приоритет в расшифровке оборота *ни в зуб толкнуть* не совсем заслуженно отдаётся Б. А. Ларину (Добродомов 1993; 1995). Сам Б. А. Ларин, однако, весьма определённо подчеркнул и этот приоритет, и заслуги В. В. Виноградова в разработке общих проблем диахронического анализа фразеологии. «Важным отличием метода акад. Виноградова во фразеологии необходимо признать его разыскания исторического характера, — писал он в уже цитированной выше статье. — Для ряда фразеологических сочетаний он нашел старшие, более ранние формы в источниках XVIII в., что позволило ему проследить изменения в их составе и структуре на протяжении двух столетий. Когда-то полное речение: *ни в зуб толкнуть не смыслит!* постепенно сократилось: *Ни в зуб толкнуть!* и даже: *Ни в зуб!* Эти наблюдения над изменениями фразео-

логического материала, требующие исторических исследований, вплотную подвели акад. Виноградова к перестройке описательной фразеологии в историческую. Но он не сделал этого шага» (Ларин 1956, 210; Ларин 1977, 135–136). Как видим, для Б. А. Ларина этимология оборота *ни в зуб* является в какой-то мере пробным камнем общего диахронического анализа фразеологии. Отказ от арготической паспортизации выражения — это своего рода и отказ от «описательности» метода В. В. Виноградова.

Нужно сказать, что не все советские фразеологи однозначно приняли корректировку Б. А. Ларина. Любопытно, что именно в зоне потенциального «бурсацкого» влияния ищут, вслед за В. В. Виноградовым, социолингвистические корни нашего выражения специалисты по украинской и белорусской фразеологии: Л. Я. Скрипник констатирует, например, что укр. *ні (ані) в зуб [ногою]* пришло из ученического арготического (Скрипник 1973, 171), а И. Я. Лепешев, что белорусск. *ні в зуб нагой* — из школьного русского арготического (Лепешаў 1981, 103).

Есть и попытки, приняв первоначальную социолингвистическую «паспортизацию» словосочетания *ни в зуб [толкнуть]* 'совершенно ничего не знать, не понимать' как жаргонного, школьного (с учетом его фиксации в бурсацком обиходе и отражением в «Очерках бурсы» Н. Г. Помяловского), иначе посмотреть на чисто лингвистический механизм его создания. В. Н. Сергеев считает вариант *ни в зуб ногой* более поздним образованием, которое возникло в результате сближения двух фразеологических сочетаний *ни в зуб [толкнуть]* + *ни ногой*.оборот *ни ногой* употребляется в значении 'не бывать где-л., не ходить куда-л.'. Дальнейшее развитие этого значения у фразеологизма *ни ногой куда, где* (напр., не бывать на занятиях, не заниматься и, следовательно, ничего не знать) дало повод к сближению с фразеологизмом *ни в зуб* и привело к формированию современного значения (Сергеев 1971, 121–122).

Признают школьное арготическое первоначальное языковое сферой появления нашего оборота и авторы чрезвычайно оригинального (или, скорее, как увидим ниже, анекдотического) историко-этимологического объяснения Н. М. Шанский, В. И. Зимин и А. В. Филиппов. Выражение это, бытующее с XIX в., — «собственно русское», подчеркивают они (совершенно игнорируя материал белорусского, украинского, польского и других языков и диалектов) и связывают его с... забавой детей — «подносить большой палец ноги ко рту и подтрунивать над теми, кто не мог этого сделать» (КЭФ 1979, № 5, 89; Опыт 1987, 93; Зимин, Спирин 1996, 245).

Характерно, что от дискуссий по поводу этимологии этого выражения не мог удержаться и один из самых темпераментных фразеологов, «*spiritus movens*» нашей дисциплины Л. И. Ройзензон. В письме автору этих строк от 7 ноября 1973 г. он отреагировал на заметку о происхождении оборота *ни в зуб*, в которой делалась попытка найти дополнительные аргументы в пользу ларинской интерпретации (Мокиенко 1973, 70–74), с присущей ему эмоциональностью: «В Ларина я тоже очень верю (я его тоже очень уважал и высоко ставлю — изумительный лингвист!!!), но всё же ошибаются все (абсолютно все — даже строжайшие из строжайших!), это мною проверено тысячу раз... Во-первых, это могла быть недоношенная этимология (и тоже бывает: мелькнёт идея, а человек через некоторое время принимает её за этимологию. Теперь: *толкают* обычно в русском языке *в шею* (*вытолкали его в шею!*) и *в грудь*. Заметьте: именно в эти части тела! Почему? Это уже вопрос, и очень интересный по-своему (либо это общечеловеческое, либо разные народы по-разному это делают... Но факт остаётся фактом: *в зубы* мы не *толкаем*, а — *бьём* (и не *в зуб*, а — *в зубы*, хотя *даём по уху*, а не *по ушам* и *бьём по губам*, а не *по губе* — это тоже проблема!)...».

Любопытно, что в том же письме, стараясь несколько оправдать свою прямолинейную «придиричность» к интерпретации Б. А. Ларина, Л. И. Ройзензон вспоминает и Н. И. Толстого. «Думаю, — пишет он, — скоро Вы привыкнете к моим „придирам“ (я ведь так пишу и писал — даже Виноградову, Булаховскому, Филину и многим другим знаменитостям; неизменно „что-нибудь“ да напишу! — видимо, это „стиль“ человека, а не только учёного!). Разве Н. И. Толстой Вам на эту мою „нехорошую“ черту не обратил внимания?...».

Что греха таить: конечно же, Никита Ильич «обратил внимание» на эту черту темперамента Л. И. Ройзензона, но обратил по-своему, по-толстовски — без всяких «придинок», а с мягкой лукавинкой и пониманием той значительной роли, которую играл в нашей отечественной фразеологии один из её родоначальников, глава самаркандской школы. И, как известно, неоднократно помогал «сглаживать углы» в отношениях Л. И. Ройзензона с его дальним и ближним научным окружением. Ибо хорошо знал, что большинство его эмоционально высказываемых «придинок» иницируются не его научным тщеславием, а бескорыстной привязанностью к Фразеологии. Такова, собственно, и «придира» к интерпретации Виноградова–Ларина, которая не удовлетворяла его по семантическим и синтаксическим параметрам.

Характерно, что как бы ни было приковано к фразеологизму *ни в зуб [ногой]* внимание таких крупных фразеологов, как В. В. Виноградов, Б. А. Ларин, Л. И. Ройзензон, Н. М. Шанский, В. И. Зимин, А. И. Федоров и др., никто из них, выдвигая какую-либо из названных выше интерпретаций или присоединяясь к одной из них, не обращался к материалам других языков. Видимо, все они априорно считали (как сформулировал Н. М. Шанский со своими соавторами) наш оборот «собственно русским».

Н. И. Толстой сделал важный шаг в ином направлении — в направлении выхода за «чисто русские» пределы. И, что показательно, сделал это в период, когда дискуссии о происхождении оборота, как мы видели, достигли своей кульминации. Шаг этот сделан, правда, имплицитно, в связи с иным выражением. Но приведенная им выше глосса — отсылка к белорусск. *ні на зубок* 'нисколько, ничтожно мало' — даёт, как кажется, принципиально иной импульс к поискам первичного образа русского фразеологизма. Импульс ареально-сопоставительного характера.

В самом деле, если ареальный рисунок выражения является, действительно, собственно русским, то таковым его следует и признать, решая уже далее, какую из гипотез считать наиболее реальной — «школьно-жаргонную», «крепостническую» либо «детско-игровую». Но если оборот выходит за пределы собственно русской зоны, тогда возможны и иные интерпретации. Ареальный критерий, столь важный как для собственно фразеологических, так и общезтнолингвистических исследований Н. И. Толстого, немаловажен и для решения проблемы «структурной приоритетности» в образовании оборота. Как мы видели, фразеологи неоднозначны в диагностике: образован ли наш оборот имплицированием более пространного словосочетания [*ни в зуб толкнуть [не умеет (не знает)]*] (В. В. Виноградов, Б. А. Ларин, А. И. Федоров, Н. М. Шанский, В. И. Зимин и др.), либо, наоборот, — он является эксплицированием, развёртыванием инициального краткого словосочетания *ни в зуб?*

Один русский языковой материал не даёт на последний вопрос определённого ответа. Уже В. И. Даль фиксирует глагольный развёрнутый вариант *в зуб толкнуть не смылит* (Д. 4, 411), который и был (вместе с упомянутым контекстом из Помяловского), видимо, «исходом» интерпретации В. В. Виноградова. Субстантивный вариант — *ни в зуб ногой* зафиксирован в русских словарях позже, он почти не отражён в диалектах. Мне известны лишь два варианта, записанных относительно недавно: воронеж. *ни в зуб ногой* 'ни к чему не пригодный' (Ройз. Хаз. Сл. 1972, 299) и

сибирск. *ни в рот ногой* 'совсем, ни капли не пить спиртного' (ФС, 122). Показательна в этом отношении картина отражения разных вариантов русскими писателями (ср. приведенные выше контексты): *в зуб толкнуть не смыслит* — М. Е. Салтыков-Щедрин, *ни в зуб толкнуть* — И. А. Гончаров, А. В. Сухово-Кобылин, Н. Г. Помяловский, Н. Н. Златовратский, А. П. Чехов, *ни в зуб ногой* — Н. А. Островский, М. А. Шолохов, И. Калашников, *ни в зуб [не понимать]* — Ф. М. Достоевский, А. Н. Эртель, Н. Г. Гарин-Михайловский. В современной живой речи возможны и другие варианты, — например, З. Кёстер-Тома в 1995 г. записан шуточный оборот *ни в зуб калошей* 'абсолютно ничего не знать'. Если фиксацию фразеологизма писателями интерпретировать хронологически, то, как видим, вариант *ни в зуб ногой* можно считать вторичным, поскольку он отражен лишь в произведениях советского периода. Проблема же хронологической первичности/вторичности вариантов *ни в зуб толкнуть не смыслить (не понимать)* — *ни в зуб* при этом остаётся открытой.

Обращение к другим славянским языкам делает её более определённой. Белорусск. *ні на зубок* 'нисколько, ничтожно мало', приведенное Н. И. Толстым (по записи А. С. Аксамитова), имеет в речи и недеминутивный вариант — *на адзін зуб* 'то же' (Аксамітаў 1978, 84), который зафиксирован и в Полесье с опущением числительного. Один из белорусских фразеологических словарей верно конкретизирует его значение, связывая его с количеством съедаемой пищи — 'очень мало, немножко, на один глоток (еды, пищи)', что подтверждает его употребление К. Крапивой: «...Барбос ля варот стаіць такі, што яму гэтага сабачаняці *на адзін зуб*, а яно вышчарыцца і да барбоса лезе» («Сабачаня» — ГЛЯ, 180). Явно «пищевые» ассоциации отражают и расширительные употребления оборота *на зуб* в составе поговорок, напр. *На галодны зуб усё смачна* (Federowski 1935, 102) и *На галодны зуб і гэта харашо* (Носович 1874, 84). В современном употреблении оборот *на зуб* имеет и значение 'поесть, немного перекусить', близкое к отмеченному. Это употребление — весьма важная для дальнейшей интерпретации деталь. Оно позволяет связать и этот белорусский оборот, и его уменьшительный вариант, приведенный Н. И. Толстым, с интересующим нас выражением.

Действительно, именно белорусские диалекты сохранили не только некий структурный, но и семантический изоморфизм вариантов *ні на зуб (зубок)* — *ні в зуб*. Характерна, например, фиксация оборота *ні ў зуб ня есці* 'ничего не есть' в северо-западных белорусских говорах: *Ні ў зуп карова ня есць* (Магуны Паст —

СВГПЗБ 2, 329). Близкое конкретное значение оборота сохраняется и в его употреблениях Я. Коласом: «Папапілі, пераелі. — Нича-чутка *ані ў зуб*» («Напрадвесні» — ФСМК, 214); «Вясна, голад, перепала — Ані солі, ані круп; І скаціне корму мала І самому — *ані ў зуб*» («Вясна, голад, перепала...»); «— Годзе, жонка! Ну, не лайся: Больш гарэлкі *ані ў зуб*» («Пахмелле»). Такого рода семантика отражается и в произведениях современных писателей, напр.: «Дык не есць, кажаце? — *Ані ў зуб*... Акрамя вады, нічога ў рот не бярэ!» М. Лынькоў. Пра смелага ваяку Мішку... (ГЛЯ, 19).

Конкретное «пищевое» значение в белорусском языке уже в начале века имело и тенденцию к расширению в сторону более абстрактной семантики. Об этом свидетельствует и язык Я. Коласа, напр.: «Палез я на дуб і ў дзірку засоўваю руку. Не ўлазіць рука ні нага *ані ў зуб*» («Даняў»). Любопытно, что в этом контексте «расширителем» нашего оборота является не только *нага*, но и *рука*, которую герой стихотворения «засовывает» в дырку. Совпадение с вариантом *ні в зуб нагой* случайное, во многом вызванное рифмическим созвучием и стихотворным ритмом, но тем не менее показательное.

Расширился семантически и оборот *на адзін зуб*. Современный фразеологический словарь белорусского языка И. Я. Лепешева фиксирует его в формах *на адін зуб (гам) каму* и в значении 'кто-л. такой мизерный, незначительный, что с ним легко справиться, расправиться' (Леп. 1, 454). И контексты, и лексический вариант *на адін гам* сохраняют, однако, достаточно прозрачные связи с «пищевой» семантикой.

Как и в русском языке, эти связи кажутся утерянными для «интеллектуального» значения. В белорусском просторечии оборот *ні (ані) в зуб [нагой]* также сочетается с глаголами «не знать», «не понимать» и означает 'совсем ничего':

Аднойчы прыйшлі [у школу] два дзецюкі, здаровыя хлопцы, не тут кажучы, кавалеры, на губах пушок прабіваецца, а задачкі *ні ў зуб нагой*. С. Александровіч; Я ж па нямецку *ні ў зуб нагой*. І па французску слаба кумекаю. Левановіч; Бэкаем [па-англійску], чытаючы збольшага, а каб перекласці з прачытанага ці самому што якое сказаць па-іхняму — *ні ў зуб нагой*. Васілёнак; [Селянін:] Дзе мая грамата, адну тую літару ўсяго і ведаю, што на абаронак падобна, як яна... Вось пахваліўся — і ўспомніць не магу, а больш граматы *ані ў зуб*. Галубок (Леп. 1, 454).

Как видим, «школьно-студенческая» специализация тут столь же налицо, как и для соответствующих русских контекстов. И что характерно — почти все они, как и в русском языке, из новейшей,

советской литературы. Не случайно, что таких употреблений, как правило, не отражают диалектные словари и картотеки восточнославянских языков. Правда, под влиянием современного употребления и воздействием средств массовой информации оборот может проникнуть и в современные говоры. Так, словарь Г. Ф. Юрчанка «І коціцца і валіцца» фиксирует обороты *ані ў зуб* и *ані ў зуб нагою* именно в «интеллектуальном» значении (Юрчанка 1972, 43), а «Фразеологічний словник східнословобожанських і степових говірок Донбасу» (Ужченко 1997, 58) регистрирует контаминированное выражение *ні в зуб ногою, ні в небо пальцем* 'ничего не думать, не знать'. Их, вероятно, можно также считать инновацией.

Русские и белорусские фразеологизмы вообще весьма близки по употреблению украинским. Словари литературной фразеологии фиксируют близкие по семантике и функции контексты оборотов *ні (ані) в зуб [ногою]* не знати, не розуміти 'ничего, нисколько':

Він математики *ні в зуб не знає* (Леся Українка); Все те був мій план, якого ти *ні в зуб не розумієш* (І. Франко); З людиною буває часто так, що, добре знаючи колишнього події, Вона сучасності *ні в зуб не розуміє* (М. Рильский); [Дудар:] Не з того кінця береш. Не розумієш української культури. [Книш:] Я? Не розумію? [Дудар:] *ані в зуб ногою* (І. К. Микитенко); Я в латині — *ні в зуб ногою* (Вечерний Київ) (ФСУМ 1, 347). Ср. также один из контекстов из современной печати, где это выражение употреблено академиком А. Гродзиньским в статье, посвященной нестандартной лексике: «З свого досвіду знаю, наскільки приємно буває співрозмовникам із Болгарії, Словаччини, Польщі та інших країн, коли вони довідуються, що представник з СРСР, виявляється, розуміє, хоч, можливо, й не дуже досконало, їхню мову. Тобто ставиться до них з повагою як до нації, до народу. Коли ж, буває, приїздить наш представник, котрий, як кажуть, „*ні в зуб ногою*“, враження у наших друзів залишається протилежним, і це поширюється на всю країну» («Вечірній Київ», 4 березня 1988, с. 4).

Как видим, вариант *ні (ані) в зуб ногою* и здесь характерен для новейших (в том числе и газетных) текстов. Классиками же употребляются более традиционные варианты *ні в зуб не знати, ні в зуб не розуміти*, которые, видимо, являются и более старыми. Они имеют прямую переключку с диалектными — напр. галицко-волынк. *ані в зуб не розумію* 'нічогоісенько не розумію', записанным И. Франко (Франко 3, 211).

Характерно, что и в украинских говорах так же, как и в белорусских, «пищевое» значение оборота и его вариантов представлено гораздо более широко, чем «интеллектуальное». Так, лишь в

лемковских говорах, фразеология которых обстоятельно собрана и описана Н. Вархол и А. Ивченко (Вархол, Івченко 1990), зафиксированы такие выражения данного типа: *ані за зуб* 'совсем нет чего-либо'; *ані меджи зуби [ньит]* 'совсем нет ничего', *ані зуби видовати [ньит з чим]* 'то же'. Любопытен и структурно и семантически близкий к этим оборотом лемковский вариант, но включающий другой соматизм — «глаз»: *(не мати) ане до вока* 'совершенно ничего (не иметь)'.

Обратим особое внимание на эту диалектную вариацию предлогов в выражениях о «зубе»: *ані в зуб — ані за зуб — ані меджи зуби*. Оборот *ане до вока* ещё более расширяет эту вариационную амплитуду. Её логическим структурным и смысловым продолжением является и уже известный нам по белорусскому ареалу оборот с предлогом *на*. Он, действительно, широко известен и литературному украинскому языку, и его диалектам — ср. лемковск. *на єден зуб* 'немного (о чём-л. съедобном)' (Вархол, Івченко 1990); галицко-волыньск. *того мені на єден зуб мало* 'нечего есть; нечего делать' (Франко 3, 214); диал. *і на зуб не попало* (ПП 2, 249) и т. п.

Эта «переключка» предлогов становится ещё более разнообразной в других районах Славии. Ведь ареал нашего выражения не ограничивается лишь восточнославянской языковой зоной. Его варианты уже давно, как минимум с XVIII в., широко употребляются в польском языке. Новейший фразеологический словарь, например, фиксирует оборот *ani (ni) w ząb* как в писательском употреблении, так и в массовой прессе:

Nie, na miły Bóg, *ani* by mi *w ząb* nie mogłem tego *pomiarkować*, ale jakbym i *pomiarkował*, co by mi dało? J. Morton. Wielkie kochanie; Przystalem chętnie na tę zagraniczną nominację tym bardziej, że włóczyłem się po Ulan-Bator sam, nie mając do kogo otworzyć gęby, bo *po mongolsku nie szło mi ani w ząb*. «Express Poznański» 1989/226/3; Czwartym przy spirytystycznym stoliku był docent Akademii Ekonomicznej o szwedzkim (jak sam stwierdził) nazwisku, którego *ani w ząb sobie nie mogę przypomnieć*. «Dziennik Poznański» 1994/35/5; Bóg mi świadkiem, że *ni w ząb nie rozumiem*, na czym opiera pan Dorn swe stwierdzenia o naszej rzekomej «niezdolności do zawierania kompromisów», skoro nigdy żadnego kompromisu z nami zawsze nie próbował... «Najwyższy czas» 1994/14/16; A owo nie, ów wewnętrzny dialog małpy nad badaniem trafia do tych, którzy wprawdzie *nie w ząb go nie rozumieją (i rozumieć nie chcą)*, ale sam fakt, że małpa «dialoguje» wprawia ich w taki zachwyt i podziw, iż wnioskują, że małpa ta jest znacznie inteligentniejsza... «Gazeta Polska», 1994/4/5 (Bąba, Dziamska, Liberek 1995, 712–713).

Как видим, польские употребления этого оборота семантически весьма близки к его употреблениям в восточнославянских языках. Характерны и слова-сопроводители *ani w ząb nie pomiarkować; po mongolsku nie szło mi ani w ząb; ani w ząb sobie nie mogę przytomnieć; ni w ząb nie rozumieć*. С одной стороны, они полностью совпадают с восточнославянскими («не понимать»), даже «специализируясь» в интеллектуальном значении («по-монгольски не выходило»). С другой стороны, это интеллектуальное значение уже более широко и общо, чем у соответствующей восточнославянской фраземы: «не замечать», «не вспоминать». Главное же — в этом, расширенном, ареале уже доминирует более короткий вариант, в котором нет ни глагола «толкнуть», ни «ноги». Зато сохраняется «предложная» переключка с другим оборотом — *coś na ząbek* 'что-либо для перекуса, немного пици'.

В народной польской речи легко найти и такие употребления этого старого оборота, которые вновь подтверждают, что приведенные «интеллектуальные» значения восходят к конкретному, «пищевому»: *na ząb położyć* 'получить чего-либо съестного, поживиться' (зафиксированное с 1598 г.), *na ząb to nie padnie* 'ему этого мало' (зафиксированное с 1621 г.), *na jeden ząb* 'мало, скупо' (НКР 3, 15), *ani na ząb* 'нисколько, ничуть' (Karłowicz 6, 392). Как видим, уже в польском диалектном словаре последнее выражение *ani na ząb* приобрело и обобщающее значение 'нисколько, ничуть'. В литературных же фиксациях оно с 1846 г. уже означает, как и в современном языке, и 'абсолютно ничего не помнить, не знать, не понимать' (НКР 3, 837).

Можно было бы продолжить поиски славянских параллелей русского фразеологизма *ни в зуб*. Таковы, например, словацк. *nemá čo by na zub vložil* 'нет, чего на зуб положить; крайне мало' (Zátarecký, 130); чешск. *nemít co na zub (pod zub)* 'быть в нужде; голодать', *ani na zub si nadá doložit* 'никак не хочет поверить; и слышать не хочет'; *nepadnout na zub komu* 'быть недостаточным для кого-л. (о пище, еде)' (Zaorálek, 446); *nemá co pod zuby klásti* 'он в нужде, в нищете; страдает от голода' (Zaorálek, 447); *nemá co na zub, něco na zub* 'какое-либо неопределённое количество еды, обычно хорошей, вкусной, часто — лакомства' (SČFI 2, 402) и т. п. Ср. (*jídlo*) *je jednou do úst* 'очень мало еды' и т. п. Близкие примеры нетрудно найти и в южнославянских языках: болгарск. (диал.) *ни на зѣб не сѣм турил* (букв. «я не положил и на зуб») 'крайне мало съел' (ФРБ 1, 741); словенск. *rad bi dobil kaj pod zob* (букв. «хотел бы получить что-нибудь под зуб») 'хотел бы чего-нибудь поесть'; *dali smo ga na zob* 'мы выпили алкоголя' (SSKJ 5, 930);

хорватск./сербск. *nije (nema) ni na (zo) jedan zub* 'совсем мало, чрезвычайно мало, недостаточно чего-л.' (в контекстах — и о хлебе, и о книгах — Matešić, 794) и др.

Наконец, близкие по образу фразеологизмы можно обнаружить и в неславянских языках. Напр., нем. *nur für den hohlen Zahn* (букв. «лишь для пустого зуба») 'абсолютно ничего (о еде?)'. Образное сходство здесь легко объяснить типологически: соматизм «зуб» совершенно естественно ассоциируется во многих языках именно с пищей, а «один зуб» (да ещё — в уменьшительной форме) — с крайне малым её количеством.

Приведенный конкретный материал (расширить который не позволяет лишь лимит места) показывает, что первичным значением русского выражения *ни в зуб [ногой]*, о происхождении которого в отечественной фразеологии разгорелась такая острая и длительная дискуссия, является прозаическое «пищевое» значение и конкретный образ, связанный с основной физиологической функцией зубов. Ареальный «рисунок» этого оборота и его вариантный ряд в славянских языках позволяют, как кажется, установить и основное направление его собственно языкового развития: оно шло по линии экспликации, развёртывания первоначально краткого словосочетания **ni (ani) vъ zobjъ*, а не наоборот, как предполагало большинство исследователей, отталкивавшихся исключительно от фактов русского языка.

Впрочем, и в самом русском языке, особенно в его народных говорах, достаточно фактов, полностью изоморфных фактам других приводившихся славянских языков. Вариант *на один зуб* 'крайне мало (о пище)', например, характерен и для разговорной речи, что отражено в художественной литературе: «— Хлеба этого ребятам *на один зуб*... Давай попробуем ещё достать?». Тевекелян. Гранит не плавится. Как мы видели, этот оборот известен практически всем славянским языкам. В русских говорах он зафиксирован давно и варьируется весьма широко, входя в состав самых разных пословиц и поговорок: *нечего на зуб положить; камня на зуб не положишь* (ДП, 87); сибирск. *на зуб положить нечего* 'о состоянии крайней нужды, голода' (ФСС, 144); *Пришло ворожить, когда нечего на зуб положить* (Буслаев 1854, 133); олон. — *Бабушка, давно ль ты стала ворожить? — А как нечего стало на зуб положить* (ППЗ, 150).

Дают диалекты и материал о путях расширения «пищевое» значения во всё более отвлечённые, переносные. Так, в русских говорах Карелии оборот *на задний зуб чего* характеризует не только малое количество еды, но и небольшое число дров и других пред-

метов (СРГК 2, 259). Ещё «дальнобойнее» семантическая динамика диалектного оборота *на голы (голые) зубы*. Курганск. и иркутск. *на голы зубы жить* 'жить в нужде, крайней бедности' ещё сохраняет, в сущности, «пищевую» семантику. Печорск. и новгородск. *съехать (явиться) на гóлые зубы* уже имеет бóльшую отвлечённость от неё: здесь оборот значит 'быть незванным гостем'. Псковские выражения *делать/сделать что на голые зубы (на голый зуб)* и *приехать на голы зубы* достигают ещё бóльшего обобщения, означая 'абсолютно ничего не имея, без всяких средств' и употребляются не по отношению к пище, а по отношению к деньгам: «Оддала деньги в долги и *приехала на гóлы зúбы*» (Гдовский р-н); «Дармá мне никто ничавó ня дéлаит, фсягдá расплáчуваюсь, а дéнек нет, *на гóлый зуп нáда фсё здéлать*» (Локненский р-н — КПОС).

Псковские говоры, в частности, до сих пор сохраняют и оборот *ни в зуб* в его «первозданном», пищевом значении. Причём, — что (как увидим ниже) немаловажно, относят его не только к человеку, но и животным и птицам, «в зубы» которых необходимо регулярно «толкать» корм. Вот несколько контекстов, записанных в поле ученикам: проф. Б. А. Ларина: «Сено сырóе: овцы *ни в зуб* [т. е. не едят, не хотят есть]» (Ашевский р-н); «Я свaim курятам накрашила лебяды с мукой, а аны *ни в зуп не бярут*» (Островский р-н); «Привязут сéна, карóва *и в зуп не берёт*» (Палкинский р-н — КПОС).

Углубление в диалектный материал позволяет не только проникнуть в исходную семантику интересующего нас выражения, но и ещё более определённо установить изоморфизм его разных структурных вариантов. Показательно в этом отношении псковск. *цыганке в зубу поковырять нечем* 'крайне мало: ни зерна, ни соломы (о плохом урожае)': «Не растёт ничевó нá поле, косóй не поймать, *цыганке в зубу поковырять нéчем*» (Плюсский р-н — КПОС). Даже этот, на первый взгляд, окказиональный из-за своей «необычной» и потому яркой образности оборот находит фразеологического «собрата» в таком достаточно удалённом от Псковщины регионе Славии, как галицко-волинские говоры Украины. Его записал И. Франко в начале века — *буде там того на циганський зуб* 'стільки, що голодному ротіві нічим буде поживити ся' (Франко 3, 211). Этноним *цыганка* и прил. *цыганський* здесь не случайны, ибо в славянской фразеологии (как и во фразеологии других европейских языков) они коннотируются с крайней бедностью, нищетой. Два символа — один материальный, другой социальный — пересекаются в русских и украинских говорах, чтобы максимально насытить экспрессией слишком «обкатанные»

многократным и долгим употреблением выражения с компонентом *зуб*. Как видим, структуры *в зуб* и *на зуб* здесь практически идентичны, что ещё раз подтверждает генетическое тождество приведенного вариантного ряда. Ср. также сибирск. *не было (нет) зёрнышка в глаз бросить* 'о полном отсутствии еды, пищи' (ФСС, 17) и упоминавшееся выше диалектное украинское (лемковск.) (*не мати*) *ане до вока* 'совсем ничего не иметь'. И здесь — как и в случае с *[ни] в зуб* и *[ни] на зуб* — различие предлогов не нарушает ни семантического, ни функционального единства общей структурно-семантической модели.

Итак, первичный источник вариантной «иррадиации» славянского выражения как будто бы установлен. Остаётся выяснить, каким образом оно эксплицировалось на восточнославянской почве в развёрнутые варианты *ни в зуб толкнуть [не смыслит]* и *ни в зуб ногой*. Следы первого варианта прямо ведут именно в «пищевую», а не в «ударно-крепостническую» семантику. В XVIII в. эти следы ещё были весьма отчётливы, о чём свидетельствует фиксация (между прочим, — самая пока старая и опровергающая выше приведенную хронологическую паспортизацию Н. М. Шанского и др.) оборота *толкнуть в зуб не с чем* 'о полном отсутствии средств пропитания', приводимая М. Ф. Палевской: «[Ядова:] Ведь Деволуб, по моей к нему услуге, теперь стал сиг сигом, скоро и до тово дойдет, что *не с чем будет в зуб толкнуть*. Недавно через мои руки последние сто душ продал» (Соколов. Судейские имянины. — Палевская 1980, 334). Этот вариант в литературный язык XVIII в. также попал из народных говоров. Он и сейчас им известен и зафиксирован, например, на Смоленщине: *ни ў зуб таўхануть* (Добровольский, 73). Ср. также белорусскую поговорку *ані пык, ні ў зуб калапнуць*, записанную в начале века в Черниговской губернии М. Ц. Крэмневым, где *ані пык* значит 'нет табака, нечего курить, нечем затянуться' (Прыказкі і прамаўкі 1, 222, 541), которая перекликается с современной шутливой фразой *дай в зубы, чтоб дым пошёл* (просьба дать покурить).

Вариант *ни в зуб толкнуть*, возникший развёртыванием оборота *ни в зуб*, как кажется, легко объясняется именно «пищевой» его логикой. Причём, — если вспомнить приводимые выше псковские иллюстрации к выражению *ни в зуб [не брать]*, которое информанты употребляют не только о питании человека, но и о кормлении домашних животных и птицы, — эта логика становится ещё убедительнее. *Ни в зуб толкнуть*, возможно, первоначально относилось именно к животному (т. е. несмысленному, не понимающему существу), что ассоциативно могло спровоцировать,

либо во всяком случае поддержать синтаксические и семантические связи нашего выражения с глаголами *не смыслить, не понимать* и т. п. Эту ассоциацию в русском языке могло закрепить и ложное звуковое созвучие глаголов *толкать* и *толковать*.

Толкнуть при такой интерпретации характеризует не «рукоприкладство» в бурсацкой или семинарско-школьной среде и не «зубстычину», которой при случае опытный помещик оделял своих крепостных. Первоначально оно значило в составе оборота, видимо, — ‘втлкивать, впихивать, всовывать пищу в рот’ и могло относиться как к кормлению домашнего животного, так и к человеку. Исходное *толкнуть в зуб не с чем* изменилось в *ни в зуб толкнуть* и стало постепенно утрачивать связи с исходной «пищевой» семантикой, приобретая всё более отвлечённые значения, часть которых, как мы видели, сохранили некоторые диалекты.

Утрата этих связей создала и условия для следующего варианта — *ни в зуб ногой*. Как показал ареально-сопоставительный анализ, он является инновацией как в русском, так и в белорусском и украинском языках: употребляется лишь писателями советского времени и почти не известен диалектам. Как же образовался этот новый вариант?

Видимо, именно так, как предполагает В. Н. Сергеев, т. е. путём контаминации выражений *ни в зуб* и *ни ногой*. Аргументацию петербургского фразеолога можно подкрепить и диалектными данными, — тем более, что последнее выражение широко фиксируется в народной речи (ср. псков. *ногой не быто* — ПОС 2, 237; *Всяк чужу сторону хвалит, а сам ни ногой* — Танчук, 37 и др.). Кроме известного литературному языку *ни ногой* ‘не бывать где-л., не ходить куда-л.’, попавшего в некий семантико-экспрессивный «унисон» с отрицательной семантикой оборота *ни в зуб*, в народных говорах имеются и выражения с компонентом *нога*, которые имеют именно количественную семантику, правда, антонимическую. Таково, напр., смоленск. *как ногой чего* ‘очень много’ (Ивашко 1976, 102), видимо, являющееся эллипсисом оборотов типа псковск. [*как*] *ногой пихай, ногами толочь*: «А теперь гаспóт *нагой пихай*: и машыны, и манцыклёты; *ранышы-та гаспóт мала была*» (Палкинский р-н); «Шшук *нагами талоч ф той рёчки*» (Кр. — КПОС). Ср. яросл. *делать пня ногой что* ‘делать что-л. крайне небрежно’ (ЯОС 3, 127) и т. п. Признавая, вслед за В. Н. Сергеевым, факт контаминации оборотов *ни в зуб ногой* и *ни ногой*, следует вместе с тем подчеркнуть ещё раз, что первый оборот родился отнюдь не в сфере русского школьного арго, а является древним и широко распространённым славянским фразеологизмом.

Итак, ареальный и сопоставительный анализ (которые являются основой метода структурно-семантического моделирования фразеологии в диахроническом аспекте) нашего оборота показывает, что высказанные В. В. Виноградовым, Б. А. Лариним и другими исследователями гипотезы о его происхождении не подтверждаются собственно языковыми фактами. Исходной моделью его образования было, видимо, словосочетание **vъ (na) zъbъ*, первоначально конкретизируемое глаголами с семантикой «взять», «положить», «всунуть», «втолкнуть» и обозначающее 'крайне малое количество пищи, которое может поместиться на один зуб'. Затем этот исходный оборот приобретает более обобщающее значение и вступает в сочетание с «интеллектуальными» глаголами «понимать», «смыслить», «замечать» и т. п. В восточнославянских (особенно в русском) языках он затем эксплицируется глаголом *толкнуть*, что ведёт к затемнению его внутренней формы. Неясность первоначального образа создаёт позднее условия для контаминации его с выражением *ни ногой*, в результате которой рождается просторечный фразеологизм *ни в зуб ногой*.

Импульсом для такого диахронического прочтения фразеологизма *ни в зуб*, как уже говорилось, стала белорусская глосса из доклада Н. И. Толстого на Варшавском конгрессе славистов. Эта глосса была «подсказана» семантической доминантой той идиомы, которая была им в докладе избрана для демонстрации предложенного метода реконструкции праславянской идиомы — сочетания **сьрно подъ ногътемь* и его вариантов **ni na nogъть*, **na nogъть*, **za nogътемь*, являющихся, собственно говоря, столь же актуальными фразеологическими символами предельно малого количества чего-либо, как и оборот **ni (ani) vъ zъbъ*. Легко просматривается даже образный изоморфизм этих древних славянских фразеологизмов: небольшое количество характеризуется ими как помещение какого-либо вещества (в первом случае — кусочка грязи, порошинки, во втором — кусочка пищи) «на», «за» или «в» часть тела, которая издревле стала символом чего-либо малого, незначительного — в наших оборотах «ногтя» или «зуба».

Методика историко-этимологического анализа славянских фразеологизмов, предложенная Н. И. Толстым в начале 70-х гг., находит всё больше и больше приверженцев потому, что позволяет оторваться от пут «средневекового» атомарного подхода к этим единицам, от народно-этимологической логики их интерпретации. Никита Ильич, анализируя любой отдельный языковой факт, всегда видит этот факт в широкой славянской ареальной и структурно-семантической проекции, в общей системе. И, в свою

очередь, каждая отдельная языковая деталь, вводимая им в ту или иную интерпретацию, становится «заряженной» энергией этой общей системы. Таким и оказался белорусский диалектизм *ні на зубок*, пронизательно сопряжённый Н. И. Толстым с сербским кинетическим знаком, а тем самым — и с реконструированным им праславянским фразеологизмом. Фразеологов — читателей и перечитывателей трудов Никиты Ильича — ждёт ещё немало импульсов и для пересмотра «навязших в зубах» популярных этимологий (типа *узнать подноготную*, ключ к новому решению которой дан в том же варшавском докладе), и для ответа на прямые вопросы, поставленные нашим Учителем. К таким вопросам принадлежит, между прочим, и подстрочное примечание Н. И. Толстого к уже цитировавшейся части варшавского доклада: «Интересно выяснить, не относится ли сюда и русск. *знать назубок* (т. е. 'до самой малости, подробности')». Методика историко-этимологического анализа славянской фразеологии, предложенная Н. И. Толстым, поможет, несомненно, расшифровать и эту, пока ещё «тёмную», этимологию.

Литература

- Аксамітаў 1978 — А. С. *Аксамітаў*. Беларуская фразеалогія. Мінск, 1978.
- Байрамова 1991 — Л. К. *Байрамова*. Учебный тематический русско-татарский фразеологический словарь. Казань, 1991.
- Бирх, Мокиенко, Степанова 1994 — А. *Бирх*, В. *Мокиенко*, Л. *Степанова*. История и этимология русских фразеологизмов (Библиографический указатель — 1825–1994). Hsgb. von Alexander Bierich. (= Specimina Philologiae Slavicae. Supplementband 36). München, 1994.
- Буслаев 1854 — Ф. П. *Буслаев*. Русские пословицы и поговорки // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. М., 1854, кн. 2, с. 1–176.
- Вакуров 1979 — В. Н. *Вакуров*. Ни в зуб ногой; С гулькин нос // Рабоче-крестьянский корреспондент, 1979, № 7, с. 92–93.
- Вархол, Івченко 1990 — Н. *Вархол*, А. *Івченко*. Фразеологічний словник говірок Східної Словаччини / С предисл. В. М. Мокиенко. Bratislava; Prjašiv, 1990.
- Виноградов 1934 — В. В. *Виноградов*. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв., М., 1934.
- Виноградов 1949 — В. В. *Виноградов*. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. Лейден, 1949.
- ГЛЯ — Н. В. *Гайраш*, І. Я. *Лепешай*, Ф. М. *Янкоўскі*. Фразеалагічны слоўнік для сярэдняй школы / Пад рэд. Ф. М. Янкоўскага. Мінск, 1973.

- Добровольский — *В. Н. Добровольский*. Смоленский этнографический сборник. СПб., 1894, ч. 3, Пословицы.
- Добродомов 1993 — *И. Г. Добродомов*. К изучению семинарско-школьного вклада во фразеологию восточнославянских языков // Язык и культура. Вторая международная конф. Доклады. Киев, 1993, с. 112–118.
- Добродомов 1995 — *И. Г. Добродомов*. Историческая фразеология в наследии В. В. Виноградова // Международная юбилейная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения академика Виктора Владимировича Виноградова. Тезисы докладов. М., 1995, с. 77–78.
- ДП — *В. И. Даль*. Пословицы русского народа. М., 1957.
- Зимин, Спириин 1996 — *В. И. Зимин, А. С. Спириин*. Пословицы и поговорки русского народа. М., 1996.
- Ивашко 1976 — *Л. А. Ивашко*. Квантитативные фразеологические единицы в псковских говорах // Проблемы русской фразеологии. Тула, 1976, с. 100–109.
- КПОС — Картотека ПОС (Псковский областной словарь с историческими данными. Основан Б. А. Лариным. Вып. 1–12. Л.; СПб, 1967–1996). Хранится в словарном кабинете им. проф. Б. А. Ларина, филологический факультет СПбГУ.
- КЭФ 1979 — *Н. М. Шанский, В. И. Зимин, А. В. Филиппов*. Краткий этимологический словарь русской фразеологии // Русский язык в школе, 1979, № 5, с. 84–94.
- Ларин 1956 — *Б. А. Ларин*. Очерки по фразеологии // Учен. зап. Ленингр. ун-та, 1956, № 198. Сер. филол. наук, вып. 24, с. 200–225. [То же см.: Ларин 1977, с. 125–149.]
- Ларин 1977 — *Б. А. Ларин*. История русского языка и общее языкознание (избранные работы). М., 1977.
- Леп. — *И. Я. Лепешаў*. Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1993, т. 1–2.
- Лепешаў 1981 — *И. Я. Лепешаў*. Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў. Мінск, 1981.
- Мокиенко 1973 — *В. М. Мокиенко*. Из истории фразеологизмов // Русский язык в национальной школе, 1973, № 5, с. 70–74.
- Мокиенко 1975 — *В. М. Мокиенко*. В глубь поговорки. М., 1975.
- Мокиенко 1993 — *В. М. Мокиенко*. Принципы этимологического анализа фразеологии // *Philologia Slavica*. К 70-летию академика Н. И. Толстого. М., 1993, с. 346–353.
- Носович 1874 — Сборник белорусских пословиц, составленный И. И. Носовичем // Сборник ОРЯС. СПб., 1874, т. 12, № 2.
- Опыт 1987 — *Н. М. Шанский, В. И. Зимин, А. В. Филиппов*. Опыт этимологического словаря русской фразеологии. М., 1987.
- Палевская 1980 — *М. Ф. Палевская*. Материалы для фразеологического словаря русского языка XVII века. Кишинев, 1980.
- ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Основан Б. А. Лариным. Л.; СПб., 1967–1996, вып. 1–12.

- ПП — Прислів'я та приказки. Упорядник М. М. Пазяк. Київ, 1989–1991, т. 1–3.
- ППЗ — Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVII–XX веков / Издание подготовили М. Я. Мельц, В. В. Митрофанова, Г. Г. Шаповалова. М.; Л., 1961.
- Прыказкі і прамайкі — Прыказкі і прымайкі у двох кнігах / Складанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул і каментарыі М. Я. Грынבלата. Мінск, 1976, т. 1–2.
- Ройз. Хаз. Сл. — Л. И. Ройзензон, Л. Н. Хазова. Материалы к диалектному фразеологическому словарю народных говоров Нижнедевицкого района Воронежской области // Вопросы фразеологии VI. Самарканд, 1971, с. 290–306.
- СБГПЗБ — Слоўнік беларускіх гаворак Паўночна-Заходняй Беларусі і яе пагранічча. Мінск, 1980, т. 2.
- Сергеев 1971 — В. Н. Сергеев. Ни в зуб ногой // Русская речь, 1971, № 6, с. 121–122.
- Скрипник 1973 — Л. Г. Скрипник. Фразеология української мови. Київ, 1973.
- СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Главный редактор А. С. Герд. СПб., 1994–1995, вып. 1–2.
- Танчук 1986 — В. Танчук. Сборник пословиц русского языка. Нью-Йорк, 1986.
- Толстой 1973 — Н. И. Толстой. О реконструкции праславянской фразеологии // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. Доклады советской делегации. М., 1973, с. 272–293.
- Толстой 1995 — Н. И. Толстой. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.
- Ужченко 1997 — В. Д. Ужченко. Фразеологічний словник східнослов'янських і степових говірок Донбасу. Луганськ, 1997.
- Фёдоров 1964 — А. И. Фёдоров. Лекции по русской фразеологии, прочитанные студентам НГУ. Новосибирск, 1964.
- Франко — Галицько-руські приповідки / Зібрав, упорядкував і пояснив д-р Іван Франко. В 3 т., 6 вип. // Етнографічний збірник. Львів, 1901, т. 10; 1905, т. 16; 1907, т. 23; 1908, т. 24; 1909, т. 27; 1910, т. 28.
- ФРБ — К. Ничева, С. Спасова-Михайлова, Кр. Чолакова. Фразеологичен речник на българския език. София, 1974, т. 1; 1975, т. 2.
- ФС — Словарь фразеологизмов и иных устойчивых словосочетаний русских говоров Сибири / Сост. Н. Т. Бухарева, А. И. Федоров. Новосибирск, 1972.
- ФСМК — Фразеалагічны слоўнік мовы твораў Я. Коласа. Звыш 6000 слоўніковых артыкулаў / Пад. рэд. А. С. Аксамітава. Мінск, 1993.
- ФСРЯ 1968 — Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молоткова. М., 1968.
- ФСС — Фразеологический словарь русских говоров Сибири / Сост. Л. Г. Панин, Л. В. Петропавловская, А. И. Постнова, А. И. Федоров. Под ред. А. И. Федорова. Новосибирск, 1983.

- ФСУМ — Фразеологічний словник української мови. Київ, 1993, кн. 1–2.
- Юрчанка 1972 — *Г. Ф. Юрчанка*. І коціца і валіцца. Мінск, 1972.
- ЯОС — Ярославский областной словарь. Ярославль, 1981–1989, т. 1–8.
- Bąba, Dziamska, Liberek 1995 — *S. Bąba, G. Dziamska, J. Liberek*. Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa, 1995.
- Federowski 1935 — *M. Federowski*. Lud Białoruski na Rusi Litewskiej. Warszawa, 1935, t. IV.
- Karłowicz — *J. Karłowicz*. Słownik gwar polskich. Kraków, 1900–1911, t. 1–6.
- Mat. — *J. Matešić*. Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1982.
- SČFI — Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přírovnání / Red. Fr. Čermák, J. Hronek, J. Machač. Praha, 1983–1994, sv. 1–3.
- SSKJ — Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1987–1991, knj. 1–5.
- Zaorálek — *J. Zaorálek*. Lidová rčeny. Vyd. 2-é. Praha, 1963.
- Záturecký 1975 — *A. P. Záturecký*. Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Bratislava, 1975.

Заметки о современной русской политической терминологии

Постсоветский период истории русского языка иногда называют временем оттаявших слов. Отдельные изменения в словарном составе традиционной советской политической лексики, введшиеся в самом начале перестройки и гласности, превратились со временем в настоящую лавину. Процесс изменений еще далеко не завершен и представляет значительный интерес для лингвистов. Вероятно, только по истечении многих лет можно будет с достаточной объективностью и полнотой оценить то, что произошло в сфере политической лексики в этот переходный период от одного общественного строя к другому. И если в 1917 году и последующие годы прежняя политическая лексика периода царской России заменялась новой, советской, то с 1985 года начался обратный процесс — отрицание советской лексики, с возвращением предсоветской и введением новой постсоветской, в значительной степени заимствованной из иностранных языков. Появление помимо коммунистической партии множества политических группировок и партий разных направлений и политическая дискуссия между ними означали серьезное увеличение вариантов политической терминологии, появление различий в семантической интерпретации терминов и разнообразных стилистических регистров в их речевом использовании. Подобно эпохе Октябрьской революции и первых лет советской власти, современный период — это время ощутимого ускорения лексических изменений в русском языке.

Значительная часть наблюдений над этим процессом отражена в «Словаре русской политики», подготовленном нами совместно с Эллиотом Моссманом (Moskovich, Mossman). Этот словарь, предназначенный для международного читателя, включает около 2000 терминов, используемых в русском политическом дискурсе. Каждое заглавное слово сопровождается английским эквивалентом,

а его толкование дается на английском языке. Приводятся термины, ассоциированные с данным термином. Например, для термина *инакомыслие* дается его английский эквивалент *dissident thinking*, а также указываются ассоциированные с ним термины: *диссидент*, *диссидентство* (*диссидентское движение*) и *правозащитное движение*. При термине *разгосударствление* дается английский эквивалент *destatization*, а также ассоциированные термины *коммерциализация*, *демонополизация*, *денационализация*, *либерализация* и *приватизация*. Большое количество терминов имеет указание на авторство (если оно известно) и генезис. Например, сообщается, что термин *прорабы перестройки* был пущен в оборот поэтом А. Вознесенским и, очевидно, родился у него по аналогии с *прорабами духа*, введенными им же в 1984 году. При объяснении термина *русскоязычные* указывается на то, что синонимичный ему термин *русскоговорящие* был предложен Председателем Совета Национальностей Российской Федерации Р. Т. Абдулатиповым в мае 1992 года, причем сам автор, вероятно, не отдавал себе отчета в том, что *русскоговорящий* пришел в Россию из колониального варианта русского языка в Израиле, где этот термин существует с 1990 года как калька с иврита *dovrei rusit*.

Наш словарь, составленный на основе обширной картотеки, почерпнутой из средств массовой информации бывшего СССР и СНГ, и охватывающий десятилетний период, с 1985 по 1995 год (в основном газеты и телевидение), оперирует при каждом разъяснении термине набором цитат, отражающих его общее смысловое значение и более частные коннотации. При этом указывается частотность употребления данного термина в текстах.

При исследовании истории каждого термина не всегда есть уверенность в том, что выяснены все основные факты, относящиеся ко времени его первого появления в русском языке. К примеру, модное в эпоху перестройки слово *команда* («Горбачев и его команда», «команда Ельцина», «команда Шаталина—Явлинского» и т. п.) вряд ли было впервые предложено после 1985 года. В книге Л. Троцкого «Преданная революция» (1936) автор указывает на то, что СССР «нужна вторая революция», не простая замена «одной команды руководителей другой», а «изменение самих принципов управления экономикой и культурой». Другой пример: слово *самиздат* было впервые введено не в 60-е годы, а использовалось еще в 1940 году русским поэтом Н. Глазковым, который так называл свои неопубликованные рукописи. В подобных случаях слово могло «изобретаться» и вводиться в язык неоднократно и независимо от первого его появления, в разные периоды.

Становление новой политической терминологии при переходе от тоталитарного режима к демократии — процесс непростой, способный длиться десятилетия. Хотя кажется, что условия изменились и прежняя советская политическая терминология уходит в прошлое, на поверку оказывается, что поколение людей, выросших при советской власти, и их потомки не так скоро изменят свои языковые привычки и предпочтения при выборе терминов. К тому же, российские коммунисты все еще активно ведут свою пропаганду и пользуются определенной поддержкой в обществе.

Стремление разрушить прежние советские порядки и понятия можно продемонстрировать на обилии нововводимых терминов с префиксом *де-*: *дебольшевизация, декгбизация, демонополизация, денационализация, деофициализация, департизация, деполитизация, десоветизация, дестабилизация, десталинизация, десиницизация, дехристианизация* и т. п.

Одним из источников, откуда черпались термины, начиная с 1985 года, был политический дискурс царской России. Здесь есть разные категории терминов: и административно-управленческая терминология (*губернатор, сенатор, наместник, дума, Государственная Дума, городская дума* и т. п., *вольный город, полиция* и пр.), и абстрактные термины (*соборность, духовность, милосердие* и т. п.), и терминология казачества (*казачий атаман, наказной атаман, казачий круг, казачьи сотни, Кубанская казачья Рада, есаул* и т. п.), и церковные термины (*катехизация, протоиерей, иеромонах, православные братства, мироправители* и т. п.).

Другим источником была терминология советского диссидентства. Так, нетрудно показать, что многие термины, используемые Горбачевым-реформатором, были заимствованы им непосредственно у А. Солженицына и А. Сахарова, и прежде всего ключевые термины периода перестройки — *застой, перестройка, гласность*. Правда, эти термины намного старше эпохи советского диссидентства.

Так, например, термин *период застоя* (по отношению к 1907–1917 годам, между первой и второй революциями в России) использовал еще лидер меньшевиков Ф. И. Дан в 1946 году (Дан 1946), а термин *сталинщина* был введен Л. Троцким в 1932 году. У Ф. И. Дана можно обнаружить и другие употребительные впоследствии, в период перестройки, термины: *правовое государство, национал-патриоты, гуманизация* и т. п. (там же).

Ю. Афанасьев как-то заметил, что, хотя М. Горбачев широко заимствовал политические термины у А. Д. Сахарова, он часто использовал их в ином смысле. Так, например, слово *консенсус* во всем мире означает общее согласие на основе взаимного ком-

промисса, отрицание крайних требований. М. Горбачев же понимал это слово как безусловное согласие с директивами ЦК КПСС на основе «единогласных решений», принимаемых личностями, остающимися, как и прежде, анонимными (Афанасьев 1990).

Еще один источник новой политической терминологии — заимствования и кальки из иностранных языков, в основном из американского варианта английского языка. Здесь такие слова, как *спикер, импичмент, президент, истэблишмент, пресс-релиз* и т. п.

Открытость нормативного русского языка к введению слов из разговорной речи и сленга приводит к широкому проникновению в политическую терминологию таких слов, как *тусовка, разборка, общак, авторитет, вор в законе* и т. п.

Как уже упоминалось, терминологии разных политических партий и течений могут отличаться, хотя в ходе политических дискуссий происходит взаимовлияние разных вариантов терминологий. Понимание терминов может различаться в противоположных политических лагерях. Это прежде всего касается пары терминов: *левый—правый*. И демократы, и национал-патриоты видят себя левыми, в то время как правыми ни одна из сторон называться не желает. Демократы (реформисты) указывают на то, что национал-патриоты (и коммунисты) консервативны, так как хотят сохранить прежний порядок, и потому они правые. Национал-патриоты (и коммунисты), наоборот, считают, что демократы стремятся построить в России капитализм, а потому они в традиционном смысле этого слова правые. Вот как рассматривалась проблема с противоположным пониманием этого термина органом КПСС газетой «Правдой» в начале 1991 года:

«Нас в последнее время настойчиво обучают, что настоящий левый — это радикал, и чем радикальнее, тем левее, а настоящий правый — тот, кто консервативен. При этом забывают, что радикализм может быть очень и очень правым, может даже создавать таких вампиров, как Гитлер, Муссолини, и других.

Характеристика типа „правые круги“ в пропаганде не столь далеких времен чаще всего соседствовала со словами „реакционные силы“, а слова „левые силы“ были добрым соседом слов „борьба за свободу и демократию“. Так что все радикалы хотят ходить в левых... А кто же у нас теперь разоблачен как правый? Это, конечно, прежде всего коммунисты. Они главные реакционеры и есть. Вообще нас стремятся потихоньку приучить, что каждый, кто произносит слова „патриотизм“, „Родина“, честно трудится, кто еще тянется к этим понятиям, тот, конечно, особо опасен и должен вызывать тревогу у каждого „борца за свободу и демократию“» (Алешин, Меньшиков 1991).

Национал-патриоты называют демократов разными неслестными именами: *дерьмократы, псевдодемократы, демонократы, демофашисты, демокрады* и т. п. Демократы отвечают своим противникам той же монетой. Отсюда такая реакция национал-патриотов:

«И если в „желтой прессе“ появляются провокационно-порочающие ярлыки типа „консерваторы“, „правые“, „антиперестройщики“, „черносотенцы“, „псевдопатриоты“ с фамилиями настоящих защитников Родины, то в патриотических изданиях надо в ответ ввести такие колонки, как „предатели“, „продавшиеся“, „перерожденцы“, „сионисты“, „пятая колонна“, „всадники на троянских конях“, „иуды“, „неотроцкисты“» (Молодая гвардия, 1991, № 2, с. 256).

Хотя терминология современных русских националистов является в основном прямым продолжением лексикона традиционного русского национализма царской поры, они ввели немало и новых терминов: *большой народ, малый народ, химера, ксения, биоробот, наши пассионарии* и т. п. Использование ими ряда терминов общего употребления достаточно своеобразно. Так, *русскими* в общем употреблении принято называть этнических русских, а *россиянами* — граждан России, вне зависимости от национальности. Русские националисты не согласны с таким употреблением терминов, ибо полагают, что оба термина синонимичны и относятся только к собственно русским.

Терминосистема, возникающая в результате синтеза вышеназванных компонентов разнородного происхождения, отличается синкретизмом. Так, в административной сфере одновременно функционируют термины *президент, вице-президент, премьер-министр, Государственная Дума, Совет Федерации, спикер, правительство Москвы, мэр, мэрия, муниципалитет, глава администрации, наместник, департамент, староста, префект, милиция, полиция* и т. д.

Выразительной иллюстрацией существующего положения может служить Санкт-Петербург и Ленинградская область, где возвращенное название города царского времени уживается с сохраняемым советским названием области. В то время, как Сталинград стал Волгоградом, а Свердловск Екатеринбургом, сохраняется Комсомольск-на-Амуре, как, впрочем, и название газеты «Комсомольская правда».

Политическая терминология современной России полностью не установилась и все еще, как и российское государство в целом, экономика и общество, переживает переходный период.

До нынешнего времени недостаточно исследованным остается вопрос о колониальных вариантах русского языка (и русской по-

литической терминологии) в разных постсоветских республиках СНГ и Балтии. Средства массовой информации на русском языке продолжают функционировать во всех этих новых государствах, и в каждом из них политическая терминология имеет свою специфику. Одно и то же слово русского языка в разных странах может иметь разный денотат. *Префектура* в Молдове и Грузии обозначает административно-территориальную единицу, управляемую префектом, а в Эстонии — полицейский участок. *Префект* в Молдове и Грузии, как и в Москве, обозначает управляющего районом или округом, в Эстонии — полицмейстера.

Специфическая терминология стран Балтии содержит слова *резидент* (постоянный житель) и *нерезидент* (непостоянный житель, негражданин), введенные в связи с новым законодательством о гражданстве.

В исламских тюркоязычных республиках СНГ, как, впрочем, и в автономных республиках и областях России с исламским тюркоязычным населением, можно обнаружить немало специфической лексики: в Азербайджане — *меджли* (парламент), *шахид* (воин, отдавший свою жизнь за ислам), *манат* (новая денежная единица Азербайджана); в Туркменистане — *туркменбаши* (глава туркмен — титул президента государства); в Узбекистане — *хоким* (глава районной администрации), *хокимият* (район); в Татарстане, Крыму и тюркоязычных республиках СНГ — *курултай* (общее собрание народа). В христианских республиках Закавказья Грузии и Армении также зарегистрирована специфическая лексика: в Грузии — *марчили*, *колхури* (название денежных единиц), *шевардени*, *тетри Георги* (названия военизированных группировок), в Армении — *федаины* (боевики Нагорного Карабаха), *лума*, *драм* (названия денежных единиц).

Большая часть этой лексики известна и по московским изданиям, однако частота ее использования в новых государствах СНГ, вне России, намного выше.

Особый интерес в этом плане представляет русский политический лексикон Украины, где проживает около 12 млн. русских. В проекте новой Конституции Украины, опубликованном в газете «Правда Украины» в июле 1992 года, встретилось несколько традиционно русских терминов, которые в то время в России еще не были введены в общий обиход, например *мировой судья*.

Для подавляющей части русскоязычной прессы стран СНГ, вне России, как, впрочем, для значительной части прессы русской провинции, характерно сохранение типичных языковых клише советской прессы. В таких газетах, как «Правда Востока» (Таш-

кент), «Бакинский рабочий» (Баку), можно обнаружить типичные обороты советской бюрократической речи: *трудовые традиции, экономические показатели, трудовые коллективы, доблестный труд, битва за урожай, встать на трудовую вахту* и подобн. В такого рода оборотах ныне обычно опускают обязательное прежде определение *социалистический* (ср.: вместо *социалистическое содружество государств — содружество независимых государств, СНГ*).

При использовании многих слов происходит их семантическая переориентация: те из них, которые ранее обозначали только иностранные реалии, относятся сейчас и к новым реалиям России и стран СНГ: *президент, спикер, муниципалитет, мэрия* и т. п. Иные, имевшие в советскую эпоху пейоративный оттенок, утратили его: *бизнесмен, миллионер, диссидент* и т. п. Еще одна категория политических терминов, обозначающих в основном работников прежнего партийного аппарата, употребляется с пейоративной окраской, которую они и раньше имели в неофициальной речи: *аппаратчик, функционер* и т. п. То же касается многих избитых штампов советского лексикона (Ермакова 1996).

Массив данных, на основании которых построен наш словарь, позволяет судить о динамике становления новой политической терминологии. Первые изменения в ней вводились с 1985 года сверху, М. Горбачевым и его окружением, следуя советской традиции централизации. После этого, как выражался М. Горбачев, «процесс пошел», и с 1988 года численность новых терминов стала увеличиваться лавинообразно, причем создание новых терминов перестало быть привилегией власти. Термины вводились и снизу, через прессу, телевидение и радио. Этот процесс усилился после развала СССР в 1991 году и создания новых постсоветских государств. В течение 1991–1995 годов наблюдается интенсивное развитие новой политической терминологии. В условиях децентрализации общества особую централизующую роль стали выполнять центральные московские газеты и российское телевидение, имеющие постоянных читателей и зрителей на всей территории бывшего Советского Союза. Московские средства массовой информации стали в сфере русской политической терминологии образцом для подражания на всем информационном пространстве бывшего СССР.

С 1995 года наблюдается достижение определенной устойчивости новой политической терминосистемы и значительное замедление темпа ее изменения.

Становление новой политической терминологии происходит в условиях идеологической борьбы между консервативными и

реформаторскими политическими силами. Нередко борьба консерваторов с реформаторами ведется под лозунгами языкового пуризма, недопущения массового наплыва иностранных заимствований. Однако беспокойство, вызванное обилием иностранных заимствований, может объясняться не только идеологическими мотивами, но и заботой о судьбе родного языка.

Отдельной темой является калькирование новейших русских ключевых политических терминов в языках постсоветских стран СНГ и особенно в украинском и белорусском языках. Несмотря на стремление к известному удалению от русского языка в этих странах, их языки все еще в значительной мере следуют за образцами, взятыми из русского языка. Объясняется это определяющей ролью политических изменений в России для всего обширного региона бывшего СССР, а также экономическим весом современной России. Из социолингвистических факторов важным является культурно-языковая традиция, по-прежнему связывающая языки этих новых государств с русским языком.

Литература

- Алешин, Меньшиков 1991 — С. Алешин, И. Меньшиков. Что такое «друзья демократии» и как они воюют против народа? // Правда, 1991, 29 января.
- Афанасьев 1990 — Ю. Афанасьев. Место и задачи политической оппозиции в СССР. Духовный завет А. Д. Сахарова // Доверие (Москва), 1990, июнь, с. 6.
- Дан 1946 — Ф. И. Дан. Происхождение большевизма. Нью-Йорк, 1946.
- Ермакова 1996 — О. П. Ермакова. Семантические процессы в лексике // Русский язык в конце XX столетия (1985–1995) / Под ред. Е. А. Земской. М., 1996, с. 34–66.
- Moskovich, Mossman — W. Moskovich, E. Mossman. A Dictionary of Russian Politics (1985–1995). Yale University Press, New Haven, Conn. (в печати).

Hebrajskie instrumenty muzyczne psalmu 150 w różnych przekładach słowańskich

(Od Psalterza Synajskiego do współczesności)

Instrumenty muzyczne należą do tej dziedziny kultury materialnej, która ma silne zakotwiczenie w kulturze ludowej. Dlatego kontakty międzykulturowe wnosić tu mogą wiele elementów nowych, a z nimi i nowe słownictwo. Łatwo też może dochodzić do krzyżowania się nazw i desygnatów, przenoszenia własnych nazw na nowo poznane instrumenty i odwrotnie, przenoszenia obcych nazw na instrumenty własne. Stanowić to może szczególną trudność przy tłumaczeniu tekstów sformułowanych przez nosicieli obcej i czasowo odległej kultury. Z problemami tymi uporać się musieli m. in. tłumacze Psalterza Dawidowego.

W przyczynku tym chciałbym zwrócić uwagę na sposób tłumaczenia nazw instrumentów muzycznych, wymienionych w psalmie 150, na różne języki słowańskie w przeszłości i obecnie. Ze względów zrozumiałych rejestr wykorzystanych przekładów musi być ograniczony, z reguły pomijam też przekłady poetyckie. O problem ten zahaczyłem w artykule *Nie zidentyfikowane hebrajskie instrumenty muzyczne Psalterza w interpretacji polskich przekładów renesansowych i współczesnych*¹, poruszył go też Edo Škulj w referacie *Glasbeni instrumenti v psalmu 150*²,

¹ L. Moszyński, *Nie zidentyfikowane hebrajskie instrumenty muzyczne Psalterza w interpretacji polskich przekładów renesansowych i współczesnych*, [w:] *Musica Antiqua X*, Vol. 2. Acta Slavica, Bydgoszcz 1994, s. 185-201.

² E. Škulj, *Glasbeni instrumenti v psalmu 150*, [streszczenie w:] *Mednarodni simpozij o interpretaciji Svetega Pisma ob izidu novega slovenskega prevoda Svetega Pisma*, Ljubljana 1996, s. 130-131.

wyłoszonym podczas międzynarodowego sympozjum na temat interpretacji Pisma Świętego, jakie miało miejsce w Lublanie we wrześniu 1996 r. z okazji opublikowania nowego słoweńskiego przekładu Biblii.

Do niedawna z powodu zaginięcia końcowych kart tzw. Psalterza Synajskiego nieznan był najstarszy słowiański przekład tego psalmu. Nowo odkryte w roku 1975 na Synaju końcowe karty głągolskiego rękopisu, opublikowane w fotografii przez J. Tarnanidisa³, umożliwiają jego analizę. Zaczę ją od porównania psalmu 150 Psalterza Synajskiego z dwoma młodszymi rękopisami: XIII-wiecznym Psalterzem Bolońskim redakcji bułgarskiej i XIV-wiecznym Psalterzem Kijowskim redakcji ruskiej, a także z pierwszą wersją drukowaną w Biblii Ostrogskiej z r. 1580-1581. Jak wiadomo, podstawę tłumaczenia stanowił tekst grecki. Przytaczam go według Septuaginty. Tekst Psalterza Synajskiego transliteruję cyrylicą według powszechnie przyjętych zasad. W celu łatwiejszego zestawienia z tekstem greckim stosuję układ według wersetów, natomiast koniec wiersza w rękopisie zaznaczam kreską: |.

Tekst według Septuaginty

Tekst Psalterza Synajskiego

(1) Αἰνεῖτε τὸν θεὸν ἐν τοῖς
 ἁγίοις αὐτοῦ,
 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι
 δυνάμεως αὐτοῦ·
 (2) αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς
 δυναστείαις αὐτοῦ,
 αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος
 τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ·

(1) ХВАЛИТЕ В(ОГ)А ВЪ
 СВ(А)ТЫИ[...] |
 ХВАЛИТЕ І ВЪ ОУТВЪРЪЖДЕ[...] | Є
 СИЛЪ ЕГО • |
 (2) ХВАЛИТЕ І ВЪ СИЛАХЪ ЕГО • |
 ХВАЛИТЕ І ПО ПРЪМНОГОУМОУ |
 ВЕЛИЧЕСТВІЮ ЕГО • |

³ I. C. Tarnanidis, *The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St Catherine's Monastery on Mount Sinai*, Thessaloniki 1988.

- | | |
|--|--|
| (3) αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ
καὶ κιθάρα· | (3) Хвалите ѿ въ гласѣ трубынѣ •
Хвалите ѿ въ псалтыри
ѿ въ гуслаехъ • |
| (4) αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ
καὶ χορῶ,
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς
καὶ ὄργάνῳ· | (4) Хвалите ѿ въ тоумбанѣ
ѿ ли цѣ •
Хвалите ѿ въ строина хъ
ѿ орѣганѣ • |
| (5) αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν
κυμβάλοις εὐήχοις,
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις
ἀλαλαγμοῦ· | (5) Хвалите ѿ въ коумбалѣхъ
доброгласнѣхъ •
Хвалите ѿ въ коумбалѣхъ
вскли цанию |
| (6) πᾶσα πνοὴ αἰνεοσάτω
τὸν κύριον· | (6) въсѣко дѣхание да
хвалитъ г(оспод)ѣ • |

Interesująca nas leksyka występuje tylko w 3 wersetach, więc dalszy materiał porównawczy ograniczę tylko do nich.

Tekst Psalterza Bolońskiego

Tekst Psalterza Kijowskiego

- | | |
|--|---|
| (3) Хвалите ѿ въ гласѣ
трихъ бнѣмъ •
Хвалите ѿ въ псалтыри
и въ гуслаехъ • | (3) Хвали те его въ гл(а)сѣ
троубнѣмъ •
Хва лите его въ п(а)лт(ы)ри
и въ гуслаехъ • |
| (4) Хвалите ѿ въ тѣмбанѣ
и лицѣ •
хва лите ѿ въ ^с троу нахъ
и ерганѣ | (4) Хвалите его в тѣмбанѣ
и лици •
Хвалите его въ строина ^{хъ}
и урганѣ ^{хъ} • |
| (5) Хвалите ѿ въ кѣ мбалѣхъ
до брогласнѣхъ •
Хвалите ѿ въ кѣмбалѣхъ
всклицианіа • | (5) Хвалите его в кѣмбалѣхъ
доброглас ^с нѣхъ
Хвалите его в кѣмбалѣ хъ
всклицианіа • |

Tekst Biblii Ostrogskiej

- (3) Хвалите его въ гласѣ трѣбѣнѣ ,
Хвалите его въ ψαλτηρι и гѣслехъ •
(4) Хвалите его в тѣмпаиѣ и лицѣ ,
Хвалите его въ стрѣнахъ и органѣхъ •
(5) Хвалите его в' кимвалѣхъ доброголасныхъ •
Хвалите его в' ким'валѣхъ восклицанїа •

Jak widać, kolejne odpisy cyrylometodejskiego przekładu Psalterza są z punktu widzenia badanego szczegółu wyraźnie konserwatywne. Utrzymuje się ten sam sposób przekładu trzech nazw występujących tu instrumentów. Są to: ἡ σάλπιγξ (wg Z. Abramowiczówny⁴ IV 33 'trąba wojenna') - **ТРЖБА** (uwzględnić tu trzeba różnicę systemową między dopełniaczową strukturą grecką ἡ ἤχῳ σάλπιγος, a przymiotnikową słowiańską: **ГЛАСЪ ТРЖБЫНЪ**); ἡ κιθάρα (według Abr. II 661 'rodzaj liry') to scs. **ГЖСЛИ**, wreszcie określenie bardzo ogólne, wskazujące tylko na strunowy charakter instrumentu: αἱ χορδαί to po prostu **СТРОИНЫ**.

Praski *Slovník jazyka staroslověnského*⁵ (I 469) określa **ГЖСЛИ** bardzo ogólnie jako 'струнный инструмент; гусли'. Jest to niewątpliwie stara formacja prasłowiańska, co jednoznacznie pokazuje słownik Trubaczowa⁶ (7,84). **ТРЖБА** (Sl. j. stsl. IV 515) i **ТРЖБЫНЪ** (Sl. j. stsl. IV 516) też chyba sięga czasów prasłowiańskich, choć różnie bywa interpretowana. Według Skoka⁷ (III 513) geneza jest

⁴ Z. Abramowiczówna, *Słownik grecko-polski*, Warszawa 1958-1965. Dalej skrót *Abr.*

⁵ *Slovník jazyka staroslověnského* wychodzi w Pradze od roku 1958. Dalej skrót *Sl. j. stsl.*

⁶ *Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд*, под ред. О. Н. Трубачева, Москва, wychodzi od roku 1974.

onomatopieczna z analogiami romańskimi, według Vasmera⁸ (III 142, wersja rosyjska IV 107-108) jest to pożyczka ze staro-wysoko-niemieckiego *trumba*, lub średniołacińskiego *trumba*. Jest to typowy instrument dęty, aerofoniczny. **Στρούνα** mimo swej niezbyt jasnej etymologii uważana jest za wyraz prasłowiański (Skok IV 350-351; Vasmer III 31-32, Фасмер III 784), ale o ogólnym znaczeniu odpowiadającym greckimi ἡ χορδή 'trzewia' → 'linka skręcona z jelita' (Abr. IV 631). Mamy tu więc do czynienia nie z identyfikacją instrumentu, lecz jedynie ze wskazaniem na jego typ - grupę instrumentów strunowych, czyli chordofonicznych, do których należą też zidentyfikowane z gr. κιθάρα scs. **ГХСЛИ**. Sl. j. stsl. (III 185) zna tylko to jedno użycie wyrazu **Στρούνα**, które przytacza z czterech młodszych psalterzy (Pogodińskiego, Bolońskiego, Lobkowicza i Paryskiego), bo oczywiście psalm 150, mimo że zeszyt 38 *Słownika* wyszedł w roku 1985, jeszcze wtedy był nieznany (katalog Tarnanidisa ukazał się w Salonikach w roku 1988). Redaktorzy *Słownika języka staroslověnského* nie odnotowali dla żadnego z tych trzech wyrazów tekstowego synonimu.

Nazwy czterech dalszych instrumentów zostały zapożyczone z greckiego oryginału. Są to: τὸ ψαλτήριον (Abr. IV 658) - scs. **ПСАЛЪТЪРЬ** 'instrument chordofoniczny', też nazwa księgi biblijnej (Sl. j. stsl. III 508); τὸ τύμπανον (Abr. IV 374) - scs. **ТОУМБАНЪ** 'instrument membranofoniczny' zastąpiony w młodszych przekładach przez *bęben*; τὸ κύμβαλον (Abr. II 733 to 'cymbały' czyli instrument idiofoniczny, scs. **КОУМБАЛИ**; τὸ ὄργανον 'narzędzie' → m.in. 'instrument muzyczny' (Abr. III 308), scs. **ОРЪГАНЪ** (Sl. j. stsl. II 555).

⁷ P. Skok, *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, I-IV, Zagreb 1971-1974; dalej *Skok*.

⁸ M. Vasmer, *Russisches etymologisches Wörterbuch*, I-III, Heidelberg 1953-1956 (dalej *Vasmer*); М. Фасмер, *Этимологический словарь русского языка*, перевод О. Н. Трубачева, I-IV, Москва 1986-1987 (dalej *Фасмер*).

rzeczownikowej **ВЪСКЛИЦАНІЯ**. Formacja scs. **ДОБРОГЛАСЬНЪ** to mechaniczna kalka greckiego przymiotnika εὖηχος, ον 'melodyjny o głosie' (Abr. II 340), formacja dla Słowian nietypowa, znana wyłącznie z tego jednego zdania (Sl. j. stsl. I 429); struktura rzeczownikowa, również obca słowiańszczyźnie, powtarza dopełniaczową strukturę grecką. (Pojawi się ona wbrew tradycji cerkiewnosłowiańskiej w wydaniu rosyjskim z r. 1854: *при звуку трубы* jako kalka greckiego wyrażenia ἐν ᾧ σάλπιγγος.) Formacja **ВЪСКЛИЦАНІЕ** znana jest w scs. z kilku zapisów (Sl. j. stsl. I 323) jako odpowiednik greckiego ὁ ἀλαλαγμός 'głośny dźwięk' (Abr. I 80). Przekład synodalny zachowuje też archaiczne już wyrażenie *ликами*, wersja z roku 1854 użyła tu wyrazu nowszego: *ликование*, podkreślając w ten sposób bardziej sem 'radość' aniżeli 'śpiew' lub 'taniec'. Natomiast jako 'taniec' interpretuje ten fragment współczesny przekład białoruski i ukraiński.

Współczesny przekład białoruski

- (3) Хваліце Яго гукам трубным,
хваліце Яго на псалтыры і арфе.
(4) Хваліце Яго тымпанам і танцам,
хваліце Яго струнамі і арганам.
(5) Хваліце Яго гучнымі кімваламі,
хваліце Яго кімваламі гучнагалосымі.

Współczesny przekład ukraiński

- (3) Хваліте його звуком рогу,
хваліте його на гарфі й на гуслах.
(4) Хваліте його на бубні й танком.
Хваліте його на струнах і сопілці.
(5) хваліте його на дзвінких цимбалах,
хваліте його на гучних цимбалах.

Nowością przekładu białoruskiego jest zastąpienie starego słowiańskiego wyrazu *гусли* przez *арфа*, co jest późną (koniec XVII w., zob. Фасмер I 90) pożyczką z polskiego *arfa*, a to z kolei dopiero XVI-wieczną pożyczką z niemieckiego *Harfe* (Sławski⁹ I 406). Naturalną rzeczą jest wprowadzenie w miejsce scs. **ГЛАСЪ** rosyjskiego i ukraińskiego *звук*, a białoruskiego *зук*. To samo dotyczy szeregu przymiotnikowego: ros. *звучный*, błr.

⁹ F. Sławski, *Słownik etymologiczny języka polskiego*, Kraków od roku 1952.

гучны, ukr. *озвінкий* i ros. *громогласный*, bgr. *гучнагалосы* i ukr. *гучний*.

Inny od dotychczasowych przekładów charakter ma współczesny przekład ukraiński dokonany wprost z oryginału hebrajskiego. Znikają w nim bowiem trzy greczyzmy: znika *псалтир*, którego miejsce zajęła *гарфа*, znika *тимпан*, zastępuje go *бубон* i znikają *органи*. Ich miejsce zajmują *conilci*. Wyrazy te nawiązują do oryginału hebrajskiego, gdzie mamy kolejno *נָבֶל* (*nēbel*) 'harpe, lyre' (Cohn¹⁰ 427), *תָּבֹרַת* (*tōp̄*) 'tambour' (Cohn 744), *בִּצְלַח* (*ḥāḇāḇ*) 'orgue' i 'flûte' (Cohn 497). Inny też charakter niż cyrylometodejska kalka tekstowa *κύμβαλον - κοῦμβαλλъ, κ'υμβαλλъ* mają ukraińskie *цимбали*. Są tu odpowiednikami nie tekstowym, lecz semantycznym hebrajskiego *צִלְצִל* (*cil^ocēlīm*) 'cymbale' związanego z onomatopeicznym zapewne czasownikiem *צִלְצַל* (*cil^ocāl*) 'sonner' (Cohn 583), zaś z punktu widzenia źródła pożyczki jest to niedwuznaczny polonizm (por. pol. *cymbaly*) związany z wielostronnymi kontaktami kulturowymi ukraińsko-polskimi. Natomiast do oryginału hebrajskiego nawiązuje ukraiński *ріг* (*звук рогу*) oddający hebrajskie *שׁוֹפָר* (*šōpār*) 'cor, corne' (Cohn 679), oraz wspomniany już *танок* (hebr. *מַחֹל* [*māchōl*] 'danse' Cohn 356).

Do problemów przekładu z oryginału hebrajskiego jeszcze powrócę, a teraz parę słów o przekładach prawosławnych Słowian południowych.

Przekład bułgarski

- (3) Хвалете Го съ тръбень гласъ.
Хвалете Го съ псалтиръ и арфа.
(4) Хвалете Го съ тжанче и хоронгране.
Хвалете Го съ струнни инструменти и съ свиржи.

Przekład macedoński

- (3) Фалете Го со трубен звук.
фалете Го со псалтир и гусли.
(4) Фалете Го со тимпани и во оро.
фалете Го на струни и со свирка:

¹⁰ M. M. Cohn, *Nouveau dictionnaire hébreu-français*, Paris - Tel Aviv 1977. Dalej *Cohn*.

- (4) Хвалете Го съ високозвучни кимвали, (5) Фалете Го со милозвучни кимвали;
Хвалете Го съ възклицателни кимвали. фалете Го со кимвали громогласни!

W przekładzie bułgarskim widoczne jest i nawiązanie do tradycji cyrylometodejskiej (bułg. *съ възклицателни кимвали*, w Psalterzu Synajskim **ВЪ КОУМБАЛЪХЪ ВЪСКЛІЦАННІЮ**) i elementy lokalne. Tu przede wszystkim należy analityczne rozwinięcie odpowiednika greckiego *ἐν χορδαίς* jako *съ струнни инструменти* (mac. *на струни*) i rodzima *свирка*, derywat od **свирати** (Sl. j. stsl. IV 26) 'fujarka', która w obu przekładach zastąpiła scs. **орѣганъ**. Oba przekłady interpretują gr. *χορός* jako 'taniec': bułg. *хороиграње* i mac. *оро*, upowszechniona pożyczka grecka. Zwracają wreszcie uwagę dwa szczegóły przekładu bułgarskiego: już w pełni przyswojony grecyzm *тѣпанче*, dziś pisane *тъпанче* 'bębenek', na co wskazuje i refleks słowiańskiej samogłoski nosowej i bułgarski sufiks deminutywny, oraz *арфа*, której droga od niemieckiego *Harfe*, na co wskazuje bezpośrednio *Речник на българския език*¹¹ (I 319), nie jest znana. Zastąpiła ona (podobnie jak w przekładzie białoruskim, ale tam był to wyraźny polonizm) scs. **рѣсан**.

Do tej grupy przekładów należy też przekład serbski. Przytaczam go z nowego (1995) wydania tłumaczenia Ćury Daničića.

Przekład serbski

- (3) Хвалите га уз глас трубно,
хвалите га уз псалтир и гусле.
(4) Хвалите га с бубњем и весељем,
хвалите га уз жице и орган.
(5) Хвалите га уз јасне кимвале,
хвалите га уз кимвале громовне.

¹¹ *Речник на българския език*, София, wychodzi od roku 1977.

Tu dwa greczyzmy zastąpione są przez nazwy rodzime, co może się wiązać z filologicznymi zainteresowaniami tłumacza. Obcy *μυθναη* zastąpiony został w przekładzie Daničića przez swojski *бубаѣ* (Skok I 223-224), a na ogólne określenie instrumentu strunowego użyty został lokalny wyraz *жица* (Skok III 679-680). Grecki *χορός* zinterpretowany został jako *веселье*. Przymiotniki określające dźwięk cymbałów to *јасан* i *громовни*.

Osobną grupę stanowią przekłady z łaciny. Niejednokrotnie znajdują się one też pod wpływem tłumaczenia niemieckiego. Istnieją dwie wersje łacińskiej Wulgaty. Przekład z Septuaginty i przekład wprost z oryginału hebrajskiego.

Tekst Wulgaty według Septuaginty

Tekst Wulgaty według oryginału hebrajskiego

(3) laudate eum in sono tubae
 laudate eum in psalterio et cithara
 (4) laudate eum in tympano et choro
 laudate eum in cordis et organo
 (5) laudate eum in cymbalis bene sonantibus
 laudate eum in cymbalis iubilationis

(3) laudate eum in clangore bucinae
 laudate eum in psalterio et cithara
 (4) laudate eum in tympano et choro
 laudate eum in cordis et organo
 (5) laudate eum in cymbalis sonantibus
 laudate eum in cymbalis tinnientibus

Najstarszym słowiańskim przekładem z łaciny jest przekład czeski. Powstał on zapewne w 2. połowie w. XIII, znane są z tego wieku pewne fragmenty, ale w całości znany jest dopiero z rękopisów XIV-wiecznych. Ich wzajemną zależność i stosunek do oryginału łacińskiego opracował J. Vintr¹². Z XIV w. pochodzi również najstarszy polski rękopis, tzw. *Psalterz Floriański*. Obok tekstu polskiego rękopis ten zawiera też tekst łaciński (zgodny z przytoczonym tu przekładem z Septuaginty) i niemiecki. Kolejnym staropolskim rękopisem jest tzw. *Psalterz Puławski* z XV w.

¹² J. Vintr, *Die älteste tschechische Psalterübersetzung*, Wien 1986.

Ponizej podaję w uwspółcześnionej przez Vintra pisowni tekst staroczeski według XIV-wiecznego tak zwanego *Psalterza Wittenberskiego*, w zestawieniu z *Psalterzem Puławskim*, oraz tekst z *Psalterza Floriańskiego* wraz z jego równoległym tekstem niemieckim.

Tekst staroczeski	Staropolski tekst Psaltera Puławskiego
(3) Chwalte jeho v zvuce trubném chwalte jeho vžaltári a v húslech	(3) Chwalcze gy wzwycęze trębý; chwalcze gy wzoltarzu y wgęszlyoch.
(4) Chwalte jeho u bubně i v kőřě chwalte jeho v strunách i u varhaneich	(4) Chwalcze gy wbembnye y wkorze: chwalcze gy wstrunach y worganyech.
(5) Chwalte jeho v zvonečkách dobřě vzniecih	(5) Chwalcze gy wzwonkoch dobrze brznyięczych;
chwalte jeho v skrovadnicieh radostnyh	chwalcze gy wezwonkoch wyeszelya.
Polski tekst Psalterza Floriańskiego	Niemiecki tekst Psalterza Floriańskiego
(3) Chwalcze gy wzwęcze tręby chwalcze gy wżaltarzv ywgořzlih.	(3) Lobit en indem lawte der bozawnen lobit en indem zaltir vnd ynder harffen.
(4) Chwalcze gy wbębne ywgořlych chwalcze gy wřtrwnach yworganech.	(4) Lobit yn inden pawken vnde in dem chore lobit en inden zeyten vnd orgeln.
(5) Chwalcze gy wezwonkach dobrze wznęczych	(5) Lobit en in wollawtenden fchellen
chwalcze gy wezwonkoch wefela albo radořtnych.	lobit en in den fchellen der iubilyrunge.

Zachodniosłowiańskie (staroczeski i staropolski) przekłady Psalterza zachowują w niewielkim stopniu nazwy instrumentów genezy grecko-łacińskiej. Są to *psalterium* w czeskiej postaci fonetycznej *žaltář*, której podstawę stanowi staro-wysokoniemieckie *saltári* zapisane w niemieckiej części *Psalterza Floriańskiego*, a które z kolei przejęte zostało jako polskie *zaltarz*

| *zoltarz* (Szydł.¹³ 74-79). Łatwo przyswoiły się *organy* (Szydł. 194-203), w czeskiej fonetyce też *varhany*. Podobnie jak w przekładzie scs. *sonus tubae* to cz. *zvuk trubný*, pol. *związek trąby* (Szydł. 181-194), *cordae* - *struny*, a *cithara* - stcz. *húslé*, pol. *gęśli* (Szydł. 32-44). Nie zaakceptowane jest natomiast *tympanum*, tłumaczone jako *buben* - *bęben* (Szydł. 207-215), zaś *chorus*, może pod wpływem wzoru niemieckiego (w *Psalterzu Floriańskim* czytamy *in dem chore*), przejął czeski *Psalterz Wittenberski*, a za nim polski *Pulawski*. Nie zaakceptował obcego wyrazu tłumacz *Psalterza Floriańskiego*, powtarzając tu z wersetu wcześniejszego *gęśli*, a także dwa inne rękopisy staroczeskie, których tekst wariantowy *v tancu* | *v tanci* (jest to pożyczka niemiecka ze śrwn. *tanz* - Machek¹⁴ 635) przytacza Vintr w komentarzu filologicznym.

Osobliwością przekładów średniowiecznych jest brak akceptacji dla obcej nazwy 'cymbałów'. Oba teksty polskie mają tu rodzime *zvonki*, co jest zapewne następstwem skojarzenia z instrumentem w Polsce używanym (Szydł. 229-239), podobnie staroczeski *Psalterz Drezdeński*, przytoczony przez Vintra w komentarzu (*zvonci* - *zvonečky*). Staroczeski *Psalterz Wittenberski* ma na pierwszym miejscu *zvonečky*, ale na drugim ciekawą formację rodzimą *skrovadnicě*. Zapewne chodzi tu o instrument, którego charakter opisał *Słownik staropolski*¹⁵ pod hasłem *dzwoneczki* (II 342) jako 'instrument muzyczny składający się z dzwoneczków lub talerzy metalowych', bo stcz. *skrovadnicě* to niewątpliwie derywat od *skrovada* 'sartago', ros. *сковорода*

¹³ B. Szydłowska-Cegłowa, *Staropolskie nazewnictwo instrumentów muzycznych*, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.

¹⁴ V. Machek, *Etymologický slovník jazyka českého*, II vyd., Praha 1968. Dalej Machek.

¹⁵ *Słownik staropolski*, wydaje PAN od roku 1953.

(Gebauer¹⁶ I 547-548; Machek 548-549; Фасмер III 644; jednak formacji *skrovadnice* słowniki etymologiczne nie notują¹⁷). Byłby to więc instrument idiofoniczny, złożony z wielu brzęczących przy potrząsaniu okrągłych płytek metalowych. Nasuwa się przypuszczenie, że nieprzyjęcie w średniowieczu obcej nazwy cymbałów, nazwy, która zapanuje w języku i czeskim i polskim od czasów Renesansu, nastąpiło pod wpływem tłumaczenia niemieckiego, jakie przytoczył tłumacz Psalterza Floriańskiego: *Schellen*. W niemieckim przekładzie Lutra już tu są *Cimbeln*.

Wreszcie przymiotnikowe określenie dźwięku cymbałów. W pierwszej części wersetu 5 typ 'dobrze brzmiący' odpowiada łac. *bene sonans*, natomiast w drugiej łaciński genetyvus *iubilationis* oddany jest po czesku przymiotnikiem *radostný*, co powtórzył tłumacz *Floriańskiego*, niezależnie od określenia rzeczownikowego *wesela* (gen. sg.), powtózonego w *Psalterzu Pulawskim*.

Reformacja bardzo ożywiła prace tłumaczeniowe. Ukazuje się kilka przekładów i samego Psalterza i całej Biblii. Ograniczę się tu do tych ostatnich. W Polsce ukazały się dwa katolickie przekłady z łaciny: J. Leopoldy w r. 1561 i J. Wujka w r. 1599.

Przekład Leopoldy z r. 1561

- (3) Chwalćie go w głoju trąb:
chwalćie go ná pšalterzu y ná hárfie.
(4) Chwalćie go ná bębnie y w špiewániu
špolečným:
chwalćie go ná štrunách y orgáních.
(5) Chwalćie go ná cymbalech wdzięcznic
brzmiących:
chwalćie go ná cymbalech krzykliwych.

Przekład Wujka z r. 1599

- (3) Chwalćie go głoſem trąby:
chwalćie go ná árfie y ná cytrze.
(4) Chwalćie go ná bębnie y ná pifczalce:
chwalćie go ná ſtrunách y ná orgáních.
(5) Chwalćie go ná cymbaléch głoſnych:
chwalćie go ná cymbaléch krzykliwych.

¹⁶ J. Gebauer, *Historická mluvnice jazyka českého*, I, Hláskosloví, Praha 1963.

¹⁷ Zob. jeszcze J. Holub, F. Kopečný, *Etymologický slovník jazyka českého*, Praha 1952.

W XVI w. pojawiły się też w Polsce dwa przekłady Biblii oparte na oryginale greckim: kalwińska *Biblia Radziwillowska* czyli *Brzeska* (1563) i już w w. XVII ewangelicka *Gdańska* (1632).

Biblia Brzeska z r. 1563

- (3) Chwalcie go ná głośnych trąbách,
chwalcie go ná Jkrzypicach y ná hárfie.
(4) Chwalcie go ná bębnie y ná piszczalce,
chwalcie go ná regalech y ná orgániech.
(5) Chwalcie go z głośnemi cymbaly;
y z cymbaly wdzięcznie brzmiaceni.

Biblia Gdańska z r. 1632

- (3) Chwalcie go ná głośnych trąbách:
chwalcie go ná lutni y ná hárfie.
(4) Chwalcie go ná bębnie, y ná piszczalce:
chwalcie go ná ftronách, y ná orgánách.
(5) Chwalcie go ná cymbalách głośnych:
chwalcie go ná cymbalách krzykliwych.

Różnica między przekładem katolickim z łaciny a protestanckim z greki jest tylko jedna i ma charakter wyłącznie stylistyczny. Leopolda i Wujek mają konstrukcję *głos trąb*, Biblia Brzeska i Gdańska *głośne trąby*. Zróżnicowanie leksykalne, jakie występuje, ma charakter indywidualny. I tak znika czesko brzmiący *zaltarz*, a *psalterz* trzyma się jeszcze tylko u Leopolda i w poprzedzającym go przekładzie samego Psalterza W. Wróbla (1539), dla którego to jest tylko instrument muzyczny. Dla księgi biblijnej, *Psalterza*, zachował Wróbel jeszcze średniowieczną postać *Zoltarz*. W przekładach późniejszych, po Leopoldzie, pojawia się inny instrument chordofoniczny: w Biblii Brzeskiej rodzime *skrzypice* (Szydł. 79-93), u Wujka zapożyczona z niemieckiego (stwn. *har(p)fa*) - *arfa* (Szydł. 45-53), w Gdańskiej przejęta również z niemieckiego, (śrwn. *lute*, co z włoskiego *liuto*, wyrazu o genezie arabskiej) - *lutnia* (Szydł. 63-74). Znikają też średniowieczne *geśli*, a *cithara* - κιθάρα to u Wujka *cytra* (Szydł. 25-30), w pozostałych przekładach *harfa*. Nie ma różnic w nazwie *bębna*, natomiast w różny sposób potraktowany został *chorus*: u Leopolda jest to *śpiewanie społeczne*, pozostali tłumacze widzą tu instrument aerofoniczny - *piszczalkę* (Szydł. 150-157). We wszystkich przekładach są *organy*, ale ogólne określenie *struny* zamienił tłumacz Biblii Brzeskiej na *regaly*, instrument popularny

w XVI w., którego nazwę zapożyczono z niem. *das Regal* (Szydł. 203-206), XVI-wiecznej niemieckiej pożyczki z francuskiego *régale*. Znikają też średniowieczne *dzwoneczki*, upowszechniają się *cymbały* (Szydł. 219-227). Ich głos jest w pierwszej części wersetu 5 określony u Leopolda jako *wdzięcznie brzmiały*, u pozostałych tłumaczy jako *głośny*, w części drugiej z kolei jest *wdzięcznie brzmiały* w Biblii Brzeskiej, poza tym *krzykliwy*. Jak widać, renesansowi tłumacze polscy swobodnie operują nazwami instrumentów.

Chociaż wszyscy tłumacze protestancyjni znali przekład niemiecki Lutera, nie wywarł on w Polsce istotnego wpływu na charakter przekładu, inaczej niż w Słowenii i na Łużycach. Dlatego przed przyjrzeniem się ich przekładom warto poznać i sposób tłumaczenia Lutera.

Przekład słoweński Dalmatyna z r. 1584

- (3) Hvalite njega s' Trobentami:
Hvalite njega s' Pfalterjom inu s' Arfami.
(4) Hvalite njega s' Bobni inu s' Raji,
Hvalite njega s' Strunami inu s' Piŕhalmi.
(5) Hvalite njega s' glaŕniami Cymbali,
Hvalite njega s' Cymbali tiga vukanja.

Przekład Lutera z r. 1536

- (3) Lobet jn mit Poŕaunen,
Lobet jn mit Pfalter vnd Harffen,
(4) Lobet jn mit Paucken vnd Reigen,
Lobet jn mit Seiten vnd Pfeiffen.
(5) Lobet jn mit hellen Cimbeln,
Lobet jn mit wolkingenden Cimbeln.

Przekład górnołużycki opublikowany wraz z równoległym tekstem niemieckim Lutera w r. 1703.

- (3) Chwalće go ŕ-lobŕniami trubami,
chwalće ho ŕ-pŕfaltarom a na-harffi.
(4) Chwalće ho ŕ-bubnom, a na-piŕchczalach,
chwalće ho na-trunach a ŕ-piŕŕkanjom.
(5) Chwalće ho na-klinczazych zimbalach,
chwalće ho na-dere klinczazych zimbalach.

Współczesny przekład górnołużycki

- (3) Chwalće jeha z hlosom truby,
chwalće jeha z harfu a citaru.
(4) Chwalće jeha z bubonom a rejku,
chwalće jeha na trunach a z piŕczalku.
(5) Chwalće jeha z klinkotacyimi zwoŕŕkami,
chwalće jeha z klinczacyimi ŕcerkawkami.

I na koniec dla porównania obu języków łużyckich dwa XIX-wieczne wydania:

Wydanie dolnołużyckie z r. 1860

- (3) ChwałŃchó jogo Ń'tŃchubałami;
 chwałŃchó jogo Ń'pŃfalterom a Ń'harfu,
 (4) ChwałŃchó jogo Ń'bubonami a Ń'rejami;
 chwałŃchó jogo Ń'tŃchunami a Ń'Ńchwikalkami;
 (5) ChwałŃchó jogo Ń'kŃchutymi zymbłami,
 chwałŃchó jogo Ń'zymbłami, kenŃ rėdnie Ńnė.

Wydanie górnolużyckie z r. 1820

- (3) Kwalcze ho Ń ŁoŃom tych Trubow,
 kwalcze ho Ń PŃfalterjom a na Harfi.
 (4) Kwacze ho Ń Bubonom a na PŃŃchzelach,
 Kwalcze ho na Trunach a Ń PŃŃkanjom.
 (5) Kwalcze ho na kŃnczazych Zimbalach,
 Kwalcze ho na derje kŃnczazych Zimbalach.

Osobliwością przekładu słoweńskiego i przekładów łużyckich jest niemiecka (śrwn. *reie*) pożyczka: słwn. *raj*, łuŃ. *reja* z derywatem *rejka* 'taniec', odpowiednik niemieckiego *Reigen* (Schuster-Šewc¹⁸ 16, 1210, Bezljaj¹⁹ III 145). Jak pokazał E. Škulj, *raj* jest teŃ w przekładzie Trubara (1566), ale młodszy tłumacz, J. Japelj (1791-1796), usunął go na rzecz greczyzmu-latynizmu *kor*. Innych germanizmów w tym fragmencie przekładu Dalmatyna nie ma, chociaŃ w całym Psalterzu, jak pokazała F. Premk²⁰, jest ich sporo. W obu tekstach zwracają uwagę lokalne formacje słowotwórcze: słwn. *trobenta* 'trąba' (tak teŃ u Trubara; u Japelja *trobentanje* 'trąbienie' - Pleteršnik²¹ 694), dłuŃ. *tšubala* (Schuster-Šewc 20, 1549) 'trąba' i *šwikalka* (Schuster-Šewc 19, 1486) 'flet'. Rzeczą nietypową jest górnolużycka rezygnacja z tradycyjnego *cymbal* (moŃe ucieczka przed skojarzeniem z niem *Zimbel*?) na rzecz nazw lokalnych, którymi sã *zwóncki* i *šćerkawki*,

¹⁸ H. Schuster-Šewc, *Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache*, Bautzen od r. 1978. Dalej *Schuster-Šewc*.

¹⁹ F. Bezljaj, *Etimološki slovar slovenskega jezika*, Ljubljana od r. 1977. Dalej *Bezljaj*.

²⁰ F. Premk, *Korenine slovenskih psalmov*, Ljubljana 1992.

²¹ M. Pleteršnik, *Slovensko-nemški slovar*, I-II, Ljubljana 1894, reprint Ljubljana 1974. Dalej *Pleteršnik*.

tłumaczone przez Jakubaša²² (370) jako '(Kleinkinder-)Klapper', z wyjaśnieniem: 'Spielzeug' tj. 'dziecinna zabawka, grzechotka' (Schuster-Šewc 19,1415-1416). W przekładzie głosu cymbałów Dalmatyn (podobnie Trubar) ma wyrażenie *Cymbali tiga vukanja* (wyraz nie notowany przez Pleteršnika), Japelj nawiązuje do Wulgaty: *zymbali vesseli*.

Nie można wreszcie pominąć faktu, że w XVI w. pojawiły się u Słowian pierwsze przekłady z hebrajskiego.

Tekst hebrajski

הַלְלוּהוּ בְנִבְל וּבְזֹר:	(3) הַלְלוּהוּ בְּתַקַּע שׁוֹפָר
הַלְלוּהוּ בְּמִנִּים וְעָב:	(4) הַלְלוּהוּ בְּתֶף וּמְחֹל
הַלְלוּהוּ בְּצִלְצְלֵי תְרוּעָה:	(5) הַלְלוּהוּ בְּצִלְצְלֵי־שִׁמְעַ

W XVI w. ukazały się drukiem trzy słowiańskie przekłady Psalterza bezpośrednio z hebrajskiego: słoweński P. Trubara (1566), polski Sz. Budnego (1572) i czeski J. Vartovskiego (tzw. Biblia Kralicka, 1596). Przytaczam tu tekst polski i czeski.

Biblia Budnego z r. 1572

- (3) Chwalcie go dźwiękiem trąbnym, chwalcie go arfą y cytara.
 (4) Chwalcie go na bębnie y na pifczalce, chwalcie go na strunach y na domrze.
 (5) Chwalcie go na cymbalech głośnych, chwalcie go na cymbalech krzykliwych.

Biblia Kralicka z r. 1596

- (3) Chwalte geg zwukem trauby: chwalte geg na lautnu a cytaru;
 (4) Chwalte geg na buben a piffi'alu, chwalte geg na hufle a warhany;
 (5) Chwalte geg na cymbaly hlafyte, chwalte geg na cymbaly zwučne.

Budny wprowadził jeden nowy instrument: *domrę* w miejsce *organów*, jako odpowiednik hebr. אָבָ (‘*uḡāb*) 'orgue' i 'flûte' (Cohn 497). *Domra*, instrument i nazwa, przyszła do nas ze

²² F. Jakubaš, *Hornjoserbsko-němski slovník*, Budyšin/Bautzen 1954.

wschodu (por. tatarskie *dumbra*) przez Rosję (*ðompa* - Фасмер I 528), a w XVI w. znana jest tylko z kilku zapisów Budnego (Szydł. 30-32). Użył też Budny postaci głosowej *cytara*, obocznej do *cytra* w przekładzie Wujka. Tekst Biblii Kralickiej znacznie odbiega od przekładów średniowiecznych, przede wszystkim znika *žaltář*, zastępuje go znana i z tekstów polskich *loutna* 'lutnia'.

Sposób tłumaczenia przez Słowian hebrajskich nazw instrumentów pokazuje poniższe zestawienie, w którym uwzględnione są także odpowiedniki słoweńskie z przekładu P. Trubara, zestawione we wspomnianej wyżej pracy E. Škulja: תִּקְעַ שׁוֹפָר (*tēqa' šōpār* 'dźwięk rogu' [תִּקְעַ - *tāqa'* - 'sonner; שׁוֹפָר - *šōpār* - 'cor; corne'] Cohn 748; 679) - słwn. *trobenta*, pol. *dźwięk trąbny*, cz. *zvuk trouby*, נָחַל (*nēhel*) 'harpe, lyre' (Cohn 427) - słwn. *psalter*, pol. *arfa*, cz. *loutna*; כִּנּוֹר (*kinnôr*) 'violon' (Cohn 305) - słwn. *arfe*, pol. i cz. *cytara*; תֹּבֵן (*tōp*) 'tambour' (Cohn 744) - słwn. *bobni*, pol. *bęben*, cz. *buben*; מַחֹל (*māchól*) 'danse' (Cohn 356) - słwn. *raji*, pol. *piszczalka*, cz. *pišťala*; מִנִּיִּם (*minnim*) 'luth' (Cohn 380) - słwn. *strune*, pol. *struny*, cz. *husle*; עֲגָב (*ūgāb*) 'orgue' i 'flüte' (Cohn 497) - słwn. *pišali*, pol. *domra*, cz. *varhany*; צִלְצְלֵי־שָׁמַע (*cil^oc^olê šāma'*) 'cymbales sonores' (Cohn 702) - słwn. *cymbali glasni*, pol. *cymbały głośne*, cz. *cymbály hlasité*; צִלְצְלֵי תְרוּעָה (*cil^oc^olê t^orū'āh*) 'clameur; cris de cymbale' (Cohn 750; 583) - słwn. *cymbali vukanja*, pol. *cymbały krzykliwe*, cz. *cymbály zvúčné*.

Na zakończenie warto przyjrzeć się przekładom współczesnym. Nawiązują one w jakiejś mierze do tradycji, ale ich tłumacze operując nazwami instrumentów, mającymi we współczesnym języku już mocno ustalony walor i semantyczny i stylistyczny, wyrażają niejednokrotnie swoje własne, indywidualne odczucie psalterzowej pieśni.

Przekład słoweński

- (3) Hvalite ga z glasom roga,
hvalite ga s harfo in citrami;
(4) hvalite ga s bobnom in plesom,
hvalite ga s strunami in flavto;
(5) hvalite ga na cimbale zvočne,
hvalite ga na cimbale dončče!

Przekład czeski

- (3) Chvalte ho zvukem polnice,
chvalte ho harfou a citarou,
(4) chvalte ho bubnem a tanecem,
chvalte ho strunami a flétnou,
(5) chvalte ho zvučnými cymbály,
chvalte ho cymbály dunivými!

Przekład polski Biblii Tysiąclecia

- (3) Chwalcie go dźwiękiem rogu,
chwalcie Go na harfie i cytrze!
(4) Chwalcie Go bębniem i tańcem,
chwalcie Go na strunach i flecie!
(5) Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych,
chwalcie Go na cymbałach brzęczących.

Przekład chorwacki

- (3) Hvalite ga zvucima roga,
slavite ga harfom i citarom!
(4) Hvalite ga igrom i bubnjem,
slavite ga glazbalima zvonkim i frulom!
(5) Hvalite ga cimbalima zvučnim,
slavite ga cimbalima gromkim!

Przekład słowacki

- (3) Chváľte Ho zvukom trúby,
chváľte Ho harfou, citarou!
(4) Chváľte Ho bubnom v chorovode,
chváľte Ho strunami a pišťalou!
(5) Chváľte Ho hlasným cymbalom!
Chváľte Ho zvučným cymbalom!

Przekład polski Romana Brandstaettera

- (3) Chwalcie Go dźwiękiem trąb,
chwalcie go na harfie i cytrze,
(4) Chwalcie Go bębniem i tańcem,
chwalcie Go na strunach i fletach,
(5) Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach,
chwalcie Go na grzmiących cymbałach.

W tłumaczeniach tych pojawiło się kilka nowych nazw. Podobnie jak w przekładzie ukraińskim hebr. שֹׁפָר (*šôpār*) może być oddane przez *róg* (tak w przekładzie słoweńskim, chorwackim i polskim (Szydł. 164-169), choć tu możliwa i *trąba*, podobnie jak słowacka *trúba*. Natomiast przekład czeski nawiązuje do gr. σάλπιγξ 'trąba wojenna': *polnice* to według Machka (469) 'wojen. trubka', derywat od *pole*, *polni*. Odpowiednikiem hebr. מְחֹלָה (*māchôl*), gr. χορός, łac. *chorus* jest odpowiednio do języka słwn. *ples*, chorw. *igra*, cz. *tanec*, słwc. *chorovod* i pol. *taniec*. Pozostają *struny*, jedynie zastępują je chorwackie *glazbali zvonci*: *glazbali* to nie notowany przez Skoka (I 565, II 494) derywat od *glazba* 'muzyka'. Nowym instrumentem wprowadzonym w miejsce

hebr. נֶחֱשׁ (‘*uṣāh*) jest *flet*, wyraz pochodzenia romańskiego u nas przez śrwn. *flöute* (Szydł. 121-129), taka też jest geneza poszerzonego o sufiks *-na* cz. *flétna* (Machek 144). Natomiast słwn. *flavta* to pożyczka z włoskiego *flauto* (Pleteršnik I 201), zaś chorw. *flura* to pożyczka z rumuńskiego *fluer* (Skok I 533-534). Przekład słowacki zachowuje tradycyjną 'piszczalkę'. Jest to *pištala*. Powszechnie są *cymbały*, a ich dźwięk jest po słoweńsku *zvočni* i *doneči* (Bezłaj I 108), po chorwacku *zvučni* i *gromki*, po czesku *zvučný* i *dunivý* (Machek 134-135), po słowacku *hlasný* i *zvučný*, wreszcie po polsku *dźwięczny* i *brzęczący* lub *grzmiący*.

Przytoczony tu materiał porównawczy nie wyczerpuje oczywiście wszystkich istniejących przekładów.

Wykaz cytowanych tekstów

ספר תורה נביאים וכתובים מדויק היטיב על פי המסורה:
Hebrew Old Testament, wyd. N. H. Snaith, Suffolk 1989.

Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graecae iuxta LXX interpretes,
wyd. A. Rahlfs, I-II, Stuttgart 1935.

Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem, wyd. R. Weber, I-II, Stuttgart
1975.

Biblia, das ist die ganze Heilige Schrift Deutsch, von Mart. Luther,
Wittenberg 1536.

Przekłady słowiańskie

Cerkiewnosłowiańskie

Psalterze Synajski: I. C. Tarnanidis, *The Slavonic Manuscripts
Discovered in 1975 at St Catherine's Monastery on Mount Sinai*, Thessaloniki
1988.

Болонски псалтир. Български книжовен паметник от XIII век,
wyd. И. Дуйчев, София 1968.

Г. И. Вздорнов, *Исследование о Киевской псалтири. Киевская
псалтирь 1397 года*, I-II, Москва 1978.

Библия сиречь книги Ветхаго и Новаго Завета по языку словенску, Острог 1581; reprint Москва-Ленинград 1988.

Rosyjskie

Псалтирь или Книга хвалений на российском языке, Лондон 1854.

Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового завета. Синодальный перевод с изданий Московской Патриархии 1956-1968 гг., Брюссель 1973.

Ukraiński

Святе письмо Старого та Нового завіту, United Bible Societies 1990.

Bialoruski

Новы Завет. Псалтыр, Минск 1995.

Bulgarski

Библия или Свещеното писание на Стария и Новия завет, ревизирано издание, United Bible Societies 1994.

Macedoński

Свето писмо на Стариот и на Новиот завет, второ издание, Скопје-Ljubljana 1991.

Serbski

Свето писмо Старога и Новаго завета. Превео Стари завет Ђ. Данчић. Нови завет превео Вук Стеф. Караџић, Београд-Ljubljana 1995.

Chowacki

Biblija. Stari i Novi zavjet, Zagreb 1993.

Słoweńskie

Biblia, to je, vse Sveto Pismo, Starega ino Novega Testamenta. Slovenski tolmačena skusi Jurja Dalmatina. Wittenberg 1584. reprint Ljubljana 1968.

Sveto Pismo Stare in Nove zaveze, Ljubljana 1996.

Czeskie

J. Vintr. *Die älteste tschechische Psalterübersetzung,* Wien 1986.

Bibli Svata, to jest Kniha v niž se wšecká Pisma Svata Starého i Nového Zákona zdržují, (Kralice) 1591.

Bible. Pismo svatě Starého a Nového zákona. Podle ekumenického vydání z r. 1985. Praha 1990.

Słowacki

Biblia. Pismo sväté starej a novej zmluvy, Londyn 1979.

Górnolużyckie

Der Psalter des Königlichen Propheten Davids. auf sonderbare Anordnung zum gemeinen Gebrauch in die Wendische Sprache übersetzt und in öffentlichen Druck ausgegeben. Budissin 1703.

Biblia to je cyłe Swjate Pismo Starého a Nowého Zakonja predi wot D. Martena Luthera do Njemskeje (...) a wot njektorych Evangelskich Prjedarjow do horneje Lużiskeje Serskeje Rěčje (...) pšeložena. Budešin 1820.

Swjate Pismo Starého Zakonja, kniha psalmow. Budyšin 1968.

Dolnołużycki

Psalmj Dabita do serskeje rěčy pšestawjone wot I. F. Fryza, nęgajšęgo farańa v Golkojzach. Barliu 1860.

Polskie

L. Bernacki. *Psalterz Floriański lacińsko-polsko-niemiecki.* Lwów 1939.

S. Słoński. *Psalterz Pulawski,* Warszawa 1916.

W. Wróbel, *Żoltarz Dawidow*, Kraków 1539.

J. Leopolda, *Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Zakonu na Polski język z pilnością według Łacińskiej Biblii (...) wyłożona*, Kraków 1561, reprint: *Biblia Slavica*, Serie II, Band I, Paderborn-München-Wien-Zürich 1988.

Biblia Święta, to jest Księgi Starego i Nowego Zakonu własnie z Żydowskiego, Greckiego i Łacińskiego nowo na Polski język (...) wyłożone, Brześć Litewski 1563.

Sz. Budny, *Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Przymierza znowu z języka Ebrejskiego, Greckiego i Łacińskiego na Polski przełożone*, Nieśwież 1572; reprint: *Biblia Slavica*, Serie II, Band 3, Paderborn-München-Wien-Zürich 1994.

J. Wujek, *Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, według łacińskiego przekładu starego (...) na Polski (...) przełożone*, Kraków 1599.

Biblia Święta, to jest Księgi Starego i Nowego Przymierza z Żydowskiego i Greckiego języka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczone, Gdańsk 1632.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (Biblia Tysiąclecia), wyd. 3, Poznań-Warszawa 1980.

R. Brandstaetter, *Psalterz*, Warszawa 1989.

Л. Мошинский

Древнееврейские инструменты 150-го псалма
в славянских переводах
(От Синайской псалтыри до современности)

Предметом филологического анализа являются те названия музыкальных инструментов, которые выступают в тексте 150-го псалма не только в древнееврейском подлиннике, но и в греческом и латинском переводах, ставших основой славянских переводов.

Основой древнейшего перевода Кирилла и Мефодия был греческий подлинник. Первым славянским переводом была т. н. Синайская псалтырь, сохранившаяся в рукописи, лишенной, к сожалению, последних псалмов, которые, казалось, были навсегда утрачены. Благодаря последним (1975) находкам в Синайском монастыре Св. Екатерины и их каталогу, опубликованному Тарнанидисом, 150-й псалом стал доступен науке. Автор транслитерирует его древней кириллицей с фотографии в книге Тарнанидиса и сравнивает с двумя позднейшими рукописями и Острожской Библией.

Во второй части статьи автор анализирует способ перевода названий музыкальных инструментов этого псалма в современных переводах Псалтыри православных славян (используются русские, белорусский, украинский, болгарский, македонский и сербский переводы).

С латинской Вульгаты в Средневековье переводили чехи и поляки, переводы которых также подвергнуты анализу.

В XVI в. протестанты избегали католической Вульгаты и переводили с греческого (прежде всего поляки), древнееврейского (поляки, чехи, словенцы) или с немецкого перевода Мартина Лютера (словенцы, лужичане).

В последней части статьи анализируются некоторые совсем новые славянские переводы.

Автор обращает внимание на лексические, в основном текстовые, заимствования, своеобразную интерпретацию подлинника и постепенное проникновение в перевод псалма новых названий, употребляемых в живой речи, среди которых, наряду с новыми словообразованиями, есть и многочисленные заимствования, в отличие от первоначальных заимствований, перенятые непосредственно из переводимого подлинника; они вошли в славянские языки независимо от текста Псалтыри.

Глагольное действие sub specie adverbiorum

1. *охотно, с удовольствием, с радостью*

Почему светлой речи значение
Я с таким затруднением ищу?
Почему и простые реченья,
Словно темную тайну шепчу?

(А. А. Фет)

Наречие *охотно* в русском литературном языке, казалось бы, не содержит в себе ни тайн, ни загадок. Напротив, в полном соответствии со своим значением, это стилистически нейтральное, общеупотребительное и относительно высокочастотное слово¹ добродушно распахнуто навстречу первому же движению рефлектирующего языкового сознания даже не слишком искушенных в тонкостях семантического анализа носителей языка. «Что значит *охотно?*» — спрашиваю я студентов-первокурсников, только что переступивших порог университета, и все они без долгих раздумий и без затруднений, словно перед ними лежит раскрытый на нужной странице синонимический словарь, отвечают: «с *охотой*, с *готовностью*, с *желанием*, с *удовольствием*, с *радостью*»².

Толковые словари, лишь уточняя: «с большим желанием» (БАС, 8, 1767–1768; Уш., II, 1027; Ож., 444), «с большим удовольствием» (МАС, II, 729), согласно подтверждают эти синонимические толкования, подкрепляя их иллюстрациями, которые, по условию, должны представлять нормативные употребления *охотно* в нормативных типовых контекстах. Ср., например, в МАС: Алеша *охотно* брался за любую работу (Горбатов. Мое поколение) — ...брался за любую работу с *охотой* / с *большим желанием* / с *большим удовольствием* / с *готовностью* / с *радостью*.

Всякий, кто усомнится в чистоте подобных замещений, может — при содействии тех же словарей — прийти к тем же тождествам с другой стороны. Ибо если *охотно* = «с готовностью», то с *готовностью* = «охотно» (БАС, 3, 346); если *охотно* = «с охотой», то с *охотой* = «охотно» (Сл. яз. Пушкина, III, 255); если *охотно* = «с радостью», то с *радостью* = «охотно» (БАС, 12, 79) и т. д. Ср. еще: с *радостью* — «с полной готовностью, с охотой, с удовольствием» (МАС, III, 581).

Очевидно, что *охотно* в таком представлении оказывается элементом ряда дублетов, абсолютных эквивалентов, неподвижных тождеств, создающих при переходе от одного к другому лишь иллюзию движения в замкнутом синонимическом кругу. Здесь, как и во множестве других подобных случаях, картина, которую рисуют словари, — это стоп-кадр, остановленное и тем самым омертвленное мгновение, и притом — мгновение столетней давности³. «И пришла буря, и прошла буря; и океан замерз, но замерз с поднятыми волнами; храня театральный вид движения и беспокойства, но в самом деле (sic!) мертвее, чем когда-нибудь...» (М. Ю. Лермонтов — С. А. Бахметьевой, август 1832). В эту мертвую картину нужно вдохнуть жизнь, живое движение которой и есть одновременно и тайна, и разгадка тайны.

* * *

Выделим прежде всего в составе нашего синонимического комплекса три наиболее употребительных члена — *охотно*, *с удовольствием*, *с радостью* — и рассмотрим некоторые примеры их живого употребления.

А. Я послал с горничной ответ, в котором предлагал Саше избрать местом для rendez-vous какой-нибудь сад или бульвар. Мое предложение было *охотно принято* (А. Чехов. Любовь); Этот генерал... отнюдь не считал себя благодетелем Ивана Федоровича, относился к нему совершенно спокойно, хотя и *с удовольствием пользовался* многообразными его услугами... (Ф. Достоевский. Идиот, 4, VII); — Я, конечно, *с радостью отдала бы* все эти тряпки, но вот в чем беда: они не мои... (Д. Мережковский. Воскрешшие боги, 7, VI).

Б. Князь... был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить слова. Настасья Филипповна *заметила это с удовольствием* (Ф. Достоевский. Идиот, I, XIII); Сельма пошла дальше, а Андрей, *проводив ее с удовольствием глазами*, свернул и направился к западному подъезду (А. и Б. Стругацкие. Град обреченный); ...ему вспоминается его хозяйственная деятельность, и опять не на чем *остановиться с радостью в этих воспоминаниях* (Л. Толстой. Казаки, II); ...его гениальный «Марбург», который и сейчас по-прежнему близок молодым стихолобам, в чем я не раз *с радостью убеждался* (В. Виленкин. О Б. Л. Пастернаке).

В. Он свел всё к одному прямому налогу, самому справедливому и *охотно всеми платимому*... (В. А. Панаев. Воспоминания);

Коврин теперь ясно сознавал, что он — посредственность, и *охотно мирился с этим* (А. Чехов. Черный монах, IX); Я ударил тревогу, и Сева *охотно на нее отозвался* (В. Тендряков. Покушение на миражи. I, 3); — Ну как? — спросил он. Это о том, какие у меня были волосы. — Что ж, сейчас лето, — отвечаю, так будет легче, — Это так, — *охотно согласился* он. — Я, когда был моложе, всегда брился догола... (Ю. Домбровский. Записки мелкого хулигана).

Совершенно очевидно, что во всем этом материале нет ни одного случая, где бы употребление наречия *охотно* и определителей *с удовольствием, с радостью* не соответствовало действующей в литературном языке и интуитивно осознаваемой нами норме. Тем не менее — и в этом легко убедиться — за пределами группы А они не обнаруживают признаков эквивалентности и их заместительное использование оказывается невозможным.

Так, в примерах группы Б определители *с удовольствием, с радостью* не поддаются замене наречием *охотно*. Ср.: *Настасья Филипповна заметила это *охотно*; *Андрей проводил ее *охотно глазами*; *...в чем я не раз *охотно убеждался*... Точно так же, в примерах группы В *охотно* нельзя заменить на *с удовольствием, с радостью*. Ср.: *...налог, *с удовольствием / с радостью всеми платимый*; *Коврин... *с удовольствием / с радостью мирился с этим*; *Я ударил тревогу, и Сева *с удовольствием / с радостью на нее отозвался*...

При этом важно понять, что в примерах группы Б это «нельзя», по-видимому, связано с действием какого-то специфического внутреннего механизма самого языка («так не говорят»), тогда как в примерах группы В «нельзя» диктуется извне — логикой человеческих отношений, чувств и оценок во внеязыковом мире («так не бывает»). Высказывание *Андрей *охотно проводил ее глазами* — неправильное: оно нарушает какую-то, пока нам не известную, языковую норму. Высказывание *Я *ударил тревогу, и Сева с удовольствием / с радостью на нее отозвался* — правильное, но несколько странное: оно как о нормальном сообщает о том, что нарушает некоторую жизненную норму. Эта неписаная (а не писаная потому, что естественная и сама собой разумеющаяся) норма состоит в том, что люди могут *охотно* платить разумные и справедливые налоги, мириться с сознанием собственного несовершенства, откликаться на удар тревоги, признавать справедливость справедливых высказываний собеседника и т. п., но не должны (а иногда и должны не!) испытывать при этом ни радости ни удовольствия.

Исходя из сказанного, мы можем утверждать, что:

1. Не всякое действие, которое осуществляется с удовольствием и/или с радостью, может быть охарактеризовано как *осуществляемое охотно*.

2. Осуществляя какое-либо действие охотно, мы не обязательно должны испытывать при этом удовольствие и/или радость.

Это значит, что *охотно* в современном русском литературном языке, хотя и связано некоторым образом с назначенными ему в эквиваленты определителями с *удовольствием* и с *радостью*, тем не менее отнюдь не тождественно им по значению.

Дополнительным доказательством этого могут служить обороты, в которых *охотно* и его эквиваленты соединены выделительно-усилительной частицей *даже*: *Офицеры охотно и даже с удовольствием поддавались этому соблазну* (В. Золотарев. В горах Кавказа); *Человек весьма охотно и даже с радостью освобождается от всяких человеческих уз, — только будь оправдание...* (И. Бунин. Конец, II). Ср. также: *Все страдания, как бы тяжелы они ни были, вплоть до позорнейшей смерти, я приму на себя не только охотно, но и с радостью...* (Н. Соколов. Перевод с нем. [И. Кант. Религия в пределах только разума]) и др.

Обороты с *охотно* в такого рода высказываниях являются не градуально-степенными единствами (ср. ...когда-то она была *очень красивой*, говорили *даже*, что *красавицей*. — Л. Авилова. Воспоминания; ...событие *знаменательное, даже историческое*. — С. Довлатов. Марш одиночек; Мне было *неприятно, даже противно*. — М. Осоргин. Повесть о сестре), как это может показаться на первый взгляд, а единствами градуально-количественного типа (ср.: Будет тебе *книжка, и даже с картинками...* С. Прокофьев. Мальчики; — А там ты зарабатываешь себе *на кусок хлеба, и даже с маслом...* А. Левитов. Приехали...), поскольку — вопреки категорически высказанному утверждению авторов «Словаря синонимов русского языка» (Евгеньева 1971, II, 110) — означаемые их составляющих обнаруживают не степенные, а сущностные различия: за наречием *охотно* стоит волевая, а за оборотами с *удовольствием* / *с радостью* — чувственная сфера. То, что у них является общим, то, что объединяет их парадигматически, что делает возможным — при некоторых условиях — их синтагматическое соединение и совмещение их семантических комплексов, — может быть интерпретировано как 'положительная реакция на что-либо'. При этом *охотно* как волевая реакция предшествует действию,

тогда как *удовольствие* и *радость* как чувственные реакции сопутствуют действию на протяжении всей его длительности.

* * *

Отметим прежде всего, что Удовольствие (ср. словарное толкование *удовольствия* как «чувства радости, довольства» — МАС, IV, 469) — это не просто чувство. Это — чувственная реакция. Удовольствие всегда — удовольствие от чего-либо, и этим, в частности, оно отличается от Радости, которая может быть и «ни от чего» (ср. *беспричинная радость*, но не **беспричинное удовольствие*). При этом Удовольствие — прежде всего чувственно-физиологическая реакция, тогда как Радость имеет более высокую чувственно-психическую природу. Определяя *удовольствие* как «чувство радости», а *радость* — как «чувство удовольствия» (МАС, III, 581), лексикографы должны были бы уточнить, что *удовольствие* — это радость тела, а *радость* — удовольствие духа. Радость, с категориально-сущностной точки зрения, это и «чувственная реакция» (*радость*, как и *удовольствие*, испытывают: *Я с радостью узнал, что... / Узнав, что..., я испытал радость*), и «чувство» (*радость*, в отличие от *удовольствия*, переживают, и сама она, как и другие чувства, живет в человеке), и «чувственное состояние», в котором пребывают: *Не в радости ли просыпался я всякое утро?* (Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника); ...чтобы художник, если бы удалось ему заглянуть в душу своего слушателя и читателя, *сказал бы в радости...* (Н. А. Ильин. О чтении и критике, 1). Ср. также *радостный настрой*, *радостное настроение*, *радостное расположение духа*. Радость причастна почти ко всем сторонам и проявлениям человеческой жизни, и ничто человеческое, кроме разве чистой физиологии, ей не чуждо. Удовольствие же располагает относительно ограниченным диапазоном. Оно может быть одухотворено, но возвыситься до верхней границы радости (*небесная, святая радость*) оно все-таки не может. Радость не случайно входит в круг центральных понятийно-идеологических комплексов христианского вероучения (ср.: «Чем большую радость мы испытываем, тем более растет наше совершенство и тем в большей степени мы становимся причастны к божественной природе...» [Спиноза 1957, 1, 118]), и не случайно ей посвящена великая ода. Удовольствие же принадлежит исключительно и безраздельно профанному миру. Оно индивидуально, эгоистично и, с христи-

анской точки зрения, греховно (поэтому приходится говорить о *невинных удовольствиях*). Не случайна его связь с такими этическими категориями, как Искушение и Соблазн. Радость же по природе альтруистична. Именно поэтому возможна и нормальна *радость за другого*. Удовольствие за другого не получишь. Можно, разумеется, *радоваться про себя* (*тихая, скрытая, тайная радость*), но полнота радости достигается лишь тогда, когда она *разделяется с другими*. Показательно поэтому, что глагол *радоваться*, как и прилагательное *рад*, управляет дательным падежом имени, в котором значение каузатора эмоционального состояния совмещается со значением адресата: радость возвращается тому, кто является ее источником. Ср. также направительно-объектное значение винительного падежа в оборотах *радоваться* (*не нардоваться*) *на кого, что-либо* и этимологическое значение 'вокруг' («окружать радостью») в ц.-слав. *радоватися о ком*. Радость межличностна, тогда как Удовольствие замкнуто в человеке. *Радостью* можно *заразиться* и *заразить*, можно *поделиться*, передавая ее другому или рассказав о ней. Поэтому *невыразимая радость* — экспрессивное преувеличение. Удовольствие же, действительно, *невыразимо*. Поэтому *выразить удовольствие* — всего лишь этикетная формула выражения благодарности за доставленное удовольствие. Удовольствием нельзя поделиться. Его можно лишь *разделить*, но, приглашая других сделать это, мы лишь приобщаем их к источнику удовольствия, которое каждый сможет испытать затем только в одиночку, Радость *надличностна*. Она может *овладевать всем существом человека и, переполняя его, выливаться, выплескиваться вовне* (ср. *дышать, светиться радостью; рвущаяся наружу радость*), растворяясь в окружающем мире. Поэтому говорят об *атмосфере радости*. От человека в мир и из мира в человека — таков нормальный круг радости, которая может переживаться не только отдельной личностью, но также группой людей, целым народом или страной. Удовольствие всенародным не бывает. Как соборное чувство, преодолевающее страдания, уныние и скорбь, Радость способна становиться состоянием природы (ср. икону «Радуется о Тебе, обрадованная, вся земная тварь») и вливаться в космос (ср. слова О. Мандельштама о *космической радости* у Тютчева). *Радость мира и природы* — конечно, метафора. Но нет подобной метафоры на *удовольствии*, и Удовольствия природа не знает. Радость активна и поэтому может быть причиной (ср. простореч. *с какой радости?*) и иметь (нередко в гиперболическом выражении) многообразные следствия: *забыть себя, забыть обо всем* (ср. *рад без памяти*), *потерять рассудок, поте-*

рять голову (ср. головокружительная радость), обезуметь, помешаться, сойти с ума, потерять сон, лишиться чувств, не чувствовать под собой ног, трепетать vs. дрожать; плакать vs. рыдать (отсюда слезы радости); прыгать, скакать, танцевать vs. плясать, «умирать» и т. п. Ср.: Я не вспомнил тогда сам себя от радости (А. Т. Болотов. Записки, 90); Сердце невольно прыгает от радости (С. П. Жихарев. Записки современника, 26 дек. 1806); Ефросинья даже терялась от радости (Н. С. Лесков. Невинный Пруденций, X). Сердце то замирало, то билось так, что казалось, вот-вот разорвется, и он сейчас умрет от радости (Д. Мережковский. Петр и Алексей, 8, 1). Ср. еще: ...Финоген Иваныч с радости выпил и теперь спал на поваровой постели... (Л. Андреев. В темную даль, I). Удовольствие, будучи лишь чувственной реакцией на действенный стимул (принципиально важно, что каузатор Удовольствия, каков бы он ни был, «не дотягивает» до ранга «причины» или «основания»), само не может быть причиной чего-либо и — в отличие от Радости — имеет не следствия, а свидетельствующие о его высокой степени многообразные симптоматические проявления физиологического характера (дрожать, краснеть, кричать, мурлыкать, мычать, отдуваться, повизгивать, стонать, фыркать и т. п. от удовольствия). Ср. еще: Зина даже вспыхнула от удовольствия (В. Соловьев. Великий розенкрейцер, 1, II); ... сказал Голубев, млея от удовольствия (А. Пинчук. Повесть о верности, 2); Он вошел в гостиную и как-то весь обмяк от удовольствия... (В. Набоков. Защита Лужина, 8); Фирсов даже хихикнул от удовольствия (З. Гареев. Когда кричат чужие птицы); Он даже причмокнул от удовольствия (Р. Киреев. Песни Овидия, 5).

Не исчерпывая всей глубины и сложности проблемы (см. об этом специальную работу автора [Пеньковский 1991, 148—154]), сказанное позволяет понять то исходное противопоставление «телесного — духовного», на котором основано соотношение между определителями с удовольствием — с радостью.

Первый естественно и понятно тяготеет к глаголам «низких», физиологически-телесных и бытовых физических действий: с удовольствием зевнуть, потянуться, чихнуть, откашляться, вдохнуть, выдохнуть, высморкаться, почесаться, выпить, съесть, закусить, закурить, затянуться, взять в руки, сесть, лечь, встать, походить, побегать и т. п. Ср.: Она ровно дышала, улыбалась и, по-видимому, спала с удовольствием (А. Чехов. Учитель словесности); Те, что уже запаслись кипятком, бодро бегут с вокзала назад, с удовольствием

зябнут, с ернической веселостью торгуются на бегу с бабами (И. Бунин. Жизнь Арсеньева).

Второй нормально ориентирован на глаголы «высоких», ментальных действий: *с радостью осознать, понять, решить, убедиться, угадать, узнать* и т. п. Ср.: Сегодня я *с радостью освободился от мучавших меня сомнений* (Я. Колбасин — И. С. Тургеневу, 25 авг. 1868); ...то и дело сжималось сердце при взгляде на мать и Баскакова; но сейчас же я *с радостью говорю себе*: все это еще не скоро! (И. Бунин. Жизнь Арсеньева).

Понятно, однако, что никакой стены между телесным и духовным, физическим и ментальным, физиологией и психикой нет и быть не может. Сферы эти естественно взаимосвязаны и взаимодействуют, и границы между ними диффузно размыты. Самые высокие ментальные действия могут обнаруживать свою физиологическую и физическую подкладку. Самые грубые физические действия подконтрольны сознанию и могут быть одухотворены. Одно и то же действие человек может осуществлять по-разному: как телесное существо, как психический субъект и как целостная личность, причастная миру и включенная в те или иные межличностные связи.

Поэтому *писать роман, решать шахматную задачу, философствовать, вспоминать о встрече, слушать музыку, смотреть на что-либо (на кого-либо), рассказывать о чем-либо, копать грядки, обрезать деревья, колоть дрова, мыть полы, варить обед* и т. п. можно и *с удовольствием, и с радостью*. Ср.: В это утро проснулся я рано и *с удовольствием встал, с удовольствием умылся...* (В. Голышкин. Кеша) — Я ушел спать в третьем часу, но многие остались пировать. *С радостью встал* я на другой день, зная, что это последний день нашей праздности (И. С. Аксаков — родным, 3 сент. 1844).

Во всех таких случаях определитель *с удовольствием* не только обозначает определенный тип положительной эмоциональной реакции на некоторое действие, но и характеризует само это действие как ее прямой и непосредственный стимул. Именно действие, действие как процесс, может доставить нам удовольствие. Только действуя, мы можем получить удовольствие. Это совершенно очевидно, когда речь идет о физиологически-телесных и физических действиях, но это справедливо и в отношении любых других, в том числе и высоких ментальных действий, если они имеют доступную ощущениям физическую подоснову. Именно о таких действиях (*слушать музыку, смотреть картины Тарковского, беседовать с умным человеком, решать математические*

задачи и т. п.) говорят, что они *доставляют чисто физическое удовольствие*. При этом важно одно: такое действие должно быть активным, намеренным, целенаправленным действием самого субъекта чувственной реакции. Ее стимулом может быть, естественно, и отрицательное действие, т. е. активное недействие (то, что называется *dolce far niente* — *сладкое ничегонеделание*), и активное пребывание в том или ином состоянии (*сидеть, стоять, лежать, валяться*).

Что касается действий, совершаемых во внешнем мире другими, и в частности действий, совершаемых другими специально для нас (*для нашего удовольствия*), то — вопреки поверхностной форме описывающих подобные ситуации высказываний (*Ваша игра доставила мне удовольствие / Вы доставили мне удовольствие вашей игрой / Я получил удовольствие от вашей игры*) — они должны рассматриваться не как стимул, а как *источник удовольствия*. Стимулом же, в соответствии со сказанным выше, здесь, как и в любом другом случае, является собственное действие «получившего удовольствие Я». Не названное, но необходимое, оно легко восстанавливается простейшими трансформациями: *Я с удовольствием слушал (смотрел на) вашу игру / следил за вашей игрой / внимал вашей игре...*

Источник-стимул (действие) и реакция (удовольствие) находятся в прямом и непосредственном контакте. Не случайно поэтому, что они могут обозначаться слитно, в целостной семантической структуре. Ср. *любоваться* ‘смотреть на кого-/что-либо с удовольствием’ vs. ‘испытывать удовольствие, наблюдая чьи-либо действия’; *смаковать* ‘есть или пить намеренно неторопливо, небольшими порциями, стараясь продлить получаемое удовольствие’ vs. ‘сообщать или воспринимать что-либо, с особым удовольствием задерживаясь на отдельных деталях’ и др. Сюда же: *вкушать* (ср.: *он не ел, а вкушал*), а также *предвкушать*.

Глаголов, в значение которых в качестве семантической составляющей входило бы ‘с радостью’, в русском языке, по-видимому, нет. Это можно было бы объяснить тем, что *с радостью* характеризует действие не как непосредственный стимул эмоциональной реакции, а как стимул стимула, находящегося вне действия — в ментальной сфере. Так, *слушая с радостью* первое исполнение симфонии А. Шнитке, мы можем (отнюдь не обязательно получая удовольствие от этой музыки и/или от ее исполнения) радоваться тому, что этот недавно еще запретный композитор стал наконец доступен широкой аудитории, что нам удалось попасть на этот (престижный) концерт и т. п. Равным образом,

радость, которую мы испытываем, перекапывая землю на даче (независимо от того, насколько нам приятна сама физическая работа), может быть вызвана мыслями о будущем урожае, о стариках-родителях, которым мы помогаем, сознанием самопреодоления и т. п. Ср. в приведенном выше примере: *...с радостью встал, зная, что...*

Можно сказать поэтому, что *с радостью* — это знак положительной эмоциональной реакции, опосредованной мыслью, или, если попытаться выразить это более широко и осторожно, имеющей ментальное опосредование. Ментальная природа этого опосредования убедительно свидетельствуется тем, что в определенном типе перифраз — высказываний, содержащих *с радостью*, — оно получает выражение в фактуальных номинализациях: *Я с радостью ухаживала за ним — Ухаживать за ним было радостью для меня — То, что я ухаживала за ним, было радостью для меня.* «Факты» же, как показала Н. Д. Арутюнова, не локализованы в мире событий — они принадлежат миру знаний о мире (Арутюнова 1988, 168). Отсюда такие клишированные обороты: *Сознание того, что..., вызывало у него радость; Мысль о том, что..., наполняла радостью / вселяла радость в его сердце / в его душу и т. п.* В этой связи могут быть отмечены и т. н. «каузативные перифразы»: *То, что я ухаживала за ним, радовало меня.*

Высказывания, в состав которых входит *с удовольствием*, подобными возможностями не располагают. Ср.: *Митя с удовольствием выпил бутылку пива* (И. Бунин. Митина любовь) — *Выпить бутылку пива было удовольствием для Мити — *То, что Митя выпил бутылку пива, было удовольствием для него / доставило ему удовольствие.* Ср. также: *...с радостью, что самое страшное уже позади, помолилась, легла в постель и спокойно заснула* (Н. Д. Хвоцинская. Горе), но не **с удовольствием, что...*⁴. В надежде не слишком огрубить реальные отношения, можно было бы сказать, что *с удовольствием* значит 'ощущая, что мне/тебе/ему хорошо/приятно', тогда как *с радостью* — 'чувствуя, понимая, зная, что это хорошо'. Библейское *...И увидел Бог, что это хорошо* (Быт., I, 26 и др.) говорит не об Удовольствии — о Радости.

Парадигматическое противопоставление определителей *с удовольствием* — *с радостью*, различающихся в тождественном окружении: *смотреть на кого-либо с удовольствием* (любуясь красотой) — *смотреть на кого-либо с радостью* (думая о счастье встречи) и способных доводить эти различия до степени контраста (так, если в предложении *Сельма пошла дальше, а Андрей, с удовольствием проводив ее глазами, свернул и направился к западному*

подъезду заменить *удовольствие* — *радостью*, то любящий окажется разлюбившим, а взгляд любви превратится во взгляд избавления), естественно дополняется их синтагматическим противопоставлением, также выявляющим специфику их значений: Письмо ваше *получила с радостью, прочитала — с удовольствием* (Е. П. Растопчина — А. В. Дружинину, 27 мая 1854); ...то, что еще вчера было обузой и тяжестью, *делается сегодня не просто с удовольствием, а даже с радостью...* (П. А. Валуев. Дневники).

Очевидно, таким образом, что обороты *с удовольствием* vs. *с радостью* не являются дублетами и не находятся в отношениях эквивалентности. Есть все основания считать, что они образуют привативную оппозицию с немаркированным первым и маркированным вторым членом.

Действительно, *с радостью* всегда сохраняет чистоту своей ментальной семантики, и никакие особенности контекста не могут «отелеснить» ее. Более того, отталкиваясь от грубого и низменного в значениях определяемых глаголов, ментальное в *с радостью* взмывает в область таких абстракций, как 'возможность', 'право' и т. п. В этом отношении показательны сочетания, в которых *с радостью* находится при глаголах «низких» физиологических действий, ресурсы которых в качестве площадки для взлёта и воспарения радостного сознания крайне ограничены. Так, какое-нибудь *откашляться с радостью* может быть понято, вероятно, только в смысле 'что наконец-то удалось сделать это'.

С удовольствием же, поскольку ощущения подконтрольны сознанию и доступны осознанию, способно «ментализоваться» и, освобождаясь от тех компонентов значения, которые связаны с физическим характером действия и с «физическим» же в субъекте чувственной реакции, вторгаться в сферу действия своего противочлена: *с удовольствием — с радостью смотреть на...*, но: *с радостью / с удовольствием видеть, что...*; *с удовольствием — с радостью слушать что-/кого-либо, но: с радостью / с удовольствием услышать, что...* Ср.: Я *с радостью вижу из ваших поступков, что* вы изменили свое отношение к людям... (А. Н. Апухтин. Неоконченная повесть) — Я вот сейчас вычитал в газете проект о судебных преобразованиях в России и *с удовольствием вижу, что* и у нас хватились, наконец, ума-разума... (И. С. Тургенев. Дым). Ср. еще: ...в сенях встретила глухую Марфу..., спросила у нее, что ей нужно, и *с удовольствием услышала, что она к Маше...* (Т. Л. Сухотина-Толстая. Дневник); *С удовольствием узнал о Вашем возвращении...* и очень хотел бы Вас повидать (М. Горький — К. Пятницкому, 15 дек. 1919).

Предложенная интерпретация пары *с удовольствием* — *с радостью* (аналогично устроены и пары ее синонимических и антонимических соответствий: *с наслаждением* — *с восхищением* / *с восторгом*; *с отвращением* — *с тоской*) как привативной нейтрализуемой оппозиции может быть подкреплена рядом фактов системного характера, свидетельствующих о том, что *с удовольствием*, как это свойственно вообще немаркированным членам, отличается от своего противочлена не только более широким значением, а следовательно, и более свободным употреблением и большей частотой (5 : 1)⁶, но и более широкими, разветвленными и многообразными — и в истории, и в синхронии — парадигматическими лексико-семантическими связями.

(1) Будучи носителем общеоценочного значения, т. е. значения обобщенной «гедонистической», см.: (Аругюнова 1988, 69) оценки, не дифференцирующей различные сенсорные зоны, где формируются ощущения, *с удовольствием* подчиняет себе ряд специализированных частнооценочных определителей, которые «приспособлены» к соответствующим действиям: *есть и пить с удовольствием* / *с аппетитом*; *читать, слушать (лекцию), рассматривать (картину) с удовольствием* / *с интересом* и др. Ср.: ...пес положил на полдохлого котенка. Хозяин, смеясь, вышвырнул котенка на двор. Тузик... подошел к котенку и *с аппетитом съел*. Вот не съел сразу, как нашел... *С удовольствием съел бы*, но долгом почел своим отнести... (В. Вересаев. Друзья в масках). Ср. также устар. *с вкусом*: Приправив кашу чухонским маслом, выпораживал я ее *с особливым вкусом*... (А. Т. Болотов. Записки).

Показательно, что невозможны сочинительные объединения обобщающего с подчиненными ему единицами — *с удовольствием* и *с радостью* (фиксированный порядок элементов этого сочетания не случаен: он также характеризует *с радостью* как маркированный член оппозиции — см. об этом типе отношений в работе [Гинзбург 1985, 18–21]), но не **с удовольствием* и *с аппетитом*, **с аппетитом* и *с удовольствием*, но зато возможно повышение частных в ранге до уровня обобщающего. Ср.: Когда он, выпятив вперед свой большой живот и поглаживая бакены, проходил мимо Яншина и ласково поглядывал на него своими масляными глазами, то Яншину казалось, что этот человек *живет с большим аппетитом*... Яншин всякий раз почему-то вспоминал, что ему уже тридцать один год и что он ни одного дня *не прожил с удовольствием*... (А. Чехов. Расстройство с компенсацией). Ср. также простореч. *со смаком*: О Президиуме [Союза Писателей СССР] рассказывают,

что там выступали не сквозь зубы, не вынужденно, а *с аппетитом, со вкусом...* (Л. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой, П. — 30 окт. 1958). — *С радостью* подчиненных частнооценочных единиц не имеет.

(2) Будучи немаркированным членом в оппозиции *с удовольствием* — *с радостью*, определитель *с удовольствием* входит еще в противопоставление *с удовольствием* — *с неудовольствием*, в котором также является немаркированным, поскольку *неудовольствие* (как и близкое ему *недовольство*) принадлежит всецело ментальной сфере: *с неудовольствием* *сказал, высказался, отозвался, посмотрел, взглянул* и т. п., но не **с неудовольствием съел тарелку щей, выпил чаю, выкурил сигарету* и т. п., причем переносит акцент с действия на его ментальное содержание. (Можно было бы указать и на другие проявления асимметрии в паре *удовольствие* — *неудовольствие*.) — *С радостью* (как и *радость* в лексемном целом) отрицательного противочлена (**с нерадостью, *нерадостью*) не имеет.

(3) Образую симметричные пары с контрадикторными оборотами *с без* (*без удовольствия* — *без радости*), обозначающими отсутствие чувственной реакции на действие («эмоциональную пустоту») как нарушение некоторого ожидаемого нормального порядка вещей, *с удовольствием* — *с радостью* вновь расходятся в отношении к параллельным оборотам *с не без*: *с удовольствием* — *без удовольствия* — *не без удовольствия*, но: *с радостью* — *без радости* — **не без радости*. Ср. также: *с полным удовольствием* — **с полной радостью*. Возможно, что за дефектностью таких пар стоят различия в представлениях о субстанциональной природе обозначаемых эмоций. В отличие от Удовольствия, Радость, поскольку она (как это вообще характерно для осознания эмоций — см. [Аругюнова 1976, 99–105]) мыслится в образах жидкого, текучего, льющегося (*радость* способна *нахлынуть, прихлынуть и отхлынуть, литься потоками, заливать душу, выливаться из души, пить из чаши радости* и т. п. — см. [Пеньковский 1991, 151]), не может быть частичной или неполной. Каждая ее «капля» (ср.: *пить радость по капле, ни капли радости* и т. п.) должна обладать всей полнотой признаков целого.

(4) На протяжении длительного времени *с удовольствием* в русском литературном языке — в соответствии с общими принципами организации адвербиальных объединений на началах свободного варьирования (Пеньковский 1988, 56) — функционировало в составе широкого круга дублетов, имея влиятельных и мощных конкурентов.

Вплоть до конца третьей четверти XIX в. в той же общеоценочной функции — на правах абсолютного синонима — использовались определители *с приятностью* vs. *с чувством*: Она допивала, кажется, пятую чашку чаю, *с приятностию поднося ко рту блюдечко*, которое держала на оконечностях пальцев (М. С. Жукова. Вечера на Карповке); Он продолжал кушать, как всегда с большим аппетитом... и *с прежнею приятностию выпивал за обедом бутылку доброго шери* (И. И. Панаев. Литературные воспоминания); Мои пешеходные прогулки произошли *с приятностью* (А. В. Дружинин. Дневник, 25 янв. 1854); Заметка *читается с приятностью* (Е. П. Растопчина — А. В. Дружинину, 24 окт. 1854)⁶. Ср. также: Василий Иванович *выпил с чувством три стакана чаю*... (В. А. Сокологуб. Тарантас, XVII. — 1840).

На протяжении всего XIX в. в этот круг дублетов на тех же самых правах входило и наречие *охотно*: Молодой воин *охотно вырывается из объятий семейства* и легко подымлет бремя военных трудов... (Ф. Глинка. Письма русского офицера); Я *захотал, и тем охотнее*, что предо мной сдержал коня своего незнакомец, проезжая в санках мимо... (А. Бестужев-Марлинский. Страшное гаданье); ...я еще не сплю и не понимаю, как *прежде я спала так охотно*, даже не утомившись после какого-нибудь бала (Н. Полевой. Эмма); Весь день вчера бушевала мятель, и мы, отказавшись от предположенных визитов, *охотно остались дома* (Я. А. Булгаков — К. А. Булгакову, 3 янв. 1838); На сей раз мне повезло: я застал наконец его дома, в кабинете, *охотно распивающего свой утренний кофе* (Записки графа М. Д. Бутурлина, 1853); Вчера *охотно разбирал бумаги*... (И. П. Сахаров. Дневник, 10 дек. 1858); Эта книга *охотно написана и охотно читается* (И. С. Тургенев. О книге С. Т. Аксакова «Записки ружейного охотника»); Дичи в этом году почти не было, но я тем не менее *охотно провел эти две недели, шатаюсь по лесам и болотам*... (Ф. Ф. Тютчев. Старая мельница); Коврин говорил ласково и убедительно, а она продолжала плакать... И он *охотно гладил ее по волосам и плечам и утирал слезы* (А. Чехов. Черный монах); «Девушки интеллигентные», говорил себе Кузьма, *охотно выговаривая мысленно это еще новое тогда слово*... (В. Брюсов. Обручение Даши, II)⁷.

Как свидетельствуют эти примеры (а их легко можно было бы умножить), употребление *охотно* в значении 'с удовольствием', — для литературного языка прошлого века массовое, обычное и «спокойное», — явно противоречит современной узуальной норме. Осознание такого несоответствия и

является неоспоримым доказательством того, что эта норма — реальность, а не исследовательская фикция⁸.

Какова же она, эта современная норма, определяющая значение, условия и границы употребления *охотно*?

* * *

В отличие от определителей *с удовольствием* — *с радостью*, *охотно* как их общий противочлен принадлежит в современном языке волевой, а не чувственной сфере. *Охотно* сегодня — вопреки его этимологии! — это знак положительной волевой реакции (ср. его английский эквивалент — *willingly* от *will* 'воля'), и в этом легко убедиться, анализируя его типовые контексты:

Райсовет *решил...*, местные предприятия и организации *охотно вложили* свои средства (Известия, 8 мая 1990); Люди требуют быстрого лекарства и *охотно бегут* за тем, кто им *обещает...* (Знание — сила, 1987, № 12); «Враньё наоборот» более коварно и страшно, ибо выступает под видом правды, легко за нее *выдается* и *охотно за нее принимается...* (Правда, 13 ноября 1989). Ср. еще такие пары, как *позвать* — *охотно отозваться / откликнуться / прийти*; *попросить о помощи / разрешения* — *охотно помочь (оказать помощь) / разрешить (дать разрешение)*; *послать* — *охотно пойти / отправиться*; *поставить задачу* — *охотно взяться за ее решение*; *сделать замечания* — *охотно внести коррективы* и т. п. То же в «компрессии»: *охотно откликнуться на призыв*, *охотно выполнить задание/поручение*; *охотно соблюдать предписанный режим*; *охотно учесть высказанные пожелания/рекомендации*, *охотно принять предложение*, *охотно пойти на встречу* и др. под. Ср. еще: Полуудичавший в гоньбе за трудно дававшимися барышами, помещик *охотно шел на приманку* (Ф. Сологуб. Мелкий бес, XIX). То же в случаях непрямого выражения такого рода отношений: Скучаев никогда не напоминал о возврате долга, но зато не оказывал дальнейшего кредита неисправным должникам. *В первый же раз он давал охотно, по мере своей свободной наличности и состоятельности просителя...* (Ф. Сологуб. Мелкий бес, VIII).

Общим признаком ситуаций, стоящих за подобными высказываниями и представляющими их глагольными и глагольно-именными эксцерпциями, является наличие двух соотнесенных действий, образующих такие двуединства, как действие —

воздействие и действие — отдача, действие — стимул и действие — реакция, призыв (приглашение) и отзыв (отклик), пожелание (рекомендация, совет, просьба, побуждение) и исполнение и т. п. Очевидно, что перед нами широкий класс жизненных ситуаций, которые принято рассматривать и объяснять в категориях «каузативных связей», и *охотно* в их описаниях при вторых членах такого рода «каузативных пар» как раз и является знаком «вторичного», «каузированного» действия, а следовательно, — знаком всего такого «каузативного» единства в целом.

Если учесть, однако, что — 1) в отличие от естественного, физического мира, где действуют жесткие, объективные (и поэтому верифицируемые) причинно-следственные связи, — в мире Человека, поскольку он как глобальная личность создан по образу и подобию Божьему (Человек теоморфен, но не Бог антропоморфен, а Бог действует *не потому, что, а ради того, чтобы!*) и изначально наделен свободной волей и правом выбора, определяющая роль принадлежит не причинам, а субъективно определяемым целям, побуждениям, основаниям, резонам и мотивам, или — говоря более обобщенно — интенциям и инициативам, что — 2) самые причины в мире Человека — там и тогда, где и когда они действуют как причины, — так или иначе субъективированы и либо по-божески свободны (такова — по Канту — «причинность из свободы», логически не со-обусловленная следствием), т. е. способны начинать новый ряд следствий и причин, возникающих, однако, не с необходимостью, а свободно), либо по-человечески мелки и низведены до уровня случайных, чисто субъективных поводов и предлогов, жесткой «каузальной» интерпретации человеческих действий следует предпочесть иную, «интенционально-инициативную» их интерпретацию, — интерпретацию, которую скрыто несет в себе и нам предлагает сам язык.

* * *

Исходя из сказанного, следует различать:

1. Действия, имеющие (если в поисках их *causae primae* не пускаться в регрессию *ad infinitum*) внутренний ментально-эмоционально-волевой импульс, т. е. действия, свободно совершаемые по собственной инициативе субъекта. Это действия, за которыми стоит свободный интенциональный акт

желания, хотения, осознанного намерения (т. е. активизированного волей желания), «воления». Это действия «с собственным именем автора», о которых Ф. Ницше, обсуждая проблему свободы воли, сказал: «L'effet c'est moi». Именно действия этого типа, способные, повышаясь в ранге, становиться Поступками, Деяниями и Подвигами, составляют сущность и основу человеческого бытия. Поскольку внутренние импульсы таких действий являются естественной и нормальной для нашего интерпретирующего сознания базой их субъектной мотивации и обоснования, вполне естественно мыслить их как осуществляемые 'по собственному своему желанию', 'по своей (доброй или злой) воле', 'добровольно', 'по собственной своей охоте', 'сознательно', 'осознанно', 'умышленно', 'нарочно', 'намеренно' (ср. еще 'преднамеренно') и т. п. Но именно потому, что такие действия и не могут мыслиться иначе, ибо такова их природа, онтология и сущность, перевод указанных и подобных им мотивационных смыслов в план выражения материальными языковыми средствами оказывается не только избыточным, но и запретным. Языковым знаком внутреннего импульса — мотиватора инициативных действий — является ноль. Что касается указанных выше адвербиальных и именных «мотиваторов», то они, осложняя свое основное мотивационное значение дополнительными коннотациями пресуппозитивного, прагматического и оценочного характера, используются — обычно со специальной функцией подчеркивания (отсюда обычное для них акцентное выделение) — лишь в тех случаях, когда мотивируемое действие воспринимается и оценивается как находящееся за пределами той или иной правовой (юридической), общественной, культурной, этической или бытовой, поведенческой — общей или индивидуальной — нормы. Так, *добровольно (стал секретным сотрудником русской полиции, сдался в руки правосудия, рассказал о совершенных им преступлениях, ушел из жизни, покинул ряды КПСС, отказался от гонорара и т. п.)* означает не просто 'по собственному желанию, по своей воле', но 'по собственному желанию, несмотря на отсутствие принуждения / официального предписания / ранее взятых на себя обязательств...' и т. д.

2. Действия, имеющие внешний импульс и являющиеся ответом на то или иное воздействие извне. В отличие от действий первого типа, представляющих собой прямые инициативные акции, действия второго типа, будучи вызванными, иницированными актами, могут быть квалифицированы как реакции. При этом в зависимости от того, минует ли внешний вызывающий, иницирующий импульс ментально-во-

люккативную сферу субъекта действия или проходит через нее и опосредуется ею, перед нами либо реакции в собственном точном смысле этого слова, т. е. инициированные психо-физиологические и физические действия, не подконтрольные сознанию (ср. при обозначающих их глаголах такие выполняющие объяснительную функцию адverbиальные определители, как *невольно, бессознательно, неосознанно, безотчетно, автоматически, машинально*), либо реакции, т. е. осознанные инициированные действия различных типов. Ср. разграничение понятий «каузации» и «автокаузации» в работе (Апресян 1970).

Понятно, что такое типологически важное значение, каким должно быть признано значение «инициированности», «вызванности», «внешней обусловленности», «реактивности» действия, может естественно входить в качестве компонента в семантическую структуру глагольного слова и служить основанием для формирования особой группы «глаголов инициированного действия», специфику значения которых можно выразить перифразой известной русской поговорки — *«откликнется, если аукнется»*. Действительно, не может быть *отклика*, если до этого не было «клика», невозможен *отзыв*, если не было предшествующего «зова», как невозможен *ответ* без того «вета» (устного или письменного слова в прямой или технически-опосредованной форме, вопроса и вообще «вызывающего» действия), на который *ответ отвечает* — так или иначе, положительно или отрицательно (ср. такие специализированные виды усиленно отрицающих «ответов», как *отнекиваться, отрециваться, отбояриваться* и т. п.), вербальными и невербальными речевыми и неречевыми действиями и не-действиями (ср. *отмолчаться, смолчать, промолчать*). Это значит, что такие глаголы, как *возражать, протестовать, отказываться, саботировать* и т. п., и равным образом такие глаголы, как *соглашаться, потворствовать, поддакивать* и т. п., не только называют действие, но и характеризуют его типологически как действие, которое может находиться только в конце или в середине, но не в начале интенционально-реактивной (в сущности, реактивно-диалогической) цепи событий в человеческом мире (ср. «каузальную цепь событий» в терминологии А. Вежбицкой — [Wierzbicka 1980, 21]).

Большая часть русских глаголов принадлежит, однако, к другому — немаркированному — типу и, называя действие, не характеризует его по месту, занимаемому им в цепи событий. Такие действия, естественно, могут осуществляться в двух различных режимах — как прямые, инициативные, в одних случаях, и как

инициированные, в других. Так, *пойти в магазин, сделать уборку в квартире, написать письмо, купить цветы, сесть за рояль, подумать над решением задачи*, как и осуществить бесчисленное множество других подобных (физических и — реже — ментальных) действий, можно или по собственной инициативе или под тем или иным воздействием извне. Разграничение двух этих акциональных «режимов» одного и того же действия, являющееся во многих случаях существенно или даже жизненно важным для понимания и объяснения мотивов поведения человека и в силу этого для формирования человеческих отношений, осуществляется в языке средствами более или менее широкого контекста, либо при помощи специальных показателей адвербиального и именного типа. Ср. инициативное *убрать свои вещи* и инициированное *убрать свои вещи без (всяких) возражений, без звука, безмолвно, беспрекословно (без прекословий), без противоречий, безропотно, без слова, без спора, готовно (с готовностью), кротко, мирно, молча, покладисто, покорно, послушно, сговорчиво, смиренно, уступчиво* и др. под. Очевидно, что при всех частных различиях в значении этих наречных и именных определителей (а за этими различиями, как будет подробно показано ниже, стоят принципиально важные различия в частных, специализированных режимах — «модусах» характеризуемого ими действия), все они объединены функцией маркера «обратной связи» — все они характеризуют действие как действие «не прямое», «вызванное», обусловленное внешним воздействием или определенным образом связанное с таким воздействием, инициированное, т. е. как действие, занимающее в «реактивно-диалогической цепи событий» не-первое, не-начальное место и не открывающее такую цепь, а продолжающее ее. Именно в этот ряд наречий и наречных определителей — маркеров инициированного действия входит и наречие *охотно*.

Во многих случаях именно на *охотно* держится разграничение тех двух акциональных режимов, с которыми связано противопоставление инициативных и инициированных действий. Так, если газеты сообщают, что депутаты проголосовали за прекращение прений, то понятно, что это голосование определялось свободным волеизъявлением голосующих. Если же говорится, что «депутаты проголосовали *охотно*» (Советская культура, 9 дек. 1989), то должно быть ясно, что это произошло «с подачи председателя». Если в хроникальном отчете о концерте выдающегося пианиста говорится, что в завершение концерта он исполнил две мазурки Шопена, то это значит, что мазурки Шопена были с самого начала включены в его программу. Если же хроника сообщает, что в

завершение концерта маэстро *охотно* исполнил две мазурки Шопена, то это нельзя понять иначе, как сообщение об исполнении «на бис», по просьбе слушателей.

Важность такого разграничения особенно ярко проявляется в контекстах, где «вызывающее», иницирующее действие не названо и где «вызванное», иницированное действие, не будь оно маркировано наречием *охотно*, могло бы ошибочно пониматься как инициативное, «прямое», обуславливая существенное изменение в описании и соответственно в восприятии ситуации в целом, в понимании и оценке и действия, и его субъекта. Ср.: Явился он, по обыкновению, веселым, подал мне руку, *охотно сел, выпил чашку-другую чаю...* (С. В. Максимов. Год на Севере); — Господь гостя послал, и я очень рад. Заходите!... Тот прошел в прихожую, потом в комнату... Держался просто. *Охотно сел за стол...* (Л. Бородин. Посещение). И с другой стороны: Соломин... пожал руку и ему и ей — и *сел по первому приглашению...* (И. С. Тургенев. Ночь); — Не угодно ли с нами откушать? — Мочалкин *садится за стол и проворно набрасывает на колена салфетку...* (Н. Успенский. Из дневника неизвестного).

* * *

В этой же функции — функции маркера иницированного действия (или — иначе — маркера обратной связи) — наряду с *охотно* используется еще наречный оборот с *готовностью* и не зафиксированное словарями наречие *готовно*:

— Супруги с *готовностью* *взялись ехать на голод* в Саратовскую губернию (М. В. Сабашников. Воспоминания); ...что-то в самих людях потянулось навстречу насилию и с *готовностью* *покорилось ему* (Литературная газета, 25 мая 1988); *В ответ Чаплин с готовностью согласился...* (Литературное обозрение, 1988, № 5); Она с *готовностью* *откликается на любой сигнал* из окружающей действительности... (Новый мир, 1987, № 4) и т. п. Ср. также единичное в *готовности*: Я все вновь и вновь передумывал в *готовности* *все переделать...* (Б. Пастернак — З. Н. Нейгауз, 9 июля 1931).

— Ему все *готовно* *помогали...* (С. В. Максимов. Павел Иванович Якушкин); Зауряд-врач Мелитон Петропавловский кашлянул басом и *готовно* *прибавил*: — Значит, в добрый час... (Ф. Крюков. Группа Б.); — Вася, поднимись в мой кабинет, принеси скрипку. — Старший сын *готовно* *соскочил с дивана* (А. Шеметов. Прорыв); В женском общежитии воспитательница *готовно* *провела нас по*

комнатам (Собеседник, 1989, № 11); Я знал, что при упоминании Альбины Левин голос поскучнеет и *готовно обнаружит свою от нее свободу* (А. Битов. Пушкинский дом). Функционально тождественные, *охотно* и *готовно* / *с готовностью* образуют привативную оппозицию на специфической прагма-этической основе по признаку *pro domo tua — pro domo tua et sua*: *готовно* характеризует действие как совершаемое только в пользу другого, тогда как *охотно* может характеризовать действие как совершаемое субъектом так же в пользу себя. Ср.: Он *готовно* / *с готовностью* / *охотно* оказал нам помощь — Он *охотно* / **готовно* / **с готовностью* принял нашу помощь. При этом, как и в ряде других случаев, отчетливо обнаруживается тенденция к разграничению членов этой пары по отношению к «Я» — «не-Я» — субъекту: «Я» — *охотно* / **готовно* / **с готовностью* окажу вам помощь — Он *охотно* / *готовно* / *с готовностью* окажет вам помощь.

* * *

Функция маркеров обратной связи, свойственная этим характеристикам глагольного действия, обусловлена их семантикой и может рассматриваться как функциональная проекция того значения, носителями которого они являются. И именно этим, т. е. наличием у них, помимо указанной функции, еще и некоторого вполне определенного значения, *охотно* — *готовно* / *с готовностью*, как и другие отчасти перечисленные выше наречия обратной связи, отличаются от таких — чисто функциональных! — показателей «ответного» действия, какими являются наречия *ответно*, *обоюдно* и устар. *взаимно*, а также наречия и наречные обороты *взамен* (*в замену*), *в ответ* и устар. *в возмездие*, *в отместку*, *в оплату* (все с значением 'в ответ') и некоторые другие (о которых см. ниже), у которых функция и значение совпадают.

Каково же искомое значение *охотно* / *готовно*, определяющее их функцию маркеров обратной связи, показателей инициированного действия?

Как уже было показано выше, оно не может быть истолковано через определители *с удовольствием*, *с радостью*, как это единодушно и дружно предлагают словари, поскольку 'с удовольствием' — 'с радостью' не входят в это значение в качестве составляющих и не образуют его как целые.

Нет в их семантической структуре, вопреки словарным толкованиям, и значения 'с большим желанием', навязываемого или

подсказываемого этимологией корня и давно уже оттесненного на далекую периферию⁹.

Семантическим центром определителей *охотно / готовно* является «согласие» (ср. *согласие* — «утвердительный ответ на что-либо, позволение, разрешение», — МАС, IV, 178) как положительная рационально-волевая реакция на внешний стимул, реакция на «вызывающее», инициирующее действие. Эта реакция является итогом осознанного перебора возможных ответов, которые лежат на шкале между «да» и «нет», чем и объясняется вхождение *охотно* в градуальный ряд *охотно — безразлично / равнодушно — неохотно* и градуальная структура самого *охотно*, о чем свидетельствует его способность сочетаться с кванторными наречиями (*весьма / очень / чрезвычайно охотно — не очень / не вполне / не совсем охотно — достаточно / довольно охотно*), как и способность образовывать компаратив — *охотнее* (ср. *охотнее — еще / значительно / куда / много охотнее*), семантика и специфика употребления которого заслуживает специального изучения.

Рациональное в *охотно* естественно соединяется с интуитивным и осложняется положительной аксиологической оценкой, чем объясняется нередкое вхождение *охотно* в конъюнкции типа *охотно и одобрительно / дружелюбно / доброжелательно / благожелательно / благосклонно / приветливо / сочувственно* и др.

Таким образом, значение *охотно* можно было бы истолковать в следующем более или менее адекватном описании: 'взвесив всё, считаю, что инициируемое действие не принесет мне вреда / не противоречит моим принципам / не нарушает моих планов / не превышает моих возможностей..., и поэтому я принимаю решение / соглашаюсь / готов осуществить его'.

Отсюда обычное использование *охотно* в диалогической речи (и в отражающих и стилизующих ее контекстах) в функции средства выражения согласия на то или иное предлагаемое (инициируемое) действие при определенном типе межличностных отношений: — ...Только обещай, что шафером у меня будешь. — *Охотно* (А. Н. Плещеев. Дружеские советы); — Зайдем в кафетерий? — *Охотно* (А. Шеметов. Прорыв) и т. п. В этом качестве *охотно* входит в открытый ряд выразителей согласия: *охотно / согласен / готов / хорошо / ладно* (ср. еще *лады, ладушки*, которые используются также как одобрительная реакция на полученное согласие — обычно в обороте с *вот и: вот и хорошо / ладно / лады / ладушки*) / *идет / с кей / не возражаю / не имею ничего против / не прочь* и др.

Отрицательные члены этого ряда отражают обратную сторону всякого положительного решения — отсутствие или устранение

любых рациональных (колебания, сомнения, возражения) и эмоциональных (неудовольствие, недовольство) препятствий, которые могли бы его поколебать или помешать его принять. Отсюда связь *охотно* с таким рядом характеристикаторов иницированного действия, как *без всякого/малейшего колебания (без всяких/малейших колебаний)*, *без возражения (без всяких возражений)*, *без всякого/малейшего сомнения (без всяких/малейших сомнений)*, *без спора* (ср. также устар. *бесспорно*, как и *несомненно*, полностью перешедшее в сферу выражения модальности уверенности), *без всякого неудовольствия*¹⁰ и др. Таким образом, *охотно* предполагает (хотя за ним и стоит, как было указано, перебор ответов между «да» и «нет») немедленное, быстрое, уверенное и легкое положительное решение. Поэтому иницирующее действие и действительная реакция на него, если она характеризуется как осуществляемая *охотно*, не могут быть разделены никаким временным интервалом (Я попросил его о помощи, и он *сразу же / немедленно / мгновенно охотно* откликнулся, но не *...и он *вскоре / через несколько дней охотно* откликнулся). Поэтому же *охотно* — и в живом диалоге, и в описании соответствующей диалогической цепи событий естественно корреспондирует и входит в конъюнкцию со средствами выражения «легкости» и «уверенности» как характеристиками иницированного действия: — Так ты поможешь мне? — *Охотно / Конечно / С легкостью*; Он так искренне раскаивался в том, что произошло, что я *легко и охотно* отпустила ему этот грех... (Л. Высоцкая. Воспоминания). Ср. также: Мне хотелось поехать за границу одной, без мамы. Отец, любивший английское воспитание, *охотно отпустил* меня (О. М. Фрейденберг. Переписка с Б. Пастернаком); Я предвидел борьбу, сопротивление, сцены, но невероятно! — мать *легко отпустила меня* и только просила беречь себя и регулярно писать ей (И. Свенцицкий. Воспоминания). Вследствие этого 1) в предтексте *охотно* не могут находиться глаголы типа *умолять, вымаливать, выпрашивать, упрасивать, клянчить, выклянчивать, убеждать, уговаривать* и т. п. (так называемые «перлокутивы»), называющие иницирующие речевые действия, связанные с преодолением сопротивления адресата (невозможно: **Я долго убеждал его остаться, и наконец он охотно согласился*) и 2) *охотно* несовместимо с выражением сомнений, неуверенности и колебаний: невозможно **После некоторых колебаний / не без колебаний / не без сомнений / преодолев некоторые сомнения, он охотно* отпустил меня (принял наши замечания, уступил свою очередь, внес рекомендуемые поправки...).

Диалогическое — *Охотно!*, вполне достаточное информативно, оказывается, однако, недостаточно выразительным в экспрессивном

отношении. Отсюда, в поисках более сильного средства, обращение говорящих к оценочным определителям *с удовольствием*, *с радостью*, которые благодаря этому включаются в арсенал средств, обеспечивающих ответы согласия. Ср.: — А я к вам с просьбой... Сделайте одолжение, одолжите мне вашу прекрасную девицу часика на два! Пишу, видите ли, картину, а без натурщицы никак нельзя!... — *Ах, с удовольствием!* — *согласился* Ключков... (А. Чехов. Анюта); — Мать Екатерина просит вас, если это не мешает вам, зайти к ней в келью. — *С радостью!* — *отвечал я...* (С. П. Жихарев. Записки современника).

Понятно, что в условиях этикетного употребления, когда нужно не только и не столько обозначить действительное отношение к просьбе (совету, рекомендации и т. п.) или предложению, сколько постараться «быть приятным» собеседнику или по крайней мере соблюсти приличия и правила хорошего тона (ср.: — Впрочем, если вам не до меня... — Напротив, я *очень рад*, — *процедил сквозь зубы* Литвинов. — И. С. Тургенев. Дым, XIX; — Да-да, конечно, — сказал отец, выпроваживая назойливого просителя, — не извольте беспокоиться — я *это сделаю, и с большим удовольствием* ... Но все мы прекрасно знали, что это были только красивые слова и что все останется, как было... — П. Боборькин. На переломе жизни), точное дескриптивное значение этих определителей расшатывается или вообще стирается, и все, что в них есть, уходит в глубину, скрытую клубящимися облаками экспрессии. Но, как хорошо известно, средства экспрессивного выражения в повседневном употреблении быстро стареют, теряют свою силу, выдыхаются и выцветают, говорящие оказываются перед необходимостью искать способы их укрепления и поддержки, и в этих целях обращаются к испытанным веками усилительным повторам, перечислительным рядам, экспрессивным — тоже быстро стирающимся — эпитетам. Ср.: с удовольствием — с *большим / огромным / великим / величайшим* удовольствием; с *искренним / сердечным / душевным* удовольствием; с радостью — с *большой / огромной / огромнейшей / великой / величайшей* радостью... Ср. также устар. простореч. *со всем нашим полным удовольствием*.

Именно здесь и только здесь — на почве разболтанного в повседневном этикетном диалоге экспрессивно-субъективного употребления — все три показателя согласия на инициируемое действие (*охотно, с удовольствием, с радостью*) синонимизируются и выстраиваются в градуальный ряд, члены которого различаются не по степени того или иного реального признака (желания, например, как полагают авторы статьи *охотно* в большом синонимическом

словаре — Евгеньева 1971, II, 110), а по степени экспрессии, с которой говорящий выражает свою реакцию.

И только в тех исключительных случаях, когда этикетная природа таких оборотов вступает в противоячие с требующей серьезности и сдержанности жизненной ситуацией, экспрессия рассеивается, их первичные значения всплывают из глубины на поверхность и, обнаруживая их полную неуместность, запускают дремлющий механизм языковой рефлексии и (само)коррекции. Ср. следующие показательные примеры:

[Керженцев] ...Послушайте, Крафт, — мой Джайпур [речь идет об обезьяне] скоро умрет: хотите вместе исследуем его мозг? Это будет интересно. [Крафт] Хорошо. А когда я умру — вы посмотрите мой мозг? [Керженцев] Если вы мне его завещаете — *с удовольствием, то есть с готовностью, хотел я сказать...* (Л. Андреев. Мысль, д. I). Как некровному родственнику пришлось Монахову принять это [похороны] на свои плечи. На это он как раз не досадовал и принял — *про эти дела нельзя сказать — легко и охотно, можно сказать — готовно...* (А. Битов. Вкус).

Это те случаи, о которых говорят «*Приятного мало, но что поделаешь...*» и о которых в терминах забытой народной мудрости высказывались чеканной формулой — *(Хоть) не рад, да готов*: ...он [граф Головкин] не может равнодушно слышать трех русских пословиц: 1) «Все божье, да царское», 2) «*Хоть не рад, да готов*» и 3) «Без вины виноват»... (С. П. Жихарев. Записки современника, дек. 1805). Ср. с одной стороны: Еще более буду вам благодарен, ежели сдержите слово и навестите преданного вам Боратынского. Назначьте день, а мы во всякое время *будем рады и готовы* (Е. Боратынский — Н. И. Гнедичу, март 1822); [Ольга] Вы могли отказать чужой, богатой женщине... но дочери, Вашей дочери, Вы не можете, не должны отказать... [Кузовкин] ...Извольте, Ольга Петровна, извольте, как хотите. что хотите, прикажите, я *готов, я рад* — прикажите... (И. С. Тургенев. Нахлебник, д. 2); — В Питербурх *рад и готов* пешком идти... (Д. Мережковский. Петр и Алексей, 6, I) и т. п., и с другой: «Ну, что теперь изволишь делать? *Хоть не рад, а будь готов* и принимайся за перо...» (А. Болотов. Записки, 62); Да ведь делать-то нечего — *хоть не рад, да готов...* (М. Н. Загоскин. Вечер на Хопре, 1834).

Таким образом могут быть уточнены намеченные ранее принципы организации и устройства четырехчленного ряда средств выражения положительной реакции на инициированное действие. Открывающее этот ряд левифланговое с *готовностью (готовно)* противопоставлено остальным членам ряда как выражение реакции,

представляющей признание 'возможности', основанное на чистой рациональности ('я могу') и полностью лишенное не только чувственного, эмоционального компонента ('мне это приятно', 'это хорошо', 'я этого хочу'), составляющего основу значения определителей *с удовольствием, с радостью*, но и активного волевого начала ('я намерен'), образующего семантический центр наречия *охотно*. Отсюда вытекают различия в принципах выбора между *охотно* и его противочленами слева и справа. Если для пары *охотно / с готовностью (готовно)* этот выбор определяется тонким чувством языкового такта (*Я с готовностью / готовно приму вашу помощь должно быть отвергнуто, поскольку оно оскорбительно холодно и высокомерно-снисходительно по отношению к человеку, предлагающему свою бескорыстную поддержку, тогда как *Я охотно займусь исследованием вашего мозга, когда вы умрете / приму участие в похоронах неприемлемо, поскольку оно проявляет кощунственную заинтересованность в том, что составляет трагедию другой стороны), то для пары *охотно / с удовольствием, с радостью* существенны содержательные различия, теряющиеся в условиях их этикетного употребления.

Перенесенные в объективное повествовательное описание акционально-диалогических ситуаций, *с удовольствием / с радостью* восстанавливают свои прямые значения, сохраняя при этом полученную в диалоге функцию маркеров обратной связи. Это требует от нас различать в каждом конкретном случае их употребления *с удовольствием_о* 'с удовольствием' и *с удовольствием₅* 'охотно' + 'с удовольствием', а также *с радостью_о* 'с радостью' и *с радостью₅* — 'охотно' + 'с радостью'. Ср.: Он проснулся, потянулся, *с удовольствием* сладко зевнул (В. Ганичев. Петр Иванович) — В Камешках к нашей группе *с удовольствием* присоединился редактор местной газеты (Комсомольская искра, 12 мая 1988). Если *с удовольствием* в этих высказываниях освободить от семантического комплекса 'с удовольствием', то в первом случае на его месте окажется чистый нуль, тогда как во втором — подобный улыбке чеширского кота семантический остаток, который может быть и даже должен быть материализован наречием *охотно*. В противном случае *присоединение редактора к группе* будет ошибочно понято как проявление его собственной инициативы:

1. а) Он проснулся, потянулся, *с удовольствием* сладко зевнул.
б) Он проснулся, потянулся, *сладко зевнул*.
2. а) В Камешках к нашей группе *с удовольствием* присоединился редактор местной газеты.

- б) В Камешках к нашей группе *о* *присоединился* редактор местной газеты.
- в) В Камешках к нашей группе *о* *хотню* *присоединился* редактор местной газеты.

* * *

Помимо рассмотренной триады, *о* *хотню* входит также в такой исключительно важный по своей жизненной значимости ряд маркеров иницированного действия, как *о* *хотню* — *послушно* — *покорно*. Но это — тема отдельного большого исследования, основы которого — в первом приближении — заложены в работе (Пеньковский 1995).

-
- ¹ По данным «Частотного словаря» Л. Н. Засориной, оно входит в группу слов с общей частотой 41 на миллион словоупотреблений (Засорина 1977, 447).
- ² Ср., например, в синонимическом словаре З. Е. Александровой: «ОХОТ-НО, с охотой, с удовольствием, с готовностью, с радостью» (Александрова 1968, 340). Большой «Словарь синонимов русского языка» добавляет к этому ряду еще простореч. *в охотку* (Евгеньева 1971, II, 1107). Ср. также устар. *охотливо*, *с охотливостью* (А. Н. Островский *охотливо* посещал эти собрания. — С. В. Максимов. Александр Николаевич Островский; ...*с охотливостью* помогу вам. А. В. Дружинин — Е. П. РаSTOPЧИНОЙ, 19 авг. 1856) и стар. *с хотением* (В Петербург ехал я столько же *с хотением*, сколько и не *с хотением*... А. Болотов. Записки, IX).
- ³ Здесь, как и во многих других случаях, см.: (Пеньковский 1988, 53–55), наши словари, с их традиционно ретроспективной ориентацией, отражают отношения, характерные для литературного языка конца XVIII — начала XIX в., когда целостное семантическое поле 'удовольствие — радость' членилось именами *удовольствие* vs. *радость* иначе, чем в современном русском языке (одновременно на правах дублетов использовались также *веселье*, *веселость*, *довольство*, *приятность* и др.). Первое в этот период имело более широкое, чем сегодня, диффузно-размытое значение и, покрывая часть семантического комплекса имени *радость*, функционировало в качестве дублета последнего. Ср.: «Мать Екатерина просит вас зайти к ней в келью» — «*С радостью!* Скажите матушке, *с величайшею радостью*» — отвечал я; и точно, *я так был счастлив, что готов был заплакать от удовольствия!* (С. П. Жихарев. Записки современника, 16 октября 1806); Дмитревский называл автора вторым Озеровым. Автор верил ему на слово и был *вне себя от удовольствия* (там же, 12 марта 1807); Мне казалось,

что я иду из ее дома в самой середине апреля месяца, когда еще голова моя была полна мечтами о воображаемом счастье; при этой мысли непонятное удовольствие охватило мою душу... (О. Сомов. Дневник, 2 июня 1821); Я и сам, не имея никаких причин, жаловался на судьбу, часто грущу, и редко, редко луч истинного удовольствия осветит душу мою (А. И. Тургенев — В. А. Жуковскому, 21 марта 1802) и др. под. Широко замещая *радость* в различных свободных сочетаниях, *удовольствие* без ограничений входило и в многочисленные обороты, составляющие сегодня специфическую идиоматику *радости*. Ср., например, отражающие старую норму и не встречающиеся в современном употреблении выражения типа *давать / дарить / приносить удовольствие; переживать удовольствие; сиять / светиться / дышать удовольствием; купаться / плавать / тонуть в удовольствии; быть в удовольствии; в порыве удовольствия; искреннее / непритворное удовольствие* и др. Ср.: Мне хочется поделиться с Вами тем удовольствием, которое я ощущаю при мысли о счастливом браке моей дочери... (И. С. Тургенев — Е. Е. Ламберг, 10 марта 1865); Все веселятся, все дышат (sic!) утехой... одна только Оленька не знает удовольствия в этом шумном, резвом, быстро движущемся кругу... (О. Сенковский. Вся женская жизнь в нескольких часах); ...читал я прекрасные стихи твои к Крылову, они принесли мне живейшее удовольствие (М. Н. Загоскин — Н. И. Гнедичу, 30 окт. 1821); Я раза два был у Тургеневых... Не скрою, что разговор об вас всегда выводит такое выражение удовольствия, едва уловимое, на лице барышни... (П. В. Анненков — И. С. Тургеневу, 11 окт. 1854); Я получаю от нее письма, исполненные самого искреннего удовольствия (И. С. Тургенев — П. В. Анненкову, 11 марта 1865) и др. Обычное для этой эпохи функционирование имени *удовольствие* как семантического эквивалента к *радость* объясняет свободное использование производного *удовольственный* в параллель к *радостный*. Ср.: Дни протекали для меня всегда ясные и *удовольственные* (И. Новиков. Похождения Ивана гостинного сына, 1785); Боже мой! Она всегда говорила, что счастлива, и казалась счастливой... И ее письма... такие спокойные, светлые, *такие удовольственные*... Кто бы мог подумать!... (Д. Косталевский. Дневник, 10 июля 1825). Ср. также устар. *удовольствие* 'удовлетворение': Как я имел у себя отца, который любил меня, думаю, что больше, нежели свою жизнь, и который почти от младенчества моего ни в какой просьбе моей без *удовольствия* меня не оставлял, о чем бы я к нему не отписал... (Неизвестный автор. Несчастный Никанор, 1775).

Наследием и свидетельством указанного этапа семантической истории имени *удовольствие* в русском языке являются живые отношения дублетности в парах *к моему (твоему, нашему, общему, всех присутствующих) удовольствию — к моей (твоей, нашей, общей, всех присутствующих) радости*, а также случаи дублетного употребления наречных сочетаний *с удовольствием — с радостью* в некоторых контекстах, о чем см. ниже.

- 4 Иначе в прошлом, когда, как было показано выше, *удовольствие* было ближе к *радости*, чем сегодня: Нет! нет! Бога ради! Возьмите это назад и не обижайте нас этим. Нас Бог прощает и без того, а вам сгодятся они на дорогу. Путь дальний, и до Петербурга не близко, а

нам дозволейте *иметь то удовольствие, что мы услужили вам за всю вашу дружбу* (А. Т. Болотов. Записки, 90). То же в отношении характерного для *радости* управления посредством предлога *о: радоваться о...*, *радость о...*, — общей особенности глаголов (и отглагольных имен) речи-мысли-чувства, которую в прошлом разделяло и *удовольствие*: Получал ли я откуда и от кого ни есть новую какую-нибудь книжку, то было мне кому сообщить *о том свою радость...* Случалось ли дожидаться либо всхода, либо расцветания какого-нибудь нового произрастания, то было мне к кому бегивать и спешить *сказывать о том удовольствии...* (А. Т. Болотов. Записки, 117).

- ⁵ Эти цифры (по материалам автора) характеризуют частотное соотношение именно определителей с *удовольствием* — с *радостью*, а не в целом лексем *удовольствие* — *радость*, которые, по данным частотных словарей, находятся в обратных соотношениях — 34 : 75 (Штейнфельдт 1963, 285, 270) vs. 102 : 130 (Засорина 1977, 702, 590). Раздельно следовало бы определять частотные соотношения и для таких специализированных пар оборотов, как *к моему / твоему / его удовольствию* — *к моей / твоей / его радости*; *без удовольствия* — *без радости*. Ср. также причастное к частотным отношениям явление асимметрии в случаях типа *в свое удовольствие* — **в свою радость, но на радость кому* — **на удовольствие кому*. Игнорирование такого рода фактов существенно сказывается на достоверности данных, представляемых нашими частотными словарями.
- ⁶ Синтаксис определителя с *приятностью* в двух последних примерах (ср. еще: *День прошел с удовольствием*. — Записки графа М. Д. Бутурлина. 1853) может быть понят в связи с описанной автором категорией субъектно-объектной ориентации наречий и наречных оборотов и их «векторной» функцией, см.: (Пеньковский 1987, 89–91; Пеньковский 1990, 119–121).
- ⁷ Ср. также упомянутые выше *с охотой, охотливо, с охотливостью*. — *С радостью же*, с самого начала обделенное дублетами-эквивалентами, утратило и то небольшое, что имело. Так, очень рано — на рубеже XVIII — XIX в. — вышло из употребления *с веселостью* (*С веселостью возвращался я к себе восвоися...* [А. Т. Болотов. Записки]) и сузило свою семантику наречие *весело*, взяв на себя от *радости* ее активный, динамический компонент. «Выяснение семантических отношений» между образованиями с корнями *-рад-* и *-весел-* затянулось до конца третьей четверти XIX в., когда была полностью изжита былая дублетность предикативов в паре *весело* — *радостно*. Ср. не соответствующие современной норме словоупотребления типа *...Как бы было весело пожать тебе руку...* (В. А. Жуковский — А. И. Тургеневу, 1 декабря 1814); *Очень мне было бы весело получить от тебя весточку* (В. А. Жуковский — Д. Давыдову, 10 дек. 1829); *Молодец и умница Ваш муж — и я очень хорошо понимаю, как Вам должно было быть и весело и жутко, глядя на него...* (И. С. Тургенев — Е. С. Кочубей, 13 апреля 1862) и т. п. К последнему примеру ср. обычные для более позднего времени *радостно и жутко, радостно до ужаса* и т. п. Ср.: Он замер весь от *ужаса и радости* (Д. Мережковский. Петр и Алексей, 5, I); И душу его наполнила *радость, подобная ужасу* (там же, 11, XI). Ср. еще: *...кто из тех, кому попадутся на глаза названные строки Бора-*

тынского, не вздрогнет *радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда неожиданно окликнут по имени!* (О. Мандельштам. О собеседнике). Особо — рядом с *радостью* должны быть отмечены с *отрадой*, которое, однако, дважды маркировано: стилистически (высок., книжно-поэтич.) и семантически (по признаку «замкнутость — незамкнутость», поскольку обозначает только «внутреннюю» радость) и *радушно*, которое также подверглось узкой специализации. Ср. показательные употребления прошлого века: Проспер повиновался так же *радушно*, как *радушно* ему было объявлено предложение... (В. А. Соллогуб. Воспоминания); Для Вас и в сочинениях что-нибудь есть, потому что Вы читаете их с *радушием*... (И. С. Тургенев — И. Ф. Миничкову, 6 марта 1857); Адель вам *радушно* кланяется, я же дружески жму руку... (В. Н. Кашперов — И. С. Тургеневу, 7 августа 1865). Ср. также необычное употребление этого слова у Ф. Сологуба: Все, что Володин показывал, он *исполнял радушно, но без охоты* (Мелкий бес, XV). Соответственно рядом с *охотно* должно быть учтено специализированное *охотой*, которое было переведено в синонимический ряд *добровольно, по доброй воле*.

- 8 Ср. совершенно уникальный в современном материале пример нарушения этой нормы: «Что за бредни нелепые в юности в голову лезут? Ведь хотелось и мне в свое сердце пальнуть из ружья. Я старался не думать про замогильную бездну, Но *охотно мечтал, как заплачет над гробом семья...*» (В. Казакевич. «Повстречались мне в разные годы...», 1987).
- 9 Показательна в этом отношении — на фоне широко употребительных в литературном языке прошлого века (и особенно у Гоголя и Достоевского) усилительных оборотов типа *глубоко углубить, далеко удалиться, толково толковать, чувствительно чувствовать* (ср.: ...и они, хотя и были между собою приятели, но приятство их *далеко было удалено* от прямого дружества, А. Болотов. Записки, 29; ...порази позор нынешнего времени и *углуби* в то же время *глубже* в нас то, перед чем еще позорнее станет позор наш. — Н. В. Гоголь. Выбранные места..., XV, 1; Задумался древний Египет, увитый иероглифами, *понижая ниже* свои пирамиды... Н. В. Гоголь. Жизнь; Я решил твердо и *покорно покориться* всей нынешней тоске. — Н. В. Гоголь — В. А. Жуковскому, 20 июля 1844; ...все дома *освещены* были необычайно *светло*, С. П. Жихарев. Записки современника, 1 февр. 1807; Это дело ничуть не маловажное и стоит того, чтобы о нем *толково потолковать*, Н. В. Гоголь. Выбранные места..., VI и т. п.) — ранняя утрата сочетаний *охотно хотеть / желать*. Ср.: ...у жены сего богача был еще неженатый брат, которого сестре *охотно женить хотелось*... (А. Болотов. Записки, 31); А я *охотнее бы хотел* не иметь с вами дела... (там же, 62); Мне и самому *охотно хотелось бы* пробыть здесь до просухи... (там же, 86); И для того я *охотно желаю* знать, от кого вы о имени моем известились... (Неизвестный автор. Несчастный Никанор, 1775); Он *охотно желал* быть убитым... (Н. А. Бестужев. Русский в Париже); Всегда я пленялся добрыми примерами и *охотно желал* им следовать... (И. И. Дмитриев. Взгляд на мою жизнь) и т. п. Из последних, поздних, крайних редких словоупотреблений такого рода ср. еще пример из Тургенева: Обращаясь к Вам, я не нуждаюсь в громких

словах: я и без того уверен, что вы *охотно захотите* принять участие в деле подобной важности... (И. С. Тургенев — П. В. Анненкову, 19 августа 1860). Ср. еще параллельный оборот с *легко* как обычным корреспондентом и спутником *охотно*: — Я *легче желаю* сам прежде умереть, нежели о ее услышать смерти (Неизвестный автор. Несчастный Никанор, 1775).

Как это типично вообще для периферийных элементов значения, этому скрытому 'хотению/желанию' удается подняться на поверхность только при наличии особых условий — в контексте ирреальной модальности или, что в конечном счете также связано с ирреальностью, через отрицание. Ср. *охотно* в рядах типа — О Бетховене говорил с таким красноречием... Это, я признаюсь, *послушал бы...* (И. С. Тургенев. Рудин) — *охотно бы послушал / хотел бы послушать*. Ср. также *охотно* — *неохотно* 'с нежеланием, без всякого желания'. В этом проявляется общая тенденция к семантической и функциональной асимметрии *не-* и *без-*производных.

- 10 Ср. использование этого оборота в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова как толкующего значение *охотно* (Ушаков, II, 1027). Можно лишь пожалеть, что это несомненно удачное лексикографическое решение было отвергнуто последующими словарями.

Литература

- Александрова 1968 — З. Е. Александрова. Словарь синонимов русского языка. М., 1968.
- Апресян 1970 — Ю. Д. Апресян. Синонимия и конверсивы // РЯНШ, 1970, № 6.
- Арутюнова 1976 — Н. Д. Арутюнова. Предложение и его смысл. М., 1976.
- Арутюнова 1978 — Н. Д. Арутюнова. Типы языковых значений. М., 1978.
- Гинзбург 1985 — Е. Л. Гинзбург. Конструкции полисемии в русском языке // Таксономия и метонимия. М., 1985.
- Евгеньева 1971 — Словарь синонимов русского языка в 2 томах / Под ред. А. П. Евгеньевой. Л., 1971.
- Засорина 1977 — Л. Н. Засорина. Частотный словарь русского языка. М., 1977.
- Пеньковский 1987 — А. Б. Пеньковский. Категориальные признаки наречий и их отражение в словаре: I. Субъектно-объектная ориентация // Сочетание лингвистической информации и информации внелингвистической в автоматическом словаре. Ереван, 1987.
- Пеньковский 1988 — А. Б. Пеньковский. Семантика наречия и ее отражение в словаре // Словарные категории. М., 1988.
- Пеньковский 1988 — А. Б. Пеньковский. О развитии норм адвербиального словоупотребления в русском литературном языке (наречия *бережно, осторожно* и др.) // Sborník prac Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem — 1987. Praha, 1988.

- Пеньковский 1990 — *А. Б. Пеньковский*. Проблемы кодификации русских наречий // Культура русской речи. Тезисы I Всесоюзной конференции. Звенигород, 19–21 марта 1990. М., 1990.
- Пеньковский 1991 — *А. Б. Пеньковский*. Нормы наречного словоупотребления в ближней диахронии как база исследований грамматической и коннотативной семантики слова // Русский язык и современность: Проблемы и перспективы развития русистики. Всесоюзная научная конференция. Москва, 20–23 мая 1991 г. М., 1991, ч. 2.
- Пеньковский 1995 — *А. Б. Пеньковский*. Глагольное действие sub specie adverbiorum 2. Ответные действия и языковые ответы // Грамматические категории и единицы: Синтагматический аспект. Владимир, 1995.
- Штейнфельдт 1963 — *Э. А. Штейнфельдт*. Частотный словарь русского языка. Таллин, 1963.
- Wierzbicka 1980 — *A. Wierzbicka*. The Case for Surface Case. Ann Arbor; Karoma, 1980.

Еще раз к вопросу о *не* — не 'не'

Широкий круг научных интересов Н. И. Толстого включал в себя и проблемы, связанные с неординарной семантикой *не*, когда оно не означает отрицания, а выступает в иной роли. Н. И. Толстой в статье «*Не* — не 'не'» отметил три основные функции *не* в такого рода случаях — ироническую, табуистическую и усиленную или усиливающую (Толстой 1995, 341). В данной статье мы хотели бы привлечь внимание к последней (усиленной). Речь пойдет о диалектных словах с отрицанием (префиксом) *не-*, соответствующая параллель к которым без *не-* является в то же время и синонимом. Лексемы такого типа крайне редки, уникальны, и поэтому выявление каждого нового примера представляет несомненный интерес. В. И. Чернышев в своей обстоятельной работе, посвященной отрицанию *не* в русском языке, привел ряд подобных слов, однако *не-* в составе одних он охарактеризовал как, возможно, усиленное, а в других — как излишнее. К первым отнесены смол. *низанапрасна* 'напрасно', *низанявиння* 'невинно', *никаянный* 'окаянный', *нипаскудный* 'паскудный', *нывопрымитьтю* 'весьма быстро', добавим еще псков., смол. *невопрометью* 'опрометью' (СРНГ, вып. 20, 353), ко вторым, в частности, — *неблагой* вместо *благой* «лишь в выражении кричать неблагим матом», *неоколесица* вместо *околесица*, *неублюдок* (стар.) вместо *ублюдок*, *неувалень* в знач. 'увалень', *недуром* (*не дуrom*) то же, что 'дуром' 'грубо', смол. *низдивитца* 'удивляться, не надивиться' (Чернышев, 27, 77). Н. И. Толстой пополнил этот перечень, приведя смол. *нихалява* 'неаккуратный, неопрятный', орл. *нехолява* 'неряха' — арханг., новгор. и др. *халява* 'неряха' и др.; смол. *немерэчка* 'непроходимое место в лесу', 'о погоде', смол. *нимирэчка* 'непогодь, ненастье' — смол. *мирэчка* 'болото' и др.; могилев. *ніхаліпа* 'слякоть, скверная мокрая погода' — могилев. *халіпа* 'слякоть, снег с дождем'; ряз. *непроступки* 'проступки'; смол. *неўкрамешная* 'кромешная (тьма)'; литер. *непроизвольно* — синоним к

произвольно (Толстой 1995, 344–345). Н. В. Попова в статье, касающейся особенностей *не-* в составе некоторых диалектных слов, отметила еще несколько примеров, из которых соответствующими рассматриваемым здесь представляются костром. *невъюный* 'юный'; смол. *невладание* 'владение (членами)'; *нейма* в знач. 'уйма'; *неволя* 'воля'; *невьюга* 'снегопад' (Попова 1979, 138, 139).

Новые диалектные словари дают возможность выявить еще целый ряд диалектизмов с *не-*, которые употребляются в том же значении, что и их соответствия без *не-*. Это *ненапáстье* 'беда, неприятность, несчастье, напасть' (Орл. сл., 108) — *напáстие* 'несчастье, напасть' (СРНГ, вып. 20, 65); *немоделый* 'лишенный бодрости, энергии; вялый' (Орл. сл., 106) — твер., псков., тул. *моделый* 'утомленный, усталый, измученный; слабый, вялый' (СРНГ, вып. 18, 196); *некультяпа* 'о неумелом человеке' (Орл. сл., 103) — перм. *культяпа* 'бестолковый человек' (СРНГ, вып. 16, 75); *неаляпистый* 'толстый, неуклюжий; неаккуратный, неопрятный, грязный' (Орл. сл., 91) — ряз., калуж., и др. *аляпистый* 'грубый, нескладный, некрасивый' (СРНГ, вып. 1, 248); *непутаник* = *путаник* (Орл. сл., 118); *неосыпучий* 'обильный' (Орл. сл., 110–111) — калуж. *осыпучий* то же: яблоки такие сильные, прямо *осыпучие* (СРНГ, вып. 24, 100 с иным, очевидно, неправильно сформулированным, значением 'легко осыпаящийся, опадающий'); перм. *некулёма* 'неуклюжий, неловкий человек; мешковатый рохля' (Даль², т. II, 521), перм., свердл., сибир. *некулёма* 'неуклюжий, неловкий, неумелый или бестолковый, со странностями человек' (СРНГ, вып. 21, 68) — волог., арханг., пенз., омск., краснояр., иркут. (и др.) *кулёма* 'о неопрятном, неряшливо одетом человеке', курск., тул. 'о неловком, медлительном человеке' (СРНГ, вып. 16, 57); *неистóшный* 'пронзительно-громкий, отчаянный (о голосе, крике)' (Морд. сл., 115) — *истóшный* 'дико стонущий, отчаянный (о голосе)' (Ушаков, 1259); см. еще *неливённый* 'очень сильный, проливной (дождь)' (Орл. сл., 105) — ср. однокорневое прилаг. *ливный (дождь)* 'проливной, самый сильный (дождь)' (Даль², т. II, 256). Данные лексемы приведены нами в тезисах доклада «К вопросу о семантике приставки *не-* в ряде диалектных слов» (Петлева 1996, 39–40). Можно отметить и еще несколько случаев такого рода: смол. *нелёгкие* 'легкие' (СРНГ, вып. 21, 71); смол. *неокаянный* 'окаянный' (СРНГ, вып. 21, 102); тобол. *незанемóчь* 'занемочь, захворать' (СРНГ, вып. 21, 47), коми-пермяцк. *негорóшечка* фольк. 'горемыка, бедняжка' (СРНГ, вып. 21, 5) — терск., смол., калуж., волог., казан., перм., Зауралье *горóшечка* фольк. ум.-ласкат. к *горóша* 'бедняга, горемыка; о женщине-бедняге,

горемыке' (СРНГ, вып. 7, 84); перм., арханг. *некурёна* 'неуклюжий, неловкий, неумелый или бестолковый; некрасивый человек' (СРНГ, вып. 21, 69) — новгор. *курёна* 'о малоподвижном, медлительном человеке', сибир. 'о человеке с большой головой и неправильными чертами лица' (СРНГ, вып. 16, 122); *неварёный* 'неловкий, нерасторопный; ленивый; несмелый, нерешительный' (Яросл. сл., 125), ворон., яросл. *неварёный* 'несмелый, нерешительный, неловкий, мешковатый' (СРНГ, вып. 21, 325) — нижегор., тул. *варёный* 'неловкий в движениях, неповоротливый человек' (СРНГ, вып. 4, 51); костром. *ненарóшный* 'появившийся неслучайно' (СРНГ, вып. 21, 95) — *нарóчный* 'неслучайный' (Даль², т. II, 462); *неспóрко* 'быстро' — *спóрко* 'быстро' (Новгор. сл. 6, 51; 9, 134); арханг. *нехват*, очевидно, в значении 'хват, удалец' (: Нас не мал кружок собрался, все *нехватов*-молодцов) (СРНГ, вып. 21, 201) — *хват* 'молодец, удалец, храбрец; ловкий, бойкий, смелый, расторопный' (Даль², т. IV, 545); арханг. *ненёкошный* 'некрасивый' (СРНГ, вып. 21, 97) — арханг. *некошный* 'некрасивый' (СРНГ, вып. 21, 63), воронеж. *небесхитростный* 'простой, бесхитростный' (СРНГ, вып. 20, 317); вят., тамб., воронеж. *небеспременно* 'непременно, обязательно' (СРНГ, вып. 20, 317); *негадливый* 'гадкий, отвратительный' (Яросл. сл., 128; СРНГ, вып. 20; 368; также смол.) — *гадливый* с несколько отличающимся значением 'брезгливый, склонный к тошноте, ко рвоте; кому легко огадить чем-л. вещь, пищу' (Даль², т. I, 340). См. еще лексемы со сложной приставкой *недо-*: *недоюла* 'елоза, егоза, юла, непоседа' (Даль², т. II, 517; СРНГ, вып. 21, 37); зап.-брян. *недогрызок* 'о человеке, который грубо, сердито отвечает, огрызается' (СРНГ, вып. 21, 19) — курск., смол. *огрызок* 'тот, кто огрызается, грубит' (СРНГ, вып. 22, 358), а также синонимичное употребление брян. *немётка* 'белый головной платок' (СРНГ, вып. 21, 78) — зап.-брян., курск., смол., яросл. (и др.) *намётка* 'длинный женский головной платок' (СРНГ, вып. 20, 35).

Следует заметить, что в некоторых случаях *не-*, с точки зрения литературного языка кажущееся излишним, в диалектной системе таковым не является. См., в частности, *неизвини* 'извини' (Яросл. сл., 132), о котором писал еще В. И. Чернышев, указывая, что в говорах («в народе») этот глагол может употребляться в ином, нежели в литературном языке, значении — 'обвинить', «почему и требует при себе отрицания, когда употребляется в значении 'простить'» (Чернышев, 77). Необходимо принимать во внимание многозначность, семантическую разветвленность (вплоть до антонимии) ряда слов, когда параллель с *не-* для одного из значений

является закономерным отрицанием, а для другого (антонимического) — представляется образованием с излишним *не*-. Так, *не*-кажется излишним в перм. *невы́тный* 'с хорошим аппетитом, прожорливый' (СРНГ, вып. 20, 367), *невы́тной* 'ненасытный в еде, прожорливый' (Соликам. сл., 355), если сопоставлять его с *выть* в значении 'желание есть, аппетит' и не учитывать того факта, что существует и иное значение — 'утоление голода, сытость' (Соликам. сл., 99–100), по отношению к которому оно является нормальным отрицанием. Аналогичным образом *благой* известно не только как 'хороший, добрый', но и 'дурной, плохой; сердитый, злой и т. п.' (СРНГ, вып. 2, 306–308). Поэтому, видимо, наряду с выражением (*кричать*) *благим матом*, в говорах известно и (*кричать*) *неблагим матом* в одном и том же значении '(кричать) истошным голосом, во всю мочь' (СРНГ, вып. 20, 317–318). Выделяется диал. смол. *нехиня* 'вздор, бессмыслица, ахиня' (СРНГ, вып. 21, 202) с утраченным начальным *а*-, которое на почве деэтимологизации было воспринято, очевидно, как *о* префиксальное (ср. приведенное выше смол. *никаянный* с утраченным *о*- начальным, см. *о-каянный*). Привлекает внимание псков. *нету́рýсица* 'небылица, чушь' (СРНГ, вып. 21, 181) — образование на базе *ту́рýсы* 'пустая болтовня, вздорное вранье, пустословие, ласы, балясы', *ту́рýсить* 'говорить вздор, врать, говорить небылицы, нести чепуху' (Даль², т. IV, 444).

Лексемы с *не*- усилительным (или излишним) отмечены нами и в других славянских языках: это не только иркут. *несварка* 'несогласие, ссора' (СРНГ, вып. 21, 148) — *сва́ра* 'ссора, брань, раздоры; драка' (Даль², т. IV, 145), но и чеш. *nesvár* 'разлад, раздор, распря' = *svár* то же, см. еще сербохорв. диал. *не́бреме* 'мука, трудность, тяжесть' — ср. *брёме* 'бремя, тяжесть, ноша'; *петгз* 'ненависть, злоба' — ср. *мрзбст* 'злоба, ненависть; отвращение'; возможно, *неси́товица* 'молодая дубовая роща' — ср. *си́тан* 'мелкий' (Петлева 1996, со ссылками). В заключение заметим, что во многих рассмотренных выше случаях *не*- лишь подчеркивает (закрепляет) отрицательность значения, заложенного в соответствующем слове без *не*-. Особенно показательными в этом отношении являются те примеры, где *не*-, присоединяясь к слову, уже имеющему в своем составе отрицательное *не*-, не меняет значения этого слова — см., в частности, указанные выше *некошный* 'некрасивый' — *ненекошный* то же. Безусловно, многие вопросы, касающиеся неординарных значений *не*, еще ждут своего исследования.

Литература

- Даль² — В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Напечатано со 2-го изд. М., 1955 (1880), т. I; 1955 (1881), т. II; 1955 (1882), т. IV.
- Морд. сл. — Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР / Сост. Э. С. Большакова, Н. П. Кудряшова и др. Саранск, 1986, М-Н.
- Новгор. сл. — Новгородский областной словарь / Отв. ред. В. П. Строгова. Новгород, 1994, вып. 6 (*Наполнить-Ономединьку*); 1994, вып. 9 (*Пральник-Р*).
- Орл. сл. — Словарь орловских говоров. Орел, 1995, вып. 7 (*Н-*).
- Петлева 1996 — И. П. Петлева. К вопросу о семантике приставки *не-* в ряде диалектных слов // Русская диалектная этимология. Тезисы докладов Второго научного совещания. 17-19 апреля 1996 г. Екатеринбург, 1996, с. 39-40.
- Попова 1979 — Н. В. Попова. Особенности отрицания *не-* в составе диалектных слов // Диалектная лексика 1979. Л., 1982, с. 136-139.
- Соликам. сл. — Словарь говоров Соликамского района Пермской области / Сост. О. П. Беляева. Пермь, 1973.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин, с 24-го вып. — Ф. П. Сорокалетов. Л., 1974, вып. 1; 1966, вып. 2; 1969, вып. 4; 1972, вып. 7; 1972, вып. 8; 1980, вып. 16; 1982, вып. 18; 1985, вып. 20; 1986, вып. 21; 1987, вып. 22; 1989, вып. 24.
- Толстой 1995 — Н. И. Толстой. *Не* — не 'не' // Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995, с. 341-346. Первая публикация: Н. И. Толстой. *Не* — не 'не' // Фонетика, фонология, грамматика. К семидесятилетию А. А. Реформатского. М., 1971, с. 282-287.
- Ушаков — Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935, т. I (*А-Кюрины*).
- Чернышев — В. И. Чернышев. Отрицание «не» в русском языке. Л., 1927.
- Яросл. сл. — Ярославский областной словарь / Ред. колл.: Г. Г. Мельниченко, Л. Е. Кругликова, Е. М. Секретова. Ярославль, 1987, вып. 6 (*Липень-Няучить*).

O kaszubskim *kuka* i całej diabelskiej rodzinie

Wśród licznych nazw diabłów występujących w kaszubszczyźnie (wiele z tych nazw omówił swego czasu w osobnym artykule Bernard Sychta¹) niektóre przyciągają szczególną uwagę. Do takich zalicza się nazwa *kuka*, niewymieniana co prawda we wspomnianym artykule, lecz posiadająca oddzielne hasło w Słowniku gwar kaszubskich: *kuka*, -*ki* m. 'zły duch zadawany przez czarownicę w pożywieniu': *Ona mu zadała kuką*². W tymże Słowniku odnajdujemy też wykrzyknik *ala kukoué!* wyrażający zdziwienie i zniecierpliwienie, z przeprowadzonej zaś analizy wynika, że niemal wszystkie wyrazy utrwalone w tego typu archaicznych interiekcjach kaszubskich rozpoczynających się na *ala* dotyczyły w przeszłości świata demonów i sił nadprzyrodzonych³.

Z kaszubskim *kuka* 'zły duch' łączyć należy staropolskie wyrażenie *kuk na wierzbie*, używane w znaczeniu 'diabła tam, nie, gdzie tam' (według wierzeń ludowych wierzby były siedzibą złych duchów)⁴, a także ukraińskie dialektalne (poleskie) *кука* 'coś strasznego, czającego się w ciemnościach'⁵. Por. też rosyjskie dialektalne *кука* 'duch leśny mieszkający w łaźni (sic!)', *кукán, куканка* 'istota nieczysta, zamieszkująca kałuże i błota', 'fantastyczny stwór, którym straszą dzieci'⁶. Do tej samej rodziny należy najpewniej bułgarski *кукер*, pl. *кукери* (pierwotnie *кукири*) 'człowiek biorący udział w odbywającym się na przedwiośniu widowisku-obrzędzie, ubrany w kozuch obrócony sierścią do góry i w maskę z rogami'⁷.

Niewątpliwe powiązania znaczeniowe odnajdujemy też w językach bałtyckich, por. staropruskie *cawx* 'diabeł', litewskie *kaũkas* 'duch domowy', 'gnom', 'diabeł', *kaukùtis* 'dziecko niechrzczone', łotewskie *kauk* 'duch domowy', 'gnom'.

Wyraz łączony bywa z indoeuropejskim **keu-k-* 'krzywić, zginać', dalsze jednakże interpretacje genezy licznych znaczeń z tym rdzeniem wiązanych są bardzo różnorodne i nie zawsze łatwe do przyjęcia. Tak na przykład Gerard Labuda⁸ niesłusznie łączy w jedną rodzinę ka-

szubskie nazwy diabłów *kuka*, *kužad*, *kaduk*, *kakuš* o całkiem różnych etymologiach⁹, E. Masłowska zaś sprowadza kasz. *kuka* do prasłowiańskiego **kučiti*, *kučŏ* — o ostatecznej podstawie dźwiękonaśladowczej i wskazuje na częste u Słowian wyobrażenia złych duchów w postaci ptaków nocnych¹⁰. Z kolei dokonana przez V. N. Toporowa obszerna analiza mitologicznej semantyki wyrazów wywodzących się z indoeuropejskiego rdzenia **keu-k-* dopuszcza możliwość personifikacji mitologicznych nazw gór¹¹. Stwierdzić tu jednak wypada, że indoeuropejski rdzeń **keu-k-*, nawiązujący do kształtu (wygięcia, krzywizny) góry lub masywu górskiego, częsty bywa w ogóle w nazwach dotyczących ukształtowania terenu, w związku z czym por. zgromadzony przez L. V. Kurkinę¹² bogaty materiał słowiański wywodzący się z prasłowiańskiego **kuka* w górskiej topografii. Geneza wszystkich tych nazw związana jest w sposób oczywisty z podstawowym znaczeniem rdzenia **keu-k-* 'zgięcie, krzywizna'.

V. N. Toporov l. c. przypisuje też możliwość powiązań interesujących tu nas nazw demonów, złych duchów, diabłów z szeroko rozpowszechnionymi w językach bałtyckich nazwami maczugi, kija, kłonicy, w której to semantyce dopatruje się odniesień do broni postaci mitologicznych («мотив оружия Громовержца»). Rzecz w tym jednakże, że cała bogata sfera bałto-słowiańskiego nazewnictwa dotyczącego różnego typu narzędzi i przedmiotów (jak na przykład litewskie *kukūtis* 'haczyk', bułgarskie *кука* 'hak', 'rodzaj zagiętej igły', 'kostur', białoruskie *кука* 'młotek') w sposób całkiem bezpośredni również łączy się z podstawowym znaczeniem **keu-k-* 'coś krzywego, zagiętego' i nie sprawia żadnych trudności etymologicznych.

V. N. Toporov l. c. dopatruje się ponadto w bałto-słowiańskich nazwach demonów wtórnej więzi z dźwiękonaśladowczymi verbami występującymi w «funkcji mitologicznej», jak na przykład litewskie *kaūkti* 'krzyczeć strasznym głosem', 'wyc', łotewskie *kāukt* 'krzyczeć, wyc' (też białoruski lituanizm *каўкаць* 'miauczeć' związany — zdaniem Toporowa — z motywem przemianu przeciwnika w kota), również inne liczne verba słowiańskie w rodzaju rosyjskiego *күкать*, ukraińskiego *кукотати*, czeskiego *kukati*. Wszystkie te czasowniki łatwiej jednak traktować jako formacje dźwiękonaśladowcze, z indoeuropejskim **keu-k-* nie mające jakichkolwiek powiązań.

Dopatrując się więc wspólnej genezy bałto-słowiańskich nazw demonów (złych duchów, diabłów) należałoby obrać takie rozwiązanie, które połączyłoby rozpowszechniony szeroko w językach indoeuropejskich rdzeń **keu-k-* ze wspólną indoeuropejską sferą wierzeń związanych z wyobrażeniami sił nieczystych. Owym łączącym ogniwem wydaje się tu być motyw demonów (bogów) kulawych, okaleczających.

«Przypisywanie kulawości czartu — pisze Kazimierz Moszyński¹³ — nie jest wyłącznie słowiańskim wymysłem; o kulawych diabłach mówią nam również współcześni Grecy, Niemcy, Francuzi i inne ludy europejskie. <...> Z rzadka słowiańskie wierzenia obdarzają kulawością także inne istoty mityczne. Więc na Białorusi mówi podobno lud o kulawym demonie leśnym; w Małopolsce kulawa bywa jedna z boginek, która też z powodu swego kalectwa jest zawsze ostatnia w zgrai demonów napadających człowieka (podobnie kulawy czart dla Greków); u Łużyczan (jako też u Niemców) spotykamy się z wierzeniem, że kulawy zajac jest niewątpliwym wcieleniem wiedzy itd.»

Ten sam badacz przytacza liczne dalsze przykłady kulawych czy okaleczonych bóstw i demonów «przebywających na olimpach ludów we wszystkich częściach świata» [op. cit., s. 618], my zaś przypomnijmy tu jeszcze szeroko rozpowszechnioną etymologię prasłowiańskiego *črtъ 'mityczna postać demoniczna, zły duch, diabeł', którą to nazwę zwykło się utożsamiać z participium praeteriti passivi od *čerti, čьrō, 'ciąć' i wiązać z łacińskim *curtus* 'okaleczony, obcięty, skrócony'¹⁴. Suponować można, że również i bałto-słowiańskie *kuka* miało pierwotnie zbliżone znaczenie 'okaleczony, ucięty, kulawy'.

Przypomnijmy jeszcze, że wątek okaleczonego diabła znany jest również w kaszubszczyźnie, o czym świadczą mogą występujące w Słowniku B. Sychty określenia *kóńská špëra* eufemist. 'zły duch, diabeł', 'człowiek ze zniekształconą stopą', por. tamże *djâblâ špëra* — nazwa ortopedycznego buta oraz *kulavi zajc* 'zły duch w postaci kulawego zajaca'. Liczne są też frazeologizmy nawiązujące do kusego (obciętego?) diabłego ogona¹⁵. W określeniach tych znajduje kontynuację ten sam pradawny motyw, który w odległej przeszłości wpływał zapewne na tworzenie bałto-słowiańskich nazw złego ducha za pomocą ide. rdzenia *keu-k-.

¹ B. Sychta. Kaszubskie nazwy diabła (Wyjątki ze słownika kaszubskiego) // *Język polski XXXVII*, 1957, s. 28–44.

² B. Sychta. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław, 1968, t. II, s. 289.

³ Por.: H. Popowska-Taborska. Kaszubskie interiekcje wyrażające zdziwienie, zniecierpliwienie, gniew // *Philologia slavica. К 70-летию академика Н. И. Толстого*. М., 1993, с. 389–392.

⁴ Słownik polszczyzny XVI wieku / Instytut Badań Literackich PAN. Warszawa, 1978, t. XII, s. 540.

⁵ Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. М., 1968, с. 44.

- ⁶ Словарь русских народных говоров. М.; Л., 1980, вып. 16, с. 30, 31.
- ⁷ Bardziej szczegółowo zob.: K. Moszyński. Kultura ludowa Słowian. Warszawa, 1968, t. II, cz. 2, s. 283–284.
- ⁸ G. Labuda. Mitologia i demonologia w słownictwie, w bajkach, baśniach i legendach kaszubskich // Świat bajek, baśni i legend kaszubskich. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej. Wejherowo, 1979, s. 30–31.
- ⁹ O których szczegółowo: W. Boryś, H. Popowska-Taborska. Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. III (w druku).
- ¹⁰ E. Mastowska. Przeobrażenia semantyczne polskich gwarowych nazw diabła // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XXIV, 1987, s. 81.
- ¹¹ В. Н. Топоров. Прусский словарь. М., 1980, I–K, с. 293–298.
- ¹² Л. В. Куркина. Названия горного рельефа (на материале южнославянских языков) // Этимология 1977. М., 1979, с. 46.
- ¹³ K. Moszyński. Kultura ludowa Słowian..., t. II, cz. 1, s. 620.
- ¹⁴ Słownik prasłowiański. Wrocław, 1976, t. II, s. 256.
- ¹⁵ Zob.: J. Treder. Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym. Wejherowo, 1989, s. 119.

Х. Поповская-Таборская

О кашубском *kika* и обо всем чертовом семействе

В статье рассматриваются связи каш. *kika* 'злой дух' с другими славянскими и балтийскими названиями чертей и демонов, восходящими к индоевропейскому корню **keu-k* 'нечто кривое, изогнутое'. Автор указывает на широко распространенный в индоевропейских языках мотив хромых, искалеченных дьяволов (богов), который, по ее мнению, лежит в основе рассматриваемых балто-славянских названий.

«Странствия владычня...»

Из наблюдений над церковнославянским словом

Странствїа влчнѣ и безсмѣртныа трапѣзы на горнѣмъ мѣстѣ,
высокими оумь, вѣрнїи придїте насладїмса...

Приходите, верующие, возвысив ум, насладимся гостеприимством Владыки и застольем бессмертия на высотах...
(Канон Великого Четверга, утр., ирмос 9).

Этим прекрасным песнопением и его дословным русским «переводом», который еще раз показывает, что между русским и церковнославянским языками отношения перевода если вообще не невозможны, то очень проблематичны (о чем речь пойдет и дальше), мне хочется предварить заметки о семантическом своеобразии церковнославянского слова. Подбор русского соответствия почти к каждому из слов, составляющих этот ирмос, затруднителен до болезненности, и трудность в каждом случае разная. Скажем, передача слова **вѣрнѣй** (πιστός) как «*верующий, имеющий веру*» приближительна, однако простой перенос слова «верный» в контекст русского языка был бы значительным искажением: в русском языке синонимами его будут *преданный, надежный*, антонимом — что-то вроде *предатель*; русское *верный* по преимуществу — 'тот, кому можно верить'. Этот компонент семантики присутствует и в славянском значении, но скорее — на его периферии и преимущественно — в отношении к Богу: *вѣрнѣ ѣсть и прѣведенѣ, да ѡставитъ намъ грѣхї наша.* (Ин. 1, 9). В евангельском употреблении **вѣрнѣй** противопоставлен *невѣрному* (ἄπιστος) и *маловѣрному* (δλιγόπιστος), т. е. 'не доверяющему', 'не обладающему полной веры': *и не буди невѣрнѣ, но вѣрнѣ* (Ин. 20, 27). В богослужебном употреблении **вѣрнѣй** противопоставлен *ѡглашенному* и означает полноту воцерковления. Сложность соотнесения церковнославянских и русских слов, как в этом случае, часто имеет не собственно лингвистическую, но концептуальную (культурную, вероучительную) природу. В таких случаях еще до перевода должна была бы быть проделана богословская работа, экспликация множества понятий и представлений, которые традиционно не изъяснялись эксплицитно, принимались вместе со словом — и со всем кругом

его употреблений, который в этом случае замещал прямое толкование, гарантируя неслучайность и произвольность понимания. Обращение к богослужебным текстам дает понять, как огромна зона таких непрояснявшихся значений. Риск недопонимания в таком типе герменевтики очень высок. Не только не знающие грамоте странницы из пьес А. Н. Островского («глас вопиющего в пустыне» понимающие — со слуха, как нетрудно догадаться, — как «глаз», который можно увидеть), но порой и богословы дают увидеть, насколько этот риск мнимо-понятности церковнославянского слова реален¹.

В своих занятиях церковнославянским языком мне хотелось бы придерживаться по возможности узкой, предельно лингвистической зоны, хотя, вообще говоря, выделить чисто лингвистическую область в отношении к такому в высочайшей степени концептуализированному языку невозможно. Во всяком случае, среди «странных» для русскоязычного восприятия слов приведенного ирмоса к последующим заметкам самое прямое отношение имеет первое слово — *странствие*, передающее одно из значений греческого *ξενία*. После сличения с греческим оригиналом или русского перевода это слово становится совершенно прозрачным. Мы понимаем, что здесь использована иная словообразовательная возможность, чем в нашем *странствии*, но опознаем ее как вполне естественную. Эффект перемены смыслового и словообразовательного фокуса при чтении церковнославянских текстов — увлекательное само по себе явление. Его простым последствием может быть и перемена восприятия собственно русских слов: актуализация их поморфемного понимания (характерного для восприятия слова детьми).

Наблюдения и некоторые, самые предварительные попытки обобщений, изложенные ниже, возникли по ходу работы над словарем церковнославянско-русских паронимов.

Церковнославянский язык, практическое обучение которому (а с ним и филологическое изучение)² на десятилетия исчезло из нашей жизни, — драгоценная часть русской культуры³. Его положение — по многим характеристикам — необыкновенно и его отношения с русским (литературным) языком куда сложнее, чем простая бинарность *священного* и *мирского*, *чужого* и *своего*, *высокого* и *обыденного*, *древнего* и *нового*...

В перспективе русского литературного языка церковнославянский (новоцерковнославянский, или синодальный церковнославянский, т. е. язык текстов, которые сохраняются в публичных богослужениях Русской Православной Церкви и в частном молитвенном правиле) представляется не столько языком, сколько своего

рода **текстом**. Церковнославянский оборот любого объема (едва ли не одно-единственное слово или характерная грамматическая форма — вроде перфекта: *явился еси* или падежной формы с палатализацией: *нозе* — или даже ударение: см. *беспомощное дитя* у Ф. И. Тютчева) воспринимается в русском дискурсе как цитата. Даже если такая «цитата» в реальности ничего не цитирует и представляет собой как бы «обратный перевод» с русского (см. запечатленные Н. С. Лесковым языковые игры с церковнославянским в обиходе его знатоков), даже если славянской эту форму можно счесть только по незнанию или недоразумению — как хлебниковское *дорози*:

*Русь, ты вся поцелуй на морозе
Синеют ночные дорози —*

она отсылает нас к какому-то «источнику», который представляет собой нечто большее, чем просто словесный текст или обширный круг таких текстов или их семантическая система. В церковнославянской инкрустации в русскую литературную речь есть отсылка к определенному миру вещей, жестов, ритмов, даже запахов — собственно, к храмовому обиходу. Церковнославянская «цитата» (в этом широком смысле цитатности) пахнет ладаном и лампадным маслом и внушает воспоминания о золоте и темноте, цветных и расшитых тканях, о вещественном великолепии и торжественно смиренной — иноческой — пластике тела⁴. В этом читатель может убедиться, перечитав приведенные стихи Хлебникова с их ошибочно образованной формой *дорози*.

Русский литературный язык, как известно, вообрал в себя многое из церковнославянского языка как текста, языка как произведения: собственно, почти весь свой пласт «высокой лексики», которая часто уже не узнается как «славянская» и не обладает, тем самым, описанной выше суггестивной силой цитаты. Вспомнить о стилистико-семантической непростоте этих слов заставляет только переводческая работа. Занимаясь переводом — условно говоря — «возвышенных» сочинений с европейских языков, мы сталкиваемся с невозможностью, скажем, употребить русское слово *щеки* или *глаза*, если они применены к *Ангелу* — и обречены на *очи* и *ланти* там, где немецкий, итальянский, английский автор без малейшего смущения употребит самое простое слово. Здесь мы понимаем, в какой степени наш язык не обладает ресурсами простого, прозрачного называния множества вещей: не облаченные высоким (в сущности, цитатным) словом, названные просто, эти вещи выглядят голыми, профанированными. Приведенный

Никитой Ильичом Толстым образец перевода со славянского (внутрирусского славянского): *Устами младенца глаголет истина* на русский: *Ртом ребенка говорит правда* обнаруживает крайнюю сложность «обмирщения» русской речи. Не-возвышенное почти фатально оказывается сниженным, неритуализованное — «поганым» (ср. до позднейшего времени сохранившийся в диалектах глагол *обрусеть* — 'опуститься', 'перестать следить за собой').

Вероятно, самый смелый опыт русификации священных тем (причем русификации, исключаяющей любую иронию и снижение) принадлежит Б. Л. Пастернаку в его библейском цикле «Стихов из романа» (за этим «простым слогом» — «простым» словарно, но еще более — синтаксически:

Он шел из Вифании в Иерусалим... — 5

просвечивает образец Рильке).

Впрочем, еще до пастернаковских евангельских стихов попытку элиминировать стихию церковнославянского языка в изложении этих тем предпринял Л. Н. Толстой в своем «Своде и толковании четырех Евангелий». Этот опыт не был, насколько нам известно, исследован с филологической точки зрения — между тем, как переводческие находки «русского слога» в толстовских переложениях иных мест (особенно притчей) поразительны.

Само изучение состава области вещей, не именуемых в русском литературном языке по-русски, — интересная задача для филолога и историка культуры. Интересно было бы сравнить это положение с другими славянскими культурами, в которых церковнославянский язык занимает подобное место.

Но моя тема — не область пересечения и интерференции русского и церковнославянского, а как раз напротив: те тылы или глубины церковнославянского языка, в которые не входило русскоязычное сознание и которые остаются для него темными или мнимо-понятными. Самая затрудненная часть этой зоны, на мой взгляд, — словарная. В области грамматики и синтаксиса явления, совершенно чуждые современному русскому языку, изучаются в церковнославянском просто как свойства любого иностранного языка. Со словарем сложнее. Морфологическая близость языков заставляет «разгадывать» не совсем ясные слова, исходя из русскоязычного опыта. Эффект «ложных друзей переводчика» (в нашем случае скорее — чтеца) распространяется на огромное поле церковнославянской лексики. Обширность этого поля удивила меня, когда — в практических целях преподавания — я начала собирать список таких псевдопонятных слов. Общеизвестные

примеры таких недоразумений — живѣтъ (жизнь), понѣсъ (поношение), позѣръ (зрелище), напраснѣ (неожиданно): Напраснѣ (во многих изданиях исправленное на *вnezápnŭ*) сѣдѣа прѣидетъ ѿ коегѣждо дѣланѣа ѡбнажатъса (Молитвослов, утр.).

Я предполагала несколько расширить этот список — но и предположить не могла объема этого расширения. Одним из первых слов этого ряда, понимание которого искажается без комментария, оказался употребительнейший в церковнославянских текстах глагол *требовати*, *требѣю*: къ тебѣ прибѣгохъ чтаа, спсѣнѣа требѣа (к Тебе я прибег, Пречистая, имея нужду в спасении); ѡчищенѣй же ѿкъ бгѣ не требѣа (в очищении, как Бог, не имея нужды) (Канон Богоявл.). Было бы заметным сдвигом вносить в эти контексты значение русского *требовать* 'решительно, активно добиваться': славянская семантика глагола крайне пассивна — 'настоятельно нуждаться' (она сохранилась в некоторых русских употреблениях типа *платье требует починки*). Близкое к *требовати* значение может иметь в церковнославянской литургической поэзии глагол *просити*: радѣйсѣа, мѡлчанѣа просѣцихъ вѣро! (Акафист Пресвятой Богородице): *радуйсѣа, вера в то, что нуждается в молчании*: здесь к лексическому затруднению добавляется грамматическое — неизвестная русскому языку форма plur. neutr. в обобщающем значении, грамматический грецизм). Зато в противоположном направлении — от пассивной к активной семантике — располагается различие русского и церковнославянского *нѣжда*, *нѣжный*: стрѡпотнаа нѣжныхъ измѣненѣй («затрудняющие путь насильственные обмены»); претерпѣша раны ѿ нѣжнѣю смѣръть (Окт. К Бог. гл. 8, пят., 9) силѣ нѣжнѣю челоѡвѣкоѡбѣицы оугасити (К Рожд. Бог.). Но возможно и положительное значение: 'сильный': Дхѡмъ нѣжнымъ исполнѣаи всѣаческаа (Стих. Пят.): «Духом силы наполняющий всё»; еѣже (совести) ничтѡже въ мѣрѣ нѣжнѣйше (Вел. Кан., пнд., п. 4): («а её (совести) ничего нет в мире сильнее»). Как видно из сопоставления, славянское и русское *нѣжный* по-разному относятся к исходному глаголу *нѣдѣти*.

Результатом — еще не далеко окончательным — моих изысканий стал словарь «Церковнославянско-русские паронимы» (нужно признать, что название неудачно), опубликованный по частям в журнале «Славяноведение», в общей рубрике «Уроки церковнославянского языка», которую мы задумали совместно с А. Г. Кравецким и А. А. Плетневой. Публикация наших «Уроков» открывалась вступительной статьей Н. И. Толстого⁶.

Сами слова, контексты их употребления, сдвиги семантики относительно русской перспективы — все это представляет собой

занимательное чтение: следом за поражающей неожиданностью смысла читатель может как бы «оправдать» его, понять задним числом, каким образом из знакомых частей сложился другой образ целого смысла, вполне возможный и в русском языке, который, однако, предпочел другой путь.

Так, например, церковнославянское *рѣшительный* (Кан. Пят., п. 5, ирмос) означает 'освобождающий'. *рѣшительный*: *тѣло на́шихъ прегрѣшеній рѣшительное*. (Трип. Вел. Пят.) «Тело (Христово), освобождающее нас от прегрешений»; *рѣшительное ѡчищеніе грѣховъ ѡгнедѣхновеннѹю прїиміте дѹа росѹ*. (Кан. Пят.): «примите огнедышащую росу Духа, освобождающее очищение грехов». В русском глагол с подобным значением сохранился только с префиксом: *разрешить*; значение же бесприставочного глагола сузилось⁷.

Славянское *непостоянный*: *ѣко непостоянно великолѣпіе славы твоѣа а нестерпимъ ѿгнѣвъ* (Вел. Повеч.); *ѡгнь бо родила єси непостоянный, дѣво* (Окт. гл. 7, К. пок., п. 7); *страстѣи моихъ непостоянное ѿ лютое оутѣло смѣщеніе* (Окт. гл. 6, Нед., п. 6) означает, в отличие от русского 'изменчивый', — 'неодолимый': тот, против которого нельзя постояти. В другом морфологическом оформлении — *непостоятельный* — этот эпитет кажется более ясным: *Ѡ текѹщихъ непостоятельныхъ тѣи, к тесѣ пришедшыа, въ селеніихъ вѣчныхъ жити радостнѹ сподоби* (Мертв. Кан., п. 3) «Тех, кто пришел к Тебе от течения неодолимой смерти, удостой радостной жизни в вечных селениях».

Незаходимый (свѣте *незаходимый*) означает 'неприступный', ср.: *животворитъ сѹщыа въ незаходимыхъ ѡдовыхъ мѣстѣхъ* (Утр. Вел. Сб.). Развилкой семантического расхождения стал глагол *заходить*, означающий 'входить', 'приступать' (в русском сочетании глагола сузилась).

Я говорю о «частях» и «целом» потому, что слова, входящие в словарь, по большей части — составные, если не композиты в строгом смысле, то воспринимаемые как композиты, поскольку семантика аффиксов — в сравнении с русским — здесь обострена: см. значение приставок *по-* и *за-* в приведенных глаголах *постояти*, *заходить*, которое на русском фоне представляется актуализованным.

Сбор слов такого рода, их словарное толкование (для точности которого необходимо обращение к греческому оригиналу, поскольку тексты эти, входящие в состав *Триодей Постной* и *Цветной*, *Миней служебных*, *Октоиха*, *Молитвослова*, *Служебника*, *Каноника* и других богослужебных книг — почти сплошь переводные), перевод контекстов, в которых они употребляются, — все это едва начатая работа. До ее окончания вряд ли можно всерьез анализировать направления семантических сдвигов и причины расхождений.

Некоторые из них, тем не менее, можно легко предсказать: в первую очередь, это семантическое калькирование (семантические грецизмы), процесс, который А. Исаченко назвал «метемпсихозом греческого языка в плоть славянского слова». Внутреннее, семантическое преобразование славянских морфем — вероятно, центральное событие в рождении и судьбе церковнославянского языка с кирилло-мефодиевских времен; однако, далеко не все можно объяснить «греческим присутствием»: например, почему греческое *ἡλάρός*, *радостный, веселый, приветливый* (Φῶς ἡλάρόν ἀγίας δόξης), передается цсл. *тѣхѣй* (свѣте тѣхѣй бѣгъ славы)? Тихий в церковнославянских контекстах вообще несколько расходится с русским употреблением, означая 'не угрожающий' — тем самым, 'приветливый' (ср.: *тѣхѣмъ ѿ мѣтивымъ вонми ѡкомъ*. Требн. Кан. Мол., п. 8), но греческим воздействием этого сдвига не объяснить. Почему в той же *Вечерней молитве* греч. *αἰσιος* передается цсл. *преподобный* (пѣтъ бѣти гласы преподобными — ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίου, «чтобы Тебя воспевали прекрасные голоса/звуки»)? Представляет ли собой цсл. *сладкий* в нехарактерном для русского языка значении 'милый', 'любимый' грецизм — или это южнославянизм? ⁸ На вопросы такого рода можно ответить только опираясь на значительный материал греческо-южнославянско-русских сопоставлений, которым мы не располагаем.

Мне хотелось бы обратить внимание на один род славянско-русских семантических расхождений: связанный с категориями объектности-субъектности. Лексика такого рода восходит к переходным глаголам, и анализ этих сдвигов можно было бы описать в процедурах порождающей грамматики.

Другое, чем в современном русском языке, осмысление объектности-субъектности можно проследить не только в лексике. Иначе этот момент можно назвать актуализацией (точнее: актуальностью) темы действия, переходного действия, у которого отмечен Агент и Реципиент. Самый яркий пример этого — употребление притяжательных местоимений.

Спсѣніе твоє на лѣжи моємъ — первое и второе притяжательные местоимения имеют в виду разные вещи. «Мое ложе» принадлежит «мне» — но и «твое спасение» принадлежит «мне», означая «спасение меня Твоей силой». Исходная конструкция: *Ты — спасаешь — меня*. Отглагольное действие (*спасение*) посредством местоимения относится к деятелю, а не к объекту. Другой пример: *страхъ твоѣй* (т. е. «мой страх перед Тобой»), ср.: *страха же вашего не оубоимса ниже смѣтѣмса* (Вел. Повеч.). Исходная конструкция: *Ты — страшишь — меня*. В данном случае можно говорить если

не о морфологической, то о семантической отглагольности существительного *страх*: такая глагольная семантика, семантика действия в именах типа *радость, страсть, мир, дар, плен, страх, милость* (ср.: литургич.: *милость мира жертва хваления* (Лит. Зл.); ср.: *и аще чистагв помилуеши, ничтоже дивно, достоини бо сътъ милости твоєа*), стертая в русском языке, заметно «овеществившем» имена и в целом ослабившем глагольность, очень существенна для церковнославянского. Прилагательные же типа *мирный* (*и послѣ ми агла мирна, хранителя и наставника. Молитв. веч.*), *вѣрный* (*и не бѣдите невѣренъ, но вѣренъ: «не будь не верящим Мне, но верящим»*), *нужный* (см. выше) в своей семантике приближены к действительным причастиям: ‘несущий мир’, ‘имеющий веру’, ‘нудящий’.

Общение с церковнославянским словом оживляет восприятие глагольной семантики, поскольку часто именно в ней ключ к «разгадыванию» правильного, нерусского смысла церковнославянских употреблений — как, вероятно, видно по многим из тех слов, которые приводились выше. Более того, и в русском слове оживает его исходная отглагольность. Так, подыскивая аналог к церковнославянскому *странствѣю* — *ξενία*, с которого начались наши заметки, мы вспоминаем, что русское *угощение* за ближайшим предметным значением ‘кушания’ имеет в виду действие ‘принятия гостя’, *страннагв*.

¹ Так, один из проповедников прошлого века останавливается на стихе Псалма: *Возмите князи врата ваша, и возмитеса врата вѣчныя*, не предполагая за слав. *возмите* (поднимите) и князи (верхняя часть конструкции ворот) других значений кроме русских, и толкует, почему «князи» должны «взять» врата.

² За исключением курса старославянского языка, который точнее было бы называть старочерковнославянским, в программе филологических факультетов. Этот курс был по своей структуре чисто теоретическим, причем ограниченным областями фонетики и морфологии в компаративистском плане, реконструкции праславянских форм. О синтаксисе и семантике речь в этом курсе не заходила.

Отсутствие церковнославянского фона в языковом сознании авторов, пишущих по-русски, заметно отличает письмо советского периода от дореволюционного, независимо от личных убеждений писателя: ср. богоборца Маяковского с его литургическими реминисценциями — и метафизика Бродского, в слове которого нет и тени церковнославянского.

³ Мне не хотелось бы, чтобы славянизм *драгоценный* понимался просто как эмоциональный эпитет: перевод его на русский — «дорогостоящий»

освежит конкретную семантику. Драгоценное дорого стоит, оно не упрощает жизни, а усложняет ее. Современные дискуссии о переводе богослужения на русский связаны с дорогой ценой, которую нужно платить за существование особого языка, требующего не только лингвистической подготовки, но и особых умственных навыков. Каждый, кто занимался церковнославянским, может подтвердить, что цена его освоения достаточно высока. Вопрос в том, что лучше — дешевое понимание или дорогое. Автор этих заметок склонен ко второму ответу: дорого давшееся понимание дает больше, в том числе «обычному человеку», о котором заботятся сторонники перевода. Кроме прочего, оно дает ему возможность вернуться к вдумчивости — и к уважению *сложного*, «*почтенью к уму*», словами М. И. Цветаевой, — то есть, к вещам, от которых его всеми способами отучала агрессивная популистская культурная политика советской эпохи.

4 Никита Ильич, почитатель Пруста, должен был с особой остротой наслаждаться этой суггестивной силой церковнославянского слова.

5 Ср. традиционный синтаксический библеизм Ахматовой:

И встретил Иаков в долине Рахиль...

6 Славяноведение, 1992, № 3, с. 72–75 и дальнейшие выпуски.

7 Вообще можно заметить определенную тенденцию к префиксальному (часто плеонастическому) расширению определенных слов «духовного языка» в русском: на месте слав. *Ѣстаа* (о Богородице) употребительно *Пречистая, вышній — Всевышний* и под. «Духовный язык» (своего рода функциональный жаргон русского литературного языка, сложившийся в прошлом веке) стремится еще отчетливее, чем славянский, провести границу «мирского» и «священного». Можно увидеть параллель этому процессу в натуралистической религиозной живописи времени, сменившей каноническое иконное письмо: в иконе неотмирный характер изображения явен и без нимбов и без особого — «благочестивого» — психологического состояния, выраженного в ликах и позах; в религиозной живописи нимб и особое «умильное» настроение изображенных остаются единственными средствами переключения изображения в ряд «священного».

8 Этим наблюдением я обязана И. А. Седаковой, изучающей обрядовую символику *сладкого* в южнославянской традиции.

Заметки по словацкой исторической лексикологии

Хорошо известно, что одним из аспектов изучения проблемы соотношения языка и культуры является исследование истории словарного состава языка, который «быстрее и шире, чем другие стороны языковой структуры, реагирует на изменения во всех сферах общественной жизни» (Виноградов 1977, 70). Именно в лексике наиболее ярко проявляется связь языка с внеязыковой действительностью, с историей народа — носителя данного языка, с развитием его материальной и духовной культуры. Динамика словарного состава как целого, история отдельных слов и фразеологических единиц, семантические сдвиги в данной сфере языка — все это наряду с внутрисистемными стимулами в значительной мере определяется действием внешних историко-культурных факторов.

Данная статья представляет собой заметки и соображения по некоторым вопросам, связанным с изучением истории словарного состава литературного словацкого языка. При этом мы ограничиваемся анализом материала текстов, относящихся к одному из важнейших этапов развития литературного языка словаков — к так называемому шутовскому периоду, который охватывает 30-е — 40-е годы XIX века. Именно тогда закладывались основы нового варианта литературных норм словацкого языка. Кодифицированный Людовитом Штуром литературный язык («штуровщина») был призван заменить, с одной стороны, традиционный чешский язык, которым словаки с конца XIV в. пользовались в качестве литературно-письменного, и, с другой стороны, первый вариант литературных норм словацкого языка, узаконенный в конце XVIII в. Антоном Бернолаком (подробнее о развитии языковой ситуации в Словакии в конце XVIII в. — середине XIX в. см.: [Смирнов 1978]).

Л. Штур и его соратники понимали, что полноценное функционирование нового литературного языка в разных сферах общественно-культурной жизни не может быть обеспечено тем словарным составом, который имелся в его диалектной основе (ее составляющими были «среднесловацкий культурный интердиалект», местные среднесловацкие говоры, язык народной словесности). Поэтому они уделяли значительное внимание формированию и развитию словарного состава штуровщины, его пополнению новыми словами и словосочетаниями. При этом они стремились к тому, чтобы в лексике (как в фонетике и грамматике) молодого литературного языка отражалась этнокультурная самобытность словаков.

Следует отметить, что изучение словарного состава штуровщины сопряжено с большими трудностями. Прежде всего это связано с отсутствием надежной лексикографической базы. Дело в том, что если лексика литературного языка, кодифицированного А. Бернолаком, в значительной мере (хотя и неполно) зафиксирована в составленном им «Словацком чешско-латинско-немецко-венгерском словаре» (Bernolák 1825–1827), то словарный состав штуровщины не получил достаточно глубокой и систематической лексикографической обработки. Изданный в 1848 г. «Новый словацко-венгерский и венгерско-словацкий словарь» Штефана Янчовича (Jančovič 1848) не в счет. В нем слишком малочисленный словник, слабо отражающий лексику текстов штуровского периода. Кроме того, это было пособие практического характера, которое не имело серьезной теоретико-методической основы. Определенные сложности обусловлены также тем, что еще не завершено издание «Исторического словаря словацкого языка» (Historický slovník... 1991–1995). Поэтому наши наблюдения строятся главным образом на анализе выборок из текстов изучаемого периода. Источниками материала для нас послужили: Slovenskje národnje novini (1845–1848). Reedícia. Bratislava, 1956 (SNN). Orol Tatránski (1845–1848). Reedícia. Bratislava, 1956 (OT).

Указанные источники дают очень богатый, разнообразный и интересный лексический материал. Примечательно, что в них новые или малоизвестные слова (или отдельные значения слов) нередко сопровождаются своеобразным присловным комментарием. В скобках за данным словом приводятся иноязычные эквиваленты — латинские, немецкие, венгерские, значительно реже французские, например: *víminka* (conditio), *príneska* (der Beitrag), *nedostatok* (defektus, der Mangel), *odpis* (példány), *základ* (la base) или словацкие синонимы, например: *krám* (sklep), *obchod* (kurčeňja), *krov* (dach). Иногда в скобках дается толкование слова или опи-

сательное пояснение. Указанный способ введения в тексты лексических новообразований, раскрытия или уточнения значения слова Я. Горецкий назвал «скобочной практикой» («*zátvorková grah*» от слова *zátvorka* 'скобка') (Horecký 1946–1948, 295). Не останавливаясь на подробной характеристике «скобочной практики» в изучаемых текстах (этому посвящена наша статья [Смирнов 1998]), попытаемся на конкретных примерах показать ее роль в усилиях штуровцев, направленных на обогащение лексики литературного словацкого языка.

С пояснениями в скобках вводились в тексты прежде всего многие наименования новых реалий, предметов, понятий и явлений, связанных с развитием цивилизации и культуры, например: *d'alekohlad* (teleskop), *parotlač* (Dampfpressen), *t'esnopis* (stenografia), *blaho* (das Wohl), *mjenka verejná* (opinio publica), *pantheism* (všebožstvo), *hmota* (das Material), *pomer* (relatio, das Verhältniss) и т. п.

Значительную группу новых или малоизвестных слов в изучаемых текстах представляют названия, относящиеся к финансово-экономической, промышленной и торговой сфере. Понятно, что в связи с формированием капиталистических отношений возрастала потребность в расширении и обновлении соответствующих номинативных средств, что стимулировало становление терминологической и специальной лексики, ср., например: *ist'ina* (kapitál), *prjemisel* (Industrie), *úbeh* (concursum), *účas'tina* (akcia), *zmenka* (Wechsel) и др.

Довольно большая группа неологизмов относилась к научной сфере. Здесь можно отметить наименования науки вообще и целого ряда отдельных научных дисциплин, в частности, например: *nauka*, *veda*; *bohoslovja* 'богословие, теология', *dejepis* 'история', *dušeslovja* 'психология', *lekárstvo* 'медицина', *lučba* 'химия', *mudroslovja* 'философия', *prírodopis* 'природоведение' и т. п. В текстах штуровского периода лексика данной сферы характеризуется наличием вариантных образований, ср.: *hvezdárstvo*, *hvezdoveda*, *hvezdoznanstvo* 'астрономия', *jazikoslovja*, *jazikospit*, *jazikoznanstvo* и др.

Иногда с пояснениями в скобках вводились в текст и заимствованные русизмы, ср., в частности: *Pred ikonostasom (oltárom obrázkovím)... dávau požehnaňja junákom velební kňaz* (OT, 361). *Starožitní letopisec (chronista, vipravovat'el pametních príbehov po rokoch)* Slovanskí Nestor o tomto t'jahnut'í Uhrou takto rozpráva... (OT, 34).

В штуровский период многие неологизмы возникали путем калькирования иноязычных наименований, которые иногда указывались в скобках при словацком слове. Активно употреблялись и новые заимствованные слова, которые во многих случаях вступали в конкуренцию со словацкими новообразованиями. Так, например,

наряду с названными выше словацкими научными терминами употреблялись иноязычные *theologia*, *historia*, *psychologia*, *philosophia* и др., ср. также следующие пары: *prírodoskus* — *fizika*, *ranárstvo* — *chirurgia*, *strojslovje* — *mechanika*, *časoznak-barometr*. Особо отметим наименование *skumat'el chvile* (meteorolog) (ОТ, 216) (букв. 'исследователь погоды'). В нем представлено такое лексическое значение слова *chvil'a*, которого в современном словацком языке данное слово не имеет, — оно обозначает 'краткий отрезок времени', ср. русск. *минута*, *момент*. Между тем в словацких диалектах наряду со значениями 'краткий отрезок времени' и 'время' это слово сохраняет значения 'погода' и 'хорошая погода', ср.: *Ag bud'e chvil'a, aj seno zoberieme. Po diždzu budze chvil'a* (Slovník slovenských nářečí 1994, 693).

Конкуренция словацких новообразований и иностранных слов в процессе дальнейшего развития лексики литературного словацкого языка приносила разные результаты. Нередко «победителями» в этой конкуренции оказывались заимствования. Так, в частности, в литературном языке не удержались наименования *dušeslovie*, *hviezdoznanstvo*, *lučba*, *prírodoskus*, *ranárstvo*, *strojslovie*, *skumatel' chvili*. Некоторые наименования, активно употреблявшиеся в штуровский период, перешли в разряд устаревших слов (*parovoz*, *tesnopis*, *slovutnosť* и др.). К числу новообразований, которые не закрепились в литературном словацком языке, относятся также *morská ihlica* (kompas) (ОТ, 487) 'компас' — в совр. языке *kompas*; *prjedomná dlažba* (Trotoir) (SNN, 163) 'тротуар' — в совр. языке *chodník* и устар. *trotoár*; *kízne železka* (Schlittschuh) (ОТ, 688) 'коньки' — в совр. языке *korčule*.

Конечно, во многих случаях «вытесненным» оказывалось иностранное слово, а словацкие наименования заняли прочное место в лексической системе литературного языка, ср., в частности, *d'alekohl'ad*, *hmota*, *pomer*, *priemysel*, *prírodopis* и др. Интересна в этом плане судьба новообразования *šopkat'elová* (suflerová) *búdka* (ОТ, 230). Здесь прилагательное *šopkat'elový* 'суфлёрский' соотносится с существительным *šopkat'el* 'суфлёр', образованным от глагола *šopkat'* 'шептать'. В современном литературном языке представлены синонимичные слова с другими суффиксами — *šepkár*, *šepkársky* (от глагола *šepkat'*), ср. *šepkárská búdka*. Иностранные слова *sufler*, *suflerový* вышли из употребления.

Рассмотренные выше примеры конкуренции словацких и иностранных слов представляют собой важное и интересное свидетельство динамики словарного состава литературного языка. В определенной мере они являются показателями сознательного поиска и отбора

средств номинации, проводимого штуровцами на начальном этапе становления и развития литературного словацкого языка.

Анализ текстов штуровского периода позволяет обнаружить также случаи изменения семантической структуры бытовавших ранее словацких слов, возникновения у них новых лексических значений (иногда окказиональных). Например, у слова *ohrada* в «Историческом словаре словацкого языка» отмечено четыре значения: 'забор, ограда, стена', 'укрепление, крепость', 'огороженное место, двор' и 'ограничение, недостаток'. Нами зафиксировано употребление данного слова еще с одним значением — 'баррикада', ср. *Strašná zbura nastala... V okamžení boli stá a stá ohrád (barrikád) vo všetkých uliciach vistavänje* (SNN, 1092). Здесь старое словацкое слово использовано для обозначения новой реалии, характерной для бурных революционных событий в Европе того времени. Следует, однако, отметить, что указанное значение в слове *ohrada* не закрепилось, оно не фиксируется ни одним словацким словарем. В современном словацком литературном языке с данным значением употребляется только заимствование *barrikáda*.

Как отмечалось выше, в словацких текстах изучаемого периода широко употреблялись иностранные слова. По отношению к ним Л. Штур как кодификатор занимал в целом трезвую, свободную от крайностей пуризма позицию. Заимствование слов из других языков он признавал одним из необходимых способов пополнения лексики литературного языка. Поэтому не удивительно, что в анализируемых текстах мы обнаруживаем большое количество иностранных слов, особенно так называемых «европеизмов» (главным образом слов латинского и греческого происхождения и заимствований из западноевропейских языков).

Они вводились в текст различными способами. Если отвлечься от приема «цитирования» иностранных слов (их вкрапления в словацкий текст в графической форме соответствующего языка), то можно назвать два способа: прямое, непосредственное включение иностранных слов в текст и их опосредованное употребление.

В первом случае во внешнем облике иностранных слов-европеизмов отражалась разная степень их графической, фонетической, морфологической, словообразовательной и лексико-семантической адаптации системой литературного словацкого языка. Одни сохраняли те или иные приметы исходной формы, другие выступали с заметными фонетическими и структурными признаками словацкого языка (долгота гласных, противопоставление по твердости/мягкости определенных согласных, словацкие флексии, префиксы и суффиксы и др.). При этом европеизмы могли вводиться в словацкий

текст без каких-либо пояснений, например: *administrátor* (SNN, 998), *agitovať* (SNN, 223), *civilisácia* (OT, 246), *diktátor* (SNN, 83), *diktatúra* (OT, 238), *emancipácia* (SNN, 995), *geniálnosť* (OT, 477), *inteligencia* (SNN, 1004), *kapitál* (OT, 408), *kriterium* (OT, 609), *opozícia* (SNN, 1003), *propaganda* (SNN, 382), *reprezentant* (OT, 230), *revolucionár* (OT, 371), *separatism* (SNN, 1042), *universita* (SNN, 152), *usurpátor* (OT, 328) и многие другие.

Во втором случае лексическое значение европеизмов раскрывалось при помощи разного рода пояснений или комментариев в самом тексте. Основным, наиболее распространенным приемом являлась пометка в скобках за соответствующим иностранным словом эквивалентного или близкого по значению словацкого слова или словосочетания, например: *ambassadeur* (posol krajinskí) (SNN, 915), *assistencia* (pomoc) (SNN, 3), *epocha* (doba, čas) (SNN, 96), *kongress* (sňem) (SNN, 188), *repraesentant* (zástupca) (OT, 436), *strategika* (vojenská nauka) (SNN, 296) и т. п.

Благодаря образованию более или менее устойчивых синонимических пар рассматриваемого типа иностранные слова входили в тесное взаимодействие с лексической системой словацкого языка. Одним из проявлений подобного взаимодействия можно считать метафорическое употребление заимствованных слов, возникновение у них переносного значения, например: «Dnes už tret'í d'ën rokujeme, dva prvje d'ni sa galleria (poslucháči) t'icho zadržala, žjadam to aj teraz» (SNN, 1017). Одно из прямых значений заимствованного слова итальянского происхождения *galleria* — 'верхний ярус, балкон' — явилось основой переносного значения 'слушатели (верхнего яруса), публика на балконе', ср. перевод на русск. язык: «...два первых дня галёрка вела себя тихо...».

Опосредованным включением заимствованных слов в словацкий текст мы называем их использование в скобках как поясняющих элементов. Речь идет о тех случаях, когда лексическое значение нового или малоизвестного слова раскрывается или уточняется при помощи не латинского или немецкого эквивалента, а уже в той или иной мере освоенного словацким языком иностранного слова. Ср. следующие внешне сходные примеры: *ústava* (constitutio) (SNN, 67), *zásada* (principium, Grundsatz) (SNN, 6) и *ústava* (konštitúcia) (SNN, 63), *zásada* (princíp) (SNN, 63). Между ними, однако, имеется определенное различие. В примерах первого ряда поясняющими элементами являются лексические единицы латинского и немецкого языков, а не словацкого. Их вспомогательная функция очевидна, поскольку это — лишь межъязыковые эквиваленты соответствующих словацких лексем. В примерах

второго ряда ситуация иная: лексическое значение неологизма раскрывается при помощи словацкого слова (по происхождению иноязычного). В подобных случаях между поясняемым и поясняющим словом возникает в ут р и я з ы к о в о е синонимическое соотношение. Ср., в частности, следующие пары: *dozorca* (inšpektor) (SNN, 140), *katalog* (lajster) (SNN, 497), *lehota* (termín) (OT, 514), *návodi* (inštrukcie) (OT, 436), *obnova* (reštaurácia) (SNN, 1160), *predstavník* (repraesentant) (SNN, 44), *razja* (charakterizujú) (SNN, 65), *rečníci* (orátorski) (SNN, 331), *skutok* (akt) (OT, 721), *velikáš* (magnát) (SNN, 70), *vislobod'eňja* (emancipácia) (SNN, 1098) и т. п.

Частота употребления, повторяемость и в определенной мере устойчивый характер подобных синонимических пар, вероятно, могли способствовать тому, что выступающие в них иностранные слова-европеизмы быстрее и легче адаптировались и закреплялись в лексической системе литературного словацкого языка (как уже было сказано, некоторые из них с течением времени оказывались «победителями» в конкуренции с собственно словацкими коррелятами, которые выходили из употребления или оттеснялись на периферию словарного состава). Важную роль в этом плане играло, видимо, и то обстоятельство, что одни и те же иностранные слова могли выступать в позиции и поясняемого, и поясняющего элемента, например: *akcia* (účas'tina) — *účas'tina* (akcia), *amnestia* (odpusťeňja) — *odpusťeňja* (amnestia), *kapitál* (ist'ina) — *ist'ina* (kapitál), *materiál* (hmota) — *hmota* (materiál), *modell* (obrazec) — *obrazec* (modell), *obnova* (reforma) — *reforma* (obnova) и др. Думается, что это тоже могло содействовать их активному вхождению в лексическую систему литературного словацкого языка.

Литература

- Виноградов 1977 — В. В. Виноградов. О некоторых вопросах русской исторической лексикологии // В. В. Виноградов. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977.
- Смирнов 1978 — Л. Н. Смирнов. Формирование словацкого литературного языка в эпоху национального возрождения (1780–1848) // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978, с. 86–157.
- Смирнов 1998 — Л. Н. Смирнов. Из наблюдений над лексикой литературного словацкого языка шутовского периода // Славянское и балканское языкознание. М., 1998.

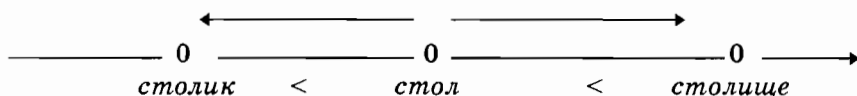
- Bernolák 1825–1827 — *A. Bernolák*. Slowár Slowenský, Česko-Lat'insko-Ľe-mecko-Uherský. I–VI. Buda, 1825–1827.
- Historický slovník... 1991–1995 — Historický slovník slovenského jazyka. Vedecký redaktor M. Majtán. Bratislava. I. A–J. 1991; II. K–N. 1992; III. O–P (pochytka). 1994; IV. P–poihrat' sa — P–pytlovat'. 1995.
- Horecký 1946–1948 — *J. Horecký*. K charakteristike štúrovského lexika // *Linguistica Slovaca*. Roč. 4–6. Bratislava, 1946–1948.
- Jančovič 1848 — *Št. Jančovič*. Noví slovensko-mad'arskí a mad'arsko-slovenskí slovník. Sarvaš, 1848.
- Slovník slovenských nářečí — 1994 — Slovník slovenských nářečí. I. A–K. Vedecký redaktor I. Ripka. Bratislava, 1994.

О значениях македонского компаративного *по-*

Количественное сравнение в языке, базируясь на единой логической операции сравнения, реализуется двояко: 1) в виде квантификации на уровне слова и 2) в виде собственно сравнения-компарации на уровне синтагмы (предложения).

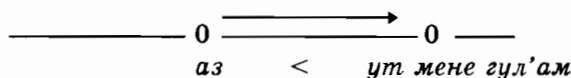
Квантификация устанавливает отношение между данным количеством признака и идеальной нормой этого признака и реализуется в первую очередь с помощью словообразовательных средств (*стол — столик — столище; белый — беленький — белющий; бить — побить — перебить*). Эти словообразовательные средства суть квантификаторы, специализированные для выражения отношений *больше* (аугментатив) или *меньше* (диминутив) нормы (рис. 1).

Рисунок 1



Компарация в собственном смысле устанавливает отношение между количеством признака одного объекта и количеством признака другого объекта (объектов) при отсутствии соотношения их с идеальной нормой признака и является категорией чисто синтаксической (лучшими примерами ее могут служить болгарские диалектные образования типа: *ут мене гул'ам*¹). Компаративные конструкции обычно специализированы для выражения отношений *больше* или *равно* (рис. 2).

Рисунок 2



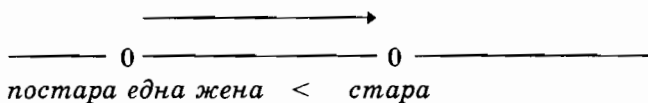
Грамматическая категория степеней сравнения прилагательных и наречий в большинстве балканославянских диалектов сформировалась путем закрепления за этой функцией двух элементов: синтаксического (собственно компаративного, аблативно-го по происхождению) и морфологического (квантификатора по происхождению) маркеров. Как морфологический, так и синтаксический компоненты славянского компаратива исторически подвижны, о чем наглядно свидетельствуют достаточно хорошо известные факты из истории македонского языка: старославянскому типу *мьнии* соответствует современный македонский тип *помали*. Отметим, однако, что, несмотря на большой объем литературы этого вопроса, причины замены компонентов компаративной конструкции в ходе балканославянской языковой истории еще не раскрыты. Характерно, что в литературе большое внимание уделялось проблеме установления точного исконного (квантификаторного) значения маркера *по* (Slawsky 1964; Илиевски 1972; Cychun 1976; Reiter 1979; Schaller 1984), а также вопросу установления соответствующих балканских параллелей (Reiter 1979; Qvonje 1984; Асенова 1989).

Как представляется, морфологический маркер славянского компаратива является избыточным, однако вопрос о причинах его закрепления в компарации выходит за рамки настоящей статьи. Важно лишь, что, закрепившись в компаративе как обязательный морфологический компонент, бывший квантификатор утрачивает свою исконную семантику, приобретая новое значение, не совпадающее ни с квантификаторным, ни с компаративным. Речь идет о случаях, когда морфологический маркер компаратива *по* употребляется без синтаксического, или о так называемом «абсолютном» употреблении компаратива.

Пример (макед.): *На масата седеше една постара жена 'За столом сидела женщина средних лет'*.

«Абсолютное» употребление компаратива есть случай, когда сравнение данной степени проявления признака производится с идеальной нормой этого признака, причем данный признак меньше нормы и стремится к ней. Объект сравнения в данном случае не выражен — отсутствует вводящая его синтаксическая конструкция². «Абсолютное» употребление компаратива есть как бы «вторичная квантификация», осложненная приобретенным «компаративным опытом» и очевидно не совпадающая с исконным значением маркера *по*. Основное ее отличие от первичной квантификации состоит в стремлении называемого признака совпасть с нормой (рис. 3).

Рисунок 3



Как известно, в македонском языке, в том числе и в литературном, морфологический маркер компаратива *по* может присоединяться не только к прилагательным, но также и к существительным и глаголам (*убав* — *поубав* — *најубав*; *мајстор* — *помајстор* — *најмајстор*; *сака* — *посака* — *најсака*), чему обнаруживаются параллели в болгарском, диалектах сербохорватского и румынском языках. Явление это можно считать балканославянско-румынским. Вопрос о том, является ли эта особенность гипертрофированным употреблением маркера *по* или расширением категории степени сравнения, пока не решен.

В настоящей статье делается попытка дополнить спектр значений балканославянского морфологического маркера компаратива *по* на основе македонского материала с привлечением сербохорватских и болгарских данных. Примеры «степеней сравнения» имен существительных и глаголов будут рассмотрены по двум группам: 1) собственно компаратив при указании объекта сравнения; 2) «абсолютное» употребление маркера *по*.

Имя существительное

В «Грамматике» Б. Конеского находим следующую формулировку: «Во нашиот јазик со елементите *по* и *нај* може да се врши споредување и кај извесни именки: *Тој е помајстор од мене...* Во вакви случаи именката се приспособува кон означувањето на качество, па така во своето значење им се приближува на придавките» (Конески 1987, 308). Наличие качественного компонента в значении существительных как условие для образования от них форм сравнения выдвигает большинство лингвистов (Маслов 1956, 116; Буров 1977, 60; Цыхун 1981, 193; Petrowa-Wasilewicz 1981, 188–189 и др.). Характерно, что речь идет в основном о существительных — названиях лиц типа: *ајдук*, *богаташ*, *газда*, *девојче*, *јунак*, *трговац*, *мајстор*, *пријател*, *работник*, *чорбаџи* (ср. также список в работе: Petrowa-Wasilewicz 1981, 190), о которых еще А. Арно и Кр. Лансло справедливо утверждали: «Существует вид имен, которые считаются существительными, хотя на самом деле должны были бы быть прилагательными,

поскольку они обозначают акциденциальную форму, а также предмет, которому соответствует эта форма. К таким именам относятся названия занятий и профессий людей, например: *король, философ, живописец, солдат* и т. п.» (Арно, Лансло 1990, 96). Интересно, однако, что в южнославянских диалектах встречаются также аналогичные формы абстрактных существительных: *зло, мука, мерак, ширина*, и некоторых конкретных: *по вечер* (Белић 1905, 440), *по дом* (Тодоров 1936, 307).

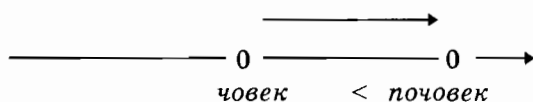
Для настоящей статьи важен, однако, семантический анализ не поддающихся компарации существительных, а морфологического маркера *по*, имеющего, как и в случае с прилагательными, две функции:

1) собственно компаративную: *Он е појунак от тебе. Славе е помајстор од него. Ти си ми попретател' од Симота* (Стаматоски 1957, 99); *Подушман од Грк нема. Посила немало од њега* (Видоески 1962, 163); *Уд мене по-јунак нема нџ дујната. Горџуто беше по-мајстор уд сите. По-чувек уд него не сџ нџојце* (Пеев 1979, 74) и т. д.;

2) «абсолютное» употребление: *По-човек ie Борис. По-пријател' ми ie он* (Видоески 1954, 75); *Поајдуци са касапине. Почуек е Тоде* (Стаматоски 1957, 99); *Кој сте појунак* (Видоески 1962, 163); *По-чурбации са-они* (Пеев 1987, 199). Интересны и примеры из западноболгарского диалекта Годеча: *Комшијата по џавол се писа и не си купи. Това, ако сакаш да знајеш, е по кафтор за грејан'е* (Виденов 1979, 68).

В случае «абсолютного» употребления морфологического маркера компаратива *по* без указания на объект сравнения данная степень проявления признака соотносится с его идеальной нормой, причем она больше этой нормы (рис. 4, ср. рис. 3).

Рисунок 4



Глагол

Появление компаративного морфологического маркера *по* у глаголов трактуется в македонистике следующим образом: «Элементите *по* и *нај* идат и со глаголи, во кој случај тие изразуваат прилошки значења што се содржат во прилозите *помалку, повеќе*,

најмалку, најмногу: не чини — по не чини...» (Конески 1987, 308; похожие утверждения находим и в: Видоески 1962, 163; Пеев 1979, 74; 1987, 199). Следует, однако, обратить внимание на то, что и глагол и прилагательное обозначают признаки предметов: в глаголе это признаки, создаваемые во времени деятельностью предмета, в прилагательном — признаки как качества, заложенные в природе предмета (Пешковский 1928, 95). Именно этим и может быть объяснено появление «степеней сравнения» у глаголов³ (ср. подобное мнение в: Цыхун 1981, 193; Пашов 1989, 77; ЛЭС 1990, 492).

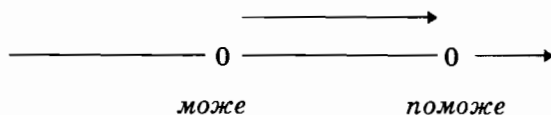
Можно привести примеры употребления маркера *по* с глаголами в чисто компаративной и «абсолютной» функциях:

1) собственно компаратив: *Син ти по-знае од Крстота. Он по нема од мене* (Стаматоски 1957, 99); *Столе поучи од Санде и па има двојки* (Кушевски 1958, 88); *Рибџта по смърде уд место* (Пеев 1979, 74) и т. д.;

2) «абсолютное» употребление: *Напрет по не можеше да виду. Тија по мож да живејет* (Видоески 1962, 163); *Ус него по съ живе. По-държе мърснато јадње. Са по не мом дџ пим* (Пеев 1979, 74); *По-спим ка сум изморен* (Пеев 1987, 199).

При отсутствии указания на объект сравнения, данная степень проявления признака (глагольного действия) соотносится с его идеальной нормой, причем она больше этой нормы (рис. 5, ср. рис. 3, 4).

Рисунок 5



Заключение

Рассмотренный материал позволяет в самых общих чертах представить спектр значений морфологического показателя компаратива *по*:

1) с прилагательными, существительными и глаголами в составе компаративной конструкции, включающей объект сравнения, *по* имеет собственно компаративное значение «больше степени проявления признака, с которым производится сравнение»;

2) посредством маркера *по* с прилагательными в «абсолютном» употреблении производится сравнение данной степени проявления признака с идеальной нормой этого признака, причем данный признак меньше нормы и стремится к ней; *по* имеет значение «меньше нормы признака»;

3) посредством маркера *по* с существительными и глаголами в «абсолютном» употреблении производится сравнение данной степени проявления признака с идеальной нормой этого признака, причем данный признак больше нормы; *по* имеет значение «больше нормы признака».

-
- ¹ Конструкции типа: *нема̄ утрепън чувек ут нейъ* — встречаются в болгарских мизийских, фракийских и балканских диалектах (Стойков 1968, 159). Подобные образования известны и другим славянским языкам, встречаются в средневековых памятниках южнославянской письменности, и, по мнению Г. А. Цыхуна, древнее обычных балканославянских компаративных образований (Сучун 1976, 831).
- ² Вопрос об употреблении «абсолютного» компаратива в балканских языках заслуживает серьезного изучения. По всей видимости, в греческом, албанском и болгарском он невозможен, в то время как в сербохорватском, македонском и румынском он употребляется (ср.: Reiter 1979, 115).
- ³ К сожалению, недоступной для автора оказалась статья: *И. Хаджов*. Форми за степен у глаголите в български език // Училищен преглед. 1936, кн. 4, с. 489–496.

Литература

- Андрейчин 1978 — *Л. Андрейчин*. Основна българска граматика. София, 1978.
- Арно, Лансло — *А. Арно, Кр. Лансло*. Грамматика общая и рациональная Пор Рояля. М., 1990.
- Асенова 1989 — *П. Асенова*. Балканско езиковедие. София, 1989.
- Белић 1905 — *А. Белић*. Дијалекти источне и јужне Србије // Српски дијалектолошки зборник. Београд, 1905, кн. 1.
- Буров 1977 — *С. Буров*. Към въпроса за степенуването на имена и глаголи в българския език // *Rocznik slawistyczny*, t. XXXVIII, cz. 1, s. 57–69.
- Виденов 1979 — *М. Виденов*. Годечкият говор // Трудове по българска диалектология. София, 1979, т. 10.
- Видоески 1954 — *Б. Видоески*. Северните македонски говори II. Говорот на Скопска Црногорија // Македонски јазик. Скопје, 1954, год. V, кн. 2, с. 109–197.

- Видоески 1962 — *Б. Видоески*. Кумановскиот говор. Скопје, 1962.
- Илиевски 1972 — *П. Хр. Илиевски*. Крнински дамаскин // Стари текстови. III. Скопје, 1972.
- Илиевски 1973 — *П. Хр. Илиевски*. Описната компарација во балканските словенски јазици (Со оглед на влијанија од несловенските јазици) // Реферати на македонските слависти за VIII Меѓународен славистички конгрес во Варшава. Скопје, 1973, с. 25–33.
- Конески 1987 — *Б. Конески*. Граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје, 1987.
- Конески 1986 — *Б. Конески*. Историја на македонскиот јазик. Скопје, 1986.
- Куцаров 1985 — *И. Куцаров*. Очерк по функционално-семантичка граматика на българскиот јазик. Пловдив, 1985.
- Кушевски 1958 — *М. Кушевски*. Делчевски градски говор // Македонски јазик. Скопје, 1958, год. IX, кн. 1–2, с. 67–108.
- ЛЭС 1990 — Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Маслов 1956 — *Ю. С. Маслов*. Очерк болгарской грамматики. М., 1956.
- Мирчев 1978 — *К. Мирчев*. Историческа граматика на българскиот јазик. София, 1978.
- Младенов 1979 — *Ст. Младенов*. Историја на българскиот јазик. София, 1979.
- Никулин 1937 — *А. С. Никулин*. Степени сравнения в современном русском языке. М.; Л., 1937.
- Пашов 1989 — *П. Пашов*. Практическа българска граматика. София, 1989.
- Пеев 1979 — *К. Пеев*. Дојранскиот говор // Македонистика. Бр. 2. Скопје, 1979, с. 3–191.
- Пеев 1987 — *К. Пеев*. Кукушкиот говор I. Скопје, 1987.
- Пешковский 1928 — *А. М. Пешковский*. Русский синтаксис в научном освещении. М.; Л., 1928.
- Поцелуевский 1977 — *Е. А. Поцелуевский*. Сравнительная степень и свободное употребление прилагательных // Вопросы языкознания, 1977, № 5, с. 62–71.
- Стаматоски 1957 — *Т. Стаматоски*. Градскиот тетовски говор // Македонски јазик. Скопје, 1958, год. VIII, кн. 1, с. 91–115.
- Стойков 1968 — *С. Стойков*. Синтактични диалектизми во българскиот јазик // Български јазик. 18. София, 1968.
- Теньер 1988 — *Л. Теньер*. Основы структурного синтаксиса. М., 1988.
- Тодоров 1936 — *Ц. Тодоров*. Западнобългарските диалекти // Сборник за народни умотворения. София, 1936, кн. XLI.
- Цыхун 1981 — *Г. А. Цыхун*. Типологические проблемы балканославянского ареала. Минск, 1981.
- Sychun 1976 — *G. A. Sychun*. Bemerkungen zum bulgarischen Komparativ // Zeitschrift für Slawistik, 1976, Bd. XXI/6. S. 828–833.
- Mrazović, Vukadinović 1990 — *P. Mrazović, Z. Vukadinović*. Gramatika srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad, 1990.

- Petrowa-Wasilewicz 1981 — *A. Petrowa-Wasilewicz*. Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna rzeczowników stopniowanych w języku bułgarskim // *Studia z filologii polskiej i słowiańskiej*. 20. Warszawa, 1981, s. 187–205.
- Qvonje 1984 — *J. J. Qvonje*. Die Komparationstypen in den Balkansprachen // *Linguistique balkanique*, XXVII, 1984, 2, S. 151–161.
- Reiter 1979 — *N. Reiter*. Komparative // *Balkanologische Veröffentlichungen*. Bd. 1. Berlin, 1979.
- Schaller 1984 — *H. W. Schaller*. Der bulgarische Komparativ — eine balto-slavische Gemeinsamkeit // *Linguistique balkanique*, XXVII, 1984, 1, s. 37–42.
- Sławsky 1964 — *F. Sławsky*. Bułgarsko-macedońskie komparatywne po- // *Prace filologiczne*. Warszawa, 1964, t. XVIII, cz. 2, s. 429–434.

Славянские названия страшилищ (демонов) в немецком языке и его говорах

Славянские названия страшилищ (демонов), которые обитают — по народным поверьям — в полях среди колосьев и которыми пугают маленьких детей, были широко распространены в давних немецких говорах. Среди них преобладают слова, образованные от ономатопеических корней, известных во многих языках (не только в славянских и немецком), часто — при помощи различных славянских суффиксов. Как правило, названия эти возникли в славянских языках, а затем были заимствованы немецкими говорами, хотя некоторые из них могли возникнуть и на немецкой языковой почве с использованием славянских словообразовательных элементов.

Известны как бессуффиксальные, так и образованные при помощи различных славянских суффиксов слова от ономатопеических основ *bu*, *bo*, *be*.

В Силезии было известно — в значении 'страшилище, которым пугают детей', — слово *Bubu* (Weinhold 1855, 13; Beyersdorff 1871, 498; Hoffmann 1910, 197; BBW, I, 782 — из Свободзина), на Лужице в том же значении — *Buba* (BBW, I, 782). Именно от этих названий были образованы на Лужице сложные слова *Bubumann*, *Bubamann*.

На значительной территории распространения восточнонемецких диалектов образованные от того же ономатопеического корня слова со славянским суффиксом *-ak* (*-âk*): *Buback* на Лужице, в Силезии (в Верхней Силезии также *Bubok*), в Познанском регионе, в немецких диалектах Пруссии, в сев. Моравии и сев. Чехии, в частности — вблизи Йичина в северо-восточной Чехии, *Vabok* — в Силезии, на запад от г. Ополе, вблизи Глубчиц и в Новой Руде около Клодзка, *Veback* около Бельска (на границе Силезии и Малопольши) и *bebok* в Верхней Силезии, *Vovak* в Силезии около Глубчиц, в сев. Моравии вблизи Нового Йичина

и в Словакии, *Bobelak* в Силезии вблизи Любани и Глубчиц, *Bobock* в давних немецких диалектных анклавах в Венгрии и Словакии, *Bubbelack* (восходящий к пол. **wdowolak*) в бывшей Западной Пруссии, спорадически — со славянскими суффиксами *-ok*, *-uk*: *Bubock*, *Bobok* в Бранденбургии, *Bubuk* в Силезии. Источником этих заимствований были славянские названия страшилищ, которыми пугают детей, такие как в.-луж. *bubak*, *bobak*, н.-луж. *bubak*, чеш. *bubák*, чеш. диал. *bobák*, *babák*, словц. *bobák*, а также пол. диал. *babâk*, *bobâk*, *bubâk*, и т. п. (Siatkowski 1994, 54 — с перечнем источников).

В давних немецких диалектах было широко известно славянское заимствование, обозначающее 'страшилище...' и образованное от упомянутой выше ономатопеической основы при помощи славянского суффикса *-ač* — *Bubatsch* на Поморье (там же *Bumbatsch*, *Bumbatz*) и в бывшей Пруссии, прежде всего — Западной, на значительной части территории Силезии и — спорадически — на чешском языковом пограничье. Заимствование это восходит к пол. *bubacz* 'страшилище...', которое известно главным образом на севере Польши, или к чеш. *bubáč* 'то же', встречающемуся, однако, весьма редко (Siatkowski 1992, 145–146).

В Силезии вблизи Милича, Бжега и Прудника была записана форма со славянским суффиксом *-uš*, *-uš* — *Bubusch* 'страшилище...' (Mitzka, I, 167; Bellmann 1971, 168), которая не имеет непосредственного соответствия на польской языковой почве. Спорадически были отмечены слова с тем же корнем, с суффиксами славянского происхождения: *Bubisch* на Лужице (BBW, I, 784), *Bubutsch* в северо-восточной Чехии (Schwarz SdWA, III, k. 72, S. 9), здесь же, возможно, следует привести *Babuz* из Бранденбургии (BBW, I, 407).

В немецких говорах Западного Поморья существовало, кроме того, название 'страшилища...', образованное от ономатопеического корня *tumm*, *tumm*: *Mummatsch*, *Mummatz*. На восток от линии Кошалин–Боболице было известно в том же значении слово *Mummatsch*, а на запад от этой линии, до самого Одера — *Mummatz*, на запад же от Одера — *Mummaks*. С нем. *Mummatsch* соотносится каш.-словин. *tumač* 'страшилище...', а также 'огородное пугало'; слово это во мн. числе *tumače* известно также в значении 'ряженные, которые в масках животных ходят по домам во время рождественских праздников'. В этом слове налицо славянский суффикс *-ač*, но соотношение между немецким и польским названиями определить трудно. Винтер (Winter 1961, 276; 1967, 107) считает немецкое название онемеченным заимствованием славянского *Bubatsch*, которое, по ее мнению, подвер-

галось все бóльшим изменениям по мере продвижения на запад: слав. *bubač* → нем. *Bubatsch* → нем. *Mummatsch* — (→ каш. *tutač* — обратное заимствование) → нем. *Mummaks*. Между тем, Гинце (Hinze 1965, 346–347) считает *Mummatsch* немецким словом, образованным от междометия *tumm*, *tumm* при помощи славянского суффикса; это слово было затем заимствовано кашубами. Гинце ссылается здесь на распространенный на Поморье обычай, когда детей пугает человек в белой простыне, издающий возглас *tumm*, *tumm* (Siatkowski 1994a, 225–226).

В немецких говорах значительное распространение имело также другое название страшилища, которым пугают детей, — *Mumm(e)lack*. На территории Бранденбургии (BBW, III, 356) это название имеет, кроме вышеупомянутого, значение ‘человек в маске, переодетый’, а также ‘темная дождевая (грозовая) туча’. Название это отмечено было и в Силезии — в Шпротаве и Любани, а также в Познанском регионе. Вероятнее всего, это заимствование луж. *tumlak*, *tumlok*, что означает, в частности, ‘переодетый человек’ — от ономастического н.-луж. глагола *tumliś* ‘упорно, с трудом, пережевывать’, в переносном значении ‘окутывать, обертывать, обвязывать’, или от нем. *(ein)-mummeln (sich)* ‘закутать(ся), обвязать(ся)’ с использованием славянского суффикса. Спорадически отмеченное в восточной Бранденбургии *Mumtack* ‘страшилище, которым пугают детей’, а также *Mumtok* в том же значении, записанное под Кросном-на-Одере, возможно, соотносится как с приведенным выше *Mummelack*, так и с встречающимся в Западном Поморье *Mummatsch* (Siatkowski 1994, 56).

Изредка в немецких говорах отмечается славянское название полудницы — божества (демона, привидения) в образе женщины в белом полотняном платье, появляющейся в полях в полдень и пугающей людей (Moszyński KLS, II/1, 689–693). Здесь следует упомянуть слово *Perponitza* ‘полудница’ — из немецкого диалекта на Нисе-Лужицкой к югу от Губина (BBW, III, 560), восходящее к н.-луж. *pšezpōtnica* ‘то же’ (Muka, II, 242), ср. ст.-пол. (XV в.) *przepōtudnica* (Słstp, VII, 165–166), встречающееся также в переведенном в 1521 году с латыни на польский язык апокрифе о Мархолте ‘в том же значении’. К этому же корню восходит *Pschi-ponza* — *Roggenmuhme* — название существа, выступающего у Хорста Бинека (*Beschreibung einer Provinz*, S. 122). Этимологию этого слова я не смог объяснить в работе, посвященной славянизмам в языке этого автора (Siatkowski 1995, 67–68, 76), — оно, несомненно, восходит к слав. *připotudnica* ‘полудница’, известному в верхнелужицком и польском языках, ср. в.-луж. *připot(d)*

nica, диал. *pšipoinca* (Pful, 555; Meiche 1903, 359; Jakubaš 1954, 283; Schuster-Šewc, III, 1178), и ст.-пол. *przypotudnica* — в нескольких изданиях книги нач. XVII в. *Peregrynacja dziadowska*, откуда это слово взял в свой словарь, четко это документируя, Г. Кнапский (Puzynina 1961, 77) — вслед за ним его использовали Тротц, Дудзинский и Влодек (LOJ, III, 748), см. также примеры в «Словаре польского языка» под редакцией В. Дорошевского (SJPD, VII, 599). В материалах «Словаря польских говоров» в Кракове многократно встречается запись *przypotudnica* 'полудница' — главным образом в говорах Малопольши и Великопольши.

Предполагается, что славянским заимствованием является также нем. *Roranz* 'страшилище, которым пугают детей', 'огородное пугало' и др., отмеченное на восточнореднемецкой языковой территории в XVI в. Впервые это слово засвидетельствовано в творчестве Матезиуса, который происходил из Рохлитца, расположенного на юго-востоке от Лейпцига, и был священником в Яхимове на территории Чехии (Wolf 1965, 70–72). Возникновение этого слова издавна приписывалось славянскому влиянию — его источником считалось чеш. *bubák, bobák* 'страшилище...'. Такая точка зрения представлена, в частности, Клюге в 12-м и 13-м изданиях его словаря. Фасмер (Vasmer 1947, 450–451) указал на фонетические трудности, препятствующие такому толкованию, и высказал предположение, что немецкое слово могло произойти от гипотетической славянской формы **bobonьсь*, этимологически связанной с пол. *zabobon* 'предрассудок'. Этимология, предложенная Фасмером, вошла в издания словаря Клюге, подготовленные Мицкой — ср., например, 20-е издание (Kluge, 20, 559). В более новых изданиях словаря, в обработке Зебольда, подтверждается славянское происхождение слова *Roranz*, однако указывается, что источник заимствования точно не установлен (Kluge, 22, 555; Kluge, 23, 640). Некоторые авторы оспаривают славянское происхождение слова *Roranz* — они видят в нем видоизменение нем. *Boboz* 'страшилище, которым пугают детей' — от ономатопейческого *bobo* (Bellmann 1971, 212; EWD, II, 1027).

В связи с утверждением, что славянский источник нем. *Roranz* не установлен, стоит обратить внимание на то, что Гебауэр еще в 1903 году возводил нем. *Roranz* к чеш. *bobonci, pobonci* (мн. ч.) 'лечебные заговоры', засвидетельствованному в 1376 году у Штитного (*pobonczy* — Gb, I, 72–73). Гебауэр считает ед. числом этого слова *bobonek, pobonek* (многократно засвидетельствованное мн. число имеет форму *bobonky, pobonky*). Однако Котт (Kott, V, 1019), приводя ту же цитату из Штитного, в качестве им. п. ед. числа

помещает форму *bobones*, известную ему также из словацкого букваря XIX в. Итак, можно считать, что приводимая Фасмером гипотетическая форма **bobopsъ* нашла свое подтверждение. Это в известной мере свидетельствует о славянском происхождении нем. *Roranz*. Стоит добавить, что по сей день сохранились — правда, в качестве устаревших — чеш. *roboněk, raboněk, rabuněk* (и женские формы на *-ka*), употребляющиеся обычно во мн. числе в значении 'колдовство, фокусы' (SSJČ, II, 630; Machek ES-2, 58–59).

Итак, слово *Roranz* проникло в немецкие говоры, по всей вероятности, через посредство литературного языка (Bielfeldt SWD (1962), 81; 1965, 71). Стоит, однако, обратить внимание на зарегистрированные в региональных словарях такие значения этого слова, как, например, 'дьявол' в Верхней Саксонии (M-Fr, I, 133), 'невоспитанный ребенок' и 'высокомерный, надменный человек' в Силезии (Mitzka, II, 1028), 'высокомерный, надменный глупец' в Берлине (BBW, III, 677–678), 'шут, паяц, человек, возбуждающий насмешки' в немецких диалектах Пруссии (PrWb, IV, 554–555), там же отмечено *Popatz*. Таким образом, семантически рассматриваемое слово соотносится с нем. *Bubanz* 'человек расточительный, неопрятно одетый, грязный', отмеченным в Бланкензее на юге от Потсдама (BBW, I, 783), что, в свою очередь, можно связывать с известным также в Бранденбургии *bubanzten* 'использовать что-то бессмысленно, растрчивать' (также с приставками *hin-, ver-* — BBW, I, 785) и с восточнопрусскими *bubenzten* 'обижаться, дуться, бурчать' и *bubenzig* 'неприятный, рассерженный, упрямый' (Frischbier, I, 114; II, 515). Бильфельдт (Bielfeldt SWD [1962], 307) и Эйхлер (Eichler, EW, 32) видят здесь, вероятно, необоснованно, заимствование н.-луж. *bubańcowaś* 'ловить рыбу при помощи вентера, верши' от н.-луж. *bubańc* 'вентерь, верша', соотносимого с ономапопеическим корнем **bqb-*. Такому объяснению противоречат семантические данные — здесь необходимы более углубленные исследования. Вероятнее всего, мы имеем тут дело с частичным смешением слов, имеющих различную этимологию.

Спорадически в давних немецких диалектах отмечены также иные названия разного рода страшилищ.

Hastermann 'водяной' — обратное заимствование чеш. *hastrman*, восходящего к нем. *Wassermann*, отмеченное в давнем немецком языковом анклав вблизи Йиглавы (Schwarz SdWA, III, K. 72, S. 9). Между тем в немецких говорах Верхней Силезии было известно славянское название водяного *Utopletz* от *topić* — это слово использовал в своих силезских произведениях немецкий писатель Хорст Бинек (Siatkowski 1995, 49–50).

Strach 'страшилище, которым пугают детей', 'огородное пугало' в Верхней Силезии (Gollor 1924, 53; Mitzka, III, 1339; Reiter 1960, 99) — это слово также использует Хорст Бинек (Siatkowski 1995, 35); кроме того, оно отмечено в немецком диалектном анклав Виламовице около Бельска (упрощенное фонетически *Tracht* встречается спорадически в Южной Моравии, см. Schwarz SdWA, III, K. 72, S. 8). Записанное в Козле в Силезии *Straschmer* (Mitzka, III, 1339; Olesch 1970, 201) могло быть включено в немецкую морфологическую систему благодаря присоединению к этому корню суффикса *-er*. В давнем немецком языковом анклав вблизи Йиглавы отмечено *Straschidel* из чеш. *strašidlo* и *Straschker* как морфологическое преобразование чеш. *strašák* 'страшилище...', 'огородное пугало' (Schwarz SdWA, III, K. 72, S. 8).

Наконец, следует также упомянуть о славянских названиях демона-мары, душащей людей во сне (ср. Moszyński KLS, II/1, 647–648). Наряду с литературным *Mahr* в давних немецких говорах были известны другие названия, в частности, *Mora*, *Smora* в Силезии (Reiter 1960, 6, 75, 101; Mitzka, II, 893; Olesch 1970, 199) также в значении 'страшилище, которым пугают детей', *Smora* в немецких говорах бывшей Пруссии (PrWb, III, 1071–1072 — с картой, а также HDA 1927, 283).

Представленный материал иллюстрирует значительное славянское влияние на немецкую диалектную лексику, связанную с народными поверьями. Часто встречающиеся названия страшилищ распространялись особенно широко, быть может, вследствие возбуждающей ужас непонятности этих слов.

Литература

- BBW — Brandenburg-Berlinisches Wörterbuch / bearb. unter der Leitung von G. Ising. Berlin, 1976 и след.
- Bellmann 1971 — G. Bellmann. Slavoteutonica. Lexikalische Untersuchungen zum slawisch-deutschen Sprachkontakt im Ostmitteldeutschen. Berlin; New York, 1971.
- Beyersdorff 1871 — O. Beyersdorff. Über Slawisches im Deutschen, Schlesische Provinzialblätter, 75 (1871), S. 497–499, 559–561, 606–607.
- Bielfeldt SWD — H. H. Bielfeldt. Die slawischen Wörter im Deutschen. Ausgewählte Schriften 1950–1978. Leipzig, 1982. [В скобках приводится год первого издания статей.]
- Eichler EW — E. Eichler. Etymologisches Wörterbuch der slawischen Elemente im Ostmitteldeutschen. Bautzen, 1965.
- EWD — Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 2. Aufl., durchges. und erg. von W. Pfeifer. Berlin, 1993.

- Frischbier, I-II — *H. Frischbier*. Preussisches Wörterbuch. Ost- und westpreussische Provinzialismen in alphabetischer Folge, I-II. Berlin, 1882–1883.
- Gb — *J. Gebauer*. Slovník staročeský, I-II. Praha, 1903–1916.
- Gollor 1924 — *G. Gollor*. Schimpfwörter aus dem Beuthener Lande // Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins, 1924, H. 5/6, S. 40–54.
- HDA — *E. Hoffmann-Krayer, H. Bächtold-Stäubli*. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, I. Berlin, 1927.
- Hinze 1965 — *F. Hinze*. Wörterbuch und Lautlehre der deutschen Lehnwörter im Pomoranischen (Kaschubischen). Berlin, 1965.
- Hoffmann — *H. Hoffmann*. Fremd- und Lehnwörter polnischen Ursprungs in der schlesischen Mundart // Zeitschrift für deutsche Mundarten, 5 (1910), S. 193–204.
- Jakubaš 1954 — *F. Jakubaš*. Hornjoserbsko-němski słownik. Budyšin/Bautzen, 1954.
- Kluge, 20 — *F. Kluge*. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 20. Aufl., bearb. von W. Mitzka. Berlin, 1967.
- Kluge, 22 — *F. Kluge*. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 22. Aufl., unter Mithilfe von M. Bürgisser und B. Gregor völlig neu bearb. von E. Seebold. Berlin; New York, 1989.
- Kluge, 23 — *F. Kluge*. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 23., erw. Aufl., bearb. von E. Seebold. Berlin; New York, 1995.
- Kott — *F. Š. Kott*. Česko-německý slovník..., I–VII. Praha, 1878–1893.
- LOJ — Ludzie Oświecenia o języku i stylu / Opr. Z. Florczak i L. Pszczołowska, I–III. Wrocław, 1957–1958.
- Machek ES-2 — *V. Machek*. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1968.
- Meiche 1903 — *A. Meiche*. Sagenbuch der sächsischen Schweiz. Leipzig, 1985 (изд. 1903).
- M-Fr — *K. Müller-Fraureuth*. Wörterbuch der obersächsischen und erzgebirgischen Mundarten, I–II. Dresden, 1911–1914.
- Mitzka — *W. Mitzka*. Schlesisches Wörterbuch, I–III. Berlin, 1963–1965.
- Moszyński KLS — *K. Moszyński*. Kultura ludowa Słowian, II: Kultura duchowa, cz. 1. Warszawa, 1967.
- Muka — *A. Muka*. Słownik dolnosербскеje řeči a jeje narěcow, I–III. Petrograd; Praha, 1921–1928.
- Olesch 1970 — *R. Olesch*. Slavistische Anmerkungen zum Schlesischen Wörterbuch // Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 37 (1970), S. 190–203.
- Pful — *K. B. Pful / Chr. T. Pfuhl*. Łużiski serbski słownik. Lausitzisch Wendisches Wörterbuch. Budyšin/Bautzen, 1968.
- PrWb — Preussisches Wörterbuch / begr. von E. Riemann, hrsg. von E. Riemann, U. Tolksdorf, R. Goltz. Neumünster, 1974.
- Puzynina 1961 — *J. Puzynina*. «Thesaurus» Grzegorza Knapiusza. Siedemnastowieczny warsztat pracy nad językiem polskim. Wrocław, 1961.

- Reiter 1960 — *N. Reiter*. Die polnisch-deutschen Sprachbeziehungen in Oberschlesien. Berlin, 1960.
- Schuster-Šewc — *H. Schuster-Šewc*. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache, I–IV. Bautzen, 1978–1989.
- Schwarz SdWA — *E. Schwarz*. Sudetendeutscher Wortatlas, I–III. München, 1954–1958.
- Siatkowski 1992 — *J. Siatkowski*. Sławizmy z sufiksem *-ačb* w dialektach niemieckich // *Listy filologicke. Folia philologica. Supplementum II. Palaeobohemica*. Praha, 1992, s. 144–152.
- Siatkowski 1994 — *J. Siatkowski*. Sławizmy z sufiksem *-ak* w języku i dialektach niemieckich // *Prace filologiczne*, 1994, 39, s. 49–96.
- Siatkowski 1994a — *J. Siatkowski*. Pożyczki zwrotne na pograniczu językowym słowiańsko-niemieckim // *Granice i pogranicza / pod red. S. Dubisza i A. Nagórko*. Warszawa, 1994, s. 223–227.
- Siatkowski 1995 — *J. Siatkowski*. Sławizmy w utworach śląskich Horsta Bienka. Warszawa, 1995.
- SJPD — *Słownik języka polskiego / Red. W. Doroszewski*, I–XI. Warszawa, 1958–1969.
- Słstp — *Słownik staropolski / red. S. Urbańczyk*. Warszawa, 1953 и след.
- SSJČ — *Slovník spisovného jazyka českého / Red. B. Havránek*, I–IV. Praha, 1960–1971.
- Vasmer 1947 — *M. Vasmer*. (пер.) *F. Kluge*. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 12.—13. Aufl. // *Zeitschrift für slawische Philologie*, 19 (1947), S. 448–452.
- Weinhold 1855 — *K. Weinhold*. Beiträge zu einem schlesischen Wörterbuch. Wien, 1855.
- Winter 1961 — *R. Winter*. Einige slawische Entlehnungen in der niederdeutschen Mundarten des ehemaligen Hinterpommern // *Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe*, 1961, 10, S. 271–277.
- Winter 1967 — *R. Winter*. Suffixe der slawischen Lehnwörter im Pommerischen und ihr Einfluß auf die niederdeutsche Wortbildung // *Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung*, 90, 1967, S. 106–121.
- Wolf 1965 — *H. Wolf*. Deutsch-slavische Begegnung in der Sprache der Reformationszeit // *Die Welt der Slaven*, 10 (1965), S. 51–98.

Список сокращений

в.-луж. — верхнелужицкий	пол. — польский
диал. — диалектный	сев. — северный
лит. — литературный	слав. — славянский
каш. — кашубский	слвц. — словацкий
луж. — лужицкий	словин. — словинский
нем. — немецкий	ст.-пол. — старопольский
н.-луж. — нижнелужицкий	чеш. — чешский

(Nie) widać, (nie) słyszać
(Z semantyki i składni
czasowników
percepcji zmysłowej)

Mowa będzie w tym tekście o pewnych szczególnych właściwościach dwu predykatów centralnych w polu percepcji zmysłowej, 'widzieć' i 'słyszeć' i o syntaktycznych sygnałach tych właściwości w języku polskim. Jednak droga, która doprowadziła mnie do polszczyzny, jest pokretna i daleka i biegnie przez Bałkany.

Języki ligi bałkańskiej, między innymi i dwa słowiańskie, macedoński i bułgarski, wypracowały wyjątkowo przejrzysty system sygnałów modalności prawdziwościowej. Mam tu na myśli zarówno (a) podział wypowiedzeń na faktywne (= mówiące o faktach, tj. o zdarzeniach należących do świata realnego) i niefaktywne (= mówiące o zdarzeniach należących do światów pomysłanych) jak też (b) podział tych pierwszych na konfirmatywne¹ i niekonfirmatywne (tj. na takie, których prawdziwość mówiący uznaje bez zastrzeżeń i takie, które opatruje odpowiednim zastrzeżeniem). Jest to, jak się wydaje, prosta konsekwencja «niedoskonałej wielojęzyczności», w której wypada widzieć źródło większości morfosyntaktycznych bałkanizmów (por. Topolińska 1993, 1995, 1996).

Wśród środków gramatyzacji sygnału «niefaktywny» poczesne miejsce w systemach niesłowiańskich języków Bałkanów zajmuje, obok *conditionalu*, *subiunctivus*. Słowiańskie języki Bałkanów wykształciły własną wersję *subiunktivu*, której charakterystycznym i jednoznacznym sygnałem jest werbalna partykuła *da*; partykuła ta zdolna jest wchodzić w konstrukcje peryfrastyczne z finitywnymi formami *praesentis* i *imperfecti* tworząc odpowiednio formy *subiunktivu praesentis* i *subiunktivu praeteriti*.

Jednym z typowych kontekstów użycia *subiunktivu* są argumenty propozycjonalne przy predykatkach wolitywnych (polski typ: *chcę / pragnę / polecam / radzę... żeby...*). Otóż — przechodząc do tematu tego

artykułu — od dawna intrygował mnie fakt, że *da*-subiunctivus tak w tekście macedońskim jak i bułgarskim — wprowadza w pewnych wypadkach argument propozycjonalny implikowany przez predykaty percepcji zmysłowej 'widzieć' i 'słyszeć'. Ostatnio odpowiedź na to pytanie znalazłam — tak mi się przynajmniej wydaje — w kierowanej przeze mnie, jeszcze nieobronionej pracy doktorskiej mgr Eleni Bużarowskiej, poświęconej predykatom percepcji audytywnej w języku macedońskim, rosyjskim i angielskim. Bużarowska zwraca, mianowicie, uwagę na fakt występowania w greckim subiunktivu w argumentach propozycjonalnych przy predykatach percepcji zmysłowej dominowanych przez predykat negacji. Fakt ten, jednoznacznie motywowany semantycznie, wskazuje drogę interpretacji słowiańskiej *da*-konstrukcji w odpowiednich kontekstach.

W tej samej rozprawie Bużarowskiej autorka stawia i rozwiązuje problem statusu konektorów typu *jak* przy czasownikach percepcji zmysłowej w obu interesujących ją językach słowiańskich, macedońskim i rosyjskim oraz odpowiadającej im konstrukcji angielskiej.

Oba wspomniane zjawiska, wyraz specyfiki semantycznej podstawowych predykatów percepcji zmysłowej, mają swoje wykładniki syntaktyczne również w polszczyźnie. W znanej mi literaturze slawistycznej i polonistycznej nie spotkałam się z tym problemem, a myślę, że zasługuje on na uwagę zwłaszcza w dobie wzmożonego zainteresowania tzw. lingwistyką kognitywną.

Jak wynika z tego, co już powiedziałam, problem syntaktyczny sprowadza się do formalizacji zdań intensjonalnych przy czasownikach *widzieć* i *słyszeć*. Zajmę się najpierw opozycją *jak* vs *że*. Oto kilka przykładów, które tę opozycję ilustrują:

- (1) *Siedzę przy oknie. Widzę, jak Jurek gestykulując rozmawia przy furtce z Anią.*
- (2) *Obserwuję tę grządkę. Widzę, jak roślinki z dnia na dzień stają się coraz większe.*
- (3) *Na środku pokoju leży ukochany dywan mojej matki. Widzę, jak dzieci zniszczyły ten dywan.*
- (4) *To już koniec. Widzę, że moje opowiadanie wam się podobało.*
- (5) *Śniadanie stoi nietknięte. Widzę, że ktoś dziś wcale nie jest głodny.*
- (6) *Na śniegu świeże ślady stóp. Widzę, że ktoś tędy przebiegł.*
- (7) *Coś się musiało stać. Widzę, że macie niewyraźne miny.*
- (8) *Drzwi do gabinetu są uchylone. Słyszę, jak Jurek otwiera po kolei wszystkie szuflady biurka.*
- (9) *Przed dom zajechało auto. Słyszę, jak dzieci witają się z ojcem.*
- (10) *Ania wszystko musi mi opowiedzieć. Co dzień / co jakiś czas słyszę / słucham, jak układają się jej stosunki z Wojtkiem.*

- (11) *Wiadomości nie są dobre. Słyszę, że Jurek przyjechał chory.*
 (12) *Tam u nich nigdy nie ma spokoju. Słyszę, że Basia znów pokłóciła się z Jurkiem.*
 (13) *Dom nadaje się do generalnego remontu. Słyszę, że myszy hulają we wszystkich pokojach.*

Zgodnie z trafną obserwacją Bużarowskiej, opartą na analizie trzech różnych strukturalnie języków, macedońskiego, rosyjskiego i angielskiego, mamy do czynienia z dwiema parami homonimicznych predykatów, odpowiednio 'widzieć₁' i 'widzieć₂', 'słyszeć₁' i 'słyszeć₂', co znajduje odbicie w składni zdań, które te predykaty konstytuują. Polski materiał językowy potwierdza tę obserwację. Nasze przykłady (1), (2), (8) i (9) to ilustracja typowych użyc 'widzieć₁' i 'słyszeć₁', tj. predykatów bezpośredniej percepcji zmysłowej. Przedmiotem tej percepcji jest proces *ex definitione* zsynchronizowany z samym procesem percepcji. Przykład (10) (o którym niżej) pokazuje, że nie może to być proces niezaktualizowany, iteratywny, powtarzający się czy to periodycznie, czy też w nieregularnych odstępach. Powierzchniowym wykładnikiem układu charakterystycznego dla 'widzieć₁' i 'słyszeć₁' (tj. ukierunkowania percepcji na paralelnie rozwijający się proces) jest w polszczyźnie spójnik-konektor *jak*. Reprezentuje on kategorię tradycyjnie w naszych gramatykach określaną jako 'sposób', *de facto* stanowiącą przysłowiowy worek dla konstrukcji, które trudno «od ręki» zakwalifikować inaczej. W naszym wypadku w grę wchodzi parametry temporalne: procesualność (kontynuatywność) relacji konstytuującej zdanie intensjonalne i jej synchronizacja w czasie z procesem percepcji. Że nie jest to jedyna funkcja *jak* wiążącego zdanie intensjonalne przy predykcji 'widzieć₁', dowodem nasz przykład (3), w którym *jak* pojawia się jako *intensivum* z interpretacją 'jak bardzo', 'w jak znacznej mierze', itp., a także przykład (10), w którym *jak* sygnalizuje paralelizm temporalny percepcji «pośredniej», tj. percepcji zmysłowej procesu narracji (w danym wypadku audytywnej percepcji opowiadania Ani) i percepcji intelektualnej procesu-przedmiotu narracji (w danym wypadku: rozwoju stosunków Ani i Wojtka). Wkraczamy tu już do strefy funkcjonowania 'widzieć₂' i 'słyszeć₂', dokładniej: na pogranicze tej strefy, na teren nakładania się zakresów użycia omawianych par predykatów o wykładnikach homonimicznych.

Przed rozpatrzeniem implikacji semantycznych charakterystycznych dla 'widzieć₂' i 'słyszeć₂' warto przyjrzeć się jeszcze jednej osobliwej właściwości zestawu *widzi₁/słysz₁... jak...* Mam tu na myśli paralelne warianty typu:

(14) *Widzę, jak Jurek wchodzi do ogrodu. / Widzę Jurka, jak wchodzi do ogrodu. / Widzę Jurka wchodzącego do ogrodu...*

(15) *Widzę go, jak wchodzi do ogrodu. / Widzę go wchodzącego do ogrodu...*

itp., *mutatis mutandis* podobne konteksty łatwo zbudować i dla 'słyszeć₁'. Realizacja argumentu wspólnego dwu strukturom predykato-argumentowym przy predykacji zdania głównego automatycznie przekształca zdanie zależne z intensjonalnego w relatywne. Por. ang. *I see him entering...*, itp. Konteksty tego typu wyjątkowo plastycznie ujawniają temporalny charakter relacji między predykatami zdania głównego i zależnego: 'widzę X-a w momencie, kiedy X...'. Różnica przekazu (*message*) w wypadku wariantów przedstawionych w przykładach (14) i (15) sprowadza się do różnicy w hierarchii komunikatywnej przenoszonych treści, tj. do promocji ew. democji wspólnego obu strukturom argumentu.

Przykłady (4), (5), (6) i (7), a także (10), (11), (12) i (13) ilustrują sytuacje percepcji niebezpośredniej, odpowiednio z wykładnikami *widzi₂*, *że...*, *słyszy₂*, *że...*. Ze względu na specyfikę zmysłu wzroku z jednej i słuchu z drugiej strony załamuje się tutaj paralelizm semantyczny rozpatrywanych predykatów. Wspólnym mianownikiem jest jedynie wspomniana już «percepcja niebezpośrednia».

W wypadku 'widzieć₂' mamy do czynienia z wnioskowaniem na podstawie informacji uzyskanej w drodze percepcji wzrokowej. Bezpośredni przedmiot tej percepcji nie musi być przy tym ujawniony na powierzchni tekstu. Tak np. w przykładzie (4) — domyślamy się, że autor tekstu ocenia reakcję słuchaczy patrząc na wyraz ich twarzy. W przykładach (5), (6) i (7) podstawą wniosku sformułowanego w zdaniu intensjonalnym jest obiekt percepcji wizualnej wspomniany *explicit*e w poprzedzającym tekście, a moment percepcji poprzedza moment wnioskowania. W skrajnym wypadku takie mentalne 'widzę' może zupełnie wykluczać percepcję wizualną. Por. np. zdanie (16) *Widzę, że występ wam się podobał.*

wyłoszone przez konferansjera na tle cichnących burzliwych oklasków — podstawą wnioskowania jest tu informacja uzyskana w drodze percepcji audytywnej. Por. ang. *I see* 'rozumiem, pojmuję'

W wypadku 'słyszeć₂' autor tekstu odwołuje się do informacji uzyskanej w przeszłości w drodze percepcji audytywnej, tj. do informacji przekazanej mu w przeszłości przez osobę trzecią. Takie *słysz*ę niesie konwencjonalną transpozycję temporalną i znaczy *de facto* 'słyszałem'. Brak tu bezpośredniego związku w czasie między momentem (momentami) percepcji i momentem odwołania się do odpowiedniej informacji w toku późniejszego dialogu.

Powierzchniowym sygnałem 'widzieć₂' i 'słyszeć₂' jest *że* w funkcji konektora wprowadzającego zdanie intensjonalne. Bużarowska, której zadaniem jest opis predykatów percepcji audytywnej, różnicę semantyczną sygnalizowaną odpowiednio przez mac. *како* i *дека*, pol. *jak* i *że* ujmuje w formule 'zdarzenie (tj. proces)' vs 'fakt', podkreślając przytem, że termin «zdarzenie» (mac. «настан») implikuje przebieg czasowy. Osobiście wołałabym termin «fakt» zachować dla określenia zdarzeń ulokowanych w czasie realnym (tj. przeszłym i/lub teraźniejszym), a dla opisywanej opozycji zachować formułę: percepcja bezpośrednia vs niebezpośrednia. Niemniej, obecność różnicy aspektualno-temporalnej wydaje się niewątpliwa — percepcja bezpośrednia istotnie implikuje przebieg czasowy, zaś percepcja niebezpośrednia implikuje odwołanie do rezultatu zamkniętego procesu percepcji. I mimo sporadycznego zachodzenia na siebie tak wyznaczonych stref użycia odpowiednio *jak* i *że* (por. nasze przykłady (3) i (10) tendencja do rozróżnienia dwu typów propozycjonalnego uzupełnienia predykatów percepcji zmysłowej ma, jak się wydaje, charakter uniwersalny).

Drugi problem, który chciałabym poruszyć i o którym wspomniałam na początku tego artykułu, to polska replika bałkańskiego subiunktywu przy wykładnikach predykatów percepcji zmysłowej. Innymi słowy, mowa będzie o dystrybucji odpowiednio konektorów *że* i *żeby* przy *widzieć* i *słyszeć*. Zacznę znów od przykładów:

- (17) *Widziałam, że Jurek tędy przechodził.*
- (18) *Nie widziałam, żeby Jurek tędy przechodził.*
- (19) *Czy widziałaś, że Jurek tędy przechodził?*
- (20) *Czy widziałaś, żeby Jurek tędy przechodził?*
- (21) *Styszałam, że Jurek tak się zachowuje.*
- (22) *Nie styszałam, żeby Jurek tak się zachowywał.*
- (23) *Czy styszałaś, że Jurek tak się zachowywał?*
- (24) *Czy styszałaś, żeby Jurek ta się zachowywał?*

Brak tu synchronizacji sytuacji mówienia i aktu bezpośredniej percepcji. Odwołujemy się do aktu minionego, przyczem znów dochodzi do głosu zasadnicza różnica między percepcją wizualną i audytywną. W wypadku *widzieć* odwołujemy się do minionego aktu percepcji wzrokowej zdarzenia, o którym mowa w zdaniu intensjonalnym; w wypadku *słyszeć* odwołujemy się do minionego aktu percepcji słuchowej werbalnej informacji o zdarzeniu, o którym mowa w zdaniu intensjonalnym. Mamy więc do czynienia z *widzieć*₁ i ze *słyszeć*₂. Paralelizm obu serii przykładów jest paralelizmem nadbudowanej struktury modalnej oraz presupozycji. W przykładach (17)

i (21) mamy do czynienia z asercją minionego aktu percepcji zmysłowej, w konsekwencji zdanie intensjonalne ma charakter faktywny. W przykładach (18) i (22) odrzucamy prawdziwość minionego aktu percepcji. Siłą faktu, zdanie intensjonalne jest niefaktywne, a sygnałem tego jest konektor *żeby*, konkretnie: obecność formantu kondycjonalu *by*. W przykładach (19) i (23) przedmiotem pytania jest wiedza rozmówcy o zdarzeniu przedstawionym w zdaniu intensjonalnym, przyczem w wypadku *widzieć* (19) jest to wiedza oparta na minionym akcie percepcji bezpośredniej, zaś w wypadku *słyszeć* (23) wiedza oparta na informacji «z drugiej ręki»; w obu wypadkach czytelna jest presupozycja, że autor tekstu ocenia odpowiednie zdarzenie jako prawdziwe, czego wyrazem jest użycie konektora *że*. W przykładach (20) i (24) to samo zdarzenie autor tekstu ocenia jako mało prawdopodobne i oczekuje od rozmówcy potwierdzenia takiej oceny. Ocena prawdziwościowa jest zawieszona, pojawia się *by*. Jak wynika z tej szkicowej interpretacji, dialog dotyczy wiedzy o minionym zdarzeniu, niezależnie od źródeł tej wiedzy; por. paralełę naszej opozycji w parze pytań jak: *Czy wiesz, że...?* obok *Czy wiadomo ci (coś o tym), żeby...?*

Bałkański subiunktiv znajduje pełną paralełę w polskim kondycjonalu, a tożsamość wykładnika werbalnego w różnych kontekstach użycia predykatów percepcji zmysłowej tłumaczy ew. krzyżowanie się zakresów użycia konektorów wiążących zdanie intensjonalne. Raz jeszcze mamy do czynienia z uniwersalną tendencją derywacji semantycznej i syntaktycznej motywowaną specyficzną semantyką predykatów percepcji zmysłowej.

Na zakończenie chciałabym nawiązać do tytułu tego artykułu i przedstawić jeszcze jedną, tym razem bez paraleli bałkańskiej, szczególną właściwość predykatów percepcji zmysłowej w polszczyźnie. Mam tu na myśli stare infinitywne formy *widzieć*, *słysząc*, które z czasem stały się /+ finitywne /, tj. zyskały zdolność konstytuowania konstrukcji zdaniowych. W terminach opozycji przyjętej w literaturze przedmiotu, m. in. i w cytowanej tutaj rozprawie E. Bużarowskiej, należą one do tzw. pacjentywnych (= nie agentywnych) predykatów percepcji zmysłowej, tj. do predykatów, które nie wymagają akcji (świadomego wysiłku / ukierunkowania uwagi) od odbiorcy odpowiednich wrażeń. Do tej klasy należą analizowane dotychczas *widzieć* i *słyszeć* (w opozycji do *patrzeć* i *słuchać*, które implikują działanie świadome). Raz jeszcze odwołam się do przykładów:

(25) *Z Wodna najlepiej widać całe Skopie.*

(26) *W naszym mieszkaniu słysząc każde słowo wypowiedane przez sąsiadów z góry.*

Odpowiednie konstrukcje blokują pozycję syntaktyczną przy dialezie podstawowej zarezerwowaną dla odbiorcy wrażeń, a zarazem implikują obecność personalnego odbiorcy w wyjściowej strukturze semantycznej. Są to twierdzenia ogólne z parafrazą typu: 'jeżeli ktoś się znajdzie na Wodno / w naszym mieszkaniu... to będzie mógł widzieć / słyszeć...' Jedynym argumentem implikowanym jest odniesienie do miejsca (jak wyżej), ew. też wtórnie do czasu, por. np.

(27) *W sezonie mgieł często nie widać nic w promieniu pół metra.*

(28) *W południe najlepiej słyszeć muezzina.*

itp. — implikowane 'tutaj; w miejscu, o którym mowa'.

Z uzupełnieniem propozycjonalnym wyrażenia *widać*, *słyszeć* zachowują się podobnie jak *widzieć*, *słyszeć*, por.

(29) *Stąd dobrze widać, jak ładują te ciężarówki.*

(30) *Widać, że on tędy przeszedł.*

(31) *Nie widać, że on tędy przeszedł* (a wiemy, że przeszedł).

(32) *Nie widać, żeby on tędy przeszedł* (i przypuszczamy, że nie przeszedł)...

Wreszcie, trzeba dodać, że w większości wypadków trzeci polski podstawowy wykładnik werbalny percepcji zmysłowej, *czuć*, zachowuje się podobnie jak *widzieć* i *słyszeć*, jednak specyficzny charakter wrażeń, których odbiór sygnalizuje *czuć*, wymaga specjalnej analizy.

¹ Spośród wielkiej ilości terminów określających kategorię, o której mowa, w różnych bałkańskich i nie-bałkańskich konwencjach terminologicznych (np. *imperceptivus*, *inferentialis*, *dubitativus*, strona świadka i nie-świadka...) wybieram w tym tekście termin V. Friedmana (Friedman 1977), który zresztą w formie atrybutu określa pozytywny człon opozycji, a więc stanowi «szczęśliwą» parę dla terminu *faktywny*.

Literatura

- Bużarowska 1997 — E. Буџаровска. Семантика и синтакса на глаголите на аудитивната перцепција во македонскиот, англискиот и рускиот јазик. Докторски труд, ракопис.
- Friedman 1977 — V. Friedman. The Grammatical Categories of the Macedonian Indicative. Columbus, 1977.
- Topolińska 1993 — Z. Topolińska. O systemowych konsekwencjach komunikacji ustnej w warunkach wielojęzyczności // Socjolingwistyka, 1993, 12/13, 55–63.

- Topolińska 1995 — Z. *Topolinjska*. Convergent Evolution, Creolization and Referentiality // *Travaux du Cercle Linguistique de Prague*, NS, vol. 1, John Benjamins Publishing Company, 1995, 239–247.
- Topolińska 1996 — З. *Тополинска*. Комуникативната хиерархија како регулатор на јазична интерференција // *Јазичите на почвата на Македонија*. Скопје, 1996, 67–74.

З. *Тополинская*

(*Nie*) *widac*’, (*nie*) *stychac*’.

К семантике и синтаксису глаголов
чувственного восприятия

Сочетаемость польских глаголов *widziec* и *styszec* с союзами *jak* (*widze jak...*, *stysze jak...*) и *ze* (*widze ze...*, *stysze ze...*) определяется совпадением или несовпадением времени восприятия и времени события. Соответственно выделяются семантические типы *widziec*₁, *styszec*₁, со значением непосредственного, актуального восприятия (в выражениях с *jak*) и *widziec*₂, *styszec*₂ со значением не непосредственного восприятия, косвенного умозаключения и далее — знания (в выражениях с *ze*). Отрицательные и вопросительные конструкции с *widziec*, *styszec* и союзом *zeby* сопоставляются с балканским конъюнктивом (в обоих случаях выражается истинностная оценка события). Наблюдаемые семантико-синтаксические различия между *widziec* и *styszec* в разных выражениях объясняются особенностями зрительного и слухового восприятия. Рассматриваются также безличные выражения с инфинитивом *widac*, *stychac*.

Слово Максима Грка у старом српском преводу

Раскол настао у Руској цркви за време патријарха Никона оставио је невољне последице у духовној историји руског народа. Још није довољно проучено — како су се ова збивања одразила у Српској цркви. У старијој литератури читаво питање се сузило на словенско-грчке или, боље рећи, српско-грчке односе на Светој Гори Атонској. То је и природно, јер познајемо писана сведочанства о одјеку раскола, углавном, међу светогорским монасима Србима. Средишња личност тог српско(словенско)-грчког сукоба био је Србин Дамаскин, хиландарски и светогорски калуђер.

Заслужни проучавалац епохе раскола Н. Ф. Каптерев показао је да је цар Алексеј Михајлович замислио реформу и исправљање богослужбених књига још пре патријарха Никона. Тако, већ 1649. године позвао је у Москву учене Кијевљане да исправљају постојеће московске штампане књиге¹. Ови почеци исправљања књига, што је замислио у гркофилској традицији васпитан цар Алексеј, врло брзо су одјекнули на Светој Гори. Осећајући подршку својих представника у Русији, осиљени светогорски монаси Грци започели су сурови сукоб поводом знамења часнога крста, осуђујући двопрсно крштење (двуперстие) као јеретички обичај. Први на удару је био јеромонах Дамаскин Хиландарац, добар познавалац и поштовалац старих руских штампаних књига и обичаја Руске цркве. Грци су га, са још двојицом сарадника, бацили у тамницу 1650. Исте године, уз понижења и смртоносне претње, присилили су га да старе московске штампане књиге баца на ломачу и да се одрекне двопрсног знамења часнога крста. На крају су га предали Турцима, који га после дугог времена пустише уз велики откуп².

У научној литератури одавно су запажене и проучаване узамне везе између српске и руске писане традиције. У богатом и вишевековном току српско-руских веза посебно се истиче онај из

XVI stoleћа, када су старе српске штампане књиге оставиле запаженог трага у руским богослужбеним књигама испољеног кроз чување најстаријих обичаја и богослужења Српске цркве³. Руске штампане књиге шездесетих година XVI до средине XVII века и ликовно су се угледале на српска издања, нарочито из венецијанске штампарије Божицара Вуковића⁴. Овако настајале, старе руске штампане књиге стекле су и велики углед међу српским свештенством и монасима на Светој Гори, где се вековима неговала руско-српска сарадња. И поред честих страдања манастира Хиландара, у њему се, на пример, сачувало неколико десетина руских штампаних књига из прве половине XVII века, дакле, до реформе патријарха Никона⁵.

Из читавог тегобног случаја са јеромонахом Дамаскином произилази — да остали Срби монаси на Светој Гори нису чинили двопрсно, већ тропрсно знамење часнога крста. То, наравно, не мора да значи да су били против двопрсног знамења. О овим питањима мало знамо или не знамо скоро ништа за читаво подручје Српске цркве, ван Свете Горе. Да ли се у Српској цркви, као и у Руској знамење часног крста чинило двопрсно? Уколико се чинило, да ли је било забрањено? О томе, колико нам је познато, нема никаквих сведочанстава. Могло би се претпоставити да је Српска црква ипак била против двопрсног знамења. Зна се, наиме, да је српски патријарх Гаврило (1648–1655, 1659) последње године провео у Русији, вероватно, из политичких разлога и ради тражења материјалне помоћи за своју сиромашну патријаршију. У то време се у Москви (1655) одржавао сабор на коме су исправљане црквене књиге. Том приликом је донесена одлука о тропрсном знамењу крста као једином исправном. Ова одлука, уперена против двопрсног знамења крста, са потписима патријарха антиохијског Макарија и пећког Гаврила, штампана је одмах у Служебнику објављеном 1655. године у Москви⁶. Потпис патријарха Гаврила, као и потпис патријарха Макарија, требало је да дâ само већу тежину одлукама сабора и патријарха Никона. За Српску цркву, пак, потпис српског патријарха није имао никаквог значаја, јер је Гаврило тада био већ бивши патријарх, којег је у међувремену наследио нови патријарх Максим (1655–1680). Уз то, тадашње руске штампане књиге готово да нису ни допирале до великог пространства Српске цркве, где се служило из рукописних и штампаних књига на српскословенском.

Српска црква се, изгледа, противила никоновској забрани двопрсног знамења крста, што још као појава није привукло пажњу наших истраживача. У српском рукописном наслеђу познато

је Максима Грка Сказање о знамењу крста, које је заузело значајно место у борби старовераца («старообрядци») ⁷. Два списка Максима Грка, Сказање о знамењу крста и Слово о алилуја, читав век после њиховог настанка, протопоп Иван Неронов, протопоп Авакум, Лазар и други користе, како су сами говорили, за изобличење «никоновихъ еретическихъ затѣкъ». Званична Руска црква у најжешћим годинама борбе са староверцима иступила је са својом оценом ова два Максимова списка. То је поверила самом Симеону Полоцком, који је у својој књизи «Жезлъ правленія» (1666) изнео сумњу у Максимово ауторство, то јест — да су споменути Максимови списи лажни састави ⁸.

Сказање о знамењу крста (Сказаніе како знаменоватися крестнымъ знаменіемъ) Максим Грк је саставио као посланицу, односно као одговор пријатељу на питање — како да се чини знамен часнога крста. Пре готово једног века Сказање је објавио Хрисант Лопарјов према зборнику са Максимовим списима. из XVI века ⁹. После увода од петнаестак редова Максим непосредно одговара пријатељу. Пошто овај део, обима једне трећине Сказања, садржи суштину одговора, преносимо га слободно на савремени језик:

«Нека је знано теби да код божаственог крштења тројако погружење у воду јесте тридневна погребење и васкрсење Спаса Христа. Символизује нам црквено предање према божаственим речима: Сви ми који смо у Христу крштени, у његову смрт смо крштени. Ми смо крштењем у смрт заједно с њим сахрањени (Посланица Римљанима, VI, 3–4). Тако се казује шта [значи] када се у смрт дође: Као што је Христос устао из мртвих, тако ћемо и ми у обновљеном животу живети нов живот (Посланица Римљанима, VI, 4) испуњен сваком правдом и светошћу. Свукавши старога човека (Посланица Колошанима, III, 9), то јест [свукли сте] лукавих и богомрских похоте тела и духа, како нам, дакле. тајном крштења ово износи апостолско предање.

Тако нас све скупа знамењем часнога крста учи тајни побожности, да исповедамо тајинствено саму свету и поштовану Тројицу и са небеса силазак Јединородног и распеће његово и са небеса други његов долазак, када ће судити живим и мртвим, то јест, праведницима и грешницима. Сакупљањем три прста, то јест, палца и средњег и малог, исповедамо тајну богочелне три ипостаси, Оца и Сина и Светога Духа, јединога Бога утроје. Пружањем дугог и средњег — две природе у Христу, то јест, самог Спаса Христа исповедамо, савршеног Бога и савршеног човека, у два суштатства и природе верованог и поштованог. Постављањем прстију на чело исповедамо два начела — да се родио од Бога Оца и да наша реч

из ума исходи, да је озго сишла, према божаственим речима које кажу: Савиј небеса и сиђи (Псалми, СXLIV. 5). А постављањем прстију на пупак — двоструко изражавамо силазак његов на земљу и у пречистој утроби Богоматере његове безсемено зачеће и деветомесечно борављење. Кретањем одатле читаве руке на десну и леву страну — јасно изображавамо оне који ће искусити онај горки суд (од праведника што стоје десно од Судије), сада лево од Судије, нечастиве и грешне, према Спасову божаственом гласу који говори онима што сеprotиве и не покоравају Јудејима.»

Максим Грк је понекад, обично на маргинама, извесна места у сопственом руском тексту тумачио грчким речима. То је учинио и овде, у Сказању, у два изузетно важна случаја. Уз речи како се најпре сакупе палац, средњи и мали — Максим, очевидно, жели да објасни шта овде значи «средњи»: ан. хера. етера мяса · сирѣчь безиманникъ. Тумачење на грчком исписао је ћирилицом, што би грчким писмом могло да гласи: ἀνὰ χέρα ἕτερο μεσάτο («на руци други средњи»). То је, уствари, домали прст (прстењак), за који Максим наводи руску реч из народног језика, данас «безымянный». Уз речи како се пружају дуги и средњи прст — Максим тумачи шта значи «дуги»: лиχана сирѣчь ожегъ . И овде је грчка реч исписана ћирилицом, што одговара грчком λιχανός (кажипрст, кажипут).

Максимове Сказање, као што је познато, одмах се нашло, педесетих година XVII века, у средишту пажње Руса старовераца. Није много времена прошло ни до појаве овога списка на српско-словенском. Неки непознати Србин преписивач и редактор, вероватно већ касних педесетих и шездесетих година XVII века, из Сказања је издвојио само део који смо приказали (једна трећина Максимовог списка), пренео га на српскословенски и, на крају, додао му неколико реченица (од Того ради...). Тако је Максимово Сказање управо својом суштином постало присутно у српској средини¹⁰. Тај нови извод из Максимовог Сказања, назовимо га за ову прилику Слово, познат нам је сада у два српска преписа готово из истог времена.

Први препис Слова налази се у зборнику Српске академије наука и уметности, број 147, крај XVII века, на странама 245б–247а (зовемо га Академијин препис)¹¹. У овом занимљивом зборнику налазимо и списе: «О арменској јереси» (271б–273б) и «О Љуторе и јего јереси» (267а–271а), чему и Максим Грк посвећује посебна слова — «Слово на арменское зловерие» и «Слово на люторы»¹². Будућа истраживања мораће да се позабаве односима ових списка да би се потпуније сагледале прилике у којима се појавило Максимово Слово.

Други препис нашли смо у једном зборнику Патријаршијске библиотеке у Београду, број 17, крај осамдесетих година XVII века, на странама 7а–8б (зовемо га Патријаршијин препис)¹³. Препис има следећи наслов: *О томъже кр(ь)стномъ знаменїи еже кладемъ на лица своа, маџимъ грѣкъ пишеть вѣ своен книѣзи сице — У Академијином препису последња реч није сице, већ тако.*

У Академијином препису још се могу препознати трагови руског предлошка. Поред руских трагова фонетско-графијских, јасно се испољавају неки русизми, као што је грѣкъ уз име Максим или придев горкон. За московску писменост после XIV века, на пример, карактеристичан је придевски наставак *-ой* (уместо *-ый*)¹⁴. У Патријаршијином препису, међутим, доследно је спроведена норма српске редакције.

Академијин и Патријаршијин препис, очигледно, потичу од заједничког српскословенског протографа Максимовог Слова, који је, вероватно, у свом првобитном облику задржао неке русизме. Српски преписи значајније се разликују само на једном месту. У уводном делу Слова, после речи «Такожде и ми ва обновљенији живота поживем» Академијин препис има *д(оу)χ(о)вно*, а Патријаршијин — *животно*. Руски текст на овом месту има живот новъ, што је најближе изворним речима из Посланице Римљанима (VI, 4). Српскословенски текстови се на неколика места разликују од руског¹⁵: *сваѣтѣни* (Л 191.21) — *ист(и)ни* (Академијин, Патријаршијин); после *ѣдинороднаго* (Л 191.26) — *проширење на земљу*; *овитанїе двоиственѣ* (Л 192.8) — *вселенїе двствѣнѣ*; *суд* (Л 192.10) — *отвѣтъ*; *настоащихъ ошѣю судїи* (Л 192.11) — *нема* (испред на *начѣствѣхъ*). Завршни део текста Слова, од Того ради до краја, не налазимо у издању Хрисанта Лопарјова. Не може се рећи чијој је руци припадао овај део: да ли је то саставио Србин преводилац (и редактор) или се то већ налазило у непознатој нам руској верзији извода из Сказања.

На крају Патријаршијиног преписа налази се ликовна представа која је, изгледа, у непосредној вези са садржином Слова. На средини стране 8б завршава се Патријаршијин препис. Испод тога, на другој половини стране, рука преписивача је нацртала четворокраки крст постављен на постоље у облику слова П (сведена представа етимасије). На празним пољима, према средини крста, исписане су четири уобичајене скраћенице са титлама: *ИС ХС НИ КА*. Споља, са леве и десне стране крста, четири иницијална слова: *Ц Ђ Ђ Х*. Лево и десно од постоља, споља, по два иницијала, без титли: *П П А (?) П*. На унутрашњој страни постоља, у два угла, два слова: *П П*.

Између два крака постоља исписан је број ϠϠϠϠ . Овај број, 7155, означава свакако годину од стварања света, односно 1647. од Христовог рођења. Прота Димитрије Руварац, који се узгредно бавио Патријаршијиним зборником, мислио је да се те године «књижица започела писати»¹⁶. Та година, претпостављамо, неће се односити на почетак писања зборника. Четири деценије (1647 — после 1683) био би сувише дугачак временски распон за настанак нашег малог зборника. Година 1647. вероватно је у некој вези са временом настанка Слова, односно извода из Сказања. Неколико година пре патријарха Никона (постављен за патријарха 1652) и у прво време владавине младог и гркофилски настројеног цара Алексеја Михајловича (царевао 1645 — 1676) замишљена је реформа Руске цркве. Можда се већ у тој атмосфери, код присталица старих обреда, родила идеја о изводу из Максимовог Сказања, што је, касније, могло да понесе 1647. годину?!

У Патријаршијином рукопису врло је важно место Максимовог Слова у склопу зборника. Читав зборник, наиме, почиње списом «како лице своје крстити крстообразно и истово» (стр. 1а-7а). У уводу се казује о знамењу часнога крста са примерима из Светога писма. Наше, српско Слово Максима Грка, незнатно измењено, уграђено је у наставку (од 2б). После тога следи шта о знамењу крста говоре свети Теодор, вероватно Кирски (3б) и свети Кирил Александријски (4а). На крају (6б) излаже се кратка историја антиохијског патријарха Мелентија. О основним начелима овога списка¹⁷ најкраће и најречитије нам говоре речи светога Кирила: *иже кто не знаменѣт се двема прѣсти какоже и хр(н)стос' - да кс(тъ) проклетѣ.* Овај спис и Максимово Слово чине тематску целину. По времену и начину настанка, међутим, то су независни састави. Да су настајали као целина, свакако се Максимово Слово не би поновило на почетку првог списка. Академијин и Патријаршијин, пак, зборник, судећи према делимично сличном садржају (Максимово Слово, рецепти за справљање мастила) имају далеке заједничке претке, вероватно, на Светој Гори.

У оквиру живих и других српско-руских културних и књижевних веза српско Слово Максима Грка заузима изузетно место. Његова појава и присуство сведочи нам да је раскол у Руској цркви врло брзо одјекнуо међу Србима. Читава невољна историја Дамаскина Хиландарца, српски превод Слова Максима Грка и посебни спис у Патријаршијином зборнику иду у прилог чињеници — да Српска црква у прошлости никада није осудила двопрсно знамење часнога крста. Оно што је Руска (Никонова) црква строго осуђивала и прогањала — у српској духовној средини,

у исто време, слободно се сазнавало и као писано сведочанство преносило.

За Максима Грка се међу Србима знало и пре раскола у Руској цркви. Један његов полемички и антимухамедански спис («Слово на агаренскују беси, умишљенују и скврнују преласт») можда је преведен на српскословенски већ за Максимова живота (умро 1555). Сада нам је познат препис у Староставнику из 1567. године у збирци Валтазара Богишића у Цавтату (број 19с)¹⁸.

У прилогу доносимо српскословенски текст Максимовог Слова према Академијином препису, стране 2456–247а. И сада смо се држали начела као и у нашим ранијим издањима. Иницијална (велика) слова, исписана црвено или мрко, преносе се као верзална и увек на почетку новог пасуса. Све остало се штампа малим (курентним) словима. Скраћенице означено титлом разрешујемо помоћу полукружних заграда. Задржавамо изворне знаке у редовима (тачка, запета, тачка са запетом). Усправна црта указује на крај странице у узворнику. Библијска места у српскословенском тексту могу се одредити према наведеном преводу на савремени српскохрватски језик.

Прилог

У кр(ь)стномъ знаменїи еже кладем на лица свога, маџимъ грекъ пишетъ ∴ въ своен книзѣ тако ∴

Вѣдомо оубо да естъ тебѣ что, јакоже въ б(о)ж(ь)ств(ь)номъ кр(ь)щ(е)нїи, тремѣ въ водѣ погрѣженїи; тридневное сп(а)са хр(и)ста погребенне и въскр(ь)сенїе гадаеть цр(ь)к(о)вное преданїе по б(о)ж(ь)ств(ь)номѣ гласѣ глаголющѣ . елицы бо въ хр(и)ста кр(ь)стихомъ се, въ смрть его кр(ь)стихомъ се . съпогревохомъ се ему кр(ь)щ(е)ннемъ въ смр(ь)ть .

Тага же акї сказѣе что естъ еже въ смрть . прїводит г(лаго)ле . да јакоже х(ри)сто с въста шт мртвухъ, такожде и мы въ шѣновленїи жївота поживемъ д(о)ух(о)вно . исплнь всакїе правды и преподовствва ист(и)ни . съвлекше се ветхаго чл(о)в(ѣ)ка, сїрѣчь лѣкавнїхъ и б(о)гомрзскїхъ похотен и дѣланїи плти и д(о)уха . јакоже ѡбо кр(ь)щенїемъ таниственѣ предаетъ сїе намъ ап(о)с(то)лское преданїе, сице и з(на)менованїемъ ч(ь)стнаго кр(ь)ста все въкѣпѣ бл(а)говѣрїа таниство ѡчїти ны исповѣдовати таниственѣ, г(лаго)лю же, самѡю с(вѣ)тѡю и покѡнаемѡю тронцѣ . И еже съ н(е)б(е)се едїнороднаго на землю

сьнїтїе и рас'петїе его . и еже съ н(е)в(е)сь в'торое его прїшьст'вїе ег'да хоцеть с'дїти жївымь и мр'твымь, сїр'ѣчь правед'нымь и гр'ѣш'нымь .

Сьвьк'п'ленїем' бо трїехъ пр'сть, сїр'ѣчь пал'ца . и еже шт с'р'ѣд'нега и малаго танн' испов'ѣд'емь б(о)гоначел'ныхъ трїехъ шпос'тасен шт(ь)ца и с(ы)на и с(вє)т(а)го д(оу)ха, едїнаго б(о)га трое .

Протежением' же дл'гаго и с'р'ѣд'наго, сьшьдїше се два ест'ст'ва въ хр(и)ст'ѣ, сїр'ѣчь, самаго сп(а)са ис'пов'ѣд'емь сьвр'шена б(о)га и сьвр'шен'на чл(овѣ)ка въ двою с'щїст'в'ѣ и ест'ств'ѣ в'ѣр'емаго и поз'наемаго .

Положенїем' пр(ь)сть на чел'ѣ, исповед'емь два н'ѣката сїа, іако шт б(о)га и шт(ь)ца родн се . іакоже и наше слово шт оума пронс'ходит' . и іако сьвыше сьнїде по б(о)ж(ь)ств(ь)ном' слов' глаголющем', преклони н(е)в(е)са и сьнїде .

А положенїемь пр'сть еже на п'п'ѣ, сьнїтїе его еже на зем'лю . и еже въ преч(и)ст'вїи оутров'ѣ б(о)гоматере, без'с'ѣмен'ное зачетїе его, и деветом'ѣсеч'ное вселенїе іавст'вен'ѣ възв'ѣщаемь .

А шввож'денїемь еже шт т'ѣд'ѣ в'сее р'ки на дес'нью и на л'ѣв'ю стран'ѣ, гас'н'ѣ швраз'емь хоцещїи из'нести се гор'кон штгв'ѣть шнь шт праведных' . стоещїхъ ш дес'нью с'дїи . на неч'стївыхъ и гр'ѣш'ныхъ, по с'пасов'ѣ б(о)ж(ь)ств(ь)ном' глас' глаголющ' къ протївещїим' се и не покар'ющїм' се іудешмь .

Того ради слышав' сїа св'ѣдїтел'ства в'сака в'ѣр'нын . да не нерадїть, и не полагаеть сего нївъчтоже . и еже быти без' богаз'ни . нь съ с'трахомь и съ правою в'ѣрою, и съ ч(и)стою сьв'ѣстїю, полагаеть кр(ь)ста знаменїе на лїце свое, іакоже б(ь)ж(ь)ств(ь)ннага пїсанїа ўказ'ють .

Бст' же и въ шт[ь]чьс'кїхъ кнїгахъ пїсано ш семь . иже аще к'то не поподовїю лїце свое знамен'уеть, сїр'ѣчь ненс'тово кр(ь)стїть, грдостї ради, илї л'ѣнос'ти, и махаеть, с'ѣмо и швамо, и том' маханїю б'ѣсы рад'ють се .:

1 Н. Ф. Кантрев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. I, Сергиевъ посад, 1909, с. 31–80.

2 О овим збивањима, са старијом библиографијом: Г. Трифунович. Дамаскин Хиландарец (К вопросу о греко-славянских отношениях на Афоне в XVII в.) // Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987, с. 316–319.

3 П. Миодраг. Неке особине чина обручења и венчања према српским рукописним требницима // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, I и II, 1–4, 1985–1986. Београд, 1988, с. 108–113.

- 4 *С. Петковић*. Божидар Вуковић и илустрације руских и украјинских штампаних књига XVI и XVII века // Штампарска и књижевна дјелатност Божидара Вуковића Подгоричанина. Титоград, 1986, с. 83–105; *С. Петковић*. Илустрације и књижевни украс у српским штампаним књигама XV–XVII века // Пет векова српског штампарства 1494–1994. Београд, 1994, с. 49–52.
- 5 *Ј. Радвановић*. Руске и румунске штампане књиге XVII века у Библиотеци манастира Хиландара // Археографски прилози, 2. Београд, 1980, с. 229–325.
- 6 *С. Димитријевић*. Одношаји пећских патријараха с Русијом у XVII веку // Глас Српске краљевске академије, LVIII. Београд, 1900, с. 247.
- 7 О месту Сказања у склопу Максимовог списатељског рада: *А. А. Иванов*. Литературно наследство Максима Грека. Характеристика. Атрибуции. Библиографија. Л., 1969, с. 186–187.
- 8 *А. Т. Шашков*. Максим Грек и идеологическая борьба России во второй половине XVII — начале XVIII в. (Подделка и ее разоблачение) // Труды Отдела древнерусской литературы. XXXIII. Л., 1979, с. 80–87.
- 9 *Х. Лопарев*. Описание рукописей Императорского Общества любителей древней письменности. Часть III — рукописи в осьмушку. СПб., 1899, с. 191–193.
- 10 Можда је и у руској рукописној традицији позната скраћена верзија Сказања, која је могла касније да се нађе код Срба?
- 11 *Љ. Стојановић*. Каталог рукописа и старих штампаних књига // Збирка Српске краљевске академије. Београд, 1901, број 112 (147); *Д. Богдановић*. Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI–XVII века). Београд, 1982, број 366.
- 12 *А. А. Иванов*. Литературное наследство..., с. 115, 117. Састави о Лутеру, Виклифу, Јану Хусу, Калвину и др. из зборника САНУ имају своје место међу најстаријим сведочанствима о протестантизму код Срба. Упор. *С. Ђурковић*. Срби и рани протестантизам // Зборник за историју Матице српске, 36. Нови Сад, 1987, с. 7–25 (прештампано у: *С. Ђурковић*. Работници, војници, духовници // Друштва средњовековног Балкана. Београд, 1997, с. 470–488).
- 13 *Д. Богдановић*. Инвентар..., број 330. О садржају зборника: Димитрије Кантакузин. Приредило Ђорђе Трифуновић. Београд, 1963, с. 169–170; *З. Витић-Недељковић*. Песма смрти (Рукопис бр. 17 Патријаршијске библиотеке) // Књижевна историја, XXVII, 95. Београд, 1995, с. 113–123.
- 14 *Н. А. Меццерский*. История русского литературного языка. Л., 1981, с. 101.
- 15 Слово Л означава скраћеницу за издање Х. М. Лопарјова. Први број упућује на страницу, а други (после тачке) — на ред странице.
- 16 Димитрије Руварау у часопису Бранково коло, XIX. Сремски Карловци, 1913, с. 341.
- 17 Писац ових редова припрема посебно издање споменутог списка.
- 18 *С. Райчинов*. Новооткрит јужнославјански препис от съчинение на Максим Грек // Език и литература, 6. Софија, 1982, с. 89–92; *Д. Богдановић*. Инвентар..., број 1523.

Дж. Трифунович

Слово Максима Грека в древнем сербском переводе

Труд Максима Грека «Сказанје како знаменоватися крестнымъ знаменіемъ» занимает важное место в борьбе староверов за двуперстное знамение честнаго креста. В пятидесятые и шестидесятые годы XVII века какой-то неизвестный нам серб выделил из этого труда центральную часть (одну треть текста) и перевел ее на сербскославянский язык. Так возникло Слово Максима Грека, известное нам по двум спискам конца XVII века (Архив Сербской академии наук и искусств и Патриаршая библиотека в Белграде).

Возникновение и наличие этого Слова свидетельствуют о том, что раскол в Русской церкви весьма быстро отозвался и среди сербов. Известная и печальная история монаха серба Дамаскина, выдающегося афонского последователя староверов, так же как и сербский перевод Слова Максима Грека, свидетельствуют о том, что Сербская церковь в прошлом никогда не осуждала двуперстное крестное знамение. То, что Русской церковью со времен патриарха Никона строго осуждалось и преследовалось, в сербской духовной среде, в то же самое время, свободно познавалось и передавалось в письменной форме.

В конце этой работы приводится сербскославянский текст Слова Максима Грека.

Из работы над ЭССЯ 26

Работа над нынешним алфавитным отрезком Этимологического словаря славянских языков (сокращенно — ЭССЯ¹) своей внешней монотонностью и почти сплошь откровенным словообразовательным характером — сложение префикса *ob-* с именной или глагольной основой — подвергает немалоу испытанию склонности и предпочтения лексикографа-этимолога, сильно удаляясь от стереотипного представления об этимологическом словаре. Не ошибусь, допустив, что то же впечатление испытывают читатели и критики, даже самые привычные из них. Односложность словообразовательного анализа, почти полное отсутствие анализа этимологического в классическом понимании, «оголенность», вместо оснащённости аппаратом, которым по праву могли бы гордиться составители этимологических партий ЭССЯ, — все это способно зародить сомнения в правильности пути, а с ними — соблазн опустить словообразовательно однородные, «неэтимологические» пассажи вроде нынешнего. Не стану детально опровергать это, по моему мнению, заблуждение, не буду повторяться об установках нашего Словаря на живой тип праславянского языка и лексикона. Ограничусь здесь напоминанием, что префиксация (и даже полипрефиксация) — характерная славянская и индоевропейская черта² и возможно полная ее инвентаризация остается важной частью реконструкции в нашем понимании. Кроме разительных соответствий за пределами славянского, которые порой открываются нашему взору совсем неожиданно и которые лежат на поверхности, как всё в этом интереснейшем материале (а составительский опыт учит, что неинтересных партий в словаре нет вообще!), назову еще одно только, важнейшее и для настоящих моих словарных выдержек; это замечательная консервирующая способность словосложений, замеченная еще старыми лексикографами, да и сейчас

достойная упоминания. В сложении, в связанном виде основа (глагольная, в частности) обретает дополнительную способность противостоять забвению, выпадению из словарного состава. Это относится и к преимущественной сохранности значения. И то, и другое вправе интересовать этимолога.

***obprojъskati, *obprojъščo:** болг. *opóсkam* 'поискать вшей' (БТР; Геров: *opóсkamъ*), также *opóщя* (БТР), диал. *ynóщmъ* 'поискать в голове вшей; обобрать (все плоды)' (Ралев БД VIII, 175), *ynóщк'ъ, ynóщm'ъ* то же (Петков БД VII, 153).

Префиксальное сложение *ob-* и гл. **pojъskati* (см.) или полипрефиксальное — *ob-, po-* и **jъskati* (см.). Фонетическая затемненность и специализация значения говорят о древности. Отсутствует в БЕР 4, 905, на алфавитном месте (*opock-, opoщ-*).

***obporomiti (*ob-po-romiti ?):** русск. диал. *opopómить* 'проявить заботу о ком-либо, осуществить уход за кем-либо; присмотреть' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обл. 397).

Префиксальное (полипрефиксальное?) сложение с гл. **romiti*, в свободном виде не засвидетельствованным потенциальным этимологическим соответствием лит. *raminti / ramýti* 'успокаивать, унимать, смягчать', лтш. *ramít* 'хоронить, погребать'. Сближение представляло бы интерес в силу большой проблематичности надежных слав. соответствий этому балт. лексическому гнезду, однако оно остается гипотетичным по ряду обстоятельств, в т. ч. слабая засвидетельствованность слав. формы.

***obpovirati:** словен. *opovirati*, несврш. от *opovreti* 'затормозить, помешать, воспрепятствовать' (Plet. I, 840), русск. диал. *opovirátъ* 'оплетать' (пинеж., арх.), 'пеленать' (пинеж., арх.) (Филин 23, 269).

В конечном счете префиксальное сложение *ob-* и гл. **poverti* (см.) или его имперфектива **povirati*. При всей своей очевидной вторичности, обращает на себя внимание изоглоссной связью (словен.—русск. диал.).

***obpruliti ?:** сербохорв. стар., редк. *opruliti* 'уничтожить' (J. S. Relković 274...: < *opruliti*; «*pruliti*, возможно, не засвидетельствовано». RJA IX, 123).

Выделяемый в составе сложения с *ob-* проблематичный глагол **pruliti* (передаваемая RJA s. v. семантика сложения 'уничтожить' может быть приблизительной ввиду единичности и реликтовости словоупотребления) вызывает в памяти близкую форму **bruliti* с значениями 'сбивать (с дерева), ударять с силой

(о ветре), трясти' (ЭССЯ 3, 46), при наблюдаемой также семантической близости **bruliti* и **pruliti*: 'ударять' - 'уничтожить'. Само собой разумеется, формальное отношение **bruliti* и **pruliti* в таком случае пополнило бы известный ряд соответствий из разряда «b/p-Fälle» в балтийском и славянском. Заговорив о балтийском, напомним лтш. *braulāt* 'проводить рукой по лицу', приведенное у нас s. v. **bruliti*. Собственно говоря, возможны поиски внеслав. соответствий также для глухого варианта — **pruliti*. Предположительно это могло бы быть лтш. *praūls* 'гнилое дерево, гнилая древесина', если из первоначального **proulos* 'ломкий' (иначе о лтш. *praūls* — прямо к лит. *piáulas* 'гнилое дерево' см. Pokorny I, 849, впрочем, с формальными оговорками).

***obpuliti se:** болг. *опу́ля* (се), сврш. 'вытаращить(ся), вытаращить глаза' (БТР; Геров: *опу́льж*), диал. *упу́льъ съ* 'огрызнуться; вытаращиться' (В. Кювлиева и К. Димчев БД V, 94), *опу́ла съ* (Д. Евстатијева БД VI, 203), *упу́льъ съ* (Там же, 234), макед. диал. *опули се*, сврш. 'уствовать, вытаращить глаза; взглянуть' (И-С), сербохорв. *opūliti* 'ободрать' (FJA IX, 149: «из *o-pūliti*; само *pūliti*, похоже, не засвидетельствовано, будучи, к тому же, темного происхождения. Только в словаре Вука»), словен. *opūliti*, сврш. 'общипать, обдергать' (Plet. I, 845), также стар. *opuliti* (Hipolit), *opuliti* 'expilare, degrassari, spoliare' (Kastelec; Kastelec-Vorenc 648).

Сложение *ob-* и слабозасвидетельствованного гл. **puliti*, как будто сохранившегося в основном в сложениях, ср. еще русск. простореч. (составителю известно по Сталинграду 30-х гг.) *упу́литься* 'уствовать (на что-либо), вытаращиться'. Что касается этимологии **puliti*, целесообразно напомнить о возможной (экспрессивной) паре со звонким/глухим начальным согласным, которую **puliti* составляло бы с ранее рассмотренным и семантически близким **buliti* (см.). Ср. сходные сближения уже в: Н. И. Толстой. Избранные труды. I. Славянская лексикология и семасиология (М., 1997), 254.

***obpuriti (se):** сербохорв. *ōpuriti*, сврш. 'обжечь' (RJA IX, 150: «< *o-puriti*. Нет ни в одном словаре»), словин. *цор^uиџс* 'обмануть, ввести в заблуждение' (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1716), русск. диал. *опу́рить* 'обмочить мочой' (тихв., новг., опоч., пск., твер. Филин 23, 312; Даль³ II, 1781), *опу́риться* 'обмочиться мочой' (тихв., новг., опоч., пск., твер.), 'надорваться, надсадиться' (пенз.), 'переутомиться, перенапрячься' (теренг., ульян.), 'слишком тепло одеться, накутаться' (пенз.) (Филин 23, 312).

Сложение *ob-* и гл. **puriti*, сохранность которого в свободном виде для нас крайне проблематична (один из ряда наблюдаемых здесь случаев консервирующей функции префиксальных сложений)*. Допустимая изначальность значения 'обжечь, согреть' (ср. изоглоссную семантическую переключку сербохорв. и последнего из приводимых выше русск. диал. свидетельств), при переносной вторичности прочих отмеченных выше значений — 'надорваться, насадиться', 'обмочить(ся)', — делает возможной мысль о родстве с одним из и.-е. названий огня, обычно отраженным в слав. долгой ступени **pur-* (см.).

***obpuskněti / *obpyskněti:** ст.-слав. (др.-болг.) опжснѣти (от сего оубв опжснѣ канново, и на авела възирааше очима братоненавистныма, и на ничьсоже озлобившаго его ни оскръбивша възложити мышлѣаше длани оубийствьныа. Добрейшово ев. — Материалы староболгарского словаря), цслав. опоуснѣти ἀλλοιοῦσθαι, *mutari*, μαίνεσθαι, *furere* (Milk. LP; SJS), опоустнѣти *mutari* (Mikl. LP), русск.-цслав. *опуснѣти* 'измениться, исказиться' (1093. Радзив. лет., 128 об.; Дан. III, 19. Библ. Генн. 1499 г.; ВМЧ, Сент. 1–13, 154. XVI в. СлРЯ XI–XVII вв. 13, 54; Срезневский II, 699), *опустнѣти* 'измениться, осунуться' (1093. Лавр. лет., 225; Пов. бел. клоб., 295. XVII в. – XV в. Пов. Ап. Тир., 9. XVIII в. – XVII в. СлРЯ XI–XVII вв. 13, 55), *опыснѣти* 'измениться, исказиться' (1093. Лавр. лет., 225. Мин. XVI в. (М.). СлРЯ XI–XVII вв. 13, 58; Срезневский II, 701). — Похоже, что сюда же, в конечном счете, принадлежит производное имя сербохорв. редк., стар. *opusnost* ж. р. (RJA IX, 150: «слово с темным значением: только в примере: Bog odvraća tim takima za *opusnos* svoga puка. Kavañin 454^a»).

Это слово (или группа слов, см. также ниже) обращает на себя внимание затемненностью формы и значения. Что касается формы, можно сразу отнести за счет гиперкорректности написание через *ж* (выше), как и отдающее народной этимологией наличие в некоторых записях *-т-* (*опустнѣти*, с вторичной адидеацией к *пуст*). Не менее показательна и обнаруживаемая лексикографами приблизительность трактовки значения слова, взять хотя бы это уклончивое толкование 'измениться', 'исказиться' (в чем?), вплоть до случаев, совершенно оставленных без всякого толкования (Добрейшово евангелие). Впрочем,

* Бесприставочная форма русск. диал. *пурить* 'мочиться' приведена в: А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994, т. I, с. 672. — *Примеч. ред.*

отдельные элементы, уже наличествующие в лексикографических толкованиях, все же перспективны, поскольку могут быть развернуты в дальнейшем. Так, в этом отношении явно удачно 'осунуться' (СлРЯ XI–XVII вв., выше), потому что подсказывает верный путь конкретизации толкования значения: 'измениться в лице' — иначе говоря, 'исказиться гримасой (о лице)', 'исказиться от ярости, от злобы, от гнева', что в целом лучше соответствует греч. и лат. эквивалентам $\mu\alpha\iota\nu\epsilon\sigma\theta\alpha\iota$, *furere*, в противном случае, хотя и приводимым, но как бы остающимся втуне при прочтении слав. слова.

В сущности перед нами слово, проигнорированное славянской этимологией и этимологической лексикографией, что побуждает остановиться на нем подробнее, используя, как и в других подобных случаях, консервирующий эффект префиксального сложения (вне **ob-pyskněti* / **ob-puskněti* производящий гл. **pyskněti* / **puskněti* нам пока неизвестен). Тем не менее, резервы реконструкции имеются — как внутренние, так и внешние. Из них, например, важен случай др.-русск. *пысканити* 'насмехаться' (СлРЯ XI–XVII вв. 21, 82: *пысканити*. Насмехаться. *Пысканю* ('Еπιδύττω... Μυκτηρίζω... Εμφυκτηρίζω...)). Влх. Словарь, 407. XVII в.), интересный тем, что, за вычетом (при реконструкции) явно вторичного, вставного *-a-*, четко ориентирует нас на восстановление древней формы именно в виде **pyskn-*. Столь же существенно для нас свидетельство русск. диал. *опысконить* 'обнюхивать пищу и не есть', где проявляется также вставной гласный *-o-*, а значение, кажется, более точно может быть приравнено к современному грубопросторечному *воротить морду*, что в конечном счете согласуется изнутри с предлагаемой нами ниже этимологией. В том же, уточняющем, ряду и предлагаемая нами корректура толкования уже упомянутого позднерусского *пысканити*: не вообще 'насмехаться', как выше, а 'строить рожи'. Понятно, что мы расходимся в объяснении русск. диал. *опысконить* с Шахматовым, которому мы обязаны самим примером и который в духе своей концепции видел здесь связь с *пырскнуть* 'брызнуть, лопнуть' и в целом — сочетание с плавным *ar* (А. А. Шахматов. К истории звуков русского языка. Замена долгих плавных слоговыми и третье полногласие // ИОРЯС VII, 2, 1902, 343).

Резюмируя предварительно, приходим к более точной, как нам представляется, и во всяком случае более конкретной реконструкции формы и значения: **obpyskněti* 'измениться в лице', 'исказиться гримасой от ярости, злобы, гнева (о лице)',

‘строить рожи’, ‘воротить морду’. Предпринятые коррективы прямо подводят нас к выделению в корне глагола производящего имени **pyskъ* (см.) ‘морда’. Несмотря на все сомнения Махека (Machek² 503), слово **pyskъ* этимологически тождественно **pux-* (см. **puxati* ‘дуть, надувать’ и т. д.) и, как правильно в общем оценивает его сам Махек, «изначально вульгарно», откуда, в частности, и эта сохранность *sk*, не перешедшего в *x*. ‘Морда, рожа, гримаса’ получают осмысление как ‘нечто надутое’. Последнее, со своей стороны, подтверждают семантически более отдаленные, но этимологически родственные случаи, когда исходный признак ‘нечто надутое’ лексически реализовался не в названиях ‘морды’/‘рожи’/‘гримасы’, а в иных, как это мы наблюдаем в славянских и более отдаленных, неславянских соответствиях. Ср. (ниже) **ob-pъsk-nъ* ‘плотно прилегающий, обтягивающий’ (< ‘надутый’), откуда видимо, вторично **ob-pъsk-nŏti* (см.) ‘выскользнуть’, (< ‘гладкий’ < ‘надутый’) и, далее, этимологически родственное, при всей разнице лексико-семантической реализации, др.-инд. *puccha-* ‘хвост’ (sc. līc. ‘пышны й, распушенный хвост’!), этимологическое тождество которого со слав. **pyskъ* мы, вслед за Махеком, принимаем, равно как и заложенную в его наметках идею апофонии *-y-(ū) : -u-(ou) : -v-(ü)*. Это выражено у нас в допущении как варианта **ob-pusk-něti* (заглавного, выше), так и **ob-pъskn-*, ниже. Перспективность предлагаемой лексико-семантической реконструкции и этимологии — в получаемой при этом большей объяснительной силе, в том числе таких традиционно темных случаев, как сербохорв. стар., редк. *opusnost* (RJA, выше), которое следует понимать как ‘надменность’ ‘своего народа», от которого по этой причине отвернулся сам Бог.

***obpъrcati:** сербохорв. *oprcati* ‘поесть всласть’ («*prcati*, возможно, не засвидетельствовано и, к тому же, темное по происхождению. Только в словаре Вука: *oprcati*, jaгac козу, bespringen, соео». RJA IX, 108), *drcati* ‘покрыть козу (о козле)’ (Там же: «Только в словаре Вука»), *oprcati* ‘разодрать, разорвать’ (RJA IX, 108: «Нет ни в одном словаре... в Лике. Богданович»), диал. *oprcа* ‘покрыл (козел козу)’ (J. Динић. Речник тимочког говора. Додатак други 106 (484)), *oprcати* ‘жадно поесть’ (M. Вуичић. Рјечник говора Прошћeња 84).

Гл. на *-ati* (собственно, **obpъrcati* < **obpъrkati* в ю.-слав.), соотносительный с **obpъrciti* (см.).

Что касается этимологической природы этого исходного (плохо прослеживаемого) глагола **pъrkati*, то существенно отметить,

что он стоит в одном ряду с другими однокоренными, как правило расширенными, глагольными основами **pǝrk-*, **pǝrl-*, **pǝrsk-* 'брызгать' (> 'пачкать, марать'), с производной семантикой 'оплодотворять, bespritzen, bespringen'. Только эта вторичная, достаточно ранняя семантика дала своеобразное имя деятеля 'козел, «Bespringer»', отнюдь не наоборот, ср. еще Machek² 482; Трубачев. Дом. жив. 90 (в обеих названных работах приоритетность именно этой глагольной семантики сформулирована еще недостаточно четко).

***obpǝrsknǝti**: словен. *opésniti se* 'выскользнуть, улизнуть; сорваться, не удался; подходить к концу' (Plet. I, 833).

Родственно **obpuskněti* / **obpyskněti* (см.; там же этимология), при чередовании **pysk-* : **pusk-* : **pǝsk-*. Иначе, и менее вероятно, см. F. Bezljaj. Etimološki slovar sloven. jez. II, 251, где, во-первых, содержится устаревшее утверждение об изолированном («только словен.») статусе *opésniti se*, сюда же прилаг. *opésen* 'тесный, слишком узкий', а во-вторых, предлагается более сомнительная этимология из **o-pēs-* < и.-е. **poik-*. Противоречива там и семантическая характеристика.

***obpǝrsknǝ**: словен. *opésen*, *-sna*, прилаг. 'плотно прилегающий, обтягивающий': *opesne hlače* (Plet. I, 833).

Вместе с гл. **obpǝrsknǝti* (см.) родственно **obpuskněti* / **obpyskněti* (см.; там же этимология).

***obpǝytati**: ст.-слав. *опытати* φηλαφᾶν 'внимательно исследовать, проверить' (Супр., Ст.-слав. сл. 415; SJS; Mikl. LP; Sad.; Вост.), болг. *опытам*, сврш. 'попробовать, отведать, испытать' (БТР; Геров: *опытамь*), также диал. *опытам* (М. Младенов БД III, 125; Д. Евстатиева БД VI, 203), макед. *опита*, сврш. 'расспросить' (И-С), также диал. *опита* (Б. Конески. Материјали за преспанскиот говор од збирката на С. Н. Томић // MJ VIII, 2, 1957, 191), сербохорв. стар. *opítati* 'спросить; затребовать; осудить' (XV в., RJA IX, 59–60; Mažuranić I, 828–829), диал. *опыта*, сврш. 'спросить' (Ј. Динић. Речник тимочког говора 185), *опыта се* 'расспросить' (Н. Богдановић. Говори Бучума и Белог Потока 158), словен. *opítati*, сврш. 'опросить; допросить' (Plet. I, 835), ст.-слвц. *opýtat* 'попросить; спросить; запросить' (Histor. sloven. III, 343), слвц. диал. *opýtat* *sa* 'спросить' (Kálal 429: Sloven. Pravno v Turč. ž., вост.-слвц.; Kott VII, 119: *opýtat*, «Slov.»), в.-луж. *wo pytać* 'посетить; навестить, прийти в гости, проведать' (Трофимович 366; Pfuhl 846), н.-луж. *hopytaś* 'попробовать, испытать; отвеживать, вкушать' (Muka Sł. II, 287), ст.-польск. *opytać* 'спросить' (Sł. stpol. V, 623), 'расспросить, допросить' (Sł. polszcz.

XVI в., XXII, 68), польск. *opytać* 'расспросить, разведать; запросить, спросить' (Warsz. III, 821), также диал. *opytać* (Sl. gw. p. III, 460), словин. *vepātāc*, сврш. 'расспросить, спросить' (Lorentz Slovinz. Wb. II, 761), *цорѣтас* (Lorentz. Pomor. I, 627), др.-русск., русск.-цслав. *опытати* 'испытать, проверить' (Изб. Св. 1073 г., 129 об.), 'познать, постичь' (Златоостр., 4. XII в.), 'узнать, разузнать, разведать' (Прус. д., 54. 1518 г.), 'расспросить, допросить' (Суд. Ив. III, 21. 1497 г.) (СлРЯ XI–XVII вв. 13, 58–59; Срезневский II, 701), русск. диал. *опытать*, *опытывать* 'испытать, проверять' (борович., новг., Филин 23, 324), *опытáть* 'опросить' (смол., Филин 22, 189), ст.-укр. *опытати* 'опросить' (Словн. староукр. мови XIV–XV ст. 2, 90), укр. *опитáти* 'расспросить; найти, расспрашивая' (Гринченко III, 57; Укр.-рос. словн.), диал. *обпитáти* 'спросить (всех)' (Васильк. у., Гринченко III, 22), блр. *апытáць* 'опросить' (Блр.-русск.; Носов.: *опытáць*), диал. *апытáць* 'спросить' (Бялькевич 57), *апытáць* 'найти, расспрашивая' (Жывое слова 104), *опытáтысь* 'поздороваться за руку' (Жывое народнае слова 86).

Сложение *ob-* и **pytati* (см.). Достаточно древнее и широко распространенное слав. сложение **ob-pytati* перекликается с аналогичным сложением (сложениями) в лат. *op-puto* (*ob-putō*) 'подрезать', *amputo* (*amb-putō*) 'отрезать' (обычно довольствуются только сближением корней слав. **pytati* — лат. *putō*, *-āre* 'обдумывать, полагать; резать').

***обпрънѣти (se):** болг. *опъна*, сврш. 'натянуть' (БТР; Геров: *опънѣ*, *опнѣ*), макед. *опне* 'напрячь, натянуть', *опне се* 'напрячься, натянуться' (И–С), чеш. *oberpnouti* 'обернуть, завернуть, покрыть; охватить', *ornpouti* то же, *ornpouti se* 'опереться', др.-русск. *опнутися* 'стать, утвердиться' (Астрах. а., № 2788. Отп. 1653 г. СлРЯ XI–XVII вв. 13, 25), русск. диал. *обопнѣть* 'обтянуть' (Словарь русских донских говоров 2, 194), *абаннѣть* 'покрыть, обернуть' (П. А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины), *абпенѣть* (Там же, 29; Филин 22, 188: *обпенѣть* 'покрыть голову', зап.-брян.), *опянѣть* 'надеть платье' (стародуб., брян., Филин 23, 325), *опнѣться* 'отдохнуть' (Ярославский областной словарь (О–Пито) 51), 'остановиться, подождать' (Герасимов. Словарь уездного череповецкого говора 62; Иркутский областной словарь II, 92), *обопнѣться* 'одеться в верхнее платье' (Ярославский областной словарь (О–Пито) 17; Мельниченко 128), *обопнѣться* 'передохнуть, немного отдохнуть' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 342; Полный словарь сибирского говора 3, 231; Иркутский областной словарь II, 78; Словарь

Красноярского края 232), *обопнѹтьсѹ* 'споткнуться; сделать кратковременную остановку; неожиданно перестать говорить, запнуться; опереться' (Сл. Среднего Урала III, 26, 61; Филин 22, 189), *опынѹтьсѹ* 'очутиться, оказаться где-либо' (южн., зап., Даль; смол., курск., Филин 23, 323), укр. *обіпнѹтисѹ* 'покрыть, надеть; обтянуть' (Словн. укр. мови; Укр.-рос. словн.), ст.-блр. *опнути* 'завесить' (Скарына 1, 438), блр. *апынѹцца* 'очутиться, оказаться' (Блр.-русск.; Байкоў — Некраш. 34; Носов.: *опынѹцьца*), также диал. *апынѹцца* (Бялькевич 57), *опунѹцца* (Тураўскі слоўнік 3, 262), *абпнянѹцца* 'накрыться; прижаться, прильнуть' (Живое народнае слова 76), *абпаннѹць* 'покрыть, обернуть; завесить' (Слоўн. паўночн.-заход. Беларусі 1, 28, Янкова 10; Сцяшкoвiч, Грод. 7), *абпнянѹць* 'покрыть' (*Абпняні* платок, а то сьнег пайшбѹ. Матэрыялы для слоўніка 83), *обопнѹцца* (Тураўскі слоўнік 3, 232), *аппнянѹцца* 'покрыться' (Расторгуев, Северск.-блр. 139).

В принципе **обръпѹти* есть не что иное как инновационная замена первоначального **обрѹти*, **обръпѹ* (см.), но замена достаточно старая, замечательная, особенно в вост.-слав. регионе, своим семантическим и формально-фонетическим богатством вариантов, с передачей нулевой ступени гласного корня **обръ-пѹти* через Ø (нуль звука), *е*, *я*, далее — *ы* (русск. диал. *опынѹтьсѹ*, блр. *апынѹцца*), *у* (блр. диал. *опунѹцца* (выше), представляя собой яркий пример не только самой замены нулевой ступени, но и смещения двух рядов чередования (*е*-ряда и *й*-ряда). О блр. *апынѹцца* см. специально ЭСБМ 1, 140 (с допущением укр. влияния на *-ы*-формы).

***обръѣа:** русск. диал. *опѣа* ж. р. 'отходы при обмолоте и очистке зерна; мякина' (шенк., арх. Филин 23, 322).

Сложение *об-* и глагольной основы **рѣс-* (здесь **рѣс-ја*), в свободном виде не представленной ввиду повсеместного перехода более древнего слав. **рѣсти* в **рѣх-а-ти* (см.). Тем не менее, именно это как бы атематическое **рѣсти* представлено в «окаменелостях», каковыми являются настоящее сложение **обръѣа* и производное от него **обръѣина* (см. след.), образования очень локальные, но потенциально древние, как и широкораспространенное **рѣѣно* (см.), обычно неточно интерпретируемое как прич. от **рѣхати* (Фасмер III, 417, с литер.), в действительности же — прич. от забытого гл. **рѣсти* (в противном случае мы имели бы **рѣхапо*, а не **рѣѣно*).

***обръѣина:** русск. диал. *опѣина* ж. р. (удар.?) 'густая каша из ржаных, ячменных или овсяных высевок' (старорус., новг.

Филин 23, 322), *опшины* 'сор от ячменя, толченного в ступе' (Г. Потанин. Этнографические заметки на пути от г. Никольска до г. Тотьмы // ЖСт. IX, 1899, II, 227).

Производное с суфф. *-ina* от **obрьša* (см.; там же подробнее об образовании).

-
- ¹ Принятые здесь и далее сокращения регулярно употребляются в практике ЭССЯ (Вып. 1–23–. М., 1974–), к которому (за раскрытием) и отсылаем.
 - ² См. Л. И. Ройзензон. Многоприставочные глаголы в русском и других славянских языках. Самарканд, 1974, где собран большой материал и разнообразные наблюдения, ср. с. 151 — о полипрефиксации в ст.-слав. *възненавидѣти*, *ненавидѣти* как условия сохранения исходного **навидѣти*; с. 209 — о древней и поздней литературной традиции, с большим количеством полипрефиксации именно в последней, как и в живой разговорной речи, но ср. также с. 222; с. 225 — об особенной насыщенности полипрефиксальными глаголами русской народнопоэтической речи, русского фольклора.

Zur Syntax von Fonvizins «Briefen aus Frankreich» (1777–1778)

Fonvizins Briefe aus Frankreich (1777–1778) sind nicht nur ein bedeutendes literarisches und zeitgeschichtliches Dokument, sondern auch ein vom sprachlichen Standpunkt aus wichtiger Text¹. Wir haben die Hypotaxe dieser Briefe untersucht und führen im folgenden Statistiken für alle Nebensätze mit einigen Kommentaren an². Im Rahmen eines kurzen Artikels können nur ganz wenige Beispiele gegeben werden.

Gesamtstatistik der Nebensätze in Fonvizins
«Briefen aus Frankreich»

Tabelle I

Typ	an die Schwester	an Panin	Frequenz gesamt
Relativsätze	182	215	397
Inhaltssätze	232	194	426
Temporalsätze	26	21	47
Konditionalsätze	26	35	61
Konzessivsätze	17	10	27
Konsekutivsätze	4	3	7
Kausalsätze	27	28	55
Finalsätze	17	24	41
(unvollständige) Vergleichssätze	21	11	32
Modalsätze	42	53	95
Restriktivsätze	2	6	8
Lokalsätze	1		1
Nebensätze gesamt	597	600	1197

Die Gesamtstatistik (Tabelle 1) zeigt, daß die Briefe rund 1200 Nebensätze enthalten. Inhaltssätze und Relativsätze überwiegen bei weitem. Wie bekannt, sind die Briefe zum Teil an Verwandte (an Fonvizins Schwester, Feodosija Ivanovna Argamakova) und zum Teil an General Graf Petr Ivanovič Panin gerichtet. Es erhebt sich die Frage, ob sich die ersteren Briefe von den zweiten auch rein syntaktisch unterscheiden oder lediglich stilistisch, wegen eines mehr vertrauten, beziehungsweise mehr offiziellen Adressaten.

Diese zwei Gruppen von Schreiben eignen sich sehr gut für einen Vergleich, da sie zur selben Zeit entstanden, weitgehend denselben Inhalt haben und sich annähernd im Umfang decken. Während sich die beiden Gruppen merkbar auf lexikalischer und phraseologischer Ebene unterscheiden, sind bei der Syntax nur geringfügige Abweichungen festzustellen (s. Tabelle 1).

In den Briefen an die Schwester überwiegen beträchtlich Inhaltssätze vor den Relativsätzen, in den Briefen an Panin ist es umgekehrt. In der familiären Atmosphäre ist eben mehr Platz für den Ausdruck von Modalität (wie **думаю, что, жалеет, что**) als in offiziellen Schreiben. Sonst ist die Distribution der einzelnen Nebensatztypen annähernd gleich, ebenso wie die Position des Nebensatzes zu seinem Matrixsatz. Es herrscht durchgehend Postponierung vor, aber bei den Temporal- und Konditionalsätzen überwiegt die Präponierung.

Tabelle 2

Relativsätze in Fonvizins «Briefen aus Frankreich»

Тип	an die Schwester	an Panin	Frequenz gesamt
который	92	108	200
кой	11	19	30
что	34	34	68
Что же [(при)надлежит] до — то	5	2	7
Что же касается до — то		2	2
что in freien Relativsätzen	5	9	14
кто	6	10	16
каков	3	2	5
какой	6	7	13
где	16	13	29
куда	2	3	5
откуда	2	1	3
когда		4	4
как		1	1
Relativsätze gesamt	182	215	397

Nur in den Briefen an Panin kommen auch temporale Relativsätze mit **когда** vor (s. Tabelle 2) und als Korrelate **тот же самый** und **сей** (zu **который** und **кой**).

Bemerkenswert ist folgende Konstruktion, die in beiden Briefgruppen belegt ist: Es werden zwei oder mehrere Nebensätze mit **который** aneinandergereiht, wobei der letzte oft mittels der koordinierenden Konjunktion **и** angefügt wird, wenn sie sich auf das gleiche Antezedens beziehen. Solche **который**-Ketten kommen seit den ersten größeren Übersetzungen aus dem Französischen in das Russische vor, also seit den dreißiger Jahren des 18. Jh.³ Fonvizin verwendet diesen genetischen Gallizismus fünfmal in den Briefen an die Schwester und sechsmal in jenen an Panin, z. B.: «К сему ободрен я и последним письмом вашим, *которое* имел я честь получить от 22 февраля и из которого, к сердечному моему удовольствию, вижу, что продолжение моих уведомлений вам угодно» (472), weiters 482; 473 (zweimal mit **какой** und **каков**), 474; dreigliedrig 486; an die Schwester 415 (zweimal), 424, 432, 438. Es kommen auch bei den Inhaltssätzen **что**-Ketten und **как**-Ketten vor. Nur in den Briefen an Panin findet sich der Ausdruck **что же касается до — то**.

Tabelle 3

Inhaltssätze in Fonvizins «Briefen aus Frankreich»

Typ	an die Schwester	an Panin	Frequenz gesamt
что	159	136	295
чтоб	21	14	35
как	15	13	28
будто	2	3	5
будто бы		1	1
что будто		1	1
ли	5	10	15
кто	6		6
каков	2	2	4
какой	17	6	23
сколь	2	5	7
сколько	2	1	3
где	1	1	2
когда		1	1
Inhaltssätze gesamt	232	194	426

Bei den Inhaltssätzen (Tabelle 3) finden sich einleitendes **будто бы, что будто** und **когда** nur in den Briefen an Panin, während **кто** ausschließlich in Briefen an die Schwester vorkommt. Weiters fällt auf, daß Inhaltssätze mit **какой** in den letzteren dreimal so oft auftreten. Die Bezugswörter, von denen die Inhaltssätze abhängen, sind in beiden Gruppen ziemlich ähnlich.

Ketten mit der Konjunktion **что** treten in den Briefen an Panin neunmal auf (darunter eine viergliedrige) und an die Schwester achtmal, einschließlich einer sechsgliedrigen Kette, wobei alle Glieder von **увидел** abhängig sind, vgl.: «Я увидел, что во всякой земле худого гораздо больше, нежели доброго, что люди везде люди, что умные люди везде редки, что дураков везде изобильно и, словом, что наша нация не хуже ни которой и что мы дома можем наслаждаться истинным счастьем, за которым нет нужды шататься в чужих краях» (449).

Tabelle 4

Temporalsätze in Fonvizins «Briefen aus Frankreich»

Typ	an die Schwester	an Panin	Frequenz gesamt
когда	9	9	18
как	8	2	10
как скоро	8	7	15
лишь только	1	1	2
пока		1	1
прежде нежели		1	1
Temporalsätze gesamt	26	21	47

Bei den Temporalsätzen (s. Tabelle 4) kommen in den Briefen an Panin zusätzlich die Konjunktionen **пока** und **прежде нежели** vor.

Tabelle 5

Konditionalsätze in Fonvizins «Briefen aus Frankreich»

Typ	an die Schwester	an Panin	Frequenz gesamt
ежели	2	3	5
если	7	24	31
если б	5	5	10
буде	4	3	7
коли	8		8
Konditionalsätze gesamt	26	35	61

Ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Briefgruppen zeigt sich bei den Konditionalsätzen (Tabelle 5) im Gebrauch der Konjunktionen: An Panin wendet sich Fonvizin hauptsächlich mit neutralem **если** (24x), während volkstümliches **коли** überhaupt nicht belegt ist; in den Briefen an die Schwester kommt **если** siebenmal und **коли** achtmal vor.

Tabelle 6

Konzessivsätze in Fonvizins «Briefen aus Frankreich»

Typ	an die Schwester	an Panin	Frequenz gesamt
хотя	3	5	8
хотя и	3	1	4
что ни	2	1	3
кто ни	2		2
какой ни	1	1	2
как ни	2	1	3
сколько ни	1		1
сколько ни	1	1	2
куда ни	1		1
когда ни	1		1
Konzessivsätze gesamt	17	10	27

Bei den Konzessivsätzen (s. Tabelle 6) überwiegen in den Briefen an die Schwester Konstruktionen mit **что/кто/как ... ни** vor **хотя (и)**, in den Briefen an Panin ist dieser Typ seltener und nicht so vielfältig, dafür kommt **хотя (и)** doppelt so oft vor.

Konsekutivsätze kommen in beiden Briefgruppen nur mit der zusammengesetzten Konjunktion **так что** vor, viermal an die Schwester, dreimal an Panin.

Tabelle 7

Kausalsätze in Fonvizins «Briefen aus Frankreich»

Typ	an die Schwester	an Panin	Frequenz gesamt
потому что	15	8	23
по тому одному, что	1		1
для того, что	6	3	9
для того что		2	2

Тип	an die Schwester	an Panin	Frequenz gesamt
оттого, что		1	1
за то, что	1	1	2
причина/причиною, что		5	5
что	2		2
как	2	8	10
Kausalsätze gesamt	27	28	55
ибо	14	21	35

Bei den Kausalsätzen (Tabelle 7) ist in den Briefen an die Schwester **потому что** die häufigste Konjunktion, **как** ist lediglich zweimal belegt. In den Briefen an Panin finden sich diese beiden Konjunktionen gleich oft. Nur in den Briefen an die Schwester kommt die Konjunktion **что** in kausaler Bedeutung vor; dieser Gebrauch ist als umgangssprachlich zu werten. Die Verwendung von **что** in dieser Bedeutung war an bestimmte Bedingungen geknüpft: Das Antezedens enthält eine Bewertung und der postponierte Kausalsatz mit **что** die Begründung, vgl.: «Не взыскивай на мне, *что* я тебе не описываю каждого дня и не веду журнала порядочного» (436).

Die Konjunktion **ибо** 'denn' kann sowohl subordinierende als auch koordinierende Sätze einleiten; diese kommen in den Briefen an Panin häufiger vor.

Der Ausdruck **причина/причиною, что** findet sich nur bei den Kausalsätzen in den Briefen an Panin, ebenso wie **оттого, что** und **для того что**, z. B.: «Сей малый вояж стал *причиною, что* я так долго не писал к вашему сиятельству и *что* на сих только днях получил я милостивое письмо ваше от 8 января, потому что оно искало меня в Монпелье и по провинциям» (466).

Tabelle 8

Finalsätze in Fonvizins «Briefen aus Frankreich»

Тип	an die Schwester	an Panin	Frequenz gesamt
дабы		5	5
чтоб	14	19	33
для того только, чтоб	2		2
с тем, чтоб	1		1
Finalsätze gesamt	17	24	41

In beiden Briefgruppen herrschen bei Finalsätzen (Tabelle 8) solche mit der Konjunktion **чтобы** (+ Infinitiv, ohne Korrelat im Matrixsatz) vor; **дабы** ist nur in den Briefen an Panin belegt, z. B.: «...; а последние собраны были для формы, *дабы* соблюдена была в точности наружность земского суда, — ...» (461).

Tabelle 9

(Unvollständige) Vergleichssätze in Fonvizins
«Briefen aus Frankreich»

Typ	an die Schwester	an Panin	Frequenz gesamt
как	6	2	8
так — как	5	1	6
так же — как	1		1
так/как	1		1
такой/как	1		1
такой — как		1	1
такой — как бы		1	1
так же как и	1		1
равно как и		1	1
нежели	6	4	10
будто бы		1	1
(unvollständige) Vergleichssätze gesamt	21	11	32

Vergleichssätze sind beträchtlich häufiger in den Briefen an die Schwester, aber die zusammengesetzte Konjunktion **равно как и** und **будто бы** kommen nur in den Briefen an Panin vor (Tabelle 9), vgl.: «Всякий, увидясь с ними, взглянет на них ласково, за визит пришлет карточку, *равно как и* дамы наши отдают женам их визиты; ...» (476); «Все сии черти идут пред телом Христовым с превеликим ревом и пятятся назад, *будто бы* сила святых тайн от себя их отгоняет» (485).

Die Modalsätze des Grades und Maßes sowie der Art und Weise (Tabelle 10) zeichnen sich durch viele verschiedene Modelle aus, die z. T. niedrige Frequenz besitzen. Am regelmäßigsten kommen in den Briefen an die Schwester distantes **так — что** und **такой — что** vor. Die Briefe an Panin enthalten zusätzlich **тем больше, что, тем — чем, чем — тем**, distantes **тем — что** und **постольку/поскольку**, z. B.: «*Чем* дороже стала ему у двора сия привилегия,

тем для народа тягостнее» (486); «Знатнейшие светские особы считают бытие свое на свете *постольку, поскольку* у двора приятно на них смотрят, ...» (461f.). Diese zusammengesetzte Konjunktion ist neueren Ursprungs, s. u.

Tabelle 10

Modalsätze in Fonvizins «Briefen aus Frankreich»

Typ	an die Schwester	an Panin	Frequenz gesamt
так — что	12	4	16
так/что	2		2
такой — что	8	7	15
такой/что	2		2
таков/что	1	2	3
столько — что	1	1	2
столько/что	1		1
столь — что	1	2	3
до того/что	3	1	4
тем больше, что		1	1
тем напротив, что	1		1
тем/что	2	6	8
тем — что		4	4
тем — чем		1	1
чем — тем		2	2
так/чтоб	1	1	2
таков/чтоб	1		1
столько — чтоб	1	1	2
чтоб не	1	1	2
до того/чтоб		2	2
на то — чтоб		1	1
столько (же) — сколько	1	5	6
столь — сколько	1		1
столько — сколь		2	2
столь — сколь		2	2
постольку/поскольку		1	1
сколько ohne Korr.		4	4
как	2	2	4
Modalsätze gesamt	42	53	95

Tabelle 11

Restriktivsätze in Fonvizins «Briefen aus Frankreich»

Typ	an die Schwester	an Panin	Frequenz gesamt
не иное что, как	1	1	2
как что		1	1
как если		2	2
как + Komparativ		2	2
кроме того, что	1		1
Restriktivsätze gesamt	2	6	8

Restriktivsätze (Tabelle 11) kommen selten vor und unterscheiden sich in den beiden Briefgruppen: An die Schwester wird einmal **кроме того, что** verwendet, an Panin die zusammengesetzten Konjunktionen **как что, как если**, vgl.: «Можно сказать, что в России дворяне по провинциям несказанно лучше здешних, *кроме того, что* здешние пустомели имеют наружность лучше» (423).

Schließlich findet sich ein Lokalsatz mit **откуда** in den Briefen an die Schwester.

Damit beenden wir den kleinen Überblick über die Unterschiede in der Hypotaxe dieser beiden Briefgruppen. Zusammenfassend kann man feststellen, daß diese Unterschiede recht geringfügig sind.

Noch erstaunlicher ist die Tatsache, daß sich die Hypotaxe in Fonvizins Briefen gegenüber der Hypotaxe in den ersten größeren Übersetzungen aus dem Französischen von A. Kantemir «Разговоры о множестве миров» (1730) und Trediakovskij «Военное состояние Оттоманской империи» (1737) kaum verändert hat⁴. Auffallend ist lediglich die beträchtlich höhere Frequenz (36mal) von Substantiven als Stützwörter von Inhaltssätzen, wie **ответ, что** (416), **спору нет, что** (420), **свидетель, что** (444), usw. Weiters kommt in diesen Übersetzungen **если** nicht vor, sondern **естьли** und **ежели**. **Понеже** ist die häufigste Kausalkonjunktion in den «Разговоры», das von Fonvizin nicht gebraucht wird. Dieser Autor verwendet in Proportionalsätzen **чем — тем** und nicht mehr **что — то** wie in den genannten Übersetzungen. Die zusammengesetzte Konjunktion **так же как и** kommt bei Fonvizin zur Einleitung von Vergleichssätzen hinzu, ebenso wie das Paar **постольку/поскольку** in Modalsätzen.

-
- ¹ Zitiert nach der Ausgabe: *Д. И. Фонвизин. Собрание сочинений*. М.; Л., 1959, т. 2, с. 412–495.
 - ² Alle Statistiken verfaßte Mag. G. Sauberer, wofür ich ihr herzlich danke. In die Statistiken über die Briefe an Panin sind drei Briefe an den Diplomaten Jakov Ivanovič Bulgakov eingeschlossen, die ebenfalls offiziellen Charakter haben und aus Frankreich stammen.
 - ³ Vgl. *G. Hüttl-Folter. Syntaktische Studien zur neueren russischen Literatursprache. Die frühen Übersetzungen aus dem Französischen*. Wien; Köln; Weimar, 1996, S. 39–41.
 - ⁴ *S. G. Hüttl-Folter. Syntaktische Studien ...*, vgl.: Gesamtstatistiken für diese beiden Texte, S. 21 und 23.

Г. Хюттль-Фольтер

О синтаксисе
«Писем из Франции» Фонвизина

Дается статистическое обозрение всех придаточных в «Письмах из Франции» Фонвизина с комментариями. Сопоставляются письма к сестре Фонвизина с письмами к П. И. Панину. Синтаксические различия между этими текстами оказались очень незначительными.

3 балгарска-беларускіх моўных паралеляў

Адной з улюбёных тэм М. Талстога на ўсім працягу яго навуковай дзейнасці быў пошук паўднёvasлавянска-ўсходнеславянскіх лексічных адпаведнікаў. далёкі ад таго, каб на падставе некалькіх выяўленых эфектных ізаглас рабіць рашучыя высновы пра магчымыя міжславянскія этнагенетычныя сувязі ў старажытную эпоху, ён лічыў, што кожная такая знаходка на крок прыбліжае нас да ўзнаўлення рэальнага малюнка адносін продкаў сучасных усходніх і паўднёвых славян у праславянскі і пазнейшы перыяды. Менавіта такую мэту ставіў ён перад сабой, даследуючы ў серыі публікацый балгарска-рускія ізалексы¹.

Шэраг паўднёvasлавянска-беларускіх, у тым ліку балгарска-беларускіх (палескіх) лексічных паралеляў былі ўключаны ў вядомую прадмову М. Талстога як рэдактара зборніка «Лексика Полесья», што вывеў рэгіянальную палескую праблематыку на агульнаславянскі ўзровень². У далейшым гэтая праблематыка актыўна пачала распрацоўвацца як у Беларусі, так і за яе межамі³. У працяг гэтай дабратворнай і, як нам здаецца, плённай традыцыі ніжэй прапануюцца некаторыя вынікі нашых росшукаў на полі, першае зерне ў якое было кінута дбайнай рукою незабыўнага Мікіты Ільча Талстога.

Ужо з першага знаёмства з балгарскай мовай у студэнцкія гады на аддзяленні славянскай філалогіі Ленінградскага ўніверсітэта мяне не пакідала пастаяннае адчуванне таго, што многія зусім звычайныя балгарскія словы я ўжо калісьці чуў, толькі дзе і калі не ўдавалася ўспомніць. Калі пазней захацелася прааналізаваць гэтае адчуванне з навуковага пункту погляду, то міжволі прыйшла думка аб тым, што шмат якія з гэтых слоў патэнцыяльна могуць існаваць у беларускай мове, толькі недзе на перыферыі асноўнага лексічнага ядра, замацаванага ў яе літаратурным варыянце. І сапраўды, вельмі хутка высветлілася, што такая перыферыя ў храналагічным і арэальным плане змяшчае вялікую колькасць архаізмаў і рэгіяналізмаў, якія можна лічыць унутрымоўнымі сінонімамі агульнаўжывальных лексем, што займаюць цэнтральнае

месца і характарызуюць тып пэўнай літаратурнай мовы. І сярод гэтых архаізмаў, рэгіяналізмаў і нават новатвораў аказалася многа адпаведнікаў для тыповых балгарскіх (паўднёvasлавянскіх) лексем, адны з якіх займаюць у балгарскай мове месца ў цэнтры, а другія — на перыферыі. Ствараецца ўражанне, што шмат у чым дыферэнцыяцыя лексічнага складу сучасных славянскіх моў ёсць вынік актуалізацыі розных лексічных сродкаў, поўны набор якіх існуе, існаваў на пэўным этапе ці патэнцыяльна магчымы ў кожнай славянскай мове.

І гэта добра відаць на ўжо вядомых прыкладах. Узяць хаця б рэдкае беларускае *газ* 'брод' (Лепельшчына), адзначанае ў «Расійска-крыўскім (беларускім) слоўніку» В. Ластоўскага (Коўна, 1924), на дакладную адпаведнасць якога агульнапашыраным паўднёvasлавянскім формам (апошнія трактуюцца аўтарамі «Балгарскага этымалагічнага слоўніка» як выключна паўднёvasлавянскія) звярнуў увагу А. М. Трубачоў⁴. Пэўны недавер да сведчанняў В. Ластоўскага, які грунтаваўся на звышпурыстычным характары названага слоўніка і адзінкавай фіксацыі слова, можа быць зняты пасля таго, як слова было запісана ў іншым рэгіёне, параўн.: *газа*, -ы, ж. Шырокі брод на рацэ ці возеры (в. Старыя Грамыкі)⁵. Ці балгарскае *викам* 'крычаць', якое ў «Балгарскім этымалагічным слоўніку» разглядаецца як выключна паўднёvasлавянскае і якое нечакана знаходзіць сабе дакладны адпаведнік у магілёўскім *вікаць*⁶.

Ніжэй прыводзяцца рэдкія беларускія адпаведнікі балгарскім лексемам, якія, як нам здаецца, падмацоўваюць выказаны вышэй тэзіс. У большасці выпадкаў прыведзеныя пары слоў не з'яўляюцца т. зв. сепаратнымі ізалексамі, што не павінна змяншаць іх каштоўнасць. У рэшце рэшт вялікая колькасць сепаратных ізаглос павінна характарызаваць толькі тыя славянскія прадьялекты, якія былі бліжэй да перыферыі арэальнай структуры праславянскай мовы, чаго нельга з упэўненасцю сцвярджаць адносна моўных продкаў балгар, а тым больш беларусаў. Хутчэй, наадварот, апошнія лакалізаваліся бліжэй да цэнтра праславянскай моўнай прасторы, што дае падставы меркаваць аб пераважнай неэксклюзіўнасці балгарска-беларускіх ізалекс. Гэта ў значнай ступені адносіцца і да пазнейшай арэальнай структуры славянскага моўнага свету, дзе «сярэдзіннае» становішча беларускай мовы, як паказалі П. Бузук і І. Лекаў, спрыяла захаванню шматлікіх старых і ўсталяванню рознабаковых новых сувязей з астатнімі славянскімі мовамі.

Зыходзячы з гэтага пэўную каштоўнасць маюць і лексіка-граматычныя паралелі, асабліва тыя, якія паказваюць на магчымыя тэндэнцыі развіцця, што найбольш поўна рэалізавалася (= актуалізавалася) у балгарскай мове. С. Талстая на палескім матэрыяле

ўжо прадэманстравала пачатковыя стадыі працэсаў, што пазней прывялі да актывізацыі т. зв. *да*-канструкцый у паўднёvasлавянскіх мовах. Параўн. прыклад з картатэкі слоўніка Тураўшчыны, дзе гэтыя тэндэнцыі выступаюць зусім выразна: *Да* воны прышлі *да* бралі той хлеб, а маці кажэ *да* дзецям жэ не будзе чо́го (в. Бярэжцы). Гэтыя факты пераклікаюцца і з гістарычнымі сведчаннямі, параўн.: ідыя к’я Новоугородку велить да обесить Воидила (31 Увар), якія Я. Карскі лічыў узнікшымі пад царкоўнаславянскім уплывам⁷. Адзін з напрамкаў граматыкалізацыі прыназоўніка дэманструе запіс з той жа картатэкі: Перэпіваю бочку жыта, шоб не була *од* мужыка́ біта (в. Старажоўцы, з вясельных пажаданняў). Яшчэ раней на высокую ступень падабенства з паўднёvasлавянскімі мовамі зафіксаванай І. Насовічам формы тыпу *пó-високій* і падобных звярнуў увагу Л. Цвяткоў, якія, на яго думку, «вельмі падобны на баўгарскую вышэйшую ступень і якія маюць значэнне некаторага узмацнення якасці супроць звычайнай нормы: *пó-високій* Н. — высакаваты (нават і з *и*, як у баўгарскай, але, магчыма, з *и* не фонэтычным, а пераймальным пад уплывам слова *висець*)»⁸. Актывізацыя пэўных марфалагічных сродкаў магла адбывацца і ў больш старажытныя часы, не пакінуўшы потым бачных слядоў у літаратурнай ці народнай мове, параўн. заўвагу Я. Карскага адносна падвоенай прыназоўнікавай формы ў старабеларускай мове, аналагічнай адпаведнай балгарскай з’яве: «с в старинных памятниках иногда бывает в удвоенном виде: сѣс крыницами (гр. 1433 г.), а сѣс Москвичи (гр. 1405 г.), а сс Еикша народилса Довоинѣ (67 б Крас.)...»⁹. Пералік такіх з’яў можна прадоўжыць. Істотнае тут тое, што актывізацыя таго або іншага моўнага сродка фактычна з’яўляецца інавацыйным працэсам, які мае большы або меншы арэал пашырэння, хаця сама па сабе першапачатковая форма («матэрыял») можа быць дастаткова старажытнай.

Такім чынам, ствараецца дынамічны ў храналагічным і шматфарбны ў прасторавым плане малюнак, зыходны набор фарбаў для якога быў больш або менш ідэнтычны ва ўсім славянскім свеце. Пераклічка паміж рознымі фрагментамі гэтага малюнка (г. зн. падабенства інавацыйных працэсаў) не павінна быць цалкам выпадковай.

Пяройдзем да канкрэтнага матэрыялу, які ілюструе выказаныя меркаванні. Зразумела, што ў гэтым выпадку гутарка не ідзе абавязкова аб «праславянскіх» інавацыях. Гэта могуць быць зусім познія інавацыі, якія ахапілі цэлы шэраг славянскіх моў, а тэрыторыя іх распаўсюджання выступае ў выглядзе суцэльнага масіву ці асобных астравоў; важна, што яны дэманструюць беларуска-балгарскія моўныя сувязі. Акрамя таго, для нас маюць значэнне як дыялектныя факты з пэўнай геаграфічнай прывязкай, так і факты,

зафіксаванья ў канкрэтных тэкстах (гістарычных, літаратурных і г. д.), што належаць беларускай і балгарскай мове, але істотна, каб гэта не былі выпадкі беспасрэднага запазычвання.

Звернемся спачатку да матэрыялаў названага вышэй слоўніка В. Ластоўскага. Можна меркаваць, што прыведзены раней прыклад — не адзіная выпадковая паралель, што аўтаматычна выклікае недавер да яе. І сапраўды, тут выяўляюцца зусім нечаканыя адпаведнікі «звычайных» балгарскіх слоў.

бязочлівы 'нахабны' (гл. *бязочліва*, пад рус. *наглый*) — балг. *безочлів* 'тс'; паводле «Этымалагічнага слоўніка славянскіх моў»¹⁰, падобныя ўтварэнні вядомы шэрагу славянскіх моў, але дакладнае супадзенне беларускай і балгарскай формаў уражвае;

бэляг 'чыстая папера, папера з подпісью бяз тэксту' (пад рус. *бланк*) — балг. *белег* 'знак, пазнака'; у апавяданні В. Ластоўскага «Лябірынт» (Спадчына, 1990, № 4, с. 5) значэнне слова больш блізкае да балгарскага: Хоць на бэлягу выразна было пазначана: «Выслана зь Вільні, прынята ў Полацку» (гутарка ідзе аб тэлеграме). Паводле «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы» (Мн., 1982, вып. 1, с. 265) са значэннем 'эмблема' слова фіксуецца толькі ў «Аповесці аб Трышчане» (XVI ст.) і трактавалася А. Брукнерам як сербізм. Паводле «Балгарскага этымалагічнага слоўніка» — «заемка от първобългарски», г. зн. прыйшло з мовы цюркаў-булгар і распаўсюдзілася на паўднёvasлавянскай тэрыторыі. Ці не змешваюцца тут выпадкова розныя словы (названы цюркізм і ням. *Beleg* 'дакумент, квітанцыя, распіска')?

каўга 'бойка, бітва': Дасварыліся да каўгі... За вечнай каўгой німа супакою ў хаце (Дрыс. Себежск. пав., гл. пад рускім словам *брань* у названым слоўніку) — балг. *кавга* 'сварка'. Цікава, што гэты вузкі рэгіяналізм у беларускай мове мае дэрываты: *каўжыць*, *каўгануць*: Каўгані яго ў патыліцу. Адносіны паміж названымі словамі — цалкам звычайным балгарскім і рэдкім беларускім — застаюцца нявысветленымі, асабліва калі прыняць персідскае ці арабскае (праз турэцкую) паходжанне балгарскага слова, як гэта падае «Балгарскі этымалагічны слоўнік».

З дыялектных запісаў можна прывесці некалькі паралеляў да шырока вядомых ці рэдкаўжывальных балгарскіх слоў, якія сведчаць аб аднолькавых словаўтваральных і семантычных інавацыйных працэсах:

прадавачка 'прадаўшчыца': Прадавачка паказала тавар (Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Мн., 1984, т. 4. с. 72, зафіксавана ў беларускіх гаворках на тэрыторыі Літвы) — балг. *продавачка* 'тс.' Выказваецца думка, што беларуская форма ўзнікла як калька літ. *pardavėja* 'тс.', па-

ралельная да *kasēja, siuvēja* — бел. *капачка, швачка* і пад. (Baltistica, 1990, t. XXVI (2), p. 167);

калінка — ласкавы зварот да жанчыны ў в. Вялікія і Малыя Аўцюкі Калінкавіцкага р-на (параўн.: У. Ліпскі. Аўцюкоўцы. Мн., 1995) — балг. *калінка* ‘паважлівая назва залвіцы ці іншых родных мужа з боку нявесткі’; паводле «Балгарскага этымалагічнага слоўніка» — «традиционните названия на малките зълви: калина, малина, ябълка...».

Адной з супольных балгарска-беларускіх інавацый з’яўляецца жаночы род назоўніка (фактычна — закасцяналай формы прыметніка) *войска*: *свая войска*, адзначаны ў Дубровенскім, Браслаўскім, Клічаўскім і інш. р-нах (Нарысы па беларускай дыялекталогіі. Мн., 1964, с. 152) — балг. *войска*, паводле «Балгарскага этымалагічнага слоўніка»: «В южнославянските езици прилаг. е от ж. р., а в останалите — от ср. р.».

Паўную колькасць паралеляў да шырокаўжывальных балгарскіх слоў можна знайсці ў гістарычных і мастацкіх тэкстах рознага часу:

руснак (этнонім, палітонім): а литва руснаков аж до ночи гонили, били, секли и имали (Летапісец Вялікага Княства Літоўскага і Жамойцкага, параўн.: Спадчына, 1992, № 5, с. 94) — балг. *руснак* ‘рускі’. Этнонім *руснак* шырока ўжываўся на Украіне: «далее къ Литве — *кунь, суль* [вымаўляецца]; а по ту сторону Днепра, у Руснаковъ: *кзунь, конь, кюнъ* (как французское *и*) и чисто *кинъ*» (А. Павловский. Грамматика малороссийскаго наречія... СПб., 1818, с. 11);

жалэзніца ‘чыгунка’: несецца палатно яшчэ нескончонай жалэзніцы (Про багацтво да бедносьць. Жаньева, 1881, с. 3) — балг. *железница* ‘тс.’. Вядома, што такі наватвор актуалізаваўся ў шэрагу славянскіх моў (укр., чэш., серб. і інш.), аднак у беларускай літаратурнай мове замацаваўся іншы тэрмін;

войнік: чытае войнік (А. Вялюгін. На Плошчы Незалежнасці // Літаратура і мастацтва, 1994, 29 красавіка) — балг. *войнік* (вядома таксама ў сербскай і славенскай мовах).

малка ‘трохі’: абдурў мяне малка адзін прайдзісвет (Літаратура і мастацтва, 1969, 7 сакавіка) — балг. *малка* ‘мала; трохі’ (таксама харвацкае чакаўскае);

абяліць ‘прамовіць (?)’: Арсень маўчаў. — Каб больш і следу тут не палажыў! Арсень зноў ні ачарніў, ні абяліў. На гэтым іхняя першая стрэча й першая спрэчка й скончылася (Лукаш Калюга. Творы. Мн., 1992, с. 425) — балг. *обеля зъб* ‘тс’. Балгарскі фразеалагізм адлюстроўвае, магчыма, зыходны стан;

правіць ‘рабіць’: Ён усю сялянскую работу правіў (Полымя, 1993, № 1, с. 165.) — балг. *правя* ‘тс’;

глуна́к 'дурань': Як глупак я чакаў яе да поўначы... (Пагона, 1993, 18–24 чэрвеня) – балг. *глуна́к* 'тс'. Слова сустрэлася ў перакладзе з польскай мовы, што магло б сведчыць аб уплыве польск. *glupi* 'дурны'.

Такім чынам, рэдкія беларускія паралелі да «звычайных» балгарскіх слоў і выразаў дазваляюць па-новаму зірнуць на традыцыйную праблему балгарска-беларускіх моўных дачыненняў.

-
- ¹ Гл. апошнюю публікацыю з гэтай серыі, дзе даецца спасылка на папярэднія публікацыі: *Н. И. Толстой*. Несколько болгарско-русских лексических соответствий // *Dialektologia Slavica*: Сборник к 85-летию С. Б. Бернштейна. М., 1995, с. 36–39.
 - ² *Н. И. Толстой*. Об изучении полесской лексики (Предисловие редактора) // *Лексика Полесья*. М., 1968, с. 12–18.
 - ³ *Г. А. Цыхун*. Изучение болгарско-восточнославянских языковых связей: некоторые итоги и перспективы // *Советская болгаристика: Итоги и перспективы*. М., 1983, с. 313–317; *Р. Павлова*. Вивчення болгарсько-східнослов'янських мовних контактів у болгарській славістичній науці // *Українсько-болгарські культурні взаємини ХХ ст.* Київ, 1988, с. 173–188.
 - ⁴ *Этимология 1972*. М., 1974, с. 22.
 - ⁵ *Матэрыялы для слоўніка гідронімаў Гомельшчыны* // *Беларуская мова*, 1988, вып. 16, с. 134 (Веткаўскі р-н).
 - ⁶ *Г. А. Цыхун*. Паўднёваславянска-ўсходнеславянскія моўныя сувязі (Да праблемы славянскага ўкладу ў балканскі моўны саюз) [IX Міжнародны з'езд славістаў: Доклады]. Мінск, 1983, с. 9. Цікава, што якраз гэтыя формы прыводзіць С. Іванчаў для характарыстыкі спецыфікі балгарскай мовы: «По отношение на някой отделни прости глаголи българският език споделя спецификата на южнославянската езикова общност и се отличава от белоруския, както евентуално и от други славянски езици. Такива са например глаголите: *броя* — лічыць, *викам* (но в словенски: *klicati*) — клікаць/крычаць, *газя* — брадзіць...» (*С. Іванчев*. Най-обща съпоставка на основната (безпрефиксална) глаголна лексика в българския и в белоруския език // *С. Іванчев*. Българският език — класичен и екзотичен. София, 1988, с. 168).
 - ⁷ *Е. Ф. Карский*. Белорусы. М., 1956, вып. 2–3, с. 479 (Скарачэнні ў цытатах даюцца паводле гэтага выдання).
 - ⁸ *Л. Цвяткоў*. Некаторыя рысы іншаславянскай фонэтыкі ў беларускім лексічным матэрыяле // *Запіскі Аддзелу гуманітарных навук Інстытута беларускае культуры*. Кн. 2. Працы клясы філялёгіі. Менск, 1928, т. 1, с. 51.
 - ⁹ *Е. Ф. Карский*. Белорусы. М., 1955, вып. 1, с. 334.
 - ¹⁰ *Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд* / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1975, вып. 2, с. 35.

Polsko-ukraińskie interferencje językowe na Podlasiu. Problemy metodologiczne

Artykuł jest próbą przedstawienia propozycji metodologicznych zmierzających do opisu gwar rozwijających się na pograniczu polsko-ukraińskim południowego Podlasia¹. Opis taki powinien pokazać, które z elementów systemu gwarowego są wynikiem ewolucji, a które interferencji.

Autochtoniczna ludność wiejska zamieszkująca omawiany obszar jest dwujęzyczna. Bilingwizm — właściwy przede wszystkim najstarszemu pokoleniu — jest konsekwencją istniejącej tu od dawna złożonej sytuacji politycznej, społecznej i wyznaniowej.

Językiem oficjalnym dla mieszkańców południowego Podlasia jest polszczyzna ogólna. W sytuacjach nieoficjalnych używana jest gwara polska. W najstarszym pokoleniu częściej systemem tym posługują się mieszkańcy południowej niż północnej części omawianego obszaru. Gwary te pozostają pod wpływem sąsiednich gwar polskich i polszczyzny ogólnej. Natomiast kontakt gwar polskich z gwarami ukraińskimi dokonuje się przede wszystkim przez najstarszą ludność dwujęzyczną. Owa komunikacja językowa zachodzi w sytuacjach nieoficjalnych: w rodzinach mieszanych katolicko-prawosławnych i w sąsiedztwie.

Gwary ukraińskie najlepiej utrzymują się wzdłuż Bugu na północ od rzeki Włodawki. Tutaj po ukraińsku mówi na ogół ludność prawosławna w najstarszym i średnim pokoleniu w kontaktach rodzinnych i sąsiedzkich. Z kolei na południe od Włodawki gwarą ukraińską znają tylko nieliczni autochtoni. Ogólnie można stwierdzić, że gwary ukraińskie tej części badanego terenu są gwarami izolowanymi od wpływów innych gwar ukraińskich.

1. Współczesny stan mowy dwujęzycznych mieszkańców południowego Podlasia jest rezultatem przyczyn zarówno wewnątrzsystemowych, jak i ekstralingwistycznych. Powstaje zasadnicze pytanie, jak opisywać gwary pogranicza polsko-ukraińskiego.

W opisie gwar peryferyjnych nie wystarczy, jak się wydaje, tylko przedstawić systemy fonetyczno-fonologiczne i morfologiczne, podać zasięgi cech językowych, wskazać różnice w stosunku do innych gwar czy też wymienić cechy łączące z innymi dialektami. Taki opis można stosować przede wszystkim w odniesieniu do gwar centralnych. Tymczasem w opisie gwar położonych na peryferii językowej powinniśmy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, jaka jest geneza poszczególnych elementów opisywanych systemów. Jaki jest kierunek i tempo zmian zachodzących — w ciągu wieków — w mowie dawnych osadników ruskich i polskich tego obszaru. Odpowiedź na to pytanie jest możliwa przy zastosowaniu metody dialektologicznej, która «wyzyskując dane dialektograficzne o zasięgu i powiązaniach cech gwarowych, ślady cech gwarowych w dawnych zabytkach oraz rekonstrukcje stanu pierwotnego uzyskane metodami językoznawstwa porównawczego, a także uwzględniając dane fizjograficzne, demograficzne, polityczne, kulturowe i warunki rozwoju poszczególnych ugrupowań ludnościowych, bada diachronicznie przebiegające procesy wyodrębniania się na pewnych częściach terytorium etniczno-językowego osobnych dialektów»² [DejZ].

Przyjęcie metody dialektologicznej w opisie gwar podlaskich pozwala, jak sądzę, pokazać, czy i w jakim zakresie poszczególne cechy gwarowe są wynikiem ewolucji, a w jakim — interferencji współistniejącego języka.

2. Ponieważ na omawianym obszarze występuje ludność dwujęzyczna, to pełny opis jej mowy powinno się przeprowadzać równolegle w aspekcie diachronicznym. Potrzebę równoległego badania obu współwystępujących systemów językowych rozwijających się na peryferii postulują językoznawcy [SmoczKwest12, SmułZ]. Niedostatkiem prac dialektologicznych prowadzonych na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim (w granicach Polski) jest brak równoległego opisu wsi dwujęzycznych i w konsekwencji wniosków o zakresie dwustronnej interferencji.

Zakładając paralelny opis musimy jednocześnie odpowiedzieć na pytanie, czy celem opisu jest pokazanie tylko różnic językowych (np. między gwarą rozwijającą się na peryferii i gwarą rozwijającą się w centrum formowania się języka ogólnonarodowego), czy też, co jest bardziej skomplikowane, wyjaśnienie powiązań genetycznych opisywanej gwary z danym dialektem bądź językiem ogólnonarodowym. Ten pierwszy cel można osiągnąć przy zastosowaniu metody dialektograficznej, drugi zaś zrealizuje się stosując metodę dialektologiczną³.

3. Opis gwar peryferyjnych powinien zmierzać do uzyskania odpowiedzi na pytanie, jakie są związki opisywanego systemu języko-

wego z dialektami sąsiednimi i z językiem ogólnym. Jest to szczególnie ważne na obszarach pogranicza dwu narodowości, na których może nie być zgodności między przynależnością językową a poczuciem przynależności narodowościowej. Dlatego też w opisie gwar peryferyjnych, a do takich należą gwary podlaskie, nie wystarczy stwierdzić, że opisywana gwara różni się od innych gwar pewnym zespołem cech językowych, ale trzeba — wykazać, że cechy te powiązane są genetycznie z obszarami formowania się danego dialektu czy języka etnicznego.

Ponieważ w dyskusji nad gwarami peryferyjnymi, szczególnie tam, gdzie granica językowa jest inna niż granica polityczna, dochodzić może do sporów nienaukowych, dlatego też konieczne jest przyjęcie zasady, że przy ustalaniu językowej przynależności gwar peryferyjnych trzeba opierać się na konkretnych zjawiskach językowych, a nie na poczuciu przynależności narodowościowej, kulturalnej, państwowej itd. ludzi mówiących danym narzeczem.

4. Przy ustalaniu granicy językowej należy wykazać, które z elementów opisywanej gwary peryferycznej są rezultatem ewolucji, które zaś interferencji. Przedstawione wyżej względy tłumaczą zasadność przyjęcia w opisie gwar podlaskich metody dialektologicznej.

W dalszych wywodach używać będziemy terminów *gwara* i *dialekt* rozumianych następująco [por. DejD]. Gwara jest to odmiana języka etnicznego, wyróżniająca się od innych gwar i tego języka pewnymi cechami fonetyczno-fonologicznymi, morfologicznymi, składniowymi i w jakimś zakresie leksykalnymi, którą porozumiewa się ze sobą ludność chłopska na określonym terytorium⁴. Gwara jest systemem językowym, zawierającym elementy zarówno ukształtowane ewolucyjnie, jak i powstałe w procesie interferencji. Z kolei przez określenie *dialekt* rozumie się język grupy etnicznej. Dialekt jest zbiorem elementów ukształtowanych ewolucyjnie. Podobne, chociaż szersze, rozumienie dialektu podał N. I. Tołstoj definiując jako jednostkę etnograficzną i kulturologiczną, a nie wyłącznie lingwistyczną [Tołs].

5. W przeszłości w konsekwencji systematycznego kontaktu ludności etnicznie polskiej i ruskiej południowego Podlasia doszło do wytworzenia się bilingwizmu. Przez bilingwizm rozumie się biegle posługiwanie się w procesie porozumiewania się z otoczeniem nie tylko mową macierzystą, ale także mową współwystępującej grupy językowej. W warunkach dwujęzyczności poszczególnych jednostek, a tak jest na badanym terenie, dochodzi, zgodnie z ujęciem U. Weireicha, do kontaktu językowego [Wein 20]. Taka sytuacja powoduje interferencję (rozumianą tutaj jako proces, a nie — rezultat procesu). Pozostawanie dwu języków w kontakcie (tzn. używanych przez jed-

nostkę bilingwistyczną) może prowadzić do interferencji. Interferencją nazywamy mechaniczne zastąpienie niektórych elementów czy norm systemowych z języka ojczystego, polegające na przeniesieniu do niego poszczególnych elementów czy norm drugiego spośród pozostających w kontakcie języków.

Paralelne przedstawianie gwar ukraińskich i polskich południowego Podlasia daje podstawy do pełnego opisu interferencji dwóch systemów językowych. Jednocześnie opis ten prowadzony metodą dialektologiczną pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie, które z analizowanych elementów systemu językowego są rezultatem ewolucji, które zaś interferencji.

Przyjmując taką metodę opisu, należy ustalić stosunek badanych gwar do dialektów sąsiednich. Trzeba przeto wykazać: a) czy badane gwary ukraińskie łączą się z dialektem północnoukraińskim (poleskim), czy też z dialektem południowo-zachodnioukraińskim; b) czy współistniejące gwary polskie przynależą do dialektu mazowieckiego, czy powstały na wzorce polszczyzny ogólnej.

O genezie badanych gwar decydują cechy dialektalne. Dlatego też należy szczegółowo przedstawić ewolucję tych cech dialektalnych, które wyjaśniają genezę badanych gwar. Przy badaniu interferencji polskiego systemu językowego na ukraiński system językowy uwzględnia się cechy dialektalne, zwłaszcza innowacje wcześniejsze wspólne całemu ugrupowaniu etniczemu oraz te, które zadecydowały o uformowaniu się języka ukraińskiego. Podobnie postępujemy przy opisywaniu interferencji ukraińskich na system polski.

6. Takie podejście metodologiczne wymaga omówienia zjawisk obcojęzycznych występujących zarówno na płaszczyźnie mówienia (*parole*), które mają charakter sporadyczny i jednostkowy, jak i zjawisk na płaszczyźnie języka (*langue*), które mają charakter powszechny i trwałe. Przyjmując ustalenia F. de Saussuere'a o istocie języka, tj. oddzielając język (*langue*) od mówienia (*parole*), należy mówić o istnieniu gwary także i wtedy, gdy ów system realizowany jest przez znikomą liczbę użytkowników i w ograniczonych sytuacjach. Uświadomienie tej kwestii jest ważne, gdy opisuje się sytuację językową południowego Podlasia, gdzie na skutek powojennych przesiedleń we wsiach nadbużańskich pozostały nieliczne osoby znające gwarę ukraińską. Gwara, podobnie jak język ogólnonarodowy, jako odmiana języka etnicznego jest bowiem «częścią społeczną mowy, znajdującą się poza jednostką, która sama nie może go ani stworzyć, ani zmodyfikować; istnieje na mocy pewnego rodzaju umowy zawartej między członkami danej społeczności» [Sauss 42].

7. Rozróżnienie dwóch płaszczyzn języka, tj. *parole* i *langue* powoduje konieczność wyodrębnienia dwóch typów gwar, tj. mieszanej

i przejściowej. Zjawiska, przenikające z jednej gwary do drugiej na płaszczyźnie mówienia *parole*, mają charakter sporadyczny i jednostkowy, nie powodują więc zmiany systemu. Powstała w ten sposób gwara jest gwarą mieszaną. Natomiast gdy elementy przejęte z systemu prymarnego do wtórnego są powszechne i trwałe, powstaje wtedy gwara przejściowa.

Cechy językowe mające charakter sporadyczny i jednostkowy nie mogą być określane jako interferencje, lecz jako zapożyczenia leksykalne. Rozpatruje się je na płaszczyźnie mówienia *parole*. Włączamy je jednak do opisu językowego, mimo że nie naruszają systemu językowego, ponieważ ich ewentualne upowszechnienie w przyszłości na inne formy i trwałość występowania mogą ten system zmienić. Z tego też względu w opisie gwar podlaskich konsekwentnie są analizowane i przedstawiane odrębnie w grupie wyrazów z obcymi kontynuantami.

Kolejne miejsce w opisie gwar polskich i ukraińskich na Podlasiu zajmują obcojęzyczne zjawiska fonetyczne i morfologiczne o charakterze powszechnym i trwałym. One świadczą bowiem o interferencji językowej, a w konsekwencji decydują o przejściowym charakterze badanych gwar.

Interferencje gwar ukraińskich i polskich rozpatruje się wyłącznie na płaszczyźnie języka (*langue*). Termin «interferencja językowa» oznacza tutaj taki rezultat kontaktu językowego, gdy elementy drugiego języka (w tym wypadku ukraińskiego w wymowie ludności o prymarnym systemie polskim i odwrotnie, polskiego w wymowie ludności o prymarnym systemie ukraińskim), zostaną przyswojone i upowszechnią się w całej społeczności danego terytorium.

8. Przyjmuje się, że punktem wyjścia w paralelnym opisie gwar polskich i ukraińskich południowego Podlasia, pozwalającym pokazać, które z elementów językowych są rezultatem ewolucji, które zaś interferencji, winien być stan prasłowiański.

Gwary polskie w wielu wsiach są nowe, powstałe na podłożu ukraińskim, podobnie w innych — gwary ukraińskie rozwinęły się na substracie polskim. Interpretowanie więc form istniejących w tych gwarach jako wyniku ich rozwoju z postaci staropolskich czy staroukraińskich jest metodologicznie nieuzasadnione. Można by jedynie formy te zestawiać z ich odpowiednikami występującymi w językach ogólnych.

9. Metoda dialektologiczna zakłada uwzględnianie w opisie językowym danych administracyjnych, osadniczych, fizjograficznych, demograficznych, politycznych, kulturowych i warunków rozwoju poszczególnych ugrupowań ludnościowych.

9a. W opisie dialektologicznym należy wykazać, czy i w jakim stopniu dawne granice polityczne i administracyjne odpowiadają podzia-

łom językowym. W wypadku omawianego obszaru stawiamy pytanie o podział terytorialny w wiekach IX–XIII. Chodzi o pierwotną granicę między Polską a Rusią Kijowską, rolę Grodów Czerwieńskich i funkcję miast tam występujących. W późniejszym okresie struktura administracyjna ziem położonych po obu stronach rzeki Włodawki wskazuje na związek tych ziem od strony południowej i zachodniej z Koroną, zaś od strony północnej i wschodniej z Wielkim Księstwem Litewskim.

9b. W opisie gwar podlaskich uwzględnia się dane osadnicze. Ze źródeł historycznych wynika, że od wieków było tutaj osadnictwo polskie, zachodniosłowiańskie i ruskie, wschodniosłowiańskie. Przed tysiącem lat granice polityczne przebiegały tak, że Ruś Kijowska nie sięgała na zachód dalej niż dzisiejszy Łuck, zaś państwo pierwszych Piastów na wschód nie dalej niż górny Wieprz; pośrodku, na terenie dzisiejszego Pobuża, mieszkali «Łędzanie». Późniejsza granica państwowa oddzielająca Polskę od Rusi przed przyłączeniem Rusi Czerwonej do Polski przebiegała przez środek dzisiejszej Lubelszczyzny. Trwające niemal bez przerwy walki nie sprzyjały trwałemu osadnictwu. Z tego terenu zachowały się jedynie niektóre miejscowości: Brześć 1019, Łuków 1254, Włodawa 1240, Uhrusk 1204. Początki osadnictwa trwałego na większości obszaru datują się od drugiej połowy XIV wieku. Wtedy też ustaliła się zachodnia granica zasięgu wpływów kulturowych ruskich obejmująca obszary powiatów nadbużańskich. Przetrwiała ona do połowy bieżącego stulecia.

9c. Obok osadnictwa słowiańskiego było na omawianym obszarze osadnictwo obce — niesłowiańskie. Znajdują się tutaj wsie z osadnictwem wołoskim, tatarskim, niemieckim.

9d. Kolejnym czynnikiem ekstralingwistycznym, który powinien być brany pod uwagę w opisie gwar podlaskich są stosunki demograficzne, przede wszystkim struktura narodowościowa i wyznaniowa mieszkańców regionu. Na południowym Podlasiu mieszkała od wieków głównie ludność rzymskokatolicka i prawosławna. W przeszłości proporcje między nimi były zmienne. Przewaga ludności prawosławnej, a od 1596 do 1875 r. unickiej i prawosławnej, występowała do XIX w. na wsi. Ludność katolicka w tym okresie mieszkała przede wszystkim w miasteczkach oraz nielicznych wsiach z osadnictwem mazowieckim. W XX w. nastąpiła zmiana proporcji. W latach 1918–1939 zwiększył się odsetek ludności katolickiej na wsi, a po roku 1944 nastąpiła przewaga katolików nad prawosławnymi na całym obszarze. Obecnie znikomy odsetek w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców stanowią prawosławni.

9e. Opis dialektologiczny powinien zawierać również informację o istniejących grupach etnicznych. Na południowym Podlasiu etnogra-

fowie wyróżniają grupy etniczne związane bądź z dawnymi osadnikami polskimi bądź ruskimi. Są to grupy etniczne Rekunów, Bagnoszy, Chmaków, wreszcie bojarów.

10. Metoda dialektologiczna, jak już powiedzieliśmy wyżej, wymaga wiedzy o stanie języka w przeszłości. Tymczasem brak jest opracowań poświęconych językowi dawnych osadników południowego Podlasia. Pośrednie wyobrażenie o istniejących systemach językowych tego obszaru uzyskać można na podstawie niepełnej jeszcze charakterystyki zabytków z terenów sąsiednich. Wymienić trzeba przede wszystkim gramoty halicko-wołyńskie opracowane przez W. Kuraszkiewicza. Informują one m. in. o dawnym języku mieszkańców Łomaz i Chełma [KurGr]. Fragmentaryczne są też informacje o dawnej polszczyźnie tego obszaru [por. KurPrz, Kość]. Z tych też powodów nie zawsze można określić czy dany element systemu opisywanej gwary jest substytutem, czy też wynikiem ewolucji.

11. Stadia przyswajania sobie przez Rusinów podlaskich polszczyzny były zapewne zbliżone do podobnych procesów odnotowanych na innych pograniczach słowiańskich. Można przyjąć, że owe procesy językowe przebiegały od monolingwizmu w języku rodzimym (ukraińskim), poprzez bilingwizm ukraińsko-polski do monolingwizmu w języku polskim. Podobne procesy musiały zachodzić w wypadku rutenizacji.

Świadoma polonizacja Rusinów prowadziła do takiego ukształtowania systemu polszczyzny, w którym przejęte zostały najwcześniejsze innowacje języka polskiego, przejmując się bowiem z nabywanego języka cechy typowe. To jest cechy wyróżniające — w opinii nosicieli obu języków — język A od języka B. Inaczej mówiąc, przyswajając system sekundarny musieli oni opanować przede wszystkim cechy fonologiczne tego języka. Cechy ukraińskie zachowane w tej polszczyźnie stanowią niezasymilowany substrat wschodniosłowiański.

12. W opisie współistniejących języków na danym obszarze należy wskazać na funkcje poszczególnych języków w sytuacjach oficjalnych. Istotne są stwierdzenia, czy znajomość jednego, spośród dwóch równoległe używanych języków, warunkuje awans społeczny, wykształcenie i pracę w mieście. Który z języków używany jest w kościele, który zaś w cerkwi. Odpowiedzi na te pytania pokazują jak przebiega integracja językowa.

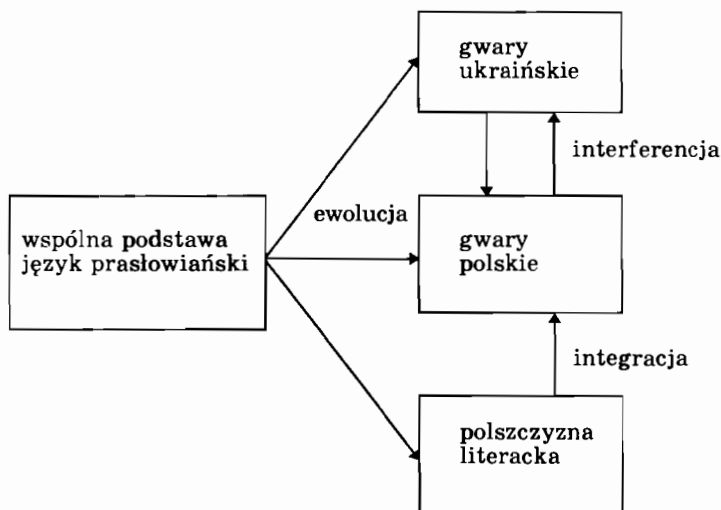
Opisując kontakty językowe na południowym Podlasiu, można stwierdzić — używając terminologii zaproponowanej przez E. Smułkowską [SmułZ] — że mamy tutaj zarówno przykłady akomodacji, jak i asymilacji językowej. Akomodacja polega na wymienialności (zależnie od sytuacji: oficjalna — domowa) systemów gwarowych: polskiego i ukraińskiego. Taka sytuacja jest w części północnej badanego terenu.

Natomiast asymilację, rozumianą jako świadome z wyboru (lub z konieczności) posługiwanie się gwarą polską, obserwuje się na południe od Włodawki. Przykłady asymilacji stają się obecnie powszechne na całym obszarze wśród średniego pokolenia. Wynikiem akomodacji jest bilingwizm, asymilacji zaś — jednojęzyczność.

13. Stopień zróżnicowania systemów polskiego i ukraińskiego wchodzących w kontakt językowy jest taki, jaki istnieje pomiędzy językami grupy zachodniosłowiańskiej i wschodniosłowiańskiej. Znana jest ogólnie następująca zależność: im bliższe podobieństwo (genetyczne) systemów, tym aktywniejsze jest ich wzajemne przenikanie oraz wyraźniejsze uświadomienie sobie przez użytkowników cech różniących oba systemy językowe. Prowadzi to w konsekwencji do substytucji językowych i hiperpoprawności.

Wnioski

Zastosowanie metody dialektologicznej w opisie ukraińskich i polskich gwar południowego Podlasia pozwoliło pokazać, w jakim stopniu badane gwary są rezultatem ewolucji, w jakim zaś — interferencji współlistniejących gwar. Zależność tę przedstawia następujący schemat.



1. W strukturze opisywanych gwar można wyróżnić trzy warstwy:

a) elementy systemowe powstałe w wyniku ewolucji. Elementy te wiążą gwary ukraińskie z dialektem poleskim (północnoukraińskim), zaś gwary polskie z systemem języka ogólnopolskiego (literackiego) ukształtowanego po wieku XVIII,

b) jednostkowe zapożyczenia słownikowe. W gwarach polskich są to zapożyczenia z ukraińską cechą językową, zaś w gwarach ukraińskich — zapożyczenia z cechą polską,

c) wreszcie systemowe elementy przeniesione ze współistniejącego języka. W gwarach polskich są to systemowe cechy fonetyczne i morfologiczne przeniesione z języka ukraińskiego, zaś w gwarach ukraińskich — systemowe cechy polskie.

2. Wymienione elementy (zob. punkt 1a-c) występują na płaszczyźnie języka *langue* (1a, 1c), bądź — na płaszczyźnie mówienia *parole* (1b).

Elementy systemowe mogą być «rodzime» (1a) bądź «obce» (1c). Pierwsze z nich powstały w rezultacie ewolucji, drugie w rezultacie interferencji.

3. Jednostkowe zapożyczenia słownikowe (1b) nie mogą być traktowane jako interferencje dopóty, dopóki cechy fonetyczne i gramatyczne nie upowszechnią się. Ta grupa zapożyczeń słownikowych jest wynikiem różnej realizacji systemu gwarowego.

4. Szczegółowa analiza gwar ukraińskich i gwar polskich południowego Podlasia pokazała, że gwary te zawierają systemowe elementy przeniesione ze współistniejącego języka. Gwary te są przeto gwarami przejściowymi (o ich przejściowym charakterze decydują elementy powstałe w procesie interferencji). Rejestr cech językowych powstałych w procesie interferencji może — w określonym czasie — zmieniać się.

5. Spośród różnych elementów przeniesionych z systemu prymarnego do wtórnego najwcześniej zastępowany jest podobnym elementem z systemu sekundarnego taki element systemu językowego, który wyraźnie jest uświadamiany przez użytkowników gwary.

6. W wypadku zetknięcia dwóch systemów językowych zachodzi nie tylko substytucja, ale też odmienna w stosunku do prymarnego systemu dystrybucja elementu przeniesionego. Zakłócenia w zakresie dystrybucji cechy przeniesionej do systemu wtórnego powodują powstanie hiperyzmów.

7. Prowadzone paralelnie badania nad współistniejącymi systemami na południowym Podlasiu pokazują, że więcej elementów przeniesionych z systemu prymarnego jest w gwarach polskich niż we współistniejących gwarach ukraińskich.

¹ Stosowane tutaj określenie *południowe Podlasie* odnosić będziemy przede wszystkim do dawnego powiatu włodawskiego w województwie lubelskim. Granicę wschodnią wyznacza rzeka Bug, zaś południową rzeka Włodawka. Historycznie obszar ten leżał po obu stronach dawnej granicy Grodów Czerwieńskich. Szczegółowy opis omawianych tu gwar przedstawiony został w pracy F. Czyżewski. *Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich południowo-wschodniego Podlasia*. Lublin, 1994.

² O różnym pojmowaniu dialektów, por.: O. A. Терновская. *Понятие диалекта и принципы классификации славянских диалектов* // Сов. славяноведение, 1975, № 5.

- ³ Szczegółowo o metodzie dialektograficznej i dialektologicznej zob. m. in. *K. Dejna*. Atlas polskich innowacji dialektalnych. Wyd. 2. Warszawa; Łódź, 1994.
- ⁴ Chodzi, co oczywiste, o autochtoniczną ludność wiejską. Na terenie południowego Podlasia, w związku z masowymi przesiedleniami, liczba tej ludności jest niewielka.

Rozwiązanie skrótów

- DejD — *K. Dejna*. Dialekty polskie. Wrocław, 1973. Wyd. 2. Wrocław, 1993.
- DejZ. — *K. Dejna*. Z metodologii badań gwar peryferyjnych i wyspowych. RKJ ŁTN XXV, Łódź, 1979.
- Kość — *J. Kość*. Regionalizmy leksykalne w księgach miejskich wschodniej Lubelszczyzny z XVII i XVIII w. // *Polszczyzna regionalna w okresie renesansu i baroku*. Warszawa, 1984.
- KurGr — *W. Kuraszkiewicz*. Gramoty halicko-wołyńskie XIV–XV wieku. Studium językowe. Kraków, 1934.
- KurPrz — *W. Kuraszkiewicz*. Z przeszłości narzecza zamojskiego // *Pamiętnik Lubelski*, t. 3. Lublin, 1938.
- Sauss — *F. de Saussure*. Kurs językoznawstwa ogólnego. Wstęp i przypisy *K. Polański*. Warszawa, 1991. Wyd. II, poprawione.
- SmoczKwest — *P. Smoczyński*. Kwestionariusz do Atlasu gwar Lubelszczyzny. Lublin, 1986.
- SmuŹ — *E. Smułkowa*. Zagadnienia polsko-białorusko-litewskiej interferencji językowej na ziemiach północno-wschodniej Polski // *Z polskich studiów slawistycznych VII*. Warszawa, 1988.
- ToIs — *N. I. Tołstoj*. Język a kultura (niektóre zagadnienia słowiańskiej etnolingwistyki) // *Etnolingwistyka 5* / Pod red. *J. Bartmińskiego*. Lublin, 1992.
- Wein — *U. Weinreich*. Languages in Contact. Hague, 1962 (Tłum. ros.: Языковые контакты. Киев, 1979).

Ф. Чижевский

Польско-украинская языковая интерференция в Подлясье. Методологические проблемы

Параллельное диалектологическое описание периферийных украинских и польских говоров южного Подлясья позволяет воссоздать полную картину интерференции двух языковых систем, разграничив элементы, возникшие в результате эволюции (в украинских говорах — полесские, в польских — общепольские), и элементы, появившиеся в результате интерференции (польские в украинских говорах и украинские — в польских). Наличие системных черт чужого языка, относящихся к уровню *langue*, дает основание квалифицировать эти говоры как переходные, в отличие от смешанных, в которых чужие элементы относятся к уровню *parole*.

Lit. (hybrides) *sierà žemė* und seine ostslawische Quelle

In der Sprache der Folklore beobachtet man nicht nur die Bewahrung altertümlicher Elemente, es kommt gleichzeitig auch zu vielen Neuerungen und auch zu Übernahmen aus der Sprache der Folklore anderer Völker. Die Sprache und die volkspoetischen Systeme existieren nicht abgeschottet und isoliert voneinander, sondern befinden sich, besonders wenn es sich um benachbarte Areale handelt oder gar um einunddieselben Räume, in denen in historischer Abfolge verschiedene Völkerschaften siedelten oder sich gegenseitig durchdrungen haben, in einem stetigen Austausch. Es werden dabei Entlehnungen aus einer Sprache in eine andere getätigt, denen ein ganz bestimmter kultureller Kontext zugrunde liegt.

I. Ein lehrreiches Beispiel dafür stellt das lit. folkl. Phrasem *sierà žemė* 'feuchte Erde' dar. Bereits E. Fraenkel hat in seinem «Litauischen etymologischen Wörterbuch»¹ daraufhin gewiesen, daß «das in der russischen Volkspoesie sehr häufige *syraja zemlja* 'die feuchte Erde' in litauischen Dainos durch *sierà (sieróji) žemė* nachgeahmt wird. Dieser wichtige Hinweis wird nicht ernst genommen, sonst hätte im 12. Bd. des litauischen Akademie-Wörterbuches² das aus dem Slawischen eindeutig als entlehnt gekennzeichnete *sieras*, -à nicht ausschließlich mit der Bedeutung 'pilkas' (= 'grau') charakterisiert werden können. Ein nicht unbedeutender Teil der unter diesem Lemma angeführten Satzbeispiele läßt sich auf keinen Fall mit der Bedeutung 'pilkas' = 'grau' erklären. Es sind gerade jene Fälle, in denen eine partielle (hybride) Entlehnung des ostslaw. folkl. *syraja zemlja* in lit. folkl. *sierà žemė* vorliegt:

(1) *Po siera žeme guli jis* (Litovskij slovar' Juškeviča ... St. Petersburg 1897-1904; Petrograd 1922) 'Unter der feuchten Erde liegt er';

- (2) *Byra liepos lapeliai ant sierōsios žemelės* (Lietuviškos dąjnos uzrašytos par Antaną Juškėvičę. I–III, Kazanė 1880–1882, Nr. 269) 'Die Blätterchen der Linde fallen auf die feuchte Erde';
- (3) *Užlinks liepos šakužėlės / Užgrius siera žemužėlė / Ries balti dobilėliai* (Juška, LD, II, 254–255, Nr. 627) 'Ich werde die Zweiglein der Linde in die Höhe biegen, / Ich werde auf die feuchte Erde fallen / Ich werde den weißen Klee aufschichten'.
- (4) *Mano tėveliai sieroje žemelėj* (Lietuvių tautosakos rankraštynas; Gražiškiai) 'Meine lieben Eltern sind in der feuchten Erde';
- (5) *Vai žeme, žeme, žeme sieroje, atėmei tėvą ir motinėlą* (Ožkabalių dainos. Surinko d-ras J. Basanavičius, Shenandoach, Pa 1902, Nr. 340) 'Oh, feuchte Erde, Erde, Erde, du hast genommen den Vater und das Mütterlein';
- (6) *Kad tau sieroje žemymyka nenešiotų!*³ (Armoniškėes, Weißrußland) 'Daß dich die feuchte Erde (Erdmutter) nicht tragen möge!;
- (7) *Išjojo bernėliai, ir lyg siera žemė juos prarijo* (V. Krevė) 'Die jungen Burschen sind ausgeritten und als ob sie von der feuchten Erde verschlungen wurden (sind sie weg)'⁴;
- (8) das Phrasem⁵ *po sieraja žemyna palįsti* 'sterben': *Dar jaunas būdamas palindo po sierą žemyna* (Armoniškėes) enthält ebenfalls die Wendung *sieraja žemyna*. 'Noch als junger Mensch starb er' (wörtlich: 'Noch jung seiend kroch er unter die feuchte Erde').

II. Lit. *sieras* 'grau' < *sěřō* 'grau'

Am oben angegebenen Orte des LKŽ (XII, S. 524) sind gleichzeitig eine Reihe von Belegen angeführt, in denen *sieras*, -à tatsächlich die Bedeutung 'grau' hat, vgl. die Wortgruppen *sieras akmenėli* 'grauer, lieber Stein'; *sieras bitinėli* 'graues Bienchen'; *gegule sieroje* (neben *raiboj* 'buntgesprenkelt') 'grauer Kuckuck'; *sierà girnelė* 'graue Handmühle'; *sieras sakalas* 'grauer Falke'. Hier ist der ganze Ausdruck aus dem Slawischen entlehnt, doch das Epitheton scheint nicht slawisch zu sein, vgl. *jasnyj sokol*. Diese Beispiele stammen ebenfalls aus der Sprache der Folklore oder zumindest aus der Volkssprache. Die anderen Belege für die Bedeutung 'grau' des Wortes *sieras*, -a sind ausschließlich folkloristischer Natur und haben genaue Entsprechungen im Ostslawischen: *sierà antelė* 'graues Entlein' (vgl. russ. *seraja utka, utočka*)⁶; *sieras žirgas* (russ. *seryj kon'*; *serkó* — Name eines alten Pferdes, Dal', III sl, IV, 381); *sierà suknelė* 'graues Kleid' (vgl. russ. *seroje sukno* ibidem)⁷. In der Bedeutung 'grau' tritt, das aus dem Ostslawischen (*sěřō*) entlehnte lit. *sieras* bereits im Altlitauischen auf, vgl.

- (9) ...*waik/cziotumbit fierose drápánofe* (Postilla Lietuwiszka ...
ižduotá ... Per Jokubą Morkuną ... *Metuoſe* Diewa 1600, 249 b9)
'ihr würdet in grauen Kleidern spazieren (herumgehen)'.

III. Die oben aus dem LKŽ, XII zitierten Beispiele (1) bis (8)
(d.h. mit *siera žemė*) lassen sich weiter ergänzen durch eine Reihe
von Belegen, die ich direkt aus dem litauischen Folklore-Sammlun-
gen bezogen habe:

- | | | |
|------|---|--|
| (10) | Už jūrių marių
Už vandenėlių —
Ten vargo mergelė
Linelius rovė.

Ne taip ji rovė,
Kaip graudžiai verkė,
Ant sieros žemelės
Parsipuldama ⁸ .

... | 'Hinter dem Meer, der See
Hinter dem lieben Wasser —
Dort mühte sich ab ein Mägdlein
Raufte Flachs.

Sie raufte nicht so sehr,
Wie sie bitterlich weinte,
Sich auf die feuchte Erde
Werfend.' |
| (11) | Oi, aukštai lekia
Klevelio lapeliai.
Nors aukštai lekia,
Bet žemai nupuola,
Bet žemai nupuola,
Ant sieros žemelės,
Ant sieros žemelės,
Ant žalios vejelės ⁹ ,

... | 'Oh, hoch fliegen
die Blättlein des Ahorns.
Obwohl (sie) hoch fliegen
Fallen (sie) jedoch tief,
Fallen (sie) jedoch tief,
Auf die feuchte Erde,
Auf die feuchte Erde,
Auf das grüne Gras,'

... |
| (12) | Oi, mažas žemas karklelio krūmelis,
Oi, nors jis mažas, bet labai šakotas:
Paleidęs šakeles ik sierai žemelei
Ik sierai žemelei, ik žaliai vejelei... ¹⁰

'Oh, kleiner niedriger Weidenstrauch,
Oh, wenn er auch klein (ist), ist (er) doch sehr ästig:
Warf die Zweige auf die feuchte liebe Erde,
Auf die feuchte liebe Erde, auf das grüne Gras.' | |
| (13) | Ūžė girelė, ūžė,
Ūžė girelė, ūžė,
Bau ne dovanai užė:
Vėjas šakeles laužo,
Vėjas šakeles laužo,
Drabnus lapelius krečia. | 'Der liebe Wald rauschte, rauschte,
Der liebe Wald rauschte, rauschte,
Kaum rauschte (er) umsonst:
Der Wind brach Zweiglein,
Der Wind brach Zweiglein,
(Er) schüttelt die welken Blätter |

Ant sierosios žemelės,	Auf die feuchte Erde,
Ant sierosios žemelės,	Auf die feuchte Erde,
Ant žaliosios vejelės ¹¹ .	Auf die grünen Gräser.'

...

K. Vosylytė führt in ihrem Wörterbuch der litauischen stehenden Vergleiche (LKPŽ, 338) das Komparativphrasem

(14) *kaip sierà žemyna* 'wie die feuchte Erde' an mit folgendem Beispiel: *Jis ujamas tyli kap siera žemyna* 'Er wird gejagt (verfolgt) still wie die feuchte Erde', wobei sie das letzte Wort mit dem Zusatz *pilka žemė* 'graue Erde' versieht. Letzteres ist m. E. nicht richtig; denn der feste Vergleich *tyli kap siera žemyna* hat im comparandum *siera žemyna* 'feuchte Erde', vgl. das russische Sprichwort:

(15) Mat' syra zemlja govorit' nel'zja ¹²
'Die Mutter-feuchte-Erde — man darf nicht sprechen'.

Gemeint ist, daß man angesichts der Mutter Erde (d.h. der großen Gottheit von der alle kommen und zu der alle wieder werden gehen) zu schweigen hat.

(16) Išjoj bernužis į karužę,
Paliko mane našlaitę,
Atskrido raibas sakalelis,
Atnešė liūdną laiškėlį...
...
Kai aš perskaičiau tą laiškėlį,
Kad mano mylimas žuvo,
Puoliau ant žemės, ant sierosios
Ir ėmiau gailiai raudoti...
...
Oi žeme, juodoji žemele,
Atėmei mano mylimą
Atėmei mylimà bernelį,
Paimk ir mane, našlaitę...
...
Žemelė tarė, našlaitę barė:
— Tu liksi ant svieto gyvent, —
Ilgai gyvensi, jauna našlaite,
Kito bernelio nemylėk... ¹³

'Geritten ist der Bursche in den Krieg,
Hinterließ mich als Waisenmädchen,
Ein buntgesprenkelter Falke kam herbeigeflogen,

Brachte ein trauriges Brieflein ...
 Als ich jenes Brieflein gelesen hatte,
 Daß mein Geliebter umkam,
 Fiel ich (nieder) auf die Erde, auf die feuchte,
 Und begann bitterlich zu weinen.

...
 Oh Erde, liebe schwarze Erde,
 Nimm meinen Lieben,
 Nimm meinen lieben Burschen auf,
 Nimm auch mich, die Waise...
 Die liebe Erde sprach, (sie) schalt die Waise:
 — Du wirst auf der Welt leben bleiben, —
 Lange wirst du leben, junge Waise,
 Einen anderen Burschen liebe nicht...'

IV. Ostbalt. *juoda žemė*: lett. *melnā kā zeme*

In diesem litauischen Volkslied stehen die Wendungen *sieroji žemė* und *juodoji žemė* (*žemelė*) unmittelbar nebeneinander. Die erstgenannte ist die in diesem Abschnitt betrachtete hybride Kalkierung aus ostslaw. *sěraja zemlja* 'feuchte Erde', während die zweite eine typisch ostbaltische folkloristische feste Wendung darstellt (lit. *juoda* oder *juodoji žemė* resp. *žemelė* 'schwarze Erde') mit dem beständigen Epitheton *juoda*, *juodoji* 'schwarze'. Vgl.

- | | | |
|------|---|---|
| (17) | (Mergelė) Sienelį grėbė
Graudžiai raudojo,
Prie juodas žemelės
Prisikrisdama:

— Ai žeme, žeme,
Juoda žemele,
Atėmei titilį
Ir motulėlę!

Atėmei mano
Titį motutę,
Atimkis ir mane,
Vargų mergele! ¹⁴ | (Das Mädchen) harkte Heu,
(es) wehklagte bitterlich,
Sich auf die schwarze Erde
Hinwerfend.

— Ach, Erde, Erde,
liebe schwarze Erde,
Du hast weggenommen Väterchen
Und Mütterchen!

Du hast genommen
Meine lieben Eltern,
Nimm auch mich (weg),
Das Mädchen des Kummers! |
|------|---|---|

In einem anderen Lied wendet sich das Waisenmädchen an die Erde:

- | | | |
|------|---|--|
| (18) | O tu, žemuže,
Žemuže juoda,
Atėmei močiutę,
Atimk ir mane! ¹⁵ | O du, liebe Erde,
Liebe schwarze Erde,
Du hast Mütterchen genommen,
Nimm auch mich! |
|------|---|--|

Ein weiteres Beispiel ebenfalls aus dem litauischen Volksliedschaffen ist das folgende:

(19) *Juoda žemelė — mano motinėle* (JD, I, S. 558–559, Nr. 274) 'Die schwarze liebe Erde (ist) mein Mütterchen'.

Auch im folgenden kommt die Wendung vor:

(20) *Juoda kaip suodžiai (žemė)* (LKŽ, IV, S. 393) 'Schwarz wie Ruß ('Erde')'.

Eine Anzahl von Komparativphrasemen hat im tertium comparationis das Adjektiv *jūodas*, -à 'schwarz', während im comparandum das Substantiv *žemė* 'Erde' vorkommt. Vgl.

(21) *Tėvas pasidarė juodas kaip žemė* 'Der Vater wurde schwarz wie Erde';

(22) *Kas aš buvau par motulę — graži kai roželė, kai nuėjau aš bernelio — juoda kai žemelė* 'Als ich bei Mütterchen war, (war) ich schön wie ein Röslein, als ich den Burschen heiratete — schwarz wie die Erde';

(23) *Juodos (murzinos) rankos kaip tik žemė* 'Schwarze (schmutzige) Hände so wie die Erde'.

Auch verbale Komparativphraseme sind so aufgebaut. Vgl.

(24) *Sako, pajuodęs buvęs visas kaip žemė* (Krėvė) 'Man sagt, (er) ist ganz schwarz geworden (schwärzte sich) wie die Erde'¹⁶.

Auch der Vergleich *pilkas kaip žemė* 'grau wie die Erde; erdfahl' sowie die poetische Wendung *pilkoji žemelė* 'die graue, fahle Erde' ist nach Ausweis des «Wörterbuchs der litauischen Schriftsprache» (III, 89) gebräuchlich. Inwieweit diese Wendungen jedoch in der Sprache der Folklore vorkommen, kann ich nicht sagen. Ich habe keine Beispiele dafür.

Joudas kaip žeme hat eine genaue Entsprechung im Lettischen, vgl.

(25) *tik mēlns kā zeme* (ME, IV, 708) 'so schwarz wie die Erde' und *melns kā zeme* 'schwarz wie die Erde' (LKFV, 531).

V. Ich kehre zurück zur hybriden Kalkierung lit. *siera žemė*, *sieróji žemelė* 'feuchte Erde', die sicher auf ostslaw. **sýra(ja) zemlja* 'feuchte Erde' zurückgeht und erst sekundär mit *siera*, *sieróji* aus ostslaw. *sěra(ja)* 'grau' in Zusammenhang gebracht wurde. Lit. *pilkas kaip žemė*, das ebenfalls sekundär ist (man vgl. ostbaltisch originäres *juoda žemė*, *melns kā zeme*) scheint dies zu bestätigen.

Ostslaw. *sýra(ja) zemlja* 'die feuchte Erde' steht in enger Beziehung zur alten heidnischen Muttergottheit *mat' syra zemlja* 'die feuchte Mutter Erde'. Die Feuchtigkeit hängt mit der Fruchtbarkeit zusammen, der Haupteigenschaft dieser Muttergottheit. Durch den

Himmel wird die Erdmutter über den Regen befruchtet, geschwängert. Die Entbindung findet durch die Erde statt. Nach den slawischen heidnischen Vorstellungen ist die *mať syra zemlja* unmittelbar mit dem Kult der weiblichen Gottheit *Mokoš* verbunden, deren Hauptattribut, die Feuchtigkeit, bereits in ihrem Namen auftritt. Gleichzeitig ist *Mokoš* die Gegnerin des Donnergottes *Perun*. Auch die Beziehungen der weiblichen Gottheit *Mokoš* zur Sexualität lassen sich mit einigen Reminiszenzen an die (*mať*-) *syra-zemlja* vergleichen, die in dieselbe Richtung gehen. Vgl.

(26) *Batjuška Pokrov* (1 oktjabrja), *pokroj syru zemlju i menja molodu* (Dal', Posl., 895) 'Väterchen Pokrov, bedecke die feuchte Erde und mich Junge (Frau)'. Dieses Beispiel wird etwas klarer durch die von B. A. Uspenskij¹⁷ angeführte Variante:

(27) *Batjuška Pokrov, zemelečku pokroj snežkom, a menja molodu ženiškom* 'Väterchen Pokrov, bedecke die liebe Erde mit Schnee, mich junge aber mit einem Bräutigam'.

Pokrov ist in der russisch-orthodoxen Kirche der Feiertag Mariae Schutz (russ. *krov* 'Schutz, Schirm') am 1. Oktober. Im Volke wird er mit russ. *pokryť* 'bedecken' in Verbindung gebracht. Im Volksglauben ist dieser Tag geeignet für bäuerliche Hochzeiten, vgl.

(28) *Prišel Pokrovóv dévkam gólovy kryť* 'Der Pokrov-Tag ist gekommen, an dem den jungen Frauen die Köpfe bedeckt werden' (d. h. sie kommen unter die Haube, sie werden verheiratet)¹⁸. In den Beispielen (26) und (27) bittet das junge (unverheiratete) Mädchen, daß Gott die feuchte Erde (d. h. die fruchtbare Mutter Erde) mit Schnee bedecken möge und er es selbst mit einem Bräutigam bedecke. Vgl. die oben erwähnte Befruchtung der Erde durch Wasser (Regen, Schnee). Hierher ist sicher auch das folgende russische Rätsel zu stellen:

(29) *Šel dolgovjaz, v syrú zemlju uvjaz (Dožd')*¹⁹ 'Ein Hochaufgeschossener (Baumlanger) lief (und) in der feuchten Erde blieb er stecken (Der Regen)'. Von ganz besonderer Relevanz jedoch für die Begründung der partiellen Übersetzungsentlehnung von lit. *sierá žemė* aus ostslaw. *syra(ja) zemlja*, wobei die Bedeutung und Struktur übernommen wird (Kalkierung) und gleichzeitig eine Komponente in gewisser Weise sich einer Direktentlehnung nähert (das lit. *siera* in lit. *siera žemė* wird mit ostslaw. *syra(ja)* in *syra(ja) zemlja* identifiziert), sind die Belege die auch inhaltliche Übereinstimmungen und somit den kulturellen Kontext der Übernahmen enthalten:

1) die bereits oben in den Beispielen (14) und (15) erwähnte Übereinstimmung hinsichtlich des Stillseins, Schweigens vor der

Mutter Erde: russ. *Mat' syra zemlja govorit' nel'zja*; lit. *...tyli kaip siera žemyna*.

2) Verwünschungen und damit im Zusammenhang stehende Kontexte wie z. B.

(30) russ. *Kak jęgo, grešnika, mat' syra zemlja nosit!* (Dal', Posl., 229) 'wie kann ihn nur, den Sünder, die Mutter Erde tragen!';

(31) lit. *Kad tau sieroj žemynyka nenešiotu!* (LKŽ, II, 529. — Armoniškės) 'Daß dich die feuchte Mutter Erde nicht mehr tragen möge!' (Vgl. (5)).

(32) lit. *Kad tau apart po sierqj[a] žemyna!* (*Kad tu pastiptum!*) (LKŽ, I², 314) 'Daß man dich zupflügen (unterpflügen) möge unter die feuchte Erde! (Daß du krepieren mögest!).

Verwünschungen des Typs, daß jemanden die Mutter Erde nicht tragen solle oder jemand in die feuchte Erde gehöre (d.h. daß jemand das Leben verwirkt hat) sind gewiß sehr alt und stehen auch in Zusammenhang mit Schwüren bei der Mutter Erde und den obszönen Beschimpfungen des russischen *mat*, die nach B. A. Uspenskij urslawischer Herkunft sind und mit dem Kult der Erde (und Erdmutter) korrespondieren²⁰.

¹ E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Göttingen, 1955, S. 783.

² Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1981, t. XII, s. 529.

³ Die Beispielsätze (6) und (7) stehen nach dem Zeichen ^, das kleine Genre der Folklore und bildliche Redensarten anzeigt.

⁴ K. Vosylytė (Lietuvių kalbos palyginimų žodynas, Vilnius 1985 = LKPŽ, 338) führt bei diesem Beispiel fälschlicherweise nach dem Wort *siera* die Erklärung *pilka* 'grau' an.

⁵ Das Phrasem steht nach dem Zeichen ^, das Phraseologismen signalisiert.

⁶ Vgl. P. Эккерт. Фольклористика, семиотика и этимология // Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. К 80-летию чл.-корр. АН СССР С. Г. Бархударова. М., 1974, с. 114–120.

⁷ Weitere Entsprechungen (und vielleicht auch unter Anlehnung an ostslawische Vorbilder entstanden) sind: lit. *vilkas pilkas* 'grauer Wolf' (vgl. slaw. *серый волк*), *pilkas kiškis* 'grauer Hase' (russ. *серый заяц, серенький*).

⁸ A. Juška. Lietuviškos dainos, I, Nr. 408, s. 764–765 (abgekürzt: JD).

⁹ Lietuvių tautosaka (abgekürzt: LT) I., Dainos. Vilnius, 1962, s. 65 (Nr. 42).

¹⁰ LT, I, s. 68 (Nr. 45).

¹¹ Ibidem, s. 71 (Nr. 71).

- 12 В. Даль. Пословицы русского народа. М., 1957, с. 202, 413, 837.
- 13 LT, II, Vilnius, 1962, s. 156 (Nr. 117).
- 14 Lietuviškos dainos. Užrašė A. Juška, III, Kazan, 1882 (nach dem Wiederdruck von 1954, Vilnius), s. 620–621 (Nr. 1509).
- 15 Ibidem, II, s. 64–65 (Nr. 498).
- 16 Alle Beispiele von (20) bis (23) stammen aus LKPŽ, s. 338.
- 17 Б.А. Успенский. Религиозно-мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии (Семантика русского мата в историческом освещении) // Semiotics and the History of Culture. In Honor of Jurij Lotman. Studies in Russian, Slavica Publishers, Inc. Columbus Ohio, 1988, p. 217.
- 18 M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch, Bd. II. Heidelberg, 1955, S. 389–390.
- 19 В. Даль. Пословицы русского народа..., с. 952.
- 20 Vgl. Б.А. Успенский. Религиозно-мифологический аспект..., p. 212–232.

P. Эккерт

Литовское (гибридное) *sierà žėmė* и его восточнославянские источники

Литовское фольклорное *sierà žėmė* 'сырая земля' калькировано из вост.-слав. *сыра(я) земля*, причем компонент *sierà* является непосредственным заимствованием из слав. **syra(ja)*, в то время как *žėmė* — исконно-родственное праслав. **zemjā* (русск. *земля*) слово. Только в фольклорном обороте *sierà žėmė* лит. *sierà* заимствовано из **syra(ja)*, в остальных случаях лит. *siėras*, -à является заимствованием из праслав. **sěръ, sěryjь* 'серый', ср. литовск. *sierà antėlė* 'серая уточка', *siėras žirgas* 'серый конь' и т. д.

Литовское фольклорное *sierà žėmė* по семантике и по употреблению связано с идеей отмирания, смерти, погребения в земле, а также с образом древней славянской богини-матери **matъ syra zemjā* (русск. *мать сыра земля*). О тесной связи лит. *sierà žėmė* <*žėmyna*> и *sieroji žėmynyka* со слав. **matъ syra zemjā* свидетельствуют точные соответствия типа русск. *Мать сыра земля говорить нельзя* и литовск. *...tyli kaip siera žėmyna* 'молчалива (тиха), как сырая земля'.

II

Из истории славистики

Izmail I. Sreznevskij's Attitude towards the Slovak Folk Prose

The extraordinary personality of Izmail Ivanovič Sreznevskij (1812–1880) still attracts the attention both of scholars in his own country and of those in other Slavic countries. It might therefore appear that his very extensive and multi-faceted work has been sufficiently explained. If we think, however, more deeply of his wide views and have an opportunity of acquainting ourselves with his legacy, we sometimes discover hitherto unknown facts. One sector of these unknown facts we should like to treat in our contribution. However, it is indispensable to treat this sector in a wider context, and for this purpose some facts have to be recalled.

Izmail I. Sreznevskij studied law in Kharkov and beginning from 1837 also taught economics and statistics, but from his youth onwards his sphere of interest embraced also folklore, ethnology and Slavic dialects. In the early thirties he devoted himself to the study of Ukrainian folklore¹ and in 1831 his first study in this domaine was published², soon to be followed by others. He had already published six, when in 1832, at the age of twenty, he tackled a wider Slavic field by the publication of a 62-page collection «Slovackija pesni»³ (Slovak folksongs). The texts for this collection I. I. Sreznevskij gathered in Kharkov itself from vagrant dealers in fragrant oils and saffron from the Turiec area, and published them first as additional material for students studying Slavic Philology, in Russian transcription and later, in 1835, as a book by itself⁴. It is interesting that he did not establish contact with Slovaks first in a Slovak environment, but outside it, and expanded this contact also outside it, in 1840. In this year he made acquaintance with L'udovít Štúr in Halle, where Štúr was doing his last semester⁵. At that time, however, it was perfectly clear that I. I. Sreznevskij had the intention of visiting Slovakia for a few weeks. He called on Halle during his study visit in

Lusatia, part of a longer visit to the Slavic countries, undertaken in September 1839 and concluded in September 1842⁶. He came to Slovakia almost the end of this long journey and spent here, with one minor break, the entire spring and beginning of summer, more precisely: on March 19, 1842 he arrived from Vienna in Bratislava and left Slovakia again on July 15, 1842, through the Bereg region for Poland and Russia⁷.

So far, these facts are more or less known. In its main outlines, I. I. Sreznevskij's stay in Slovakia is also known, but only on the basis of three of his manuscripts⁸. When in October 1975 we had an opportunity, however, of acquainting ourselves directly, though not in its full scope, with I. I. Sreznevskij's legacy in Moscow, we had access to further manuscripts⁹ and extended our idea of what Sreznevskij came to know in Slovakia. He noted dialect terms and expressions, took notice of many features belonging to the sphere of ethnology, and accompanied his observations with drawings, for instance of national costumes, women's hairstyle or wooden houseware, he took notes of customs and habits and noted down written and other kinds of folklore such as games, riddles, proverbs and sayings.

From the people's mouth he also heard folktales. However, precisely around this sector of verbal folklore certain features are not clear. The researchers of the archival funds add characteristics to each of Sreznevskij's manuscripts; the manuscript of the «Zapisnaja knížka pu-tešestvija v marte-maje 1842 g.» (Notebook of the Journey in March-May 1842) has in its characteristic a mention of stories and legends, and the manuscript of the «Zapisnaja knížka pu-tešestvija v ijune-ijule 1842 g.» (Notebook of the Journey in June-July 1842) mentions that Sreznevskij took notes of folktales and of their brief contents. In our studies of Sreznevskij's legacy at the time, however, we did not come across these notes. Nevertheless we became convinced that Sreznevskij did hear folktales in Slovakia. For instance, if he wrote down «To ešte bolo za Kakonkral'a» (This happened under the rule of King Kakon)¹⁰, this means that he took a note of an introductory formula rather characteristic of Slovak folktales.

It may be assumed, that Sreznevskij's interest in Slovak folk prose caught the members of Štúr's generation, and that in this way the birth of concentrated efforts to get to know the Slovak prose store was quickened or intensified from the forties of the past century. Here one may accept Rudo Brtán's opinion of Sreznevskij's influence on Janko Kalinčiak and his registering of Slovak folktales¹¹. Sreznevskij had a similar effect on Bohuslav Nosák-Nezabudov, who wrote down folktales for him at his direct request. Among the material,

which the Russian slavacist carried with him back from Slovakia, or which was delivered to him a few days later, there is also a tale entitled «O troch jabúškách» (About three apples); this text, alongside a few others, is dated June 23, 1842¹².

In our opinion, this tale is not the only Slovak prose composition, with which Sreznevskij returned home. Indubitably, he carried with him a larger number of Slovak folktales, otherwise the idea to publish a collection, which would be the first of its kind, could not have arisen in his mind. After all, Ján Francisci-Rimavský began to compile a manuscript collection of Slovak folktales together with songs and sayings under the title «Prostonárodný zábavník» (Popular Almanac) in 1842–1843, only later, when three popular Slovak stories, such as he came to know them in 1842 from Samuel Reuss in Revúca, prompted him to this step. As he admitted himself, these three stories aroused in him the resolution to devote himself more effectively to the collecting of folktales¹³.

The Popular Almanac, which J. Rimavský had arranged, remained, however, in manuscript, until he decided later to publish Slovak folktales in the form of a book and carried out his intention in 1845, under the title «Slovenskie povesti» (Slovak folktales). This thin book comprises only ten tales, whereas I. I. Sreznevskij, when he was thinking of publication, had at his disposal, as far as we know, at least eleven. As collectors, Petr Skalozub-Jamriška is represented with seven extensive texts¹⁴, Horislav Bedřich Salay with two brief registrations¹⁵, and Bohuslav Nosák-Nezabudov with a single text just as L'udovít August Gal¹⁶. About these records, which in our opinion gave Sreznevskij the idea of publishing a collection of Slovak folktales, there has so far been no report in Slovakia, although we were neither the first nor the last to study this part of the legacy.

L'udovít Štúr, whose relations with Sreznevskij grew into a sincere friendship during the latter's sojourn in Slovakia, in his letter of May 8, 1843, welcomed his intention to publish Slovak tales and songs from the Tatra¹⁷. From this letter we learn at the same time, what books Štúr sent to Sreznevskij before that, and with them also the folktales of the Slovaks by S. Reuss and J. Kalinčiak. He had sent them to L'vov to the address of Milikovský, whom he earnestly requested in a letter to forward it all to Sreznevskij without delay¹⁸. According to a letter written in German to the go-between mentioned he did so on April 13, 1843¹⁹.

By Štúr's consignment, the number of texts grew apace and no doubt was sufficient for a relatively large collection. It is a matter of regret that the publication did not materialise. Most probably as

a result of his considerable occupation — after his return from a three years' journey, I. I. Sreznevskij was appointed professor at the University of Kharkov and was at the same time preparing a slavistic study, on the basis of which he was the first in Russia to be admitted to the degree of Doctor of Slavic Philology. How voluminous Štúr's consignment was, we can so far only partly imagine. We may assume, that what prevailed in it were texts made available by S. Reuss, to whom Štúr's followers attributed the first step in the deliberate collection of the Slovak folktales and whom they looked upon as their teacher.

But precisely these texts we did not encounter in our research. We only came across four folktales registered by Janko Kalinčiak²⁰ and have described them precisely, just like the entire eleven tales which Sreznevskij carried with him to Kharkov, and which obviously cannot be identical with the texts delivered by S. Reuss to Sreznevskij.

We were the first to study Kalinčiak's records of Slovak folktales. In 1945 Rudo Brtáň studied the archives and reported on them from the point of view of literary history after 33 years. As a result of this long gap, however, his report is not entirely consonant with reality²¹. He mentioned Kalinčiak's records of «Zlý brat» (The bad brother) and «Pripovjedka o Hraškovi Jankovi» (The story of Janko Hraško — Tom Thumb), he did not, however, quote the first two tales «O sklenom zámku» (The castle of glass) and «Adamko a Evička» (Adam and Eve). In addition, however, he made reference to the story «O třech bláznoch» (The three fools), which we did not find in the legacy and which was also unknown to the Russian scholar N. A. Kondrašov, who after our study in the archive and independently of it prepared the four aforementioned tales of Kalinčiak for publication from a linguistic point of view²².

Of these four stories, three were published in the periodical «Slovenský národopis». What was left out was the story of the bad brother, because it had been taken over into the collection «Slovenské povesti»²³ by A. S. Škultéty and P. Dobšinský, literally as Janko Kalinčiak had written it up in 1842 for the Popular Almanac in the dialect of Liptov²⁴. The story of Tom Thumb was also published²⁵, but P. Dobšinský partly rearranged it, so that interesting deviations emerge from a comparison of his text with Kalinčiak's original²⁶, so that for a deeper study of the textual interventions of the classic of the Slovak folktale it was important to publish the original text. Especially precious are the stories «The castle of glass» and «Adamko and Evička», which in J. Kalinčiak's version in the «Zábavník» and «Codex» are unknown in Slovakia.

These two records of Kalinčiak's already tell us, how necessary it was to study I. I. Sreznevskij's legacy. Its significance even in such a narrow domain as the Slovak folktales will appear in its full light if we study again the eleven texts mentioned, which the scholar carried with him from Slovakia. We deem it desirable to give first of all the names of these tales. The Russian researcher acquired from Petr Skalozub-Jamriška the following texts: 1. «O medved' Mackovi» (Macko the Bear), 2. «O Vintalkovi», 3. «Janko nevedel sa bát', tak sa išou do sveta učiť bát'» (Janko did not know how to be afraid, so he went into the world to learn how to be afraid — Undaunted), 4. «O jednom kráľovi šwo mau troch synov» (About a king who had three sons), 5. «O najkrajšom synovi» (About the fairest son), 6. «O svetskej krásé» (The greatest beauty of the world), 7. «O tatoškovi» (A miraculous horse). From Horislav Bedřich Salay comes «Povest o kralikovi» (Legend of a wren) and «Povest o netepjerovi» (The Bat). From Bohuslav Nosák comes the aforementioned tale of the Gemer dialect «O troch jabúškách» (The three apples) and from L'udevít August Gal the story in dialect «O ednom mladom princovi a o edné žobrákové djevke» (About a young prince and a beggar girl).

When reading these texts, we become aware, that they stem from the earliest period of a more systematic collecting activity, from which we have but few reports about Slovak folk prose. We ask, accordingly, first of all the question as to what extent they expand our existing knowledge of the state of Slovak folktales at the time, as well as about the state of collecting efforts. The answer is an outright surprise: although it is possible to reckon also in Slovakia with the appearance of older manuscripts — and along these lines the research activity is far from being concluded — nevertheless according to what we so far know, the texts represent for the scholar in their majority something new and hitherto unknown. This does not mean, however, that each of the eleven records deals with entirely unknown material.

What is involved as a rule are variations or versions of the topics, which we have registered in Slovakia sometimes with a larger, sometimes with a smaller number of variants. For instance, we are still registering in Slovakia a legend about the election of the king of birds, in which the little wren in the end emerges victoriously by a trick. In H. B. Salay's version, however, there are some details, which we do not find in the other Slovak variants; for instance, when this old report speaks of the candidates for the royal throne and describes the positive qualities of the peacock, stork and a certain forest bird. The type of the choice of the king of birds is spread in the whole world (AaTh 221 or 221 A), otherwise it exists in a version about the war between

the birds and the animals, in which the bat (or some other animal) acts, always joining the victorious party. According to the international catalogue, this fable, originally one of Aesop's, has been registered only from the oral tradition of the Latvians and Slovenes, but has also been recorded in other continents (AaTh 222 A). If we today have at our disposal an old Slovak variant, this extends our idea of its frequency in the European region; moreover, it is so far the only Slovak record.

With these two examples we do not wish to point out that in each of those texts we are dealing with something entirely new, whether we have concrete details or variants of types, which were so far lacking in the recorded stock. That is why we seek above all to establish, whether some of these texts were not also preserved at that time in Slovakia. In one case so far we have succeeded; the tale «O Vintalkovi», which P. Skalozub-Jamriška recorded, also entered the «Prostonárodní zábavník»²⁷.

Two compositions recorded by the same collector and entered in the «Zábavník» referred to could be misleading, if we only paid attention to the titles themselves. The story «Rozprávka o Jankovi a Mackovi»²⁸ could at first sight be identified with the text «O medved' Mackovi», precisely because records of one and the same researcher are involved. Yet the similarities in the titles are but coincidental and the stories are conceived on entirely different subjects. The record in the «Zábavník» is based on the type about the magic bird's heart (AaTh 567), and it is joined — similarly as in many variants of different peoples — by elements of a kindred subject about magic objects and fruits (AaTh 566), yet there also an episode of the choice of the king, registered in the Polish catalogue, infiltrates the main action: on whose head the crown falls he becomes the king. On the contrary, the manuscript preserved by Sreznevskij develops the universally known subject of the princesses in the underground (AaTh 301, version B), but develops it broadly in a peculiar manner. What is underground are not three kidnapped princesses, but the sister of the hero — the bear Macko; he must finally also liberate the enchanted kingdom, and with it the enchanted maid Tekvica, who then becomes his wife. So we have here an affinity with the type of the man and his lost wife, concretely with part of the history of the castle of temptation (AaTh 400).

What can mislead even more, are almost entirely identical names, which P. Skalozub-Jamriška gave the text in the «Zábavník» (Story of a king)³⁰, and in the manuscript for I. I. Sreznevskij under the same heading («O jednom kráľovi»). This case also does not involve the same composition. The record in the «Zábavník» has the subheading «The

despised brother», but this by itself does not give much away about what material is here being worked on. The narrator or recorder kept faithfully to the basis of the material, in which the youngest of three brothers gains the princess as an unknown knight, when by jumping up on his horse he takes three apples from the princess³¹. On the contrary, the record from Sreznevskij's legacy realizes the type of the dancing shoes (AaTh 306), and this again in relatively great depth. This time the material was enriched by a type, more precisely a part of the action which entered various tales: the story of the giants quarrelling about three inherited magic objects (AaTh 518).

The brief observations about the material of the two tales «O medved' Mackovi» and «O jednom kráľovi», also testify that the notes found in Sreznevskij's legacy add to our present knowledge. The same can be said about all further tales whose records we still have not found in Slovakia, where the originals or copies maybe do not exist. On the whole it can be asserted that attestations in Sreznevskij's legacy have a considerable effect on the register of material in the very first records of the Slovak oral tradition.

When we consider the generic characters of the texts handed or sent to the Russian researcher, we find that two of them belong to the group of animal stories and all the others to the magic tales. This dominance of the magic kind does not take us by surprise. It goes without saying that we may not from it infer a dominant position in the live narrative repertoire of the time. The popularity of magic compositions is a reflection of the collectors' interest, although the Slovak collectors of the forties of the last century were not the only ones to display their fieldwork along these lines. At the time, the situation was similar also in other countries; it is, as if the spirit of the Brothers Grimm had penetrated into Slovakia, too, although their direct influence in our country cannot be proven and one can only speak about a mediated effect.

The assessment of the records on which we concentrate in our essay would be incomplete, if we considered only the textual side. We may not omit the names of the recorders either. Partly we have already mentioned them, but now it behoves us to give prominence at least to one name — the name of Petr Skalozub-Jamriška. In the past we used not to devote any attention to him. We knew that four tales in the «Prostonárodní zábavník» r. 1842–1843 are from his pen, namely apart from the three already mentioned also the «Rozprávka o krásnom páru» (Story of the beautiful pair)³²: three of these stories got into the «Slovenské povesti» of A. H. Škultéty and P. Dobšinský, of them only two as part material for the printed edition, because

the records of other researchers were also taken into consideration³³. When we think that in the legacy of I. I. Sreznevskij there were seven texts from P. Skalozub-Jamriška, of which only one, «O Vintalkovi», appears also in «Zábavník», we see that we know ten records of tales from him. It is different, however, when we have in mind the names of the collectors from the beginning of the forties of the last century and if we bear in mind not only the important scope of his texts, but above all «Zábavník» quoted. In this space of time, P. Skalozub-Jamriška occupies the first place among all recorders. After acquainting ourselves with Sreznevskij's legacy we round off the image of P. Skalozub-Jamriška as a universal collector. From him, the Russian scholar took in addition to the tales also 51 riddles, hundreds of proverbs and even a description of the carriage and its terminology. Other than that, the image of the Slovak collector remains unknown, we do not know, who he was and where he acted.

As we can see, there remains a great deal yet to be done in connection with the texts handed over or sent to I. I. Sreznevskij. In any case, our research into the legacy of the great scholar is not complete. Nevertheless it may be concluded that that part, on which we concentrated in our essay, has its indubitable significance not only as evidence of Sreznevskij's lively interest in the prose folklore of our people, but also for a deeper knowledge of the early stages in the single-minded collection of the Slovak folk prose.

-
- ¹ *И. М. Колесницкая*. И. И. Срезневский как фольклорист (1840–1850 гг.) // *Русский фольклор*, т. 8, с. 297–328.
 - ² *Б. П. Курдан*. Собиратели народной поэзии. Москва, 1974, с. 81–82.
 - ³ *R. Brtán*. Slováci a Sreznevskij. In: *Slovanský sborník 1*, Turčiansky Sv. Martin, p. 119. See about it *J. Horák*. I. I. Sreznevského sbírka lidových písní slovenských, in: *Národopisný věstník československý XVIII* (1926), p. 117–133.
 - ⁴ *J. Hrozičik*. Turčianski olejkári a šafraníci. Bratislava 1981, p. 162. The literature also mentions that Sreznevskij noted the songs which he published, also from Slovak itinerant craftsmen. See the commentary by *J. Ambruš*, in: *Listy L'udovíta Štúra I (1834–1843)*, Bratislava 1954, p. 628; also *R. Brtán* (as note 3).
 - ⁵ *R. Brtán* (see note 3). According to *J. Ambruš's* note to Štúr's letter to Sreznevskij, they got acquainted in Jan.–Feb. 1840. See *Listy L'udovíta Štúra I* (as note 4), p. 483, note 5.
 - ⁶ *Путевые письма Измаила Срезневского из славянских земель 1839–1842*, с приложением карты. СПб, 1895; *В. А. Францев*. И. И. Срезнев-

- ский и славянство // Памяти Измаила Ивановича Срезневского, кн. 1, Петроград, 1916, с. 94–167.
- ⁷ *R. Brtáň* (as note 3), p. 122–126; *И. И. Срезневский*. Собрание словацких материалов И. И. Срезневского. Рукопись, Российский Государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ — RGALI), ф. 436, оп. 1, № 2048.
- ⁸ *R. Brtáň* (as note 3), p. 122.
- ⁹ In the Sreznevskij fund in the RGALI I studied the following manuscripts concerning his stay in Slovakia: fund 436, op. 1, No. 45, 46, 49, 53, 54, 55. The other manuscripts come from other collectors.
- ¹⁰ *И. И. Срезневский*. Записная книжка путешествия в марте–мае 1842 г., л. 23; РГАЛИ, ф. 136, оп. 1, № 45.
- ¹¹ *R. Brtáň*. Folklórne zápisy Jána Bohuslava Kalinčiaka, in: *Slovenský národopis*, vol. 26 (1978), p. 112–120.
- ¹² I. I. Sreznevskij's manuscript materials, No. 758.
- ¹³ *J. Polívka*. Súpis slovenských rozprávok I, Turčiansky Sv. Martin 1923, p. 5. In our opinion, what is involved are three tales collectively denoted as «Altslavische Sagen aus Pannonien 1840», also incorporated in the «Prostonárodní zábavník» I, which probably formed the basis of the manuscript later denoted Codex Revúcky B.
- ¹⁴ Sreznevskij's manuscript materials, No. 766.
- ¹⁵ Also there, No. 761. H. B. Salay (Szalay) came from the Pešt Komitat and was at that time studying theology in Bratislava. Later he became a teacher in Kis-Körös.
- ¹⁶ Also there, No. 751.
- ¹⁷ *R. Brtáň*. Z korešpondencie L'. Štúra so Sreznevským, in: *Slovenský sborník I*, Turčiansky Sv. Martin, 1947, p. 147; *Listy L'udovíta Štúra I* (as note 4), p. 354.
- ¹⁸ *R. Brtáň* (as note 17), p. 148; *Listy L'udovíta Štúra I* (as note 4), p. 355.
- ¹⁹ *R. Brtáň* (as note 17), p. 146.
- ²⁰ Sreznevskij's manuscript materials, No. 755, 756.
- ²¹ *R. Brtáň* (as note 11), p. 112.
- ²² *N. A. Kondrašov*. Štyri rozprávky z Liptova zapísané Janom Kalinčiakom, in: *Slovenský národopis*, vol. 21 (1973), p. 579–589.
- ²³ *A. H. Škultéty*, *P. Dobšinský*. Slovenské povesti. Rožňava — Banská Štiavnica 1858–1861, p. 536–540.
- ²⁴ Prostonárodní zábavník r. 1842–1845, I, p. 59–65. See *J. Polívka*. Súpis slovenských rozprávok II, Turčiansky Sv. Martin 1921, p. 383.
- ²⁵ *P. Dobšinský*. Prostonárodné slovenské povesti I, Turčiansky Sv. Martin 1880, p. 40–59.
- ²⁶ Prostonárodní zábavník (as note 24), p. 346–362, in: *J. Polívka* (as note 24), p. 476–483.
- ²⁷ Prostonárodní zábavník (as note 24), II, p. 47–60. See *J. Polívka* (as note 24), p. 111–113.
- ²⁸ Prostonárodní zábavník (as note 24), p. 346–362, in: *J. Polívka* (note 24, p. 476–483).

- ²⁹ *J. Krzyżanowski*. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym I, Wrocław; Warszawa; Kraków 1962, type 747.
- ³⁰ Prostonárodní zábavník (as note 24), p. 299–306. In: *J. Polívka* (as note 24), p. 230–233.
- ³¹ *J. Polívka* (as note 24, p. 229–230) drew attention to details.
- ³² Prostonárodní zábavník (as note 24), p. 308–318. Cf. *J. Polívka* (note 24) III, 1927, p. 406–408.
- ³³ *L. V. Rizner*. Bibliografia písomníctva slovenského II. Turčiansky Sv. Martin 1931, p. 241.

В. Гашпарикова

Отношение И. И. Срезневского к словацкой народной прозе

Исключительная личность И. И. Срезневского (1812–1880) с давних пор привлекала внимание ученых. Автор статьи имела возможность в октябре 1975 г. познакомиться — хотя не полностью — с наследством И. И. Срезневского в Москве и, в частности, смогла составить представление о том, что этот ученый обнаружил в течение своего путешествия по Словакии с 19 марта по 15 июля 1842 г.. Он записывал диалектные слова и выражения, уделял внимание многим явлениям, принадлежащим к области этнографического исследования, делал заметки об обычаях, записывал песни и другие фольклорные жанры, как, например, игры, загадки, поговорки и поговорки.

Автор статьи интересовалась отношением И. И. Срезневского к словацким народным сказкам. Можно предполагать, что интерес Срезневского к словацким сказкам повлиял на поколение Л. Штура и таким образом оказал действие на ускорение изучения словацкого прозаического фонда с 40-х гг. прошлого века.

И. И. Срезневский оказал влияние на Я. Калинчака и на Б. Носака-Незабудова. Богатый материал, который русский славист собрал на территории Словакии, содержал также сказку «О трех яблочках». По мнению автора, эта сказка не была единственным прозаическим произведением, с которым И. И. Срезневский возвращался домой.

Первый сборник словацких сказок, названный «Словенские повести», содержит только десять сказок, при том, что И. И. Срезневский, предполагая издание сборника словацких сказок, имел в своем распоряжении не менее одиннадцати сказок. Л. Штур, отношение которого во время пребывания Срезневского в Словакии перешло в искреннюю привязанность к русскому ученому, увеличил их число за счет записей С. Ройсса и Я. Калинчака. Приходится только жалеть, что этот замысел Срезневского не был реализован.

*П. А. Дмитриев,
Г. А. Лилич,
Г. И. Сафронов
(С.-Петербург)*

Н. И. Толстой и славистика в Ленинградском— Петербуржском университете

В 1997 г. на традиционной мартовской научной конференции филологического факультета Санкт-Петербургского университета одно из заседаний было посвящено памяти Никиты Ильича Толстого. На заседании было сказано много добрых слов о Никите Ильиче, о его необычайно широкой эрудиции и не менее широком диапазоне его научных интересов, о множестве научных проблем, которыми он занимался и при разработке которых сумел высказать свои оригинальные суждения, не только решающие ту или иную проблему на современном этапе, но и открывающие пути и перспективы ее дальнейшего исследования. Выступавшие подчеркивали, что истории еще предстоит осознать в полной мере ту невосполнимую утрату, которую все мы понесли в связи с кончиной Никиты Ильича Толстого, осознать и оценить колоссальный вклад в Славистику и вообще в мировую Науку этого замечательного человека, великого труженика и подвижника, выдающегося Ученого и организатора.

Особенно тепло говорили выступавшие о тесном и плодотворном сотрудничестве Н. И. Толстого со славистами Ленинградского—Петербургского университета. Это сотрудничество началось еще в те годы, когда Н. И. Толстой был аспирантом, а кафедрой славянской филологии в Ленинграде заведовала проф. Э. А. Якубинская-Лемберг. Ленинградским сербскохорватам была поручена подготовка вузовского учебника по сербскохорватскому языку, и Э. А. Якубинская, возглавившая коллектив по написанию учебника, обсуждала с Н. И. Толстым и его отцом И. И. Толстым, автором известного «Сербскохорватско-русского словаря», и другими московскими сербскохорватами программу курса и основные принципы составления учебника. Н. И. Толстой обсуждал с Э. А. Якубинской также некоторые идеи своей кандидатской диссертации, поскольку

Э. А. Якубинская в свое время также изучала проблему употребления кратких и полных прилагательных в славянских языках.

Еще более тесные связи и плодотворное сотрудничество Н. И. Толстого с ленинградскими славистами установилось после того, как он познакомился с проф. Б. А. Лариным. Н. И. Толстой высоко ценил Б. А. Ларина как ученого, он включал его в число своих учителей и научных наставников. Б. А. Ларин в свою очередь видел в Н. И. Толстом необычайно талантливого и перспективного исследователя. Они стали близкими друзьями, часто встречались, обсуждали различные проекты славистических исследований. Н. И. Толстой всегда говорил о Б. А. Ларине не только с восхищением, но и с любовью. Он внимательно изучал труды своего старшего друга. О постоянном интересе Н. И. Толстого к творчеству Б. А. Ларина и о хорошем знании его работ свидетельствует, в частности, его статья «Из истории отечественного языкознания времен Отечественной войны 1941–1945 гг.» (Славянская филология. Л., 1988, вып. 6, с. 191–200), в которой наряду с глубокими суждениями о научном наследии Б. А. Ларина и других ученых он публикует разысканный им Протокол № 17 заседания кафедры русского языка МГПИ им. В. И. Ленина от 6 июня 1941 г., содержащий подробную запись обсуждения доклада Б. А. Ларина «Данные Парижского словаря 1586 года по разговорным диалектам Московской Руси 16 века», сопровождая публикацию своими комментариями и анализом этого и других трудов Б. А. Ларина.

В то время, когда Б. А. Ларин был деканом филологического факультета и заведующим кафедрой славянской филологии Ленинградского университета, Н. И. Толстой часто приезжал в Ленинград. Помимо обсуждения и решения деловых вопросов с Б. А. Лариным и другими учеными он принимал участие в заседаниях Словарного кабинета филологического факультета, выступал с докладами перед ленинградскими славистами, неизменно поражая всех энциклопедичностью и глубиной своих познаний в различных областях науки и оригинальностью своих идей и предложений.

Творческие связи Н. И. Толстого с ленинградскими славистами продолжились и после смерти Б. А. Ларина. Круг ученых, с которыми он сотрудничал, постоянно расширялся. В то время он уже начал систематические полевые разыскания в одной из наиболее архаичных зон современной Славии — белорусском и украинском Полесье. К участию в этих разысканиях он привлекает и ленинградских ученых, аспирантов и студентов. Во время этих экспедиций получил хороший опыт «толстовской» полевой работы не один ленинградец и, в частности, В. М. Мокиенко, ставший впоследствии

одним из наиболее активных помощников Н. И. Толстого, пропагандистом его идей и методов работы не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Начатое как диалектное, обследование Полесья постепенно перерастало во всестороннее изучение этой области. Готовились кадры, собирались единомышленники из Москвы, Ленинграда, Минска, Житомира, Львова, Томска, Тарту и других славистических центров, разрабатывалась и уточнялась методика, создавалась научная школа, которая впоследствии под руководством Н. И. Толстого и С. М. Толстой стала осуществлять этнолингвистическое изучение Полесья и всей Славии.

В 1972 г. Н. И. Толстой защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук на тему «Опыт семантического анализа славянской географической терминологии». Защита проходила на заседании Ученого совета филологического факультета Ленинградского университета. Труд Н. И. Толстого, предварительно одобренный на совместном заседании кафедры русского языка и кафедры славянской филологии филологического факультета Ленинградского университета, во время защиты на Ученом совете получил высшую оценку официальных оппонентов докторов филологических наук проф. Б. Л. Богородского, проф. Л. С. Ковтун, проф. Н. А. Мещерского, доктора географических наук проф. Э. М. Мурзаева, а также ряда ученых, приславших свои отзывы в письменном виде: проф. А. С. Мельничука (Институт языковедения им. А. А. Потебни, Киев), проф. Ю. А. Карпенко (Одесский университет), проф. А. В. Бондарко (Институт языкознания АН СССР), проф. Г. Г. Мельниченко (Ярославский университет), доктора филологических наук В. В. Мартынова (Институт языкознания им. Я. Коласа, Минск), проф. Ф. Т. Жилко (Институт языковедения им. А. А. Потебни, Киев). Блестящая защита Н. И. Толстого стала праздником не только для него, но и для всего филологического факультета Ленинградского университета. В последующие годы ленинградские слависты неоднократно имели возможность слушать доклады Н. И. Толстого на научных конференциях, а также его выступления на заседаниях Научно-методического совета Минвуза СССР, проводившихся в то время обычно в Ленинградском университете, в которых Н. И. Толстой делился опытом преподавания курсов «Старославянский язык» и «Введение в славянскую филологию». Неоднократно он выступал с показательными лекциями по этим предметам. Слушать эти лекции приходили не только преподаватели и аспиранты, но и студенты.

В 1978 г. на Всесоюзной координационной конференции по комплексным проблемам истории и культуры славянских и бал-

канских народов, состоявшейся в Звенигороде, Н. И. Толстой предложил провести в Ленинграде симпозиум «Вопросы комплексного изучения древней славянской культуры», попросив поручить его организацию ленинградской кафедре славянской филологии. Это предложение было принято. Был создан оргкомитет во главе с проф. В. М. Мокиенко. Практически организацией симпозиума занималась вся кафедра. Секретарем оргкомитета был В. И. Ермола. Подготовка симпозиума раскрыла особенности Н. И. Толстого как организатора. Он вел постоянную переписку с оргкомитетом и кафедрой, вникая во все детали подготовки, проявляя заботу о каждом возможном докладчике или участнике симпозиума. Так, в письме от 2 февраля 1981 г. он предлагает предусмотреть на симпозиуме проведение круглого стола по проблемам полевой работы. «Среди таких „полевиков“ я выделяю Никончука, Охомуш, Никитину, Черепанову». Позднее он уточняет свой замысел и тему симпозиума и в письме от 5 марта 1981 г. пишет о необходимости «предоставить слово таким лицам, как Аниченко, Хроленко, Охомуш, Никончук, Никитина, Черепанова, Цыхун, Дерягин, Смольская, Попов, Зубова, Усачева и др. Эти люди дадут конкретный (часто новый полевой) материал и в этом важность и необходимость их выступлений, чтобы не были лишь декларации об этнолингвистике, а были и конкретные факты и показ их обобщения, обработки, интерпретации». В своих письмах он волнуется, не забыли ли пригласить на симпозиум А. Е. Супруна, И. А. Дзензелевского, И. Г. Добродомова, В. В. Колесова, Ю. В. Откупщикова, А. Л. Топоркова, подсказывает, с какими докладами могли бы выступить К. К. Трофимович, П. А. Дмитриев, Г. И. Сафронов, настаивает на том, что в программу симпозиума следует включить не только обобщающие доклады, но и «частные сообщения» по Полесью, «чтобы показать что еще „в поле“ есть и как это „что“ добывать». Почти все рекомендации Н. И. Толстого удалось выполнить. Работу оргкомитета он в целом одобрил. «Вообще же, мне кажется, что все делается в Ларинском духе, который умел привлекать внимание к научному Ленинграду, снискал себе этим славу и вечную добрую память о (нем), и себе», — писал Н. И. Толстой в одном из писем на кафедру.

Симпозиум «Вопросы комплексного изучения древней славянской культуры (этногенетический аспект)» состоялся на филологическом факультете Ленинградского университета 9–10 июня 1981 г. Проводили его Научный совет АН СССР по комплексным проблемам славяноведения и балканистики (Ленинградское отделение), Институт славяноведения и балканистики АН СССР (сектор

этнолингвистики, фольклора и славянских древностей) и Ленинградский университет (кафедра славянской филологии).

К сожалению, не все из приглашенных на симпозиум ученые смогли принять в нем участие, тем не менее симпозиум был очень представительным и по числу славистических центров, и по числу участников. Всего было заслушано и обсуждено 26 докладов (8 докладов были представлены славистами филологического факультета Ленинградского университета). Центральное место в работе симпозиума заняли проблемы этнолингвистики. Большой интерес всех участников вызвал доклад Н. И. Толстого «О предмете этнолингвистики и ее задачах в славистике». А. В. Гура, О. А. Терновская, С. М. Толстая выступили с докладом «Программа Полесского этнолингвистического атласа». Эта же проблематика обсуждалась в ряде других докладов: Н. В. Никончук — «К вопросу о взаимосвязи изоглосс и изопрагм явлений материальной и духовной культуры»; Л. Н. Виноградова — «Архаические элементы в календарных обрядах славян»; П. Ф. Романюк — «Задачи, методы и особенности этнолингвистического исследования свадебного обряда правобережного Полесья»; В. М. Куриленко — «Лингвистический атлас Полесья об одной миграции славян»; Е. А. Черепанова — «Микротопонимический ландшафт Черниговско-Сумского Полесья»; С. Е. Никитина — «О границах и взаимодействии между устной и книжной народной культурой (на материале полевых исследований комплексной археографической экспедиции МГУ)». В докладе члена-корреспондента АН СССР проф. А. В. Десницкой было показано отражение в языке явлений, свидетельствующих о ранних балкано-восточнославянских связях. О проблемах, возникающих при установлении реального соотношения между диалектным и этнографическим членением древних славян, говорили в своих докладах профессора Г. А. Хабургаев, К. В. Чистов, А. С. Герд и В. М. Мокиенко. Проф. А. С. Мыльников доложил о фольклорной архаике в древнечешском летописании, проф. В. Е. Гусев — о временных представлениях древних славян как элементе их культуры, А. Н. Анфертьев — о принципе историзма в изучении духовной славянской культуры, И. М. Колесницкая — о сравнительном изучении свадебных песен болгар и восточных славян, П. А. Дмитриев и Г. И. Сафронов — об изложении материала о древней славянской культуре в курсе «Введение в славянскую филологию». Ряд участников симпозиума посвятили свои доклады проблеме отражения древних мифологических представлений славян в современных славянских языках (Н. И. Зайцева, О. А. Черепанова, Г. Я. Сими́на, А. К. Смольская) и в литературах славянских народов

(М. Л. Бершадская, Н. С. Демкова, И. М. Порочкина). На заключительном заседании В. Я. Дерягин выступил с докладом «Древнейшие термины русского частнопроводного акта», В. П. Нерознак — с докладом «Этнокультурные аспекты изучения языка». Следует отметить, что симпозиум привлек большое внимание научной общественности. На заседаниях присутствовало более 200 человек. Каждое заседание завершалось оживленной дискуссией. При обсуждении докладов и с сообщениями на заседании круглого стола выступили, в частности, Б. Н. Путилов, Е. А. Охомуш, А. Ф. Журавлев, К. И. Логачев, А. Л. Топорков, Л. С. Смусин и др. Председательствовавший на симпозиуме проф. А. С. Мыльников, закрывая последнее заседание, подчеркнул, что главным итогом симпозиума явилось решение сплотить усилия ученых разных городов и научных учреждений, изучающих духовную культуру наших предков, расширить сбор этнолингвистического материала в полевых условиях. Большое значение имеет также тот факт, что участники симпозиума сумели обменяться опытом работы, обсудить и уточнить свои представления о предмете и задачах этнолингвистики и о методах этнолингвистических исследований в области славистики, по-новому поставить ряд важных теоретических вопросов.

Проведенный симпозиум имел большое значение и для славистов Ленинградского университета. Число ученых, изучающих славянские древности, увеличилось. Их деятельность активизировалась, причем не только в составе команды, изучающей под руководством Н. И. Толстого Полесье, но и в других регионах. Так, уже в 1981 г. кафедрой русского языка Ленинградского университета была организована экспедиция преподавателей и студентов (руководитель Л. В. Зубова) в Чагодощенский район Вологодской области и Пестовский район Новгородской области, которая вела полевую работу, руководствуясь программой, разрабатываемой Н. И. Толстым и его школой (записывались, в частности, старинные игры, обряды, поверья, связанные с ткачеством, уходом за скотом; народный хозяйственный календарь; материал по мифологии некоторых животных, насекомых и т. д.). В дальнейшем организация таких экспедиций была продолжена.

В 80-е и 90-е гг. сотрудничество Н. И. Толстого и ленинградских-петербургских славистов продолжалось. Он неоднократно выступал на филологическом факультете в качестве оппонента на защитах диссертаций, участвовал в Ларинских чтениях, использовал любую возможность, связанную с приездом в Санкт-Петербург по делам Академии наук, чтобы пообщаться со своими коллегами в университете. При этом он неизменно и искренне

интересовался успехами и творческими планами работающей на кафедре славянской филологии выпускницы Московского университета, ученицы И. И. Толстого — С. В. Зайцевой, работой других славистов и прежде всего — своих единомышленников (А. С. Герда, О. А. Черепановой, Н. И. Зайцевой, В. М. Мокиенко и руководимого им Семинара фразеологов, сотрудников Словарного кабинета им. проф. Б. А. Ларина и др.).

Храня глубокое уважение к своим учителям и научным наставникам, сам Н. И. Толстой постоянно стремился к научному общению с молодыми славистами. В послевоенной истории кафедры славянской филологии Ленинградского–Петербургского университета после академика Литовской ССР Б. А. Ларина он был единственным академиком РАН, который принимал участие в работе заседания студенческого научного кружка «Славянские пятницы». При этом Н. И. Толстой не только высказал свое развернутое мнение по поводу заслушанных на заседании студенческих сообщений, но и сам выступил перед молодыми славистами с глубоким и интересным докладом, посвященным семантическому анализу лексики.

Даже краткий обзор сотрудничества Н. И. Толстого со славистами северной столицы показывает, что Н. И. Толстой оказал благотворное влияние на развитие и активизацию славистики Ленинградского–Петербургского университета и в теоретическом, и в практическом отношениях, причем это влияние сказалось на работе как преподавателей, так и студентов. Это влияние будет продолжаться и усиливаться. Благодарная память о Никите Ильиче Толстом всегда будет жить в делах и сердцах петербургских славистов.

Николай Трубецкой и проблема украинского языка

Трубецкой проявлял особый интерес к украинскому языку и — более широко — к украинской культуре, начиная с междиалектных отношений в древности (как вообще межславянских, так и внутри восточнославянской группы) через перипетии до- и послепетровской эпох и до сильно его беспокоивших современных ему событий — сперва в Независимом украинском государстве, а затем — на советской Украине. Его размышления на эту тему вкпе с его культурологическими и политическими «тревогами» относятся почти исключительно к сфере «воинствующей» евразистской и блестящей публицистической деятельности Трубецкого, которую он сам противопоставлял — порой даже слишком категорично — деятельности научной (исключение — Trubeckoj 1925, статья задуманная для «Slavia», но опубликованная в первой «Zeitschrift für slavische Philologie» и посвященная фонетическим вопросам, связанным с распадом общерусского языка и являющимся важным звеном в реконструкции ранней истории славянских языков, которая так никогда и не была доведена до конца).

Трубецкой концентрирует свое внимание на упомянутой теме в основном в двух публикациях одного и того же 1927 г., но имеющих различную предысторию. Речь идет о внушительной работе «Общеславянский элемент в русской культуре» и о статье «К украинской проблеме» (Трубецкой 1927а, 1927б). «Общеславянский элемент в русской культуре» представляет собой четвертую главу вышедшего в Париже тома «К проблеме русского самопознания. Сборник статей».

Остальные три главы сборника, который Трубецкой расценивал как неразделимое целое, к этому времени уже были напечатаны: две первые — «Об истинном и ложном национализме» и «Верхи и низы русской культуры» — в евразистском томе «Исход к Востоку»

(София, 1921), а третья «О туранском элементе в русской культуре» — в четвертой тетрадке «Евразийского временника» (Берлин, 1925). «К украинской проблеме» выходит в следующем выпуске этого же журнала. «Общеславянский элемент в русской культуре» (далее ОЭРК) был уже готов к печати в сентябре 1926 г. Трубецкой дал прочитать бывшему проездом в Вене Дурново гранки этой статьи. Дурново в свою очередь рассказал о ней Якобсону. 19 сентября 1926 г., вероятно, в ответ на просьбу Якобсона о пояснениях Трубецкой пишет: «Моя статья о русском литературном языке, про которую Вам говорил Н. Н. Дурново, Вас разочарует: это — популярный очерк для широкой публики. Кое-какие новые мысли у меня есть, но разрабатывать их некогда» (Jakobson 1975, 91).

Трубецкой мотивирует предполагаемое разочарование своего научного собеседника «научно-популярным» характером своей статьи. В том же самом письме он развивает один из основных пунктов своих размышлений о русской языковой и культурной истории — об «украинизации» великорусской культуры на рубеже XVII–XVIII вв.: «В связи с моим прошлогодним курсом русской литературы¹ и с упомянутой статьей о русском литературном языке много размышляю над проблемой взаимоотношения украинской и русской литературных традиций и прихожу по этому вопросу кое к каким интересным выводам. Оказывается прежде всего, что „ход коня“ или „закон наследования от дяди к племяннику“ применим не только к отдельным писателям, но и ко всей русской литературе в целом: русская литература послепетровского периода есть органическое продолжение не великорусской (московской), а западно-русской (преимущественно киевской) допетровской литературы. Аналогичные явления наблюдаются и в истории живописи, музыки, церковной архитектуры и наконец церковных обрядов. Вообще можно говорить об „украинизации“ всей духовной культуры Великороссии на рубеже XVII и XVIII вв. Та русская культура, которую щирые украинцы хотят представить как чужую, насильственно им навязанную, на самом деле является по своему происхождению украинской» (Jakobson 1975, 92).

Эти последние соображения подводят к ядру «украинского вопроса», которому будет специально посвящена другая — рождавшаяся в муках — статья «К украинской проблеме». Мы можем найти многочисленные ссылки на эту статью и ее упоминания в важной корреспонденции Трубецкого и Сувчиньского, изученной и опубликованной Клэр Мессина в дипломной работе, защищенной в Пизанском университете. Первый намек на вышеназванную статью мы находим в письме от 29 сентября 1926 г., то есть всего лишь

через десять дней после процитированного нами письма Трубецкого Якобсону: «С моей писательской деятельностью что-то неблагоприятно: стараюсь писать об Украине, но ничего не выходит, — очень уж скучно!» (Messina 1990, II, 214).

В письме Сувчиньскому от 4 ноября того же года Трубецкой сообщает о потере всякого вкуса к публицистической и научно-популярной деятельности (воспринимаемой им тем не менее как его идеологическая обязанность евразиста) и о нетерпении, с которым он хочет как можно скорее закончить свою «украинскую статью», дабы посвятить себя исключительно научной работе. Трогателен контраст между терзающим автора моральным императивом в популяризаторской политико-культурологической сфере (обосновать или опровергнуть само существование украинского литературного языка) и раздирающим его желанием погрузиться в собственно научную сферу:

«Мне до такой степени надоело писать популярные статьи и рассуждения на общие или идеологические темы, что я несмотря на все усилия воли не могу заставить себя это делать. „Украинская статья“ — яркий тому пример: начал писать ее, как только приехал в Вену, и вот до сих пор все еще пишу; сижу над рукописью долго, работе посвящаю массу времени, но в результате за день оказывается написанной какая-нибудь одна страница, а когда я на другой день перечту написанное, то оказывается все настолько плохо, что приходится все уничтожить и от всей дневной работы оставить строчек пять. Против такого психологического состояния ничего сделать нельзя, главное не надо себя насилловать. Все это происходит оттого, что я слишком давно (со времени своей болезни) мешаю себе заняться тем, что люблю, — чистой специальной научной работой без всякой идеологии, скажем, проблемами изменения согласных в чеченском языке. Мне такая работа просто органически необходима, а без нее долго жить не могу, начинаю разлагаться и, главное, теряю вообще всякую работоспособность. Поэтому я уже совсем решил, что вот кончу „Украинскую статью“ и — Schluss, по крайней мере месяца на три зарываюсь в специальную науку» (Messina 1990, II, 224).

Это письмо — особенно ценно в связи с затронутой в нем темой: Трубецкой начал писать свою «украинскую статью» уже тремя годами раньше, когда он прибыл в Вену (1923), и продолжал работать над ней (сентябрь 1926). 13 января 1927 г. статья готова, и Трубецкой посылает ее Сувчиньскому в Париж, сопровождая посылку следующими словами: «Посылаю Вам свою „украинскую статью“ (заглавия не могу придумать²). П. Н. С. [Савицкий] ее уже читал и

сделал к ней некоторые замечания, которые я принял во внимание при окончательной редакции» (Messina 1990, II, 238).

Несмотря на наличие общего тематического ядра ОЭРК и «украинская» статья должны быть проанализированы отдельно друг от друга. ОЭРК сосредотачивается на живом наследии церковнославянского в современном русском, содержит необыкновенно пронизательные, хотя иногда и спорные лингвистические и общекультурные размышления, касающиеся истории и типологии различных славянских языков³. Прежде всего Трубецкой подчеркивает то обстоятельство, что церковнославянский язык в качестве литературного языка сформировался еще до распада единой славянской языковой общности. Именно поэтому церковнославянский язык, несмотря на его перемещения из Салоник в Болгарию, а потом и в Сербию и в русские земли, воспринимался всеми православными славянами как «свой собственный» исконный литературный язык. В XVII в. непрерывность кирилло-мефодиевской традиции в Болгарии и Сербии иссякает, и церковнославянский язык «выживает», проявляя, однако, характерные отличительные признаки лишь в таких центрах, как Киев и Москва. С присоединением киевских земель к Москве существование двух различных вариантов церковнославянского языка становится невозможным, таким образом украинский вариант «одолеет» великорусский: «...киевская традиция церковнославянского языка одолела московскую, вытеснила ее в старообрядческое подполье, а сама воцарилась в Москве, сделавшись отныне общерусской» (Трубецкой 1927а, № 2, 131).

После победы украинской традиции, изгнавшей «в старообрядческое подполье» московскую традицию, утверждается общерусский церковнославянский язык, с тех пор и поныне единственный язык славянской православной церкви. Литературный русский формируется позднее, ср.: «Таким образом, можно сказать, что современный русский литературный язык получился в результате прививки старого культурного „садового растения“ — церковнославянского языка — к „дичку“ разговорного языка правящих классов русского государства» (Трубецкой 1927а, № 2, 135).

Рассматривая по отдельности современные славянские языки, Трубецкой делит их на три группы по типологическому принципу. В первую группу входят словенский и сербохорватский, полностью порвавшие связь с предшествующей литературно-лингвистической традицией. Во вторую — языки, уходящие корнями в церковнославянскую литературную традицию: болгарский и русский (при этом болгарский, по мнению автора, не прямо, а при посредничестве

русского). Наконец, в третью группу входят языки, ориентирующиеся на польско-чешскую традицию (в основе которой лежит древнечешский): польский, чешский, словацкий, ниже- и верхнелужицкий, а также и украинский (Трубецкой 1927а, № 3, 119). Мало того, несмотря на то, что украинские диалекты находятся в тесных родственных отношениях с русскими, литературный украинский язык относится не к общерусской и церковнославянской литературно-лингвистической традиции, а к польской, то есть к традиции западославянской группы языков (Трубецкой 1927а, № 3, 114). Трубецкой с педантичным усердием аргументирует свое явно провокационное утверждение. Диалектные расхождения между украинским и русским имеют недавнее происхождение, они гораздо менее значительны, чем различия между саксонским и тирольским или между миланским и сицилийским. Все восточные славяне могли бы прекрасно пользоваться одним единственным литературным языком: к тому же русский еще и продолжал украинскую редакцию церковнославянского, и не было никакой необходимости создавать особый литературный украинский язык. Несмотря на это, в конце XVIII в. благодаря Котляревскому рождается новый литературный украинский, основанный на полтавских диалектах и без связей с предыдущими рутенскими традициями. Творчество Котляревского, как впоследствии и Тараса Шевченко, было оправдано своей тематикой, содержащей локальный, фольклорный элемент. Однако определенная часть украинской интеллигенции хотела еще большего, желая создать настоящий литературный язык, способный отвечать всем требованиям высшей культуры и науки. И это можно было бы осуществить «естественным» образом: «Естественный путь к созданию литературного языка на малорусской основе состоял бы именно в замене средневеликорусской стихии русского литературного языка стихией малорусской: церковнославянскую же стихию при этом, конечно, не было никакой необходимости устранять, ибо... наличие этой стихии именно составляет главное преимущество русского литературного языка, преимущество, отказ от которого был бы равносителен добровольному самооскоплению» (Трубецкой 1927а, № 3, 117).

В этом — первородный грех украинских националистов: добровольное самооскопление, спровоцированное отказом от их собственной церковнославянской литературно-лингвистической традиции (лингвистический тип, грамматическая и риторическая традиции, вирши и под.), которая органически воплотилась в литературном русском языке, способствуя максимальному развитию его экспрессивности. Дело в том, что вследствие замены великорусского

элемента украинским при сохранении церковнославянского (кстати, именно украинского происхождения) литературный украинский язык, получившийся в результате, был бы очень похож на русский и й, учитывая и то, что те пятьдесят процентов церковнославянской лексики, которые вошли в русский, относились в основном к сфере абстрактной и научной лексики, свойственной любому литературному языку. Украинские борцы за независимость, не желая, чтобы их язык был очень похож на русский, отказались от своей собственной традиции и были вынуждены ориентироваться, в том что касается абстрактной и научной лексики, на другой язык с прочной традицией, то есть на польский. Поэтому современный литературный украинский представляется неким контаминированным⁴ языком, который следует отнести к западнославянской литературно-лингвистической традиции:

«И действительно, современный украинский литературный язык, поскольку он употребляется вне того народнического литературного жанра, о котором говорилось выше, настолько переполнен полонизмами, что производит впечатление просто польского языка, слегка сдобренного малорусским элементом и втиснутого в малорусский грамматический строй» (Трубецкой 1927а, № 3, 118).

Перейдем ко второй статье «К украинской проблеме», написание которой сопровождалось столь продолжительными творческими муками автора. Сначала Трубецкой возвращается к теме украинизации великорусской культуры, начавшейся в середине XVII в. и достигшей кульминации в петровскую эпоху. Для Петра украинизация представляла собой мост, необходимый для европеизации России. Украинская культура, бледное провинциальное отражение романо-германской Европы, ставшая и культурой русской столицы, старается освободиться от собственно польского наследия, прибегая непосредственно к первичным источникам (немецким, французским и др.). Формируется единая общерусская культура, которая, однако, грешит обилием абстракции: в эмпирической реальности не существует «общерусских», но есть лишь великороссы, украинцы или белорусы. Отсюда — параллельно ведущиеся поиски прочной связи с локальными этнокультурными реалиями (Котляревский — как Майков, Шевченко — как Кольцов, «хождение в народ» — как в России, так и на Украине). Для Трубецкого выбор между общерусской культурой и формированием украинцами новой полностью автономной культуры в значительной степени обусловлен различными политическими возможностями: Украина должна быть полностью независимым государством, равноправным членом Российской Федерации или лишь автономной провинцией России?

(Трубецкой 19276, 71). Немецкая культура — едина, несмотря на свое государственное многообразие, культура индейцев — совершенно автономна, несмотря на отсутствие суверенного государства. В развитии общерусской культуры важнейшую роль сыграли украинцы, как, например, Гоголь, Костомаров, Потебня, с гордостью подчеркивавшие свое украинское происхождение. Такая культура не может быть посторонней для украинской культуры. Каждая культура, кроме всего прочего, представляет собой здание с конкретным этнографическим фундаментом и с духовной и интеллектуальной надстройкой. В случае общерусской культуры первый элемент был развит достаточно мало, в то время как второй — весьма удовлетворительно. Здесь Трубецкой гипотетически рисует достаточно мрачную картину того, что бы могло произойти, если бы была предпринята попытка создать украинскую культуру, полностью независимую от общерусской. Украинцы были бы вынуждены выбирать между одной из двух культур: менее образованные слои населения могли бы принять культуру, обращенную к конкретным этническим корням, однако более прогрессивные интеллигенты — наиболее талантливые и творческие люди — никогда бы не отказались от «верхних этажей» русской культуры (там же, 72). То же самое произошло бы и с потребителями такой культуры. Выбор абсолютно автономной украинской культуры был бы либо продиктован предрассудками, либо принудительно навязан. В апокалиптическом *crescendo* дает автор весьма малопривлекательную картину результатов подобного решения, приемлемого «для бездарных или посредственных творцов, желающих охранить себя против конкуренции (настоящий талант конкуренции не боится!)», и удовлетворяющего — с точки зрения потребителей культуры — только «узких и фанатичных краевых шовинистов, не доросших до чистого ценения высшей культуры ради нее самой и способных ценить тот или иной продукт культурного творчества лишь постольку, поскольку он включен в рамки данной краевой разновидности культуры» (там же, 73).

Напоследок — безжалостная характеристика украинских «автономистов»: «Такие люди и будут главным образом оптировать против общерусской культуры и за вполне самостоятельную украинскую культуру. Они сделаются главными адептами и руководителями этой новой культуры и наложат на нее свою печать — печать мелкого провинциального тщеславия, торжествующей посредственности, трафаретности, мракобесия и, сверх того, дух постоянной подозрительности, вечного страха перед конкуренцией» (там же, 73).

Последствия полного разрыва с общерусской культурой были бы таковы: были бы запрещены русские книги, и собственная традиция, краеугольным камнем которой являлось православие, стала бы отрицаться.

По мнению Трубецкого, было бы катастрофой ставить перед собой дилемму «или украинский или русский», новая украинская культура должна не противопоставлять себя общерусской, а дополнять ее. В сущности украинская культура должна стать одним из индивидуальных проявлений общерусской культуры (там же, 75).

В заключение Трубецкой излагает некоторые соображения о культурной ситуации на советской Украине: полный культурный сепаратизм был бы в каком-то смысле одобрен советской властью как своего рода компенсация неосуществившегося и гораздо более опасного политического сепаратизма, культурный сепаратизм был бы помимо этого обусловлен исключением наиболее квалифицированных интеллигентов и наплывом пришельцев из бывшей австрийской Галиции, национальное самосознание которых уже роковым образом засорено многовековым сосуществованием с духом католичества и подвластностью полякам. Определенные слои украинского населения поддерживают культурный сепаратизм, воспринимая его как оппозицию московскому коммунизму («мелкобуржуазные настроения» — по советской терминологии, как торопится уточнить Трубецкой). Очарование украинизации можно также объяснить привкусом нового, при котором «украиноманам» (там же, 78), в течение долгого времени подавлявшимся и загнанным в подполье, предоставляется полная свобода действий. Такое положение представляется Трубецкому нездоровым и нерациональным из-за огромного расточительства культурной энергии. Однако будущее сумеет внести должные поправки и «очистит украинское движение от того элемента карикатурности, который внесли в это движение маниакальные фанатики культурного сепаратизма» (там же, 78). Вне всяких сомнений остается правомерность создания украинской культуры, отличной от великорусской, с тем условием, что ее создатели будут понимать ее подлинное призвание, а именно быть выразителем «особой украинской индивидуации общерусской культуры».

Трубецкой ошибался, думая, что вместе с окончанием «украинской статьи» он завершил свой «популярный», идеологический и культурологический труд и сможет целиком отдаться изучению чеченского консонантизма: его статья произвела эффект взорвавшейся бомбы, вызов был принят и оспорен — пункт за пунктом — пражским украинским историком Дмитро Ивановичем Дорошенко⁵.

В десятом номере парижского издания «Евразийская хроника» за 1928 г. публикуется его полемическая статья «К „украинской проблеме“. По поводу статьи князя Н. С. Трубецкого» (Дорошенко 1928), сопровождаемая репликой самого Трубецкого «Ответ Д. И. Дорошенку» (Трубецкой 1928).

Прежде всего Дорошенко отдает должное Трубецкому, обратившемуся к вышеуказанной теме в уравновешенном и академическом духе — обстоятельство нечастое в разворачивавшейся в те времена полемике, и намеренно отделившему украинскую лингвистическую и культурную проблему от очевидных политических аналогий с государственной суверенностью. Стремление к полной государственной независимости Украины было бы, по мнению Дорошенко, полностью оправдано, в силу глубинных политических и социально-экономических интересов, даже если бы украинцы и русские говорили на одном и том же языке; действительно, различия в культуре и языке могут способствовать стремлению к независимости, но, разумеется, не являются его причиной (Дорошенко 1928, 55). Сомнения, выраженные Трубецким, уже были положительно разрешены самой историей. Статье Трубецкого, концентрирующейся на теоретических аспектах, недостает точного анализа важных исторических фактов. Культурно-исторические различия между украинскими и русскими землями суть гораздо более древние, и великорусский тип проявляется сначала как колониальная разновидность киевского с финскими вкраплениями на севере и туранскими на юге. Татарское нашествие прерывает всякое сообщение между украинскими и русскими областями. Русские земли подвергаются сильному влиянию с Востока, украинские же связаны через Польшу с Западом и испытывают на себе влияние Ренессанса и Реформации (там же, 57). Петр I должен был заставлять молодых дворян учиться на Западе, между тем как молодые украинцы, не только дворяне, но и дети купцов и казаков, одержимые желанием учиться, посещали немецкие, французские и итальянские университеты. Разница в образовании была огромна. Еще больше чувствовалась разница в области права и основных свобод: Москва воспринималась как царство пытки и кнута (там же, 58). Ценности, характерные для украинской культуры, не были пересажены на московскую почву. «Украинизация» России ограничилась лишь некоторыми формальными шагами, так же как и «европеизация», которой хотел Петр ⁶. Украинские земли, присоединенные к России, значительно обеднели — как в культурном отношении (вследствие переселения в Москву представителей интеллигенции и духовенства и запрета печатать украинские книги), так и в экономическом

(из-за внушительных фортификационных работ на южных границах, военных кампаний, уничтожения старых торговых путей). Значительная часть украинских земель была присоединена к Москве только в XIX в., а Галиция всегда оставалась вне сферы московского влияния. К тому же и параллелизм в развитии двух литератур не соответствует действительности. Не было и трансформации украинской культуры в общерусскую, как утверждает Трубецкой: тот же Гоголь — по Трубецкому русский писатель *par excellence* — обращался к своему земляку Максимовичу в моменты откровения таким образом: «Туда, туда, в наш Киев! ведь он не их, а наш!» (Дорошенко 1928, 60).

Дислоцируя украинскую культуру только на нижних этажах культуры общерусской, Трубецкой всего лишь в очередной раз повторяет минималистские требования «домашнего употребления» украинской литературы, сформулированные Костомаровым в момент трагического для украинской культуры периода после указа 1876 г., запрещавшего любой вид использования украинского языка в печати (включая тексты народных песен в музыкальных партитурах). Однако украинские интеллигенты реагировали совершенно иначе, продолжая печатать книги в Австрии и Швейцарии и переводя Шекспира, Байрона и Гете (там же, 62). Революция 1905 г. сопровождалась расцветом культурной деятельности на украинском языке, сплотившей украинских и русских ученых и писателей. В Украинском государстве, возникшем в 1918 г., Украинская академия наук была организована русским историком В. И. Вернадским из Петербургской академии наук. Не из-за предрассудков и не по принуждению высказались за украинский многие интеллигенты в короткий период существования гетманства. К тому же достаточно ознакомиться с научной продукцией советской Украины, чтобы отдать себе отчет в том, что гипотеза о местонахождении украинской культуры в «нижних этажах» общерусской культуры означает полное пренебрежение достижениями последних пятидесяти лет и возврат к указу 1876 года (там же, 63).

В отношении выраженного Трубецким опасения, что наиболее квалифицированные интеллигенты чувствовали бы в глубине сердца большую привязанность к «верхним этажам» русской культуры, эмигрант и антибольшевик Дорошенко признает, что советская власть, последовательно продолжая политику украинизации во всех сферах образования, будет в состоянии создать через одно или два поколения новую интеллигенцию, «выплавленную» целиком в украинских школах. Кроме того, Трубецкой противоречит сам себе, когда пугается, что самостоятельная украинская культура

возникнет как *tabula rasa* без связей с русской культурой. Но ведь сам Трубецкой развивал теорию о том, что общерусская культура возникла в результате украинизации московской культуры! Дело в том, что Трубецкой беспричинно сужает понятие «культуры», сводя его только к языку, литературе и искусству (Дорошенко 1928, 64). На самом деле украинская культура развивалась в течение тысячи лет и делала это, разумеется, не в оппозиции по отношению к русской культуре, а напротив, заимствуя у нее то, что могло бы пригодиться для осуществления ее целей, состоявших в восприятии универсальных ценностей через призму ценностей национальных. Украинская культура может с полным правом соседствовать с русской культурой. Это будут две близкие, но тем не менее отличные друг от друга культуры, как, например, испанская и португальская, шведская и норвежская (там же, 65).

Что касается мрачной картины, предсказанной Трубецким в случае, если место у кормила новой украинской интеллигенции займут «тупые, фанатичные и шовинистические» элементы, способные поставить на всю культуру печать «мелкого провинциального тщеславия, торжествующей посредственности, трафаретности, мракобесия, дух постоянной подозрительности, вечного страха перед конкуренцией», то здесь Дорошенко соглашается с тем, что такая опасность существовала, но что она была ликвидирована теми слоями интеллигенции, которые победно подняли знамя традиций народа, обладающего огромными заслугами перед лицом «цивилизованного света» из-за своей многовековой борьбы с «азиатской степью» и благодаря сохранению своей индивидуальности в борьбе на два фронта: против польского католического давления и против московского централизма (там же, 66).

Последний полемический выпад Дорошенко посвящен оценке Трубецким галицийской интеллигенции, которая, как полагает последний, лишена национального самосознания. По мнению Дорошенко, именно «филомосковская» пропаганда привела к ослаблению национального сопротивления галицийского меньшинства, что сделало его легкой добычей для полонизации (там же, 67).

Незамедлительно следует реплика Трубецкого, которая, как мы видели, выходит в том же номере парижского евразистского издания. После галантного введения, в котором Трубецкой хвалит уравновешенный и академический характер выступления своего противника-собеседника (особенно по сравнению с другими гневными реакциями в печати), идет основная часть, состоящая из целого ряда острых полемических возражений. Трубецкой начинает свою атаку на противника, говоря, что, когда Дорошенко восхва-

ляет украинский народ за «его заслуги перед цивилизованным светом за многовековую борьбу с азиатской степью», такая речь может сгодиться для «западников», но она лишена смысла с евразистской точки зрения. Для Дорошенко «цивилизованный свет» — это романо-германский мир, для евразиста «азиатская степь» тоже является «цивилизованным светом», хотя и с цивилизацией отличной от романо-германской. Настоящая заслуга украинцев состоит не в их «европейскости», к тому же весьма относительной, провинциальной и вторичной, а в том, что они несмотря на усиленное давление с Запада смогли сохранить верность православию, сражаясь с католичеством его же оружием (Трубецкой 1928, 68).

Научная дискуссия предполагает наличие абсолютной объективности, например, в том, что касается оценки исторического прошлого: Дорошенко описывает украинскую культуру XV–XVII вв. как «рай земной», в то время как Москва представлена как царство пыток и кнута. На самом деле, — продолжает Трубецкой, — обе культуры взаимно притягивались и отталкивались. Украина, лучше оснащенная в культурном отношении, страдала из-за «государственного минимализма» и поэтому чувствовала притяжение Москвы, несшей с собой строгость и дисциплину, чуждые Украине (там же, 69). Москве импонировала образованность украинцев, но в то же время ее отталкивало их слабое сознание государственности. Сводить пафос московской государственности к «западнической» формуле *царства кнута* означает грешить против исторической объективности: «Если старую московскую культуру сводить к пытке, кнуту и невежеству, то и украинскую культуру можно свести к кичливой бурсацкой схоластике и сечевому анархизму» (там же, 70).

Две различные редакции общерусской культуры находили необходимый компромисс в своих отношениях, при котором каждая сторона нечто приобретала и от чего-то отказывалась: «великорусы отказались от ряда традиций своей духовной культуры в пользу традиций украинских, а украинцы должны были отказаться от своего государственного минимализма в пользу московского по своему происхождению, но еще усугубившегося благодаря частичной секуляризации культуры, государственного максимализма» (там же, 72).

Что же касается утверждения Дорошенко, что украинская культура всегда стремилась к универсальным ценностям через призму национальных, то и здесь Трубецкой охлаждает его пыл, заявляя с приведением библиографических данных и терминов из евразистского арсенала, что «общечеловечность» является лишь гиперболой.

Так, например, утверждение, что «появление Шекспира было знаменательным событием в истории человечества» есть всего лишь гипербола, поскольку большая часть человечества состоит из негров, китайцев и представителей других культур, для которых Шекспир не играет никакой роли (Трубецкой 1928, 73). Стремление украинцев к «универсальности», на которую они претендуют, может проходить через более широкое приобщение, даваемое общерусской культурой, что, разумеется, не означает великорусской. Гоголь стал «европейским» писателем, потому что он внедрился в общерусскую культуру. Евразисты желают и предвидят, что русская культура перестанет быть европейской культурой, а войдет в общую евразийскую культуру. Почему украинцы должны были бы отказаться от общерусской культуры XVIII и XIX вв., отказаться от Пушкина, Толстого, Достоевского, Менделеева, Шахматова, между тем как русские никогда не откажутся от Гоголя, Костомарова и Потебни? Это было бы страшным самоограничением, почти что самооскоплением.

Что же до бурного «возрождения» украинской культуры и науки в независимом украинском государстве при рождении Украинской академии благодаря Вернадскому, то и здесь Трубецкой не без яда напоминает, что это происходило «во время немецкой оккупации Украины» и что по окончании гражданской войны тот же профессор Вернадский вернулся в Ленинград, и что многие эмигрировавшие украинские ученые вошли в русские, а не украинские эмигрантские кружки (там же, 74).

Дорошенко считает, кроме того, что вопрос о существовании особой украинской культуры, отделенной от общерусской, был решен положительным образом: достаточно будет одного или двух поколений, целиком сформировавшихся в украинских школах, и от интеллигенции с общерусским мышлением не останется и следа. Однако, — возражает Трубецкой, — и недаленовидные авторы царского указа 1876 г. считали, что хватит двух поколений, чтобы после запрещения украинских книг украинцы забыли, что они — украинцы. Ныне — через 50 лет — на Украине запрещены русские книги! Царское правительство хотело, чтобы украинцы забыли, что они не только (обще)русские, но и что они украинцы. Нынешнее украинское правительство в полном согласии с националистами-экстремистами хочет, чтобы украинцы забыли, что они не только украинцы, но и (обще)русские.

Трубецкой выражает в заключение свое неодобрение языковой политики, решительно проводимой на Украине. По его мнению, вполне можно допустить, не делая из этого обязательного утверж-

дения, чтобы лингвистические различия между русским и украинским утвердились на всех уровнях культурной системы. В таком случае верхние этажи культурного здания не должны быть затронуты. В действительности происходит как раз обратное: фольклорно окрашенные украинские литературные тексты, рассказы или стихи, связанные с народной жизнью, легко может понять и образованный русский; понять же научные тексты русскому намного труднее, труднее, чем когда они написаны по-болгарски или даже по-польски!

Сегодня — через 50 лет после этой полемики — многое, конечно, изменилось. Многие аргументы, приведенные Дорошенко, кажутся, а многие и являются более корректными, чем аргументы Трубецкого, которому несмотря на его стремление к объективности и научной беспристрастности не удалось скрыть собственной евразистской идеологической тенденциозности, проявляющейся иногда и в языке — в выборе определенным образом маркированной культурно-идеологической лексики. Тем не менее историко-теоретическое возвращение к полемике 20-х гг. о двух душах-культурах Руси-России и о петровской «революции», в которой участвовал один из самых ярких умов XX в., кажется нам и сегодня достойным внимания и последующих размышлений.

-
- ¹ Трубецкой вел курс истории русской литературы (два часа в неделю) в зимнем семестре 1925/1926 гг. и в летнем семестре 1926 г. (три часа в неделю).
 - ² Показателен для иллюстрации творческих мук автора его отказ дать «украинской статье» более точное название.
 - ³ Н. И. Толстой вновь «представил» эти размышления Трубецкого русским ученым: Мысли Н. С. Трубецкого о русском и других славянских языках // Язык и речь как объекты комплексного филологического исследования. Калинин, 1981, с. 98–111; перепечатано: *Н. И. Толстой. История и структура славянских литературных языков*. М., 1988, с. 220–236. Толстой сопровождает своим многосторонним и ёмким предисловием и оригинальный текст ОЭРК, опубликованный в: *Вопросы языкознания*, 1990, № 2, с. 122–139; № 3, с. 114–134, по которому мы приводим цитаты.
 - ⁴ Любопытно отметить аналогии с лингвистическими идеями Крижанича относительно «белорусского» как языка печатных книг рутенской традиции, см.: Dell'Agata 1992.
 - ⁵ Д. И. Дорошенко (Вильнюс 26.03.1882 — Мюнхен 19.03.1951) учился в Варшаве, Петербурге и Киеве. Эмигрировав в Прагу, с 1921 г. преподавал украинскую историю в Украинском университете, затем с

1926 по 1936 гг. — в Пражском университете. С 1926 по 1931 гг. — директор Украинского института в Берлине; с 1936 по 1939 гг. — в Варшаве.

- ⁶ По этому поводу Дорошенко цитирует известные саркастически-испепеляющие стихи Мицкевича (*Piotr zaprowadził bębny i bagnety...*) о только внешней европеизации России во времена Петра.

Литература

- Дорошенко 1928 — Д. И. Дорошенко. К «украинской проблеме». По поводу статьи кн. Н. С. Трубецкого // Евразийская хроника. Париж, 1928, № 10, с. 41–51. Цитируется по перепечатке: Вестник Московского университета. Филология, 1990, № 5, с. 55–67.
- Трубецкой 1927а — Н. С. Трубецкой. Общеславянский элемент в русской культуре // К проблеме русского самопознания. Сборник статей. Париж, 1927, с. 54–94. Цитируется по перепечатке: Вопросы языкознания, 1990, № 2, с. 122–139; № 3, с. 114–134.
- Трубецкой 1927б — Н. С. Трубецкой. К украинской проблеме // Евразийский временник. Париж, 1927, № 5, с. 165–184. Цитируется по перепечатке: Вестник Московского университета. Филология, 1990, № 4, с. 64–78.
- Трубецкой 1928 — Н. С. Трубецкой. Ответ Д. И. Дорошенку // Евразийская хроника. Париж, 1928, № 10, с. 51–59. Цитируется по перепечатке: Вестник Московского университета, Филология, 1990, № 5, с. 67–77.
- Dell'Agata 1992 — G. Dell'Agata. Ideologia politica e comparazione linguistica nella classificazione delle lingue slave di Juraj Krizanić // Ricerche Slavistiche, 1992/1993, XXXIX–XLI, 1, p. 365–384.
- Jakobson 1975 — R. Jakobson. N. S. Trubeckoy's Letters and Notes. The Hague; Paris, 1975.
- Messina 1990 — C. Messina. La stagione dell'Eurasia. Il carteggio N. S. Trubeckoj — P. P. Suvcinskij (1921–1928). Pisa, 1990, I–II (tesi di laurea, relatore G. Dell'Agata).
- Trubeckoj 1925 — N. S. Trubeckoj. Einiges über die russische Lautentwicklung und die Auflösung der gemeinrussisches Spracheneinheit // Zeitschrift für slavische Philologie, 1925, 1, S. 287–319.

Е. И. Демина
(Москва)

Страничка из истории отечественного славяноведения

С какой рукописью
ознакомился П. И. Прейс
в 1841 г. в Венской Придворной библиотеке?

Несколько замечаний, вводящих в тему данной заметки. В истории народов мира *Slavia Latina* и *Slavia Orthodoxa* особое место занимает преднациональный период (вторая половина XVI — первая половина XVIII столетий) — период значительных изменений в экономических, социальных и историко-культурных условиях их жизни на этапе смены двух общественных формаций, во многом определивших последующее развитие, период наивысшего проявления средневековой культуры и вместе с тем ее заката. Изменения эти по-разному проявлялись у славянских народов в зависимости от их исторической судьбы: одни из них были независимыми, обладали собственной государственностью, другие находились под иноземным владычеством; важную роль играли конфессиональные различия; волны реформации и контрреформации неодновременно достигали разных земель и действовали в них с разной силой. В то же время бросается в глаза нечто общее в самом существовании происходивших изменений в области культуры и в их внешних проявлениях. Это общее может быть определено как тенденция к демократизации письменности и литературного языка, появление новых, преднациональных форм манифестации литературного языка как историко-культурного феномена (книжных языков на народной основе), обусловленные этим сдвиги в языковой ситуации¹.

В Болгарии в условиях османского владычества эти новые процессы своеобразно сосуществовали с устойчивостью народной традиции в сфере духовной и материальной культуры, выполнявшей важную функцию сопротивления «чужому», сохранения болгарской народности, ее самобытности. Появление в XVI в. письменности на народном в своей основе болгарском языке аналитического грамматического строя (в отличие от синтетического грамматического строя традиционного литературного языка), впитавшем в себя

выразительные возможности фольклорной речи — так называемой письменности дамаскинов, — явившись качественным сдвигом в истории болгарской культуры и болгарского литературного языка, в конечном счете выполняло те же охранные функции, служило средством консолидации болгарской народности².

Книжникам XVII в., предпринявшим попытку писать «простым», «новым», «болгарским» языком (так они называют его в заглавиях к отдельным произведениям), удалось понять и воплотить в жизнь ведущую тенденцию своего времени. Об этом свидетельствует широкое распространение письменности дамаскинов, появление на протяжении XVII–XVIII вв. все новых и новых опытов книжного языка на народной основе, различавшихся выбором диалектной базы и отношением к традиции. Дамаскины как яркий фактор истории болгарской культуры преднационального периода послужили своеобразным мостом между традиционным и современным состояниями болгарского литературного языка³.

Феномен новоболгарской письменности был открыт и введен в науку российскими филологами на самой заре становления отечественного славяноведения. Традиционно роль открывателя этой письменности приписывается акад. В. И. Ламанскому⁴, который в 1868 г., проездом из Загреба в Венецию, остановился в Любляне, в частности, с целью осмотра тамошней гимназиальной (одновременно — публичной) библиотеки, ее рукописного отдела. Одна из рукописей собрания В. Копитара (№ 21) показалась Ламанскому настолько важной, что из-за нее одной он задерживается в Любляне, а затем, еще находясь в Венеции, пишет большую статью «Болгарская письменность и наречие в XVI–XVII веках»⁵. Ламанский сумел отметить наиболее ценные черты исследованной им рукописи, которая впоследствии была издана болгарским филологом Ст. Аргировым⁶ и ныне известна как Люблянский дамаскин: «Люблянская рукопись, — пишет Ламанский, — принадлежит, несмотря на свою недревность, к замечательнейшим и любопытнейшим памятникам славянским и как памятник словесности XVI–XVII в., и как памятник чисто-народного болгарского наречия этого времени»⁷. Он дал краткое описание языка рукописи, привел из нее обширные выписки, составил список наиболее привлекавших его внимание слов. Статья Ламанского сыграла важнейшую роль в изучении новоболгарской письменности⁸.

Необходимо, однако, отметить, что письменность новоболгарских дамаскинов была известна российским ученым более чем за три десятилетия до выхода в свет статьи Ламанского. Самые первые сведения о ней принадлежат одному из первых отечественных

болгаристов Ю. И. Венелину. В 1830–1831 гг. по заданию Российской академии он совершил научное путешествие на Балканы, во время которого ему удалось познакомиться с «рукописными книгами на лощеной бумаге и на новоболгарском наречии», содержащими большей частью переводы поучительных слов св. Отцов, которые стали появляться в Болгарии в продолжение XVIII столетия. Об этом факте он сообщил в своей книге «О зародыше новой болгарской литературы»⁹. Венелину российское славяноведение обязано приобретением ценнейшего памятника новоболгарской письменности XVII в. — Тихонравовского дамаскина¹⁰. Он работал с этим памятником и подготовил к публикации входящий в него текст Жития св. Петки Тырновской, который намеревался привести в качестве Хрестоматии к завершенной им уже в 1834 г. «Грамматике нынешнего болгарского наречия» (к сожалению, до настоящего времени оставшейся неопубликованной). Текст Тихонравовского дамаскина рассматривался Венелиным как «образец слога и правописания» произведения «на простом наречии», который он счел возможным взять за основу при подготовке предлагаемого им для современного болгарского литературного языка «этимологического правописания»¹¹.

Четыре рукописи, причисляемые к дамаскинам, привез из своего известного путешествия по Европейской Турции замечательный собиратель древних славянских рукописей В. И. Григорович¹². В 1848 г. в своем «Очерке путешествия по Европейской Турции» он пишет: «Упомяну, наконец, что мне случилось также находить новоболгарские рукописи, именно в селах: Вакарелл, Эгри, Шипка и городе Рушуке. Древнейшая из них восходит до половины XVIII столетия»¹³. На феномен письменности на «простом болгарском языке» Григорович обращает внимание в своей переписке с И. И. Срезневским¹⁴. Люблянская рукопись из собрания Копитара, о которой сообщал Ламанский, также, очевидно, была известна Григоровичу. По сообщению Ламанского, в рукописи находится карточка с кратким описанием ее содержания и заметкой: «Manuscriptum neobulgaricum... Inter memorabilia referendum», причем хранитель библиотеки уверял Ламанского, что эта карточка выполнена рукою Григоровича, «о котором ворчливый, но добрый старик вспоминал с видимым удовольствием»¹⁵. Ламанский не был уверен в достоверности этих слов, однако хранитель библиотеки, вероятно, был прав: в письме Срезневскому от 3 июля 1848 г., перечисляя известные ему новоболгарские рукописи, Григорович называет «Сборник в Лайбахе из ркп. Копитара, где между прочим житие мѣре нашей Петкы Тръновскіа»¹⁶.

Итак, Венелин — Григорович — Ламанский. Такой до последнего времени представлялась мне история постепенного открытия российскими славистами памятников новоболгарской письменности и их изучения¹⁷. Настоящая работа посвящена обоснованию выдвигаемого здесь впервые утверждения, что следующим за Венелиным российским ученым, ознакомившимся с одним из важных дамаскинов XVII в., а именно Люблянским, с которым позднее работали Григорович и Ламанский, был П. И. Прейс¹⁸, совершивший в 1839–1842 гг. ученое путешествие в славянские страны. Наше утверждение основывается на анализе некоторых данных из «Донесения П. Прейса министру Народного Просвещения, из Загреба, от 10 ноября 1841 г.»¹⁹, до сих пор никем не рассматривавшихся в связи с письменностью дамаскинов (в том числе и в наших работах по истории изучения новоболгарской письменности). Вот эти данные.

После окончания своих занятий в Праге (август 1840 — март 1841 г.), где он серьезно занимался болгарским языком, в начале марта 1841 г. Прейс прибывает в Вену, предполагая «посвятить некоторое время изучению письменных памятников, хранящихся в Венской Придворной библиотеке»²⁰. Хранитель библиотеки — а им в это время был Копитар — несмотря на свое болезненное состояние ежедневно давал распоряжения о выдаче Прейсу пособий, относящихся к цели его назначения. «И собственно ему принадлежащее собрание книг и рукописей, — пишет Прейс, — было для меня доступно. Между прочим я обязан ему за сообщение одной драгоценной новоболгарской рукописи. Она заключает в себе: 1) Поучение о втором пришествии, 2) Жития св. Николая, Георгия, Пятки Трновской, 3) и два слова Иоанна Златоустаго. Местами у автора пробивается желание писать по грамматике церковно-славянской; но не в такой степени, в какой у новейших болгарских писателей. Правописание, по моему мнению, лучшее, нежели в печатных болгарских книгах, и более сообразное с выговором, нежели то, которое придумано Неофитом, Сапуновым, Стояновичем»²¹.

Этим исчерпываются приведенные Прейсом сведения о «драгоценной новоболгарской рукописи». Он не сообщает других необходимых для идентификации рукописи археографических данных о ней: о ее датировке, объеме, степени сохранности, почерке, миниатюрах и под. Содержание рукописи дано в самом обобщенном виде, без приведения аутентичного текста заглавий и начальных строк произведений, без каких-либо выдержек из нее. Не названы авторы статей кроме Иоанна Златоуста. Сам контекст, сопровож-

дающий описание рукописи и содержащий имена болгарских книжников 20-х — 30-х гг. XIX в., с правописанием книг которых сравнивается письмо рукописи, невольно хронологически как бы сближает сравниваемые объекты. Видимо, именно поэтому вплоть до настоящего времени не предпринималась попытка отождествить описываемую Прейсом рукопись с какой-либо из уже известных. Тем более, что, как будет видно из последующего изложения, обратившая на себя внимание Прейса рукопись давно уже не находится в Вене. О какой же рукописи в «Донесении...» Прейса идет речь?

Неожиданно мелькнувшая у меня догадка, что Прейс держал в руках упоминавшийся выше Люблянский дамаскин, основывалась первоначально на сопоставлении двух фактов: рукопись была собственностью Копитара; состав входящих в нее произведений полностью совпадает с составом Люблянской рукописи (хотя при перечислении житий святых частично смещен порядок: у Прейса — Николай, Георгий, Петка Тырновская, в Люблянском дамаскине и в описаниях Григоровича, Ламанского — Георгий, Николай, Петка Тырновская). Вряд ли Копитар владел двумя новоболгарскими рукописями одинакового состава, ведь мы знаем, что дамаскин из гимназиальной библиотеки в Любляне хранится в собрании Копитара, т. е. принадлежал ему.

Вместе с тем, Прейс и Григорович работали над новоболгарской рукописью из собрания Копитара примерно в одно время, но в библиотеках разных городов и стран (Прейс — в 1841 г. в Вене, Григорович — не ранее 1844 г., не позднее 1846 г. в Любляне).

Привлечение необходимого круга данных позволяет дать непротиворечивое объяснение этому. Как известно, словенский филолог-славист В. Копитар начинал свою деятельность в качестве преподавателя в Любляне, большую часть своей жизни провел в Вене, работая в Придворной библиотеке. После его смерти, последовавшей в 1844 г., собрание его книг и рукописей уже в 1845 г. было выкуплено²² для гимназиальной библиотеки в Любляне. Григорович выехал из Одессы 20 августа 1844 г. и провел в Европейской Турции 11 месяцев, Любляну он, очевидно, посетил позднее, уже в самом конце своего путешествия, когда Люблянский дамаскин уже был выкуплен гимназиальной библиотекой вместе с собранием Копитара. Маршрут путешествия Григоровича: Цариград — Солун — Афон — Македония — София — Филиппополь — Сопот — Карлово — Калофер — Тырново — Свиштов — Валахия — Венгрия — Вена — Далмация — Венеция —

Загреб — Черна Гора — Прага — Берлин — не противоречит этому допущению.

Расхождение же в порядке следования статей святых легко объясняется ошибкой Прейса, который, объединив все три жития в одном пункте своего описания, мог спутать их порядок.

Итак, полагаю, что П. И. Прейс был вторым (после Ю. И. Венелина) российским ученым, имевшим возможность ознакомиться с одним из памятников новоболгарской письменности, и первым из отечественных славистов, кто работал с Люблянским дамаскином XVII в. и дал ему высокую оценку, назвав драгоценной новоболгарской рукописью и подчеркнув достоинства принятого в ней правописания по сравнению с правописанием «новейших болгарских писателей».

Конечно, можно предположить, что словами «драгоценная новоболгарская» охарактеризовал рукопись сам Копитар, рекомендуя Прейсу ознакомиться с ней. Тем более, что со схожей оценкой «*inter memorabiliores referendus*» мы сталкиваемся и в каталоге Люблянской (ныне — университетской) библиотеки, и в записи на карточке, приписываемой Григоровичу (впрочем, он уже не мог застать Копитара живым, но кто-то мог напомнить ему утвердившуюся за рукописью оценку).

Однако есть серьезные основания думать, что данное определение рукописи принадлежит самому Прейсу. Он очень старательно готовился к своему ученому путешествию в славянские страны. В течение всего 1838 г. под руководством А. Х. Востокова он занимался изучением «древних памятников словенского языка», причем Востоков высоко оценил его способности, «отличное рвение», познания, приобретенные при чтении и выписках из рукописей Императорской публичной библиотеки и Румянцевского музея²³. Это дало ему глубокие знания древнеболгарского (геср. церковнославянского) литературного языка. К изучению новоболгарского языка Прейс в полном объеме обратился находясь уже в Праге, где он работал с августа 1840 до марта 1841 г. Судя по известным архивным данным и опубликованной переписке Прейса, он внимательно изучил «Додаток к санктпетербургским сравнительным рјечницама» Вука Караджича (1822), ознакомился с «Болгарской грамматикой» Неофита Рыльского (1835), с влахоболгарскими грамотами, изданными Венелиным. Он сделал выписки из печатных книг Петра Сапунова (1828), Анастаса Стояновича-Кипиловского (1825), переписал 27 болгарских песен²⁴. Еще Востоков, разбирая бумаги покойного Прейса, отметил среди них «Словарь ны-

нешнего болгарского языка в азбучном и отчасти словопроизводном порядке — в одном переплетенном томе и коробку с карточками того же болгарского словаря»²⁵. В Праге, по-видимому, Прейсом написаны «Заметки по грамматике новоболгарского языка», в которых анализируются отдельные примеры из Грамматики Неофита Рыльского в сопоставлении с примерами, выписанными им из новоболгарских книг. В своем сообщении о «драгоценной новоболгарской рукописи» он упоминает имена Неофита, Сапунова, Стояновича, сопоставляя свои впечатления от правописания рукописи с полученными в Праге знаниями о языке их печатных книг. При этом он недвусмысленно высказывается за отказ от ненужных церковнославянских особенностей, что вполне соответствует его взглядам на роль простого народного языка в процессе исторического развития. Поэтому определение «драгоценная новоболгарская рукопись» представляется нам собственной, основанной на изучении её языка, оценкой Прейса. Безусловно, Прейса привлек живой народный язык Люблянского дамаскина, сочетающийся с элементами книжной традиции, его упорядоченное и в достаточной мере нормированное правописание, восходящее к ресавской правописной традиции и высоко оцененное, как упоминалось выше, еще Венелиным, рассматривавшим Тихонравовский дамаскин XVII в., очень близкий по особенностям нормы с Люблянским, как «образец письма и правописания».

Итак, Венелин, Прейс, Григорович, Ламанский — вот первые российские ученые, ознакомившие научный мир с феноменом новоболгарской письменности. Это — целый этап в истории отечественного славяноведения, связанный с первыми опытами живых наблюдений и открытий в области болгарской культуры, письменности и языка. Несмотря на лаконизм сообщения П. Прейса, оно должно занять свое заслуженное место в этом ряду.

¹ См. подробнее: *Е. И. Демина*. Традиция и новые тенденции развития славянских литературных языков в преднациональный период // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1993, с. 121–136.

² *Е. И. Демина*. О предвозрожденческих явлениях в болгарской культуре XVI — первой половины XVIII в. // *Болгарская культура в веках*. М., 1992, с. 31–34.

- ³ *Е. И. Демина*. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Исследование и текст. Ч. III. Тихонравовский дамаскин как памятник книжного болгарского языка XVII в. на народной основе. София, 1985, главы I, II.
- ⁴ *П. А. Лавров*. Дамаскин Студит и сборники его имени «дамаскины» в юго-славянской письменности. Одесса, 1899.
- ⁵ *В. И. Ламанский*. Непорешенный вопрос. Статья II. Болгарское наречие и письменность в XVI–XVII вв. // *ЖМНП*, 1869, ч. 143, с. 349–378; ч. 144, с. 84–123.
- ⁶ *Ст. Аргиров*. Люблянският български ръкопис от XVII век // Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, кн. XII, 1895, с. 463–560; кн. XVI и XVII, 1900, с. 246–313.
- ⁷ *В. И. Ламанский*. Непорешенный вопрос..., с. 120.
- ⁸ Об исследовании Ламанского см. подробнее: *Е. И. Демина*. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Исследование и текст. Ч. I. Филологическое введение в изучение болгарских дамаскинов. София, 1968, с. 12–14. Здесь же данные о других исследователях новоболгарской письменности и библиография.
- ⁹ *Ю. И. Венелин*. О зародыше новой болгарской литературы. I. М., 1838, с. 8–9.
- ¹⁰ В настоящее время рукопись хранится в собрании Н. С. Тихонравова Отдела рукописей Российской государственной библиотеки (фонд 299, № 702), по имени которого дамаскин известен в науке. Полное издание см.: *Е. И. Демина*. Тихонравовский дамаскин..., ч. II. Палеографическое описание и текст. София, 1971.
- ¹¹ *Е. И. Демина*. О первом опыте кодификации болгарского литературного языка эпохи Возрождения. Концепция Ю. И. Венелина (в печати, в кратком изложении см.: *Е. И. Демина*. Концепция Ю. И. Венелина по устройению болгарского литературного языка нового времени // Историко-культурные и социолингвистические аспекты изучения славянских литературных языков эпохи национального Возрождения (конец XVIII — вторая половина XIX в.). М., 1993, с. 7–13).
- ¹² Рукописи были подарены В. И. Григоровичем библиотеке Новороссийского университета. Ныне хранятся в Одесской государственной научной библиотеке.
- ¹³ *В. И. Григорович*. Очерк путешествия по Европейской Турции. Издание второе. М., 1877, с. 161.
- ¹⁴ *В. И. Срезневский*. Переписка И. И. Срезневского с В. И. Григоровичем // Списание на Българската академия на науките. София, 1937, с. 28–29, 47.
- ¹⁵ *В. И. Ламанский*. Непорешенный вопрос..., с. 350–351.
- ¹⁶ *В. И. Срезневский*. Переписка И. И. Срезневского..., с. 29.
- ¹⁷ *Е. И. Демина*. Об изучении новоболгарской письменности в отечественной филологии // Балканские исследования, вып. 5. Основные проблемы балканистики в СССР. М., 1979, с. 246–259.
- ¹⁸ См. о нем: *С. В. Смирнов*. Петр Иванович Прейс (К 150-летию начала преподавания славяноведения в университетах России и СССР) // *Ralaeobulgarica / Старобългаристика*, IX, 1985, 2, с. 41–55.

- ¹⁹ ЖМНП, 1842, март, ч. 33, отд. IV, с. 43–44.
- ²⁰ Там же, с. 43.
- ²¹ Там же, с. 43.
- ²² *Vl. Mošin*. Kopitarjeva zbirka slovanskih rokopisov. Ljubljana, 1971, s. 88–92.
- ²³ Переписка А. Х. Востокова в повременном порядке с объяснительными примечаниями И. Срезневского // Сборник ОРЯС, т. V, вып. 2, 1873, с. 466.
- ²⁴ *С. В. Смирнов*. Петр Иванович Прейс..., с. 47.
- ²⁵ Письмо кн. Ширинского-Шихматова М. С. Куторге // Живая старина, 1898, вып. III–IV, с. 333.

Н. И. Толстой и резьянщина

К открытию «Резьянского словаря» И. А. Бодуэна де Куртенэ

Полвека назад, в конце 50-х гг., молодой ученый, получивший прекрасное по тому времени образование и уже проявивший себя в двух полярных областях славистики, — в изучении живых (болгарских) говоров и языка древнеславянских текстов (какой диапазон для старта!), влекомый постоянной жаждой познания и поисками неизвестного, отправляется из Москвы в Санкт-Петербург (тогда — Ленинград), чтобы там, в Архиве РАН (тогда — АН СССР), окунуться в истоки отечественной лингвистической и славистической традиций, познакомиться хотя бы с частью того необозримого документального богатства, которое старательно было завещано нам нашими предшественниками и которое терпеливо ждет редкого прикосновения к себе современного исследователя. Впрочем, был и конкретный замысел. После «падения» лингвистической доктрины Н. Я. Марра в отечественное языковедение начали пробиваться идеи системно-структурного подхода к языку, сформулированные еще Ф. де Соссюром и И. А. Бодуэном де Куртенэ. Труды последнего, в отличие от переведенного на русский язык и изданного Ф. де Соссюра («Курс общей лингвистики», 1933), были разбросаны по различным, нередко малоизвестным, изданиям, многие из которых к середине XX века стали просто недоступными исследователям. Бодуэн, таким образом, зазвучал современно и многообещающе. Желание заглянуть в «рукописного Бодуэна», обнаружить, может быть, остающиеся неизвестными науке его работы, — примерно такие мысли обуревали молодого исследователя, когда он ехал из Москвы в Петербург. И надежды не обманули его: академический архив хранил огромную по объему рукописную бодуэновскую «заоставшину» — этим емким сербским

словом точнее всего можно передать то, что по-русски мы бы выразили словосочетанием «наследие, оставшееся после кого-либо». Фактически речь шла о новом открытии И. А. Бодуэна де Куртенэ по крайней мере как слависта и как словениста. И честь такого открытия великого ученого принадлежала отныне Н. И. Толстому. Об этом было доложено в 1959 г. на научной сессии в Институте славяноведения АН СССР, посвященной 30-летию со дня смерти И. А. Бодуэна де Куртенэ. Редактор сборника материалов этой сессии (см.: Бодуэн де Куртенэ 1960) С. Б. Бернштейн в предисловии написал: «Институт славяноведения АН СССР по инициативе Н. И. Толстого приступил к подготовке издания неопубликованных богатых словенских диалектологических материалов Бодуэна. Часть из них будет подготовлена к печати в 1961 г.» (Бодуэн де Куртенэ 1960, 4). Увы, обстоятельства складывались так, что и к концу XX столетия этот замысел так и не был осуществлен, за исключением того небольшого фрагмента «Резьянского словаря», который планировался к изданию в 1961 г., а вышел под редакцией Н. И. Толстого лишь в 1966 г. (об этом см. ниже). И все.

Тем не менее в славистике об архивных открытиях Н. И. Толстого знали. Многие слависты ждали издания словенских (resp. резьянско-словенских) диалектологических материалов Бодуэна, которые так подробно впервые были описаны Н. И. Толстым в сборнике материалов упомянутой выше научной сессии (см.: Толстой 1960, 67–81, специально 73–81). Особенное внимание привлекал к себе бодуэновский «Резьянский словарь», о котором позднее стали создаваться целые легенды. Всего два примера. Несколько лет назад в беседе один коллега-славист, никогда не видевший рукописи «Резьянского словаря», пространно рассуждал о его «недостатках и некоторых достоинствах». Другой успел сообщить в печати, что первый выпуск словаря уже, якобы, издан. Ничто из этого не соответствовало действительности. Дело издания «Резьянского словаря» и других резьянско-словенских материалов И. А. Бодуэна де Куртенэ действительно превратилось в славистике второй половины XX столетия в своеобразную «резьянскую одиссею», стоившую Н. И. Толстому немало времени и сил. На протяжении десятилетий резьянщина была непрременной темой обсуждений и бесед Н. И. Толстого с пишущим эти строки. Последнее обстоятельство, а также непосредственная работа над подготовкой «Резьянского словаря» к печати позволяют мне взять на себя смелость прояснить отдельные моменты «резьянской одиссеи» Н. И. Толстого и тем самым развеять те легенды, о которых мы сказали выше.

* * *

К резьянам-словенцам И. А. Бодуэн де Куртенэ начал ездить спустя 30 лет после того, как их первым из русских славистов в 1841 г. посетил И. И. Срезневский. Бодуэна резьяне, проживающие почти в полном окружении итальянцев и фриульцев (ныне область Фриули-Венеция-Джулия в Северной Италии), привлекли как объект самостоятельного диалектологического исследования и как пример языковых контактов и смешений — проблема, к которой во второй половине XIX века в науке проявлялся активный интерес. В 1872 г. он совершает в Резью свое первое путешествие, заражается «резьянизмом» (термин самого Бодуэна!) и вплоть до 1893 г. исследует необычайно интересный уголок славянского мира. В 1875 г. Бодуэн защитил докторскую диссертацию «Опыт фонетики резьянских говоров» (Бодуэн де Куртенэ 1875а), в том же году опубликовал «Резьянский катехизис», переизданный в 1894 г. (Бодуэн де Куртенэ 1875б; Baudouin de Courtenay 1894), с 90-х гг. стал издавать «Материалы для южнославянской диалектологии и этнографии» — в 1895 г. резьянский том, в 1904 г. — по говорам терских славян, в 1913 г. — с резьянским памятником «Христианское учение» (соответственно: Baudouin de Courtenay 1895; Baudouin de Courtenay 1904; Бодуэн де Куртенэ 1913). Большая часть материалов, однако, осталась в рукописи, а это несколько томов, среди них и «Резьянский словарь» (Архив РАН, фонд 102, оп. 1, № 8, 9; см. копию л. 26 с повторным началом буквы «А»). Бодуэн называл разные причины, которые мешали ему заняться изданием всего собранного им резьянского материала. Одна из них — отсутствие условий. В Архиве РАН мы обнаружили письмо Бодуэна от 17/30 октября 1902 г., адресованное ОРЯС. В нем сказано: «Мои диалектологические материалы поступают в Библиотеку Академии [позднее будут переданы в Архив Академии] для того, чтобы в случае моей смерти они не пропали даром и сделались доступными другим исследователям. Не подлежит сомнению, что между этими исследователями есть лица, будущие в состоянии использовать мои материалы даже лучше меня самого, но навряд ли они смогут использовать это так скоро, как я сам, хотя бы по простой причине, что им необходимо будет потратить много времени для предварительного ознакомления и освоения с этим материалом, тогда как я, собиратель и непосредственный наблюдатель, не нуждаюсь в этой подготовительной работе и могу сразу же взяться за окончательную обработку. А так как я пока

не собираюсь умереть и чувствую в себе достаточно сил для напряженной работы в течение известного количества лет, то и полагаю, что самым единственным исходом было бы, если бы мне самому была предоставлена возможность посвятить значительную часть времени именно обработке и приготовлению к печати того, что было мною самим же собрано» (фонд 9, оп. 1, № 771, лл. 12, 12/об.). В этом же письме Бодуэн пишет и о словаре: «...Между прочим было бы очень желательно окончить начатый мною словарь резьянских говоров» (л. 12/об.).

Это пожелание великого лингвиста было суждено услышать более чем полвека спустя именно Н. И. Толстому.

Имея прекрасную осведомленность о достижениях мировой славистики к середине XX столетия, Н. И. Толстой, ознакомившись с «Резьянским словарем», сразу же понял, что перед ним — новаторский труд И. А. Бодуэна де Куртенэ, представляющий ценность не только для словенистики, но и для славистики вообще, во-первых, потому, что «словарь и глоссарий [терского диалекта] являются до сих пор единственными областными лексиконами словенского языка» (Толстой 1960, 70), во-вторых, «Словарь Бодуэна — первый синхронный и „полный“ диалектный словарь в истории славистики, а у словенцев есть всего лишь один — Томинца, посвященный Черновршскому диалекту¹» (из письма к автору настоящей статьи от 23. VI. 1984).

Словарь, состоящий из 248 листов и примерно 2000 карточек, был скопирован, вернее сфотографирован. По словам Н. И. Толстого, большую помощь в этом трудном в 50-е гг. деле оказал отец, Илья Ильич. Обработка текста словаря велась затем по этим фотокопиям.

«Резьянский словарь», как мы уже знаем, не был Бодуэном окончательно подготовлен к печати. Это была, по словам Н. И. Толстого, скорее «первая обработка материала полевых записей... Он [Бодуэн де Куртенэ] предлагал составлять не столько словарь в современном ему и нам понимании этого слова, сколько — словарный инвентарь для грамматических целей, а также некоторый этнографический комментарий для зафиксированных лексем» (Бодуэн де Куртенэ 1966, 184, 185). Таким образом, рукопись словаря — это по существу синтез лексического и грамматического материала, когда в реестр выносятся и грамматическая форма слов. В процессе работы над подготовкой словаря к изданию Н. И. Толстой, сохранив все выделенные Бодуэном грамматические формы, поместил их в соответствующие лексические статьи, т. е. вслед за словом и его толкованием приводились все зафиксированные Бо-

дуэном грамматические формы — для существительных падежные, для глаголов — времени, лица и т. д. Транскрипция Бодуэна оказалась достаточно сложной. Для него важно было не столько фонологическое, сколько чисто фонетическое представление резьянской речи. Поэтому при подготовке к публикации фрагмента «Резьянского словаря» Н. И. Толстой стремился в основном сохранить бодуэновскую транскрипцию (см.: Толстой 1961, 21–22). В 1966 г. он опубликовал первые буквы «Резьянского словаря» — А, В, С, Џ, D (Бодуэн де Куртенэ 1966, 195–226).

Н. И. Толстой долго работал над «Резьянским словарем» Бодуэна. С фотокопий весь его текст он перенес на карточки для того, чтобы было легче проводить обработку. Первый вариант редакторской работы им был сделан. Однако постоянная занятость в других областях славистики и языковедения, работа над организационным оформлением всевозможных научных проектов, лекции для студентов и проч. не давали возможности всецело отдаться этому труду. Помню, как он неоднократно говорил об этом, сожалея, что руки не доходят до завершения бодуэновского словаря.

* * *

В начале декабря 1983 г. во время моего приезда в Москву, на Большой Ордынке, где жил Н. И. Толстой, между нами состоялся разговор о судьбе «Резьянского словаря» И. А. Бодуэна де Куртенэ. Н. И. Толстой поведал, что после публикации фрагмента словаря в 1966 г. интерес к труду проявили словенцы. Шли переговоры со Словенской Академией наук и искусств в Любляне о завершении подготовки и издании словаря. Решено было, что словарь издадут в Любляне. Однако шли годы, а дело стояло на месте. Н. И. Толстой был серьезно этим озабочен и после долгих раздумий (как он признался) предложил продолжить работу мне, а на самом последнем этапе подключить также и словенского этнографа Милко Матичетова, крупнейшего современного знатока Резьи, резьянской этнографии и фольклора. (Замечу, что разговор о сотрудничестве Н. И. Толстой вел с М. Матичетовым в моем присутствии в Москве значительно раньше, в 70-е гг.) На мои опасения, смогу ли, Н. И. Толстой ответил, что пришел к этому решению после анализа ситуации в отечественной словенистике, и указал на мой некоторый опыт в словенистике — на написанные мною в рамках докторской диссертации очерки прекмурско-словенского и резь-

янского литературных микроязыков (см.: Дуличенко 1980 — приложение 1, 281–319, 483–492). Кроме того, он придавал большое значение тому, что я работаю в Тарту, где с 1883 по 1893 гг. профессором был И. А. Бодуэн де Куртена, трижды совершавший оттуда диалектологические экспедиции в Резью, к тому же в Тарту Бодуэн занимался также и составлением «Резьянского словаря» (см.: Duličenko 1993a, 381–389; Duličenko 1995, 12). Работа над «Резьянским словарем», по словам Н. И. Толстого, способствовала бы возрождению в Тарту начатых еще Бодуэном резьянологических исследований. В письме от 21 декабря 1983 г. я ответил согласием. В апреле 1984 г. Н. И. Толстой передал мне через обучающуюся у нас студентку-москвичку часть картотеки и часть фотокопий, а в письме от 23 июня 1984 написал: «Серьезную и безусловную помощь может оказать знание опубликованных резьянских текстов, опубликованных самим Бодуэном („Materialien...“). Я их знал почти наизусть и пользовался ими, когда нужно было определять значения». 14 февраля 1985 г. состоялась наша первая, специально «резьянологическая» встреча, на которой мы обсудили ряд вопросов по той части словаря, которая мною уже была обработана. Я возвратился в Тарту с остальной частью картотеки «Резьянского словаря». Обработка шла не так быстро, как того хотелось. По предложению словенской стороны (в частности, диалектолога Тине Логара), транскрипционную систему Бодуэна предстояло несколько упростить в технических целях. Кроме того, нужно было, работая над полным текстом словаря, упорядочить еще раз весь материал, устранить непоследовательности и повторения, неоправданные разбивки статей, расставить грамматические формы по соответствующим лексическим статьям, унифицировать систему отсылок, а главное — последовательно провести принцип четырехязычности словаря: резьянские слова должны были поясняться эквивалентами из трех языков — словенского, русского и итальянского; кроме того, на словенский и русский языки переводиться должен был иллюстративный материал к каждой статье. Там, где это не было сделано Бодуэном, перевод с резьянского на русский проводился мною, для словенского и итальянского оставлялось место, чтобы в Любляне соответствующие переводы сделал М. Матичетов. Разумеется, все наше бралось в квадратные скобки. Изменения и дополнения, о которых идет речь, были необходимы для того, чтобы «Резьянский словарь» получил законченный вид. Вся эта работа потребовала больших усилий и сосредоточенности, которых не всегда хватало, если учесть систематические лекции в университете, а также другие

сферы научных интересов, над которыми необходимо было продолжать работать. Наконец, 11 июня 1987 г. обработка словаря была завершена. Поскольку текст отличался чрезвычайной сложностью — своеобразной бодуэновской транскрипцией, латиница шла вперемешку с кириллицей — пришлось переписывать его рукою с картотеки на стандартные листы, с которых и предполагалось делать набор. Эта работа заняла приблизительно полгода — с июля 1987 по 24 января 1988 гг. и составила 1211 страниц. 2 февраля 1988 г. рукопись «Резьянского словаря» я привез в Москву, и на следующий же день состоялась наша вторая «резьянологическая» встреча. Мы обсудили вопросы, которые необходимо было решить перед тем, как рукопись копировать и экземпляр отправлять в Любляну. Почти вся весна 1988 г. ушла на копирование рукописи в двух экземплярах — одного для Н. И. Толстого, второго — для меня. 27 мая этого же года я выслал Н. И. Толстому список в 1800 отсылочных слов, которые нужно было включить в текст словаря, а в июне были готовы и переправлены в Москву 33 страницы приложения «Резьянские антропонимы». Наконец, техническая работа была завершена, и Н. И. Толстой переправил «Резьянский словарь» в Любляну. Так закончился русский (resp. советский) этап «резьянской одиссеи».

* * *

Люблянский (resp. словенский) этап «резьянской одиссеи» не менее драматичен. До лета 1989 г. над словарем самоотверженно работал М. Матичетов, переводя на словенский и итальянский резьянскую лексику и только на словенский — иллюстративный материал. После завершения этой работы возникла необходимость еще раз провести редакцию словаря. Это было сделано совместно с М. Матичетовым в Любляне в июле 1989 и 1990 гг. Оставшиеся «темные места» М. Матичетов должен был проверить в Резье, а дополнительную сверку отдельных лексем с оригиналом (особенно тех букв, фотокопий которых не оказалось у меня, — Н. И. Толстой из-за давности лет не мог их найти) провести в архиве в Петербурге должен был пишущий эти строки (что и было сделано в июне 1990 г., а материал вскоре был выслан в Любляну). Окончание работы над «Резьянским словарем» получило большой резонанс в Словении (см., напр.: Torkar 1989, 3; Matičetov 1992, 65; также: Glasnik Slovenskega etnografskega društva, let. 30, Ljubljana, 1990, št. 1–4, 17; Mladika, leto XXXVII, Trst, 1993, št. 7, 191; Primorska srečanja, Trst, 1994, št. 160–161, 478 и др.).

И все же словарь оставался лежать в рукописи. Назывались разные причины: недостаток средств на издание, трудности набора текста и под. В письмах и во время встреч Н. И. Толстой неоднократно выражал беспокойство, а однажды даже заметил: суждено ли ему увидеть словарь напечатанным при жизни!... Поскольку дело стояло на месте, Н. И. Толстой стал размышлять и об иных возможностях опубликования «Резьянского словаря». Он был уже готов вернуть рукопись в Москву, однако в случае, если бы словенская сторона определенно ответила, что в Любляне по каким-то причинам словарь не сможет выйти.

Летом 1994 г. я получил трехмесячную стажировку в Институте словенского языка имени Франа Рамовша (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša) от Научно-исследовательского центра Словенской Академии наук и искусств в Любляне. В мои задачи входила в рамках занятий по словенистике также работа над «Резьянским словарем». По прошествии лет ощущалась необходимость вновь полистать словарь, найти, может быть, иные решения тех вопросов, которые еще оставались. Сначала весь текст словаря был просмотрен мною, а затем еще раз совместно с М. Матичетовым. 8 сентября на квартире М. Матичетова (ул. Лангусова, 19) состоялось обсуждение технических вопросов издания с членом президиума Словенской Академии наук и искусств Франом Якопином и символическая передача самой рукописи «Резьянского словаря», что запечатлено на хранящейся у автора настоящей статьи фотографии. Писала о «Резьянском словаре» и словенская печать (см., например: *Togkar* 1994, 31–32). В отчете Научно-исследовательскому центру в Любляне о стажировке под пунктом 1 (с. 2 рукописи отчета) мною было написано: «В течение июля–сентября совместно с доктором М. Матичетовым словарь был последний раз вычитан, были внесены отдельные поправки и дополнения... В настоящее время „Резьянский словарь“ полностью готов к печати». Возвращаясь в сентябре 1994 г. из Любляны, я встретился в Москве с Н. И. Толстым и поведал ему о последних шагах, предпринятых в отношении «Резьянского словаря». Н. И. Толстой был искренне рад, сказав, что теперь у него появилась какая-то надежда увидеть словарь изданным. В декабре 1994 г. я вновь побывал в Архиве РАН в Петербурге, чтобы сделать там копии некоторых страниц, а также дополнительно сверить некоторые места текста. Собранный материал тут же был отослан мною в Люблян. Последняя моя встреча с Н. И. Толстым состоялась 16 июля 1995 г., когда я по пути на юг заехал вместе с младшим сыном к Толстым в Вербилки. В моих дневниковых записях

за 25 июля сказано: «Говорили о „Резьянском словаре“ Бодуэна де Куртенэ, оба были озабочены тем, что никаких вестей из Любляны нет, а это может означать, что дело стоит на месте...». Я начал писать в Любляну. Между тем М. Матичетов на сессиях Второго отделения Словенской Академии наук и искусств дважды ставил вопрос об издании словаря, тот же вопрос поднимал и Ф. Якопин (письмо Ф. Якопина от 19 марта 1996 г.). Наконец, стало известно, что в 1996 г. Словенская Академия выделила на издание словаря деньги, хотя еще оставались трудности с подысканием специалиста, который взялся бы за столь сложный набор текста словаря. На последнем этапе «резьянской одиссеи» не стало Н. И. Толстого...

* * *

Н. И. Толстой, как и И. А. Бодуэн де Куртенэ, смотрел на резьянщину как на феномен, имеющий большое теоретическое значение не только для словенистики, но и для славистики в целом. Он считал неестественным то, что богатейший резьянский (и шире — словенский) материал, собранный Бодуэном в сложных условиях XIX столетия, так и не используется в полной мере в славистике. Сам он ставил перед собой цель не только подготовить к изданию «Резьянский словарь» и оставшиеся в рукописи диалектные записи резьянской (и иной словенской) речи И. А. Бодуэна де Куртенэ, но и, опираясь на эти материалы, исследовать лексические и грамматические особенности резьянщины (см., например, опубликованную им в 1985 г. интересную статью о русском и резьянском слове *чушь*: Толстой 1985, 431–437). Еще в 1960 г. он писал: «Бодуэн не делал никаких грамматических описаний, если не считать нескольких мелких наблюдений по вопросам аналогии. Им не был создан „Опыт грамматики“ (по аналогии с его же „Опытом фонетики резьянских говоров“). — А. Д.) этих говоров, но сам принцип записи материала, составление им так называемых глоссариев — больших картотек, где слово давалось в разнообразных морфологических формах и синтаксических связях, дают полную возможность будущему исследователю восстановить картину грамматического строя резьянского и терского наречий» (Толстой 1960, 69). После защиты мною в 1981 г. докторской диссертации по славянским литературным микроязыкам, в состав которых входила также литературная резьянщина, Н. И. Толстой предложил мне на основе материалов И. А. Бодуэна

де Куртенэ заняться написанием своего рода «Опыта грамматики резьянских говоров». Потом, когда я приступил к работе над «Резьянским словарем», Н. И. Толстой посоветовал мне вести одновременно наблюдения над грамматическими особенностями резьянщины. В письме от 17 сентября 1985 г. он писал: «Я надеюсь, что Вы активно включились в работу над словарем Бодуэна. Монографическое описание грамматического и лексического строя и состава резьянщины по словарю Бодуэна и по „литературным текстам“ может быть еще одной блестящей работой типа докторской диссертации. Докторская диссертация Вам не нужна, но работа не будет лишней и напрасной». Однако «Резьянский словарь» поглощал большую часть времени, а неопределенность в связи с его изданием не позволяла вплотную заняться этим. Истины ради нужно заметить, что материал «Резьянского словаря» и других бодуэновских записей мною использовался в связи с вопросом о создании основ нормативной грамматики резьянского литературного языка (см.: Duličenko 1993, 29–46), обоснованием новой словенистической микродисциплины резьянологии (Дуличенко 1995, 121–128; Дуличенко 1996, 567–590). Теперь, однако, видно, что никакие отговорки не могут оправдать медлительность в работе над написанием «Опыта грамматики резьянских говоров», предложенного Н. И. Толстым и опирающегося на ценнейший материал столетней давности И. А. Бодуэна де Куртенэ.

¹ Имеется в виду появившийся позднее, т. е. после публикации 1960 г. Н. И. Толстого, словарь: *I. Tominec. Črnovrški dialekt. Kratka monografija in slovar. Ljubljana, 1964.*

Литература

- Бодуэн де Куртенэ 1875а — *И. Бодуэн де Куртенэ. Опыт фонетики резьянских говоров. Лейпциг, 1875.*
- Бодуэн де Куртенэ 1875б — *И. Бодуэн де Куртенэ. Резьянский катихизис, как приложение к «Опыту фонетики резьянских говоров», с примечаниями и словарем. Лейпциг, 1875.*
- Baudouin de Courtenay 1894 — *J. Baudouin de Courtenay. Il catechismo resiano. Udine, 1894.*
- Baudouin de Courtenay 1895 — *J. Baudouin de Courtenay. Materialien zur südslavischen Dialektologie und Ethnographie. 1. Resianische Texte, gesammelt in den JJ. 1872, 1873 und 1877... St. Petersburg, 1895.*

- Baudouin de Courtenay 1904 — *J. Baudouin de Courtenay*. Materialien zur südslavischen Dialektologie und Ethnographie. II. Sprachproben in den Mundarten der Slaven von Torre im nordöstlichen Italien. St. Petersburg, 1904.
- Бодуэн де Куртенэ 1913 — *И. А. Бодуэн де Куртенэ*. Материалы для южнославянской диалектологии и этнографии. III. Резьянский памятник «Christjanske uzhló». СПб., 1913 (Записки историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета, ч. CXIV).
- Бодуэн де Куртенэ 1960 — *И. А. Бодуэн де Куртенэ* (к 30-летию со дня смерти). М., 1960.
- Бодуэн де Куртенэ 1966 — *И. А. Бодуэн де Куртенэ*. Резьянский словарь (под редакцией Н. И. Толстого) // *Славянская лексикография и лексикология*. М., 1966, с. 183–226.
- Дуличенко 1980 — *А. Д. Дуличенко*. Славянские литературные микроязыки. (Вопросы формирования и развития.) Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. Приложение: Очерки славянских литературных микроязыков и их проектов. Минск, 1980.
- Duličenko 1993a — *A. D. Duličenko*. O rezijanoloških obravnavah J. Baudouina de Courtenayja v derptskem obdobju 1883–1893 // *Slavistična revija*, let. 41. Ljubljana, 1993, št. 3, s. 381–389.
- Duličenko 1993b — *A. D. Duličenko*. Rezijanščina: na poteh h knjižnemu jeziku // *Fondamenti per una grammatica pratica resiana*. Atti della conferenza internazionale tenutasi a Prato di Resia (UD) 11–12–13 dicembre 1991. A cura di H. Steenwijk. Padova, 1993, p. 29–46.
- Дуличенко 1995a — *А. Д. Дуличенко*. Резьянология как раздел словенистики. (В связи с выходом монографии Х. Стэнвейка «Словенский диалект Резьи Сан Джорджио» и сборника «Основы практической резьянской грамматики») // *Вопросы языкознания*, 1995, № 2, с. 121–128.
- Duličenko 1995b — *A. D. Duličenko*. Il resiano cento anni fa a Tartu // *All'ombra del Canin — Ta pod Čanynowo sinco*, anno 68. Udine, 1995, № 2, p. 12.
- Дуличенко 1996 — *А. Д. Дуличенко*. У истоков резьянологии // *Kopitarjev zbornik. Mednarodni simpozij v Ljubljani 29. junij do 1. julij 1994 «Jernej Kopitar in njegova doba. Simpozij ob stopedesetletnici njegove smrti»*. Ljubljana, 1996, s. 567–590.
- Matičeto 1992 — *M. Matičeto*. Resia. I. Dimensione linguistica // *La cultura popolare in Friuli «La sguardo da Fuori»*. Atti del convegno di studio. Udine, 1992, p. 57–94.
- Толстой 1960 — *Н. И. Толстой*. О работах И. А. Бодуэна де Куртенэ по словенскому языку // *И. А. Бодуэн де Куртенэ* (к 30-летию со дня смерти). М., 1960, с. 67–81.
- Толстой 1961 — *Н. И. Толстой*. Принципы построения Резьянского словаря И. А. Бодуэна де Куртенэ // *Межвузовская конфере-*

ренция по исторической лексикологии, лексикографии и языку писателя. 27 сент. — 6 окт. 1961 г. Тезисы докладов. Ленинград, 1961, с. 21–22.

Толстой 1985 — *Н.И.Толстой*. Русск. *чур* и *чушь* // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, 1985, vol. XXXI, p. 431–437.

Torkar 1989 — *S. Torkar*. Utemeljitelj nove lingvistične kategorije slovan-skih mikrojezikov // Delo, leto XXXI. Ljubljana, št. 225 — приложение «Književni listi», 28. septembra, s. 3.

Torkar 1994 — *S. Torkar*. Med Tartujem in Rezijo // Razgledi. Ljubljana, 1994, št. 15, s. 31–32.

Об изучении рукописи Саввиной книги

(РГАДА, фонд 381, № 14)

В Типографском собрании Российского государственного архива древних актов под четырнадцатым номером хранится древнеславянская рукописная книга. Она написана кириллицей, содержит 166 листов древнего пергамена. Листы пергамена небольшого размера, в четвертку (17×13–14 см), при этом пергамен не однороден по выделке. Все листы разлинованы в один столбец, количество строк варьируется от 16 до 21.

Кодекс содержит Евангелие — краткий апракос с традиционным расположением текста: сначала идут чтения от Пасхального воскресения до Страстной субботы (лл. 1–124а); затем следуют чтения Месяцеслова с 1 сентября до 14 июня (лл. 124б–152); далее находятся 11 утренних воскресных евангелий (лл. 153–165). Текст на лицевой стороне последнего (166-го) листа содержит отрывок службы «на всякую потребу». Книга сохранилась не полностью, в ней отмечены значительные утраты, ранее правильная последовательность листов с текстом была нарушена.

По палеографическим и языковым данным в кодексе № 14 выделяются четыре части. Середина книги (вторая часть) из 129 листов (лл. 25–153) представляет собой известную Саввину книгу, созданную в начале XI в., древнейшую, по мнению исследователей, славянскую рукопись, написанную кириллицей. Кроме Саввиной книги в кодексе находятся еще два отрывка Евангелия, написанные в Древней Руси в другое время и в иной славянской языковой среде: часть I, лл. 1–24 и часть III, лл. 154–165. Четвертую часть кодекса составляет последний лист (166-й).

Перед началом евангельского текста на обороте 1-го листа находится запись XVII в. «Середкина **М**» сделанная четкой скорописью. Ее наличие свидетельствует о том, что рукопись № 14 вместе с другими в XVII в. поступила на Печатный двор в Москву из Псковского Середкина монастыря. Аналогичные записи отмечены еще на пяти книгах собрания Типографской библиотеки.

С XVII в. кодекс хранится в Типографском собрании, ныне фонд 381 Российского государственного архива древних актов в Москве (ранее ЦГАДА).

По причине общей неудовлетворительной сохранности в 1988–1991 гг. рукопись была направлена в Сектор книжной реставрации Российского научно-исследовательского института реставрации в Москве (ранее ВНИИР). В целях исследования и для комплексной реставрации кодекс расплели, освободили книжные листы. Пергамен распрямили, тщательно очистили от поверхностных загрязнений и подклеили особым пергаменным клеем те дыры, которые могли привести к увеличению разрывов. Затем книга была заново сшита. По решению научного реставрационного совета в кодексе была восстановлена правильная последовательность текста с последующим изменением нумерации листов. Для лучших условий хранения был изготовлен новый реставрационный переплет из липовых досок. Затем переплет был обтянут кожей и снабжен двумя застежками. Для лучшей сохранности текста в книгу были вставлены два новых переплетных листа пергамена, оберегающих текст от соприкосновения с досками.

Реставрация 1988–1991 гг. не единственная в истории кодекса. Известно, что в середине 40–60-х гг. нашего столетия в ЦГАДА кодекс отреставрировали. Для него был сделан картонный переплет, обтянутый новым пергаменом. При реставрации рукопись также была расплетена с освобождением для чистки книжных листов. Очевидно, была снята бумажная «обклейка» оборота листа 166 (ранее 165). При переплетении кодекса каждая тетрадь была заключена в бумажные фальцы, при этом были допущены новые ошибки в составе тетрадей, в конце кодекса была нарушена последовательность листов с текстом и на них проставлена новая ошибочная нумерация. В настоящее время не представляется возможным точно установить, с применением каких средств и способов проводилась чистка пергамена, реставрационная документация отсутствует (не сохранилась?). Однако можно утверждать, что эта реставрация нанесла памятнику непоправимый вред. Пергамен приобрел необычный темный цвет, многие тонкие листы стали прозрачными. Почти полностью в Саввиной книге исчезло письмо краской, которое ранее, в XIX и в начале XX в., достаточно хорошо читывалось.

Честь открытия кодекса с Саввиной книгой принадлежит И. И. Срезневскому. В 1866 г. в Типографской библиотеке он обратил внимание на древнеславянскую рукописную книгу Евангелия. Кодекс хранился без переплета, И. И. Срезневский определил его как «сшивок из трех частей». В 1867 г. он осуществил первую

публикацию отрывка кодекса (часть III) под заголовком «Отрывок из русского списка евангельских чтений XI века». В публикации не было сказано, что этот отрывок является частью рукописи № 14 (ныне лл. 154–165). В начале публикации был воспроизведен текст из Остромирова Евангелия (начало 1-го воскресного евангелия), восполняющий отсутствующий текст в отрывке. Публикации предшествует краткая заметка автора, в которой говорится о ценности данного отрывка для филологических исследований (Срезневский 1867, 44–57).

В следующем, 1868, году И. И. Срезневский публикует еще одну часть кодекса, часть II, отрывок в 129 листов (Срезневский 1868а, 1–154). Он устанавливает, что эта часть (ныне лл. 25–153) относится к числу древнейших памятников славянской письменности на кириллице и датирует ее XI в. (Срезневский 1868, 6). И. И. Срезневский же назвал эту часть кодекса Саввиной книгой по имени, встречающемуся в приписках на нижнем поле двух листов (ныне л. 51 и л. 56). Им же было высказано предположение, что «попъ Сава» мог быть писцом этой части кодекса или ее владельцем.

Во введении ко второй публикации И. И. Срезневский кратко сообщает еще о двух отрывках Евангелия в составе кодекса и отмечает, что установленные три части существенно различаются между собой (Срезневский 1868, 5). Здесь же автор специально останавливается на древности двух частей кодекса (частей II и III) и подчеркивает их значимость для историко-филологических разысканий. Во введении же приводятся сведения о палеографических особенностях Саввиной книги и обосновывается датировка рукописи XI в. Кроме того, рассматривается состав евангельских чтений и состав Месяцеслова, выявляются утраты. Обращается внимание на графико-орфографические особенности письма, дается их интерпретация, приводится интересный лексический материал. Для сравнения привлекаются тексты других древнеславянских рукописей, главным образом Ассеманиева и Остромирова евангелий (Срезневский 1868, 7–20).

Обе публикации И. И. Срезневского выполнены в традициях своего времени. Текст передается в издании с разделением на слова «буква в букву, знак в знак, строка в строку», отмечаются границы страниц. От публикатора вводятся заглавные буквы для передачи инициалов, имеющих в тексте, и в начале собственных имен. Заставки не выделены. Заголовки чтений обозначены полужирным шрифтом. В подстрочных примечаниях отмечаются случаи утраты текста; отсутствующий текст восполняется по Ассеманиеву

евангелию и выделяется скобками. Интересно отметить, что в первом издании части III 1867 г. ни листы кодекса, ни страницы не имеют нумерации. В издании Саввиной книги (части II) 1868 г. листы пронумерованы с первого по сто двадцать девятый. Очевидно, что эта нумерация была сделана И. И. Срезневским для своей публикации. Можно сделать вывод о том, что в кодексе № 14 в середине XIX в. нумерация листов отсутствовала. К сожалению, воспроизведение текста в обоих изданиях И. И. Срезневского не свободно от ряда неточностей, отчасти отмеченных публикатором.

Издание текста Саввиной книги привлекло внимание многих исследователей, к нему обращались В. Вондрак, И. В. Ягич, Г. А. Воскресенский. Орнаменту Саввиной книги уделили внимание В. В. Стасов и Ф. И. Буслаев.

В конце XIX в. вышло в свет широко известное лингвистическое и палеографическое исследование Саввиной книги проф. В. Н. Щепкина, выполненное им на основании тщательного изучения рукописного источника. «Рассуждение о языке Саввиной книги» справедливо признается образцовым во многих отношениях. Этот труд представляет собой первое полное монографическое исследование рукописи. Основное внимание автор уделил изучению письма Саввиной книги и его лингвистической интерпретации. Вместе с тем в исследовании рассматривается состав кодекса в целом, устанавливаются лакуны в тексте. Анализ палеографических особенностей письма Саввиной книги (части II) позволил автору сделать интересные заключения об ее оригинале. В. Н. Щепкин с уверенностью предполагает, что этот оригинал был написан глаголицей. Монография сопровождается воспроизведением двух страниц текста: 104а (ныне 106а) и 50а (ныне 52).

В исследовании В. Н. Щепкина широко привлекается материал других древнеславянских рукописей и данные славянских диалектов. Впервые четко определяется состав кодекса, в нем выделяются четыре разновременные части. Из них части II (Саввина книга) и IV (последний лист), по заключению В. Н. Щепкина, были созданы в восточной Болгарии в XI в., причем В. Н. Щепкин предполагал, что часть IV могла быть написана несколько позже, чем Саввина книга. Две другие части кодекса были написаны в Древней Руси. Часть III, как считал В. Н. Щепкин, была создана в XII в., а часть I датируется им XIV в. (Щепкин 1899, 2–7).

В дальнейшем, в 1903 г., В. Н. Щепкин осуществил новое издание Саввиной книги (Щепкин 1903). По точности передачи текста рукописи и благодаря хорошему справочному аппарату оно намного превосходит предыдущее. В основу издания положен текст ру-

кописи в том виде, в каком он сохранился до публикации. Нумерация листов, начиная с пометы 25, дается в строгом соответствии с нумерацией листов кодекса. Очевидно, ко времени исследования Саввиной книги В. Н. Щепкиным в кодексе листы были при хранении пронумерованы.

При этом В. Н. Щепкин устанавливает нарушения правильной последовательности текста и ошибки в нумерации. Лл. 140 и 141 в соответствии с содержанием помещены в издании после л. 27, при сохранении своих порядковых номеров. В рукописи два листа имели цифровую помету 139 (139-1 и 139-2), с этими пометами они воспроизведены в издании. Перемещен текст л. 123 на полагающееся ему в соответствии с содержанием место вслед за 151 л.; а текст л. 164 под своим номером расположен в издании после л. 123. Следует заметить, что в правильной последовательности воспроизведен текст и в издании И. И. Срезневского, однако в нем отсутствуют какие-либо ссылки на реальное расположение текста в кодексе. При воспроизведении текста В. Н. Щепкин указывает на полях имя евангелиста (в начале чтения), римскими цифрами обозначает номер евангельской главы, а в самом тексте арабскими цифрами обозначаются номера стихов. Публикация текста сопровождается словоуказателем, правда неполным, с греческими эквивалентами слов. К сожалению, в издании не указываются утраченные листы и тетради, для их выявления необходимо обращаться к тексту исследования. В приложении к изданию текста даны снимки еще четырех страниц текста: 1276 (ныне 1286), 1336 (ныне 1346), 134а (ныне 135а), 142б. Таким образом, в начале XX в. были воспроизведены фотографии шести страниц текста.

Сведения об особенностях письма Саввиной книги приводятся в обобщающем труде П. А. Лаврова о палеографических особенностях кирилловского письма в южнославянских рукописях. Он рассматривает письмо памятника в ряду других древнейших южнославянских кириллических рукописей (Лавров 1915, 29-32). В исследовании помещены частично новые фотокопии: 7 строк с лицевой стороны л. 96 (ранее 94); 6 строк с лицевой стороны л. 36 (ранее 34), 2 строки с оборота л. 142 (фотокопия помещена у В. Н. Щепкина), 5 строк с лицевой стороны л. 31 (ранее 29). Кроме того, в Альбоме снимков опубликован оборот л. 51 (ранее 49) (Лавров 1916, № 1). В общей сложности были опубликованы изображения чуть более чем восьми страниц рукописи в различных изданиях, то есть воспроизведены четыре листа из 129. В дальнейшем копии именно этих фотографий воспроизводятся специалистами.

После выхода в свет издания В. Н. Щепкина вторая часть кодекса № 14, содержащая Саввину книгу, приобретает широкую известность, ее изучению в разных аспектах посвящено большое количество научных исследований (см.: Каталог 1988). При этом издание как бы заменяет оригинал, в литературе обычны ссылки на страницы в труде В. Н. Щепкина без соотнесенности с рукописью. Многие исследователи — филологи, текстологи — в своих разысканиях непосредственно к рукописи не обращались и пользовались только этим изданием. обстоятельная проверка точности передачи текста в издании была выполнена проф. Н. М. Каринским и опубликована в 1914 г. (Каринский 1914). К сожалению, список неточностей против рукописи, указанных Н. М. Каринским, отличается известной неполнотой.

В дальнейшем достоверных сведений об обращении исследователей непосредственно к подлиннику мы не обнаруживаем до 1981 г.; в лучшем случае специалисты ограничивались кратким просмотром рукописи в хранилище. И лишь в 1981 г. был опубликован труд болгарской исследовательницы, искусствоведа Аксилии Джуровой, посвященный истории развития орнаментики в болгарских рукописях. В нем воспроизведены шесть страниц новых фотокопий (Джурова 1981), причем одна из них повторяет страницу, воспроизведенную В. Н. Щепкиным. Это иллюстрации 35: 1426–143а, 36: 1286–129а, 37: 1496–150а.

Две другие части апракоса в кодексе № 14 и последний лист менее известны. Относительно части IV кодекса, отрывка на одной странице, лицевой стороне л. 166 (ранее 165), сведения в научной литературе практически отсутствуют. Суждение о датировке, письме и языке этой части находятся в названном труде В. Н. Щепкина (Щепкин 1899, 4–7). Этот лист пергамена отличается очень плохой сохранностью, текст читается с большим трудом, а во многих местах не поддается прочтению. Болгарская исследовательница Е. Дограмаджиева в результате тщательного изучения текста л. 166 (ранее 165) установила, что этот текст представляет собой отрывок службы «на всякую потребу» (Дограмаджиева 1993).

Древнейшая в книге восточнославянская часть (часть III) занимает 12 листов пергамена, ныне лл. 54–165 (ранее лл. 151–155, 157–163, еще ранее 152–163). Древнерусскую принадлежность письма отрывка и его дату, XI в., впервые установил И. И. Срезневский в 1867 г. (Срезневский 1867, 44). Краткие сведения об отрывке приводятся в труде В. Н. Щепкина, который с известной долей вероятности датирует его XII в. (Щепкин 1899, 4). Часть III под № 7 упоминается в обзоре древнерусских рукописей Н. В. Волкова

(Волков 1897, 51). Достаточно подробно письмо этой части рассматривается Н. М. Каринским в труде, посвященном исследованию истории древнерусской книги (Каринский 1925, 6–7). Он помещает фотокопии двух страниц текста (в таблице 27 лл. 1596 и 162, ранее 1576 и 160).

Н. М. Каринский анализирует особенности почерка части III, широко привлекая материал других древнерусских рукописей XI в., и вполне убедительно датирует отрывок одиннадцатым веком. С той же датой — XI в. — часть III упоминается в обзоре древнерусских рукописей у Н. Н. Дурново (Дурново 1969, № 23, 56).

К языковым данным части III неоднократно обращался венгерский славист И. Тот. Он дважды публиковал отрывок параллельно с текстом из Остромирова и Ассеманиева евангелий. К сожалению, воспроизведение текста содержит ряд неточностей. Лингвистические наблюдения И. Тота дополняют известные положения об особенностях древнерусского письма XI–XII вв. и их интерпретации (Тот 1977; 1985; 1990).

Отрывок, расположенный в начале кодекса, часть I, еще менее привлекал внимание исследователей. И. И. Срезневский лишь упоминает о том, что в кодексе на первых двадцати четырех листах содержится начало апракосного Евангелия, не относящееся по письму к Саввиной книге (Срезневский 1868, 5). Краткие сведения об этом отрывке находятся в раннем труде А. И. Соболевского. Отрывок датируется им XIV в. А. И. Соболевский впервые указывает на написания, позволяющие отнести отрывок к памятникам древнего псковского диалекта (Соболевский 1884, 137–138). Эта часть кодекса под № 127 также упоминается в обзоре Н. В. Волкова с указанием на псковское происхождение и датируется XIV веком (Волков 1897, 58). Краткие, но весьма существенные данные о части I кодекса сообщает В. Н. Щепкин. Он первым отметил, что лл. 1–24 в кодексе № 14 представляют собой палимпсест, написанный по смытому также древнерусскому письму. В. Н. Щепкин датирует отрывок XIV в. (Щепкин 1899, 2–4). К сожалению, нижнее письмо на этих листах до сих пор не прочитано, что объясняется прежде всего техническими трудностями. В 1993 г. проф. Роберт Матиссен из США на отдельных листах прочитал отрывки из славянского требника. В 1990 г. была опубликована заметка О. А. Князевской о древнерусских дополнениях в рукописи № 14 (Князевская 1990, 217–231). В ней аргументируется более раннее время создания части I кодекса. Отрывок датируется второй половиной XIII в., вероятно, он был создан ближе к концу века. Время написания части III кодекса определяется так же, как в работах

И. И. Срезневского и Н. М. Каринского — XI в. (возможно, в конце XI — начале XII в.).

В настоящее время подготовлен оригинал-макет нового издания полного текста рукописи № 14. Воспроизведение текста каждой страницы сопровождается ее фотографией. Текст Саввиной книги заново прочитан и прокомментирован по рукописи; внесены необходимые исправления в прочтения В. Н. Щепкина, учтены все замечания, предложенные Н. М. Каринским. Специально оговариваются некоторые сомнительные чтения. Составлен полный указатель слов и форм к каждой части евангельского текста, при этом специально выделены словоуказатели к заголовкам.

Литература

- Волков 1897 — *Н. В. Волков*. Статистические сведения о сохранившихся древнерусских книгах XI–XIV вв. и их указатель // Памятники древней письменности. СПб., 1897, № СХХIII.
- Джурова 1981 — *А. Джурова*. 1000 години българска ръкописна книга. Орнамент и миниатюра. София. 1981. Приложения (фотогр. № 35–37).
- Дограмаджиева 1993 — *Е. Дограмаджиева*. Ролята на л. 165 в състава на Савина книга // *Palaeobulgarica* — Старобългаристика. София, 1993, № 4, с. 16–21.
- Дурново 1969 — *Н. Н. Дурново*. Введение в историю русского языка. 2-е изд. М., 1969, с. 56 (№ 23).
- Каринский 1914 — *Н. М. Каринский*. Перечень важнейших неточностей последнего издания Саввиной книги. [Рец.] // Известия ОРЯС. СПб., 1914, т. XIX, кн. 3, с. 206–216.
- Каринский 1925 — *Н. М. Каринский*. Образцы письма древнейшего периода истории русской книги. Л., 1925, с. 6–7, таблица 27.
- Каталог 1988 — Каталог славяно-русских рукописных книг XI–XIV вв., хранящихся в ЦГАДА СССР / Составители: О. А. Князевская, Н. С. Коваль, О. С. Кошелева, Л. В. Мошкова. М., 1988, с. 29–31.
- Князевская 1990 — *О. А. Князевская*. Древнерусские дополнения в рукописи № 14 Типографского собрания (Центральный государственный архив древних актов, Москва) // *Wiener slavistischer Almanach*. Wien, 1990, Band 25/26, S. 217–231.
- Лавров 1915 — *П. А. Лавров*. Палеографическое обозрение кирилловского письма // Энциклопедия славянской филологии. Вып. 4.1. Пг., 1915, с. 29–32 (фотогр. 25–28).
- Лавров 1916 — *П. А. Лавров*. Альбом снимков с юго-славянских рукописей болгарского и сербского письма. Пг., 1916 (фотогр. 1).
- Соболевский 1884 — *А. И. Соболевский*. Очерки по истории русского языка. Киев, 1884, ч. 1, с. 137–138.

- Срезневский 1867 — *И. И. Срезневский*. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. № XXV. Отрывок из русского списка евангельских чтений XI века // Сборник статей, читанных в Отделении русского языка и словесности. СПб., 1867, т. I, вып. III, с. 44–57.
- Срезневский 1868 — *И. И. Срезневский*. Обзорение старославянских памятников юго-западного юсового письма // Сборник ОРЯС. СПб., 1868, т. III, с. 5–20.
- Срезневский 1868а — *И. И. Срезневский*. Древние старославянские памятники юсового письма // Там же, с. 1–154.
- Тот 1977 — *И. Тот*. Русская часть Саввиной книги // *Dissertationes Slavicae*, XII. Сегед, 1977, с. 177–205, фотографии л. 1616 (ныне 163) и л. 162а (ныне 164а).
- Тот 1985 — *И. Тот*. Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI — начале XII вв. София, 1985, с. 63–66, 114–120, 173–177, 198–199, 264–268, 273–274, 280–281, 300–302, 307.
- Тот 1990 — *И. Тот*. Русская часть Саввиной книги // *Dissertationes Slavicae*, XXI. Сегед, 1990, с. 363–420. [Издание текста с параллельными чтениями из Остромирова и Ассеманиева евангелий, указателями и фотографиями л. 162а (ныне 164а) и л. 163а (ныне 165а).]
- Щепкин 1899 — *В. Н. Щепкин*. Рассуждение о языке Саввиной книги. СПб., 1899.
- Щепкин 1903 — *В. Н. Щепкин*. Саввина книга // Памятники старославянского языка. СПб., 1903, т. I, вып. 2 (текст — с. 1–152, указатели к тексту — с. 153–235).

Неке мисли Н. И. Толстоја о српском књижевном језику новијег времена

I

Говорећи о стању српског књижевног језика крајем XVIII и почетком XIX века, и о његовом усмерењу према српском народном језику, Н. И. Толстој, у вези с Доситејем Обрадовићем, на једном месту истиче да «вероятно ему, а не Вуку Караджичу следуеет в первую очередь приписать роль реформатора сербского литературного языка. Вук же закончил, теоретически обобщил, лингвистически обосновал (вкуче с Дж. Даничичем и другими его последователями) и кодифицировал то, что проводил и произвел Обрадович» (Толстој 1978, 308).

Овом својом констатацијом Н. И. Толстој је у основи био у праву, што су потврдила и новија истраживања историје српског књижевног језика новијег времена (Ивић–Младеновић 1986, 92 и даље; Ивић 1990, 5–14; Младеновић 1995, 103–114 и др.). Суштина Доситејевог реформаторског поступка огледала се у јединственом или у великој мери јединственом књижевном језику којим се он служио. Сва своја дела, а она су сва световне садржине, Доситеј је писао углавном јединственим књижевним језиком (Толстој 1978, 298), тј. у највећој мери народним језиком, шумадијско-војвођанским дијалекатским типом, с низом неуједначених народних црта а такође и с већом или мањом употребом славенизама. Примери:

1

Ја сам искуством познао жељу, љубов, усердије и ревност господара Новосађана и Осјечана, и, у Далмацији, Сарајлија и Херцеговаца како горећим срцем желе науку својој деци. Нигди нисам био гди нису ме желили и устављали. Како би ја, дакле, могао одговорити на љубов и пријазност мојега љубезнога рода, развје тру-

дећи се колико могу за просвештеније јуности? (*Љубезни Харалампје, здравствуј, Христос воскрес!*, с. 14, у књизи: *Живот и прикљученија Димитрија Обрадовича нареченога у калуђерству Доситеја*. Њим истим списат и издат, у Лајпсику, 1783, 1.)

2

Шта је човек кад га каква страст преузме, кад какво мечтаније ума ужеже му мозак, подбуну срце и учини да сва крв у њему узаври! Био сам у то време у четрнаестој години возраста, ненаучен ни мало пешице ходити; отићи из града у Фабрику и Малу и вратити се, то је мени доста било. Тај дан као да су ми ноге крилате биле код салаша деда мога спрам Семартону. Ту смо после подне починули. (*Живот и прикљученија Димитрија Обрадовича...*, 1783, 1, 77.)

3

Све житије и наука нашега небесног Учитеља није ништа друго него љубов; каже нам да је Бог општи Отац свега человјеческога рода и чрез ову утјешителну, слатку и љубве пуну науку међу све људе братску љубов уводи. Може ли се гди толико неблагодаран син наћи који таког Оца не би љубио? А може ли ко Оца љубити не љубећи браћу своју, истога Оца синове? (*Совјети здраваго разума*. Доситејем Обрадовичем сложени, у Лајпсику, 1784, 1, 9.)

4

Лав и магарац пођу у лов. Магарац својом виком поплаши и узбуну многу животињу и учини ју бежати из шуме, на коју лав, нападајући, нафата силу. Онда магаре, поносећи се, упита лава: «Хе, сад ми кажи што ти се чини од мојега гласа?» «Пак јошт питаш, одговори лав, и ја сам, да те не знам ко си, би си од твоје вике уплашио».

Наравоученије

Ова басна приличествује онима који се чине страшни док и(х) људи не сазнаду, а потом нико се на њи не обзире, и колико они више вичу, толико се већма други смеју. Простак и дете од свашта се препадају, и малодушан човек у всегдашњем живи страху као зец. (Езопове и прочих разних баснотворцев, с различни језика на славеносерпски језик преведене, сад први ред с наравоучителними

полезними изјасњенијама и настављенијама издате и серпској јуности посвећене басне, у Лајпсику, 1788, 22.)

5

Кад у Беч дођем, нигде никога не познајући, немецки ни мало не знајући, пођем к греческом капелану попу Атиму, искажем откуд идем и за чим, и да би желио, ако би се могло, коју годину у Бечу пребивати и чему полезном поучити се док сам јошт млад. Ови ме љубезно прими поведајући ми да је и сам у младости, без родитеља и убог будући. сота странствовао и намучио се за постигнути јелински списатеља и језика познанство. Он имађаше свој кватир у дому једнога од први у Бечу, међу Греци, трговаца, именем Николаја Димитрија Стојчо, којега запроси дозволити му да ме прими при себи на кватир. [(Езопове и прочих разних басно-творцев... басне, у Лајпсику, 1788, 363); на крају ове књиге објављено је друго издање «Живота и прикљученија» Д. Обрадовића, одакле потиче и горњи цитат.]

6

О вјек златни! О мила времена!
О весела и слатке радости!
Сербија је наша избављена,
блага жеља од наше младости!

Нејма оца ни луди аџија,
горделиви нејма јаничара,
нити турски ага ни спаија,
ни њиови ножа ни анџара!

(Пјесна о избављењу Србије,
(В) Вијење, 1789).

7

Историја је једно весма нужно, преплезно а при том радосно чловеческому роду знање. Овде се ласно и с веселјем учи шта се је од неколико иљада година на овој земљи нашој случавало: какова су премењенија међу људма бивала, како су царства велика и различна народња владјенија и прављенија постјала и чрез какова средства и начине растила и цветала, а потом и спадала и пропадала. Колико је благополучије да се човек може лепим прикладом давњашњи људи, њима подражавајући, ползовати, и чрез

исто њиво паденије, од подобног паденија чувајући се, себе исправљати! (Собраније разних правоучителних вешчеј. В ползу и увеселение Доситејем Обрадовичем, В Вијење, 1793, 40.)

8

Воображеније кад се узима у пространом разумјенију, јест она способност чрез коју ум живо представља себи образе вешчи који у исто време нису при чувствами. О сили ове способности, и о пространој власти коју она употребљава над прошастим, будушчим и настојашчим, метафизика нашироко учи.

За представити један знак тога, узећемо прикљученије последње вечере пред сраженијем на Косову пољу кнеза Лазара. Како се тога ми споменемо, воображеније наше представља нами живо све што смо о том чули као да смо ту били. (Етика или философија наравоучителна по системи г. професора Соави. Доситејем Обрадовичем издата, у Венецији, 1803, 11.)

9

Љубов к родетељем, пресвета и божествена љубов! Ком смо ми после Бога више дужни, него оцу и матери? Само при воспоминанију сви пречесни имена, у некакво чудно иступленије долази душа. По Богу они су наши творци, прави и највећи благодјетељи, учитељи и љубитељи, накратко: што је год пречесно, пресвето, прељубезно и премилостиво, све се то у имену отац и мати закључава и садржава. (Совјети здравога разума. Доситејем Обрадовичем сложени, в Будиње Градје, 1806, 1, 15.)

* * *

У складу, дакле, са својим објављеним манифестом о карактеру српског књижевног језика — да за Србе српски писци треба да пишу српским језиком (1783) — Доситеј Обрадовић је то у својим делима, у пракси, чинио колико је могао и колико је знао афирмишући тип доситејевског српског књижевног језика (Ивић 1990, 5–14) који је и другима могао послужити за углед. То угледање на језик Доситејевих дела одражавало се код других писаца у првом реду на то да своја дела различите садржине треба писати једним јединственим типом књижевног језика на народној основи занемарујући, у највећем степену, жанровске књижевнојезичке разлике које су и пре и после појаве Д. Обрадовића постојале у српској писаној

речи. Узор у писању српским народним језиком нови писци нису налазили само у Доситејевим делима већ и код ранијих аутора који су своје текстове писали и штампали поменути језиком (Захарија Орфелин, Јован Рајић, Василије Дамјановић [Младеновић 1995, 103–117]). То, дакле, није била првостепена новина коју су нудила Доситејева дела: новина је била њихов садржај, који је у њима био различит, и исказивање тога неистоветног садржаја добрим делом јединственим типом књижевног језика. С обзиром на то да су Доситејева дела била радо читана и прештампавана, сама основица њиховог језика, српска народна, могла је бити, наравно, инспирација и другим писцима да тако пишу; међутим, она је представљала узор принципског карактера јер је тада било аутора који су писали уједначенијим народним језиком неголи што је био Доситејев, нпр. (Новосађнин Емануил Јанковић 1787. и 1789. г.).

Славенизме, лексичке и фонетске пре свега, Доситеј је употребљавао у својим делима, што показују и горњи цитати из његових текстова. Већа или мања заступљеност славенизама зависила је, наравно, од тематике одговарајућег дела. Тако, њих у знатном степену налазимо у «Етици», у књизи филозофске садржине, што изискује употребу низа апстрактних појмова за које је одговарајућу лексику имао рускословенски али не и српски народни језик који је таквим речима био сиромашан. Знатно мањи степен употребе славенизама огледа се нпр. у «Животу и прикљученијима», у делу биографског карактера, чија је садржина само на неким местима захтевала употребу понеког славенизма. У вези са «Баснама» треба рећи да је сама садржина појединих басана готово ослобођена славенизама, што се не може рећи за «наравоученија» уз њих, а што је и природно, јер је у њима писац објашњавао поруку басне, а то се није могло у потпуности постићи без употребе и лексике с апстрактним значењем.

Својим штампаним делима, чија је садржина интересовала и привлачила читаоце (а њих је писао један од највећих српских књижевника XVIII века) и језиком тих дела, којим су она сва, различите садржине, била писана — Доситеј Обрадовић је у следећим правцима могао утицати на ондашњу српску књижевнојезичку ситуацију. Могао је, прво, подржати дотадашњу праксу писања код Срба српским народним језиком и, друго, могао је утицати на своје савременике и следбенике да они своје саставе пишу онаквим језиком каквим се он служио: добрим делом јединственим (уз употребу неизбежних славенизама) превазилазећи и напуштајући при том традиционалну условљеност употребе одговарајућег типа (стила) литерарног језика књижевним жанром текста који се

пише. У томе стварно треба видети основни значај Доситеја Обрадовића као основног реформатора српског књижевног језика новијег времена, чиме се потврђују и речи Н. И. Толстоја наведене овде у почетку.

II

У вези са Вуковим односом према лексици српског књижевног језика, Н. И. Толстој на једном месту каже: «Число славянизмов следует свести до минимума, все они должны быть „осерблены“, турцизмам во многих случаях отдавалось предпочтение перед славянизмами» (Толстој 1978, 326).

Ова Толстојева констатација је тачна: Вук је био против употребе славенизама у српском књижевном језику док евентуалан такав његов став о позајмљеницама из других језика истраживачи његових дела не помињу или се о томе мало зна. Још 1816. г. Вук је саветовао Л. Мушицког да у својим одама не употребљава славенизме, да се чува «славенских рјечи као живе ватре» (Вукова преписка 1, 356) мада је те исте године, у свом објављеном позиву на претплату за «Српски рјечник», истицао да «славенски језик остаје источник обогащченија српском језику, као и росијском» (Младеновић 1989, 64). Иако је био против употребе славенизама, при чему је давао предност турцизмима над речима рускословенског или руског порекла, како, видели смо, истиче Н. И. Толстој, Вук није могао никако да се ослободи те лексике словенског порекла. Посрбљивање славенизама, пре свега фонетско, које је Вук спроводио у својим текстовима, није ипак могло тим речима укинути њихову несрпску односно славенску препознатљивост. У предговору свог превода Новог завјета (1847) Вук, поред осталог, каже (а) да је овде задржао «30 ријечи турскијех», као нпр. *бадава*, *басамак*, *долама*, *занат* и др., (б) да је задржао «49 ријечи славенскијех које се у нашем народном језику не говоре», као нпр. *гонитељ*, *утјешитељ*, *преступник*, *јединство* и др., (в) да «има 47 ријечи које су од славенскијех посрбљене», као напр. *богомрзац*, *среброљубац*, *сујетан*, *поучење*, *помиловање*, *пријатан* и др., и (г) да «има ријечи 84 којијех нијесам чуо у народу да се говоре него сам их ја начинио», као нпр. *викач*, *гудач*, *отпад*, *избављење*, *оправдање*, *познање*, *покајање*, *послушање* и др. (неке ових речи припадале би претходној групи примера) — уп. Нови завјет 16–17.

У својој добронамерној критици Вуковог превода Новог завјета Јован Стејић је, поред осталог, навео да је на првих 126 страна

овога дела Вук употребио преко сто славенизама које није регистровано у свом поменутом предговору, као нпр. *премудрост*, *држава*, *свјетлост*, *смисао*, *савјет*, *начелник*, *спасеније*, *читатељ* и др. (Стејић 1849, 482–483 овде грешком: 582–583; Младеновић 1994, 400–401).

Све ово указује на то да се Вук није ослободио нити се могао ослободити славенизама у свом књижевном језику, као што се није ослободио ни турцизама. Славенизми су очигледно њему били блиски, без обзира на отпор који је имао према њима, јер без њих се, наравно, није могао успешно превести Нови завјет. Том блискошћу се може разумети и објаснити чињеница да Вук није регистровао у свом предговору Новог завјета велики број употребљених славенизама у овом делу (на шта је указао Ј. Стејић) мада је у том регистровању, како смо горе видели, тежио сасвим прецизним цифрама. Један број од ових славенизама, на које је скренуо пажњу Ј. Стејић 1849. г., Вук је унео у друго издање свог «Српског рјечника» (Беч, 1852) — уп. Младеновић 1994, 401 — а многе друге од њих усвојила је српска књижевнојезичка пракса почев од друге половине XIX века па наовамо, тако да готово сви они улазе у лексички фонд данашњег српског књижевног језика.

Иако је, дакле, понекад давао предност турцизмима над славенизмима, на шта је с правом указао Н. И. Толстој, Вук Караџић никада није успео да се славенизама потпутно ослободи у свом књижевном језику. Велики број таквих лексема одржао се и у делима овога великана српске културе XIX века а остао је и до данас у српском књижевном језику.

Литература

- Вукова преписка 1 — Сабрана дела Вука Караџића. Књига XX: Преписка. 1. 1811–1821. Београд (Просвета), 1988.
- Ивић 1990 — *П. Ивић*. Доситејевски књижевни језик између славеносрпског и вуковског // Научни састанак слависта у Вукове дане. Реферати и саопштења. Београд, 1990, књ. 19, св. 2, с. 5–14.
- Ивић–Младеновић 1986 — *П. Ивић, А. Младеновић*. О језику код Срба у раздобљу од 1699. до 1804. // Историја српског народа. Четврта књига. Други том: Срби у XVIII веку. Београд, 1986, с. 69–106.
- Младеновић 1989 — *А. Младеновић*. Славеносрпски језик. Студије и чланци. Нови Сад (Књижевна заједница Нови Сад); Горњи Милановац (Дечје новине), 1989.
- Младеновић 1994 — *А. Младеновић*. О неким погледима Јована Стејића на српски књижевни језик // Зборник Матице српске за фи-

- тологију и лингвистику. Нови Сад, 1994, књ. XXXVII, св. 1–2, с. 395–402.
- Младеновић 1995 — А. Младеновић. Славеносрпски књижевни језик — почеци и развој // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. Нови Сад, 1995, књ. XXXVIII–2, с. 103–117.
- Нови завјет — Сабрана дела Вука Караџића. Књига X: Нови завјет Господа нашега Исуса Христа. Превео Вук Стеф. Караџић. Београд (Просвета), 1974.
- Стејић 1849 — Ј. Стејић. Језикословне примједбе на предговор г. Вука Стеф. Караџића к преводу Новог завјета // Скупљени граматички и полемички списи Вука Стеф. Караџића. Београд, 1896, књ. III, с. 471–493 — овде грешком: 593.
- Толстој 1978 — Н. И. Толстој. Литературни језик у сербов у конце XVIII — начале XIX века // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978, 269–328.

А. Младенович

Некоторые мысли Н. И. Толстого о сербском литературном языке нового времени

В настоящей работе автор рассматривает одну мысль Н. И. Толстого о Досифее Обрадовиче — главном реформаторе сербского литературного языка Нового времени. Вуку Караджичу принадлежит роль продолжателя дела Досифея Обрадовича. То, что сделал этот крупный сербский писатель XVIII в., Караджич довел до конца, обобщил, поставил на соответствующую лингвистическую основу и кодифицировал вместе с Дж. Даничичем и другими своими последователями.

Исходя из мысли Н. И. Толстого, что Вук Караджич давал предпочтение лексическим турцизмам над лексическими славянизмами, автор настоящей статьи подчеркивает следующее. Вук действительно не мог освободиться от турцизмов, а также от славянизмов, в частности, в своем переводе Нового завета (1847). Данную книгу Вук не мог удачно перевести с русскославянского языка на сербский без употребления славянизмов.

Slovanski raziskovalci in slovenska slovstvena folkloristika

Kako predstavniki drugih slovanskih držav prispevajo k raziskavanju slovenske folklore? Vprašanja se je pred leti lotil Vilko Novak¹, vendar širše, kakor je predvideno tu. Nič ne dé, če se pregleda v čem prekrivata, po drugi strani drugega tudi dopolnjujeta.

Predvsem zaradi prednosti, ki jo je vse do danes uživala pri nas folklorna pesem, je prav, da začnemo s Čehi. Antona T. Linharta (1756–1795), ki je bil z očetove strani po rodu Čeh, le omenimo, da je izdal zbirko, v katero je vključil tudi «dva zelo prosta prevoda slovenske ljudske pesmi»². Dolgoletno dopisovanje Jerneja Kopitarja in drugih slovenskih preporoditeljev z Josefom Dobrovskym, utemeljiteljem slavistike je rodilo nekaj njegovih pomembnih izjav o Slovencih, ki so vplivale tudi na etnično terminologijo zanje³, nekaj malega pa se je seznanil tudi s slovensko pesemsko folkloro⁴. Pač se je Vaclav Hanka v tem času na Dunaju srečal z Jernejem Kopitarjem in le-tega navdušil za slovstveno folkloro⁵. Ladislav Čelakovský (1799–1852) je kot češki romantični pesnik ljubeznivo sodeloval s Prešernovim literarnim krogom. V. Novak podrobneje predstavlja slovenski delež v njegovi zbirki *Slowanské národní písně v třech delih* (1822, 1825, 1827) in njihove ponatise v nekaterih slovenskih objavah. Tako v Kranjski čbelici 1832⁶, nato pa v folklorističnih edicijah od S. Vraza, do Karla Štreklja⁷.

Ravnotežje zanimanju za pesemsko folkloro na področju proze ustvarja pesnik in folklorist Karel Erben, ki je leta 1865 objavil v zbirki *Sto prstonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích puvodních* tudi pet slovenskih besedil z navedbo vira⁸. Žal je imel manj sreče z objavo Trdinove bajke *Odkuda čovjek*⁹, saj jo je uvrstil v srbski razdelek in iz obeh spornih besedil istega avtorja, menceške in šišenske bajke «rekonstruiral 'praobrazec slovenske bajke o ustvarjenju sveta in naše zemlje'... česar pa ni povedal»¹⁰.

V drugi polovici 19. stoletja je med drugimi vzdrževal živahne stike s Čehi, in v Pragi celo našel svoj grob, Matija Majar-Ziljski¹¹. V svojem vseslovanskem prizadevanju je pošiljal koroške folklorne pesmi in pripovedi v razna slovanska glasila. Zanje ga je naprosila tudi češka pisateljica Božena Nemcová in jih v češkem prevodu objavila v pedagoškem listu «Šola a život»¹².

Ob koncu stoletja je to sodelovanje doseglo nov vrhunec ob znameniti češki narodopisni razstavi v Pragi leta 1895¹³. Na podlagi njenih izhodišč¹⁴ je Matija Murko, ki je leta 1896 poročal o njej v Letopisu Matice slovenske, spotoma postavil merila za novo usmeritev slovenske folkloristike oz. etnologije. Zato upravičeno pravi France Kotnik, da «spis ni le opis razstave same, ampak pomeni za zgodovino slovenskega narodopisja mnogo več. To je obenem uvod v narodopisje, prijetno vpleten v opis s sledečimi nauki za Slovence», katerih poanta je: «človeka, ki ni barbar, bo vedno zanimalo, kako so živeli njegovi predniki»¹⁵.

Ta čas je prav v neposredni zvezi z Matijem Murkom tudi Gorenjec Ivan Kunšič, saj sta soavtorja gesla «Jihoslované» v Ottuvem Slovníku naučnem (Illustrovaná encyklopaedie obecných vědností. Trinactý díl) iz leta 1898. Verjetno je prav to neopazno sožitje vzrok, da je do nedavna slovenska strokovna literatura šla molče mimo Kunšičevega prispevka¹⁶. Enako sitno je, da so ga tudi narobe pisali kot Kunšič¹⁷. Vilko Novak ga podrobno razčlenjuje, za nas pa od njega pride v poštev le opozorilo, da je v prvi pokrajinsko gledano vseslovenski spis uvrstil tudi razdelek s slovstveno folkloro, kjer med drugim navaja zagovor v obliki odštevanja urokov, nekatere glavne motive povedk, pesmi in pregovorov in našteje literaturo, od koder je črpal snov za svoj spis. Sicer je dal najtehtnejši prispevek k raziskovanju naše slovstvene folklore Jiří Polívka, ki je v knjigi Anmerkungen zu den Kinder — und Hausmärchen der Brüder Grimm, I–IV, Leipzig 1913–1930, kot soavtor Johanna Bolteja obdelal «slovanski del in pri tem upošteval vse (?), podčrtala MS) dotlej v revijah in zbirkah objavljeno ljudsko pripovedništvo pri Slovenih za komentiranje mednarodnih motivov v pravljicah, pripovedkah in bajkah». S tem je naše dostikrat težko dostopno gradivo prišlo v mednarodno znanstveno evidenco, kar je storil Polívka tudi v svojih nadrobni študijah, npr. v Národopisnem věstniku češkoslovenskem, Zeitschrift für österreichische Volkskunde I dr. Posebno se je poglobil v slovenske objave in vprašanja našega ljudskega pripovedništva s temeljitima ocenama Keleminovich Bajk in pripovedk slovenskega ljudstva¹⁸. V njih je primerjal Keleminove objave z izvirniki in pokazal na njegovo samovoljno

spreminjanje, zavoljo katerega so ti teksti znanstveno neuporabni. Popravljal je mnoge Kebminove mitološke razlage, navedel mnogo primerjalnega gradiva drugih narodov, s čimer je razložil slovenske motive in snovi. S tem je metodološko vplival na nadaljnje raziskovanje pri nas v tej smeri, ki ga je poglobil Ivan Grafenauer¹⁹. Zadnji čas so stiki med češkimi in slovenskimi folkloristi nekam uplahnili, pač pa se nekoliko krepijo s slovaškimi. Zdi se, da je to pripisati Slavistični folkloristiki, informativnemu biltenu, ki ga izdaja mednarodna komisija za slovansko folkloro pri Mednarodnem komiteju slavistov²⁰. Drugače je v tukajšnjem okviru kot posrednika imenovati le Jana Čaploviča, ki je pod svojim imenom objavil že leta 1828 članek o prekmurskih Slovencih²¹, kakor ga je na njegovo prošnjo pripravil Jožef Košič²². Drugi slovaški avtor, ki pa je samostojno oz. neposredno vključil v svoje poglavitno delo (*Slowanské starožitnosti*)²³ tudi slovensko pesemsko folkloro, je Pavel Jozef Šafarik. V njem je gledal «tako vir za spoznavanje narodove preteklosti in izraz njegovega duhovnega življenja kot podlago za bodoče narodno slovstvo»²⁴. Nekaj slovenskih folklornih pesmi je tudi objavil²⁵. Ugledno mesto v raziskovanju stikov med slovanskimi folkloristi na slovenski strani imajo poljski strokovnjaki. Že leta 1791 je poljski zgodovinar in geograf Jan Potocki obiskal Režijo («pripadnost rezijanskega narčja k slovenski veji mu je bila aksiom»²⁶) in s tem odprl vrata nadaljnim obiskom rojakom v tej deželici²⁷. Ne da bi bil vedel za njegov podvig, je storil isto l. 1801 Antonin Pišely. «Z objavo njunih jezikovnih zapiskov sta J. Dobrovsky in Jernej Kopitar opozorila učeni svet na to osamljeno vejico slovenskega narodnega debla»²⁸.

Najbolj častitljiva vloga pa je od inozemcev v slovenski slovstveni folkloristiki prihranjena Poljaku Emilu Korytku (1813–1839). V Ljubljano je prišel po sili razmer, ker je bil osumljen nacionalno-revolucionarnega delovanja, a je tu kljub svojemu kratkotrajnemu bivanju zapustil globoko sled, ki je čas ne bo izbrisal. Kot politični jetnik je osamljen v tujem svetu našel prijateljski krog ob pesniku Francetu Prešernu in njegovih občudovalcih. Torišče svojega dela je, kljub zadregi z jezikom, videl v etnologiji in folkloristiki, v današnjem poimenovanju pač. Bil je ne le zavzet zbiralec na terenu, ampak tudi konceptualno nadarjen, kar se vidi iz njegovih nemških člankov in osnutkov zanje ter vprašalnice, ki naj bi bila v pomoč morebitnim sodelavcem. V njej so točke 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 namenjene slovstveni folklori²⁹. Tudi v pismu prijatelju piše, da namerava objaviti delce o Kranjski (= osrednji pokrajini Slovenije) v poljščini in ko našteva, kaj vse bo obsegalo, omenja med drugim žanre slovstvene folklore. Žal, Korytkova rokopisna zapušči-

na še zmeraj ni dostopna javni rabi, ker je pač večinoma v poljščini in zares je že čas, da bi dobili prevod vseh Korytkovih terenskih zapiskov³⁰. V dveh ljubljanskih letih je na svojih krajših potovanjih, kolikor mu jih je dovolila policija, zbiral slovenske folklorne pesmi, ki so mu jih zapisovali predvsem prijatelji in jih po njegovi smrti izdali v petih zvezkih (1839–1844) z naslovom Slovenske pesmi kranjskiga naroda. V nemških listih je tudi objavil tri članke o teh pesmih³¹. Njegovo vsestransko dejavnost je doslej najbolj temeljito prikazal Vilko Novak³², vendar dolg do njega še ni poravnán, še manj ga poznajo njegovi lastni rojaki³³.

Ko je Oskar Kolberg leta 1857 obiskal Slovenijo, je že moral kaj slišati o svojem prezgodaj umrlem rojaku, da si je o tem napravil nekaj zapiskov³⁴, saj je sam gojil Korytku podobna nagnjenja, ki mu jih je bilo dano tudi veliko uresničiti. V Ljubljano ga je privedla prav folklorna pesem, vendar se očitno ni srečal s pravimi ljudmi, da bi dobil o njej pravi vtis. V svoji obravnavi Slovencev se je zadovoljil kar z nekaj primeri iz omenjene Korytkove zbirke in dodal le nekaj sočasno objavljenih slovenskih pregovorov ter zgodb, ki sta jih zapisala M. Valjavec in Vernaleken. Vilko Novak, ki o tem podrobneje poroča³⁵, nič kaj ne čišla tega Kolbergovega izdelka, saj je Slovence predstavil površno in zastarelo, zapisi pesmi pa vsebujejo veliko jezikovnih napak³⁶.

Čisto drugačen vtis pušča Slovcem o svojem delu Poljak s francoskim imenom Jan Baudoin de Courtenay (1845–1929), ki je prvič prišel med Slovence leta 1872 in se v takratni Avstroogrski in Italiji seznanil s številnimi izobraženci. Zaradi svoje izredno hitre prilagodljivosti narečju, koder koli se je zadrževal, je postal skoraj legendarna osebnost in so se ga spominjali še desetletja. Ustavil se je v Mariboru, Ponikvi, Celju, Ljubljani ter se odpravil na Goriško. Preiskal je del severne gorenjščine, govore v okolici Tolmina in Cerkna. Že od vsega začetka je bil njegov poglavitni cilj obiskati Rezijsko in Beneško Slovenijo. Na Rezijsko se je tako navezal, da se je v njej počutil kot doma, saj je Slovence tam obiskal kar sedemkrat. V prvo knjigo gradiva, ki ga je nabral v Rezijski, je vložil največ truda in potrpežljivosti, a ni ostal zgolj v jezikoslovnih mejah, ampak sega tudi na področje mitologije in slovstvene folkloristike³⁷. Druga knjiga vsebuje gradivo terskih govorov iz Beneške Slovenije. Tudi v naslednjih knjigah Materialov... je precej folklornega gradiva³⁸. Sploh je za J. B. de Courtenaya značilno kombiniranje dialektologije in folkloristike, bodisi na ravni teksta, bodisi njegove opazke o terenskih skušnjah, ki sodijo, folkloristično gledano, v ravnino teksture in ravnino konteksta.

Posebno se je izkazal pri zbiranju gradiva v Reziji, da mu Milko Matičetov pošteno priznava: «Temelj raziskovanju folklore Rezijanov pa je v sedemdesetih letih položil Jan Baudouin de Cortenay. Gradivo, ki ga je zbral avgusta 1873, je že več ko devetdeset let izhodišče vsem, ki se kakor koli zanimajo za Rezijo»³⁹. Zapisi so s filološkega stališča vzorni, preseneča pa de Courtenayevo odklanjanje vsebinskih vrednot gradiva, češ da ni nič posebnega in originalnega. Matičetov, ki je po devetdesetih letih spet nadaljeval delo znamenitega poljskega jezikoslovca, v vseh obravnavah rezijanskega gradiva dokazuje ravno nasprotno in se kljub vsestranskemu spoštovanju velikega predhodnika z njim ne strinja⁴⁰.

Prve stike, pomembne za naš pregled, je imel z *Lužiškimi Srbi* Anton T. Linhart, ki si je dopisoval s Karlom Gottlobom (Korl Bohachwal Anton) in iz njegove knjige *Erste Linien* zaznal «pomen primerjalnega slovanskega narodopisja in jezikoslovja za zgodovino»⁴¹. Sredi 19. stoletja sta navezala koristne stike lužiškosrbski slavist Jan Pětr Jordan, tedaj urednik nemškega mesečnika *Jahrbücher für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft*, in Janez Bleiweis, urednik *Novic*. Jordan je svetoval Bleiweisu, naj v prid gajici, ki mu jo je namesto bohoričice svetoval v *Novicah*, objavi v njej v vsaki številki časopisa kako folklorno pesem. Novice so prinesle tudi Jordanov članek, sicer precej okrnjen, z naslovom: *Koga nam je sedaj nar bolj potreba?* V njem avtor vabi k razsvetljevanju ljudstva tudi na temelju slovstvene folklore⁴².

Zadnji od Poljakov, ki se je zanimal za slovensko slovstveno folkloro na kraju samem, je bil J. Slizinsky, a je na potovanjih z M. Matičetovim terensko gradivo zapisoval v nemščini⁴³.

In kakšen je bil pretok idej v slovstveni folkloristiki med Slovenijo in vzhodnimi Slovani? Eden prvih Rusov, ki je pustil svojo sled⁴⁴ poleg raziskovanja narečij⁴⁵ tudi v naši slovstveni folkloristiki, je Ismail I. Sreznjevskij: je v vrsti tistih, ki jih je očarala Rezija, da je napisal o njej posebno razpravo⁴⁶. Kaj je prineslo njegovo druženje s Stankom Vrazom, bi bilo mogoče prav posebej obdelati⁴⁷. Pač so poslovenjena njegova pisma materi, ki «poročajo o prosvetnih in etnografskih razmerah na Hrvaškem in v Sloveniji»⁴⁸. Iz njih zvemo, da se je srečal tudi z Antonom Žakljem-Rodoljubom Ledinskim, Francem Metelkom, Urbanom Jarnikom, Matijem Majarjem in ta mu je prejkone posredoval zapisano «Mlado Bredo». Pod naslovom «Horutanskaja pesnja» jo je objavil v zborniku *Pamjatniki i obrazcy narodnogo jazyka i slovesnosti (ruskich i zapadnyh Slavjan)*⁴⁹. Po nekem B. B. je bila prevedena v ruščino in objavljena v časopisu *Russkaja Besjada*⁵⁰. Poleg tega je v istem

zborniku⁵¹ I. I. Sreznjevskij objavil še devet ziljskih pesmi, ki sta mu pomagala priti do njih, po mnenju M. Matičetovega⁵², Urban Jarnik in M. Majar-Ziljski. Ta je v svojem prizadevanju za vse-slovansko vzajemnost gojil prijateljske vezi z ruskimi panslavisti in leta 1867 potoval v Moskvo na etnografsko razstavo⁵³. Leta 1869 je lepo zbirko folklornih pesmi s Koroške priredil za tisk in jo pod naslovom «„Sbornik narodnih pesen, zagadek i poslovic ilirsko-slovenskih“ pisan v cirilici, poslal v Moskvo „Imp. Obščestvu ljubiteljev jestjestvoznanija“ in tam je — obležal. Pač najhujše razočaranje, ki ga je mogel Vseslovan Majar sploh doživeti»⁵⁴. Za njegovo navdušenje so se mu Rusi pozneje dostojno oddolžili, saj je Iskra V. Čurkina napisala o njem vsestransko obravnavo⁵⁵ in v uvodu vanjo opozarja, da se je pa prav ob «narodopisnih raziskavah» ustavil M. N. Speranski, in sicer «temelječ na narodopisnih Majerjevih opombah, ki jih je poslal Komiteju Narodopisne razstave v Moskvi»⁵⁶.

Že omenjena Russkaja Besjada je gostila tudi Vinka Fer. Kluna (1823–1875), ki je leta 1857 objavil v njej razpravo Slovcy⁵⁷. V njej se predvsem vrača k narodnostnemu vprašanju, vendar slovstvena folklorja tudi ni prezrta. Dolenjsko označuje za domovino lepih folklornih pesmi, opisuje priložnosti za petje in pripovedovanje in se zadržuje posebej pri Kurentu, češ da ga imenujejo «sveti Korant». Enako se ustavlja ob Zelenem Juriju⁵⁸.

Drugi veliki entuziast, ki je povezan z Rusijo, je Cašper Križnik (1848–1904), prvi slovenski zbiravec prozne folklore, ki jo je, po navodilih Jana B. de Courtenaya, zapisoval v narečju in mu svoje zapise kot gradivo za študij slovanskega jezikoslovja, a tudi z upanjem na objavo, pošiljal v St. Peterburg, kjer je bil njegov mentor univerzitetni profesor. To Križnikovo gradivo danes hrani Ruska akademija znanosti z oddelkom v St. Petersburgu⁵⁹. Inštitut za slovensko narodopisje pri ZRC v Ljubljani si je oskrbel precej njegovih kopij.

Nasploh je stike med Rusi in Slovenci z vidika znanstvenih povezav najtemeljiteje obdelala za obdobje konca 18. stoletja do leta 1914 Iskra V. Čurkina⁶⁰. Ravno ob koncu tega obdobja se je gibala v naših krajih ruska folkloristka J. E. Lineva, ki je v Črnomlju, Adlešičih in na Vinici, nato pa na Bledu, Režici, Brezjah in drugod po Gorenjskem ujela na fonograf okrog 100 slovenskih folklornih pesmi. Spravljeni so v folklornem oddelku Instituta ruskoj literatury (Puškinskij dom) pri Ruski akademiji znanosti v Sankt-Petersburgu. «V rokopisnem arhivu Lineve so ohranjena tudi besedila teh pesmi»⁶¹ in njihove vzorce si je Ljubljana oskrbela v drugi

polovici šestdesetih let⁶². Za povojne slovensko-ruske folkloristične raziskave je značilno njihovo primerjalno izhodišče. Bodisi da gre za Nikita I. Tolstoja⁶³, ki v svoje jezikoslovne raziskave vključuje tudi slovensko folklorno gradivo, Borisa N. Putilova, ko na primer eno od slovenskih balad razčlenjuje v njeni komparativni luči⁶⁴ ali Viktorja E. Guseva, ki je s takim pristopom skuša dognati lastnosti in posebnosti slovanskega odporniškega pesnjenja in pri tem ne spregleduje slovenskega gradiva⁶⁵. Njegovo prizadevanje je sicer mogoče uvrstiti k vprašanjem sodobne folklore in marsikdaj segajo že čez njen rob.

Posredno je s slovensko slovstveno folkloristiko povezan tudi Ukrajinec Zenon Kuzelja, ki se je leta 1906 motivno-primerjalno lotil pesmi o Kralju Matjažu in pokazal na drugače ne le pri Hrvatih in Srbih, temveč tudi na starejše pri Romanih⁶⁶.

Pač pa je slovenska folkloristika doživela v Ukrajini pozornost v današnjem času, kakršne zlepa ne. Leta 1986 je Evgenij M. Paščenko objavil v zborniku za literarne vede in folkloristiko pregledni članek z naslovom Iz zgodovine slovenske folkloristike⁶⁷. Avtor preseneča s svojo skrbnostjo, saj omenja marsikakšno ime, ki ga domači strokovnjak nemarno prezre. V nasprotju z njim je iz Prešernovega kroga posvečena večja pozornost Andreju Smoletu. Paščenkova sinteza kronološko sega do leta 1918 in njeno razvojno črto se mu je posrečilo prikazati nadvse uspešno. Posebno pripomorje k temu cezure, ki jih označuje kot nove stopnje v razvoju specialne vede, ki si na Slovenskem še vedno iščejo svoj prostor. Hvalevredno je, da Paščenko na kratko, a dovolj jasno razloži, v čem je novost posamezne stopnje, ki jo je razmejil od prejšnje. Seveda je v skladu s konceptom revije, da Paščenko skrbno opozarja tudi na tiste elemente v razvoju slovenske slovstvene folkloristike, ki so povezani z drugimi slovanskimi narodi. Prvo tako točko najde med J. W. Valvasorjem in Dalmatincem J. Šižgoričem, ko primerjata svoje nabrane pesmi s pesmimi Grkov in Rimljanov. Za čas romantike Paščenko navaja, da so pomembne Slovence tega časa spodbujali k delu tudi ruski, ukrajinski, češki, poljski romantiki (= literati) in filologi, kar je vse podžigalo k medsebojnemu tekmovanju v preučevanju folklorne ustvarjalnosti. Sledi zavzetost ob ugotovitvi, da je lep delež mariborske Zore posvečen problematiki drugih slovanskih narodov, posebno Rusom, a tudi drugim staroslovanskim kulturam. Posebno se prilega temu modelu osebnost in delo Matije Murka, zato seveda ni naključje, da mu je tudi z vidika primerjalne slavistike namenjena določena pozornost⁶⁸.

Končno prihajajo na vrsto v tem pregledu južni Slovani. Največji slovanski filolog svojega časa Jernej Kopitar (1780–1844) je spodbujal k delu za srbsko slovstveno folkloro Vuka Stefanovića Karadžića in pripomogel njemu in srbski folklorni pesmi do svetovne veljave. Tega so se zavedali tudi Srbi sami, saj si ni mogoče drugače razložiti njihovega namena, da bi njegove zemeljske ostanke z Vukovimi vred prenesli v Beograd⁶⁹. Pomembno podjetje, ki je skušalo ustvariti sintezo slovanskega narodopisja, je knjiga Slovanstvo iz leta 1874, vendar je ostala torzo, ker je izšel samo južnoslovanski del (Slovenci, Hrvati, Srbi, Bolgari)⁷⁰. V nekatera poglavja je vključena tudi slovstvena folklor a vseh štirih narodov⁷¹. Franu Miklošiču je slovstvena folklor a rabila predvsem za avtentično gradivo pri njegovih analizah jezika, pri čemer se je opiral na vse slovanske jezike. Pri načelnem razločevanju med naravnim in umetnim epom se je za označevanje prvega največ skliceval na srbsko epsko pesem⁷². Več o njem ni mogoče reči, dokler ni dokončan pretres Miklošičevega razmerja do obravnavane problematike⁷³. Začetek izhajanja Slovenskih narodnih pesmi v uredništvu Karla Štreklja 1895 je zbudil po slovanskem svetu in drugod veliko navdušenje⁷⁴ in temu se je pridružil tudi Vatroslav Jagić, Miklošičev naslednik na Dunaju, s priznanjem, da so postale vzorec za podobne izdaje, saj ne v hrvaškem, ne srbskem in bolgarskem, ne češkem ali poljskem slovstvu ne obstaja kaj takega⁷⁵.

A če je devetnajsto stoletje na folklorističnem področju s slovanske strani zaznamoval predvsem Jernej Kopitar, je v dvajsetem stoletju to storil Matija Murko. Ta je enega od več svojih spisov posvetil tudi Kopitarju in Karadžiću, s poanto: Kopitar je ustvaril celega Vuka⁷⁶. Novost Murkovega dela je predvsem njegovo lastno terensko raziskovanje po Bosni in Hercegovini, Dalmaciji, Črni Gori, tako da «je dal po Vuku Karadžiću jugoslavanskim narodom in svetu najbolj plastično sliko srbske in hrvaške ljudske epike»⁷⁷. Rezultate svojega dela, ki je presenetljivo blizu konceptom «nove» ameriške folkloristike, je strnil v treh knjigah, napisanih v češčini in nato prevedenih v srbohrvaščino⁷⁸. Usodo posnetkov in njihova nahajališča je leta 1968 podpisal njegov sin Vladimir Murko⁷⁹.

Ne po obsegu opravljenega dela, ampak po njegovi metodi je Matiji Murku sledil celó med drugo svetovno vojno Milko Matičetov. V komentarju k objavljeni pesmi Deklica Menih iz tega obdobja izvemo, da je med njenima dvema variantama le dve wri razlike, ki so opazne tudi v besedilih. Lep dokaz, kako pravi ljudski pevec eno in isto pesem zapoje vsakokrat drugače. Čeprav je to teoretično znano, ni veliko trditev podprtih z dokazi, zatrjuje avtor. Naslovni

motiv nato obdeluje po njemu lastni geografsko-zgodovinski metodi⁸⁰. Podobno obravnava folklorno pripoved, ki je v Vukovi objavi dobila naslov «Carigrad». Kot član prekomorskih brigad leta 1943 je Matičetov načrtno iskal njene variante in našel vsaj dve, ki ju v analizi označuje za bolj arhaični in z nekaterimi posebnostmi, kot jih pri Vuku ni najti, čeprav je njegovo besedilo sto let starejše⁸¹. Motiv na novo rojenega človeka iz lobanje Matičetov odkriva po celi Evropi, geografska razširjenost in stari literarni viri pričajo, da je prišel v južnoslovansko tradicijo z vzhoda⁸². Po drugi svetovni vojni so slovenski folkloristi raznih panog, med njimi slovstveni, tkali vezi z drugimi v okviru nekdanje Jugoslavije na vsakoletnih folklorističnih kongresih⁸³, na katerih je bila priložnost za študij medsebojnih vplivov v slovstveni folklori južnoslovanskih narodov. Kot je empirično morda najdlje prišla Zmaga Kumer, s cilji, ki jih ilustrira naslov: skladnosti in razlike v južnoslovanskih variantah balade o razbojnikovi ženi⁸⁴, je v sorodnih študijah najbolj korektno upoštevala slovensko gradivo Maja Bošković-Stulli⁸⁵, ki je vplivala na mlajšo slovstveno folkloristiko s svojo teoretično podkovanostjo⁸⁶.

Tudi Slovence in Makedonce povezuje v slovstveni folkloristiki nekaj tankih, a žilavih nitk. Skoraj sto let ni bilo znano, da je poliglot Štefan Kocjančič, profesor v goriškem semenišču, v drugi polovici 19. stoletja napravil glosarij besedišča na podlagi pesmi v zborniku bratov Miladinov, iz leta 1861. [Slovstvena] Folklor kot leksikografska inspiracija⁸⁷ je posrečeno označil to njegovo delo Dragi Stefanija v komentarju k temu Kocjančičevemu delu. K njegovemu odkritju je pripomogel Milko Matičetov, ki je Makedoncem še posebno naklonjen, česar sad je tudi njegova primerjava dveh zavzetih zbiralcev samoukov — Marka Cepenkova na makedonski in Gašperja Križnika na slovenski strani⁸⁸. Njegova razprava Naum in Bolen Dojčin prav tako sodi v ta okvir⁸⁹. Ne gre zgrešiti tu zbirke makedonskih folkornih pripovedi v slovenščini s strokovnim vpogledom v njihovo življenje na kraju samom⁹⁰. S tem so Makedonci krepko prekosili vrsto drugih narodov, ki smo jim posvetili pozornost na naši poti.

¹ *Vilko Novak*. Delež zahodnih in vzhodnih Slovanov v raziskovanju slovenske ljudske kulture // Slavistična revija 19. Ljubljana, 1971, 385–403.

- ² «Turnir med Pegamom in Lambergarjem v heksametrih ter Jasmin in njegova nevesta po neohranjeni inačici pesmi o Lepi Vidi oziroma o Nesrečnem lovcu». Prim. Lino Legiša, France Tomšič // Pismenstvo Zgodovina slovenskega slovstva I. Ljubljana, 1956, s. 175–176.
- ³ Glej op. 1, s. 386–387.
- ⁴ Glej op. 1, s. 387.
- ⁵ *Nada Gspan-Prašelj*. Tipkopis vodnika za kulturno-zgodovinsko ekskurzijo na Češko, s. 5 (1993).
- ⁶ *Fr. Kotnik*. Pregled slovenskega narodopisja // Narodopisje Slovencev 1. Ljubljana, 1944, s. 27.
- ⁷ Glej op. 1, s. 388–389.
- ⁸ Glej op. 1, s. 389.
- ⁹ Glej op. 1, s. 390.
- ¹⁰ Ibid.
- ¹¹ *Ivan Grafenauer, Matija Majar-Ziljski*. Literarnozgodovinski spisi. Ljubljana, 1980, s. 593.
- ¹² Ibid, s. 589.
- ¹³ Prim. Slovanski svet VIII, 1895, s. 67, 388, Ljubljanski zvon XII, s. 647–648, 708–711, 782–784.
- ¹⁴ *Matija Murko*. Narodopisja razstava českoslovska v Pragi // Letopis Matice Slovenske. Ljubljana, 1896, s. 75–137.
- ¹⁵ Glej op. 11, s. 35–36.
- ¹⁶ *Vilko Novak*. Ivana Kunšiča prezrti etnološki oris Slovencev // Slovenski etnograf 11. Ljubljana, 1958, s. 183–185.
- ¹⁷ Ibid.
- ¹⁸ *Jakob Kelemina*. Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Celje, 1930.
- ¹⁹ Glej op. 1, s. 391–392.
- ²⁰ Uredništvo je bilo najprej v Brnu, po razcepitvi Češke in Slovaške pa je v Bratislavi. Izhaja od leta 1988.
- ²¹ *Vilko Novak*. Gradivo Jožefa Košiča za etnografijo Prekmurja // Slovenski etnograf 2. Ljubljana, 1949, s. 100–110.
- ²² Glej op. 1, s. 393 in op. 21, s. 100.
- ²³ Glej op. 1, s. 393.
- ²⁴ Glej op. 1, s. 394.
- ²⁵ Glej op. 1, s. 395–396.
- ²⁶ *Milko Matičetov*. Zverinice iz Rezije. Ljubljana; Trst, 1973, s. 23.
- ²⁷ *Milko Matičetov*. Pregled ustnega slovstva Slovencev v Reziji (Italija) // Slavistična revija 16. Ljubljana, 1968, s. 203.
- ²⁸ Ibid.
- ²⁹ *Vilko Novak*. Emila Korytka nemški članki o slovenskem ljudskem izročilu // Traditiones 1. Ljubljana, 1972, s. 27–52.

- 30 *Marija Stanonik* in *Niko Jež*. Nekaj folklornih zapiskov iz zapuščine Emila Korytka v NUK // *Traditiones* 14. Ljubljana, 1985, s. 109–122.
- 31 *Vilko Novak*. Emila Korytka neobjavljeno gradivo o slovenskem ljudskem življenju // *Etnološka stičišča* 1. Ljubljana, 1988, s. 18.
- 32 Glej op. 29.
- 33 Glej op. 29, 30, 31.
- 34 *Vilko Novak*. Oskar Kolberg. Dzieła wszystkie... (ocena) // *Traditiones* 3. Ljubljana, 1974, s. 282–284.
- 35 Glej op. 1, s. 398 in op. 34.
- 36 Glej op. 34, s. 399.
- 37 *Franc Jakopin*. Jan Baudouin de Courtenay — slovenski dialektolog (1845–1929) // VIII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (predavanja). Ljubljana, 1972, s. 19; *J. Baudouin de Courtenay*. Materialien zur südslavischen Dialektologie und Ethnographie. I. Resiansche Texte, gesammelt in den JJ. 1872, 1873 und 1877... St. Petersburg, 1895; Materialien zur südslavischen Dialektologie und Ethnographie. II. Sprachproben in den Mundarten der Slaven von Torre im Nordöstlichen Italien. St. Petersburg, 1904.
- 38 *J. Baudouin de Courtenay*. Materialien... II, Christjanske uzhilo, 1913, Materialien IV, Trst, 1988.
- 39 *Milko Matičetov*. Pregled ustnega slovstva Slovencev v Reziji // Slaviistična revija XVI. Ljubljana, 1968, s. 203.
- 40 Glej op. 39, s. 203–205.
- 41 *Tone Glavan*. Lužiški Srbi. Ljubljana, 1966, s. 245.
- 42 Glej op. 41, s. 246–252.
- 43 *Milko Matičetov*, ustno. Ob branju tega članka. Prim. Letopis SAZU X, za leto 1959. Ljubljana, 1960, s. 87.
- 44 *Milko Matičetov*. Pesmi o Marku (Knezu, Kraljeviču...) na Slovenskem // *Traditiones* 13. Ljubljana, 1984, s. 49–58.
- 45 Glej op. 37, s. 16.
- 46 *I. I. Sreznevskij*. Zpráva o Rezjanech // *Časopis Českého Museum* 15 (1841), s. 341–344; *И. И. Срезневский*. Фриульские славяне (Резьяне и словины) // *Москвитянин*, 1844, ч. 5, № 9, с. 207–234 (po navedbi Milka Matičetovega v delu iz op. 27).
- 47 Glej op. 52.
- 48 Glej op. 6, s. 44.
- 49 Glej op. 1, s. 401.
- 50 *Rajko Nahtigal*. Prezrta izdaja I. I. Sreznevskega slovenskih narodnih pesmi *Mlade Brede* in *Ziljskega reja* // *Slovenski jezik* 3, snopič 1–2, (1940), s. 28–55.
- 51 Glej op. 49 in op. 50.
- 52 *Milko Matičetov*. Prezrta objava 9 ziljskih pesmi z vtisi I. I. Sreznevskega ob reju pod lipo, zbijanju soda ipd. // *Slavistična revija* 32, 1984, s. 337–355.

- 53 Glej op. 6, s. 30. Majar je poslal s Koroške v Moskvo noše in opremo za sobo.
- 54 *Ivan Grafenauer*. Matija Majar-Ziljski. Literarnozgodovinski spisi. Ljubljana, 1980, s. 589.
- 55 *Iskra V. Čurkina*. Matija Majar-Ziljski. Ljubljana, 1974.
- 56 *Ibid*, s. 4 (76).
- 57 *Vilko Novak*. Prezrti spis Vinka F. Kluna o Slovencih // *Traditiones* 10–12. Ljubljana, 1984, s. 170–172.
- 58 *Vilko Novak*. Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana, 1986, s. 182–187.
- 59 *Marija Stanonik*. Gašper Križnik. Članek za Enzyklopädie des Märchens. Berlin, 1995, 8, Nr. 2/3, S. 473–475.
- 60 *И. В. Чуркина*. Русские и словенцы. М., 1986.
- 61 *Zmaga Kumer, Milko Matičetov, Boris Merhar, Valens Vodusek*. Slovenske ljudske pesmi. Ljubljana, 1970, s. VIII.
- 62 *Letopis SAZU* 8. Ljubljana, 1958.
- 63 Glej: *Н. И. Толстой*. Избранные труды. Т. 1. Славянская лексикология и семасиология. М., 1997; *Его же*. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995; *Его же*. Дополнительные суждения о реконструкции праславянской фразеологии // *Славянское и балканское языкознание*. М., 1997.
- 64 *Б. Н. Путилов*. Словенская баллада «Ribniška Jerica» в свете сравнительных данных // *Народно стваралаштво / Folklor* IV. Београд, 1965, св. 15–16, с. 1132–1138.
- 65 *В. Е. Гусев*. Славянские партизанские песни. Л., 1979.
- 66 Glej op. 6, s. 44.
- 67 *С. М. Пащенко*. З історії словенської фольклористики // *Слов'янське літературознавство і фольклористика*. Київ, 1986 (15), с. 80–89.
- 68 *Marija Stanonik*. Ukrajinci o slovenski slovstveni folkloristici // *Traditiones* 17. Ljubljana, 1988, s. 377–381.
- 69 *Lino Legiša*. Zgodovina slovenskega slovstva II. Ljubljana, 1959, s. 16, 22, 25, 32; *Kopitarjevi pa Vukovi ostanki* // *Slovanski svet*, 10, 1897, s. 203–204.
- 70 Njeni avtorji so *Janez Majciger, Maks Pleteršnik, Božidar Raič*.
- 71 Glej op. 6, s. 31.
- 72 *Marija Stanonik*. O slovstveni folklori v obdobju slovenske romantike..., s. 243.
- 73 *Milko Matičetov* je obljudljal prispevek na témo *Miklošič* in narodopisje za *Traditiones* 24.
- 74 Glej op. 6, s. 38: «*Dr. Aleksander Brückner* jo imenuje „*Thesaurus slovenischer Volkslieder*“. In eden izmed najboljših slovanskih narodopiscev, dr. *J. Polívka* je pisal (v *Listich filol.* XXIV, 1897), da bo sedaj težko ponavljati *Pypinove besede*, da slovenska narodna poezija ni bogata.

- V „Zeitschrift des Vereines für Volkskunde“ (Berlin, XIII, 1903, 238) je zapisal, da je to delo ena izmed najboljših sistematično urejenih zbirk narodnih pesmi slovanskih narodov. In Iljinski je v časopisu Živaja starina (IX, 1899) zapisal: „Izdaja g. Štreklja je, kar se tiče znanstvenosti metode svoje vrste unicum in zasluži posnemanja tem bolj, ker pri nas v Rusiji še nismo do zdaj niti poskusili napraviti tako kritično izdajo narodnih pesmi, dasi je že davno opozoril na njeno potrebnost pokojni N. A. Lavrovskij“.
- 75 Glej op. 6, s. 38: «Jagić je zapisal v Archivu f. sl. Phil. XVIII, 619: „So ist die Ausgabe musterhaft nach allen Richtungen ausgefallen, nichts ihr gleichkommendes kennen die bisherigen slowenischen Publicationen, ja eine so zusammenfassende Arbeit existiert auch in der serbo-kroatischen oder bulgarischen, in der bömischen und polnischen Literatur nicht. Am meisten wird man noch an die bekannte Ausgabe der kleinrussischen Volkslieder von Antonovič-Dragomanov erinnert“. In v Archivu XXIV, 623–624 piše Jagić: „Ich wiederhole daher nach immer Pflicht, daß die Štrekeljsche Ausgabe der slov. Volkslieder zum wenig bearbeitetem Felde die slavische Ethnologie bisher geleistet hat“.
- 76 Kopitar in Vuk Karadžić // Ljubljanski zvon. 1908, 281 sl. = *Matija Murko*. Izbrano delo. Ljubljana, 1962, s. 277–296.
- 77 *Anton Slodnjak*. Uvod k Murkovemu Izbranemu delu iz op. 76, s. 11.
- 78 *Matija Murko*. La Poésie populaire épique en Yougoslavie au début du XXe siècle. Paris, 1929; *Isti*. Tragom srbsko-hrvatske narodne epike // Djela Jugoslovanske akademije znanosti i umjetnosti, knjiga 41, 42.
- 79 *Vladimir Murko*. Končna usoda literarne zapuščine Matije Murka, zlasti posnetkov srbohrvaških epičnih pesmi // Slovenski etnograf 20. Ljubljana, 1968, s. 181–184.
- 80 *Milko Matičetov*. Deklica menih // Zbornik etnografskog muzeja u Beogradu — 1901–1951. Beograd, 1953, s. 292–299.
- 81 *Milko Matičetov*. Uz nove varijante Vukove priče «Carigrad» // Treći kongres Folklorista Jugoslavije (l.: 1956) u Crnoj gori. Cetinje, 1958, s. 179–184.
- 82 *Ibid*, s. 183.
- 83 Rezultat njihovega sodelovanja je okrog petindvajset zbornikov.
- 84 V: Narodno stvaralaštvo / Folklor, 7, zv. 25, 1968, s. 52–60. *Zmaga Kumer*. Vplivi turških napadov na slovensko pripovedno pesem // Rad kongresa folklorista Jugoslavije v Zajčaru i Negotinu 1958. Beograd, 1960, s. 179–183.
- 85 Prim. *Maja Bošković-Stulli*. Hrvatske i slovenske usmene predaje o krsniku — kresniku // Usmena književnost kao umjetnost riječi. Zagreb, 1975, s. 205–227.
- 86 Prim. *Maja Bošković-Stulli*. Usmena književnost // Povijest hrvatske književnosti. Zagreb, 1978, s. 7–67.
- 87 Uvodni komentar k publikaciji: *Štefan Kociančič*. Glosarij zbornika bratov Miladinovih. Ljubljana, 1985.

- 88 *Milko Matičetov*. Dva južnoslovenski folkloristi samouci: Marko Serpenkov i Gašper Križnik // Симпозиум посветен на живот и делото на Марко Цепенков. Скопје, 1991, с. 129–134.
- 89 *Milko Matičetov*. Naum in Bolen Dojčin // Traditiones 16. Ljubljana, 1987, s. 335–346.
- 90 Osla jahaš, osla iščeš (makedonske ljudske pripovedke). Ljubljana, 1982. Izbral in spremno besedo napisal Dragi Stefanija.

M. Станоник

Вклад славянских филологов в изучение словенского фольклора

В статье дается обзор собирательской, публикаторской, переводческой и исследовательской деятельности ученых из всех славянских стран в области словенского фольклора, начиная с конца XVIII в. (чех Т. Лингарт) и кончая нашими днями. Отмечается выдающаяся роль поляка Э. Корытко, польско-русского лингвиста И. А. Бодуэна де Куртене, русских ученых И. И. Срезневского, И. Э. Линевой, украинца З. Кузели и др.

Этнолингвистические сведения в древяно-полабских материалах Йоганна Парум Шульце

Одному из двух наиболее интересных памятников древяно-полабского языка не повезло. Крестьянская хроника носителя древяно-полабского языка Йоганна Парум Шульце, включавшая в свой состав составленный им словарик с записями нескольких диалогов, исчезла. А это ведь были единственные древяно-полабские материалы, которые записал носитель языка. Дитрих Герхардт приводит такую хронологию: Шульце умер в 1740 г.; в 1786 г. люховским писарем Хинцем (Hintz) была сделана пропавшая в XIX веке копия части рукописи; в 1794 г. в 8 томе ганноверских «Annalen der Braunschweig-Lüneburgisches Churlandes» были опубликованы извлечения из «хроники вендского крестьянина» Шульце; в том же году проезжавший через Вендланд граф Ян Потоцкий велел сделать копию рукописи, которая сохранилась и ныне выступает как рукопись Фонда им. Оссолинских (Оссолинеума) во Вроцлаве (Польша) под индексом 26 (издана Калиной в 1893/94 гг.); в период между 1796 г. и 1809 г. над рукописью Шульце трудился составитель первого сводного древяно-полабского словаря люнебургский ландфизикус Йоганн Генрих Юглер (Olesch 1962); в 1833 г. фрагменты рукописи были опубликованы в журнале «Napoversches Magazin» № 71; во время поездки в Вендланд 1855 г. копию части рукописи сделал А. Ф. Гильфердинг при содействии интересовавшегося древяно-полабскими рукописями и копировавшего их люховского окружного начальника (амтманна) М. Х. Л. Г. фон дер Деккена, который затем, возможно, вместе с другими материалами, отправил рукопись Шульце Гильфердингу в Санкт-Петербург (Gerhardt 1988, 115–116). Гильфердинг не обнаружил в хранившейся у наследников Шульце рукописи нескольких листков, содержавших начало словарика, которые

Гильфердинг (Гильфердинг 1856) воспроизвел в своих «Памятниках» по копии Хинца. В сохранившихся и опубликованных материалах нет сведений ни о том, послал ли фон дер Деккен Гильфердингу рукопись Шульце, ни о том, возвратил ли русский славист присланные ему документы. Олеш в 1965 г. не получил разрешения обследовать материалы архива Гильфердинга с целью поиска в них рукописи Шульце в советских архивах и рукописных фондах (Olesch 1989, 80–102). О подробностях этого, между прочим, Олеш рассказывал нам с Никитой Ильичем у меня дома во время конференции МАИРСК в Минске в конце сентября 1982 г. Так или иначе, рукопись Шульце до сих пор еще не стала достоянием современной науки, если вообще сохранилась. Её воспроизводят по копии Оссолинеума с учетом различий по точной эксерпции Юглера, а также по публикации Гильфердинга (Olesch 1967, 111–218, 317–331; Olesch 1989, 80–102; Rost 1907, 62–79).

Йоганн Парум Шульце родился 30 сентября 1677 г. в Зютене в семье сельского старосты (Schulze) Юргена Нибура, также сына старосты (откуда ставшее фамилией прозвание, принятое самим его носителем и официально заменившее первичную фамилию Нибур (Niebuhr) (Olesch 1962, 299; Gerhardt, Schulz 1978, 5). Пауль Рост (Rost 1907, 26) указывает другую дату рождения Шульце 8.1.1677. Йоганн Парум (имена он получил по крестному отцу) и сам стал старостой. Он происходил из старого вендландского крестьянского рода. Дед и отец полностью владели «вендским» (древяно-полабским) языком. Сам он тоже еще бегло пользовался этим языком, но будучи двуязычным, в качестве языка своих записей применял естественно письменный немецкий язык с отражением нижненемецких диалектных черт; на этом языке Шульце делал и пояснения в своих записях древяно-полабской («вендской») речи. Младший (на 8 лет) брат Йоганна согласно его сообщению уже не понимал по-вендски. В 1710 г. составитель важнейшего древяно-полабского словаря Христиан Хенниг заметил: «можно безошибочно предположить, что пройдет 20, самое большее 30 лет, уйдут старики, и кончится язык, и тогда не найдешь больше венда, от которого можно будет услышать его язык, даже если за это предложить много денег» (Olesch 1962, 299–300). Рост, опираясь на сообщение Манекке в «*Neue Vaterlndische Archiv*» (1823, S. 396), датирует смерть Йоганна Парум Шульце 25 апреля 1740 г. Апрель 1740 г. указывает и Олеш (Olesch 1962, 299), хотя в последней записи Шульце в хронике сказано: «Эта зима началась в 1739 на Мартина и стояла до мая 1740 года, когда на болотах еще

находился иней. Такой суровой зимы много лет уже не было» (Olesch 1967, 198; разрядка моя. — А. С. Далее ссылки на эту публикацию материалов Шульце даются простым указанием страниц в скобках). Герхардт ограничивается указанием года смерти Шульце (Gerhardt, Schulz 1978), Нельзя исключить, что последнюю запись сделал не сам Шульце. В 1756 г. в том же Вустрове была сделана запись о смерти последней женщины «из тех, кто мог в совершенстве (perfect) говорить и петь по-вендски» (Olesch 1962, 300).

Записки Й. П. Шульце начал вести скорее всего на четвертом или на пятом десятке своей жизни и вел их вплоть до смерти. Кто-то из наследников, хранивших до 1855 г. книгу записей как семейную реликвию, да и просто случайный читатель книги сделали еще несколько малоинтересных записей после смерти хрониста, последняя запись которого занесена на странице 309. Записи Шульце не представляют собой дневника, они делались не очень регулярно и касались очень разных вещей. Это впечатления от прочитанного и услышанного, это и собственные наблюдения, рассказы о событиях, в которых принимал участие сам Шульце или же слышал о них, сведения о делах, современных записям, и сведения о событиях, происходивших за несколько десятилетий до этого. По словам Олеша, в хронике Шульце «мы читаем о свадьбах и кончинах, о наводнениях, засухах и пожарах, о покупках, судебных процессах и поездках, об охоте на волков, о кражах и казнях, о вендландских обычаях и старинных одеждах, о мекленбургской герцогине, племяннице Петра Великого Катерине Ивановне и о том, что вендландцы теперь стали королевскими людьми после того, как их князь стал в Англии королем. От изобретения пороха до цен на говядину, от Константина Великого до приговоров преступникам и девкам, большие и малые события соединены здесь в мире переживаний мужицкого историографа» (Olesch 1962, 301). Первый издатель хроники в 1794 г. считал достоинством, показателем степени достоверности хроники то обстоятельство, что ее автор почти не приводил суеверных легенд, на что Герхардт остроумно заметил, что теперь мы не разделяем удовлетворения старого издателя по этому поводу и были бы рады, если бы Шульце зафиксировал больше таких суеверных историй (Gerhardt, Schulz 1978, 6). Эти истории по сути и являются предметом данной статьи.

Шульце был хорошим христианином, его литературные впечатления вызваны прежде всего чтением Библии. Герхардт составил перечень полусотни библейских реминисценций и пересказов

в хронике (Gerhardt 1978, 158–159), в основном сосредоточенных на двадцатых страницах рукописи, отмеченных в копии, сделанной для графа Потоцкого; в соответствии с этими пометками перед текстом библейских выписок в оригинале было еще 10 страниц, которых нет в копии Потоцкого. Шульце выбирал из читаемого то, что казалось ему по тем или иным мотивам существенным; так, например, из Второзакония (гл. 23) он извлек мысль о том, что в чужом винограднике можно насыщаться ягодами, но нельзя помещать их в свой сосуд (116–117). Шульце сделал небольшую выборку из Библии по проблематике женщин (вроде: «чтобы всякий муж был господином в доме своем» Есф. 1, 22; 117), но действительно ли это отражает размышления автора хроники перед вступлением в брак, как предположили Олеш и Герхардт (Olesch 1962, 299; Gerhardt 1978, 159), уверенности нет, так как Шульце женился в 1710 г., а следовательно надо было бы считать, что он тогда уже вел свои записи. Но библейским выпискам предшествует несколько мемуарных записей, а внутри библейских выписок в абзаце о некоторых ценах упоминаются последовательно годы 1708, 1717, 1718, 1722 и 1725; приписка «1734» осталась всего лишь цифрой: вероятно, ничего кроме цифры не поместилось (118–119). После библейских выписок следует авторская попытка собственного родословия, упоминание о женитьбе хрониста в 1710 г. Затем снова идут деловые записи с упоминанием годов 1694, 1717, 1721 (120–121). Поэтому едва ли выписки о женщинах (кстати, не сосредоточенные вместе, а рассыпанные среди других библейских реминисценций) следует рассматривать как основание для ранней датировки начала ведения хроники. Без подлинника хроники практически невозможно решить вопрос о характере записей и возможности их позднейшего дополнения.

Сказанное показывает неплохое знакомство грамотного крестьянина с Библией. Но он свидетельствует, что «перед большой (великой) войной» жители Вендланда были еще мало просвещены как христиане: «когда священник проповедовал, они слышали звук, но ничего не понимали... В то время в крае не было школ. О Писании они ничего не слыхали, а кроме этого имели лишь католические молитвы Марии, и те по-вендски; от старых женщин я слышал из Евангелия [про то, что] когда Иисусу было 12 лет, и другие красивые (schöne) молитвы, которым они научились от своих предков» (142–143). Но эти критические замечания Шульце относятся к прошлому, видимо, ко времени до Тридцатилетней войны (1618–1648), хотя и отмечается, быть может, не без ностальгии наличие уже в то время вендского текста красивых молитв. А уцелевшие

после разрушительной войны современники Шульце уже должны были стать хорошими христианами (поэтому, быть может, и избегал зютенский староста записей суеверных легенд) и приносили в церковь первые цветы, о чем свидетельствует запись о теплой зиме 1723–1724 г. и о том, что «сегодня, 2 февраля» (Lichtmess, праздник очищения Марии; у православных в этот день отмечается Сретение) молодые люди пошли в кирху с букетами желтых колокольчиков (Gällen *Clat Jöncken*), которые растут у всех во дворах и обычно зацветают к Пасхе (145). Любопытно, что название цветка Шульце записал «по-вендски» *Clat Jöncken*, то есть *klat' önkë(n)* (< *kol-kol- при изменении последней части слова в результате немецко-славянского взаимодействия) с объяснением: *oder die Gällen Blumen* 'или желтые [нижненемецкая форма] цветы'.

Нельзя сказать, что Шульце обошел в своих записках тему свадьбы. Это было всё же крупное событие в деревне, и автор хроники несколько раз посвящает по несколько слов свадьбам. Относительно своей собственной женитьбы Шульце только указал год и краткие сведения о приданом невесты, а также о количестве произведенных ими детей и дате смерти супруги (120). Другой раз Шульце рассказывает о свадьбе своей родственницы, которая была в пятницу обвенчана, в субботу «была еще веселая жизнь», а в воскресенье у молодого был тяжелый приступ, 13 дней он лежал недвижимо и потом умер (125). Там же Шульце рассказывает о том, как одна свадьба была отложена с 1715 до 1718, так как жених не умел достаточно хорошо танцевать (125). Рассказывает хронист о свадьбе племянника, которого мать Шульце взяла на воспитание после смерти своей сестры, но здесь только дан перечень затрат на свадьбу, видимо, не очень одобрявшуюся семьей по причине того, что невеста считалась недостойной (120–121). В другом месте Шульце сообщает, что свадьбы до 1700 г. «в здешних местах» продолжались с понедельника, когда молодые приходили (видимо, к священнику, венчали их во вторник), и до вечера в воскресенье. Если это был вдовец, то начиналось во вторник вечером, бракосочетание происходило в среду, и празднование продолжалось также до воскресенья (190). Но содержания свадебных торжеств Шульце и здесь не описывает, возможно потому, что они не во всем ощущались соответствующими христианским правилам. Отмечает он лишь один обычай, практиковавшийся до 1690 г., по которому молодые женщины, прошлой осенью вышедшие замуж, должны были на следующую Пасху раздавать в селе вареные и окрашенные яйца: обходить всех из дома в дом и вручать каждому, старому или молодому по два яйца (184).

Шульце рассказывает об одном обычае, который он помнит по пересказам. Около 1640 г. (это значит, в разгар Тридцатилетней войны) собиралась молодежь из каждого села, чтобы несколько дней поспражновать с выпивкой. Тогда некоторые участники бегали в соседние села, собирали у людей колбасы и яйца; иногда целая толпа бегала из деревни в деревню. Подчас две-три таких толпы (*Rotte*) собирались в одной деревне и пели вендские песни, делали шум, как будто дом хотели снести (140). Хозяева основательно запирались, но пришедшие иногда имели с собой инструмент, чтобы взломать дверь, и тогда целая орава врывается в помещение. Чтобы попасть в дом, могли вытащить какой-нибудь камень из порога хлева, иногда забрасывали в окно маленького мальчишку, чтоб он открыл дверь. Узнав об этом, хозяин обливал «шпиона» водой; люди запасались на такие дни водой в больших ёмкостях на чердаках, а когда толпа «работала» над дверью, их поливали. Если толпа все же врывается в дом, она могла не удовлетвориться подаренным (*Gabe*) и тайно или явно забирать еду и воровать. Еще раньше дочки одевали свои лучшие платья, размахивали волосами (*ihr Har geschwenzet*) и убегали вместе с толпой. Это рассказывала Шульце его мать, происходившая, как и бабушка, из Кармица (*Carmitz*).

Этот обычай соотносится, с одной стороны, с колядками и щедровками, красочно описанными для Украины Н. В. Гоголем, известными и у других славян, а с другой стороны — с наличием по другим источникам в некоторых древяно-полабских деревнях специальной избы для собраний и игр молодежи (Супрун 1993, 164–165); благочестивые немецкие пасторы сетовали, что для «вендов» на празднике главное удовольствие — выпить и (мы бы сказали *и закусить*, но у недолюбливавшего славян-полуязычников священника грубее: *fressen*) пожрать. Можно заметить, что похожий обычай, по которому дозволялось брать еду по случаю некоего праздника в чужих домах, известен не только у славян. Повод проведения упомянутых у Шульце пирушек не указан, хотя, надо думать, существовал. Возможная связь его с некими пережитками язычества объясняет нежелание указать этот повод.

Одна из наиболее интересных этнографических записей Шульце — рассказ о «крестовом дереве» (148–149; 326). Сведения известны и по другим источникам, в частности, по словарю Хеннига (Супрун 1993, 165–166), а отчасти и по докладу 1671 г. о «вендских суевериях» Й. Гильдебранда (Olesch 1967, 5–21, 221–259). Записи Шульце отражают довольно объективный взгляд носителя языка на обычай, относимый им к прошлым временам. Приведем

запись в русском переводе: «Когда я был еще мальчиком, — пишет Шульце, — во всех деревнях стояли воздвигнутые длинные деревья с поперечиной в верхней части подобно кресту, совсем наверху располагался железный стержень с флюгером (Weyer-An, то есть Wetter-Nahn букв. 'погодный петух'), снизу с двух сторон забиты большие деревянные колья, чтобы можно было забираться наверх... В Ябеле (Jabel) уже в сегодняшнее время я видел крестовое дерево 1724 года, за двадцать лет я больше другого (дерева) в иных местах не видел. Когда дерево въезжало в деревню, женщины навстречу выносили много тряпок (одежды, lackens), которыми они покрывали всё дерево так, что его невозможно было увидеть. Это видела моя мать, когда она была еще маленькой девочкой. И такое ликование (Jubel), радостные крики и большой праздник они устраивали, который состоял в выпивке и танцах в течение нескольких дней... В 1726 г. в Ябеле еще поставили крестовое дерево. А в 1729 это дерево в Ябеле лежало в грязи на пешеходной дорожке» (148–149).

Одним из наиболее интересных фрагментов хроники Шульце является рассказ (легенда) о Чуме. Чума (Pest) предстает в рассказе как некое мифическое существо, мужичок (122). Вот перевод этого неказистого рассказа: «Чума не пришла в деревню. Тогда получилось так, что один человек, как об этом с тех пор постоянно говорят, его звали Нибур, жил в Куфалене, который теперь стал Люхов; как-то едет он из города, а по дороге идет мужчина, просит немного подвезти его на возе и говорит, что он очень устал; этот Ганс Нибур говорит ему, как тогда принято было по-вендски (spricht der Hanns Niebuhr auf Wendische, wie es zu der Zeit die Sprache gebräuchlich gewesen), куда и откуда, и берет его на воз. Сначала тот не хотел говорить про себя. Но этот Нибур был на подпитии и стал спрашивать более настойчиво; тогда он представляется и говорит: Я хочу с тобой в твою деревню. Там я еще не был, потому как я Чума. Тогда этот Нибур стал просить его о своей жизни. Чума научил его: он должен оставить его стоять у деревни с возом, а сам раздеться донага и, не имея нигде на теле никакой одежды, взять свой ухват (Kesselhaaken) и, выйдя спеша из своего дома, побежать вокруг двора по солнцу; один раз или трижды, этого я как раз не знаю, потом надо закопать его [видимо, ухват] под порогом. И если никто меня не занесет, говорит Чума, с запахом, который бывает в одеждах больных; к тому же еще надо сказать, он должен был выходить не в темное ночное время, а открывать и закрывать дверь только при солнечном свете. Нибур однако оставил его на хорошем расстоянии от

деревни, потому что время было ночное, взял ухват, побежал нагишом вокруг деревни, засунул железо (*stag das Eysen*) под мост, который я сам видел в 1690 году, когда мост ремонтировали, но железо быстро съела ржавчина. В 1704 году мы поставили туда жолоб (*Rinne*), так как совсем проржавело. Когда этот Нибур пришел за своей лошадейю и возом, говорит Чума: Если б я знал, что ты так сообразишь и мне всю деревню закроешь (*du ein solches in deinem Sinn dich hast fürgenommen und hast mir das ganze Dorff zugemachet*), я бы тебе ничего не сказал. Когда Нибур подъехал к деревне, он выпряг лошадей из воза и оставил его (Чуму) сидеть. И в деревне не почувствовали никакой чумной заразы (*Pestilenz*), хотя во всей округе свирепствовал мор (*Säuche*)» (121–122).

Герхардт указывал на фольклорные истоки этого рассказа в немецком устном народном творчестве. Нельзя не обратить внимание на то, что в других источниках повторяются многие детали (в том числе у других славян), но полные параллели рассказу в целом не известны. А. Н. Афанасьев пересказывает русинское предание, по которому к одному русину привязалась Чума, он никак не мог от нее избавиться и тогда «ухватил ее за руки, и обойдя село, бросился вместе с нею с крутого берега Прута, сам он утонул, но Моровая язва..., напуганная отважной смелостью человека, убежала в лесистые горы» (Афанасьев 1994, т. 3, 107–108). Чтобы прогнать Коровью смерть (чуму рогатого скота), русские совершали обряд опахивания, то есть около селения обводилась круговая, со всех сторон замкнутая черта, через которую Чума не в силах переступить (Зеленин 1991, 96). Этот обряд применялся и против холеры (Афанасьев 1994, т. 3, 115). При падеже скота крестьянская община приглашала священника «совершить молебствие и обойти с иконами и хоругвями вокруг села» (Афанасьев 1994, т. 2, 19). Афанасьев сообщает и приведенный рассказ Шульце по использовавшему в своих трудах по этнографии и диалектологии древяно-полабские источники Гримму, которому рассказ, видимо, был известен по частичной публикации хроники Шульце в 1794 г. (Olesch 1967, 325).

Можно упомянуть еще некоторые повествования Шульце, не лишенные этнографизма или могущие иметь фольклорные корни. Так, например, хронист рассказывал, как в 1730 г. недалеко от Гарлегена в селе Нипс (*Nieps*) крестьяне хотели вымыть в последний день Троицы своих овец, которых пастух не очень хотел отдавать. Крестьяне всё же забрали овец, и тогда огонь с неба убил 135 крестьянских овец. Люди не пострадали (186).

Довольно подробно рассказывает Шульце об эволюции женской моды за сотню лет. Около 1640 г. «ни одна девушка не ходила по воскресеньям в церковь с чепчиком или шапкой на голове; даже когда был сильный мороз, они не обращали на это внимания». Носили также украшения из бронзы, одежные пояса с цепями, на шею носили бронзовые пфенниги. Около 1680 г. женщины стали носить фуфайки (Wamser) с короткой полочкой (Leib), полной китового уса, которые с 1700 г. стали длинными, как платья... (141).

Анализ весьма скромного этнолингвистического материала, который содержится в записях Шульце, позволяет обратить внимание на одно любопытное обстоятельство. Те материалы, которые с высокой долей вероятности могут рассматриваться как восходящие к древяно-полабской старине онемеченного населения Вендланда, у Шульце помечены каким-то древяно-полабским маркером. Толпа молодых крестьян, собиравших для своего праздника немудреные мужицкие лакомства (колбаску да яйца), «**пела вендские песни**» (140). Встретившийся с Чумой крестьянин Нибур заговорил с духом страшного поветрия «**по-вендски**, как это было принято в то время» (120–121). Не очень просвещенные во христианстве мужики знали некоторые красивые, по мнению Шульце, католические молитвы, правда, только **по-вендски** (142–143). И все же в церковь несли первые весенние желтые *колокольчики*, и Шульце называет их **по-славянски**, хотя и объясняет это название по-немецки. Когда же идет обзор женской моды второй половины XVII — начала XVIII веков, обращений к древяно-полабской речи нет. Итак, когда билингв Шульце, еще сохраняющий уже угасающее славяно-немецкое двуязычие, ведет повествование о «вендской» старине, у него происходит включение «вендского» кода ритуального поведения, древяно-полабского этнолингвистического сознания, того самого, которое побудило стремившегося к благочестию делового старосту почти-немца Шульце в 1725 г., за четверть века до смерти последних носителей «вендского» языка сделать свои записи этой речи, поскольку, по его словам, когда «уйду я и еще человека три, никто не будет знать, как собака называется (пока еще в настоящем времени: *genannt wirdt* — ремарка моя. — А. С.) **по-вендски**» (165). Билингв может играть несколько социальных ролей в том числе и в соответствии с его принадлежностью к разным языковым социумам. В указанных случаях Шульце, как и в детстве, о котором он нередко вспоминает, снова оказывается в роли «венда», и в его сознании воскрешается язык, который в обществе, как это для нас ни грустно, был уже почти забыт.

Литература

- Афанасьев 1984 — А. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу в трех томах. [Репринт издания К. Солдатенкова. М., 1865–1869.] М., 1994, т. 1–3.
- Зеленин 1991 — Д. К. Зеленин. Восточнославянская этнография. М., 1991.
- Супрун 1993 — А. Е. Супрун. Этнолингвистические сведения в древяно-полабском словаре Христиана Хеннига / *Philologia slavica*. К 70-летию академика Н. И. Толстого. М., 1993, с. 162–169.
- Gerhardt 1977, 1978, 1988 — D. Gerhardt. Polabische Nachlese. II: Zum Text von Parum Schultzes Chronik // *Die Welt der Slaven*. Neue Folge I/2, 1977, S. 299–313; III: Parum Schultzes Quellen und Bildung // *Ibid.* II/1, 1978, S. 153–175; IV: Parum Schultzes Glossar // *Ars philologica slavica*. Festschrift für Heinrich Kunstmann [Sagners slavistische Sammlung, Bd. 15]. München, 1988, S. 115–134.
- Gerhardt, Schulz 1978 — D. Gerhardt, W. Schulz. Johann Parum Schultze 1677–1740 ein wendländischer Bauer und Chronist. Uelzen, 1978.
- Olesch 1962 — R. Olesch. Juglers lüneburgisch-wendisches Wörterbuch. [Slavistische Forschungen, Bd. 1.] Köln; Graz, 1962.
- Olesch 1967 — R. Olesch. Fontes lingvae dravaeno-polabicae minores et Chronica venedica J. P. Schvltzii. [Slavistische Forschungen, Bd. 7.] Köln; Graz, 1967.
- Olesch 1989 — R. Olesch. Gesammelte Aufsätze I Dravaenopolabica. [Slavistische Forschungen, Bd. 59/I]. Köln; Wien, 1989.
- Rost 1907 — P. Rost. Die Sprachreste der Draväno-Polaben im Hannöverschen. Leipzig; Hinrichs, 1907.

Слово и культура. Памяти Никиты Ильича Толстого.
Том I / Ред. коллегия: Т. А. Агапкина, А. Ф. Журав-
лев, С. М. Толстая. — М.: Издательство «Индрик»,
1998. — 448 с.

ISBN 5-85759-073-6

Сборник «Слово и культура» (том I) включает статьи отечественных и зарубежных исследователей, посвященные обширному кругу лингвистических проблем, которые занимали Н. И. Толстого на протяжении его плодотворнейшей научной деятельности: вопросы общей лингвистики, история и диалектология славянских языков, межъязыковые связи, история славянской письменности, литературных славянских языков, лексическая и грамматическая семантика, фразеология, лексикография. Самостоятельный раздел образуют работы, обращенные к истории славяноведения.

Издание адресовано как специалистам-филологам, так и широкому читателю, интересующемуся языком и его связями с культурой.

СЛОВО И КУЛЬТУРА

Памяти Никиты Ильича Толстого

Том I

Научное издание

Утверждено к печати
Институтом славяноведения РАН

Наборщик *Е. Штофф*
Корректор *Р. Агеева*
Младший редактор *Н. Стахеева*
Редактор *Н. Волочаева*

Оригинал-макет выполнен в издательстве «Индрик»

ЛР № 070644, выдан 19 декабря 1997 г.
Формат 60×90^{1/16}. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная.
28 п. л. Тираж 1000 экз. Заказ № 3450
Отпечатано с оригинал-макета
в Типографии № 2 РАН
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., д. 6

СЛОВО И КУЛЬТУРА

I